В. ВЕРЕСАЕВ

4

В. ВЕРЕСАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

4
ТОМ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1961

Подготовка текста
и примечания
Ю. У. Бабушкина.

К ЖИЗНИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Алексея выпустили.

Мы с ним поселились на краю города. Сняли у вдовы мелочного лавочника Окороковой две передние комнаты ее ветхого домика. Алеша сильно осунулся, но от побоев совсем оправился. Он по-всегдашнему молчалив, не смотрит в глаза и застенчиво принимает мои заботы о нем.

У меня много беготни и хлопот по району, редко приходится бывать дома. Алексей меня ни о чем не расспрашивает, со смешным, почтительным благоговением относится к тому таинственному, что я делаю; с суетливою предупредительностью встречает приходящих ко мне. Что-то есть в нем странно-детское, хоть он мне ровесник. Когда я иду куда-нибудь, где есть хоть маленький риск, он молча провожает меня любящими, беспокойными глазами. Очень мы разные люди, а ужасно я его люблю.

Выпустили также многих товарищей. Выпустили, говорят, и Иринарха. Попался в сети, как лягушка среди карасей, а просидел три месяца.

Всегда мне странно и смешно бывает, когда приходится зайти к Катре. Каждый раз в другом платье, необычном, каких никто не носит, как будто в маскараде, а между тем странно идет к ней. И прическа, и все. И думаешь: «Эге! Вот еще какая у тебя красота!» И думаешь: «Господи! Сколько на это трудов кладется! Вот тоже — труженица!»

У нее сидел за кофе Иринарх. Расцеловались с ним. Он рассеянно положил себе горку сухарей и продолжал говорить:

— Да, так вот... Ужасно было интересно в тюрьме. Я прямо жалел, когда выпустили. Эти мужички с недоумевающею мыслью в глазах. Рабочие, как натянутые струны. Огромнейшая книга жизни. Евграфову видел,— интересно. Бледная, с горящими глазами, настоящая христианская мученица, с огромною трагическою жизнью в душе. А заговорит,— боже мой! Любовь к людям, избавление их от страданий, социалистический строй... И чем бы она жить стала в этом будущем благолепии!.. Удивительно, как люди не умеют жить настоящим! Такое яркое, интересное время, никогда лучше не бывало. А они все о каком-то будущем. Хорошо у Ибсена сказано: «Ненавижу я это вялое слово — будущее!..»

Что-то в Иринархе было новое, какая-то найденная идея. Глаза светились твердым, уверенным ответом, а раньше они смотрели выжидающе, со смеющимся без веры вопросом.

Но я спешил.

— Катерина Аркадьевна, можно вас попросить на пару слов?

Мы вошли с нею в гостиную. Наедине обоим было неловко,— встало то странное и жуткое, что недавно так тесно на минуту соединило нас. Как тогда, ее чуть слышно окутывал весенне-нежный, задумчивый запах тех же духов. И в воспоминании запах этот мешался с запахом керосина и пыли.

— Можете вы нам дать послезавтра квартиру?

В ее глазах мелькнули усталая скука и насмешка.

— Опять будете препираться о «текущем моменте»?.. Хорошо...

— Благодарю вас.

Товарищи расходились. Окурки торчали в земле цветочных горшков; в тонком аромате гостиной стоял запах скверного табаку. Оставались только я с Алексеем, Турман и Дядя-Белый.

Вдруг вошла Катра — любезная, радушная. Она поздоровалась и стала звать нас ужинать. Турман и Дядя-Белый с недоумением оглядывали ее, стали отказывать-

ся. Катра настаивала. Они усмехнулись, пожали плечами и пошли в столовую.

Там опять сидел Иринарх. Как всегда, он сейчас же овладел разговором. И у него был всегдашний странный его вид: на губах улыбка какого-то бессознательного юродства, в наклоненной вперед крутолобой голове что-то бычачье и как будто придурковатое, а умные глаза наблюдающе приглядываются.

— В воздухе носится это решение — любовь к жизни. Ницше, Гюйо, Беклин, Григ, Гамсун, Толстой, Достоевский,— с разных концов, мыслью, художественным чутьем,— все приходят к тому же: к пониманию громадной ценности жизни как она есть. Особенно в этом отношении великолепен Лассаль. Он впитал в себя все разрозненные элементы, носившиеся в воздухе, и вырос в истинного человека. Мы наивно ищем блага в будущем, ищем в религии веры в сохранение ценности жизни,— это верно определяет Геффдинг. А ценность-то жизни, а благо-то это — кругом. Нужно только протянуть руку и брать полными горстями.

Турман молча сидел, заложив руку за пояс блузы, непрерывно курил и своим темным взглядом смотрел на Иринарха. Дядя-Белый внимательно слушал.

Иринарх обратился к ним:

— Скажите, пожалуйста, вы вот боретесь. Много терпите в борьбе. Стремитесь к чему-то... За что вы боретесь? К чему стремитесь?

Дядя-Белый поднял брови и слегка усмехнулся.

— К чему? Вам бы это должно быть известно.

— Простите, я совершенно серьезно говорю: мне неизвестно.

— К тому, чтоб всем было хорошо.

— А зачем нужно, чтоб всем было хорошо?

Дядя-Белый с удивлением смотрел. Иринарх ждал со скрытою улыбкою, как будто он знал что-то важное, чего никто не знает.

— Не понимаю вас.

— Что значит «хорошо»? Чтоб была свобода, чтоб люди были сыты, независимы, могли бы удовлетворять всем своим потребностям, чтоб были «счастливы»?

— Ну да!

— Гм! Счастливы!.. Шел я как-то, студентом, по Невскому. Морозный ветер, метель,— сухая такая, колющая.

Иззябший мальчугашка красною ручонкою протягивает измятый конверт. «Барин, купите!» — «Что продаешь?»— «С...сча...астье!» Сам дрожит и плачет, лицо раздулось от холода. Гадание какое-то, печатный листок с предсказанием судьбы.— «Сколько твое счастье стоит?» — «П-пятачо-ок!..»

Иринарх удивительно изобразил мальчика,— так и зазвенел плачущий, застуженный детский голосок.

Турман шевельнулся на стуле и враждебно оглядывал Иринарха.

— Он на этот пятачок сыт стал!

— Верно. А все-таки цена-то его счастью—«пя-тачо-ок!» Сыт — разве же это счастье!.. А что даст будущее, если оно, боже избави, придет? Вот этот самый пятачок. Разве же за это возможна борьба? Да и как вообще можно жить для будущего, бороться за будущее? Ведь это нелепость! Жизнь тысяч поколений освящается тем, что каким-то там людям впереди будет «хорошо жить». Никогда никто серьезно не жил для будущего, только обманывал себя. Все жили и живут исключительно для настоящего, для блага в этом настоящем.

Я сдержанно спросил:

— В чем же это благо?

— В чем!.. Оно так ясно, так очевидно,— его можно определить строго математически, как звук или свет. Чем определяется звук, свет? Числом и размахом колебаний в секунду. Целиком так же определяется и благо. Радость — великолепно! Страдание — великолепно! Радость — страдание! Радость — страдание! Быстрее, ярче, сильнее! Раз-раз-раз! А мы страдания боимся, проклинаем его. Утешаемся будущим, когда страдания не будет... Как верно Шопенгауэр сказал: «После того как человек все страдания и муки перенес в ад, для рая осталась одна скука».

Катра слушала и внимательно наблюдала товарищей. Раза два она искоса взглянула на меня, как будто вызывала: ну-ка, возразите!

Иринарх говорил словно пророк, только что осиянный высшею правдою, в неглядящем кругом восторге осияния Да, это было в нем ново. Раньше он раздражал своим пытливо-недоверчивым копанием во всем решительно. Пришли великие дни радости и ужаса. Со смеющимися чему-то глазами он совался всюду, смотрел, все гло-

тал душою. Попал случайно в тюрьму, просидел три месяца. И вот вышел оттуда со сложившимся учением о жизни и весь был полон бурлящею радостью.

Он продолжал:

— О-ох, это будущее!.. Слава богу, теперь сами все в душе чувствуют, что оно никогда не придет. А как раньше-то, в старинные времена: Liberté! Egalité! Fraternité![1] Сытость всеобщая!.. Ждали: вот-вот сейчас все начнут целоваться обмякшими ртами, а по земле полетят жареные индюшки... Не-ет-с, не так-то это легко делается! По-прежнему пошла всеобщая буча. Сколько борьбы, радостей, страданий! Какая жизнь кругом прекрасная! Весело жить.

Турман опять двинулся на стуле. Он тяжело бросил на Иринарха свой темный взгляд и злобно усмехнулся.

— Весело... Очень весело! Спасибо вам, господин, за такую веселость! Не весело, а скверно жить! Тяжело жить!

— Тяжело? Боритесь! Поднимайтесь выше!

Турман в изумлении и негодовании смотрел на него.

— Индюшки полетят?.. Полетят индюшки?.. Пятачок будет?.. Говорите: боже избави?

— Боже избави! — твердо и решительно ответил Иринарх.

— Не надо этого?

— Не надо.

— Надо! — крикнул Турман. Он, задыхаясь, наклонился над столом и пристально смотрел в глаза Иринарху.— Вот что я вам заявляю: надо, чтоб это пришло через десять — пятнадцать лет. Слышите? — Турман грозно постучал ладонью по столу.— *Через десять — пятнадцать лет*, не дольше!

Он встал и оглядывал всех, как будто вдруг проснулся и увидел кругом незнакомых людей.

— Вы, господа,— интеллигенция, вы понимаете социологию. Мы ее мало понимаем. Может быть, по научным там всяким законам мы людьми станем через сотню лет... Так врите нам, а говорите, что это близко. А то слишком скверно жить. Нам скверно жить, невозможно жить, а не «весело»!

Дядя-Белый все время с недоумением слушал Иринар-

---

[1] Свобода! Равенство! Братство! *(франц.)*

ха,— слушал, мучительно наморщив брови, стараясь понять. Он раздумчиво заговорил:

— Вы мало знаете нашу жизнь. Ничего в ней веселого нету. Все время от всех зависишь,— раб какой-то. Сегодня на работе, а завтра сокращение, завтра не потрафил мастеру, шепнули из полиции,— и ступай за ворота. А дома ребята есть просят... Унижают эти страдания, подлецом делают человека...

Иринарх просиял торжеством.

— Вот, вот это самое!.. Есть страдания, которые унижают, и из них рвется человек к другим страданиям, к тем страданиям, которые...

Турман не слушал. Он взволнованно метался по комнате, отыскивая свою фуражку. Отыскал, остановился боком и теми же проснувшимися глазами окинул богатую сервировку стола, изящную Катру, внимательно наблюдавшую его из кресла

— Что будет! — прервал он Иринарха.— В морду всем можно будет засветить. Всем, кто того стоит! Вот что будет!.. Сенька, пойдем! Пойдем, Сенька, не оставайся!

— Да, пора идти.— Дядя-Белый грустно поднялся.

Турман искоса бросил на меня выжидающий взгляд. Они ушли.

Иринарх ходил по комнате и в восторге потирал руки.

— Но ведь этот черный — это великолепнейший хищный зверь! Какая ненависть в глазах!.. Погодите, он еще всем вам покажет свои коготки! Ну и что, что такому делать при всеобщем благополучии? Ведь именно ненависть-то эта и наполняет его жизнь огромнейшим содержанием! Ужасно он много дал для моей мысли... И как характерно: люди стремятся — и совершенно не понимают: к чему? Теряются, не могут ответить. Огромное стремление, а впереди — только какой-то смутно-золотистый свет. Удивительно, как это у вас нет пророков. Ведь именно при таких-то условиях они и должны бы греметь.

Мы с Алешей уходили. Катра со скрытою насмешкою следила за мною. В передней она спросила:

— Отчего вы ничего не возражали Иринарху Ильичу?

Я насупился.

— Разве можно было ответить лучше, чем ответил Турман?

— А я думаю, вам просто нечего было возразить,— презрительно и устало сказала Катра.

Я пожал плечами.

Мы шли домой. На душе было весело. Не люблю я Катры — и как она бесится, что на все ее вызовы я отвечаю вежливым молчанием!

Алексей все споры слушал с странно-пристальным, принимающим к сведению вниманием. Мы шагали по тропинке среди сугробов. Он сдержанно спросил:

— А какой же ты смысл видишь в настоящем? Оно имеет значение только в виду будущего?

— Да как это можно разделять? Будущее, настоящее... Все равно что стараться ножом отделить в организме жизнь от материи. Жизнь радостна, прекрасна, потому что освещена будущим, и, конечно, дай бог, чтобы будущее как можно скорее пришло... Какой-то разврат душевный копаться в этом. Болтун! Почему же он ничего не делает?

Алексей замолчал и не возражал.

Как огромные струны, еще пели приводные ремни. Подрагивали стены, и быстрые отсветы мелькали по стальным рычагам. Но люди толпились в середине, и подходили все новые из других мастерских.

В замасленной блузе рабочего я говорил, стоя на табурете. Кругом бережным кольцом теснились свои. Начал я вяло и плоско, как заведенная шарманка. Но это море голов подо мною, горящие глаза на бледных лицах, тяжелые вздохи внимания в тишине. Колдовская волна подхватила меня, и творилось чудо. Был кругом как будто волшебный сад; я разбрасывал горсти сухих, мертвых семян, — и на глазах из них вырастали пышные цветы братской общности и молодой, творческой ненависти.

Когда приходишь домой, — из большого, яркого мира вдруг попадаешь во что-то маленькое, узенькое, смирное. Алеша сидит в своей накуренной комнате, сгорбившись над столом. Моя комната большая, а его — очень маленькая. Он ее выбрал себе, — уверял, что любит тепло. Но сделал он это по своей обычной упорной деликатности.

Сидит он за маленькой лампочкой с бумажным колпаком и старательно пишет. Красиво пишет своим аккуратным почерком конспект прочитанной книжки. Если

что нужно вычеркнуть, он вырывает из тетрадки всю страницу и переписывает. Конспектирует и ничтожнейшие брошюрки. Часто мне в голову приходит вопрос,— чем он живет? Застенчивый, молчаливый, нелюдимый. Никогда он не смотрит в глаза — даже мне, двоюродному своему брату, а мы с детства росли вместе. Ничем особенно не интересуется. Читает мало, принуждая себя, то, что я уж очень расхвалю. В комнате у него так все аккуратно разложено, так чисто. Это всегда признак бедной духовной жизни.

Пьем с ним чай. Своим всегда неестественным голосом он говорит, не глядя в глаза:

— Ходил сейчас ко всенощной к Спасу, слушал шестопаловских певчих. Вот здорово поют! Особенно «Свете тихий». Чудная у них новая октава. Шестопалов недавно привез из Мценска... После всенощной зашел к Маше. Нет, она действительно ненормальна, это несомненно.

— Опять тетя Юля ваша мутит?

— Заявила, что Маша ей мешает спать по утрам, когда встает. И Маша из большой комнаты перебралась в переднюю. Там спит. Говорит, великолепно. А от двери дует черт знает как!.. Положительно, сама себя она валит в могилу.

Алеша украдкою глядит на меня и осторожно спрашивает:

— Ты не зайдешь к ней?

Ох, эти родственные обязательства! Я морщусь.

— Да некогда, дела много.

Алеша темнеет. В нем вообще очень силен семейный патриотизм, а сестру Машу он любит с восторженным умилением. Перемогая себя, сам тяготясь своею настойчивостью, он говорит коротко:

— Шестого ее рождение.

— Ну, зайду тогда.

Алеша благодарно глядит.

В освещенных, завешанных тряпками оконцах флигелька метались тени. Мы с Алешею стояли на крыльце двора.

— Ты верно видел, пьян он?

— Пьян.

— Ну, значит, бьет.

Когда Гольтяков пьян, его охватывает буйная одержимость, он зверски колотит Прасковью. Она — худенькая, стройная, как девочка, с дикими, огромными глазами. У меня и у Алеши жалостливая влюбленность в нее. Мучают и волнуют душу ее прекрасные, прячущие страдание глаза. Горда она безмерно. Все на дворе знают, что с нею делает муж, а она смотрит с суровым недоумением и резко обрывает сочувственные вопросы.

Мы растерянно стояли. Трепала дрожь. В флигельке звучали заглушенные стоны, отчаянно плакал ребенок... И нельзя ничего сделать, нельзя броситься на помощь!

Да, учит жизнь! Сколько раз за этот год, в самых разнообразных случаях, приходилось переживать вот это самое,— стой, стиснув зубы, когда тянет броситься вперед,— гнусно кипи и перекипай внутри себя.

Вздымаются волны все выше. Весело жить! Работы страшно много, беготня с утра до вечера. К циглеровцам присоединяются все новые и новые заводы.

Вчера примкнули староносовцы, где Дядя-Белый. Через три дня предстояла получка. Дядя-Белый предложил присоединиться после получки. Поднялись крики, упреки:

— Трус! Предатель... Сейчас же все бросай работу!

И с песнями ушли из мастерских. А присоединились только из сочувствия.

Забежал к Катре, попросил вызвать ее. Горничная сказала, что выйти она не может, а просит к себе.

В «будуаре»,— кажется, так это называется,— сидели толстый адвокат Баянов и приезжий из столицы юноша. Катра с радостной улыбкой встала навстречу. Какая-то особенная у нее улыбка,— медленная и яркая: всю ее эта улыбка освещает изнутри.

Я сказал, что спешу. Она как будто не слышала, усадила меня. Почему она не могла ко мне выйти?

Юноша неестественно-поющим голосом читал стихи. Гибкие, певучие звуки баюкали внимание, трудно было понять, о чем речь.

Я пересидел стихи, подошел к Катре. Смеясь глазами, она взяла меня за локоть и сказала:

— Пожалуйста, посидите четверть часа,— мне нужно с вами поговорить.

Юноша еще читал стихи. Шла речь о каких-то неслыханных «дерзаниях», о голых женских телах, о громовых беседах с «братом-солнцем»:

Брат мой солнце! Ясный, ярый,
Пьяный жаром старший брат!

Тонкая шея туго была стянута высоким крахмальным воротничком. Неврастеническое лицо, длинные влажные пальцы. На что, кроме пакости, способен «дерзнуть» этот заморыш! Девочку растлить, обольстить и бросить с ребенком горничную,— другого никак я не мог себе представить.

— Извините, я не понимаю. Что такие за дерзания?

Вышел спор. Я говорил о громадности и красоте дерзаний, которыми полна действительная жизнь. Он неохотно возражал, что да, конечно, но гораздо важнее дерзание и самоосвобождение духа. Говорил о провалах и безднах души, о божестве и сладости борьбы с ним. А Катра заметно увиливала от разговора наедине. Ее глаза почти нахально смеялись надо мною. Мне стало досадно.— чего я жду? Встал и пошел вон.

Катра вышла следом. Я молча надевал пальто.

— Погодите, ведь вам что-то было нужно?

Я презрительно ответил:

— Вам, я вижу, это неудобно. Тогда не надо... До свидания.

Катра вспыхнула.

— Вы воображаете, я боюсь... Что вам нужно?

Я сказал.

— Хорошо, я согласна.

— Так я пришлю Алешу.

Катра с враждебной и вызывающей насмешкой взглянула на меня.

— Знаете, Константин Сергеевич,— я согласна только потому, чтобы вы не воображали, будто я боюсь... А все это до тошноты противно, скучно и пошло. «Транспорт»... Зачем целый транспорт, когда всю вашу литературу можно пронести в жилетном кармане? «Эксплуатация», «классовая борьба», «организация», «предательство буржуазии»... Господи, и неужели кто-нибудь читает это!

Много шелухи поднялось в воздух с ураганом, грозно загудело в нем — и бессильно упало наземь, когда ураган

стих. Я думал, Катра не из этих. Но и она как большинство. Ее радостно и жутко ослепил яркий огонь, на минуту вырвавшийся из-под земли, и она поклонилась ему. Теперь огонь опять пошел темным подземным пламенем,— и она брезгливо смотрит, зевает и с вызовом рвет то, чем связала себя с жизнью.

А был миг. Я его не забуду. Сквозь мою вражду к ней, сквозь презрение к ее переметчивости этот странный миг светится в воспоминании, как вечерняя звезда в узком просвете меж туч.

Толпы дико побежали по Большой Московской. Все ворота и калитки были предательски заперты. Падали люди. Я вырвал Катру из топочущего, мчащегося человеческого потока; мы прижались к углублению запертой двери.

Бледный мальчик, прижимая руку к боку, набежал на нас.

— Ай-ай-ай-ай!.. Настоящие пули!

— Мальчик! Сюда иди, сюда!

Он непонимающими глазами оглядел меня и побежал дальше и повторял:

— Настоящие пули!

Наискосок через улицу, наклонившись, бежал под пулями Иринарх и закрывал голову поднятым локтем, как будто над ним вился рой пчел. Из Ломовского переулка, как шакалы, выглядывали молодцы лабазника Судоплатова с дубинками.

Подбежал студент с простреленной рукой. Эсер — он не раз выступал против меня на митингах. Ухватившись за косяк, он безумно смотрел, как судоплатовцы с воем и свистом ринулись наперерез бежавшим, как замелькали в толпе их дубинки.

Сзади нас была железная дверь какого-то подвала. Висел замок. Я дернул,— он не был заперт. Быстро я отодвинул засов.

— Товарищи! Сюда!

Мы с Катрою проскользнули в дверь. Но студент стоял как околдованный и все смотрел.

— Да идите же, товарищ! Скорее, а то увидят!

Я втащил его в подвал, замкнул дверь. Крутые каменные ступеньки шли вниз. Громоздились до потолка пыльные бочки, деревянная скамейка пахла керосином. Странно-тихо золотились пылинки в узком луче солнца. На

улице трещали револьверные выстрелы, и молниями прорезывали воздух вопли избиваемых.

По рукаву студента текла кровь.

— Вы ранены. Садитесь, перевяжем.

Как в гипнозе, он сел. Катра засучила ему рукав, стала перевязывать носовым платком рану. В замершем порыве студент безумными глазами смотрел на дверь, и душа его была не здесь.

Затопали ноги, со стоном грохнулся кто-то за дверью.

— За что бьете?.. Злодеи!.. ааа-аа!!.

Студент рванулся, роняя на пол окровавленный платок.

— Боже мой, а я здесь сижу!.. Пустите меня!

— Сидите, товарищ!

— Пустите! Господи, какие мы подлецы! Мы их звали, мы вместе с ними должны и погибнуть!

— Вы с ума сошли! Какой в этом смысл?

Он с презрением оттолкнул меня и бросился по крутым ступенькам к двери.

— Ведь вы без оружия! У вас помутилось в голове, очнитесь!

— Мы должны с ними умереть!

Я его удерживал, но душу с дрожью вдруг охватил стыд и горький восторг. Лязгал под руками студента отодвигаемый ржавый засов. Смерть медленно накладывала свою печать на его бледное лицо. И вдруг преобразилось это лицо и вспыхнуло живым, сияющим светом. Он выбежал на улицу.

Громкий вызывающий крик, полный восторга и муки:

— Да здравствует!..

И топот ног. Рев человеческих гиен. И глухие удары.

Я неподвижно стоял. Мир преобразился в безумии муки и ужаса. Весь он был здесь, где золотой луч тихо вонзался в груду пыльных бочек, где пахла керосином жирная скамейка. Кругом — кровавое, ревущее кольцо, а дальше ничего нет.

Из полумрака на меня смотрели огромные глаза с бледного, прекрасного, восторженного лица. Охватывал душу безумный восторг от какой-то чудовищной, недоступной уму правды. Я взглянул на Катру.

Все было сказано без слов.

— Идем!

Огромные глаза ее все смотрели на меня. Грудь взды-

малась, как будто не могла вместить того, что открылось душе.

— Да. Идем... Погодите. Прощайте, товарищ!

В первый раз она сказала это слово «товарищ».

Руки раскрылись, мы обнялись и крепко поцеловались. В запахе пыли, керосина и кровавого ужаса от свежего лица пахнуло весенним запахом духов.

Улица была уже пуста. Ее опять откуда-то обстреливали. Валялся у дверей аптекарского магазина пыльный труп в кроваво-черных обрывках студенческой тужурки.

Мы медленно шли вдоль улицы. Пули жужжали, с визгом рикошетировали от камней.

—Товарищи! О боже мой... Товарищи!..

Ерзая руками по мостовой, у тумбы лежал рабочий с простреленною ногой.

— Товарищи!.. Не бросайте меня!.. О боже мой!.. Жена у меня, четверо ребят...

Я схватил его под мышки, приволок к ближайшему крыльцу. От соборной площади бежали с дубинками пьяные молодцы из холодных лавок. Катра метнулась к двери. Она была старая, на старом, непрочном замке.

— Смотрите! Можно выдавить!

Я ударил плечом, дверь распахнулась. Мы втащили раненого. В конце старенькой галерейки чернела обитая клеенкой дверь.

Раненый стонал. Перебитая нога моталась.

— Товарищ, тише! Сберите все силы, молчите! Услышат черносотенцы или из квартиры выйдут. А бог весть, кто там живет.

— О-о-о... Погодите!.. Ну... Ну, вот!

Он вцепился зубами в полу пальто и замер, дрожа и всхлипывая.

Но клеенчатая дверь уже раскрывалась. Выглянул седой, полный господин в тужурке отставного полковника.

— Это что такое?!

Он вышел и, бледнея, оглядывал нас.

— Сейчас же уходите! Что вам тут нужно?.. Уходите, уходите! Я не сочувствую революционерам!

Катра выпрямилась и смотрела на него темными, презирающими глазами.

— Здесь, полковник, не революционер, а раненый, вы сами видите. Пьяные дикари будут его сейчас добивать.

— Господа, господа... Это меня не касается... Сейчас же уходите, я не могу.

Полковник волновался и прислушивался к крикам на улице. Катра в упор смотрела на него.

— Храбрый вы человек!.. Мы не пойдем. Вытолкайте нас.

Хороша она была в этот миг! Полковник сконфузился.

— Но согласитесь, господа... Ну, хорошо!.. Несите его скорее в квартиру!

Он суетливо запер наружную дверь на крюк. Мы потащили раненого в переднюю.

Грозно и властно зазвенел звонок. В дверь посыпались удары. Слышались крики. Полковник побледнел, оправил тужурку и пошел по галерее.

Дверь затрещала и распахнулась. Мы замерли.

Слышно было, как полковник кричал и топал ногами.

— Не видите, кто я?.. Чтоб я у себя кого прятать стал? Вон!.. По телефону губернатору... Всех вас в тюрьме перегною!

Задыхаясь и отдуваясь, полковник воротился к нам.

— Негодяи этакие!.. Понесем его в спальню, там перевяжем.— Он с гордостью остановился перед Катрой и развел руками.— Ну-с! Надеюсь, вы меня теперь ни в чем не можете упрекнуть!

Катра удивленно взглянула на него.

— Но ведь вы были бы подлец, если бы поступили иначе!

Попал я к Маше на рождение только в десятом часу вечера. Алеша был там уже с обеда.

Маша радостно встретила меня, поцеловала долгим, умиленным поцелуем и благодарно прошептала:

— Спасибо, что пришел!

Большие кроткие глаза, и, как из прожекторов, из них льются снопы света. Алеша называет ее «Мадонна».

Сидела, приторно улыбаясь, их тетка Юлия Ипполитовна. Она обратилась ко мне:

— Костя, скажите вы: ну, разве идет Маше эта голубенькая кофточка?

— Очень идет.

Юлия Ипполитовна со снисходительною насмешкою пожала плечами.

— Не понимаю ее! Нарядилась, как шестнадцатилетняя девушка. Нужно же помнить свой возраст! Тридцать шесть лет исполнилось, седина в волосах — и светлые кофточки! Напоминает маскарад!

Маша добродушно улыбнулась и не ответила. Она угощала нас закусками, чаем, быстро говорила своими короткими, обрывающими себя фразами. Юлия Ипполитовна брезгливо шевелила вилкой кусочки нарезанной колбасы.

— Маша, где ты брала эту колбасу? Шпек ужасно скверно пахнет.

Алеша угрюмо и резко возразил:

— Никакого запаху нет.

— Ну, может быть, мне кажется... Почему ты не берешь у Рейнвальда? Только там колбасы хорошие.

Она концами пальцев отодвинула тарелку и обиженно стала пить чай. Как удушливое облако, ее присутствие висело над всеми. Ждали, когда же она пойдет спать.

Пошла наконец. Маша зашептала:

— Господа, перейдемте в переднюю, поставим там столик. Ну, тесно будет, а зато так хорошо! И тете не будем мешать.

Мы перенесли в переднюю стол, самовар. Я с упреком спросил:

— Ты здесь и спишь?

Маша поморщилась и быстро заговорила:

— Ну, господа, все равно... Не будем об этом говорить... Это мое дело... Все равно...

— Маша, да ведь ты губишь себя. Сама нервная, болезненная, весь день на уроках,— и даже отдохнуть негде в своей же квартире! Смешно: две комнаты на двоих, а ты живешь в передней.

— Ну, все равно... Господа, не говорите... Тете мешает утром спать, когда я встаю, а мне все равно...

— Мешает спать!

— У нее все время то мигрени, то невралгии. Трудно заснуть, и необходима тишина... А мне приятно, что я хоть что-нибудь могу для нее сделать. Только жалко, что приходится от вас жить отдельно.

— Да, нам бы еще тут с этим сокровищем жить! Я понимаю, что все ближайшие родственники открещиваются от нее... Какая бесцеремонность! «Шпек пахнет». Никто не просит, не ешь!

Маша умоляюще сказала:

— Оставим... Ну, пускай... Нужно либо все принять, либо совсем уж отказаться...— Она покраснела.— Своей семьи у меня нету. Вы выросли. А я чувствую такую потребность любить, всю себя отдать... Мне кажется, если бы тетя меня била, я бы еще нежнее ухаживала за нею.

— Черт знает что такое! Какой-то садизм филантропии!.. И для кого! Маша, ну разве ты не видишь кругом жизни? Ведь выше и нужнее всю себя отдать ей, а не какой-то Юлии Ипполитовне!

Мы уж не раз спорили об этом.

— Ну, оставим, все равно... Я к вам не могу пойти. Вы слишком наружу смотрите. Под этим, глубже, у вас ничего нету. Поэтому все строите на ненависти. А нужно всех любить. И потом у вас — без бога.

— Этого бы еще недоставало!

И сейчас же я в ней почувствовал тот странный, внутренний трепет, который часто в ней замечал. Когда мы, еще гимназистами, начинали спорить с ней о боге, Маша быстро говорила, с испуганно вслушивающимися во что-то глазами: не надо об этом говорить. Об этом нельзя спорить.

Она перевела разговор на другое.

Мы пили чай с миндальным печеньем, разговаривали и смеялись тихонько, чтоб не разбудить Юлию Ипполитовну. По отставшим от стен обоям тянулись зубчатые трещины. Задумчиво сидели, неожиданно явившись откуда-то, черные тараканы.

Понемножку со мною произошло обычное,— я не могу без скуки и колючего раздражения думать о Маше, а побудешь с нею — и вдруг мягче начинаешь принимать всю ее, с ее чуждою, но большою и серьезною душевною жизнью. Бедно одетая, убивает себя на уроках, чтоб Юлия Ипполитовна могла есть виноград и принимать лактобациллин. И какое-то светящееся оправдание жизни, с терпимым и любовным уважением ко всему.

Мы чуть слышно пели втроем песни, которые пели с Машею давно, еще мальчиками. Вспоминали, смеялись, говорили теми домашними словами, которых посторонний не поймет. Было по-детски чисто в душе и уютно.

Алеша всегда чувствует себя у Маши тепло и свободно. Но сегодня он был необычно весел, острил, смеялся. Как будто тайно радовался чему-то своему. А в Машиных

глазах, когда она смотрела на Алешу, была горячая любовь и всегдашний скрытый, болезненный ужас,— какой-то раз навсегда замерший ужас ожидания. Вот уже два года она смотрит так на Алешу. Это для меня загадка.

Когда мы шли домой, я спросил Алешу:

— Отнес к Катре?

— Отнес, конечно.

— Что она, не фыркала?

— Н-нет...— Алеша помолчал.— Ужасная чудиха! Вдруг спрашивает меня: «Отчего вы, Алексей Васильевич, никогда не смотрите в глаза?» И засмеялась. Очень весело и добродушно. Звала чаю напиться.

Он говорил небрежно, а весь сиял, вспоминая. Катра и его околдовала своею красотою. Бедный, как ему мало надо!

И несколько раз еще Алеша возвращался к своему визиту. Объяснял мне, почему он отказался напиться чаю, рассказал, как она пожала ему руку.

На дворе, в белом сумраке ночи, у флигелька виднелась тонкая фигура. Мы вгляделись. В одном платье стояла иззябшая Прасковья. Она метнулась, хотела спрятаться, но как будто что вспомнила. Остановилась и недобрыми глазами смотрела на нас.

— Чего это вы на холоду стоите, Прасковья Вонифатьевна?

Она оборвала:

— Так.

Гольтяков пьет запоем. Ясно,— пьяный, он выгнал ее на мороз и запер дверь.

Мы стали звать ее зайти к нам напиться чаю. Она сердито отказывалась, бросала пугливые взгляды на темные оконца флигеля. И вдруг быстро пошла к нашему крыльцу, все не говоря ни слова.

Поставили самовар. С полчаса он нагревался. Прасковья сидела на уголке стула, худенькая, тонкая, и настороженно молчала. Чувствовалось,— заговори с нею, она сейчас же вскочит и убежит.

Мы предложили ей переночевать в Алешиной комнате, а он перейдет ко мне.

— Нет. Я в кухне посижу.

Всю ночь она просидела на табуретке в нашей кухоньке. Иногда выходила, поглядывала на беспощадно-молчащие окна флигелька и возвращалась.

Мне плохо спалось. Завтра — большая массовка за Гастеевской рощей, мне говорить. Нервно чувствовалась в кухне Прасковья с настороженными глазами. Тяжелые предчувствия шевелились,— сойдет ли завтра? Все усерднее слежка... Волею подавить мысли, не думать! Но смутные ожидания все бродили в душе. От каждого стука тело вздрагивало. Устал я, должно быть, и изнервничался! — такая тряпка.

Не могу рассказывать. Сжимаются кулаки...

А когда я возвращался, я столкнулся в калитке с Гольтяковым. Мутно-грозными глазами он оглядел меня, погрозил кулаком и побежал через улицу. На дворе была суетня. В снегу полусидела Прасковья в разорванном платье. Голова бессильно моталась, космы волос были перемешаны со снегом. Из разбитой каблуком переносицы капала кровь на отвисшие, худые мешки грудей. Хозяйка и Феня ахали.

Я остановился и смотрел, бессмысленно и неподвижно. Было в душе только тупое отвращение и какая-то тошнота. Странно запомнились, вытесняя чудные глаза Прасковьи, эти жалкие мешки ее грудей, в страдальческом безразличии открытые взорам.

Страшно усталый, я лежал на кровати. В душу въедался оскоминный привкус крови. Жизнь кругом шаталась, грубо-пьяная и наглая. Спадали покровы. Смерть стала простою и плоскою, отлетало от крови жуткое очарование. На муки человеческие кто-то пошлый смотрел и тупо смеялся. Непоправимо поруганная жизнь человеческая,— в самом дорогом поруганная,— в таинстве ее страданий.

И вечно, вечно сжимайся, жди без конца, дави желание бешено броситься навстречу!

Пришел Мороз. Возбужденный, с вздувшеюся багровою полосою поперек лица. Он пил чай, жадно жевал булку. И, смеясь, рассказывал:

— Вьется надо мною, все хочет достать нагайкою. А я в канавку втиснулся и лежу. Видит, не выходит его дело,— хочет лошадью затоптать. А живая тварь, лошадь-то, не желает ступать на живого. Стал он меня тогда с лошади шашкою тыкать,— проколол бок. Пальто вот все изрезал. Ну, да не жалко: старое.

— Что старое?

— Пальто.

— Пальто?.. Мороз, голубчик!

Я расхохотался, вскочил и стал целовать его милое скуластое лицо.

— И сильно он вам пальто попортил? Вот негодяй! Давайте посмотрим. Да кстати и бок.

Глубоко изнутри взмыл смех и светлыми струями побежал по телу. Что это? Что это? Все происшедшее было для него не больше как лишь смешною дракою! Что в этих удивительных душах! Волны кошмарного ужаса перекатываются через них и оставляют за собою лишь бодрость и смех!

На боку оказалась царапина. Мороз сел зашивать просеченное пальто.

Пришли Наташа, Дядя-Белый, другие. Кой-кого не хватало. Пили чай. Рассказывали о пережитом. Что-то крепкое и молодо-бодрое вырастало из ужаса. То черное, что было в моей душе, таяло, расплывалось, недоумевая и стыдясь за себя.

От хохота было тесно в комнате. Осетин Хетагуров рассказывал своим смешным восточным говором, как он из чащи вскочил на лошадь к стражнику, выбросил его из седла в снег и ускакал. Желтоватые белки ворочались, ноздри раздувались. Странно было на его гибкой, хищной фигуре горца видеть студенческую тужурку.

— Пачыму вы смэетесь?

Он с недоумением оглядывал нас, и глаза при воспоминании загорались диким, зеленоватым огнем. Милый Али! Я помню, как в октябре он один с угла площади вел перестрелку с целою толпою погромщиков. И все какие милые, светлые! В одно сливались души. Начинала светиться жизнь.

Вышел из своей комнаты Алеша, сидел и почтительно слушал.

Я написал воззвание. Наташа и Мороз ушли печатать. Уходя, Мороз улыбнулся и крепко тряхнул мою руку.

— А что, Сергеич! Скучно будет жить на свете, когда придет этот самый наш социализм!

Приехал доктор Розанов. Сразу все оживились. Почувствовалась властная, уверенная рука.

Его усиленно разыскивают, грозит ему недоброе. Но

он приехал. Только бороду сбрил и покрасил волосы. Это смешно: огромная голова на широких плечах, глубоко сидящие зеленоватые глаза, давняя хромота от копыт казацкой лошади,— кто его у нас не узнает? Он две недели владел городом. Черносотенцы называли его «ихний царь».

Раньше он мне мало нравился. Чувствовался безмерно деспотичный человек, сектант, с головою утонувший в фракционных кляузах. Но в те дни он вырос вдруг в могучего трибуна. Душа толпы была в его руках, как буйный конь под лихим наездником. Поднимется на ящик, махнет карандашом,— и бушующее митинговое море замирает, и мертвая тишина. Брови сдвинуты, глаза горят, как угли, и гремит властная речь.

Я не мог решить, правильно ли он действует, я ничего не понимал в закрутившемся вихре. Но его стальная воля покорила меня, как и всех, я слепо шел за ним. Спокойно и властно он мог всех нас послать на смерть,— и мы бы пошли и верили бы, что так нужно.

И вот он теперь приехал.

— Иван Николаевич, это безумие!

— Скажите-ка лучше, что у вас там в комитете нарундили? Совсем меньшевистские повадки. Это все вас Наташа мутит.

С ночевками его вышла история. Решили поместить его у Катры и поручили мне попросить ее. Но что лезть к человеку, который отбивается и руками и ногами? Я решительно отказался. Тогда пошел к ней Перевозчиков. Навязчивостью и ложью он многого достигает,—тою фальшивою «пролетарскою моралью», которую культивируют как раз интеллигенты. В Ромодановске он сидел в тюрьме; после долгих хлопот удалось уговорить одного адвоката внести за него залог; Перевозчиков сейчас же скрылся: «У этих буржуев денег хватит!» В квартире, данной нам буржуем, он пачкает сапогами диваны из презрения к буржую.

Катра приняла Перевозчикова высокомерно, высокомерно отказала, а в заключение прибавила:

— Пусть попросит Чердынцев,— тогда я подумаю.

С хохотом Перевозчиков рассказал это. Все хохотали, поздравляли меня с победою над сердцем декадентки. Ужасно было глупо, и я-то понимал, что тут вовсе не «победа».

Пересилил себя, пошел. Катра встретила меня очень

любезно, в недоумении пожимала плечами, сказала, что тут какое-то недоразумение. А глазами нагло смеялась. И отказала решительно.

Ночует Розанов там и сям. Раза два даже у Маши ночевал, в передней.

Есть люди, есть странные условия, при которых судьба сводит с ними. Живой, осязаемый человек, с каким-нибудь самым реальным шрамом на лбу,— а впечатление, что это не человек, а призрак, какой-то миф. Таков Турман. Темною, зловещею тенью он мелькнул передо мною в первый раз, когда я его увидел. И с тех пор каждый раз, как он пройдет передо мною, я спрашиваю себя: кто это был,— живой человек или странное испарение жизни, сгустившееся в человеческую фигуру с наивно-реальным шрамом на лбу?

В первый раз я его увидел на митинге, в алом отблеске знамен, среди плеска и шума неудержимо нараставшей потребности в действии. Бледный полицмейстер пытался говорить:

— Граждане! Чтоб избежать напрасного кровопролития...

— Долой! Не мы крови хотим, а вы!..

— ...чтоб напрасно не полилась человеческая кровь, я умоляю вас...

— Вон его!.. Долой!..

Полицмейстер измученно махнул рукою и сошел с ящика. Кипели речи. Около полицмейстера стояла Наташа. Мелькнула темная фигура,— это был Турман. Задыхаясь, он остановился перед полицмейстером, потоптался. Странно наклонившись, шагнул в сторону. Опять воротился. Как будто сновала зловещая ночная птица. В одно время полицмейстер и Наташа вдруг поняли,—понял вдруг и Турман, что они поняли. И стояли все трое, охваченные кровавою, смертною дрожью, и молча смотрели друг на друга. Наташа заслонила полицмейстера рукою и властно крикнула:

— Товарищ, уйдите!

Турман крепко сжатою рукою что-то держал в кармане пальто. Он топтался на месте, дрожал и впивался взглядом в глаза Наташи.

— Уйти?.. Наташа!

— Сейчас же уйдите! Слышите?

— Так уйти?.. Ната... Наташа?..

Я решительно обнял его за плечи.

— Пойдемте, товарищ! Вам тут нечего делать!

Все еще дрожа, он покорно, как в гипнозе, пошел со мною в толпу... Через минуту, все забыв, Турман жадно слушал несшиеся в толпу призывы.

Сегодня он опять темным призраком прошел перед душою, и опять я спрашиваю себя: живой это человек? Или сгустилась какая-то дикая, темная энергия в фигуру человека со шрамом на лбу?

Спокойно глядя на него, Розанов беспощадно говорил:

— В профессионалы вы не годитесь. Никакого дела мы вам дать не можем. Вы не умеете сдерживать себя, когда нужно. Вы весь отдаетесь порыву. Вы не ведете толпу, а сами несетесь с нею...

Турман дрожащими руками закуривал папиросу и никак не мог закурить.

— Как же это не может мне дело найтись? Я ни отчего не откажусь. Давайте, что знаете. Что ж мне, сложа руки сидеть? И это тоже: с голоду издыхать? Сами знаете, я теперь безработный. За общее дело пострадал, никуда не принимают.

— Жалко вас, но партия не богадельня.

— Да я у вас не милостыни и прошу, а дела... Гм! Ну, па-ргия! Жалуются, людей нет, а людей гонят. Жалуются, денег нет, кругом все добывают деньги — на пьянство, на дебош... А они на дело не могут.

Розанов быстро поднял голову.

— Как это деньги добывают?

— Как! Сами знаете!

Они молча смотрели друг другу в глаза.

— Вы говорите про экспроприации. Запомните, Турман, хорошенько: партия запрещает их.

— Я вам под чужим флагом устрою. Наберу молодцов Никто не узнает.

— Что такое? — Розанов встал.— Нам с вами разговаривать больше не о чем.

— Та-ак...— Турман взялся за шапку. Он задыхался.— Значит, окончательно за хвост и через забор? Благодарим!.. Речи болтать, звать на дело, а потом: «Стой! Погоди! Ты только, знай *организуйся*». Спасибо вам за ласку, господа добрые!

Собрание происходило в народном театре. На эстраде восседал весь их комитет,— председатель земской управы Будиновский, помощник директора слесарско-томилинского банка Токарев и другие. Приезжий из столицы профессор должен был читать о правых партиях.

Ходили слухи, что на собрание явится со своими молодцами лабазник Судоплатов — местный «Минин» и кулачный боец. Лица смотрели взволнованно и тревожно.

В первом ряду сидела жена Будиновского, Марья Михайловна, рядом с Катрою. Марья Михайловна поманила меня.

— Скажите, вы слышали, что будут судоплатовцы?

— Слышал.

— Неужели ваши будут так бестактны, что выступят?

— Обязательно!

— Ну да! Вы хотите сорвать собрание... Господи, положительно я не понимаю. Сами бойкотируете выборы,— зачем же другим мешать? Ведь бог знает что может произойти. Катерина Аркадьевна, не пойти ли нам за кулисы? Муж мне советовал лучше там сесть,— если что выйдет, легче будет уйти.

— Конечно, пойдите,— оно безопаснее.

Катра вспыхнула, высокомерно оглядела меня и отвернулась. Марья Михайловна взволнованно двинулась на стуле.

— Боже мой! Смотрите,— верно!.. Он!

В публике произошло движение. От входа медленно шел между стульями лабазник Судоплатов в высоких, блестящих сапогах и светло-серой поддевке, как будто осыпанный мукой. Сухой, мускулистый, с длинною седою бородою. Из-под густых бровей маленькие глаза смотрели привычно грозно.

Говорят, у него дружина в сто человек, вооруженных револьверами. Он входит к губернатору без доклада. Достаточно ему кивнуть толовою, чтоб полиция арестовала любого. Он открыто хвалится везде, что в дни свободы собственноручно ухлопал пять забастовщиков.

Прошел он и сел во втором ряду. И замер, прямо глядя перед собою. Как будто удав прополз и лег. Жуткий, гадливый трепет пронесся по рядам. Слухи становились грозящей действительностью.

Наши заняли правую сторону амфитеатра. Мороз шепнул мне на ухо:

— Ну, значит, быть бою!

Весело блестя прищуренными глазами, он вынул из кармана кастет и показал мне его из-под полы.

Вышел докладчик-профессор. Оглядел толпу близорукими глазами в очках и начал.

Говорил он мягко, красиво и задушевно. Правые партии объявляют себя опорою России: при каждом удобном случае твердят о своей готовности всем пожертвовать для царя и отечества. На днях еще это говорил в Дворянском собрании глава истинно русской партии, граф фон Ведер-Нох. Исследуем же их программу, посмотрим, чем они готовы жертвовать. Вот, например, аграрный вопрос. Беру программу, ищу и нахожу: первым делом рекомендуется переселение. Спору нет, это дело не бесполезно, хотя статистикою доказано, что свободных земель для заселения у нас весьма недостаточно. Но я спрошу: где же тут жертва?.. Рабочий вопрос. Рекомендуется государственное страхование рабочих. Опять против этого ничего нельзя возразить. Но жертва-то, господа, жертва где же?..

Профессор улыбался близорукими глазами и разводил руками.

Ярко вскрыл он узкое своекорыстие разбираемой партии, широко и красиво набросал собственную программу и кончил напоминанием, что на нас смотрит история.

— В ваших руках, граждане, дальнейшая судьба России, и строго допросите вашу совесть раньше, чем пойти к избирательным урнам!..

Захлопали — громко и настойчиво, но не густо. Большинство загадочно молчало.

Председатель объявил перерыв.

Настроение становилось все тревожнее. Дамы со страхом косились на Судоплатова. Он сидел на подоконнике и сонно-равнодушными, загадочными глазами смотрел перед собою.

Я пошел на эстраду записаться. Будиновский растерянно взглянул на меня. Стал убеждать не выступать.

— Толпа самая ненадежная,— приказчики, мелкие лавочники,— мещане. А мы имеем достоверные сведения, что в публике до полусотни переодетых судоплатовцев. Вы ведь знаете специальное назначение этих молодцов —

в нужные моменты изображать «возмущенный народ». Ваше выступление даст им возможность увлечь толпу на самые неожиданные выходки.

— Ну, а все-таки, пожалуйста, запишите меня.

Я воротился на место. Дыхание слегка стеснялось, сердце вздрагивало от ожидания. Море голов двигалось внизу. Огромная душа, чуждая и темная. Кто она? Враг? Друг?.. Кругом были свои, с взволнованными, решительными лицами. О, милые!

Зазвенел председательский звонок. Начали рассаживаться. Часть наших стала около эстрады, чтобы, в случае чего, быть поближе.

Будиновский поднялся из-за стола, взволнованно поглядел в мою сторону.

— Слово принадлежит господину Чердынцеву. Господин Чердынцев, пожалуйте на эстраду!

Алеша любящим беспокойным взглядом следил за мною.

Головы, головы перед глазами. Внимательные, чуждо-настороженные лица. Поднялась из глубины души горячая волна. Я был в себе не я, а как будто кто-то другой пришел в меня — спокойный и хладнокровный, с твердым, далеко звучащим голосом.

— Господа! Столичный профессор очень жестоко нападал здесь на правые партии. Позвольте заявить прямо и откровенно: я принадлежу к самой правой партии. Я — черносотенец. Тем не менее я от души приветствую доклад господина профессора, приветствую те основные мысли, на которых он строит свою критику. Для разных социал-демократов и забастовщиков программы их партии определяются тем, чего они *требуют*. Вооруженный наукою профессор доказал нам: достоинство серьезной политической партии определяется не тем, чего она требует, а тем, чем она жертвует. Чем жертвуем мы, кого вы называете черносотенцами,— это я после скажу. А раньше спрошу вас, господин профессор,— чем же жертвуете вы и ваша партия?

Разобрав их программу, определив состав партии, я стал доказывать, что всевозможные свободы и конституции им выгодны, сокращение рабочего дня безразлично, наделение крестьян землею «по справедливой оценке» диктуется очень разумным и выгодным инстинктом классового самосохранения.

— Чем же, господа, вы-то жертвуете? Всякие революционеры,— они по крайней мере жизнью своею жертвовали, а вы тогда сидели в ваших норках и болтали на разных съездах. Но вы спрашиваете: чем жертвуем мы? Извольте, я скажу. Вы все говорили о графах и богачах,— верно,— им жертвовать нечем. Но вот тут мы сидим, бедняки и не графы. Мужики, рабочие, ремесленники, приказчики. Да мы всем жертвуем для порядка отечества! Мы жен и детей готовы заложить, как великий наш патриот Минин!.. (Я с пафосом повысил голос.) И заложим, и всем пожертвуем... Жизнь отдадим за могущество и славу матушки России!..

Раздались хлопки, крики «ура!». Судоплатов, подняв бороду, все время пристально смотрел на меня, но тут тоже захлопал. Тогда в разных концах захлопали еще настойчивее. Совы, шныряющие только в темноте, приветствовали сову, смело вылетевшую на солнце.

— Чем мы жертвуем! И вы можете это спрашивать! Да что же вы думаете, мужик нашей партии слеп, что ли? Не видит он, что рядом с его куриным клочком тянутся тысячи десятин графских и монастырских земель? Ведь куда приятнее поделить меж собой эти земли, чем ехать на край света и ковырять мерзлую глину, где посеешь рожь, а родится клюква. А мужик нашей партии говорит: ну что ж! И поедем! Или тут будем землю грызть. Зато смирно сидим, начальство радуем, порядка не нарушаем... Разве же это не жертва?!

Пронесся недоумевающий ропот. Раздались смешки. Судоплатов еще выше поднял бороду и пристальными, загорающимися глазами смотрел на меня.

— Про неприкосновенность личности вы говорили... На мне вот, господин профессор, потрепанная блуза, а на вас тонкий сюртук. Если я попаду в каталажку, мне там пропишут такую неприкосновенность, какой вам никогда не видать. Всякий околоточный или урядник надо мною все равно что царь. А поверьте, господин профессор, я тоже человек, я тоже хотел бы, чтобы меня никто не смел хватать за шиворот. Но я говорю: это нужно для высшего порядка. Не моего ума дело соваться в политику. Господину полицмейстеру лучше видно... Да неужели же и это не жертва?

Меня прервал взрыв рукоплесканий и хохот. Судоплатов вскочил и опять сел. Перекатывался хохот, кричали

«браво», повсюду трепыхали хлопающие руки, даже на эстраде и в первых рядах.

Я восхвалял рабочих, для порядка голодающих и работающих без конца. Средь хохота и плеска Судоплатов встал и медленно, ни на кого не глядя, пошел вон.

Потом говорил Мороз, Перевозчиков. Опять я говорил, уже без маскарада. Меня встретила буря оваций. И говорил я, как никогда. Гордые за меня лица наших. Жадно хватающее внимание серых слушателей. Как морской прилив, сочувствие сотен душ поднимало душу, качало ее на волнах вдохновения и радости. С изумлением слушал я сам себя, как бурно и ярко лилась моя речь, как уверенно и властно.

Говорили, конечно, и с эстрады,— профессор, Будиновский, Токарев. Но было у них, как обычно теперь: им наносились удары слева, они стыдливо чуть-чуть защищались, а свои удары направляли вправо, в пустоту.

Трогательно было, когда собрание кончилось. Тесною, заботливою толпою меня окружили товарищи рабочие, и я вышел в густом кольце защитников.

Стояла в проходе Катра и скучающе слушала госпожу Будиновскую. Мельком Катра взглянула на меня, и в ее взгляде мелькнула на миг сиротливая зависть и горячая нежность. А может быть, это мне показалось.

— Слышал, слышал, как вы отличались! Везде только о вас и говорят! — Доктор Розанов смеялся зеленоватыми глазами и с горделивою нежностью смотрел на меня.— Вот что: знаете вы некоего человека, которого зовут Иринарх?

Я пренебрежительно ответил:

— Знаю.

Рассказал о его разговоре с Турманом и Дядей-Белым. Я ждал, что глаза Розанова вспыхнут презрением. Но он выслушал внимательно и очень спокойно, с тем взглядом глаз, который я знаю у него,— выше людей смотрящим, где каждый человек — лишь материал.

— Он может нам пригодиться.

— Сомневаюсь. Это одиночка до мозга костей и гастроном жизни.

— Мы ему сколько угодно поднесем пикантных блюд.

Мне хотелось знать, как относится Розанов к его разговору с Турманом.

Розанов уклончиво ответил:

— В сущности, он во многом прав. Только ошибка его, что он мыслит не диалектически. В процессе своем жизнь выработала из человека тип, для которого борьба стала фетишем. Но нельзя же, например, агитатору говорить такие вещи перед толпой!.. Нашел кого просвещать,— Турмана! Этакий болван!

Вчера вечером Алексей нажарил печку, в низкой комнате было жарко и душно, я долго не мог заснуть. Встал поздно, в двенадцатом часу. Наставил в кухне самовар и стал чистить свои ботинки.

В наружную дверь постучались.

— Кто там?

Ответил голос Катры. Что это значит? Я надел ботинки и пиджак, отпер дверь.

Она вошла, румяная от холода, немного смущаясь.

— Здравствуйте! Пришла к вам в гости,— сказала она недомашним, застенчиво тихим голосом и улыбнулась.

Улыбкою, как медленною зарницею, осветилось ее лицо, и осветилось все кругом.

— Чудесно! Сейчас поспеет самовар, будем чай пить.

По-обычному я враждебно насторожился, стараясь не поддаться ее красоте и свету ее улыбки.

Катра, наклонившись, снимала с ноги серый меховой ботик, с любопытством оглядывала убогую, обмазанную глиною кухню.

— Как к вам трудно пройти! Сугробы горами и узенькие-узенькие тропинки... Что это вон на полу лежит, письмо? Кажется, нераспечатанное.

Около моей двери лежал большой серый конверт. Я поднял его.

— Должно быть, в щель вашей двери был засунут, вы открыли дверь, он выпал.

На конверте рукою Алексея было четко написано: «Его Высокоблагородию Константину Сергеевичу Чердынцеву. *Весьма нужное*». В конверте оказался другой конверт, поменьше, белый, и на нем стояло:

«Костя! Пожалуйста, *ради всего тебе дорогого*, пре-

жде чем предпринимать что-нибудь, прочти *все* мое письмо возможно спокойнее, дабы не сделать ложного шага».

Я дрожащими руками разорвал конверт. Было написано много, на двух вырванных из тетради четвертушках линованной бумаги. Перед испуганными глазами замелькали отрывки фраз: «Когда ты прочтешь это письмо, меня уж не будет в живых... Открой дверь при Фене... Скажи ей, что я самоубийца... согласится дать показание. Вчера воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар».

Из смутного тумана быстро выплыло вдруг побледневшее лицо Катры. Как в зеркале, в нем отразился охвативший меня ужас. Я бросился мимо нее к двери Алексея.

Дверь была заперта изнутри,— крепкая, в крепких косяках. Я бешено дернул за ручку. Что-то затрещало и подалось, я дернул еще раз, радостно и удивленно чувствуя, что силы хватит. Правый косяк подался, дверь с вывернувшимся замком распахнулась, и штукатурка в облаках белой пыли посыпалась сверху. Охватило душным, горячим чадом.

С кровати, придвинутой изголовьем к открытой печке, полусидя и странно скорчившись, Алексей неподвижно смотрел в просвет взломанной двери.

Я бросился к нему.

— Алеша!.. Голубчик!..

Бледный, он перевел на меня, не узнавая, огромные, чуждые, смертно-серьезные глаза. Смотрел и бессмысленно бормотал:

— Что такое?.. Что такое?..

Я раскрыл форточку, вынул из трубы горячие вьюшки. В мутных глазах Алексея мелькнуло сознание. Он медленно спустил ноги с кровати и вздохнул.

— Родной мой, Алеша!..

Задыхаясь, с дрожащими губами, я сел рядом с ним, обнял его плечи. Он сидел в одном нижнем белье, вытаращив глаза, и медленно оглядывался — с пристальным, испытующим любопытством.

— Как глупо! Как нелепо!

Он с отвращением передернул плечами и продолжал украдкой оглядываться, как будто выискивал, отчего не удалась попытка.

Я что-то говорил, а он безучастно молчал. В дверях

показалась Катра и, увидев его раздетым, отошла. Алексей равнодушно проводил ее глазами. Белый, уныло-трезвый свет наполнял комнату. У кровати стоял таз, полный коричневой рвоты, на полу была натоптана известка, вдоль порога кучею лежало грязное белье, которым Алексей закрыл щель под дверью.

И он сидел понурившись, с вырисовывавшимся под бельем крепким, мускулистым телом, сложив на коленях большие, как будто рабочие руки.

— Что у меня такое с языком?.. Посмотри, пожалуйста, у меня ощущение, как будто кончика нет.— Еще сильнее обычного его голос звучал неестественно и деланно.

Он высунул распухший, толстый язык. На языке темнели глубокие отпечатки зубов, как на тесте. Я ответил:

— Распух язык. Ты его себе прикусил.

Не глядя на меня, он лег в постель и укрылся одеялом. Я осторожно и любовно спросил:

— Как ты себя чувствуешь?

Алексей равнодушно ответил:

— Ничего. Голова только отчаянно болит... Попробую заснуть.— Он помолчал.— Вот что, Костя: пожалуйста, никому не говори. Так глупо!

Он отвернулся к стене и закутался с головою. Я вышел. Катра стояла в моей комнате у окна. Она торопливо стала спрашивать:

— Ну, что? Как он?

— По-видимому, ничего, все благополучно. Должно быть, поздно печку закрыл, мало было угару, а организм здоровый... Пожалуйста, Катерина Аркадьевна, никому не рассказывайте.

— Ну да, конечно же!.. Скажите, ведь при угаре помогает нашатырный спирт? Вам нужно здесь остаться, я схожу в аптеку.

Она поспешно оделась и ушла. Я поднял с пола письмо, стал читать:

15 февраля, 2 ч. ночи.

«Когда ты прочтешь это письмо, меня уж не будет в живых. Пожалуйста, поступи так: открой дверь при Фене (ключ под дверью на пороге), скажи, что я самоубийца, что я буду гореть в вечном огне и что помочь мне могут только панихиды. Она девушка добрая и согласится дать такое показание: «Алексей Васильевич часто топил

печку на ночь; вчера вечером он воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар...» Только бы Маша не узнала настоящей причины! Голубчик, дорогой, прими к этому все меры!.. Я больше месяца мучился, старался побороть себя, но *не могу*, и даже мысль о Маше не может меня удержать. Бедная, бедная Мадонна! Я любил ее больше всех на свете.

А причины? Что же я не пишу о причинах моей смерти? Я чувствую себя *чересчур* уж «маленьким человеком». Я думаю, больше нечего об этом писать, ты меня поймешь. Прощай, мой хороший, смелый, умный. Если я на что шел, то только потому, что ты вел меня. Завтра вы будете пить чай, ходить по улицам, а меня *совсем не будет*... Чудно!»

8 час. утра.

«Проснулся,— голова болит, но жив; пошел и взял назад это письмо. Как глупо! Видно, пять поленьев мало. Поэкономничал, жалко было тратить много дров. Все моя глупая деликатность. Сегодня положу в печку десять».

4 часа утра, 16 февраля.

«Вчера ночью я плакал, волковался, уходил из дома, а теперь чувствую такое спокойствие и решимость! Печка натоплена жарко, углей масса, и жар валит в комнату. Теперь мне такими маленькими-маленькими кажутся все людские страдания и печали. И знаешь? Такою маленькою кажется мне и твоя радость жизни, освещенная будущим. Неужели ты вправду веришь в нее? Ну, не сердись, прости меня. Ты, конечно, веришь, иначе как бы ты мог жить? Но это вера, и не больше. А я к своему выводу пришел разумом, неопровержимою логикою: жизнь человеческая есть отрицательная величина, а смерть — нуль; нуль же больше всякой отрицательной величины, это говорит математика. И если даже прав Иринарх относительно размаха в положительную и отрицательную сторону, то и тут я столь же строго-математически извлекаю среднее и получаю тот же молчаливо-выразительный нуль... Прощай!»

Он пытался, значит, две ночи подряд! Я смотрел на ровные, четкие строки, на эти два сероватых листика с

школьною голубою линовкою... А вчера вечером он со мною пел, дурачился. Это,— имея позади одну ночь и в ожидании другой. У меня захолонуло в душе.

Я вышел в кухню, заглянул в его комнату. Алексей лежал лицом к стене и — притворяясь? — ровно и громко дышал, как будто крепко спал. Я сел к нему на постель, обнял через одеяло и припал к нему.

Алексей вздрогнул, раскрыл глаза и, тряхнув головою, стал оглядываться, как человек, разбуженный после крепкого сна. И нельзя было разобрать, притворяется он или нет. Я сказал прерывающимся голосом:

— Алеша, Алеша, что ты хотел сделать!

Он старался не встретиться со мною глазами. Взгляд его был чуждый и отдаленный; на бледном, страшно осунувшемся лице темнели глубоко впавшие, окаймленные синевою глаза. Он как будто смотрел из другого мира, неподвижно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я продолжал:

— И почему? Какие причины? То, что ты пишешь,— разве это основание? «Маленький человек». А разве мы все не маленькие? Неужели право на жизнь имеют только Лассали и Гарибальди? Да и не в этом все дело, ты просто изнервничался в тюрьме, ослабел.

Алексей слушал, заложив руки за голову, и смотрел в потолок. На губах его мелькнула усмешка. Он удивленно сказал:

— Чудак ты! Вот я не думал, что ты будешь так держаться! Что тюрьма? Посмотри, какой я крепкий. Дело вовсе не в этом. Ты отлично должен бы все понять.

— А потом — Маша. Как можно было бы это скрыть от нее? Конечно, Феня разболтала бы, да и вообще то, что ты придумал, слишком невероятно.... А что бы с нею тогда сталось?

— По-твоему, это, значит, главная причина? А если бы Маши не существовало? — с странным любопытством спросил Алексей. Он поднял голову и облокотился о подушку.— Для чего мне, собственно, продолжать жить? Неумелый. За что ни возьмусь, получается ерунда. Вот два раза подряд даже убить себя не сумел. И ты отлично знаешь мою судьбу: ворочусь в университет, кончу — серенький, аккуратный; поступлю на службу... А страдания меня вовсе не прельщают... Для чего же все?

Он теперь прямо смотрел мне в глаза, и глубоко в его зрачках светилась добродушная, прощающая усмешка.

Я растерянно молчал. Этот взгляд, смотревший на меня из другого мира, принял бы одну только глубокую правду. И все, что я мог бы сказать, чувствовало себя ненужным, фальшивым, все бессильно спадалось, обвисало и сморщивалось. Радость жизни, радость борьбы,— но он их не ощущал. Жизнь для других,— но как будто об этом можно случайно забыть и при напоминании убедиться... А между тем душа громко, настойчиво кричала, всем существом кричала, что должно быть что-то громадное, полное, могучее по своей неоспоримой убедительности. Но что?

Я молча прошелся по комнате, сел к столу. Около склянки с чернилами аккуратною стопочкою были сложены все конспекты, записная книжка, потертый кожаный портсигар. Паспорт был раскрыт. В рубрике: «Перемены, происшедшие в служебном, общественном или семейном положении владельца книжки», рукою Алеши четко было вписано:

«Волею космического разума обратился в ничто 16 февраля 1906 г., в 6 часов утра».

Алексей увидал, что я читаю, и поморщился.

— Э, это я так, дурачился.

Я перевернул страницу. Все рубрики были заполнены его старательным, аккуратным почерком.

«*Приметы: рост:* — Так себе. *Цвет волос:* — Неопределенный. *Особые приметы:* — Конечно, нету».

Алексей неестественным голосом сказал:

— Слушай, Коська, я спать хочу. Голова болит.

— Я уйду. Только вот что... Голубчик! — Я нерешительно подошел.— Дай мне слово, что больше не будешь пытаться.

— Не буду. Не сумел,— сам виноват. Теперь бы это было свинством.

— Правду только говоришь, Алеша?

Любовь и горькая жалость были во мне. Я обнял его и целовал — нежно, как маленького, беззащитного брата. Алексей вдруг всхлипнул, обнял мою шею и тоже крепко поцеловал меня. И я чувствовал, как страшно пусто и как страшно холодно в его душе.

— Алешка, Алешка, тяжело тебе! Нужно, брат, встряхнуться, нужно перестроить жизнь... Мы поищем...

Он усмехнулся.

— Теперь только и остается. Отказался от смерти, приходится что-нибудь поискать в жизни.

— Найдем, брат, найдем!.. Ей-богу, найдем!

Стало легко и близко, разрушилась преграда. Мы несколько времени сидели молча. Я участливо спросил:

— Голова болит?

— Ужасно! — поморщился он.

— Сейчас Катерина Аркадьевна принесет нашатырного спирта. Ты его нюхай, легче будет.

— Слушай, зачем она здесь?

— Случайно зашла, и как раз попала.

— Ну, ладно, буду спать...

Я ушел в свою комнату, подошел к окну. На улице серели сугробы хрящеватого снега. Суки ветел над забором тянулись, как окаменевшие черные змеи. Было мокро и хмуро. Старуха с надвинутым на лоб платком шла с ведром по грязной, скользкой тропинке. Все выглядело спокойно и обычно, но было то и не то, во всем чувствовался скрытый ужас.

Сегодня утром так же чуть таяли хрящеватые сугробы, так же проходили по тропинке женщины к обледенелому колодцу. А в это время он, со смертью и безнадежностью в душе и со страшною решимостью, валялся головою к печке в горячем угарном чаде, с судорожно закушенным языком.

И мне вспомнилось: в первую из этих ночей я долго слышал сквозь сон, как он двигался в своей комнате, слышал скрип наружной двери и шаги за окном. А вчера вечером мы пели вдвоем, боролись, и он смеялся. Потом, ночью, я читал Макса Штирнера, а там, за тонкою стеною, совершалось в человеческой душе самое страшное, что есть на свете. Страшное — и одинокое, глубоко, непостижимо одинокое. И если бы он тогда вошел ко мне и сказал: — отбросим все условности, поговорим по душе, не прячась друг от друга,— скажи по совести, для чего мне продолжать жить? — то я все равно ничего не мог бы ему ответить. И он, стоя обеими ногами в могиле, смотрел бы на мою растерянность с тою же добродушною насмешкою...

Извозчик подъехал к воротам. Торопливо вошла Катра с нашатырным спиртом. Я пошел со склянкою к Алексею. Опять он встряхнулся и удивленно раскрыл глаза,

и опять нельзя было понять,— спал ли он, или притворялся и думал о чем-то.

Как будто для моего удовольствия он понюхал раза два из бутылочки и завернулся с головою в одеяло. Я тихонько вышел. Катра задумчиво ходила по моей комнате.

— Константин Сергеевич, может быть, можно ему что-нибудь сделать, помочь ему... Отчего это он, отчего?

Я устало сел на постель. Недоумение и растерянность были в душе, и что-то, как будто помимо сознания, напряженно думало все над одной мыслью:

— Вот вплотную подойдет к вам человек, подойдет и спросит: не хочу я жить,— почему мне не умереть? И ответьте ему так, чтобы это не было фразой. На что же мы вообще можем ответить, если не можем ответить на это? А ведь, казалось бы, ответить нужно так, чтоб ясная убедительность ответа покоряла легко и сразу, нужно ответить с недоумевающим смехом,— как можно было об этом даже спрашивать...

Катра, наморщив брови, смотрела мимо меня в окно, как будто намеренным непониманием отгораживалась от моих вопросов. Она сказала:

— Может быть, это временное? Нужно отвлечь его от его мыслей и настроений, рассеять...

Сидела она, облокотившись о стол, и была это не запершаяся в себе красавица, лелеющая свою красоту, а прежняя Катра, с гладкими волосами, простая и отзывчивая. Стало близко, как с товарищем. Мы долго сидели и разговаривали вполголоса.

Я наставил давно выгоревший и остывший самовар. Решили, что Алексею хорошо бы выпить чаю с коньяком. Катра осталась дежурить, а я пошел в город за вином и тихонько захватил свои часы, чтобы заложить.

Спускались сумерки. Мелкий, сухой снег суетливо падал с неба. Я остался один с собою, и в душе опять зашевелился притихший в разговорах ужас. На Большой Московской сияло электричество, толпы двигались мимо освещенных магазинов. Люди для чего-то гуляли, покупали в магазинах, мчались куда-то в гудящих трамваях. Лохматый часовщик, с лупою в глазу, сидел, наклонившись над столиком. Зачем все?

Так огромно было то, перед чем сегодня ночью стоял Алексей. Так ничтожна была суетня кругом. И не только

она. Мелькнувшее в темноте румяное личико девушки, перебитая каблуком переносица Прасковьи, стачка циглеровцев, вопросы о будущем, искания мысли и творчество гения — все одинаково было ничтожно и мелко.

И опять мне вспоминалось, как с темною безнадежностью в душе он валялся с закушенным языком в жарком угарном чаде. И губы начинали прыгать, и в темноте слезы лились из глаз.

Идут дни. Снова все обычно. Снова мы разговариваем, шутим, как будто ничего не случилось. Но он смотрит на меня из другого мира и только скрывает это. Когда я осторожно пытаюсь заговорить о том, что у него в душе, он морщится и отвечает:

— Ну, оставь, пожалуйста! Я дал тебе слово, что больше не буду повторять,— чего же тебе еще?

Что-то глухо огородило его душу. Хочется разорвать, раскидать руками преграду, вплотную подойти к его душе, горячо приникнуть к ней и сказать...

Но что сказать?!

В душе моей ужас. И не потому, что Алеша стоит перед смертью. На моих глазах его били городовые дубинками и рукоятками револьверов, залитая кровью голова бесчувственно моталась. Я шел мимо, одетый деревенским парнем, с гирляндою револьверов под полушубком. И тогда было не то. Я шел — и не мозгом, а всем существом в лихорадочном смятении ощущал одно: Алеша, Розанов, я, другие — все это совсем ничто, есть что-то огромное и общее, а это пустяки. Сейчас избивают Алешу,— пускай! Завтра меня самого, раненого, будут топтать лошадью,— пускай! И это думалось без смирения и без гордого вызова, а просто как что-то естественное и само собою понятное.

Тогда было совсем не то.

Топится печка. В ее пасти — куча раскаленных мигающих углей, по ним колышутся синие огоньки. Алексея нет дома. Я сижу с кочергою перед печкой в его комнате. Мне кажется, в воздухе слабо еще пахнет угаром и смутный ужас вьется в темноте.

Перед тою ночью, вечером, мы пели дуэтом: «Не шуми ты, рожь...» Он однообразно и размеренно гудел своим

басом, и я возмущался, дирижировал, замедлял темп. Там есть слова:

Тяжелей горы, темней полночи,
Легла на сердце дума лютая...

Я морщился и останавливал его.

— Ну, Алешка, ведь *дума лютая,* — ты пойми, представь ее себе!.. Тоски побольше, грусти безнадежной... Давай еще раз!

Он конфузился, и мы начинали снова. И он бесплодно старался вложить безнадежную тоску в «думу лютую»... А у самого в это время — какая лютая-лютая дума была в душе!

От печки жарко. Темные налеты, мигая, проносятся по раскаленным углям. Синие огоньки колышутся медленнее. Их зловещая, уничтожающая правда — ложь, я это чувствую сердцем, но она глубока, жизненна и серьезна. А мне все нужно начинать сначала, все, чем я жил. У меня, — о, у меня «дума лютая» звучала такой захватывающею, безнадежною тоскою! Самому было приятно слушать. И теперь мне стыдно за это. И так же стыдно за все мелкие, без корней в душе ответы, которыми я до сих пор жил.

Все нужно начинать сначала.

Жизнь неслась, как будто летел вдаль остроконечный снаряд, со свистом разрезая замутившийся воздух. Так неслась жизнь, и мы в ней. Голова кружилась, некогда было думать. И вдруг, как клубок гадов, зашевелились теперь вопросы. Зашевелились, поднимают свои плоские колеблющиеся головы.

И я читаю, читаю. И я думаю, думаю. И самому смешно — мне поскорее, пока Алеша не убил себя, нужно узнать вновь, и уже всерьез, — зачем жить.

Зачем жить?

Я смотрю на эти два написанных слова. Чего-то стыдно. Они глядят так наивно-банально, так по-гимназически. И это особенно страшно. Смешно глядят они не потому, что только гимназист не знает ответа на странно-простой вопрос, а потому, что только еще гимназист может ждать возможности ответа.

Ответа нет нигде. А люди живут.

Гольтяков все пьет. Пропил инструменты, пропил тальму Прасковьи. Вчера вечером пришел, рванул себя зубами за руку, оторвал лоскут кожи.

— Вот! Себя не жалею!.. То ли с тобой сделаю!

Ночью за нами прибежал Гаврик, братишка Прасковьи. Гольтяков накинулся на избитую до бесчувствия Прасковью и стал ее душить. Мы оттащили его и связали. Он щелкал зубами, катался по кровати и хрипел:

— Доберусь до тебя, шлюха проклятая, погоди!.. К студентам бегаешь ночевать,— думаешь, не знаю!.. Нашла заступников... Погоди!..

Гнусность, гнусность!

Зашел Иринарх, передал мне просьбу Катры прийти к ней. И, как маньяк, опять заговорил о радости жизни в настоящем, о бессмысленности жизни для будущего. Возражаешь ему,— он смотрит со скрытою улыбкою, как будто тайно смеется в душе над непонятливостью людей.

Я расспрашивал, подходил с разных сторон. Я хотел узнать, можно ли хоть что-нибудь извлечь из его осияния для того, что мне было теперь так важно. Но, занятый своим, Иринарх не замечал кровавой жизненности моих вопросов. Глядя из-под крутого лба, с увлечением разматывал клубок своих мыслей:

— Все уныло копошатся в постылой жизни, и себе противны, и друг другу. Время назрело, и предтеч было много. Придет пророк с могучим словом и крикнет на весь мир: «Люди! Очнитесь же, оглянитесь кругом! Ведь жизнь-то хороша!» Как и Иезекииль на мертвое поле: «Кости сухия! Слушайте слово господне!»

Я с ненавистью расхохотался.

— «Жизнь хороша!»... Сотни веков люди ломают себе голову, как умудриться принять эту загадочную жизнь. Обманывают себя, создают религии, философские системы, сходят с ума, убивают себя. А дело совсем просто,— жизнь, оказывается, хороша! Как же люди этого не заметили?

— Потому не заметили, что хотят «счастья», что задушены мертвым утилитаризмом. Что не настоящим живут, а ждут всего от будущего — либо в этом, либо в том мире...

Я уходил с ним. На крылечке под февральским солнышком сидела дрябло-жирная Пелагея Федоровна и кормила манною кашею любимого внучка. Сытый мальчишка через силу глотал кашу.

— Кушай, золотце мое!.. Вон Гаврюшка смотрит... Не-ет! Мы тебе не дадим, мы сами хотим! Ну, кушай, раскрой ротик! Ишь какой Гаврюшка! Смотрит!.. А вот дяди подошли, говорят: «Дай нам!» Не-ет, не дадим, ишь какие ловкие! Вы пойдите у себя покушайте, а это мне!

Иринарх смеющимися глазами смотрел и жадно любовался. Мальчонка холодным взглядом враждебно косился на нас и сквозь набитый кашею рот повторял:

— Это мне!

Прошла Прасковья с неподвижными, сурово-страдальческими глазами. Пелагея жалостливо спросила:

— Ну что, милая? Где злодей твой?

Прасковья слегка покраснела и с сумрачным вызовом ответила:

— Где? На работу пошел!

Иринарх, пораженный, смотрел ей вслед.

— Кто это? Какие глаза замечательные!

Мы шли к воротам. Я рассказывал ему про Прасковью, про недавнюю ночь. Он рассеянно слушал и вдруг сказал:

— Вот если бы не было страданий у нее, если бы муж ее хорошо зарабатывал, не бил бы ее, холил... Была бы она, как эта вот хозяйка твоя,— жирная, заплывшая, со свиным взглядом.

Я, задыхаясь, остановился.

— Уходи! Уходи от меня!.. Я не могу с тобой идти, иди один!

Иринарх очнулся от своих мыслей и с недоумением взглянул на меня.

— Что такое?

— Вон!! Выкидыш засохший!

Я в бешенстве хлопнул на него калиткою, она вышибла его на улицу, и я задвинул засов.

Нехорошо и глупо. Но уж больно нервы растрепались за последние дни. Вспомнишь,— опять сжимаются кулаки и охватывает кипящая злоба.

Но не только за Прасковью. Я вслушиваюсь в себя,— да, давно уже в проповедях Иринарха что-то вызывало во мне растерянную досаду, я не мог себе опровергнуть у него

какого-то неуловимого пункта и растерянность свою прикрывал разжигаемым презрением к Иринарху.

Довольно вилять перед собою. В одном, самом существенном и важном, Иринарх прав,— жизнь оправдывается только настоящим, а не будущим. А теперь, и теперь особенно,— я не знаю и не понимаю, как это возможно.

Пришла Катра. Робкая, застенчивая. Украдкою приглядывается ко мне. Своим тихим, недомашним голосом сказала с упреком:

— Отчего вы за это время ни разу не зашли ко мне? Ведь вы же понимаете, мне хочется знать, как Алексей Васильевич.

— Ничего. Совсем по-прежнему. Ходит на урок.

— Я сейчас с ним встретилась на улице, разговаривала. Вы знаете, у него в глазах как будто какая-то темная, мертвая вода. И он боится чужих глаз. Он все равно скоро убьет себя.

Теплым участием звучал ее голос. Но вдруг что-то во мне дрогнуло,— глубоко в зрачках ее прекрасных глаз, как длинный и холодный слизняк, проползло выжидающее, осторожно-жадное внимание.

Что такое было, я не знаю. Но не верю я теперь ее участию к Алеше. И когда она ушла, я злобно погрозил ей вслед кулаком.

Плохо идут у нас дела. Настроение неудержимо падает. Ничего не добившись, завод за заводом становятся на работу. И совсем другое теперь, когда перед тобою то же море голов. Не волшебный сад, а бесплодная пустыня. Живые, рвущиеся к жизни семена бессильно стукаются о холодные камни.

Староносовцы чуть вчера не избили Дядю-Белого.

— Три дня до получки оставалось,— что было подождать? Нет,— «пристанем, ребята!..» А жрать нам тоже надо, не снегом кормимся!

Дядя-Белый смотрел, остолбенев от неожиданности.

— Товарищи, вспомните: я как раз вас удерживал. Как раз я говорил: подождем до получки. Вы же меня тогда обругали трусом и предателем.

— За других влетели в кашу!.. Мы от хозяев обиды не знали!

Согнулись спины, потухли глаза. В темноте сонно и уныло, как невыспавшиеся рабы, ноют гудки. И идут в холоде угрюмые вереницы серых людей. А Мороз и другие в тюрьме.

Жадно я вглядываюсь во встречные лица. Меня узнают. Глаза одних со стыдом отворачиваются, глаза других загораются враждою.

Что-то у меня в душе перестраивается, и как будто пленка сходит с глаз. Я вглядываюсь в этих сгорбленных, серых людей. Как мог я видеть в них носителей какой-то правды жизни! Как мог думать, что души их живут красотою огромной, трагической борьбы со старым миром?

Светятся в сырой соломе отдельные люди-огоньки, краса людей по непримиримости и отваге. А я от них заключал ко всем. Налетит ветер, высушит солому, раздует огоньки,— и на миг вспыхнет все вокруг ярким пламенем, как вспыхивает закрученная лампа. А потом опять прежнее.

Помню я незабываемое время. Сотни тысяч людей слились в одно, и все трепетало небывало полною, быстрою жизнью. Сама на себя была непохожа жизнь — новая, большая, палившая душу живящим огнем. И никто не был похож на себя. Весь целиком жил каждый, до ногтя ноги, до кончика волоса,—и жил в общем. Отдельная жизнь стала ничто, человек отдавал ее радостно и просто, как пчела или муравей.

Но упал ветер, полил дождь,— и где они, сотни тысяч? Мокрая солома. А Мороз, Дядя-Белый — неизменно те же.

Не теперешняя наша мелкая неудача надела на меня темные очки. Давно уже мне начинает казаться, что мы обманываем себя и не видим кругом того, что есть. Повторяем грозные фразы о своей силе и непримиримости, а волны спадают, спадают, и скоро мы будем на мели.

О, я верю и знаю, воротятся волны, взмоют еще выше, и падут наконец проклятые твердыни мира. Я не об этом. Но я ясно вижу теперь,— не тем живут эти люди, чем живут Мороз, Розанов, Дядя-Белый. Тогда иначе было бы все и больше было бы побед. Не в борьбе их жизнь и не в процессе достижения, не в широком размахе напрягавшихся сил.

А в чем?

Мне не интересны десятки. Вот эти сотни тысяч мне важ-

ны— стихия, только мгновениями способная на жизнь. Чем они могут жить в настоящем?.. А подумаешь о будущем, представишь их себе,— осевших духом, с довольными глазами. Никнет ум, гаснет восторг. Тупо становится на душе, сытно и противно, как будто собралось много родственников и все едят блины.

У Катры постоянно приезжие гости. Особенная атмосфера там — пряная и слегка пьянящая. Чувствуется всеобщая тайная влюбленность в Катру. Я несколько раз был у нее. Там говорят о том, что мне теперь так важно.

Но мало дает.

Говорят, что мир плох, нужно его в своей голове сотворить другим, заслонить жизнь измышленною красотою. Что смысл жизни откроется людям в каких-то вакхических хороводах. Об искусстве говорят так, как мы говорим о борьбе. Много о боге говорят, очень умно и красиво. Но не чувствуется того смятенного трепета, который я чую в Маше. И понимаю я, что, раз побыв тут, Маша грустно ушла и больше не бывала. Не бог у них, а «бо-ог». Не огонь души, а гимнастика для ума. Величественный на вид, но удивительно покладистый и нетребовательный.

А сегодня читал свою странную драму Ивашкевич.

Я смеялся про себя необычным образам и оборотам, непонятным разговорам, как будто записанным в сумасшедшем доме. Не дурачит ли он всех нас пародией?.. И вдруг, медленно и уверенно, в непривычных формах зашевелилось что-то чистое, глубокое, неожиданно-светлое. Оно ширилось и свободно развертывалось, божественно-блаженное от своего возникновения. Светлая задумчивость была в душе и грусть,—сколько в мире красоты, и как немногим она раскрывает себя...

Он кончил, взволнованно ждал суждений. Быстро вышел без цели в столовую, опять воротился и непрерывно курил. Пряча самолюбие, впился в заговорившего глазами, приготовившимися к отрицающей оценке.

И ребячески-суетною радостью загорелись настороженные глаза от похвал. Губы неудержимо закручивались в самодовольную улыбку, лицо сразу стало глупым. Я вглядывался,— мелкий, тщеславный человек, а глубоко внутри, там строго светится у него что-то большое, серьезное, широко живет собою—такое безучастное к тому, что скажут. Та-

инственная, завидно огромная жизнь. Ужас мира и зло, скука и пошлость — все перерабатывается и претворяется в красоту.

Какая ошибка! Я искал ответа на свой вопрос у мыслителей, у творцов. Что я мог у них найти?

Благоухающие цветы человечества ищут смысла жизни и делают открытие,—смысл в том, чтобы благоухать. А крапива, репей, бурьян поучаются, вздыхают и повторяют: «Да, наше призвание — благоухать!» Орлы рвут ураган стальными крыльями и кричат сверху: «Жизнь в том, чтобы бороться с грозами!» А козявки цепляются за бьющиеся под ветром листья и пищат: «Да, жизнь в борьбе с грозами!»

Мне нет дела до орлов и цветов человечества. Борцы, подвижники, творцы,— они всегда жили и будут жить — в исканиях и муках, в восторге побед и трагизме поражений. А эти вот, серенькие, маленькие? Этот бурьян человеческий? Ведь здесь-то именно и нужно знать, для чего жизнь. Все люди живут. И для всех должно быть что-то общее. Не может смысл жизни разных людей быть несоизмеримым.

Эти, вот эти,— серые, бесцветные. С какой стороны к ним подойти? Если они живут и довольны жизнью, меня злость берет и негодование. Хочется толкать их, трясти, чтоб они очнулись и взглянули кругом,— вы не живете, вы обманываете себя жизнью! А очнутся, взглянут,— вот Алеша. И охватит ужас. И кричит душа, что есть, есть и должно быть что-то для всех.

Но что,— я не знаю. Строго, пристально вглядываюсь я в себя. Чем я живу? И честный ответ только один: не хочу быть и никогда не стану человеческим бурьяном. Стану Розановым, Лассалем. Иначе не понимаю жизни... Собрание врагов волнуется и бушует, председатель говорит: «Господа, дайте же господину Чердынцеву возможность оправдаться!» И с гордым удивлением орла среди галок я в ответ, как Лассаль: «Оправдаться?.. Я пришел сюда *учить* вас, а не оправдываться!»

Царственная, уверенная в себе сила, неотвратимо покоряющая людей и жизнь. Трепет врагов при одном моем имени. Глаза девушек, с сияющим восторгом устремленные на меня.

И может быть... Я все больше начинаю подозревать: может быть, ничего этого не будет. Я тоже бурьян. Когда Ивашкевич читал свою драму и я, всей душой противясь, невольно покорялся вставшей красоте,— я почувствовал себя перед ним таким мелким и плоским. А вчера,— ну, уж расскажу и это,— вчера у Будиновских меня срезали позорно, как мальчишку.

Был спор о недавних событиях. Я привел слова Маркса, что в июньские дни в Париже был разбит не пролетариат, а была разбита его вера в буржуазию. И Шевелев — кадет! — с вежливою улыбкою, даже бережно как-то, возразил, что не помнит таких слов у Маркса; если же они и есть, то согласиться с ними трудно,— в лучшем случае тогда были разбиты и пролетариат, и его вера в буржуазию. Я почувствовал, что краснею,— я не мог, я не мог уверенно сказать, говорил ли что подобное Маркс, или это я сейчас сам придумал в расчете на незнакомство противника с Марксом. И на возражение его я не умел ответить. А Шевелев не счел нужным закреплять свою победу и с тою же вежливою, бережною улыбкою искусно затушевал мою растерянность.

Сидел я на крылечке двора. По обледенелой тропинке, под веревками с развешанным бельем, катался на одном коньке Гаврик, братишка Прасковьи. Феня надрала ему вихры,— все тесемки на белье он завязал узлами, и так они замерзли. Он катался,— худой, с остреньким, вынюхивающим носом, и плутовские глаза выглядывали, где бы опять наколобродить.

Из-под крылечка Гольтяковых вылез на изуродованных ногах худой, облезший щенок Волчок. С месяц назад пьяный Гольтяков, когда Прасковья убежала от него, со злобы вывернул щенку все четыре ноги и забросил его в снег на крышу сарая.

Волчок ковылял и повизгивал, серая шерсть вихрами торчала на ввалившихся ребрах. Но глаза смотрели весело и детски доверчиво. Он вилял хвостом. Подошел к сугробу у помойки, стал взрывать носом снег. Откопал бумажку, задорно бросился на нее, начал теребить. Откинется, смотрит с приглядывающеюся усмешкою, подняв свисающее ухо, залает и опять накинется на бумажку.

— Волчок!

Он повернулся ко мне, а лапою прижимал к снегу бумажку. Задорно приглядывающиеся глаза смотрели на меня, и в них читалось, что жизнь — это очень веселая и препотешная штука.

С улицы деловито забежал на двор большой мрачный пес и стал обнюхивать сугроб у ворот. Волчок, ковыляя и махая хвостом, кинулся к нему, хотел шутливо куснуть его. Пес хрипло огрызнулся и быстро хватил его зубами. Волчок завизжал и покатился в снег.

Я крикнул на пса, он убежал, Гаврик смотрел — и вдруг изо всей силы пхнул коньком визжавшего щенка.

— Гаврик, ну как же тебе не стыдно! Собака его укусила, а ты на него же!

Волчок спасался к себе под крыльцо. Гаврик в негодовании смотрел ему вслед.

— Пускай не резонится, что я, такая, кусаюсь. Букашка этакая!..

Через десять минут опять вылез Волчок из-под крыльца. И опять в его приглядывающихся глазах была та же веселая усмешка.

Я пришел за Дядей-Белым. Он живет в Собачьей слободке. Кособокие домики лепятся друг к другу без улиц, слободка кажется кладбищем с развороченными могилами. Вяло бегают ребята с прозрачными лицами. В воздухе висит каменноугольный дым от фабрик.

Дяди-Белого еще не было. В тесной каморке возилась у печки его беременная жена Марья Егоровна. Трое ребят все лежали в кори. Нечем было дышать. От одиночной двери несло снаружи холодом.

Мы сидели с Марьей Егоровной у столика. Щеки ее осунулись, натянулась кожа на скулах, но глаза, прислушиваясь, спрашивали о чем-то неведомом. Так смотрят глаза у девушек-курсисток, у молодых работниц.

Она рассказывала:

— Это ведь уже четвертый ребенок будет, что же это? Как цепь какая тянется. Я, когда почуяла, всю ночь проплакала. Утром набралась духу, говорю ему... А он... Вдруг вижу,— вся его рожа так и просияла! Есть с чего, подумаешь! Вы только представьте себе,— сияет, как будто я ему невесть какой подарок объявила. Потирает руки, ухмыляется. Поглядела я на его рожу глупую — и тоже засмеялась. Сидим, как дураки, смотрим друг на друга и смеемся...

Она улыбнулась воспоминанию, покраснела. Изнутри идущая радость засветилась в глазах.

— Ну, хорошо. А все-таки...— Марья Егоровна задумалась.—Четвертый родится, что же потом? Потом—пятый...

Глаза широко раскрылись, обтянутые скулы выдались сильнее.

— А потом... Что же это? Потом — шесто-ой?..

Пришел Дядя-Белый

— Запоздал я. Идем?

— Да, нужно торопиться.

— Так идем. Егорка, прощай!

Он потрепал по шелушащейся щеке исхудалого мальчика с большими красными глазами.

— Вот, как в котле, все кипят... Из болезни в болезнь. Только что коклюш перенесли, корь напала...— Со своею медленною улыбкою он добавил:— Зато, какие выживут, закаленные будут люди.

Мы вышли. Изголодавшиеся легкие жадно вдыхали свежий воздух.

— Очень мало вы теперь зарабатываете?

— Мало... Расценки понижают. Что осенью у хозяев отвоевали, все теперь отбирают назад. Каждую неделю народ рассчитывают.

— Тяжело жить?

С бледною улыбкою он ответил:

— Тяжело.

Смотрел я на него: и никогда-то он не горит — всегда спокоен, ясен; упорно и без порыва смотрит в будущее. Нужно — с холодною отвагою бросится в огонь. Не нужно — с верою ждать будет годы.

Мы молча шли. Я украдкою приглядывался к нему.

— Да, в будущем всем будет хорошо. А все-таки... Семен Иванович! Теперь-то,— зачем теперь жить?

Дядя-Белый с недоумением взглянул на меня.

Я упорно говорил:

— Ну что кому до того, что в будущем будет хорошо? Ведь кругом-то от этого не легче. А живут для чего-то... Зачем? — Я повел кругом рукою.

Дядя-Белый поднял брови. Лукавое что-то и хитрое мелькнуло в его наивно-чистых глазах.

— Да, норы собачьи...— Он огляделся кругом, улыбнулся.— Тяжело, невозможно жить. А мы все-таки живы... Вот. Может, через месяц все с голоду подохнем. На ниточке ви-

сим, вот-вот сейчас оборвемся, а мы живы! В вонючих своих углах, под грязными одеялами ситцевыми,— а мы живы!

Я остановился и молча смотрел на него. Он все улыбался.

Крутится Волчок на изуродованных ногах. Смотрят с бескровного лица дико-испуганные, мучительные глаза Прасковьи. Радостно краснеет осунувшееся лицо Марьи Егоровны, Дядя-Белый лукаво улыбается. И один крик несется — вызывающий, мистически-непонятный:

«А мы живы! А мы живы!»

Свивается все в один серый клубок, втягивается в него вся жизнь кругом. Вьется, крутится,— вся неприемлемая, непонятная,— и, смеясь над чем-то, выкрикивает на разные голоса:

«А мы живы! А мы живы!»

Какое-то в этом самооскорбление жизни. Слепота какая-то, остаток умирающего недоразумения.

И все-таки упрямо и торжествующе звучит голос Иринарха:

«Человек живет для настоящего...»

Как все это понять, как согласить?

Я жил. Я опьянялся бодрящими, поверхностными разгадками. Теперь мне совсем ясно,— я мог так жить только потому, что глубоко внизу лежала другая, всеисчерпывающая разгадка. Да, несомненно, она всегда была у меня, и вот она: а все-таки лучший выход — взять всем людям да умереть. Настоящее решение всей жизненной чепухи —смерть и только смерть...

И никогда я не мог понять, как люди могут бояться смерти, как могут проклинать ее. Всегда ужас бессмертия был мне более понятен, чем ужас смерти. Мне казалось, в муках и скуке жизни люди способны жить только потому, что у всех в запасе есть милосердная освободительница— смерть. Чего же торопиться, когда конечное разрешение всегда под рукою? И всякий носит в душе это радостное знание, но никто не высказывает ни себе, ни другим, потому что есть в душе залежи, которых не называют словами.

Но вот Алеша взял да и назвал. И тогда меня охватил ужас. Алексей вырвал из мрака таинственное, неназываемое. Назвав, сорвал с него покровы. И лежит оно на свету— обнаженное, простое, ужасное в своей простоте и невиданном уродстве. И я не могу принять его.

Не могу принять этого,— не могу принять и противоположного. Алеша стоит с темными глазами. Дядя-Белый лукаво улыбается.

Розанов увидел у меня на столе «Происхождение трагедии» Ницше. Он поднял брови и со скрытою усмешкою протянул:

— Вот вы чем начинаете интересоваться!

Мне вдруг вздумалось спросить его. И я спросил.

В ответ звучали мертвые, чуждые мне теперь слова, а зеленоватые глаза с изучающим вниманием смотрели на меня. И все больше в них проступало жесткое презрение. Как будто шел человек к спешной, нужной цели, а другой пристает к нему: как это люди ходят? Почему? Почему мы вот идем на двух ногах и не падаем?

И мне странно стало, зачем я его спросил. У него только одно: «Кто не за нас, тот против нас». И не над чем задумываться, можно только с насмешкою и презрением отмести мои вопросы в сторону.

Но я вдруг вспомнил, что Розанов — врач, и как раз психиатр. Может быть, он что посоветует относительно Алеши. И я все рассказал ему про Алешу.

Розанов сразу изменился. С горячим участием стал расспрашивать, справлялся о всех подробностях.

— Так, так... Это очень важно. Так. Дома он? Я пойду поговорю с ним.

Розанов просидел с Алексеем более часу. Его голос звучал мягко и задушевно. Алеша по-обычному не смотрел в глаза, был взволнован и застенчив, держался со странною, подчиненною почтительностью подпоручика к генералу.

Они вышли пить чай. Маленькие зеленоватые глаза Розанова нежно и ободряюще смеялись на Алешу, властно-уверенным голосом он говорил:

— Вы подержитесь с полгода, сами тогда увидите, какая это все ерунда! А бром принимайте аккуратно, слышите! И обтирайтесь холодною водою.

— Обязательно, конечно! — поспешно отвечал Алеша, конфузясь.

Розанов был доволен собою. Из подчиненной конфузливости Алеши он заключил о силе своего влияния на него. А я видел, что Алеша только еще глубже спрятался в себя.

Я провожал Розанова. С серьезным лицом он ковылял, опираясь на палку, и говорил:

— Штука, в общем, очень скверная. Важно тут не то, что он сейчас хандрит. А вообще на всей их семье типическая печать вырождения: старший брат — пропойца; Марья Васильевна — с нелепо-неистовым стремлением распинать себя; другой брат, приват-доцент этот, отравился...

— Как отравился?! Евгений Васильевич?

— А вы не знали? Это, впрочем, скрывают. Но в литературных кругах всем известно, да и Марье Васильевне. Отравился цианистым калием... Вот эта-то гниль в крови и опасна.

Я жадно расспрашивал, и в душе у меня холодело.

Обреченный...

Внутри его — власть сильнее разума, от нее спасения нет! Незнаемое отметило его душу своим знаком, он раб и с непонимающею покорностью идет, куда предназначено. А в записке своей он писал:

«К своему выводу я пришел разумом, неопровержимою логикою...»

И я помню его брата Евгения. Блестящим молодым ученым он приезжал к Маше; его книга «Мир в аспекте трагической красоты» сильно нашумела; в ней через край била напряженно-радостная любовь к жизни. Сам он держался самоуверенно-важно и высокомерно, а в глаза его было тяжело смотреть — медленно двигающиеся, странно-светлые, как будто пустые — холодною, тяжелою пустотою. Два года назад он скоропостижно умер... Отравился, оказывается.

Неведомые науке изменения в мозговом веществе, в нервах. Оттуда изменения вползли в душу, цепкими своими лапами охватили «свободный дух». Алексей и не подозревает предательства. Воспринимает жизнь искалеченным от рождения духом и на этом строит свое отношение к жизни, ее оценку.

«Гниль в крови...» А у других, у меня — что там в крови, что в нервах, что под разумом? Как оно меняет мое восприятие и оценку жизни, как дурачит разум?

А я тоже доверчиво искал «разумом» — для себя и для Алеши. И надеялся найти что-нибудь не пустяковое.

Утром я сидел за книгою. Потом перестал читать и задумался — без мыслей в голове, как всегда, когда задумаешься. За стеною у хозяйки торопливо пробили часы... Сколько? Я очнулся, часы кончили бить. Было досадно — не успел сосчитать, а своих часов нет.

Не шевелясь, я осторожно придержал сознание, придержал память, прислушался к себе. И случилось удивительное. Где-то глубоко-глубоко во мне мерно и отчетливо повторился бой:

— Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум!

Восемь ударов.

Я был поражен. Я вышел в сени и открыл дверь к хозяйке.

— Пелагея Федоровна, который час?

— Сейчас восемь пробило.

Я воротился и взволнованно остановился у окна.

Глубоко внутри все слышался этот отдельный, независимый от меня бой:

— Тум-тум-тум...

Там, глубоко под сознанием, есть что-то свое, отдельное от меня. Оно вспоминает, пренебрежительно отбрасывая мою память... Я сейчас читал книгу, думал над нею, все понимал. А теперь почувствовал, что все время внизу, под сознанием, тяжело думалось что-то свое, независимое от книги, думалось не словами и даже не мыслями, а так как-то. И потом, когда я задумался без мыслей, там все продолжалась та же сосредоточенная работа.

— Тум-тум-тум-тум...— звучало в душе что-то слепое и живое.

Как будто в гладком полу освещенной залы открылся люк, и ступеньки шли вниз,— тум-тум-тум!—и я спускался все глубже и в смятении вглядывался в просторную темноту, полную живой тайны.

Алеша в своей комнате обливался холодною водою, потом внес ко мне самовар. Мы сели пить чай. Не глядя мне в глаза, деланно-веселым голосом он рассказывал что-то про хозяйку и Феню. А я украдкою вглядывался в его осунувшееся лицо, в низкий, отлогий лоб...

«Он к своему выводу пришел *«разумом, разумом»*...»

Зашла Маша. Кроткими своими глазами, в которых глубоко был запрятан болезненный ужас, она радостно смотрела на Алешу и говорила быстро-быстро, сыпля и обрывая слова. Знаю теперь, отчего этот ужас...

Я для разговора спросил Машу:

— Мне говорили, ты отказалась от урока у Саюшкиных?

Она вдруг оборвала себя, замолчала и стала смотреть в угол.

— Да... все равно...

— Отчего ты отказалась?

— Ну, все равно... Так... Это неважно...—Она покраснела и страдальчески наморщилась.— Я вообще уроков музыки больше не буду давать.

— Почему?

На ее чистом лбу появилась жалкая, упрямая складка.

— Господа, это бесполезно... Это все равно бесполезно... Вы будете спорить, а все равно меня не убедите... Я... не имею права давать уроков музыки...

Мы с изумлением слушали: на днях она при Катре играла Шопена, и Катра мельком сказала, что в ее музыке нет души. Маша два дня мучилась, думала и решила,— если это так, то она не имеет права обманывать непонимающих и брать деньги за преподавание музыки.

Маша доказывала это, волнуясь и торопясь, и против воли в ее голосе зазвучали слезы отчаяния,—она теряла почти все свои заработки.

Алеша спорил, возмущался.

— Это ерунда, но если это даже так?.. Подумаешь! Этим купеческим дочкам ведь только и нужно выучиться играть падеспань и матчиш... При чем тут душа!

— Ну, все равно... Алеша, оставь, не надо... Я не найду, что возразить, мне это будет тяжело, а все-таки я останусь при своем...

Я молчал и смотрел. К чему она ни подойдет, она из всего извлекает для себя страдание. Остается только наморщиться, прикусить губу и смотреть на ее лучистые, живущие страданием глаза и понять, что иначе для нее не может быть.

Они спорили. Слова крутились, сталкивались и бессильно падали. Я пристально смотрел на лица. Пусть спорят, о чем хотят, пусть спорят о самом важном. Пусть говорят друг другу о жизни, о боге— она, отрывающаяся от земли, и он, уходящий в землю. К чему тут слова и споры?

И пусть еще явятся люди, и пусть все спорят,— Розанов, Катра, Окорокова. Мне представлялось: Розанов убедил Машу,— и ее глаза засветились хищным пламенем, она познала смысл жизни в борьбе, она радуется, нанося и по-

лучая удары. И мне представлялось: Маша убедила Розанова, он в молитвенном экстазе упал на колени, простер руки к небу и своим свободным духом узрел невидимый, таинственно-яркий свет сверхчувственного...

Да, да! Отчего же это невозможно? Хотелось смеяться. Отчего это невозможно? Ведь одними и теми же законами живет разум—строгий, бесстрастный, сам себя направляющий...

— Тум-тум-тум...— шли звучащие ступеньки в темную глубину.

Спорят. А в глубине души у каждого лежит, клубком свернувшись в темноте, бесформенный хозяин; как будто спит и не слышит стучащихся снаружи слов и мыслей.

Иринарха дома не было, были только старики. Славно у них всегда — бедно, но уютно и оживленно, хочется чему-то улыбаться. В уголке сидит молчаливый Илья Ильич и курит. Шумит старенький, ярко вычищенный самовар, Анна Ивановна сыплет словами, и лицо у нее такое, как будто она сейчас радостно ахнет чему-то. И светлые голубенькие обои с белыми цветочками.

Сидела в гостях Юлия Ипполитовна, вечно больная тетка Маши. На губы она нацепила улыбку, а холодно-злые глаза смотрели по-всегдашнему обиженно. Анна Ивановна рассказывала про какую-то знакомую.

— Две недели целых мучится. Кричит без перерыву. Морфий впрыскивают, ничего не помогает. У меня до сих пор в ушах стоит ее крик... Как мучится человек!.. Вчера ухожу от нее,— она поманила, я наклонилась, шепчет мне в ухо: Анна Ивановна, милая! Попросите доктора — пусть он меня отравит. Нет моих сил терпеть!..

Ее голос задрожал, и легко выступающие слезинки заблестели на глазах. Юлия Ипполитовна думала о себе, она забыла держать на губах улыбку и измученно сказала:

— Господи, господи, зачем столько страданий дано человеку? Пускай бы умереть,— я всегда говорю: что в смерти страшного? Но только бы без страданий.

Анна Ивановна на секунду задумалась, как будто споткнулась, и одушевленно заговорила:

— Нет, нет, Юлия Ипполитовна! Нет! А по-моему, уж лучше пусть страдания. Какие угодно страдания, только бы жить! Только бы жить! Умрешь,— господи, ничего не

будешь видеть! Хоть всю жизнь готова вопить от боли, только бы жить! — Она засмеялась.— Нет, и думать не хочу о смерти! Так неприятно!

Илья Ильич курил в сторонке, слушал и играл бровями. Беззвучно смеясь, он наклонился ко мне.

— А мне это все равно, совсем спокойно слушаю! До меня это дело не касается!

— Что не касается?

— Вот, о смерти эти разговоры. Я не верю, что умру.

Юлия Ипполитовна посмотрела на него со своею внешнею улыбкою.

— То есть как не верите?

— Так-с, не верю! Как это может быть? Что все другие умрут,— я понимаю, а что я? Не может этого быть... Знаю, что умру, а не верю.

Пришел Иринарх с братьями-гимназистами. Они бегали на пожар..

— Ну что? Ну что?

— Да ничего не было! Просто из трубы выкинуло.

Иринарх смеялся и тер озябшие руки.

— Полное, всеобщее разочарование!.. Бегут все, толпятся, напирают. Уж личности какие-то появились, подсолнухи продают, сбитень... Жадно все суются вперед, ворочают головами. «Где, где горит?» Городаш стоит, осаживает публику. Прет какой-то в широких штанах. «Куда, эй!» — «Да я вот только сюда».— «А в морду не желаешь получить?»— «В морду?» — Подумал, почесал в затылке.— «Нет, чтой-то сейчас не хочется...» «Да где же горит-то?» Два пожарных по крыше ходят... Ждала, ждала публика. Уж пожарные уехали. Все стоят, прижидаются: а может быть!..

Юлия Ипполитовна снисходительно заметила:

— Толпа ужасно падка на такие зрелища.

— Я и сам падок! Мне кажется, из меня мог бы выработаться профессиональный зевака. Как интересно! Ух, люблю пожары! Пламя шипит, люди борются, публика глазеет!

Анна Ивановна замахала на него руками.

— А ну тебя! Есть что любить! А я ужасно боюсь... Батюшки, да что же это я? Вы все убежали, а наверху, должно быть, свет остался... Захарушка, пойди посмотри, что там наверху горит?

Захар пошел, воротился и торжественно доложил:

— Две лампы и одна штора.

Анна Ивановна ринулась наверх. Все захохотали.

— Дурак! Как ты смеешь? Я тебе мать, а ты надо мною шутки шутишь?

— «Мать»... Ты до ста лет будешь жить, а все будешь мать?

Анна Ивановна хотела еще больше рассердиться, но рассмеялась.

— Вы знаете, это тут рядом в богадельне две старушки, мать и дочь. Одной девяносто лет, другой семьдесят. Дочь начнет мать ругать, та ей: «Ты бы постыдилась, ведь я тебе мать».— «Да-а, мать! Вы до ста лет будете жить, а все будете мать?»

Иринарх, не слушая, пил чай и говорил:

— Эта потребность возбуждения, возбуждения! Горчицы, перцу, чтоб рот обжигало... На днях как-то взяла меня тоска, пошел я пройтись. Балаганчик, надпись: «Визориум из Парижа». Зашел. Восковые фигуры во фронт с выпученными глазами — Бисмарк, президент Крюгер, Моммзен... «Разбойница Милла, наводившая *панеку* (через *ять) не только на людей, но и на правительство*»... и как полиция позволила... «Штейн, для личной выгоды убивший адскою машиною двести человек»... И тут же эта адская машина —ящичек какой-то из-под стеариновых свечей, скобочки ни к чему не нужные, винты, гайки,— подлинная! И совсем целенькая! «Любимая жена марокккского султана» — глаза открываются и закрываются, грудь дышит: турр-турр!.. турр-турр!.. Подходит рябой мужчина с двумя другими. «А где тут болезни показывают?» — «Не знаю. Да нету тут».— «Е-есть! Как нету? Должны быть!» Полез под какую-то рогожку, его оттуда турнули... Уж требуется более острое ощущение! Разбойница Милла и жена марокккского султана приелись!.. Вышел я, всю дорогу хохотал.

В жестах Иринарха, в ворочанье глаз, в интонациях голоса живьем вставало то, о чем он рассказывал, и все видели жизнь сквозь наблюдающе-смеющуюся, все глотающую душу Иринарха.

Стоял смех. Гимназисты острили. Была та уютная, радующаяся жизни поверхностная веселость, какою полны все они. Анна Ивановна снова и снова наливала Иринарху чай. Иринарх жадно пил и жадно говорил:

— После обеда сегодня шатался я по городу. Лампадки в воротах Кремля. Узкие улицы, пахнет мятою и пеклеванками, мужики у лабазов. Каменные купеческие дома, белые, с маленькими окнами, как бойницы. И собор. Кажется, Гете

сказал, что архитектура есть окаменевшая музыка. В таком случае наш собор есть окаменевший вой; так ровно, прямо — ууу!.. (он медленно повел ладонями вверх). И вдруг — стой: купола! Широкие луковицы — и коротенькие, узенькие хвостики к небу. Дескать, там, наверху, много делать нечего. Не то, что в готике. Сколько там порыва к небу! Дунь на миланский собор,— он полетит на воздух. А в наших куполах сколько тяжелой массы, сколько земли! Выть — вой, а все-таки цепляйся за земь. И этот собор наш прекрасен, всегда скажу! Почему? Потому, что он на своем месте, выражает свою сущность. А в мире все прекрасно, если оно проявляется из себя, если не косится по сторонам...

Саша серьезно спросил:

— Ира, ты уже сто стаканов выпил?

— Сто, сто,— рассеянно ответил Иринарх.

— Что ты врешь? — возразил Захар.— Двести пятьдесят, я же считал... Ира, ведь двести пятьдесят?

— Двести пятьдесят, да.

Все хохотали. Иринарх кротко огляделся.

— Я не расслышал, что вы меня спрашивали.— И продолжал говорить.— Кругом одна громадная, сплошная симфония жизни. Могучие перекаты сменяются еле слышными биениями, большие размахи переходят в маленькие, благословения обрываются проклятиями, но, пока есть жизнь, есть и музыка жизни. А она прекрасна и в гармонии, и в диссонансах, через то и другое одинаково прозревается радостная первооснова жизни...

Иринарх помолчал и задумчиво прибавил:

— Тепло становится в голове, когда мысли эти прихлынут.

Кипел самовар. Весело улыбались голубенькие обои с белыми цветочками. Анна Ивановна умиленно слушала, хоть мало понимала, и в ее полном, круглом лице удивительное было сходство с бородатым, продолговатым лицом Иринарха. На меня нашло странное настроение. Я смотрел,— и мне казалось: одно и то же существо то вдруг расплывается в круглую женскую фигуру, то худеет, вытягивается, обрастает бородою и говорит о симфонии жизни... Потом вдруг перекинется стареньким, ярко вычищенным самоваром и весело бурлит про какую-то бездумную радость. Молчаливо скользнет голубым светом по стенам. И вот опять сидит с бородою, с крутым, нависшим лбом, в тихом восторге вслушивается в себя и говорит умные слова о жизни.

Ну да! Ведь в этом же все и дело. Что мысли Иринарха сами по себе? Дело вот в этом неуловимом, что здесь разлито кругом, что у всех у них в душах. Иринарх нечаянно познал самого себя, нащупал умом точку, с которой они здесь принимают жизнь. Вот отчего он живет в таком непрерывном, непонятном со стороны восторге. Это восторг от открытой истины. И он вправду открыл истину — для себя, для этого вот дома на Съезженской улице в городе Томилинске. Открыл свою истину. И свою-то истину, пожалуй, открыл не целиком,— не может же даже его истина быть такою смеющеюся. А он рад и думает, что нашел истину вообще, для всех людей,— убежден, что даже Юлия Ипполитовна, с ее брезгливыми к жизни глазами, должна бы только постараться *понять*...

И так для всех. Да, так для всех. Каждый спустись в глубь своей души и ищи там свою истину. И только для тебя она и годна. Но что же это? Искать и решать, каков параллакс Сириуса, каковы электрические свойства нерва — это мы можем все вместе. А зачем жизнь, в чем она — это решай каждый, запершись в себе?

Если я стану самостоятельно искать разумом,— это будут построения, годные для книги, для кабинета, для спора, но не для жизни. Если я познаю то, что во мне,— это годится только для меня. И там нет ничего для Алеши. Мы, живущие рядом, чужды друг другу и одиноки. Общее у нас — только параллакс Сириуса и подобный же вздор.

Но что же там у меня? Там, в таинственной, недоступной мне глубине? Я не знаю, не вижу в темноте, я только чувствую,— там власть надо мною, там истина для моей жизни. Все остальное наносно, бессильно надо мною и лживо. Как та «дума лютая»,— я пел про нее, вкладывая в нее столько задушевной тоски, а самой-то думы лютой никакой во мне и не было.

Что же там у меня?

Я чувствую трепет, я вижу сквозь темноту,— в глубине моей души лежит неведомый мне хозяин. Он все время там лежал, но только теперь я в смятении начинаю чуять его. Что он там в моей душе делает, я не знаю... И не хочу я его! Я раньше посмотрю, принимаю ли я ту истину, которую он в меня вложил. Но на что же мне опереться против него?

— Костя, что с Алешей? Он так страшно изменился! У него какая-то темнота в глазах... Что с ним?

Маша жадно смотрела на меня, в ее глазах замер ужас. Душою своею она видела, как неотвратимо надвигается что-то, чего другие не видят. Я успокаивал ее. У нее лились слезы, она быстро бормотала, как будто молилась про себя:

— Если бы он поверил!.. Если бы он поверил!..

— Маша, Маша! Разве это так просто? Что для этого нужно?

— Это так легко,— если бы вы знали!.. Нужно только в себя слушать... В себя смотреть... Вы слишком смотрите наружу, от этого и все...

Так мне это теперь странно! Как все легко заключают от себя к другим...

Маша говорила:

— Я это только ему рассказала. И тебе расскажу, ты не будешь смеяться... Ты ведь знаешь, какая я была раньше. Целые ночи плакала от тоски, никакое лечение не помогало... Раз я читала жизнь Франциска Ассизского. Как он радостно и солнечно жил Христом и всем миром. Я легла, задумалась. Отчего я такая черствая и темная душой? Отчего для меня ужасен мир? И я так никогда не испытывала,— я вся сжалась в одну молитву. И вдруг в комнату вошел Христос. Я не видела его лица, ничего не видела. Но все во мне затрепетало. Он медленно приблизился, медленно вошел в меня,— и я почувствовала, что все во мне тихо, светло и твердо и что теперь все ужасы навсегда кончились... Потом мне рассказывала тетя Юля. Она вошла в комнату, подумала,— я умираю. Бросилась ко мне. Я вся светилась.— Что с тобой, Маша? — Я встала, обняла ее и заплакала.

Было это глухою ночью, перед рассветом. Я стоял на пустынной улице перед высоким, молчаливым трехэтажным домом. Вдруг с его фасада бесшумно взвилось под крышу огромное сплошное жалюзи. Ярко сверкнули ряды освещенных окон, в доме шумели и кричали. Из окна верхнего этажа вниз головою полетел на мостовую человек, следом за ним упал тяжелый письменный стол. Из окна нижнего этажа тоже вылетело человеческое тело и тяжело ударилось о мостовую. В окнах появились пьяные офицеры в расстегнутых сюртуках и угрожающе крикнули:

— Мы сейчас будем стрелять!

Жалюзи быстро и бесшумно опустились, в доме все смолкло, погасло, и из-за жалюзи затрещали частые выстрелы. Все побежали, а я прилег за углом и выглядывал на пустынную улицу, по которой свистали пули.

Потом что-то я делал дома вместе с людьми, которых нельзя было различить. В окна залетали пули. Было очень жарко, кажется, кругом все горело. По изразцам печи, в пазухах комода и стола дрожали какие-то светлые, жаркие налеты, и странно было: дунешь — налет слетит, но сейчас же опять начинает светиться и дрожать. Алеша с прикушенным распухшим языком жался в темный угол и притворялся, что не видит меня.

И я вышел к перекрестку, где стояли извозчики, стал нанимать сани, но извозчики только смеялись надо мною. Тогда, уже не собираясь ехать, я сел в сани самого заднего извозчика, он мне что-то сказал, я кротко возразил, и вдруг он, не торгуясь, поехал. Нас обгоняли на тройках пьяные офицеры из дома с завешанным фасадом. Я боялся — вдруг они заметят меня на темном извозчике и зарубят шашками.

Лучше уж проснуться!

Но я ехал не один. Рядом сидела Катра. Скорбная, она смотрела на меня огромными страдающими глазами и умоляюще шептала что-то, и меня охватывала бесконечная тоска. И вдруг оказалось, что она полураздета, мы кутаемся вместе в пушистую, теплую шубу, ко мне невинно прижимается девичья грудь под тонкой рубашкой. Я знаю, ей теперь не уйти, и тайная, жестокая радость закипает в душе. Никто об этом не узнает, и она боится офицеров. Прячась от себя, я обнимаю ее; под бесстыдною рукою — горячее нагое тело. Она выгибается, алые, словно напившиеся кровью губы озаряют лицо странной усмешкой, и бесстыдные глаза пристально смотрят в мои зрачки... О, я давно знал, что она бесстыдная! И только бы не проснуться теперь, только бы не проснуться!

Но я неловко повернулся. Она была еще здесь, но и не здесь. Ее не было. В пустой, высокой каморке с побеленными стенами я цеплялся за карниз под потолком, а в каморку на корточках впрыгнул студент, и на голове он держал огромный четырехугольный каравай ситного хлеба. Ужаснее ничего не могло быть. Студент, как тушканчик, прыгал с караваем по каморке и что-то бормотал, не видя меня; и если бы он меня увидел,— кончено!.. Сбоку чернела

в полу четырехугольная ямка, глубиною в аршин; студент впрыгивал в нее и старался изнутри закрыть отверстие своим караваем, как камнем,— потом выскакивал и опять прыгал, как тушканчик. Я цеплялся за карниз, подбирал полы пальто, чтоб студент меня не задел. А он вдруг остановился, снял с головы каравай и, все сидя на корточках, медленно стал поднимать голову. Он поднимал, все поднимал. Я увидел напруженное, мясистое лицо с бородкою клинышком. Маленькие, мутные глаза взглянули из-под лба вверх и остановились прямо на мне...

Испуг юркнул в душу. Пора проснуться! Я быстро разбудил себя и открыл глаза. Чуть светало. Сердце билось медленными сильными ударами. Я сел на постели и вслушивался в туманный ужас в своем теле.

В чем ужас? В чем ужас?

Пьяные офицеры и выстрелы, Алеша и светлые налеты,— все это было так себе. А ситный каравай на голове студента и его прыжки,— это был ужас безмерный... В чем же он?

Я вглядывался, как выходил из тела мутный ужас и очищал душу. Хотелось оглядываться, искать его, как что-то чужое,— откуда он прополз в меня? Куда опять уползает? Казалось мне, я чувствую в своем теле тайную жизнь каждой клеточки-властительницы, чувствую, как они втянули в себя мою душу и теперь медленно выпускают обратно.

Уж было смешно вспоминать прыгающего студента с нелепым караваем. Смешно было, что ведь и в жизни, наяву, он прыгает,— такой же ничтожный и условно ужасный Нужно только разбудить себя, нужно понять, что ужас не в нем, а во мне. Ужас, скука, радость ясная,— ничего нет в мире, все только во мне.

И что это у меня сейчас было с Катрой? В душе темно плескались бесстыдные, жестоко-сладкие воспоминания и сожаления. И мутный ужас, ослабевая, еще шевелился там. А сознание как будто выбралось на какой-то камешек, высоко над плещущей темнотой, и, подобрав ноги, с тупым любопытством смотрело вниз.

Нет, бояться за Алексея нечего. Он, не унывая, лечится. Делает гимнастику, гуляет, обливается холодною водою. Стены домика трясутся от его прыжков: за сте-

ною — плеск воды, фырканье, топот, как будто бегемот борется там с каким-то врагом.

Но я уже не могу успокоенно воротиться к прежнему. Что-то во мне сорвалось, выскочил какой-то задерживающий винтик. Так у меня было раз с часами,— треснуло что-то — и вдруг весь механизм заработал с неудержимою быстротою...

Я потерял себя. Совсем потерял себя, как иголку в густой траве. Где я? Что я? Я чувствую: моя душа куда-то ушла. Она оторвалась от сознания, ушла в глубину, невидимыми щупальцами охватывает из темноты мой мозг — мой убогий, бессильный мозг,— не способный ни на что живое. И тело мое стало для меня чуждым, не моим.

Где я, я сам? Свободный, самопричинный? В том, что думает, сознает себя,— в моем «разуме»? Но почему же все самостоятельные мысли его так тощи и безжизненны, почему рождаемые им слова так сухи и ограниченны? Лишь когда его захватят из темной глубины эти странные щупальцы, он вдруг оживает. И чем теснее охвачен щупальцами, тем больше оживает и углубляется. Мысли становятся яркими, творчески сильными, слова светятся волнующим смыслом.

Значит, там я, в этой глубине, откуда мне таинственно звучал бой часов? Но ведь там лежит темный раб, я это теперь ясно чувствую. Могучий Хозяин моего сознания, он раб неведомых мне сил. Неотступно силы эти стоят над ним,— над ним, над человечеством, над всею жизнью. И сколько этих сил — не перечесть и не учесть! Я могу возмущаться, противиться, проклинать — все равно: мои мысли, мои искания были бы совсем другие, если бы только мне было сейчас не двадцать четыре года, а пятьдесят. Все было бы другим, если бы я был рабочим, если бы я был китайцем, если бы моими родителями были родители Иринарха. Даже если бы солнце у нас светило ярче и дольше, я бы, может быть, искал и нашел другое!.. Покорно плетусь я, куда ведет меня мой темный Хозяин-раб; высшее, до чего может подняться мой ум,— это сознать зависимость себя — свободного и бессильного.

Но я не хочу, я этого не могу принять!

В опорках на босу ногу и в мокром пиджаке, накинутом на плечи, Гольтяков стоял на углу Кривоноговского переулка. Трезвый, жалкий, трясущийся.

Четыре дня не жрамши путаюсь, сам не знаю где...

Всякая сволочь пальцем показывает, говорят: он пьяница, бездельник... Жену бьет... А нешто я дурее их, дураков? Меня вон хозяин в Серпухов зовет, чайник делать на выставку. Никто не может, а я вот взялся... И в Москве тоже, на Покровке... А между прочим — что ж я тут?.. Го-осподи!..

Сеяла мга из мокрого неба, сеяла на желтоватое, опухшее лицо, на открытую голову с торчащими вихрами. И сочились слезы из жалких, добрых глаз.

— Вот он, пинжак. На этом пинжаке несчастном весь день я проспал вон там, подле колодца. Поднял голову,— на пинжаке собака легавая лежит. Лысая. А такой собаки у нас во всей округе нет. Что же это? Все смотрят, смеются... Ишь, говорят, собаку свел! Откуда собака взялась? Поглядел,— нету ничего!.. Вот какую кару терплю через вино!..

И слезы лились, и посинелою рукою он утирал всхлипывающий нос. Что это — тот человек или другой? Он придет домой, слезами обольет колени Прасковьи. Будет работать по двадцать часов — ласковый, виновато-тихий, просветленный. Я смотрел на него, смотрел. Тени не было того Гольтякова. А взять стакан водки,— осязаемый чайный стакан, с осязаемою жидкостью, которую можно купить за пятнадцать копеек,— и сотворится в человеке другая душа. Безумием захлебывающейся злобы вспыхнут добрые, плачущие глаза, тихая душа закрутится в кровавой жажде истязаний, и будет другой человек.

Гольтяков всхлипывал и бормотал:

— Пойду к Параше... Даст она мне чайку, подлецу проклятому?.. Параша, ангел мой!.. Касатка!..

На толкучке топчутся люди. Кричат, божатся, надувают. Глаза беспокойно бегают, высматривая копейку. В разнообразии однообразные, с глазами гиен, с жестоким и окоченелым богом в душе, цыкающим на все, что рвется из настоящего. Как из другого мира, проезжают на дровнях загорелые мужики в рваных полушубках, и угрюмо светится в их глазах общая тайна, тихая и крепкая тайна земли. Среди них хожу я, с мозгом, обросшим книжными мыслями.

А когда задрожат в воздухе гудки, по мосткам тянутся вереницы еще новых людей. На масленó-серых лицах не-

уловимый отсвет благородства, даваемого трудом, в глазах — пробуждающаяся, свободная от пут сила. Чем, кем она разбужена? Огнем ненависти, рвущимся из сдавленной жизни? Вот этими кирпичными зданиями с высокими трубами?.. Идут вереницами, стучат по мосткам. Если бы они сидели в тех холодных лавочках на толкучке, то и их лица горели бы блудящими огоньками гиен. Будущее они несут? А что с ними, творцами будущего, сотворит будущее?

В сумерках шел я вверх по Остроженской улице. Таяло кругом, качались под ногами доски через мутные лужи. Под светлым еще небом черною и тихою казалась мокрая улица; только обращенные к западу стены зданий странно белели, как будто светились каким-то тихим светом. Фонари еще не горели. Стояла тишина, какая опускается в сумерках на самый шумный город. Неслышно проехали извозчичьи сани. Как тени, шли прохожие.

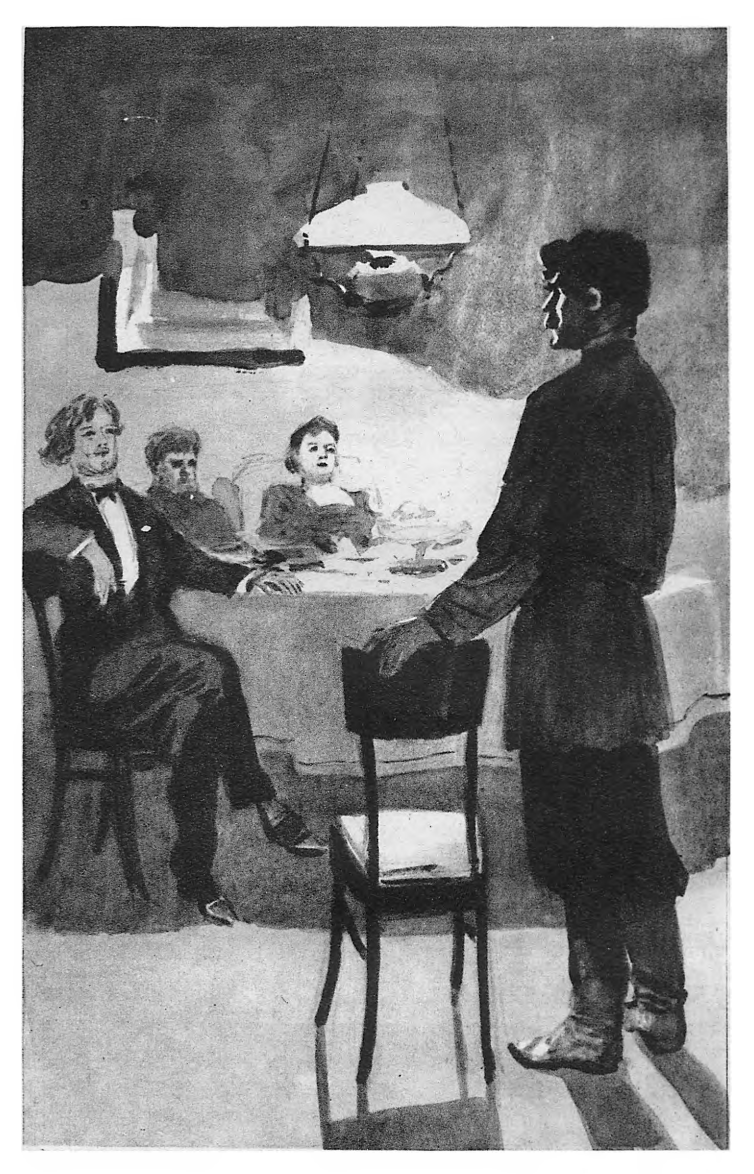
И вдруг ясно, очевидно мне стало, что это вовсе не люди идут,— это медленно движутся молчаливые силуэты-марионетки. И это была правда. Что думалось до сих пор мыслью, теперь вдруг открылось душе. Мир на мгновение распахнулся и явил свою тайную, скрытую жизнь.

И страшно-молчаливо проходили люди-силуэты, придавленные великою, вслушивающейся в себя тишиною.

Марионетки, рабы Неведомого, тени темного... Ходят, слепо живут своим маленьким сознанием и не видят огромной, клубящейся внизу темноты... И к ним обращаться с вопросами!..

Спуститься в темноту, откуда встают тени. Там что-то всех должно объединить. Там, где хаос — изменчивый, прихотливый, играющий темною радугою и неотразимый в постоянстве своего действия на нас. Туда спуститься к людям, там крикнуть свой вопрос о жизни. Если бы оттуда раздался ответ,— о, это была бы покоряющая, все разрешающая разгадка. Как молнией, широко и радостно осветилась бы жизнь. Но там молчание. Ни звука, ни отклика. Только смутно копошатся вечно немые, темные Хозяева.

Мерное, слабое потрескивание сзади. И, порывисто дергаясь, быстро двигаются фигуры по экрану кинематографа.



«К жизни»



«К жизни».

Всплескивают руками, бросаются в окна. Патер благочестиво слушает лукаво улыбающуюся испанку, возводит очи к небу и, жуя губами, жадно косится на полуобнаженную грудь. Мчится по улице автомобиль, опрокидывая все встречное.

Вот где — голо вскрытая сущность жизни! Люди смотрят и беспечно смеются, а сзади мерно потрескивает механизм. Придешь назавтра. Опять совсем так же, не меняя ни жеста, бросается в окно господин перед призраком убитой женщины, патер жадными глазами заглядывает в вырез на груди испанки. И так же, совсем так же мчится ошалевший автомобиль, опрокидывая бебе в колясочке, столы с посудою и лоток с гипсовыми фигурами. А сзади чуть слышно потрескивает механизм

Потом выходишь на улицу. Бегут извозчичьи лошади. Гимназист с криво сидящим ранцем покупает у грека халву, похожую на замазку. Идет господин, блестя новым цилиндром. И кажется, все они тоже чуть-чуть дергаются: все чужды душе, мертвы и плоски. И невыразимо смешна их серьезная самоуверенность, их неведение о безвольном своем участии в мировом кинематографе.

Слякоть, сырость. Люди забыли, есть ли на свете солнце. Тихо тает внутри сугробов.

А сегодня с утра вдруг повалил молодой, осенне-пахучий снег и настала мягкая зима.

От Катры получил странную записку, где настойчиво она звала меня прийти вечером. Пришел я поздно. Было много народу. Кончили ужинать, пили шампанское. По обычному пряно чувствовалась тайная влюбленность всех в Катру. Катра была задорно весела, смеялась заражающим смехом, глаза горячо блестели. Каждый раз она другая.

Сидел приехавший из Москвы Крахт, маленький человек с огромным лбом и мясистым носом. Все почтительно его слушали. Говорил он как раз о какой-то высшей свободе. Я яро сцепился с ним.

Он снисходительно возражал. Сознание рабства, о котором я говорю,— это естественная стадия. Конечно, со временем и я превзойду ее. Эмпирическая необходимость вовсе не противоречит высшей, трансцендентальной свободе.

Я же говорил: никого до сих пор я не знаю, кто бы честно «превзошел» эту стадию. С тайным страхом ее обегают обходными путями,— так сделали и Кант и Фихте. Видно, слишком невыносимо для человеческого духа ощущение великого своего рабства.

Катра внимательно слушала. Звенели у крыльца бубенчики троек. Крахт стал возражать более серьезно. Говорил он очень умно и учено. Я же замолчал; вдруг я ясно увидел сидевшего в нем его Хозяина.

И мне стало смешно: да, велика сила Неведомого, если высшее рабство оно способно претворять в сознании людей в высшую свободу!

Я прихлебывал шампанское. Молчаливые золотые искорки крутились за хрустальными стенками. Звенящие искорки со смехом крутились в голове. Крахт говорил. Его тусклые глаза медленно мигали, губы шевелились. Я прятал под ладонью улыбку... Потихоньку подойти сзади к многоумному этому человеку, незаметно запустить в него руку, нащупать в глубине его Хозяина. Хорошенько притиснуть Хозяина, потом встряхнуть и опрокинуть на спину. Отойти и посмотреть,— что станется с свободным духом г. Крахта? Со смехом смотреть, как с тою же эрудицией, с тою же неопровержимою логикою дух его затанцует совсем другое.

И пусть бы начался общий танец. Танцевали бы все стройные миросозерцания, все неопровержимые логики, все объяснения смысла жизни. Танцевали бы, крутились и сшибались, как золотые искорки в бокале, сходились бы и расходились. А я бы смотрел и смеялся...

Толстый адвокат Баянов разливал по бокалам шампанское. Катра вскочила.

— Господа, кончайте! Едем!

Стояли у подъезда трое троечных саней и легкие санки для двоих без козел. Катра быстро села в санки и крикнула мне:

— Константин Сергеевич, садитесь со мною!

Санки мчались по пустынным улицам. Звеня бубенцами, следом неслись тройки. Тускло светились у домов редкие фонари, а небо полно было звезд.

— Весна, весна скоро!.. Константин Сергеевич, видите небо? Завтра солнце будет... Солнце! Господи, какая мутная была темнота! Как люди могут жить в ней и не сойти с ума от тоски и злости! Я совсем окоченела душой...

Все время мне одного хотелось: чтоб пришел ко мне кто-нибудь тихий, сел, положил мне руки на глаза и все бы говорил одно слово: Солнце! Солнце! Солнце!.. И никого не было! Хотела сегодня закрутиться, закутить вовсю, чтобы забыть о нем, а вот оно идет. Будет завтра. Любите вы солнце?

Горячие глаза заглядывали мне в лицо и упоенно смеялись.

— Но вы-то, вы-то!.. Константин Сергеевич, что вы такое сейчас говорили? Всегда я в душе чувствовала, что вы не такой, каким кажетесь. Вот вы спорили с Крахтом о рабстве, о ваших неведомых силах,— и мне казалось: вы говорите из моей души, отливаете в слова то, что в ней. Так было странно!

Я с любопытством оглядел ее.

— Вы тоже чувствуете эти силы?

Катра задушевно спросила:

— А скажите, вам страшно? Страшно от того, что они над вами?

Вдруг она стала мила мне, хотелось говорить по душе.

— Прежде всего обидно очень, Катерина Аркадьевна. И пусто... Да! И страшно.

— А скажите еще...—Она лукаво вглядывалась в меня.— Кружится у вас сейчас голова? От шампанского?

Недоумевая, я ответил:

— Да, немножко.

Катра сильно ударила вожжой лошадь. Санки понеслись. Она рассмеялась.

— Смотрите, как странно! Где-то во Франции люди поймали золотистого, искрящегося духа, закупорили в бутылку, переслали нам. И вот он пляшет в нас и мчит куда-то. Говорит за нас и делает, в чем, может быть, мы завтра будем раскаиваться. Разве сейчас это мы с вами? Это он. А какая воля, какой простор в душе! Жутко, какая воля. А это не мы, а он.

Я наморщил брови и соображал.

— И сколько над душою стоит других духов — могучих, темных, обольстительных. Куда до них французскому чертенку! И всем им — власть. И вам только страшно, больше ничего?

Она наклонилась, заглядывая мне в лицо странно смеющимися глазами.

— И Алексея Васильевича вам только жалко, больше ничего? Только жалко?

Дикие глаза были. Трепетало и билось в них дерзкое, радостно-безумствующее пламя. И в пламени этом вдруг мне почуялась какая-то особенная, жутко захватывающая правда.

Катра шаловливо рассмеялась, близко наклонилась к моему уху и прошептала:

— И будете, как я.

Горячею змейкой юркнул в меня ее шепот. С золотистым звоном все закружилось в голове.

Мягкий воздух обвевал лицо. Город был назади. В снежной мгле темнели голые леса. Мчались мы, как в воздухе на крыльях, тройки звенели сзади.

Что-то мы говорили бессвязное, но разговор шел помимо слов. Молчаливо свивались души в весело-безумном вихре, радовавшемся на себя и на свою волю.

Я что-то хотел сказать, Катра нетерпеливо прервала:

— Не говорите. Дайте руку... Да снимите ваши варежки нелепые. Видите, я сняла перчатку...

В Гастеевской роще сделали привал. На тихой белой поляне, под яркими звездами, громко говорили, смеялись, пили вино.

Иринарх увлеченно спорил с Крахтом. Катра, не стесняясь, стояла со мною под руку и слегка прижималась к моей руке. Лукаво смеясь, она наклонилась и прошептала:

— Вы знаете, вот эти двое. Совсем разные люди. А отнять у них слова — оба они стали бы совсем пустые. Оба думают мыслями, выражаемыми словами.

Подошел Иринарх. Он улыбался, но глаза смотрели грустно и ревниво.

— Видели, господа, звезды какие? Ехал, — все время глаз не сводил. Люблю на звезды смотреть, — сколько жизни запасено во вселенной! Мы умрем, все умрут, земля разобьется вдребезги, а жизнь все останется. Весело подумать!

— А звезды — это все солнца! Огромные, горячие! Андрей Андреевич, налейте мне еще! — Катра протянула Баянову стакан. — Господа, тост: за громадные яркие солнца и за... еще за... Нет, больше ничего!

Мы катили назад. Катра нетерпеливо твердила:

— Гоните скорее! Скорее! Ух, как будто в воздухе летишь!

Она крикнула во весь голос. Эхо покатилось за бор.

— За солнце пили... Хотела я еще сказать — знаете что? «За рабство!» Да они бы не поняли. Вы знаете, я когда-то... Да бросьте вожжи, она сама будет бежать... Дайте руку...

Лошадь ровно побежала. Горячая рука говорила в моей руке. Глаза мерцали и блуждали.

— Вы знаете, я когда-то была восточной царевной. Царь-солнце взял меня в плен и сделал рабыней. Я познала блаженную муку насильнических ласк и бича... Какой он жестокий был, мой царь! Какой жестокий, какой могучий! Я ползала у ступеней его ложа и целовала его ноги. А он ругался надо мною, хлестал бичом по телу. Мучительно ласкал и потом отталкивал ногою. И евнухи уводили меня, опозоренную и блаженную. С тех пор я полюбила солнце... и рабство.

Я слушал, раскрывая глаза. Где это уже было? Где была эта странная, блуждающая усмешка, эти бесстыдные глаза? Да. И санки даже были тогда.

— Я часто вас ненавижу, Константин Сергеевич. Но было между нами что-то, и мы тайно связаны. Помните, в подвале... Пахло керосином...

Я резко прервал:

— Не говорите про это!

— Помните, вы тогда меня вырвали из бегущей толпы... Ух, какую я в вас тогда почувствовала силу. Как волна, она обвила меня и вынесла...

— Да замолчите вы! Слышите?! — грубо крикнул я. Катра осеклась и взглянула мне в лицо впивающимися глазами. И вдруг в них мелькнула ненависть. Она быстро отвернулась.

С чуждым удивлением, как очнувшийся лунатик, я оглядывал то, что создалось между нами. Французский чертенок. Красивое тело человеческой самки. Предательские инстинкты собственного тела,— и извольте видеть: «правда» какая-то открывается! А эта склизкая болотная змейка вьется в темной воде и на всем оставляет свою ядовитую слюну — на самых чистых белых лилиях... Бррр!..

— Простите, что я так крикнул. Но я слишком иначе отношусь к тому, что нам тогда пришлось вместе пережить.

Катра беззаботно рассмеялась, взяла вожжи и погнала лошадь.

Холодно, холодно в нашем домишке. Я после обеда читал у стола, кутаясь в пальто. Ноги стыли, холод вздрагивающим трепетом проносился по коже, глубоко внутри все захолодело. Я подходил к теплой печке, грелся, жар шел через спину внутрь. Садился к столу,— и холод охватывал нагретую спину, вялая теплота бессильно уходила из тела, и становилось еще холоднее.

Алексей, скорчившись под пальто, лежал у себя на кровати.

Я взял лопату и пошел в сад чистить снег. На дворе меня увидела Жучка и радостно побежала вперед. Она обнюхивала сугробы, с ожиданием поглядывала на меня. Я потравил ее в чащу сада. Жучка с готовностью залаяла, бросилась к забору, волнисто прыгая по проваливавшемуся снегу. Полаяла, потом воротилась и заглянула мне в глаза.

«Видишь? Я сделала, что надо!»

Робко начала ласкаться. Я погладил ее. Она обрадовалась и бросилась лапами на пальто.

— Ну, будет!.. Пшел!

Жучка отошла.

Я долго чистил снег. Прозрачно серела чаща голых сучьев и прутьев. Над березами кружились галки и вороны. Вдали звонили к вечерне. Солнце село.

Вдруг я заметил, что я давно уже без варежек, вспомнил, что уж полчаса назад скинул пальто. Изнутри тела шла крепкая, защищающая теплота. Было странно и непонятно,— как я мог зябнуть на этом мягком, ласкающем воздухе. Вспомнилась противная, внешняя теплота, которую я вбирал в себя из печки, и как эта чужая теплота сейчас же выходила из меня, и становилось еще холоднее. А Алешка, дурень, лежит там, кутается, придвинув кровать к печке...

Темнело. К вечерне перестали звонить. В калитке показалась Феня и тихим, ласкающим голосом крикнула:

— Степочка!

Узнала меня, ахнула и скрылась. Сучья тихо шумели под ветерком, поскрипывал ствол ели. На самой ее верхушке каркала старая ворона, как будто заливался плачем

охрипший новорожденный ребенок. Жучка ткнула мордою в мою руку.

— Ты что?

Смешно было, как она говорит глазами. Я опять поуськал ей на забор. Она опять с готовностью залаяла. Лаяла, и поглядывала на меня, и говорила взглядом:

«Вот, делаю, что тебе нужно. И даже не спрашиваю себя, есть ли в этом смысл».

Я подозвал ее и пристально заглянул в глаза. Жучка покорно изогнулась, робко завиляла хвостом. Я улыбнулся и продолжал смотреть. Она радостно засмеялась глазами, хотела было броситься ласкаться, но не бросилась, а медленно опустилась на задние лапы.

И мы смотрели друг другу в глаза.

Долго смотрели. И вдруг я почувствовал,— мы с нею разговариваем! Не словами, а тем, что лежит в темноте под словами и мыслями. Да, это есть в ней так же, как во мне. Такое же глубокое, такое же важное. Только у меня над этим еще бледные слова-намеки, несамостоятельная мысль, растущая из той же темноты. Но суть одна.

И сквозь темноту, в которой шел наш разговор, вдруг мне почудился какой-то тихий свет.

Нежно и ласково я погладил Жучку по голове. Она прижалась мордой к моему колену, и я любовно гладил ее, как ребенка. Все кругом незаметно сливалось во что-то целое. Я смотрел раскрывающимися, новыми глазами. Это деревья, галки и вороны на голых ветвях, в сереющем небе... В них тоже есть это? Это — несознаваемое, не выразимое ни словом, ни мыслью? И главное — общее, единое?

Птицы притихли на ветвях, охваченные сумеречным небом. Небо впитывало в себя и их и деревья... Мне показалось, что я к чему-то подхожу. Только проникнуть взглядом сквозь темный кокон, окутывающий душу. Еще немножко,— и я что-то пойму. Обманчивый ли это призрак или открывается большая правда?

Или только кажется? Или все узнается?

Но все потерялось. Что-то важное и решающее скрылось.

Я воротился домой. Алеша, заспанный и озябший, нес из сеней охапку дров. Он угрюмо сказал:

— Хочу еще раз печку протопить... Как холодно.

Было странно смотреть на него. Холодно!..

— Да пойди лучше, Алеша, поработай в саду. Я весь горю жаром!

Он вяло ответил:

— Ну, не хочется.

В кухне на остывающей плите лежала и мурлыкала серая хозяйская кошка. С незнакомым раньше любопытством я подошел к ней со свечкою и тоже заглянул в глаза.

— Кс-кс-кс!

Она взглянула прямо в мои зрачки, потом прищурилась. Внутри ее глаз как будто что-то закрылось, и она снова начала мурлыкать. Теперь узкие щелки зрачков в прозрачно-зеленоватых глазах смотрели на меня, но смотрели мимо моей души. И я жадно вглядывался в эти глаза — как будто слепые и в то же время бесконечно зрячие. Я засмеялся. Она не приняла моего смеха и продолжала смотреть теми же серьезно-невидящими глазами. Что-то в них было от меня закрыто, но *было закрыто* — в них не было пустоты. Было что-то важное, и я чувствовал,— это возможно было бы понять.

Что такое творится?

От Дяди-Белого вышла молодая женщина. Красивая, одетая усиленно пышно, как одеваются женщины, вдруг получившие возможность наряжаться.

С страдальческой насмешкой Дядя-Белый спросил меня:

— Видели, какая графиня прошла?

— Кто это?

— Вы ее встречали. Сестра моя. Она с Турманом живет.

Он взволнованно теребил курчавую бородку.

— Кутят с Турманом. Деньги расшвыривают, как купцы. Откуда у них деньги? Слыхали вы, на той неделе артельщика ограбили за вокзалом, на пять тысяч? Думаю, не без Турмана это дело.

— Константин, дай-ка мне опия,— второй день живот болит.

— Вот, на!.. Да дай я тебе накапаю.

— Я сам.— Алексей нетерпеливо тянул к себе буты-

лочку и не смотрел мне в глаза.— Ведь несколько раз придется принимать, что же каждый раз к тебе ходить!

Наши глаза встретились. Я побледнел и, задыхаясь, схватил его за руку.

— Алеша!

— Да что ты? Что с тобой?

Мы молча смотрели друг другу в глаза. Алексей удивленно пожал плечами и пустил бутылочку.

— Ну, бери, накапай сам!

Вздор! Мне это только показалось! Он так старательно лечится! Сначала должна бы пропасть вера в лечение, он должен бы бросить свою гимнастику и обливание.

Но ночью я вдруг проснулся, как будто в меня вошло что-то чужое. Из комнаты Алексея сквозь тонкую перегородку что-то тянулось и приникало к душе.

Ясно, все ясно! Как я мог сомневаться?.. Недавно к нам зашла Катра, и меня тогда поразило,— Алексей равнодушно разговаривал с нею, и откуда-то изнутри на его лице отразилась удовлетворенная, ласковая снисходительность. Как будто он был доволен, что может смотреть на нее с высокой высоты, до которой ее чарам не достать; и с Машей он так нежен-нежен, и такой он весь ясный, тихий, хотя и не смотрит в глаза.

Да, конечно, так! Он по-прежнему носит свою мысль, прочно сжился с нею и утих в ней. Но силы ушли на те две ночи, он копит новые силы, и вот почему лечится. Ведь невозможно человеку через каждую неделю приговаривать себя к смертной казни.

Сквозь перегородку все шло в душу что-то напряженное и гнетущее. Как будто упорно лилось какое-то черное электричество. Вся комната заполнялась тупою, властною силою, она жизненно чувствовалась в темноте. Неподвижно и скорбно вставало Неведомое, некуда было от него деться.

Я поднялся на руках, огляделся. Исчезла перегородка. И я увидел: Алеша лежит на спине, с пустыми, остановившимися глазами. А Хозяин его, как вывалившийся из гнезда гад, барахтается на полу возле кровати; в ужасе барахтается, вьется и мечется, чуя над собою недвижную силу Неведомого. Заражаясь, затрепетал и мой Хозяин. И я чувствовал,— в судорогах своих он сейчас тоже выбросится на пол, а я с пустыми глазами повалюсь навзничь.

Я вскочил, разрывая очарование. Прислушался. За перегородкою было тихо, как-то особенно тихо. Я зажег свечу и пошел к Алексею. Дверь не была заперта. Алексей быстро поднял от подушки чуждое лицо. И опять нельзя было узнать, спал он или думал.

— Что ты? — спросил он.

— Мне не спится, а все папиросы вышли... Можно у тебя взять?

— Возьми, конечно...

Я пристально смотрел на него.

— Ты спал?

Он недовольно нахмурился.

— Спал, конечно.

Никогда я этого раньше не представлял себе: душа одного человека может войти в душу другого и смешаться с нею. Я теперь не знаю, где Алексей, где я. Он вселился в меня и думает, бьется, мучится моею душою; ища для себя, я как будто ищу для него. А сам он, уже мертвый, неподвижно лежит во мне и разлагается и неподвижным, мутным взглядом смотрит мне в душу.

Охватывает жуткая дрожь и раздражительное нетерпение. Я смотрю на его осунувшееся лицо с остановившеюся в глазах мыслью. Ну, ну!.. Чего ж ты ждешь?

Я долго сегодня бродил за городом. Небо сияло. Горячие лучи грызли почерневшие, хрящеватые бугры снега в отрогах лощин, и неуловимый зеленый отблеск лежал на блеклых лугах. Я ходил, дышал, перепрыгивая через бурлящие ручьи. Вольный воздух обвевал лицо. Лучи сквозь пригретую одежду пробирались к коже, все тело напитывалось ликующим, звенящим светом... Как хорошо! Как хорошо!

Небо безмерное от сверкающего света. Солнце смеется и колдует. Очарованно мелькают у кустов ярко-зеленые мотыльки. Сорока вспорхнет, прямо, как стрела, летит в голую чащу леса и бессмысленно-весело стрекочет. Чужды липкие вопросы, которые ткал из себя сморщившийся, затемневший Хозяин. Где они? Тают, как испаренья этой земли, замершей от неведомого счастья. Отчего в душе такая широкая, такая чистая радость?

Отчего... Я не могу не подчиняться, но меня светлый колдун не обманет. О, я знаю: весеннее солнце коснулось крови, воздух чистого простора влился в легкие, в коре мозговых полушарий расширились артерии, к ней прихлынуло много горячей крови, много кислорода,— и вот все безысходные вопросы стали смешно легкими и нестрашными. Хороша жизнь, хорош я, дороги и милы братья-люди.

Ну, вот оно и решение! Как просто,— словно настоящее!

Потянуло в город, где суетятся братья-люди.

И я ходил по сверкающим улицам с поющими ручьями, залитым золотым солнцем. Что это? Откуда эти новые, совсем другие люди? Я ли другой? Они ли другие? Откуда столько милых, красивых женщин? Ласково смотрели блестящие глаза, золотились нежные завитки волос над мягкими изгибами шей. Шли гимназистки и гимназисты, светясь молодостью. И она — Катра. Вот вышла из магазина, щурится от солнца и рукою в светлой перчатке придерживает юбку... Царевна! Рабыня солнца! Теперь твой праздник!

Мускулистые плотники с золотыми бородами тесали блестящие бревна. Старик нищий, щурясь от солнца, сидел на сухой приступочке запертого лабаза, кротко улыбался и говорил с извозчиками.

— Табачку понюхал, да и пошел в казенку... Бабка подсмотрит: «Ишь, старый черт, опять в кабак? Пойдем домой!..» Ну, ладно, пойдем!.. Ха-ха-ха!

— А жива у тебя бабка-то? — лениво спросил извозчик.

Старик радостно ответил:

— Жива, жива, милый!.. Жива, слава тебе господи!

Он снял облезлую шапку и стал креститься. И голова его была благообразная, строгая.

Звенели детские голоса. Спешили люди, смеялись, разговаривали, напевали. Никто не обманывал себя жизнью, все жили. И ликовали пропитанные светом прекрасные тела в ликующем, золотисто-лазурном воздухе.

Через два дня.

В Кремле звонили ко всенощной. Туманная муть стояла в воздухе. Ручейки вяло, будто засыпая, ползли среди грязного льда. И проходили мимо темные, сумрачные

люди. Мне не хотелось возвращаться домой к своей тоске, но и здесь она была повсюду. Тупо шевелились в голове обрывки мыслей, грудь болела от табаку, и все-таки я курил непрерывно; и казалось, легкие насквозь пропитываются той противною коричневою жижею, какая остается от табаку в сильно прокуренных мундштуках.

Из-под ворот текли на улицу зловонные ручьи. Все накопившиеся за зиму запахи оттаяли и мутным туманом стояли в воздухе. В гнилых испарениях улицы, около белой, облупившейся стены женского монастыря, сидел в грязи лохматый нищий и смотрел исподлобья. Черная монашенка смиренно кланялась.

— Во имя скорой послушницы царицы небесной пожертвуйте, благодетели!

И шли по слякоти скучные люди с серыми лицами, полные мрака и смрадного тумана.

Блестели желтые огоньки за решетчатыми окнами церквей. В открывавшиеся двери доносилось пение. Тянулись к притворам черные фигуры. Туда они шли, в каменные здания с придавленными куполами, чтобы добыть там оправдание непонятной жизни и смысл для бессмысленного.

В лужах отражались освещенные окна низкого трактира. Я подумал и вошел. В дверях столкнулся с Турманом. Он выходил с молодой черноволосой женщиной. Турман прямо мне в лицо взглянул своим темным взглядом, вызывающе взглянул, не желая узнавать, и прошел мимо.

Я сел к столику и спросил водки. Противны были люди кругом, противно ухал орган. Мужчины с развязными, землистыми лицами кричали и вяло размахивали руками; худые, некрасивые женщины смеялись зеленовато-бледными губами. Как будто все надолго были сложены кучею в сыром подвале и вот вылезли из него — помятые, слежавшиеся, заплесневелые... Какими кусками своих излохмаченных душ могут они еще принять жизнь?

Везде пили, курили. Глотали едкую влагу, втягивали в легкие ядовитый дым... Ну да. Ведь праздник! Надо же радоваться! А разве это легко?

Бледный парень, заломив шапку на затылок, быстрым говорком пел под гармонику:

Сидел милый на крыльце
С выраженьем на лице...

Половой поставил передо мной полубутылку. Я смотрел в зеленовато-ясную жидкость, смотрел кругом на людей и думал:

«Погодите вы все,— вы, противные! И ты, мутная, рабская жизнь! Вот сейчас я буду всех вас любить. В ответ поганым звукам органа зазвенят в душе манящие звуки, дороги станут братья-люди, радостно улыбнется жизнь,— улыбнется и засветится собственным, ни от чего не зависимым смыслом!»

Я вышел из трактира с двумя фабричными парнями. Они любовно-почтительно слушали меня и кивали головами, а я с пьяным, фальшиво-искренним одушевлением говорил о завоевании счастья, о светлом будущем.

Голова шумела, в душе был смех. Люди орали песни, блаженно улыбались, смешно целовались слюнявыми ртами. Мужик в полушубке стоял на карачках около фонарного столба и никак не мог встать. С крыльца кто-то крикнул:

— Ванька!

Мужик сосредоточенно ответил:

— Был Ванька, да уехал!

Поднял ко мне лохматое лицо, лукаво подмигнул и засмеялся. Кто-то пробежал мимо в темноту.

— Ванька-а-а!!

— Был Ванька, да уехал!

Лохматое лицо подмигивало мне и радостно смеялось.

Отовсюду звучали песни. В безмерном удивлении, с новым, никогда не испытанным чувством я шел и смотрел кругом. В этой пьяной жизни была великая мудрость. О, они все поняли, что жизнь принимается не пониманием ее, не нахождениями разума, а таинственною настроенностью души. И они настраивали свои души, делали их способными принять жизнь с радостью и блаженством!.. Мудрые, мудрые!..

Я звонил к Катре.

— Дома Катерина Аркадьевна?

Горничная удивленно оглядела меня.

— Сейчас доложу.— Сходила и воротилась.— Пожалуйте!

Катра вышла со свечкою в темную гостиную. Лицо у нее было странное и брезгливо-враждебное.

— Вы одна... Я боялся, что у вас народ будет! Хотите,— пойдемте погуляем?.. Чудная погода!

Катра пристально вглядывалась в меня. Вдруг она расхохоталась, как девочка.

— Знаете, который час?

— Н-нет.

— Двенадцатый!.. И на дворе сырость, туман... Ха-ха-ха!.. Пойдемте... Только за город пойдем, там туман чистый...

Она смеялась и не могла остановиться и, смеясь, поспешно одевалась.

— Только вы мне много-много говорите и не смотрите на меня. Слышите,— не смотрите! Я сейчас всех выгнала от себя. Боже мой, какие скучные люди!.. И какая тоска!.. Вы много будете говорить?

— А вам разве словами нужно много говорить? Мы все время много разговариваем, только не словами,— вдруг сказал я.

Она перестала смеяться, быстро взглянула на меня.

— Да-а?..— И широко открыла глаза.— Идемте!

Мутный туман затягивал поля, но на шоссе было сухо. Над городом тускло белело мертвое зарево от электрических фонарей. Низом от леса слабо тянуло запахом распускающихся почек.

И я говорил, говорил.

— ...Алексея я нисколько теперь не жалею, его я почти не чувствую. Но я весь охвачен запахом трупного разложения, я никуда не могу уйти от него. И не могу уйти от вставших отовсюду сил. Неведомые, они везде, кругом,— в луче солнца, в гнили тумана, в моем теле. В душе темнота, наверху бессильною змейкою крутится сознание, и я с презрением смеюсь над ним. Но сейчас,— вот перед тем как прийти к вам,— вдруг в этой темноте заполыхал странный, мелькающий свет. С замиранием я вспомнил о вас и пошел к вам... Катра! Есть жизнь и для отверженных — для вас, для Алеши, для меня! Вашею мутною душою вы почуяли путь. Пусть сознание вздымается на дыбы и бросается назад, пусть гадливо трепещет, презирает и ужасается... Вперед, hollà! Под ногами обрыв и черная ночь? Ну что ж! Вперед с зажмуренною душою. Там радости, которых не знают сидячие души. И миг полета стоит десятка лет.

Я не замечал, что называю ее Катра.

Большие глаза улыбались нежно и радостно. Пьяно-веселым вихрем все крутилось во мне, и я чувствовал — этому вихрю звучит в ответ странно насторожившаяся душа.

— Я скажу, Катра. Мы очень мало с вами говорим, мы все время на ножах. Но что это такое? Уже давно я чувствую, что вы во мне, и я... да, и я в вас. И мы играем в прятки.

Что еще говорилось? Не помню. Бессвязный бред в неподвижном тумане, где низом шел ласкающий запах весенних почек и мертво стояло вдали белое зарево. Не важно, что говорилось,— разговор опять шел помимо слов. И не только я чувствовал, как в ответ мне звучала ее душа. Была странная власть над нею,— покорно и беззащитно она втягивалась в крутящийся вихрь.

Я, задыхаясь, сказал:

— Темно. Дайте вашу руку.

И мы шли.

— Все еще нельзя смотреть вам в лицо? А я буду.

Я взглянул в ее огромные насторожившиеся глаза. И темнота не мешала. В них мерцала радость покорной, отдающейся очарованности. Как будто я нес ее на руках, а она, прижавшись ко мне щекой, блаженно закрыла глаза.

Я близко наклонился к ней. Вдруг Катра вздрогнула и быстро выдернула руку.

— Послушайте, вы пьяны! От вас пахнет водкой!..— Она с отвращением отшатнулась.— Какая гадость!

Я смотрел на нее. Она повторяла:

— Какая гадость!

Злоба и гадливое отвращение вдруг охватили меня. Я пристально все смотрел на нее.

— И вы раньше не знали, что я пьян? Неправда! Вы знали уж тогда, когда пошли со мною! — Я злорадно добавил: — Вы даже были этому очень рады, вы поэтому именно и пошли!

— Гадость, гадость какая!

Мне казалось,— всем напряжением воли Катра взмучивает в себе содрогающееся отвращение. Она отбросила взглядом мой презирающий взгляд и высокомерно сказала:

— Проводите меня домой!

И повернула назад.

Мы шли и молчали

Было глухо. Было очень тихо от тумана. Катра быстро шла, опустив голову. В чаще леса что-то коротко ухнуло, рванулось болезненно и оборвалось, задушенное туманом. Вздрогнув, Катра пугливо оглянулась и пошла еще быстрее.

Вдруг жалующимся голосом она сказала:

— Я не могу так скоро идти!

Как будто это я ее заставлял.

Пошли медленнее. Катра робко вглядывалась в туман Жалким, детским голосом она проговорила:

— Дайте вашу руку. Мне страшно!

Оперлась на мою руку и все с большим страхом оглядывалась.

— Тут вдоль шоссе трактиры, тут часто режут людей... Везде безработные, грабежи... У нас ночью по всей улице сняли медные дощечки с дверей и дверные ручки... Вчера опять была экспроприация на механическом заводе...

Я злился. Катра вздрагивала, пугливо прижималась ко мне и деланным голосом повторяла:

— Мне стра-ашно!

Было неестественно. И все-таки делалось жутко. Теперь что-то из ее души заражало меня. Мертво выдвигались из тумана пригородные кусты, белесые от далекого зарева.

Вздрагивали искривленные губы, бегали глаза.

— Мне стра-ашно!

Комедиантка! Все в ней деланно и преувеличенно — и боящийся голос и вздрагивания. Она нарочно вздрагивает, чтобы крепче прижаться ко мне. Это все она мстит мне за тогдашнюю поездку на тройках.

— Что это?.. Аа... Аааа!!.

С воплем Катра метнулась в сторону. Споткнулась о кучу шоссейного щебня и упала. Я бросился к ней. Корчась в усилиях воли, она глушила вопль, впивалась пальцами в осыпавшиеся камни.

Вдруг голова неестественно согнулась. Подбородок впился в грудь. Тело медленно изогнулось дугою в сторону, скорченные руки дернулись и замерли. Вот так история! Она была без чувств.

Я старался приподнять ее. Тело было странно негибкое, глаза закрыты.

— Катерина Аркадьевна! Катерина Аркадьевна!

Она неподвижно лежала с закрытыми глазами и вдруг тихо всхлипнула. Сильнее, все сильнее. Грудь дышала с хриплым свистом, как туго работающие мехи. Катра раскрыла глаза, в тоске села.

— Боже мой, у меня все тело распухает!.. Нет воздуху, нечем дышать!.. Кто тут? Расстегните мне платье!

Я неумело попробовал. Крючочки какие-то, кнопки...

Она нетерпеливо оттолкнула мою руку, захватила ворот и дернула его, обрывая.

— Куда воздух делся?.. Боже мой! О боже мой!

На первом встречном извозчике я довез ее до дому.

Слабая, разбитая и жалкая, она сидела молча.

Пролетка остановилась у крыльца. Катра с ненавистью взглянула на меня и с колюще-холодным вызовом сказала:

— Вы думали, я чего-нибудь испугалась? Вовсе нет. Ничего я не боялась.

И, не простившись, пошла к крыльцу.

Ну да! Ведь я же ждал, давно ждал этого! Я ждал — и нечего ужасаться! Уж два месяца назад я похоронил его. О господи!..

Ремонтные рабочие рано утром подобрали на рельсах за сахарным заводом его раздавленный труп. Голова нетронута, только с одной ссадиной на лбу, в редкой бородке песок и кровь. И на бледном, спавшемся лице все было это странное выражение, как будто он притворяется. Хотелось растолкать его, сказать:

— Ну, будет же, Алеша! Перестань! Ведь это слишком мучительно!

И он быстро поведет головою и, притворяясь, будто вправду был мертв, с деланным удивлением раскроет глаза.

Но средь лохмотьев пальто, в черно-кровавой массе легких, белели и выпячивались лопнувшие ребра, из срезанных наискось бедер сочилась ярко-алая, уже мертвая кровь, и пахло сырым мясом.

Вечером, воротившись от Маши, я сидел в темноте у окна. Тихо было на улице и душно. Над забором сада, как окаменевшие черные змеи, темнели средь дымки молодой листвы извилистые суки ветел. По небу шли черные облака странных очертаний, а над ними светились от невидимого месяца другие облака, бледные и легкие. Облака все время шевелились, ворочались, куда-то двигались, а на земле было мертво и тихо, как в глубокой могиле. И тишина особенно чувствовалась оттого, что облака наверху непрерывно двигались.

Опять все кругом было необычно, опять давно приглядевшееся выглядело новым и странным. От поля медленно

шла по улице темная фигура, смутные тени скользили по земле, в теплом воздухе пахло распускавшимися березовыми листочками... Вот,— этот человек идет, охваченный думами, и не спрашивает себя,— его ли это думы в его голове? И тени сосредоточенно ползут и не подозревают, что они — только безвольное отражение облаков. Скромно-горделиво стоят березы, окутанные свежим и чистым ароматом молодости. Чего гордиться?.. И только в тишине кругом чуялось сознанное миром безмерное, несвержимое рабство свое.

— Константин Сергеевич, вы? — нерешительно спросил из тишины женский голос.

Я вздрогнул. Посреди улицы неподвижно стояла Катра.

— Как вы здесь? Катерина Аркадьевна!

Она медленно подошла к окну. Лицо под широкими полями шляпки казалось бледным.

— Это от поля *вы* сейчас шли?

— Да, я в поле гуляла... За архиерейской дачей...

Катра облокотилась о подоконник, подперла щеку рукою в светлой перчатке. Она была сосредоточенно-задумчива, глаза светились.

Я пристально смотрел на нее.

— Вам странно? — Она равнодушно помолчала. — Я хотела после тогдашнего проверить, трусиха я или нет... Ничего. Только заблудилась... Ох, не люблю трусов!.. Ямы какие-то пошли, сваленные бревна. У меня револьвер с собою. Удивительно, тишина какая. Жутко, слышно, как тишина звенит в ушах. Иду я за казачьими казармами,— в полыни кто-то слабо и глухо ворчит, кто-то пищит жалобно. Остановилась. В темноте через дорогу проползло что-то черное, пушистое, длинное, и все ворчит, и ушло в крапиву. И там долго еще ворчало и жалобно пищало. Что это?

Она нервно повела плечами.

— Хорек, должно быть. Мышь поймал.

— Если уж правду говорить, я ужасно испугалась! — Она доверчиво улыбнулась и с детскою гордостью прибавила: — А все-таки овладела собою, даже шагу не ускорила...

— Вы знаете, Алешу поезд раздавил.

— Что-о?

Катра быстро подняла голову. Она молча смотрела на меня большими, спрашивающими глазами, и мои глаза ответили ее взгляду.

— Так, вот что...

Катра понурилась и стала ворошить концом зонтика осколок кирпича. Вдруг она решительно и взволнованно сказала:

— Константин Сергеевич, откройте мне дверь, я зайду.

Я отпер калитку. Освещая сенцы спичками, ввел Катру в комнату. Она нетерпеливо смотрела, как я зажигал лампу.

— Расскажите, как случилось... Поподробней!..

— Что рассказывать? Я ничего не знаю. Позвали к куску растерзанного мяса, спросили: «Узнаете?» — «Узнаю...» Сказал: «Он поехал с пассажирским поездом номер восемь, любил стоять на площадке, должно быть, свалился...» И сошлись с ним ложью,— в жилетном кармане у него нашли билет. Маше он еще третьего дня сказал, что едет в Пыльск.

Катра, наклонившись вперед, в ужасе слушала.

Я сел на кровать и стиснул голову руками.

— О господи, пускай, пускай! Слава богу, наконец кончилось!.. Какая мука!..

Я замолчал. Катра не шевелилась и все как будто слушала.

— Вы знали его старшего брата? — спросил я.— Он тоже убил себя, отравился цианистым калием. Проповедовал мировую душу, трагическую радость познания этой души, великую красоту человеческого существования. Но глаза его были водянисто-светлые, двигались медленно и были как будто пустые. В них была та же жизненная пустота. И он умер,— *должен был умереть*. Доктор Розанов говорит, на всей их семье типическая печать вырождения... Встало Неведомое и ведет людей, куда хочет!.. Страшно, страшно!

Как будто в каком-то сне, Катра глухо отозвалась:

— Страшно!

Она подошла к окну. По серебристо-светящемуся небу по-прежнему ползли черные облака, и удивительна была эта сосредоточенная жизнь на небе над глухо молчащей землею.

— Забытая небом земля,— сказала Катра.

Мы долго молчали. Катра повернулась спиною к окну. От полей шляпки падала тень на ее лицо, но мне казалось: я вижу его с широко открытыми, светящимися глазами. Как будто она, насторожившись, жадно прислушивалась к чему-то внутри себя, чего не могла расслышать. Мне вдруг стало странно: зачем она здесь и зачем молчит?

Катра бессознательно застонала слабым, протяжным стоном — смутным и тоскливым, как стонут спящие люди. Она вздрогнула от своего стона, очнулась и презрительно повела плечами.

— Пойдемте в его комнату... Я хочу посмотреть,— коротко сказала она.

Мы вошли. Катра с острым любопытством медленно оглядывала кровать Алексея, печку с полуоткрытою заслонкою, за которою виднелись сор и бумага. На гвоздике у двери висел старый пиджак Алексея, теперь сиротливо-ненужный. Катра смотрела на дверь.

— А вокруг косяков вся штукатурка осыпалась... Так все и осталось, как вы тогда дверь выломали. Стоял синий угар...

Она говорила как в бреду. Она как будто тянулась душою в этот воздух, насыщенный смертью,— тянулась жадно, извилисто-страстно. И замолчала.

И я замолчал. За окнами была та же тишина. До меня донесся странно-тихий шепот:

— Вам не кажется, что сейчас все кругом умерло?

Сердце стучало, в груди была дрожь. Я нахмурился и резко ответил:

— Не понимаю, что вы говорите.

Катра медленно подошла к окну и стала смотреть на улицу.

— Как тихо! Как тихо! И ни одного огонька нигде... Смерть разлилась на все и все охватила, и только мы одни. Это удивительно... Можно кричать, вопить, стрелять,— никто не услышит... И умереть...

Она счастливо вздохнула. У меня сердце стучало все сильнее. Я смотрел на нее. На серебристом фоне окна рисовались плечи, свет лампы играл искрами на серебряном поясе, и черная юбка облегала бедра. Со смертью и тишиною мутно мешалось молодое, стройное тело. Оно дышит жизнью, а каждую минуту может перейти в смерть. И эта осененная смертью жизнь сияла, как живая белизна тела в темном подземелье.

Мы молчали. Мы долго молчали, очень долго. И не было странно. Мы все время переговаривались, только не словами, а смутными, пугавшими душу ощущениями, от которых занималось дыхание. Кругом становилось все тише и пустыннее. Странно было подумать, что где-нибудь есть или когда-нибудь будут еще люди. У бледного окна стоит кра-

савица смерть. Перед нею падают все обычные человеческие понимания. Нет преград. Все разрешающая, она несет безумное, небывалое в жизни счастье.

Душный туман поднимался и пьянил голову. Что-то в отчаянии погибало, и из отчаяния взвивалась дерзкая радость. Да, пускай. Если нет спасения от темных, непонятных сил души, то выход — броситься им навстречу, свиться, слиться с ними целиком — и в этой новой, небывало полной цельности закрутиться в сумасшедшем вихре.

Прерывисто дыша, я подошел к окну. Я близко подошел к ней и тяжело, решительно сказал:

— Катра! Сейчас же уходите отсюда! Слышите?

Катра повернулась ко мне. Она беззвучно смеялась, счастливо смотрела и качала головою. В тени шляпки глаза мерцали смутными, далекими огоньками, как светляки в лесном овраге.

Я быстро охватил ее плечи и крепким поцелуем приник к щеке. Катра слабо вскрикнула и рванулась.

— Константин Сергеевич, что это вы?

Я хищно целовал ее, я ломал ей руки и отводил их от тела.

— Константин Сергеевич!.. Боже мой!.. Конста...

Была немая борьба. Гибкое, сильное тело извивалось, пуговицы и застежки трещали. Вдруг Катра перестала биться. Она слабо застонала — тем же тоскливым стоном бредящего человека. Жестоким поцелуем я припал к нагому плечу.

Катра рванулась.

Вихрем взвилась острая, безумная радость. Никогда нигде ничего не было, было только дерзкое, непозволенное, неслыханное в человеческой жизни счастье.

— Погоди, что это... Ах да!

Катра вынула из кармана револьвер. Она обняла мою шею рукою, крепко прижала к себе. Другой рукой покрыла плоский, блестящий револьвер. Грозно-веселый свет безумно лился из ее глаз в мои.

— А если я сегодня же убью тебя и себя?

— Пускай!

В комнате еще чувствуется весенне-нежный запах ее духов. Воспоминание о безумной ночи мешается с мыслью о растерзанном трупе Алеши... Ну что ж! Ну и пускай!

У косяка двери с осыпавшеюся штукатуркою висит на гвозде старый пиджак Алеши. Заношенный, с отрепанными рукавами. Рыдания горькой жалости схватывают грудь.

Здесь стояла и она, прекрасная, охваченная смутным бредом смерти. Но она не вспомнила о револьвере. Ушла и даже забыла его на столике. Лежит он, тускло поблескивая, грозный и безвредный. Обманом была украдена радость, кончилась мелко и неполно.

А Алеша вчера утром стоял в кустах за сахарным заводом. Чуть брезжила зеленоватая заря. Блестящие струи рельсов убегали в сумрак. Со впавшими, решительными глазами он стоял и вслушивался, как рельсы тихо рокотали от далекого поезда, несшего ему смерть.

Тщательно и горячо они обсуждали содержание завтрашних речей. Наташа всю ночь с женою Дяди-Белого вышивала майские флаги. Ее бескровное лицо посерело, но глаза светились еще ярче. Я решительно отказался выступать завтра,— очень расстроен смертью Алексея, в голове каша, не сумею связать двух слов. И было мне безразлично, что Перевозчиков иронически улыбался и ясно выказывал подозрение,— не попросту ли я трушу.

Со смутною завистью я прислушивался. Что-то важное для них, огромное и серьезное. А у меня в душе все ссохлось, и жизнь отлетела от того, о чем они говорили. Были только истрепанные слова, возбуждавшие тошнотную скуку.

Я увидел под сознанием непроглядную темноту и увидел мои мысли — призраки, рожденные испарениями темноты. Некуда уйти от нее. И призраки меня не обманут — темные ли они, или светлые. Не обманут, а теперь уже не испугают.

Пускай мутный сумрак души, пускай ночные ужасы и денная тоска. Зато в полумертвом сумраке — слепяще-яркие, испепеляющие душу вспышки. Перенасыщенная мука, недозволенное счастье. Исчезает время и мир. И отлетают заслоняющие призраки. Смейся над ними и весело бросайся в темноту. Только там правда, неведомая и державная.

За обедом, за чаем, за ужином,— все время Анна Петровна непрерывно кричит на скуластую Аксютку. Это здесь необходимая приправа к еде.

— Да где она опять, эта рыжая дурища?.. Аксютка! Поди сюда! Где ты была,— в риге, на скотном, что не слышишь, как зовут?

— Я в кухне была.

— А я тебе десять тысяч раз говорила: когда мы за столом, чтобы ты тут была... Где вилки?

— Вот, на столе лежат.

— Где *вилки*?.. Чем у тебя голова набита,— навозом? Поди сюда, считай,— сколько нас? Теперь сообрази,— сколько вилок надо?

Федор Федорович кряхтит и пьет много квасу.

Оба они то и дело шпыняют Борю за то, что ему назначена переэкзаменовка,— малый в пятом классе, а вот пришлось взять репетитора.

Анна Петровна приправляет салат и поучающе говорит:

— Ты должен хорошо учиться. Видишь, как хозяйство идет. Все ползет, все разваливается. Мы с отцом ничего в хозяйстве не понимаем...

Федор Федорович широко раскрывает глаза.

— Кто не понимает?.. Парлэ пур ву!..[1] Зачем вы меня сюда припутали? Я отлично понимаю.

— «Отлично»... Почему же у нас никакие машины не идут?

— Какие машины не идут?

— Все, какие есть. Сеялка, косилка, молотилка. Свидерский говорит,— сеялка у нас очень хорошая, только управлять не умеют.

— Глупости говорит Свидерский.

— Почему же у нас, как посеют овес просто, без сеялки...

— Почему... почему... Э... э... Почему у оленя во рту не растут лимоны?

Федор Федорович сопит и наливается кровью, рачьи глаза смотрят злобно. Анна Петровна презрительно пожимает плечом.

— Это что значит?

---

1 Говорите о себе!.. (*от франц.* Parlez pour vous!..)

— Почему этот стакан стеклянный, а не деревянный? Почему сейчас дождь идет? Эти глупые вопросы, на них нельзя ответить. Почему не родилось? Урожаю не было!

— Почему же у нас урожай бывает там, где сеют без сеялки?

— Го-го!.. Уд-дивительно!

— Очень удивительно. Посеют просто, от руки,— и растет себе великолепно. А выедут с сеялкой — стучит, трещит, звенит, а толку нету!

— У-удивительно! Х-хе-хе-хе!.. Суперфлю! Суперфлю!..[1]

— И во всем так. Все дуром идет, через пень колоду.

Курсистка Наталья Федоровна, с темным, болезненным лицом, страдальчески морщится.

— Ну, мама, будет!

Но Анна Петровна безудержно сыплет:

— Вот, скотник Петр. Три недели лошадей не распутывал, лошади все ноги себе протерли. Скотину домой гонит за два часа до заката, кнутом хлещет. Стадо мчится, как с пожара, половина овец хромая — лошади подавили. А прогнать скотника нельзя,— «где я другого найду?»

— Ну да,— где я другого найду? Нет народа!

— Свет не клином сошелся. Можно пока поденно взять.

Федор Федорович наливается темной кровью, на лбу вспухают синие жилы.

— Поденно!.. Умное слово услышал!.. Поденно!..

Он, шатаясь, поднимается и поспешно уходит в кабинет. Анна Петровна ему вслед:

— Вот, когда правду заговорят,— сейчас же бежит!

— Да будет тебе, мама! Ну что это! Противно слушать.

— Не слушай, пожалуйста!

— Ведь опять у него кровь прилила к голове.

Анна Петровна осекается. Она сидит молча, подергивает плечами, без нужды передвигает тарелки. Потом говорит:

— Пойди, Боря, посмотри, не нужно ли чего отцу... Да вот творожники отнеси ему — ушел от третьего.

— Сказал,— не хочет.

Изо дня в день так. О чем ни заговорят,— вдруг из разговора высовываются острые крючочки, цепляются, колют-

---

1 Бесполезно! Бесполезно!.. (*от франц.* Superflu!..)

ся. Ссоры, дрязги, попреки. Мой ученик Боря — славный мальчик, наедине с ним приятно быть. Но когда они вместе,— все звучат в один раздраженно злой, осиный тон.

Весна в разгаре. Воздух поет, стрекочет, жужжит. Цветет сирень. И державно плывет над землею солнце.

Но душа на все смотрит как из глубокой черной дыры. Далеко где-то звенят ласточки. Равнодушно проходят цветы — распускаются, теряют уборы... И сирень уже закоричневела, сморщилась. А я все собирался почувствовать ее. Ну, все равно.

Я ничего не читаю, и не хочу думать. Довольно играть мячиками-мыслями. Второстепенное мне теперь совсем не интересно — все эти параллаксы Сириусов и тактика кадетов. А в самом важном, что так необходимо для жизни,— тут цену исканиям мысли я знаю. Мячики, которые подсовывает Хозяин. Не хочу.

И странно мне смотреть на Наталью Федоровну. Сутулая, с желто-темным лицом. Через бегающие глаза из глубины смотрит растерянная, съежившаяся печаль, не ведающая своих истоков. И всегда под мышкой у нее огромная книга «Критика отвлеченных начал» Владимира Соловьева. Сидит у себя до двух, до трех часов ночи; согнувшись крючком, впивается в книгу. Часто лежит с мигренями. Отдышится — и опять в книгу. Сосет, сосет, и думает — что-нибудь высосет.

Живет здесь еще жена старшего их сына-чиновника, Агриппина Алексеевна. Молодая, очень полная, всегда в тугом корсете; сильно скучает в деревне. У нее мальчик Воля. Вечно он ноет и капризничает; с воскового, спавшегося личика смотрят злые глаза. Какой-то кишечный катар у него. Агриппина Алексеевна ставит ему клизмочки и готовит кашки.

Кругом все разрушается. Амбары покосились, крыша риги провисла. Старенький старичок Степан Рытов ведет на поводу слепого мерина, запряженного в бочку, и шамкающим голосом повторяет:

— Тпру!.. Тпру!..

По запущенному саду ходит, еле двигая ногами, дряхлый жеребец. Вокруг глаз большие седые круги, как будто очки. На ночь его часто оставляют в саду. Он неподвижно стоит, широко расставив ноги, с бессильно-отвисшей гу-

бой. И в лунные ночи кажется,— вот призрак умирающей здесь жизни.

А иногда другой является призрак. Приходит из деревни пьяный Гаврила Мохначев. Огромный, лохматый и оборванный, он бродит по саду, шагая через кусты и грядки, бродит под балконом. Грозит кулаком на окна и зловеще трясет головой.

— У-у, дармоеды проклятые! Настроили хором... Погодите, дайте срок!..

Зато сегодня вечером увижу Катру.

Имение ее матери в пяти верстах от Сеянова, где я. Мать — сухая, энергичная дама с хищными, торгашескими глазами. Она сама управляет имениями, носится в платочке по амбарам и скотным дворам. Копит, копит для Катры и совсем не интересуется, как и чем она живет.

Катра властвует. Ее три комнаты — изящная сказка, перенесенная в старинный помещичий дом. Под окнами огромные цветники, как будто эскадроны цветов внезапно остановились в стремительном беге и вспыхнули цветными, душистыми огнями. Бельведер на крыше как башня, с винтовой лестничкой. Там мы скрыты от всего мира.

Среди ароматов и цветов — она, прекрасная, хищная. И она моя. Буйно-грешный сон любви и красоты, вечной борьбы и торжествующего покорения. Все время мы друг против друга, как насторожившиеся враги. Мне кажется, мы больше друг друга презираем и ненавидим, чем любим. Смешно представить себе, чтоб сесть с нею рядом, как с подругою, взять ее руку и легко говорить о том, что в душе. Я смотрю,— и победно-хищно горят глаза:

«Да! Ты—гордая, недоступная, всем желанная, ты моя, с твоими презрительными глазами и руками Дианы».

А она смотрит:

«Ты, с твоими звонкими словами о широком и большом,— ты увидел в этом пустоту. Я буду при тебе смеяться надо всем, ты можешь беситься, а я знаю: встану, подниму из широких рукавов нагие руки, потянусь к тебе,— и пусть ты не говоришь, а пьянящая тайна моих объятий для тебя глубже и прекраснее скучных дел мира».

Ну да, глубже и прекраснее. Она торжествует. А я злорадно смеюсь в душе. С предательски-внимательным взглядом она подносит мне пьяный напиток, кажется, вся страсть

и острая радость ее в том, что я хватаюсь за него. А мне его-то и нужно.

Кружится голова. Как темно, как жарко! Гибкая змея вьется в темноте. Яд сочится из скрытых зубов, и смотрят в душу мерцающие, зеленые глаза. Темнота рассеивается, глубоко внизу мелькает таинственный свет. Все кругом изменяется в жутком преображении. Грозное веселье загорается в ее глазах, как в первый раз, когда она ласкала рукою сталь револьвера. И вдруг мы становимся неожиданно близкими. И идет безмолвный разговор.

«Ты помнишь,— помнишь, что смерть нас венчала?»

И безумные глаза отвечают:

«Помню!»

Шевелятся волосы от близкого дыхания божественной венчательницы. Вот она. Какая великая власть у нас! Только шаг шагнуть и ух! Оборваться и полететь и забиться в безумно сладких судорогах. Светлый смех над темною жизнью. И молния. И светлый, торжествующий конец.

Это писалось всего несколько часов назад? Читаю, перечитываю,— как будто писано на незнакомом языке. Свет какой-то, пьянящая тайна объятий... Какого тут черта «тайна»?.. Бррр...

В душе смрад. Противны воспоминания. Все так плоско и убого. Как будто вышел я из спальни проститутки. «Бездна»? Грязное болото в ней, а не бездна... Ко всему она спускается сверху, из головы, с холодом ставит опыты там, где ждешь всесжигающего огня. И никакой нет над нами «венчательницы». Не ужас между нами, а развратно-холодная забава.

Хозяин слепыми глазами смотрит на меня из моей глубины. И я твержу себе:

— Помни, помни, что ты теперь испытываешь!

Но со злобою я чую: захочет он, слепой мой владыка, и опять затрепещет душа страстно-горячею жаждою, и опять увижу я освещающую мир тайну в том, от чего сейчас в душе только гадливый трепет.

Идут дни, как медленные капли падают. С тупым отвращением я наблюдаю моего Хозяина. Он, этот слепой и переметчивый тупица,— он должен решать для меня загад-

ку жизни! Какое унижение! И какая глупость ждать чего-нибудь!

Конечно, я болен. Слишком много всего пришлось пережить за этот год. Истрепались нервы, закачались настроения, душа наполнилась дрожащею серою мутью. Но этому я рад. Именно текучая изменчивость настроений и открыла мне моего Хозяина. Как беспокойный клещ, он ворочается в душе, ползает, то там вопьется, то здесь,— и его все время ощущаешь. А кругом ходят люди. Хозяева-клещи впились в них неподвижною, мертвою хваткою, а люди их не замечают; уверенно ходят — и думают, что сами они себе причина.

А сегодня я посмеялся.

Лежал после обеда под кленом в конце сада, читал газету. Часа через два после обеда меня часто охватывает тупая, мутящая тоска. Причину я знаю. Не осиянное проникновение духа сквозь покров Майи,— о нет! Обычный студенческий катар желудка.

Я лежал, смотрел, как светило солнце сквозь сетку трав на валу канавы. Душа незаметно заполнялась тяжелым, душным чадом. Что-то приближалось к ней,— медленно приближалось что-то небывало ужасное. Сердце то вздрагивало резко, то замирало. И вдруг я почувствовал — смерть.

Я почувствовал — она здесь. Подползла откуда-то — унылая, тусклая,— обвилась, сунула нос в мою душу и нюхает. Она не собиралась сейчас взять меня, только приползла взглянуть на будущую добычу. И все внутри затрепетало в понятой вдруг обреченности своей на уничтожение.

Не умом я понял. Всем телом, каждою его клеточкою я в мятущемся ужасе чувствовал свою обреченность. И напрасно ум противился, упирался, смотря в сторону. Мутный ужас смял его и втянул в себя. И все вокруг втянул. Бессмысленна стала жизнь в ее красках, борьбе и исканиях. Я уничтожусь, и это неизбежно. Не через неделю, так через двадцать лет. Расслизну, начну мешаться с землей, все во мне начнет сквозить, пусто станет меж ребрами, на дне пустого черепа мозг ляжет горсточкою черного перегноя...

Несколько раз за этот год я лицом к лицу сталкивался со смертью. Конечно, было очень страшно. Но совсем было не то, и не мог я понять, что это за ужас смерти. А теперь, в полной безопасности, на мягкой траве под кленом,— я вдруг заметался под негрозящим взглядом смерти, как загнанная в угол собачонка.

Хотелось перестать метаться, свиться душою в клубок, покорно лечь и в неподвижном ужасе чувствовать, что вот она, вот она над тобою, несвержимая владычица...

Но я вскочил на ноги.

С разбегу перепрыгнул через канаву и побежал навстречу ветру к лощине. Продираясь сквозь кусты, обрываясь и цепляясь за ветки, я скатился по откосу к ручью, перескочил его, полез на обрыв. Осыпалась земля, обвисали ветви под хватающимися руками. Я представлял себе,— иду в атаку во главе революционных войск. Выкарабкался на ту сторону, вскочил на ноги.

Морем лился свет на широкие луга. Весело билось сердце, грудь, задыхаясь, алчно вбирала свежий воздух, насытившиеся мускулы играли.

Где, где — то, что сейчас клубком обвивалось вокруг души? Там осталось, внизу. Вон за канавой, под кленом.

А, подлый раб! Ты думал — ты мой Хозяин, и я все приму, что ты в меня вкладываешь? А я вот стою, дышу радостно и смеюсь над тобою. Стараюсь, добросовестно стараюсь — и не могу понять,— да что же такого ужасного было в том, что думалось под кленом? Я когда-нибудь умру. Вот так новость ты мне раскрыл!

— Воля, пойди-ка сюда! Пойди, пойди сюда! — Агриппина Алексеевна сердито ждала, пока он не подошел.— Скажи, пожалуйста, кто это у тети Наташи в комнате разбил синий кувшинчик из-под цветов?

Воля насупился, поджал губы и вызывающе уставился на нее.

— Ты это разбил, да?

Он, не спуская с нее взгляда, кивнул головой.

— Сколько же раз я тебе говорила: не смей никогда трогать ничего без спросу! Тетя Наташа так любит синий кувшинчик, а ты разбил. Никогда больше не ходи один в комнату тети Наташи, понял?

Воля робко взглянул исподлобья и неожиданно ответил:

— Нет.

— Не понял? Я тебе говорю: ты все трогаешь без спросу, все портишь. И не смей ходить, куда тебя не зовут. Понял теперь?

Робко, жалобно и настойчиво Воля повторил:

— Нет.

— Ну, голубчик мой, если не понимаешь, то тебя никуда нельзя выпускать. Пойдем, я тебя запру наверху.

Она взяла Волю за руку. Он сморщился и судорожно стал всхлипывать.

— А-а! Видишь? Не хочется наверх? Понял теперь, что нельзя трогать чужих вещей?

Крупные слезы прыгали по желтовато-прозрачным щекам. Воля вызывающе взглянул и жалобно дрожащим, упрямым голосом опять ответил:

— Нет.

— Ах, дрянной мальчишка!.. Ну, посиди наверху, тогда поймешь!

Она потащила его из столовой. Воля вдруг закатился голосистым ревом, как будто плач долго накоплялся в нем и теперь упоенно вырвался наружу. Анна Петровна сказала:

— Вот характерец!.. Какой упрямый мальчишка!

— Болен он.

— И в кого он такой уродился? Отец здоровый, мать вон какая! — Анна Петровна улыбнулась. — Сегодня утром Фекла мне говорит: удача нашему молодому барину — такая телистая жена попалась.

Боря лениво возразил:

— Она сказала: «тельная»!.

— Ну что ты! «Тельная»! Тельною корова называется, когда ждет теленка.

— «Тельная» через *ять*, от «тело».

— Я сама слышала, она сказала — телистая.

— А я слышал, сказала — тельная.

— Ну не ври, пожалуйста!

Раздражаясь, вмешалась Наталья Федоровна:

— Отчего он должен врать? Ты так слышала, он так.

— Ничего он не слышал. Всегда врет.

— Никогда не вру! По себе судишь.

Федор Федорович крикнул:

— Как ты смеешь говорить так матери?!

Заварилась каша.

— Сейчас же проси у матери прощения.

— Не стану просить. Пусть она раньше меня попросит!

— Она — у тебя?!

Федор Федорович поспешно ушел в кабинет. Когда он

волнуется, у него приливы крови к голове, и он страшно боится удара.

Приказ из кабинета через Аксютку:

— Пусть Борис Федорович не попадается барину на глаза.

Раньше, чем выйти к обеду или ужину, Федор Федорович вызывает теперь Аксютку справиться, в столовой ли Боря. Кормят Борю отдельно.

— Тпру!.. Тпру!..

Чалый, слепой мерин, спокойно шагает. Заложив руки за спину и держа в них повод, впереди идет дедушка Степан. Старая гимназическая фуражка на голове. Маленький, сгорбленный, с мертвенно-старческим лицом, он идет как будто падает вперед, и машинально, сам не замечая, повторяет:

— Тпру!.. Тпру!.

Мерин возит воду из колодца, траву для конюшенных лошадей. И круглый день на дворе или в саду слышится отрывистое, сурово-деловитое:

— Тпру!.. Тпру!..

Тяжело и жалко смотреть на старика. Такой он маленький, дряхлый, сгорбленный. Ему бы давно лежать на печи и греться на солнышке. А он убирает пять лошадей на конюшне, обслуживает двор и кухню.

На днях косил он в саду траву для конюшенных лошадей. Коса резала медленно и уверенно, казалось, она движется сама собой, а дедка Степан бессильными руками прилип к косью и тянется следом. Лицо его было совсем как у трупа.

— Дай-ка, дедка, я покошу.

Он остановился,— скрывая тяжелую одышку, оглядел меня.

— С чего это? Ну, ну, побалуйся. Дай поточу тебе.

Я косил. Степан с добродушно-снисходительною усмешкою смотрел и учил:

— Пяткой больше налегай!.. Та-ак!.. Много концом забираешь, ты помаленечку. Она ровней пойдет...

Я докосил до канавки. Степан подошел.

— Будя, малый! Уморился.

— Нет, я на весь воз накошу.

— О-о?.. Ну, покоси еще.

Я ряд за рядом продвигался мимо. Степан стоял, расставив ноги в огромных лаптях; с узких, сгорбленных плеч руки прямо свешивались вперед, как узловатые палки. А глаза следили за мной и в глубине своей мягко смеялись чему-то.

— Ну, я, значит, за телегой побегу... А ты еще рядочка два пройди — и ладно.

Теперь я каждый день кошу для него траву.

— Дедушка Степан, где косить сегодня?

— Ай опять охота нашла?.. Ну-ну! Низком нынче коси, за малиной. Где кленочки-то насажены-ы? Пройди рядок-другой, а там я подъеду, подсоблю тебе.

Я кошу. Он подъезжает. Каждый раз пытается взять косу и продолжать сам. Но я не даю. И он вилами начинает накладывать траву в телегу.

Слепой мерин с таинственными, мутно-синеватыми зрачками ест с рядов траву, медленно подвигаясь вперед. Степан свирепо кричит:

— Ну, ну, куда прешь?.. Тпру-у!.. Ходит кругом, полверсты бежать за ним с вилками... Стой ты, дьявол нехороший!.. Тпру!..

И все время слышатся его шамкающие, грозные окрики. Но сморщенная рука тянет за узду, не дергая. Но лошадь не вздрагивает при его приближении.

Накосили травы, навили воз. Степан стоит с тавлинкою из бересты и медленно нюхает табачок. Украдкою он кивает мне на Слепого и вполголоса говорит:

— Эх, малый, хорош конек! Кабы еще зрячий был, цены бы ему не было.

Слепой смотрит невидящими глазами и притворяется, что не слышит. Степан подтягивает чересседельник, вздохнув, взглядывает на Слепого.

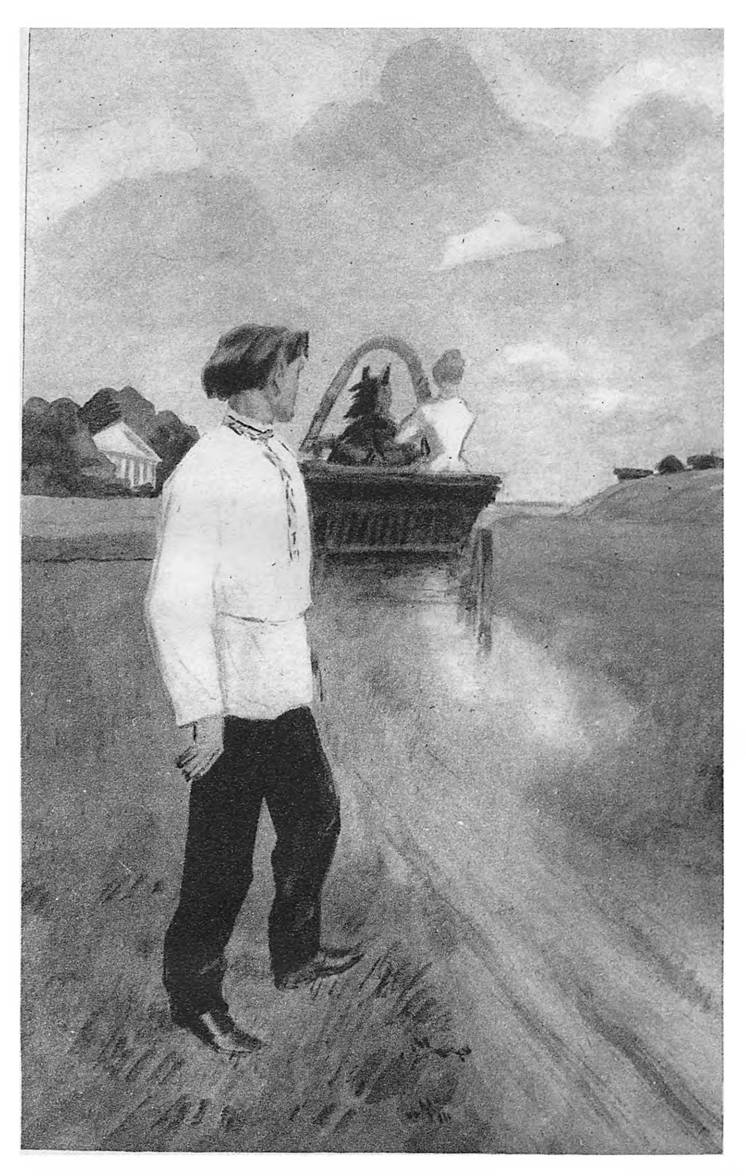
— Ну что ж? Трогай, что ли!

Руки за спину, повод в руках — и идет впереди дряхлым, падающим шагом, и опять слышится:

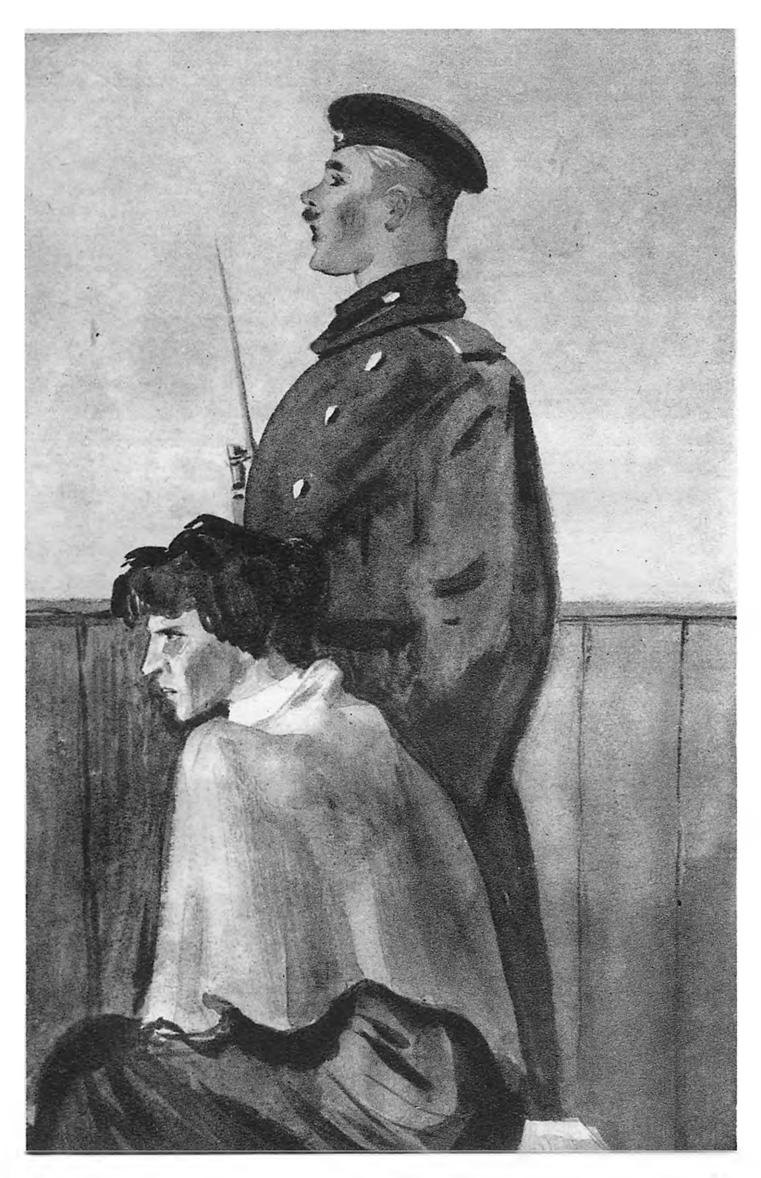
— Тпру!.. Тпру!..

Жалко Степана.

Он из Щепотьева, верст за пять отсюда. Хозяйство ведет его сын Алексей, большой, вялый мужик с рыжею бородою. Горе их дома, что жена Алексея родит ему все



«К жизни».



«СЛУЧАЙ НА ХИТРОВОМ РЫНКЕ».

одних девок. Семь девок в семье, а желанного мальчика все нет. Нужда у них жестокая.

Степан получает жалованья три рубля и целиком отдает их сыну. Отдает и свою месячину,— два пуда муки. А сам подбирает со стола за работниками обгрызанные корочки и мочит их в воде. Работники за обедом смеются:

— Ну, дядя Степан, до смерти теперь мягкого хлеба не видать тебе!

Степан тискает беззубыми деснами размоченные корочки и тихо улыбается

Ужасно его жалко Хочется сделать ему что-нибудь приятное. Я подарил ему свои большие сапоги. Дедка был очень доволен, осматривал сапоги, щелкал по ним пальцами. Приглядываюсь,— Степан все в лаптях, как ни мокро на дворе.

— Что же ты, дедка, сапог не носишь?

Он хитро улыбнулся.

— Да их, малый, уж давно Алеха трепле!

Боря привез ему из города четвертку чаю и два фунта сахару. Степан сейчас же переслал их своим.

Удивительное дело — самому ему *ничего не нужно.* И все время мягко и радостно смеются чему-то тусклые глаза. Сгорбившись дугою, он стоит у конюшни, с наслаждением поглядывает на далекие луга.

— Эх, парень, росы ноне больно хороши! На зорьке два шага по траве пройдешь — весь мокрый. На большом лугу, чай, стогов шесть смечут.

К себе домой его совсем не тянет. Он сжился с сеяновской усадьбой, с конюшней, с лошадьми, болеет душою за разрушающуюся хозяйственную жизнь. Домой же ходит только по очень большим праздникам, из вежливости. И скучает там.

Изредка придет к нему сын Алексей, принесет осьмушку табачку или лычка на лапти. В окно увидит это Анна Петровна и раскудахчется:

— Зачем ты ему, Алексей, лыка принес? И так он весь день ничего не делает. А теперь и вовсе,— знай, сиди себе на солнышке да плети лапти!

Степан равнодушно уходит с Алексеем в конюшню. Там он ворчит:

— Раскричалась!.. Небось, не на работе, а на полднях урвешь времечко лапти поковырять. Али после ужина. На твое жалованье сапоги нешто купишь? «Не делаешь

ничего!»... Одних лошадей сколько в конюшне! На этакую артель отдельного бы человека нужно. Всех почистить, навоз выгрести, травы накосить лошадём... Бра-ат!

Но чувствует Степан, что силы у него мало и что его скоро прогонят. Он самому себе старается доказать, что не хуже других, и надсаживается без отдыха.

Мужики при встречах смотрят угрюмыми, презирающими глазами и отворачиваются. Каждый вечер за ужином идут ярые споры, убирать ли дальние покосы. Возить оттуда — перевозка станет дороже сена; там метать стога — мужики их растащат или подожгут.

По вечерам то здесь, то там дрожат на горизонте зарева горящих усадеб. Дедушка Степан нюхает табачок и с лукавою усмешкою говорит:

— Ребята самовары ставят!

Недавно под вечер Степана нашли за конюшней на навозной куче, а рядом валялись вилы. Он лежал и не мог встать. Правая рука и нога отнялись, лицо дергалось. Он ворочал глазами и говорил непонятные слова:

— Марый! овса запусай кленочку... Овса, говорю... запусай!

Его перенесли в рабочую избу.

А через два дня слышу на дворе:

— Тпру!.. Тпру!..

И опять падающим своим шагом Степан идет перед бочкою, волоча правую ногу.

За ужином он жевал деснами размоченную в щах хлебную корку и хвастливо говорил:

— Я почему держусь? Другой в мои годы на печи лежит, а я все работаю. Почему? Потому что за меня семь душ богу молятся. Бог мне здоровья и дает. Я всегда работать буду. Здесь прогонят, в пастухи пойду, а на печь не лягу!

По винтовой лестничке спускалась мать Катры, расстроенная, раздраженная. Катра стояла у окна бельведера и сумасшедшими глазами смотрела перед собой. Она с отвращением пробормотала:

— Броситься сейчас в окно!

Вдруг вздрогнула и очнулась. Оглядела меня неузнающими глазами.

— Кто тут?.. Это вы... ты?

— Я стучался, ты сказала — войдите.

— Я не слыхала, как сказала...

Она медленно села на кушетку и из всех сил сдерживала порывистые вздрагивания тела. Пересиливая себя, задала нарочно банальный вопрос:

— Ну, как поживаешь?

Вдруг она испуганно вздрогнула и быстро провела руками по плечам и груди.

— Что с тобой?

— Мне кажется, по всему телу у меня ползают пауки... Щекочут. Бегают... Это ничего...

Ее взгляд двигался, ни на чем не останавливаясь. Она тяжело дышала. Подошла к окну и жадно стала вслушиваться. С заднего крыльца доносился грубоватый голос ее матери и галденье мужиков.

Катра повела плечами и снова села на кушетку.

— Э, наплевать!.. Не все мне равно!

С выжидающим, злым вызовом она поглядела на меня.

— Сейчас побранилась с мамой... Зимой мужики взяли у нас хлеба под отработку, вязать рожь. По два рубля считая за десятину. А теперь объявили, что за десятину они кладут по два с полтиной: пусть им доплатит мама, а то не вышлют баб вязать. Почувствовали свою силу. Мама хочет уступить, находит, что выгоднее. А по-моему, это трусость. Скверная, поганая трусость!.. Как и в этом тоже: мама потихоньку продает имение и боится сказать об этом мужикам.

Я молча ходил по комнате. Катра следила за мною.

— Что же ты не возмущаешься?.. Бедные мужички, помещичья дочка-эксплуататорша...

— Вот что, Катра. Я уйду. Я не вовремя пришел.

Катра встрепенулась:

— Костя!.. Не уходи.

Она вдруг всхлипнула и прижалась к моему плечу. Жалкое что-то и беспомощное было в ней.

— Господи! Как все тяжело, как противно! Все эти мелочи, эти дрязги мещанские,— как они отравляют жизнь! И солнца давно уже нету, опять лето будет холодное, мокрое... Посмотри. Ты только вглядись в эту тусклость...

Цветы бились под холодным ветром, текла вода с де-

ревьев. Катра села в угол и все вздрагивала резкими, короткими вздрагиваниями. Как будто каждый нерв в ней был насыщен электричеством и происходили непрерывные разряды. Лицо было серое, некрасивое. И серо смотрели из-за нее золотистые японские ширмы с волшебно вышитыми орлами и змеями.

— И потом — слова. Они надо мною имеют какую-то странную власть. Я скажу слово — так себе, без всякого соответственного настроения,— и слово уже овладевает мною и создает свое настроение. И я злюсь, для меня вся жизнь в том, чтоб отстоять это наносное... Вот так и мужиками этими. Я мельком сказала, мама стала возражать...

И вдруг глаза ее сверкнули.

— А все-таки я маме не позволю уступить им!

Скорчившись, она с ногами сидела на кушетке, охватив колени, и злыми, задирающими глазами смотрела на меня.

— Костя!.. Да что же ты все молчишь?.. Научи меня, как мне жить. Спаси меня, ведь я гибну!.. Да где тебе!.. Ты не знаешь, сам ничего не знаешь и не умеешь! Ты даже Алексея Васильевича не сумел удержать от смерти. На твоей совести лежит его смерть!..

— Ого!..

Начинало вскипать в ответ злое, враждебное нетерпение. Прижавшись подбородком к коленям, Катра ненавидящими глазами впилась в меня и выискивала, где бы побольнее уколоть.

— Да! Это правда! Его нужно было лечить, куда-нибудь в санаторию отправить в Швейцарию. А ты книжками его отчитывал да разных Хозяев каких-то открывал... Деньги бы всегда нашлись. Ты отлично знаешь, я с удовольствием дала бы тебе, сколько бы ты ни попросил...

Сдержанность меня покидала. Глаза загорались. И в наступавших сумерках как будто два отравленных клинка скрещивались. Или,— что там! — вернее,— как будто Федор Федорович и Анна Петровна злобно шпыняли друг друга.

— ...Только два мгновения в жизни я была счастлива, и оба эти мгновения я пережила с тобою. И вот я не могу оторвать себя от тебя. А ты так противно элементарен душою, ты мещанин до мозга костей!

— А скажи ты мне, сложная, немещанская душа.

Я давно хотел тебя спросить. Почему,— помнишь, в одно из этих двух твоих «мгновений» — почему ты... забыла о револьвере? Это у тебя только красивая фраза была для украшения мгновения?

Катра вздрогнула и побледнела. И еще пристальнее впились в меня ненавидящие, сумасшедшие глаза.

Крики были. И плач. И эфирно-валериановые капли.

Потом — тихие, всхлипывающие речи. Горячечно-быстрый шепот, поцелуи и проникающая близость. Ласки, пьяные от пронесшегося мучительства. Огромные, грозные, полубезумные глаза. И все кругом зажигалось странною, безумною красотою.

Степан, в рваном зипуне, стоял, сгорбленною спиною прислонясь к стене конюшни. Он смотрел довольными глазами, как нависали с неба мутно-шевелившиеся тучи, как везде струилась и капала вода.

— Благодать господь посылает... Гляди-ка, парень, как теперь трава подымется, как овсы пойдут... Ко времени дождик пришелся!

Он медленно поднес к носу щепоть табаку и нюхал и вбирал глазами насыщенные влагою дали полей.

— Теперь бы недельки на две такой погодки — лучше не надо.

Из конюшни пахнуло влажным теплом лошадей и навоза. Степан вздохнул.

— Пойти овса засыпать лошадём...

Он вошел в сумрачную конюшню, подошел к ящику с овсом. Лошади насторожились и радостно заволновались.

— Тпру!.. Тпру!.. Стой ты, дьявол! И-ишь! Не дождется!

С нетерпеливым, взволнованным ржанием Нежданчик повернул к Степану голову. Сверкали в сумерках прекрасные глаза. Он хватал овес из мерки, не дожидаясь, чтоб Степан высыпал в кормушку. Степан с упреком смотрел и не высыпал мерки.

— Уж утром мерку засыпал,— съел А засыпать все не даешь. Чего жадобишься?.. Вот уж свинья!

В заднем стойле, незагороженный и непривязанный, стоял, расставив ноги, дряхлый гнедой жеребец. Мягкая губа отвисла, глаза в очках из седины грустно думали

о чем-то своем, в терпеливом ожидании забывчивой смерти.

— У-у, костяк старый! Зажился!.. Поглядывай у меня!.. В кормушку стал гадить, старый черт! Вчера весь вечер выгребал.

И всыпал ему овса. Федор Федорович запретил тратить овес на гнедого жеребца, но Степан всегда дает и ему.

Весело и мерно хрустело в сумраке от дружного жевания пяти лошадей. В пустом стойле поблескивала золотистая солома. В соломе пищали и шевелились розовые мышата, захваченные с омета вместе с соломою. Степан стоял в проходе — сгорбленный, с висящими вниз руками. Он слушал, как дружно жевали лошади, и скрытая улыбка светилась в глазах. Вместе с радостно топотавшими лошадьми он, тайно от меня, как будто тоже радостно переживал что-то.

Была старая, низкая конюшня. С темного потолка свешивались пыльные лохмотья паутины, пахло навозом. Но стоял здесь этот оборванный старик,— и все странно просветливало. Все становилось таинственно радостным — какою-то особенною, тихою и крепкою радостью. Что-то поднималось отовсюду, сливалось в одно живое и общее.

Все еще хотелось жалеть его, этого дряхлого, нищего старика. Но в душе не жалость шевелилась, а какая-то светлая ответная радостность. И жалость вдруг поднялась, презрительная и насмешливая, когда мне вспомнились японские ширмы и пряные запахи никтериний и тубероз. Ходит там и тоскует мутная душа, как пластырями облепляет себя красотами жизни. Но серым пеплом осыпано все вокруг. И только судорожными вспышками мгновений освещается мертвая жизнь. И можно горами громоздить вокруг утонченнейшие красоты мира,— это будет только вареньем к чаю для человека, осужденного на казнь.

Здесь же вот — теплый запах навоза, хрустение жующих лошадей, пыльная паутина и писк мышат. А все претворяется в такую красоту, перед которой тусклы и смешны бесценные японские ширмы. Ясным, идущим изнутри светом озаряется вся жизнь сплошь,— радостная и нежданно значительная.

Степан задумчиво смотрел на черного, блестящего меринка и скорбно качал головою.

— Эх, малый! Не «Мальчиком» бы коня этого звать, а «Грачиком». Говорил я барину сколько раз, не слушает...

Я случайно открыл ее, эту лощинку.

Вчера днем шел по тропинке среди полей и справа над матово-зеленою рожью увидел темно-кудрявые дубовые кусты. Пробрался по меже. Средь светлой ржи лощина тянулась к речке темно-зеленым извилистым провалом. Чувствовалось, давно сюда не заглядывал человек.

Был полдень, стояла огромная тишина, когда земля замолкает и только в просторном небе безмолвно поет жгучий свет. И тихо сам я шел поверху мимо нависавшей ржи, по пояс в буйной, нетоптанной траве. На повороте мелькнула вдали полоса речки. Зелен был луг на том берегу, зелен был лес над ним, все было зелено и тихо. И синяя речка под синим небом была как скважина в небе сквозь зеленую землю.

Тишина жила. Я тихо выкупался в речке, и вода мягко сдерживала всплески. Не одеваясь, я сел на берегу. Сидел долго.

Свет горячо приникал к коже, пробираясь сквозь нее глубоко внутрь, и там, внутри, радостно смеялся чему-то, чего я не понимал. Шаловливым порывом вылетал из тишины ветерок, ласково задевал меня теплым, воздушно-прозрачным своим телом, легко обвивался и уносился прочь. Яснело в темной глубине души. Слепой Хозяин вбирал в себя щупальца и, ковыляя, уползал куда-то в угол.

Я оделся. Средь той же большой тишины медленно пошел вверх по дну лощины, вдоль ручейка.

Маленькая бурая лягушка бултыхнулась из осоки в ручей и прижалась ко дну. Я видел ее сквозь струисто-прозрачную воду. Она полежала, прижавшись, потом завозилась, ухватилась переднею лапкою за стебель и высунула нос из воды. Я неподвижно стоял. Неподвижна была и лягушка. Выпуклыми шариками глаз над вдавленным черепом она молча и пристально смотрела, всего меня захватывая в свой взгляд. Я смотрел на нее.

Все тише становилось кругом. И мы всё смотрели.

И вдруг из немигающих, вытаращенных глаз зверушки медленно глянула на меня вся жизнь кругом — вся

таинственная жизнь притихшей в прохладе лощины. Я оглянулся.

Средь темной осоки значительно и одухотворенно чуть шевелилась кудряво-розовая дрема. И все в ней было жизнь. И всюду была жизнь в свежей тишине, пропитанной серьезным запахом дуба и ароматами трав. Как будто лощинка не заметила, как я вошел в нее, не успела притвориться безжизненной и — все равно уж — зажила на моих глазах, не скрываясь. Всем нутром я почуял вдруг эту чуждую, таинственно молчащую жизнь. Жутко становилось. И что-то радостное дрогнуло внутри и жадно потянулось навстречу. В запахе клевера и зацветающей ржи я пошел вдоль откоса. Сапоги путались в густой траве. Захотелось ближе быть к этой душистой жизни. Я разулся, засучил брюки выше колен и пошел. Мягко обнимала и обвивала ноги трепетно-живая, млеющая жизнью трава. За пригорком мелькнул золотисто-огненный хвост лисицы. Цеплялись за дубовые кусты лесные горошки с матовыми, плоскими стеблями.

Разбегались глаза. Хотелось искать путей, чтоб добраться до вскипавшей кругом жизни. Отыскать у нее глаза и смотреть, смотреть в них и безмолвно переговариваться тем могучим и огромным, чему путь только через глаза. Но не было глаз. И слепо смотрела трепетавшая кругом жизнь, неуловимая и вездесущая.

Я прилег под колебавшуюся рожь. Меж рыхлых сухих калмыжек шевелился цветущий кустик; продолговатые, густо посаженные цветочки, как будто тонко вырезанные из розового коралла, в матово-зеленой дымке кружевных листьев.

Ну!.. Ну!.. И радостно, призывно что-то смеялось в душе.

Но слепо качались кружевные листья, налитые зеленым светом, и жадно пили солнце, и не чувствовали моего взгляда. Но было в них что-то единое со всем, что кругом.

С тем же радостно-недоумевающим смехом в душе я воротился домой. Шел мимо террасы. Там пили чай. Сидел в гостях земский начальник. И медленно ворочались сухие, как пустышки, слова для разговора. Федор Федорович пил холодный квас, кряхтел и говорил:

— Даже на мертвые существа жара действует... Возьмите дерево, цветок, траву — и те вянут от жары.

И еще несколько раз издали я слышал: «мертвые существа».

Мертвые существа!.. Мелькнула над террасой ласточка, с радостно звенящим смехом вильнула в воздухе и понеслась прочь от жирно потевших на террасе живых существ.

В кухне ставили хлебы. И с ранней зари на весь дом звучал пронзительный, ругающийся голос Анны Петровны.

Невозможно было спать. Потом стали подавать чай. Хлынули крики на горничную:

— Аксютка, да где же ложки? Зачем я тебе их отдала,— для потехи? Для удовольствия? Поиграть ими? Я тебе их вымыть дала!.. Куда ты идешь?

— Я через кухню иду.

— И тут широкая дорога... Аксютка!.. Ульяна, скажи ты этой рыжей дряни, чтоб сейчас же шла сюда!

Угрюмый, невыспавшийся, я сидел на постели. Жарко было в комнате и душно. Из залы, из кухни, из коридора непрерывно несся захлебывающийся криками голос Анны Петровны. В тон ему истерично заливались-кудахтали куры в курятнике.

Что это вчера со мною было? Вспоминалась идиотская радость в лощине... С чего она? Жизнь какая-то в лягушке и в траве! Ну да — жизнь. А раньше не знал я, что в них жизнь и свои физиологические процессы? Что же меня привело в восторг?

Под одичавшими кустами смородины бродили средь лопухов куры. Шевелились налитые солнечным светом листья бузины. Вот и здесь везде жизнь. Что же дальше?..

Я чуждо смотрел в окно.

— Ты не кричи так, не кричи, как пьяная баба! Тебе колом в голову не вдолбишь, все на своем будешь стоять! Я тебе десять тысяч раз говорила, чтоб ты в кухню не брала серебряных ложек... Ах, «я-а», «я-а»... Поменьше бы языком молола. Корова рыжая!

Хотелось бешено выскочить и стукнуть старуху по шее. И все как скверно, как противно!.. И этот нелепый роман с Катрой. Непрерывный от него чад в душе. Неужели не хватит воли разорвать с нею? Два болота, разделенные вы-

сокой горою, соединились на вершине гнилыми испарениями... Гадость, гадость!

Мутно вздрагивало в душе угрюмое, брезгливое отвращение и выискивало, к чему бы прицепиться. Я сидел и вслушивался в себя.

Вот он, в темной глубине,— лежит, распластавшись, слепой Хозяин. Серый, плоский, как клещ, только огромный и мягкий. Он лежит на спине, тянется вверх цепкими щупальцами и смотрит тупыми, незрячими глазами, как двумя большими мокрицами. И пусть из чащи сада несет росистою свежестью, пусть в небе звенят ласточки. Он лежит и погаными своими щупальцами скользит по мне, охватывает, присасывается.

Погоди ты, подлый раб!

Сверкал солнцем тихий пруд. Сверкали листья мать-мачехи. В траве пряталась прохлада утра. Бух! Брызги. Вода с стремительною лаcкою охватывает тело, занимается дыхание.

Медленно плыву на спине, чуть двигая руками. Холодные струйки пробегают по коже, радостно вздрагивает тело. Синее-синее небо, в него уносятся верхушки берез, все улыбается. Тает и рассеивается в душе мутная темнота.

Я вытирался на берегу. Солнце ласково грело кожу, мускулы напрягались. Глубоко в теле вздрагивал смех.

— Ну, Хозяин, что? Непрерывно и упорно я тебе буду доказывать на деле, что ты подлый раб. Ты хозяин мой,— знаю. Но вот я тебя заставил, и ты уже радостно трепещешь жизнью и светом. И это я тебя заставил. Потому что ты мой хозяин, но я свободен, а ты раб.

Стрекотали о чем-то дрозды в березах, качалась осока на верховьях пруда. Как на проявляемой фотографической пластинке, из всего кругом медленно опять выявлялась жизнь, которую я вчера почуял. И опять ей навстречу радостно забилось сердце. И ощутилась важность того, что открывалось.

Тихо звеня, пролетел зеленоватый комар, с пушистыми сяжками. Вчерашний радостно недоумевающий смех охватил душу. И звучало комару из глубины:

— И ты живешь?.. Э, брат, как нас много!

Когда я возвратился домой, завтракали. Воля сидел за манной кашей, около стояла няня Матрена Михайловна.

— Хо-хо-хо!

Воля держал в руке ложку с кашей, поглядывал кругом и бессмысленно-радостно смеялся.

— Воля, чего это ты?

— Хо-хо!.. Хо-хо-хо!..

Глазенки блестели. И он все смеялся беспричинным, идущим из нутра, заражающим смехом. И все засмеялись, глядя на него.

— Ну, смотрите, дурень какой. Чего смеется?

Сила жизни безудержно вскипала в нем, радуясь на себя и играя.

Где, где эти робко-злые, упрямые глаза, этот ноющий голос? Животик поправился у мальчика. Клизмочки помогли и манные кашки. И вот переметнулся его маленький Хозяин. Бессмысленной радостью заливает тельце, ясным светом зажег глазенки, неузнаваемо перестроил всю душу...

О раб! О подлый, переметчивый раб!

Гнедой жеребец издох. Вечером Степан пошел за ним в сад, а он лежит на боку мертвый.

За ужином работники смеялись и говорили:

— Ну, дедушка Степан, теперь твой черед помирать. Самый ты теперь старый остался.

— А неужто в холщовой рубахе и в гроб ляжешь? Ты бы на это дело ситцевую завел.

Степан тихо, про себя, улыбнулся.

— У меня есть. Сшита. Синяя с крапушками, молодая барыня подарила. Как помру, наказал Алехе в нее одеть.

— А небось ждешь смерти? Ишь старый какой! Болезнь какая, али убьешься,— молодой переможется, а тебе где уж! Сразу свернет.

— Ты, дедушка Степан, вели табачку себе побольше в гроб положить. Да тавлинок. Сломается ай потеряешь — новой там не купишь. Весь табак растрясешь.

Степан открыл тавлинку, с хитрою улыбкою заглянул в нее, встряхнул.

— Там даду-ут...

— Деньжат с собой захвати,— может, даром-то не дадут... Хо-хо-хо!..

Слава богу, наконец-то! Так, иначе,— но это должно было случиться. И по той радости освобождения, которая

вдруг охватила душу, я чувствую,— возврата быть не может. Произошло это вчера, в воскресенье. Мы с Катрою собрались кататься.

Вышли на крыльцо, а шарабана еще не подали. На ступеньке, повязанная ситцевым платочком, сидела мать Катры, Любовь Александровна, а кругом стояли и сидели мужики, бабы. Многие были подвыпивши. Деловые разговоры кончились, и шла просто беседа, добродушная и задушевная.

Бородатый мужик, скрывая усмешку под нависшими усами, спрашивал:

— Ты, барыня, вот что нам объясни. Как это так? Вон ты какая — маленькая, сухонькая, вроде как куличок на болоте. А у тебя две тысячи десятин. А нас эва сколько,— а земли по полсажени, всю на одном возу можно увезть.

— Отчего? Я тебе прямо скажу,— сила моя.

— Сила? Правильно. Ну, а как сговоримся мы, как пойдем всем российским миром, то сила наша будет. Где ж вам против нас!

Другой мужик прибавил:

— Как наседок, с гнезд сымем.

— А правду, скажи, болтают,— продаешь ты землю?

Любовь Александровна посмеивалась.

— Слыхал, как говорится? Не всякому слуху верь. А дело это мое: захочу — продам, не захочу — не продам.

— Нет, барыня, ты жди, не продавай,— решительно сказал бородатый мужик.

— У тебя тогда спроситься?

— Не позволим тебе. Нам она определёна.

— Вот как!

— Да... Сколько лет на тебя работали, всю ее потом нашим полили.

— Как же это вы мне не позволите?

— Окончательный тогда сделаем тебе конец.

Любовь Александровна засмеялась.

— Убьете? Ну, брат, за это тоже по голове тебя не погладят.

— Знаю. Что ж, на каторгу пойду. А сколько за меня народу положит поклон.

Баба в задних рядах подперла щеку рукою и глубоко вздохнула:

— Да какой еще поклон положишь!

— Э, батюшка! Такие поклоны там не принимаются!.. Они в зачет не идут.

— Ваш бог не зачтет, а наш зачтет.

Катра, потемнев, пристально смотрела на мужика. Она резко спросила:

— Как тебя звать?

— Ай, барышня, не знаешь? — Мужик посмеивался.— Арсентием звать меня, Арсентий Поддугин, потомственный почетный земледелец. Запиши в книжку.

В толпе засмеялись. Любовь Александровна поспешно сказала:

— Погоди, хорошо. Говоришь, пойдете вы на нас всем российским миром. Ну, поделили вы землю нашу. Сколько на душу придется?

— Расчеты нам, барыня, известны. По четыре десятины.

— Нет, погоди! А из города, ты думаешь, на даровую-то землю не налетят? Себе не потребуют? Давать так уж всем давать, почему вам одним?.. А что тогда по России пойдет?

— Э, что ни пойдет! А вас снять нужно первым долгом. Тогда дело увидится.

Мы ехали с Катрой. Противна она мне была. А она смотрела на меня со злым вызовом.

— Эти самые мужики пожгли у нас зимою все стога в Антоновской даче. А мама перед ними пляшет, увивается... У-у, интеллигенты мяклые!.. Вот мне рассказывали: в Екатеринославской губернии молодые помещики образовали летучие дружины. Сгорело что у помещика,— сейчас же загорается и эта деревня.

— Ого!

— Да. Это честно, смело и красиво... Пожимай плечами, иронизируй... «Обездоленные», «страдающие»... Эти самые ушаковцы, которые сейчас с мамой говорили,— вся земля, по их мнению, обязательно должна перейти к ним одним. Как же, ведь ихняя барыня! А соседним деревням они уж от себя собираются перепродавать. Из-за журавля в небе теперь уже у них идут бои с опасовскими и архангельскими. Жадные, наглые кулаки, больше ничего. Разгорелись глаза.

Мы проехали большое торговое село. Девки водили хороводы. У казенки сидели на травке пьяные мужики.

Свернули в боковой переулок. Навстречу шли три парня и пьяными голосами нестройно пели:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Заметив нас, они замолчали. Насмешливо глядя, сняли шапки и поклонились. Я ответил. Мы медленно проехали.

— Ишь, с пищи барской,— гладкие какие да румяные! Знай гуляй и в будни и в праздник!

— Сейчас вот в лесок заедут, завалятся под кустик... Эй, барин, хороша у твоей девочки...?

Долетел грязный, похабный вопрос, и все трое нарочно громко засмеялись.

Мы медленно продолжали ехать. Катра — бледная, с горящими глазами — в упор смотрела на меня.

— И ты за меня не заступишься?

— Стрелять в них прикажешь?

— Да! Стрелять!

Я растерянно усмехнулся и пожал плечами. Сзади доносилось:

Голодай, чтобы они пировали...

— Ну, хорошо!..— Она с ненавистью и грозным ожиданием все смотрела на меня.— А если бы они остановили нас, стащили меня с шарабана, стали насиловать? Тогда что бы ты делал?

— Не знаю я... Катра, довольно об этом.

— Тоже нашел бы вполне естественным? Ну конечно! Законная ненависть к барам, дикость, в которой мы же виноваты... У-у, доктринер! Обкусок поганый!.. Я не хочу с тобой ехать, слезай!

— Тпру!

Я остановил лошадь, передал вожжи Катре и сошел с шарабана.

— До свидания,— сказал я.

— Не до свидания, а прощайте!

Она хлестнула лошадь вожжой и быстро покатила.

Покос кипит. На большом лугу косят щепотьевские мужики, из Песочных Вершинок возят сено наши, сеяновские. За садом сегодня сметали четыре стога.

Подъезжали скрипящие возы. Федор Федорович сидел

в тенечке на складном стуле и записывал имена подъезжавших мужиков. Около стоял десятский Капитон — высокий, с выступающими под рубахой лопатками. Плутовато смеясь глазами, он говорил Федору Федоровичу тоном, каким говорят с малыми ребятами:

— Пишите в книжку себе: Иван Колесов, в третий раз.

— Погоди, любезный! А где же во второй было?

— Второй воз он уж, значит, склал, у вас прописано... Лизар Пененков, Алексей Косаев...

Федор Федорович подозрительно оглядывал возы, но ничего не видел близорукими глазами. Постепенно он все больше входил во вкус записывания, все реже глядел кругом и только старательно писал, что ему выкрикивал в ухо Капитон. Ждавший очереди Гаврила Мохначев с угрюмым любопытством смотрел через плечо Федора Федоровича на его письменные упражнения.

— Пишите теперь в книжку,— Петр Караваев, в четвертый раз.

— Где же он? Петр Караваев!

— А он, значит, сейчас подъедет... Вон он, воз, под яром!

Федор Федорович строго сказал:

— Так, брат, нельзя. Когда приедет, тогда нужно записывать.

Капитон смеялся глазами.

— Так, так!.. Понимаю-с!.. Когда, значит, приедет, вы в книжку и запишете его.

Кипела работа. Охапки сена обвисали на длинных вилах, дрожа, плыли вверх и, вдруг растрепавшись, летели на стог. Пахло сеном, человеческим и конским потом. От крепко сокращавшихся мускулов бодрящею силою насыщался воздух, и весело было. И раздражительное пренебрежение будил сидевший с тетрадкою Федор Федорович — бездеятельный, с жирною, сутулою спиною.

Авторитетным тоном, щеголяя знанием нужных слов, он делал замечания:

— Послушай, Тимофей! Вы рано стог начали заклубничивать.

— Рано! И то еле вилами достанешь!

— Есть вилы длинные.

— И то не короткими подаем... Эй, дядя Степан, принимай!

Солнце садилось. Нежно и сухо все золотилось кругом. Не было хмурых лиц. Светлая, пьяная радость шла от красивой работы. И пьянела голова от запаха сена. Оно завоевало все,— сено на укатанной дороге, сено на ветвях берез, сено в волосах мужчин и на платках баб. Федор Федорович смотрел близорукими глазами и улыбался.

— Сенная вакханалия... Ххе-хе!

Довершили последний стог. Мужики связывали веревки, курили. Дедка Степан очесывал граблями серо-зеленый стог. Старик был бледнее обычного и больше горбился. Глаза скорбно превозмогали усталость, но все-таки, щурясь, радостно светились, глядя, как закат нежно-золотым сиянием возвещал прочное вёдро.

Село солнце.

На Большом лугу в таборе щепотьевцев задымились костры. Мы шли с Борей по скошенным рядам. Серые мотыльки мелькающими облаками вздымались перед нами и сзади опять садились на ряды. Жужжали в воздухе рыжие июньские жуки. Легавый Аякс очумело-радостно носился по лугу.

По дороге среди желтеющей ржи яркими красками запестрела толпа девок с граблями. Неслась песня.

Они приближались в пьяно-веселом урагане песен и пляски. Часто и дробно звучал припев:

В саду мято, рожь не жата,
Некошёная трава!..

Высокая девка, подпоясанная жгутом из сена, плясала впереди идущей толпы. Склонив голову, со строгим, прекрасным профилем, она вздрагивала плечами, кружилась, притоптывала. И странно-красивое несоответствие было между ее неулыбавшимся лицом и разудалыми движениями.

Выдвинулась из ало колыхавшейся толпы другая девка, приземистая и скуластая. Широко улыбаясь, она заплясала рядом с высокою девкою. Они плясали, подталкивали друг друга плечами и кольцом сгибали руки.

В саду мято, рожь не жата,
Некошёная трава!..

— Эй, барчуки! Идите к нам!.. Зацелуем!

Румяные женские лица маняще улыбались. Неслись шутливо-бесстыдные призывы. И не было от них противно, хотелось улыбаться в ответ светло и пьяно.

Они прошли мимо. Следом проплыл запах кумача и горячего человеческого тела.

Аякс издалека залаял на толпу. Высокая девка с гиком побежала ему навстречу. Аякс удивленно замолк и с испуганным лаем бросился прочь. Она за ним, по буйным рядам скошенной травы. Аякс убегал и лаял. В толпе девок хохотали.

Вдруг высокая девка бросилась головою в сено и перекувыркнулась. Ноги высоко дрыгнули в воздухе над рядами. Аякс удивленно сел и поднял уши.

— Хо-хо-хо! — загрохотали в таборе мужские голоса. Боря покраснел и отвернулся.

Темнело. Перепела перекликались в теплой ржи. Громче неслись из росистых лощин дергающие звуки коростелей. В серой, душистой тьме с барского двора шли мужики, выпившие водки.

После ужина я сидел на ступеньках крыльца. Была глубокая ночь. Все спали. Но я не мог. Чистые, светлые струи звенели в душе, свивались и пели, радостно пели все об одном и том же.

Поднялся поздний месяц.

У конюшни чернела телега, фыркала жевавшая лошадь. Щепотьевцы кончили отработку и уехали; Алексей Рытов заехал на двор проститься с отцом, и они заговорились. Большой, плечистый Алексей сидел, понурившись, на чеке телеги и курил. Степан радостно и любовно смотрел на него.

— Эх, Алеха, пора тебе, малый! Поезжай. Ребята вон уж когда уехали. Завтра-то на зорьке вставать тебе, а ночи ноне короткие.

И опять они медленно говорили. Степан трогал руками телегу, гладил лошадь.

— Хорош меринок!.. Его бы, малый, овсецом кормить,— еще бы стал глаже.

— Да... Гнедчик был,— не прохлестнешь! А этот идет все равно что играет...— Алексей устало зевнул и, зевая, кивнул на конюшню.— В конюшне спишь?

— А то где же?

— Вот тут бы тебе спать, на вольном воздухе. Жарко, чай, в конюшне.

— Ну... В конюшне надо спать. Ночью, бывает, заболтают лошади. Крикнешь — стихнут.

Месяц светил из-за лип. За углом дома, в саду, одиноко и тоскующе завыл Аякс.

— А со своим покосом все еще не убрались?

— Нет, не косил еще. Завтра на уборку к нашему барину выезжать.

Степан вздохнул.

— Вот, парень, горе твое,— все девки у тебя. Мальчонка был бы,— вон еще какой, а по нынешнему времени и за такого тридцать рублей дают. А от девок какой прок?.. Тоже про себя скажу,— помру я скоро, Алеха. Ослаб! Намедни вон какое кружение сделалось,— два дня без языка лежал. А нынче на стогу стоял, вдруг опять в голове пошло, как колеса какие... Не продержусь долго. А еще бы годочка два протянуть,— тебе за моей спиной вот бы как было хорошо!

Алексей молчал.

Дул легкий ветерок. Широким, прочным теплом неслось с полей. Степан стоял, свесив руки, и смотрел в теплый сумрак.

— Погодка-то, малый! Погодка! Весь покос теперь простоит. Гляди и рожь захватит.

И как будто что-то неслышно говорил ему этот мягкий сумрак, пропитанный призрачным, все слившим лунным светом. И как будто он радостно прислушивался к этой тайной речи. Подумал, медленно поднес к носу щепоть табаку.

— А что, малый... Ничего там не будет, как помрешь. Вот как жеребец гнедой сдох,— тоже и мы.

Сливалась со светящимся сумраком сгорбленная фигурка с дрожащей головою. Кто это? Человек? Или что-то другое, не такое отделенное от всего кругом? Казалось,— вот только пошевельнись, моргни,— и расплывется в лунном свете этот маленький старик; и уж будет он не отдельно, а везде кругом в воздухе, и благодатною росою тихо опустится на серую от месяца траву.

Уехал Алексей. Степан постоял, поглядел ему вслед и ушел в конюшню.

Аякс за углом все выл. Переставал на минуту, прислушивался, начинал лаять и кончал жалующимся воем.

В доме звякнуло окно, раскрылось. Высунулась всклокоченная голова Федора Федоровича. Хрипло и сердито он крикнул:

— Пошел ты!.. Аякс!

Вой замолк.

— А-аякс!

Было тихо. Окно медленно закрылось.

Аякс в саду вдруг завыл громко, во весь голос, как будто вспомнил что-то горькое. И выл, выл, звал и искал кого-то тоскующим воем.

За темными окнами засветился огонек. В халате, со свечкою в руках, Федор Федорович вошел в залу. Он раскрыл окно и злобно крикнул в росистую темноту сада:

— Аякс! Пошел!.. Вот я тебя!

Аякс на минуту смолк и завыл снова.

Тускло горела свечка на обеденном столе. Федор Федорович, взлохмаченный и сгорбленный, медленно ходил по темной зале, останавливался у запертых окон, опять ходил.

Из того светлого, что было во мне, в том светлом, что было кругом, темным жителем чужого мира казался этот человек. Он все ходил, потом сел к столу. Закутался в халат, сгорбился и тоскливо замер под звучавшими из мрака напоминаниями о смерти. Видел я его взъерошенного, оторванного от жизни Хозяина, видел, как в одиноком ужасе ворочается он на дне души и ничего, ничего не чует вокруг.

Пьянеет голова. Пронизывается все существо крепкою, радостною силою. Все вокруг скрытно светится.

А на берегу речки, в моей лощинке,— там творится и тонко мною воспринимается огромное таинство жизни. Колдовскими чарами полна лощина. Там я ощущаю все каким-то особенным чувством,— о нем не пишут в психологиях, мыслю каким-то особенным способом,— его нет в логиках. И мне не нужны теперь звериные глаза, я не томлюсь тем, что полуоткрывается в них, загадочно маня и скрываясь. Не через глаза я теперь говорю со всем, что кругом. Как будто тело само перестраивается и вырабатывает способность к неведомому людям разговору, без слов и без мыслей,— таинственному, но внятному.

Садилось солнце. Неподвижно стояла на юге синеватая муть, слабо мигали далекие отсветы. Трава в лощине начинала роситься. Мягким теплом томил воздух, и раздражала одежда на теле. Буйными, кипучими ключами била кругом жизнь. Носились птички, жужжали мошки. Травы выставляли свои цветы и запахами, красками звали насе-

комых. Чуялась чистая, бессознательная душа деревьев и кустов.

Я разделся и с одеждой на руке пошел. Тепло-влажная трава ласкалась ко мне, пахуче обнимала тело,— такое противно-нежное, всему чуждое, забывшее и свет и воздух. Обнимала, звала куда-то. Настойчиво говорила что-то, чего недостойно вместить человеческое слово, чего не понять мозгу, сдавленному костяными покрышками.

На юге росли черно-синие тучи. С трепетом перебегали красноватые вэблески. Я выкупался и остался сидеть на берегу.

Все кругом жило сосредоточенно и быстро. Стрекоза торопливыми кругами носилась над гладью речки и хватала мошек. Мошки весело реяли над рекою, ползали, щекоча кожу, по моим голым ногам. И они не думали, что я сейчас могу прихлопнуть их рукою, что сейчас их схватит стрекоза.

Ух, как все жило кругом! Любило, боролось, отдыхало, помогало друг другу, губило друг друга,— и жило, жило, жило!

И захотелось мне вскочить, изумленно засмеяться своему калечеству и, выставляя его на позор, крикнуть человечески-нелепый вопрос:

— Зачем жить?..

Гордым франтом, грудью вперед, летел над осокою комар с тремя длинными ниточками от брюшка. Это, кажется, поденка... Эфемерида! Она живет всего один день и нынче с закатом солнца умрет. Жалкий комар. Всех он ничтожнее и слабее, смерть на носу. А он, танцуя, плывет в воздухе,— такой гордый жизнью, как будто перед ним преклонился мир и вечность.

Розово-желтый закат помутнел. Я шел домой по тропинке среди гибко-живых стен цветущей ржи. Под босыми ногами утоптанная тропинка была гладкая и влажно-теплая, как разомлевшееся от сна человеческое тело.

Не хотелось уходить, я все останавливался. Из ржи тянуло широким теплом, в чаще зеленовато-бледных стеблей непрерывно звучал тонкий звон мошкары. Через голые ноги от теплой земли шла какая-то чистая ласка, и все было близко, близко...

Где был я? Где было что кругом? Повсюду широкими волнами необозримо колебалась огромная, бессознательная жизнь. И из темной глубины моей, где хаос и слепой

Хозяин,— я чувствовал, как оттуда во все стороны жадно тянулись щупальца и пили, пили из напиравшей кругом жизни ее торжествующую, несознанную правду.

И как вся жизнь вокруг томилась этою несознанностью! Она тянулась и проникала ко мне, через меня хотела осознать тебя, ползала по раскинутым щупальцам. И чувствовалось,— тесны были пути и прерывисты, как завядшие, подгнившие корни. Только малые капли доходили до меня.

Но пусть! И этих капель было довольно.

Хотелось упасть коленями на гладко-теплую землю, и воздеть руки, и в восторге молиться... Кому? Как будто солнечно-горячий и яркий свет хлынул в душу, прорвал окутывавший ее туман... Жизнь! Жизнь!

Сила великая. Сила всесвятая и благая. Все, что пропитывалось ею, освещалось изнутри и возвеличивалось, все начинало трепетать какими-то быстрыми внутренними биениями. Темнел вдали огромный дуб, серел на тропинке пыльный подорожник, высоко в небе летела цапля, вяло выползал из земли дождевой червь. Все и всех жизнь принимала в себя, властительница светлая. Сколько я думал, сколько искал — и ничего не мог понять ни своими мыслями, ни мыслями других людей. А здесь теперь было все так ясно и просто, так неожиданно-понятно. И если бы Алеша понял хоть на миг...

Понял... Что-то больно кольнуло в душу. Этого понять нельзя. Может понять только просветлевший Хозяин, а он предатель и раб, ему нельзя доверять. И по-обычному я враждебно насторожился. Я искал,— где он, вечный клещ души? Но не было его. Он исчез, слился со мною, слился со всем вокруг. Не было разъединения, не было рабства,— была одна только безмерная радость. Радость понимания, радость освобождения.

Я вышел на дорогу к усадьбе. Там, где была на небе муть, теперь шевелились и быстро росли лохматые тучи. Непрерывно трепетали красноватые взблески, сдержанно рокотал гром.

На краю дороги шевелился под налетевшим ветерком куст полыни. Был он весь покрыт седою пылью, средь желтоватых цветков ползали остренькие черные козявки. Со смехом в душе я остановился, долго смотрел на куст.

— Ты! Сбрось свою бессознательную мудрость. Думай! Ответь,— для чего ты живешь? Осыпает тебя придорожная пыль, ползают по тебе козявки. Сосешь ты соки

из земли, лелеешь свою жизнь,— для чего? Подумай,— для чего?

И сразу обмякла душа куста, как будто смрадом его обвеяло. Стал он жалок и ничтожен. Задумался скорбно, наконец ответил:

— Да, такая жизнь бессмысленна... А вот что,— нужно жить для всех этих других полынных кустов. Прикрывать их от пыли, переманивать на себя вредных козявок...

— Ну, а им что от того, что меньше их будет осыпать пыль и меньше будут точить козявки?

Все шире растекался смрад. Серый, вялый сумрак вставал из земли. Все вокруг — все делалось ничтожным и презренным. Ласточки остановили свой лет в воздухе, растерянно и недоумело трепыхали крылышками.

— Для чего наша жизнь? Ну, будем ловить мошек, выведем птенцов. Осенью лететь за море, потом возвращаться. Опять лепить гнездо, опять выводить птенцов, и так каждый год. А потом — смерть.

И повсюду кругом зашелестело, заныло, зашипело, застонало. Дождевые черви обеспокоенно выползали из своих ходов, никла колосьями рожь, очумело метались мошки.

— Зачем жизнь?

Нетерпеливо вдруг сверкнул воздух, и гневный негодующий грохот покатился по небу. Бешено рванулся ветер. Черное и грозное быстро мчалось поверху.

Хотелось смеяться, хотелось протягивать руки.

— Не гневись, великая! Я только шутил,— шутил пошлою человеческою шуткою... Жизнь! Жизнь! Не оскорблю я тебя, не вложу в тебя вопросов подгнивающей собственной души. Я далек от тебя, трудно различаю тебя сквозь мутный туман, но я теперь знаю! Я знаю!

Перекатывался гром. Выл сухой ветер, захватывал дыхание, трепал одежду. И вся жизнь вокруг завилась вольным, радостно-пьяным ураганом.

1908

РАССКАЗЫ 1915—1945 гг.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА

Она узнала о несчастье три дня назад. К ней зашла перед обедом вдова ее старшего сына, служившая продавщицею у Мюра и Мерилиза; минут пять рассеянно говорила о пустяках, а глаза были большие, настороженно-серьезные. Потом вздохнула, побледнела и дрожащим голосом сказала:

— Мамаша, приготовьтесь... С Васей несчастье.

Потомила еще с минуту, вынула из кармана газету и показала пальцем. В списке раненых и убитых стояло:

«*Скончались от ран*... Голиков, Василий Иванович, прапорщик».

Это был младший сын Марьи Петровны.

Все эти три дня Марья Петровна бегала по Москве, чтоб разузнать что-нибудь о сыне,— где умер, можно ли получить тело для похорон. Робко стояла с поднятыми бровями в приемных, почтительно заговаривала с важными писарями и сердитыми чиновниками. Но такое у нее было скучно-желтое лицо и выцветшие глаза, такой неуверенно-настойчивый голос, что всякий, к кому она обращалась, нетерпеливо закусывал губу, глядел вполоборота и говорил:

— Сударыня, ведь русским же вам языком объясняют...

Была она на эвакуационном пункте при Николаевских казармах, оттуда ехала на трамвае в Астраханские казармы, в военный госпиталь. Посылала телеграммы в главный штаб, в полк, где служил сын.

Нигде ничего не удалось узнать. И уж больше нечего было предпринимать. Но ей было трудно оставаться в сыроватой своей комнате, где торчала в углу вязальная машина, где соседка и родственницы равнодушно сочувство-

вали и равнодушно восхваляли покойника. И она ходила по улицам в своей старой лисьей шубейке, останавливалась на перекрестках, неподвижно смотрела сухими глазами — и шла дальше. Слез не было. Душа сжалась в мерзлый, колючий комок, нельзя было глубоко вздохнуть, и некуда было деваться со своею тоскою и ужасом.

Качаясь, как на волнах, проносились автомобили с красными крестами, санитарные вагоны скользили по трамвайным рельсам,— и сквозь стекла видны были желтые, исхудалые лица и повязки, повязки. В витрине писчебумажного магазина пестрели яркие картины и открытки, и все было о войне. От одной открытки Марья Петровна не могла оторваться: немецкий солдат, с оскаленным, звериным лицом, с каскою на затылке и винтовкою в руке, победно попирал ногою тело женщины; кругом валялись трупы детей, сзади чернели клубы пожарного дыма.

Ужас был в душе: лютая, беспощадная сила встала и навалилась на землю. Бьют, крошат, уродуют. И за что? Кто их трогал? За что вдруг набросились на Россию? Что сделали! Что сделали!

Темнело. На низкой колоколенке, притулившейся под стеною семиэтажного дома, звонили к вечерне. Марья Петровна вспомнила, как сладко плакала вчера во время панихиды, когда запели «Со святыми упокой», и вошла в церковь. Было безлюдно, грустно и торжественно; гулко звучали возгласы священника; в полумраке, над лесом огненных язычков, светилось кроткое лицо с поднятою рукою и надписью: «Приидите ко мне...»

Марья Петровна глядела на образ, дышала с легким стоном, сухо и деревянно крестилась. И вдруг все внутри затрепетало от злобы, и она поспешно вышла. В темном тупичке за церковью, где никого не было, Марья Петровна прижалась щекою к кирпичному углу сторожки и, стиснув зубы, стонала долгими, прерывисто-протяжными стонами и смотрела в темноту сухими, ненавидящими глазами.

И опять она ходила по улицам, тоскующая и смертно-одинокая, и все больше смерзалась душа в колючий, спирающий дыхание комок. О, только бы одной, одной бы только милости: чтобы очутиться около бесценного тела, и чтоб целовать милую курчавую голову с крутыми завитками у висков, припасть губами к кровавым ранам,—«Скончался от ран...», *«Скончался от ран!»* — и плакать, плакать, насмерть изойти слезами.

Чернела посреди улицы огромная триумфальная арка. Налево, в глубине понижавшейся площади, громоздились купола и башенки, светились огненные циферблаты часов. Вокзал... Здесь, тому два месяца, Марья Петровна провожала сына на войну.

Сама для себя незаметно она очутилась на вокзале, походила по буфетной комнате и вышла на пустынные перроны под железными навесами. Сторожа с бляхами мели длинными метлами темный асфальт. На отдаленной платформе под светом электрических фонарей темнели толпы солдат, пробегали санитары с красными крестами на рукавных повязках.

Она поплелась туда. Вдоль платформы тянулся длинный зеленый поезд, подносили из глубины вокзала носилки с людьми и ставили возле поезда. Большими кучками стояли солдаты, опираясь на костыли, с руками на перевязях, с повязанными головами. Марья Петровна, жалостливо пригорюнясь, уставилась на солдатиков — и вдруг отшатнулась. Батюшки, да что это? Невиданная форма, говорят меж собой,— ничего не поймешь, кругом — солдаты со штыками.

Марья Петровна спросила человека в железнодорожной фуражке с малиновыми кантиками:

— Это кто же такие будут?

— Кто! Пленные!

— Пленные!..— Она высоко подняла брови.— Австрияки?

— Австрияки есть. А вон они — немцы!

— Куда же их везут?..

— В Орел перевозят...— Железнодорожник внезапно сделал строгое лицо и сказал: — Послушайте, посторонней публике здесь запрещается присутствовать.

И лениво отошел. Марья Петровна смотрела, широко раскрыв глаза. Так вот они какие!

Русский прапорщик в очках небрежным голосом,— видно, от скуки,— разговаривал по-немецки с бородатым германцем. Странно было: такой обыкновенный, рыжий немец, так добродушно улыбается, фуражка-бескозырка, как ермолка; подумаешь, и вправду добрый человек. А что, злодеи, делают! С ним рядом стоял другой немец, молодой, высокий и красивый, с русыми усиками. Вот этот — сразу видно было, что зверь: гордый! Смотрел мимо, ни на кого не глядя, и презрительно сдвигал тонкие брови.

Прибежал фельдфебель, приказал пленным выстроиться попарно, крикнул: «Марш!» Они двинулись нестройною, колыхающеюся вереницей. Ковыляли, опираясь на костыли, поддерживали друг друга под руки. Двинулся и красивый немец с русыми усиками. Мать честная! Он был без ноги! Вместо левой ноги от самого паха болталась пустая штанина. И немец прыгал на одной ноге, обеими мускулистыми руками опираясь о длинную палку.

Быстро прошел военный доктор с седенькою бородкою и черными бровями. Он что-то сердито крикнул фельдфебелю. Фельдфебель растерянно скомандовал:

— Стой!

Пленные остановились. Доктор кричал на санитаров около вагонов. Бородатый немец, весело смеясь, балагурил с другими пленными, а сам поддерживал под руку своего соседа, красавца без ноги. Марья Петровна поглядывала на пустую штанину, колыхавшуюся в воздухе. Безногий, все так же презрительно сдвинув брови, потирал застывшие руки и кашлял простудным кашлем. Было только начало октября, но уже пятый день неожиданно завернули морозы. Ветер порывами заносил под навес перрона сухой, колючий снег. Немец кашлял часто и подолгу: видно, сильно простудился. А шинелишка легонькая. «И чего их в вагоны не посадят?» — брезгливо подумала Марья Петровна. И все приглядывалась с враждою к немцу: кашляет, руки иззябли, прыгает на одной ноге, а сколько спеси! И не взглянет ни на кого, как будто и не люди для него.

Подошел другой доктор, с лицом трамвайного контролера, и сиплым голосом сказал фельдфебелю:

— На тот конец отправить восемьдесят человек!

Пленных двинули вперед и стали вводить в вагоны, сзади надвинулись другие пленные. Теперь это были австрийцы, в мышино-серых шинелях и грязных, давно не чищенных штиблетах. Огромный австриец с молодым, детским лицом стоял на костылях, бережно держа на весу раненую ногу в повязке; рядом стоял другой австрияк, смешно маленький, с лицом пухлым и круглым. Они вполголоса разговаривали по-польски; по тону, каким они говорили, чувствовалось, что они большие друзья; это чувствовалось и по тому, как маленький заботливо оправил шинель на плечах большого и застегнул ему под подбородком верхнюю пуговицу. Такое у большого было милое, детское лицо, и так беспомощно висела меж костылей огромная нога

в повязке... Что-то дрогнуло и горько задрожало в груди у Марьи Петровны: господи, сколько народу перепорчено — молодого, здорового!

Тяжелораненых вносили в вагоны, от подъезда подносили новых. Носилки стояли длинным рядом. У ног Марьи Петровны лежал раненный в грудь венгерский гусар в узких красных рейтузах. Какое неприятное лицо! Тонкие, влажные губы под извилистыми, тонкими усиками; нехорошие черные глаза, как мелкие маслины. Марья Петровна отвернулась.

Полная дама с двумя черными султанчиками на круглой шляпе, наклонившись над носилками, говорила по-немецки с тяжелораненым германцем. Она выпрямилась и шумно вздохнула.

— Говорит, дома у него трое детей осталось, жена больная... И никто там не знает, что с ним... Вот бедный!

С соломенной подушки смотрели глаза, глубоко ушедшие в свою одинокую скорбь; и смерть невидимо уже отмечала своею печатью осунувшееся лицо; белесые усы обвисли на губе, как у трупа.

Полной даме хотелось выразить ему свое сожаление и сочувствие и она говорила на плохом немецком языке:

— Ihr abscheulicher schlechter Kaiser! Warum hat er diesen Krieg angefangen! [1]

Кипела суетливая работа по нагрузке. Санитары поспешно вносили носилки в вагоны. Пробежал фельдфебель и столкнулся с спешившим навстречу прапорщиком.

— Еще пятнадцать человек в номер пять,— распорядился прапорщик.— Остальных легкораненых назад, в теплушки!

— Слушаю-с!

Фельдфебель стал отсчитывать пленных, беря каждого за плечо; последним попал маленький, пухлый австрияк.

— Пятнадцать! Буде! Веди их вперед, живо! — скомандовал фельдфебель конвойному.

Большой австрияк с детским лицом, на костылях, остался здесь. Он растерянно и умоляюще замычал, маленький просяще потянулся к нему, что-то стараясь объяснить руками фельдфебелю. Фельдфебель грозно сказал:

— Ну-ну!

---

[1] Ваш отвратительный, плохой император! Зачем он начал эту войну! *(нем.)*

— Живо! Живо! — торопил прапорщик.

Маленький австрияк уходил за другими к паровозу; хромой, опираясь на костыли, смотрел ему вслед. И Марья Петровна прочла в его детских глазах покорную готовность на страдание и ощущение неизбежности всего, что бы с ним ни делали.

Марья Петровна своим тусклым и неуверенным голосом обратилась к полной даме:

— Ну, что, разве можно! Зачем их разделили?

— Кого разделили? — спросила дама тем небрежным тоном, каким все разговаривали с Марьей Петровной.

Марья Петровна не ответила и опустила голову. Прапорщику это нужно было сказать, ему объяснить, — он бы распорядился их не разделять. Маленький устроил бы хромого в вагоне, ухаживал бы за ним, сбегал бы для него за кипятком, — было бы им обоим друг от друга тепло... А теперь — выгрузят их в Орле, один в одной команде пойдет, другой — в другой, разделят навсегда. И кто их послушает, если станут проситься друг к другу? Марье Петровне матерински жалко было хромого и стыдно было, что она не сумела ему помочь.

Венгерский гусар с неприятным лицом лежал на носилках, оправлял на себе рваную шинелишку и стучал от холода зубами; его извилистые губы под тонкими черными усами стали лиловыми. И у этого опять Марью Петровну поразило выражение глаз: он неподвижно смотрел в потолок железного навеса, весь ушедши в свою муку, и даже не думал просить жалости и помощи: как будто все это так и должно было быть. И он лежал среди людей, как в пустыне, дрожал, постукивая зубами, и его согнутые коленки в грязных рейтузах ходили ходуном. На виске, под околышем фуражки, чернели крутые завитки волос.

Марья Петровна вдруг стала задыхаться. Дрожащими руками она поспешно расстегнула свою лисью шубку. Расстегнула, скинула шубку и покрыла лежавшего венгерца. Горячие волны ударили ей из груди в горло. Она припала губами к курчавой голове венгерца и целовала ее и плакала, — о сыне своем плакала, об иззябшем венгерце, обо всех этих искалеченных людях. И больше не было в душе злобы. Было ощущение одного общего, огромного несчастья, которое на всех обрушилось и всех уравняло.

1915

ДЕДУШКА

Ольга Федоровна умирала. По телеграфу вызвали отсутствовавших детей. Из Москвы прибыл Николай Сергеевич, популярный газетный философ и театральный критик. Из-за границы приехала консерваторка Лиза, проходившая у Далькроза курс ритмической гимнастики. Уже целую неделю Ольга Федоровна была в полузабытьи, бредила, сердце работало плохо. С мыслью об ее смерти все уже примирились.

За окнами сиял июнь, но в низеньких, душных комнатах хутора было сумрачно. Ольга Федоровна подозвала Лизу и, с трудом дыша, сказала:

— Напомни Ване, пусть скажет Пафнуту: Гнедчика нельзя в табун пускать, он подкован.

Потом выпила полчашки теплого молока и затихла, полусидя в подушках, вся уйдя в свое страдание. В расстегнутую кофту виднелись складки тучного желтого тела, нижняя губа брюзгливо отвисла. Выражение лица было животное и страшное. Лиза поморщилась и отвернулась. Тихонько вошла невестка Таня, жена Ивана, с ласковыми и спокойными глазами. Она шепнула:

— К полольщицам на огород я послала Матрену Васильевну. Иди, я посижу.

Лиза вышла на скрипучую террасу с потрескавшимися серыми перилами. В расхлябанном лонгшезе сидел за газетами ее брат-журналист, бритый, в золотом пенсне. Брюки его слегка оттянулись, и над зашнурованными туфлями видна была полоска ярко-зеленых носков. Он лениво спросил:

— Ну, что мама?

Лиза передернула плечами.

— Какое животное у нее лицо! И все время бредит об наседках, телятах. Пришла в себя,— просит напомнить Ване про каких-то лошадей, чтоб подковали.

Николая Сергеевича покоробило, хоть он уж привык, что Лиза всегда бухнет что-нибудь бестактное. Он с каменным лицом ответил:

— Человек страдает, мучается, а ты требуешь, чтоб лицо у него было «духовное».

— Ничего я не требую,— раздраженно возразила Лиза.— Меня только ужасает,— неужели это смерть? Ничего духовного, никакого подъема над жизнью. Все те же опять наседки и индюшата, как было всю жизнь.

Глаза Николая стали круглые, и тупо-злые, как у голубя.

— Лиза, я тебя очень прошу, перестань говорить так. Это — моя мать, и я требую уважения к ее страданиям. Да и тебе она, между прочим, тоже приходится матерью.

Лиза вспыхнула, закусила губу, но овладела собою и не ответила.

Она сошла с террасы в сад и быстро пошла по дубовой аллее. Походка у нее была легкая, тело ловкое,—чувствовалась ритмичка-далькрозистка,— но глаза смотрели по всегдашнему нервно и тревожно. А теперь, от бессонных ночей и больных капризов матери, она чувствовала в душе опустошенность и муть. И злость была на брата Николая; себялюбивый, только собою полный; отсыпается, гуляет в своих зеленых носочках, принимает всеобщее поклонение; к матери зайдет только изредка, на четверть часа... А тоже — «коробит», чуть что не так скажут!

И погода раздражала. Где-то далеко за Волгою горели торфяные болота. Даль степи терялась в голубовато-серой дымке, сухой и блестящей, солнце стояло в мутном небе желтым кружком. И сухо, сухо было.

Лиза кусала травинку и зло глядела в кусты. Вдруг она просветлела, улыбнулась и сказала:

— Пойду к Андрею Павловичу!

Близ дороги к лесному колодцу, на юру у спуска в лощину, стояла избушка, крытая гнилою соломою. Когда-то ее, вместе с землею, арендовал ярославец-огородник. А теперь жил в этой избушке старенький старичок Андрей Павлович Рамазанов — знаменитый Андрей Рамазанов,— вы все знаете его имя и его дела. Он четверть века просидел

в казематах крепости, в 1905 году был выпущен. И уже пятый год лето и зиму жил в этой избушке на полдесятине земли, которую купил в рассрочку у друга своего, покойного священника из села Середние Трясы.

Лиза открыла калитку в плетне, густо обсаженном акациями. Андрей Павлович, опираясь на заступ, стоял в углу сада, спиною к Лизе. Над сгорбленною широкою спиною белелись седые волосы копной. Он услышал, что кто-то вошел,— не оборачиваясь, поднял руку и погрозил плохо сгибавшимся пальцем: тише, мол!

Лиза тихонько подошла. Андрей Павлович покосился и буркнул:

— Молчите и смотрите.

И с детски жадным любопытством продолжал смотреть,— даже рот раскрыл, как дети.

У плетня стояла кадушка, полная водой. А на плетне сидели рядом два молодых воробья,— совсем еще молодых, с пушком, сквозящим из-за перьев, ярко-желтыми пазухами по краям клювов. Один бойко и уверенно перепорхнул на край кадушки и стал пить. Пил — и все поглядывал на другого и перекликался с ним на звенящем своем языке. Другой — чуть поменьше — с серьезным видом сидел на плетне и опасливо косился на кадушку; а пить-то, видимо, хотелось,— клюв был разинут от жары.

И Лиза ясно увидела: тот, первый,— он уж давно напился и просто примером своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет страшного. Он непрерывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, захватывал воду и тотчас же ронял ее из клюва, и поглядывал на брата, и звал его. Братишка на плетне решился, слетел к кадушке; но только лишь коснулся лапками сырого позеленевшего края,— и сейчас же испуганно порхнул назад на плетень. А тот опять стал его звать.

И добился наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, все время трепыхая крылышками, и напился. Оба улетели.

С торжествующей улыбкой Андрей Павлович спросил:

— Поняла, что делалось?

— Поняла, еще бы! Какая прелесть!

— Ага! — Он пальцами взъерошил снизу длинную свою бороду и сурово еще раз повторил: — Ага! — Как будто хотел пристыдить Лизу, что она во что-то не верила, а он ей доказал.

Лиза, скрывая улыбку, шла с ним рядом к избушке.

— Право, мне кажется, у вас тут и птицы, и всякая другая тварь — все ведут себя совсем иначе, чем везде... А в саду у вас все по-прежнему,— без «культуры»... Не могу понять, как можно отрицать розы!

— Гу! Не можете понять! А я вот никак не могу понять, как можно признавать ваши левкои и резеду,— с негодующим вызовом сказал Андрей Павлович.— Полноте, деточка! Всю эту парфюмерию только кокоткам нюхать. Ну, поглядите кругом, понюхайте. По совести: плохо разве?

Лиза прижалась к его руке и с восторгом сказала:

— Хорошо, дедушка!

— Ага! — Он просиял от удовольствия.

Было, правда, хорошо и своеобразно. Вокруг были всё одни только обычные полевые и лесные цветы, и запах от них стоял нежный, целомудренный. Налево от входа, на клумбе, темно зеленел своими трилистниками зацветающий донник. На прихотливо изогнутых грядках и просто на газоне красовались группами пушистые султаны белого и желтого подмаренника, воздушно вырезанная розовая дрема, клейкая малиновая смолянка. И сколько их было, этих цветов, и как они пышно развились от ухода! И какие были невиданные цветы! Не верилось, что вырыл их Андрей Павлович тут же где-нибудь в степной балке или на лесной поляне. Неожиданно красива была и дорожка, обсаженная гигантскими лопухами с сочно-зелеными листьями. На ярком дерне серели купы серебристой и матово-зеленой полыни.

Андрей Павлович умиленно оглядывался.

— Что дорого-то! Дрянь, сорная трава,— а какая из нее может получиться красота! Так-то вот и всё в жизни... Ну, а что Ольга Федоровна? По-прежнему?

— Да, плоха.

— Пойдемте, попьем чайку. Вы мне про вашу гимнастическую науку расскажете. Никак я ее не могу взять в толк.

Они вместе наставили самовар. Андрей Павлович вынес его на крылечко и поставил на стол. Лиза, ужасно боясь обнаружить охватившую ее брезгливость, стала перемывать посуду; во всех пазухах ее густо чернела грязь. От заваренного чая пахло, как от распаренного веника; сахар был густо засижен и источен мухами

Андрей Павлович сказал:

— Свежо становится к вечеру. Погодите, надену пиджак.

Он воротился, держа в руках старый, заплатанный в локтях пиджак,— внимательно оглядывал его, тихо улыбался и крутил головою.

— Сколько сейчас везде жизни,— поразительно! Всего два дня пиджака не надевал, а вон сколько живых тварюшек набилось разных. Бабочки ночные, пауки... Вот двухвостка...

Он подошел к перилам и трясущимися руками медленно стал вытряхивать пиджак Лиза украдкою наблюдала его. Она любила лицо Андрея Павловича, когда он думал, что на него не смотрят. Глубоко посаженные маленькие глаза из-под густых бровей внимательно глядели внутрь, словно он все время благоговейно вслушивался во что-то важное, что говорила ему его душа. И чувствовалось Лизе, что там, в душе у него, светло, серьезно и твердо и что все вокруг он умеет делать для себя серьезным и светлым. Ах, как сама она этого не умела!

Они сидели и пили чай. Лиза с одушевлением рассказывала о своих занятиях у Жака Далькроза в Геллерау под Дрезденом,— о гениальности любимого учителя, о чудесном духе искания и братской дружественности участников. А уж сама ритмическая гимнастика,— о ней может судить только тот, кто сам ею занимался. Что-то прямо чудотворное! Самая смятая душа расправляется. становится гармонической и ритмичной. Одеваются все они там в легкое трико на голое тело, с открытыми руками и ногами; тело вольно дышит воздухом и светом... Какое это ни с чем не сравнимое наслаждение, как после этого давят тело все нелепые эти одежды!

Андрей Павлович слушал, грозно нахмурив густые брови, с видом судьи-инквизитора, а молодые глаза под бровями мягко подсмеивались над Лизиным одушевлением.

— Погодите. «Искания», вы говорите. Что же вы ищете?

Лиза сдерживала улыбку: для Андрея Павловича «искания» были понятны только в скучной области общественности и политики; все остальное было пустячками. Она поняла, что разговаривать об этом не стоит, и коротко ответила:

— Нового человека ищем,— вольного, сильного, живущего ритмически.

— Угу! Так вот что такое ваша гимнастика. Я думал,— так себе, для моциону. А выходит,— нового человека творите.

Андрей Павлович задумался, выставив вперед длинную бороду, и, по непонятной для Лизы ассоциации, сказал:

— Да... Наши поэты, бывало, говорили: «Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви!» А вы от ваших поэтов только слышите: «Хочу одежды с тебя сорвать, хочу упиться роскошным телом».

Лиза с раздражительным недоумением спросила:

— При чем это тут?

Андрей Павлович ответил рассеянно:

— Это я так. Вдруг пришло в голову.

Калитка хлопнула. К крыльцу подошла женщина в черном платочке и некрасивой синей кофте. Лицо было рябое и старообразное, длинному туловищу не соответствовали короткие ноги.

Она взглянула исподлобья и неуверенно спросила:

— Нельзя ли мне барина повидать, Андрея Павловича?

Андрей Павлович крякнул, нахмурился и строго ответил:

— Андрея Павловича можно, это я. А барина никакого нету.

— Виновата. Не знала, как вам сказать.

— Что скажете?

— Письмецо надобно мне в Москву написать. Слыхала я, очень вы хорошо это дело понимаете.

— Верно,— хорошо. Садитесь.

Женщина, волнуясь, села на краешек скамейки. Андрей Павлович принес чернил и бумаги.

— Ну-с, писать нам будет вот эта девица, а то я сейчас на огороде копал, рука дрожит. А мы с вами станем сочинять. Садитесь-ка, Лиза, за стол, а раньше налейте ей чайку... Ну-с, к кому письмо?

Женщина поджала губы, развязно подмигнула и засмеялась.

— Ой, барышня, вы не слушайте, хи-хи! К кавалеру письмо.

— Угу! К кавалеру,— серьезно повторил Андрей Павлович.— Солдат, что ли?

— Кондуктор с трамвая. А всякого солдатика стоит. Красавчик. Молодой, а усы, даже как у унтера!

Она еще развязнее засмеялась, как будто ждала игри-

вых шуточек и уж наперед сама смеялась им. Андрей Павлович внимательно смотрел.

— Что же писать будем?

— Отпишите так: «Премногоуважаемый Петр Вонифатьевич, в первых строках моего письма целую я вас заочно несчетно раз в сладкие ваши уста...»

— Пишите,— серьезно сказал Андрей Павлович.

Она была отвратительна с ее игривыми подмигиваниями и развязным смехом. Гадливо прикусив губу, Лиза стала писать. Женщина продиктовала еще несколько подобных фраз. Андрей Павлович медленно расхаживал по крылечку, заложив руки за сгорбленную спину и выставив седую бороду.

Женщина покосилась на него, поколебалась и продиктовала:

— «Петрушка! Отпиши, когда утром встаешь на службу, не просыпаешь ли. Поспеваешь ли чайку попить. Очень за тебя беспокоюсь, как некому об тебе без меня позаботиться...»

Андрей Павлович с интересом спросил:

— Поспать, значит, любит.

Женщина быстро взглянула на него и вся засветилась.

— До ужаса любит поспать! Будишь его утром, будишь,— никак не дотолкаешься. И то сказать,— совсем еще мальчик молодой. Сон крепкий.

И вдруг губы ее закрутились в застенчивую улыбку, а глаза засияли мягкой материнской лаской.

— Вечером сидит,— не уложишь его, десять раз попросишь,— совсем как мальчик маленький. Ну, конечно, утром-то вставать и не хотится.

— Давно с ним живете?

Женщина рассказала: три года. Муж давно ее бросил и босячит в южных городах. У кавалера в деревне тоже есть жена. «Она, говорит, красивая, куда получше тебя, а только карахтерами мы с нею не сходимся». Теперь женщина приехала сюда, в деревню, на месяц к родителям проведать своего десятилетнего сына.

Андрей Павлович с недоумением сказал:

— Что ж вы про какого-то кавалера говорили? Он вам муж, а вовсе не кавалер.

— Что вы, барин, какой муж?! Да нам и венчаться нельзя!

— Все равно. Не ваша вина. Все-таки он вам муж, а не

кавалер. Так и запомните. Вы с ним не для баловства сошлись.

Она отвернулась потупленным лицом и нелепо засмеялась.

— Гы-гы! Как вы смешно разговариваете!

— Что смешного?

— «Муж»! Какой же муж, что вы? Даже все меня здесь закорили. Сестры знаться не хотят. Она, говорят, шлюха. А вы вон как!

— Вам вашей любви стыдиться нечего. В ней ничего нет поганого. Только сами не поганьте ее.

Андрей Павлович, не торопясь, стал говорить,—раздельно и властно. Женщина изумленно слушала, большие глаза лучились счастьем. И вдруг Лизе стало видно, какая она измученная, затравленная, как устала ее душа от этой травли.

Женщина, всхлипывая, засмеялась и с мукою сказала:

— Я не про то уж,— где там! А за что они меня едят? За что сыну на меня наговаривают? Что я сама себя так перед людями принизила, за это я богу дам ответ. Может, я каждую ночь грех свой замаливаю.

— Ну, так вот. Кончим письмо. Или, лучше,— разорвите-ка, Лиза, начнем сначала. А то вначале как-то у вас там нехорошо.

Женщина застенчиво и виновато улыбнулась.

— Вам лучше знать.

Написали новое письмо. Женщина взяла его и медленно встала,— с большими, к чему-то внутри прислушивающимися глазами. И все время в счастливом недоумении коротко пожимала плечами.

— Ну... Спасибо вам!

Голос ее дрогнул. Она вдруг быстро наклонилась и стала целовать руку Андрея Павловича. Он зарычал и вырвал руку. Женщина блаженно зарыдала.

— Батюшка!.. Спасибо тебе за твой разговор!

— Ну, ладно! Хорошо! — резко оборвал Андрей Павлович.

Женщина низко-низко поклонилась и пошла к калитке, всхлипывая и что-то бормоча. Андрей Павлович, заложив руки за сгорбленную спину, выставив бороду, отошел к перилам и стал глядеть в сад. Потом начал сопеть и сморкаться. Увидел, что не скроешь,— сел к столу с покрасневшими, умиленными глазами и сказал с презрением:

— Слезы этой самой у меня под старость развелось!.. Каждый пустяк ударяет в слезу.

Лиза возвращалась домой в сумерках. Впрочем, неизвестно было, вправду ли это уже сумерки. Солнце еще на большой высоте стало карминово-красным и исчезло. Сухая, желтоватая муть затягивала небо; степь, словно в густом тумане, тонула в голубоватой мгле, и еле были видны синие силуэты верб над мельничной плотиной.

На скамеечке у ворот сидел брат Николай, с панамою на коленях, и вытирал платком потную, остриженную под машинку голову.

Лиза спросила умягченным, виноватым голосом:

— Что мама?

— Священник был, причащалась. Сейчас спит.

Она села рядом.

— А я сейчас была у Андрея Павловича. Какой милый дедушка! Раз я нечаянно прочла про одного подвижника,— не святой, а просто так, подвизался... Его звали Симеон-благоговейник. Всегда мне это слово вспоминается, когда я побуду с Андреем Павловичем. «Андрей-благоговейник»... Нравится он тебе?

— Ничего. Немножко слишком «принципиальный» человек. Смешно. А старик милый.

Лиза вспыхнула. Этою весною Андрей Павлович бросил переводить книгу, потому что в ней оказались антисемитские выходки, и отказался взять деньги за сделанную часть перевода. Это Николаю смешно. А то ему не смешно, что сам он пишет о самых всегда благородных вещах, а сотрудничает в газете, которую не уважает,— только потому, что там хорошо платят. Лиза готова была все это сказать, но сдержалась,— не хотелось темнить своего настроения.

Из степи подъехал на беговых дрожках брат Иван, хозяйствовавший на хуторе,— загорелый и бородатый, с детскими глазами. Он справился о матери. Лиза вспомнила и сказала:

— Мама просила тебя передать Пафнуту: раньше, чем пускать Гнедчика в стадо, пусть его подкуют.

Иван с веселою улыбкою внимательно взглянул на нее.

— Во-первых, Гнедчик подкован. А во-вторых, как же его, подкованного, пускать в табун? Он лягается.

Лиза сконфузилась.

— Может, я напутала...

Она пошла домой.

С террасы услышала она звонок в спальне матери и вошла. Окна были плотно завешаны, в комнате стоял густой мрак. Ольга Федоровна спросила ясным странным голосом:

— Лизочка, это ты? Зажги свечу.

Лиза зажгла. Тем же необычным голосом, каким говорят, когда случилось что-нибудь важное и неожиданное, Ольга Федоровна сказала:

— Позови всех, кто хочет со мной проститься. Меня не будет.

Лиза стояла в неподвижном изумлении. Из мигавшего, красноватого полумрака на нее смотрело невиданно прекрасное лицо... Что такое, что такое вдруг случилось? Все лицо светилось от шедшего изнутри света, глаза были большие, прислушивающиеся; как будто вдруг что-то огромное и очень радостное встало перед душою, и в блаженном восторге душа внимала неожиданной вести.

Лиза подняла руку и, задыхаясь, сказала:

— Мама!

И замолчала.

Пришли все. Ольга Федоровна, глядя тем же необычным взглядом, повторила не совсем разборчиво:

— Проститесь со мною, а то меня не будет.

Увидела Ивана; припоминая, пристально поглядела на него, как будто из большой дали; вспомнила и спросила:

— Распорядился насчет Гнедчика?

Иван смущенно улыбнулся загорелым лицом и развел руками.

— Мне Лиза передавала. Только что ж его подковывать? Он подкован.

Ольга Федоровна с улыбкою взглянула на Лизу.

— Напутала плясунья наша... Я сказала: в табун его не пускайте, он подкован.

— Ах, вот что! Я так и велел.

— Ну, я знала. Ты обо всем подумаешь.

Ее как будто радовало, что Ваня еще может и должен серьезно думать обо всем том, что ей самой вдруг стало чуждым и умилительно-малым.

Ольга Федоровна замолчала. Она опустила руки на одеяло и, полусидя в подушках, оглядывала всех. Так гля-

дят люди, отправляясь в далекий путь и стараясь запечатлеть в памяти милые лица.

Говорить ей было трудно, и она больше уже не говорила. Только сидела,— преображенная, светящаяся,— и удовлетворенно переводила глаза с одного лица на другое. И одышка была у нее, и — чуть пошевелится — остро кололо в бок, и вся она была разбита долгою болезнью. Но ярко и ясно горела душа,— высоко над животными страданиями. Все кругом начинали чувствовать себя другими и благоговейно молчали, изредка чуть-чуть слышно перешептываясь.

Она сказала:

— Ну, прощайте, милые мои. Устала.

Лизе, однако, показалось,— она отсылает их не потому, что устала, а что ей необходимо остаться наедине с тем большим и радостным, чего они не постигали.

Поочередно все простились. Вышли в зальце, где чуть коптила висячая лампа-«молния». Николай Сергеевич в недоумении развел руками и сказал:

— Сколько лет мы жили с мамой... Как же мы до сих пор не заметили, до чего она прекрасна?

Лиза возразила:

— Я другое почувствовала: до чего она *могла* быть прекрасной, какие в ней были скрыты возможности. И поразительно, поразительно: пришла смерть,— и вдруг возможности превратились в действительность. Я ничего не понимаю,— как это могло случиться?

Николая Сергеевича покоробило.

— При чем здесь смерть? По-моему, мама сейчас великолепно выглядела. У меня даже появилась надежда.

— Как? Ты не почувствовал, что это смерть?.. Да ведь она даже сама сказала: «Проститесь со мной, а то меня не будет».

— Что значит: «а то меня не будет»? Так никто не говорит. Она сказала: «Проститесь со мной, а то меня всё будят».

Лизу поразило, до чего этот умный человек ничего не в состоянии почуять душою. Ей не хотелось колыхать тех светлых полумыслей, полунастроений, которыми до краев полна была душа, и она коротко возразила:

— А кто ее когда будит? И мама сказала бы «*будют*», а не «будят».

И вышла на террасу.

Было тихо-тихо. Пахло дубом. На жутком пепельно-сером небе поднимался из-за аллеи тускло-оранжевый месяц. Лиза взволнованно смотрела в сухую темноту и думала:

«Так вот она, смерть!»

За садовой оградой, на дворе, зашуршали по пыли колеса тележки, зазвякали бубенчики. Из темноты сада взошел на террасу земский доктор Иван Петрович и внес с собою в прохладный аромат дуба запах степной пыли и полыни.

— Это кто здесь?! — рычащим и оторопелым голосом спросил он.— А-а, Лизавета Сергеевна! Здравствуйте! Что мамаша?

Он был худой, огромного роста, с белесою бородкою; разговаривая, близко придвигал лицо к лицу собеседника и таращил на него глаза сквозь очки.

Лиза строго и торжественно ответила:

— Мама умирает.

— Пустяки какие! Вздор! Мы еще подержимся! Сердце у нас для наших лет весьма еще сносное, а это главное.

Перегнувшись через перила, он отряхнул над кустами от пыли свою крылатку, положил ее на перила и, потирая руки, ушел в комнаты.

Лиза взволнованно расхаживала по скрипевшим половицам террасы и не хотела давать себе отчета в чувстве вражды, которое вдруг ее охватило по отношению к доктору. Сквозь открытые окна вскоре послышался его громкий голос:

— Вздохните поглубже! Та-ак!.. Откашляйтесь! Сильнее кашляните! Хо-орошо!..

Лиза вошла в спальню. Задыхающаяся Ольга Федоровна полусидела, обнаженная по пояс. Таня ее поддерживала, а доктор, наклонившись, выслушивал сзади спину; его белесые волосы космами лежали на подушке. Лицо у Ольги Федоровны было покорно страдающее, но все такое же просветленное, как раньше.

— Н-н-у-с...— Иван Петрович выпрямился.— Придется вам еще баночек поставить на бок.

Он вышел с Танею в залу. Усталая Ольга Федоровна полулежала в подушках и большими глазами смотрела на Лизу. Лиза к ней наклонилась.

— Мамочка, тебе нужно что-нибудь?

Ольга Федоровна прошептала:

— Зачем они меня так мучают?

Лиза всхлипнула и прижалась щекой к беспомощно лежавшей на одеяле руке. Рука повернулась и ласково погладила ее пальцами по мокрой щеке. И мягкими, лазурными волнами нахлынули детские воспоминания,— не умом их Лиза вспомнила, а как-то телом, кожей,— от этого ласкового прикосновения руки к заплаканной щеке. И вдруг она почувствовала, как виновата перед матерью. Лиза плакала и целовала ее руку, а Ольга Федоровна молча смотрела нездешне-ласковыми глазами.

Доктор суетливо вошел с Танею в спальню. Впрыснул камфару, потом опять обнажил умирающую и начал ставить банки на тучный бок в толстых желтых складках.

Лиза, закусив зубами веточку жасмина, вышла в залу. На жестком диване сидел Николай и курил сигару. Иван в запыленных смазных сапогах расхаживал по комнате. Лиза в негодовании сказала полушепотом:

— Возмутительно! Как он смеет мешать ей умереть!

Николай Сергеевич вытаращил глаза.

— Что ты, Лиза, говоришь!

— Да! Да!.. Разве можно так мучить человека? И разве он не понимает, этот дурак, что ему тут больше нечего делать!

— Бог знает что такое! — Николай Сергеевич возмущенно развел руками, а Иван неодобрительно замычал.

— Зачем он мучает маму?

— Если бы тебе было пять лет, я бы понял твой вопрос. А теперь недоумеваю. «Мучает», чтобы спасти ее от смерти, потому что врач до последнего момента должен не терять веры и бодрости.

— Врач прежде всего должен уметь почувствовать, когда человек умирает. И должен знать, что смерть важнее его банок и камфары.

Николай Сергеевич пренебрежительно и безнадежно махнул рукой, а Лиза стиснула ладонями виски и вышла наружу. Спустилась в сад и села на скамейку перед террасой. Из окон через листву сирени падал свет на белую дорожку, и лучи на всем своем протяжении явственно прорезывались сквозь сухой туман. Доносились из спальни тяжелое дыхание и стоны Ольги Федоровны. Лизе было страшно. Пришло что-то великое, светлое и торжественное, люди должны бы стать на колени и благоговейно преклонить голову. А они делают что-то совсем, совсем не то!..

Ночь тянулась долго и кошмарно. Доктор Иван Пет-

рович любезно согласился остаться при умиравшей на всю ночь. Своей энергией он поднял дух и у окружающих. Кипела работа. Впрыскивали больной камфару, морфий, то и дело давали вдыхать кислород.

Внутренний свет постепенно угасал на лице Ольги Федоровны, лицо темнело. Опять страшно отвисла нижняя губа, черты искривились в животном, ушедшем в себя страдании. Смотрела она кругом тупыми, широко раскрытыми глазами, как оглушенная: от морфия, должно быть. Лиза стояла у двери, сурово закусив губу. Меж наклонившихся голов и спин иногда мелькало темное лицо матери с выпученными глазами, и Лизе казалось: это палачи заняты своей работой — колют, ворочают, истязают человека, чтобы потушить свет, который вдруг благостно зажгла в нем какая-то высшая сила.

Лиза ушла из дому в степь, далеко ушла, к курганам за большой дорогой. В сухой мгле ничего не было видно, хотя чувствовался за нею простор широкий и пустынный. Стоял в пепельном небе оранжевый, несветивший месяц, пахло полынью. Было очень тихо. Лиза присела на подножье кургана, на потрескавшуюся землю с сухою, как шелк, травою и плакала о матери и о чем-то великом, что смутно в этот вечер почуяла ее душа.

Ольга Федоровна выжила и начала поправляться. Главная тут заслуга была, конечно, доктора Ивана Петровича: если бы не его энергия и самоотвержение в ту трудную ночь, она бы умерла. Николай Сергеевич через неделю уехал в Кисловодск и перед отъездом спросил Лизу:

— Ну-с, Лизанька, что скажешь? Имел право Иван Петрович мучить маму?

Лиза сконфузилась, а он с упреком покачал головою.

Через месяц Ольга Федоровна совсем поправилась. Ходила с палкою по огороду, по курятникам и денникам, поругивала работниц. Впрочем, ходить ей было трудновато: очень она почему-то стала много есть и вместе с этим — толстеть. Когда садилась за стол, глаза ее плотоядно загорались на жирный борщ и румяную баранину с чесноком; сидела она за едою как-то особенно широко и плотно, словно жаба; жуя, чавкала губами.

Хозяйством она перестала интересоваться. Если поругивала работниц, то больше от скуки... Но очень полюбила

говорить о своих болезнях, всем подробно о них рассказывала. Ее мало слушали, она сердилась. По воскресеньям приезжал доктор Иван Петрович — «мой спаситель» — и прописывал длиннейшие рецепты с редкими лекарствами, которые можно было достать только в городской аптеке.

Лиза, глядя на мать, морщилась и кусала губы. Да и вообще ее тоска брала на хуторе. Была она не из тех, которые изнутри себя умеют делать жизнь интересною для себя и значительною. К тому же пошли дожди и лили без конца, наполняя воздух сыростью. Было странно, как люди не превратились за это время в слизняков. А о солнце никто и не помнил.

В середине июля неожиданно заболел Андрей Павлович, вдруг почему-то ослабел, стало трудно ему ходить и дышать, часто кружилась голова.

Доктор Иван Петрович внимательно исследовал его и рычащим своим голосом сказал, выпучив глаза в блестящие очки:

— Не пугайтесь! Я должен вас предупредить: у вас артериосклероз и эмфизема!

Андрей Павлович удивленно поднял брови и возразил:

— Чего ж тут пугаться? Всякий человек под старость изнашивается и в конце концов должен умереть. В этом нет ничего ни удивительного, ни страшного.

И начал хворать, ушедши в себя и скрываясь от всех. Лиза стала за ним ухаживать, но оказалось это делом нелегким. Андрей Павлович раздражался, пожимал плечами и не хотел принимать никаких забот. А между тем ко всему он еще простудился, стал кашлять, появились потрясающие ознобы.

— Что ж вы мне тут можете помочь? И вы знаете, и сам я знаю: потреплет, сколько полагается, и отпустит. Тут нужно только терпение.

Кашель был очень трудный, с вязкою мокротою, доводившею до рвоты.

— Поставьте по обе стороны кровати по тазу, я тогда и один смогу обойтись. Зачем же вам просиживать у меня ночь?

И сердился и не мог спать, если чувствовал, что его обманывают и следят из сенец, не понадобится ли что.

А между тем становилось ему все хуже. Вязкая мокрота липла к горлу, и ее было очень трудно откашливать. Лицо Андрея Павловича стало одутловатым, на белках глаз по-

явились кровоподтеки, как у детей при коклюше, и кашель был удушающий, бурными приступами, тоже как при коклюше. Приступ вызывал острейшие боли внутри головы: должно быть, лопались в мозгу склеротические мелкие сосудики,— так объяснил Лизе доктор Иван Петрович.

Однажды, под вечер, всходя на крылечко Андрея Павловича, Лиза услышала внутри избы этот мучительный кашель со свистящими вдохами, от которых, когда слышишь, и самому начинает не хватать воздуха. Вытаращив в испуге глаза, открыв беззубый рот, Андрей Павлович несколько раз протяжно вздохнул хрипящим, сдавленным вздохом, как будто его душили, и Лиза увидела: он стиснул руками голову и пошел, глядя перед собою затуманенными, невидящими глазами, и с жалобным стоном опустился на колени, и прижался растрепанною головою к сиденью старенького своего дивана, из которого глядела мочала.

Лизе остро вошло в душу выражение глаз Андрея Павловича. Она прислонилась спиною к мокрому от дождя столбу крылечка... Где она недавно видела совсем такие глаза? И вспомнила: месяца полтора назад, под Дрезденом. Шла она по белой, шоссированной дороге и в придорожных кустах боярышника увидела околевавшую собаку. Должно быть, ее переехал автомобиль; задними ногами она не могла двигать, из пасти текла струйка крови, но она уползла с дороги и пробралась умирать в кусты. Глаза у нее были невидящие, скорбно сосредоточенные в себе, и вся она ушла в одинокое свое страдание. Лиза нагнулась к собаке. Потревоженная в своем одиночестве, она без звука, не шевеля головою, отвратительно и страшно оскалила зубы. И почувствовалось, что душе ее ничем нельзя помочь, что не нужна ей ничья помощь,— только одно: «Оставьте меня в покое!»

Эту вот отъединенность страдания вдруг почуяла Лиза и в Андрее Павловиче,— что ему нужно быть в своем страдании одиноким и что он к нему никого постороннего не допустит.

Лиза зашумела, кашлянула и ступила на порог избы.

— Можно войти?

Андрей Павлович оглянулся и поспешно начал подниматься с колен. Лиза подбежала и стала помогать. Он бегал глазами, стараясь подыскать объяснение, почему он так странно стоял.

— А я, знаете...

Но голова, видимо, мутилась от боли, он ничего не придумал и сел на диван. Страдание было в глазах, и лицо было смиренно-покорное, какое часто бывает у старых мужиков перед смертью.

Лизе было жалко и досадно. Чтобы не прорваться жестким словом, она молча стала прибирать в комнате, хоть это и трудно было; на столе, на стульях и подоконниках — везде валялись книги, на пыльных бревенчатых стенах висели гербарии. Андрей Павлович сидел на мочальном своем диване, возле столика с пишущей машиной, и смотрел сквозь открытую дверь на дождливое небо, уже начавшее сумеречно темнеть.

Вдруг он сказал Лизе:

— Тише, не шумите! Подите-ка сюда!

Глаза его по-детски оживились и заискрились.

— Посмотрите... Я часто думал: дождь на дворе, ветер, — как это птицы кругом не догадываются укрыться, хоть бы под крышею этого крылечка? А вон она, посмотрите, шельма, одна сидит быстрохвостая. Пеночка. Догадалась. Видите, ветка кленовая тянется от бокового столба, — вон там, под крышею, сбоку. Ни капли на нее не попадет. Какова молодчина! И спать тут, видно, собирается... Вон профиль ее меж листьев, вот встряхивается... Ах ты, боже мой! Улетела.

Он разочарованно покачал головою. Лиза враждебно поглядела на него и сказала:

— Вы меня в сторону все равно не отвлечете. Черствый вы эгоист, больше ничего!

Андрей Павлович растерянно и виновато поднял брови.

— А что такое?

— Вам плохо, я вижу. А вы скрываетесь, хотите от всех спрятаться, никому не позволяете хоть немножко вам помочь.

— Ах, вот что! — успокоенно протянул Андрей Павлович и ворчливо прибавил: — Из того, что человеку плохо, вовсе не следует, что он должен отравлять жизнь другим.

— Вот именно! А вы отравляете. Думаете, приятно подглядывать за вами в щелку и бояться войти? Приятно спать дома и знать, что вы тут совсем один в избушке вашей и никого кругом на полверсты? Можете кричать, вопить, — никто даже не услышит. А возмутительнее всего, что вы и кричать-то не станете! Так и помрете!

— Девочка моя! Не нужно так нервно. Я вовсе не один. Вы знаете, днем Мавра ко мне приходит из Выселков убрать, обед сготовить. Вечером вы приходите, Татьяна Алексеевна. Так довольно, что я уж и не знаю.

Лиза, глотая слезы, злобно сказала:

— Вот погодите! Дайте мне заболеть. Запрячусь в дыру, как собака, которую переехал автомобиль, и стану умирать без ухода. А вы похаживайте себе кругом да поглядывайте! А я вас буду гнать прочь! Тогда узнаете. Эгоист, все только о себе!

Лицо Андрея Павловича опять стало виноватым.

— Должно быть, вы правы. Я понимаю, что вы должны испытывать. Только, — деточка! Не судите меня слишком строго и простите. Что же мне делать? Не могу иначе.

— Возмутительно! И это общественный человек!.. Не хочу вас больше слушать!

Лиза вскочила и, не прощаясь, ушла. Глаза Андрея Павловича, глаза собаки, умиравшей под кустом, слились в одни глаза, страшные уединенностью своего страдания. И вдруг Лизе вспомнилось, как собака беззвучно оскалилась, не повертывая головы. Как будто темнота какая-то вдруг распахнулась перед нею. Лиза нервно вздрогнула и передернула плечами.

Были сумерки. Сеял мелкий дождь. В синевато-мутном воздухе тускло краснели огоньки далекого хутора. Спутанные лошади с черными от дождя спинами щипали ярко-зеленую траву. По тропинке, рядом с расслизшей дорогой, шла навстречу женщина в зипуне, под старым зонтиком с торчащими из материи спицами. В руке она держала два больших черных чайника.

— Барышня, это вы? Здравствуйте!

Лиза вгляделась: та женщина, которой они недавно писали письмо в Москву. Женщина усмехнулась и с заговорщицким видом спросила:

— От старичка нашего идете, Андрея Павловича?

— Да.

— А я к нему иду, на «ночное дежурство».

— Как? Он вам позволяет?

Женщина беззвучно засмеялась и хитро подмигнула.

— Не дай бог, проведает,— уж и не знаю, что будет! Потихоньку. Как заболел, стала я к нему ходить, а он все сердится: «Почему, говорит, в Москву не едешь? Тебе срок вышел, тебя Петруша твой ждет». А он и вправду ждет!

И старичку нашему — то, я ему — другое,— никак не верит. До чего хитер! «Чтоб я, говорит, тебя тут не видал!» Стала я потихоньку ходить, подглядываю: может, какая окажется надобность. И заприметила: бывает, кашляет он ночью, кашляет,— встанет и пойдет в сенцы самовар наставлять; чай себе заварит и пьет с порошком каким-то. Должно быть, мокроту ему мягчит горячее.

Лиза всплеснула руками.

— Господи! Ведь я сейчас только сообразила: у него ни примуса нет, ни спиртовки. Что за младенец! Щепочками обходится да угольками!

— Вот я и приладилась. Есть у него там овражек за избушкой, как к колодцу идти. Разведу в кустах костер и кипячу чайник. Потом проберусь в сенцы,— двери у него никогда не заперты,— холодную воду из самовара в другой чайник спущу, а в самовар ему — горячей. Дверь очень скрипела,— выпросила у машиниста вашего маслица, смазала; теперь тихо ходит. Вот, значит, выйдет он в сенцы, а я в окошко подглядываю. Возьмется за самовар,— отдернет руку: горячий! Пожмет плечьми, подивится. Несколько раз вокруг самовара обойдет. В трубу заглянет, жару нет. Опять плечьми пожмет. А потом сядет чай пить.

Лиза в восторге бросилась к женщине, обняла ее и стала целовать.

— Милая, хорошая! Какая же вы молодец, как догадались.— И хохотала, покатывалась.— А он вокруг самовара похаживает и плечами пожимает! Так ему и надо! Ха-ха-ха!.. Можно, я с вами пойду? Будем ему всю ночь воду кипятить. Что за нелепость!

Трещал костер. Кругом в черной темноте шумели под дождем мокрые орешники, капли падали с листьев на землю. Была глубокая ночь. Лиза, в непромокаемой накидке, сидела на корточках рядом с рябою женщиной перед кипевшим чайником, сонно смотрела в огонь и задорно думала: если бы Андрей Павлович их увидел,— вот бы было ему поделом!

В следующем году Лиза приехала на хутор в начале июня. Она похудела, глаза стали больше. Ей много пришлось пережить за этот год: она убедилась, что у нее нет музыкального таланта, поэтому вышла из консерватории; и перестала понимать, что широкого и большого может дать

ритмическая гимнастика. Горе случилось и в личной жизни: тот, к кому у нее зачиналась любовь, вдруг стал к ней обидно-равнодушен, внимательные прежде глаза сделались бегающими и рассеянными. В душе было темно и зыбко, жизнь представлялась пустою. И часто Лиза вспоминала об Андрее Павловиче, и ей хотелось освежиться душою в общении с ним.

Андрей Павлович сильно одряхлел и высох,— не узнать бы с прошлого года. Но весь еще больше стал светиться. Увидел трагическое лицо Лизы с большими глазами, горящими темным огнем, услышал, что жизнь для нее стала пуста,— и в задумчивости пожевал ртом.

— Таланту не оказалось... Гимнастика обманула... Как странно. Раньше, когда у девушки таким огнем загорались глаза...

Лиза заметила: Андрей Павлович часто забывал, что было даже всего часа два назад. Иногда она его заставала в неподвижной задумчивости под солнцем, когда видно было, что он ни о чем не думает, а погружается в какое-то полубессознательное созерцание, и тогда его лицо светилось еще сильнее... Лиза украдкою любовалась им и думала: нет отвратительнее и нет прекраснее старческих лиц. И нет их правдивее. С молодого упругого лица без следа исчезают черточки, которые проводятся по коже думами и настроениями человека; на лице же старческом жизнь души вырезывается всем видною, нестираемою печатью.

И так думала она особенно потому, что дома видела мать. Ольга Федоровна чудовищно растолстела, была обжорлива, как утка, и нечистоплотна. Ходила тайком в буфет и воровала сахар, конфеты и сухари. Интересовалась только одним,—своими болезнями. А хворала она много,— любила хворать, хворала с толком, с аппетитом. И без конца готова была говорить о болезнях,— своих и чужих. Подыскался ей и собеседник,—новый священник из села Середние Трясы. Он приезжал ее проведать. Садился за пирог. После пирога долго пили чай. Батюшка доставал папиросу, стукал ее мундштуком о крышку портсигара и начинал:

— Десять лет тому назад, вследствие совершенно неизвестных причин, я вдруг начал понемножку потеть. Мало-помалу, хотя и очень скоро, поты усилились...

Рассказывал, как доктора ничего не могли ему присоветовать и как помогла ему особенная такая фуфайка, из сет-

ки. Ольга Федоровна жадно слушала, вставляла свои замечания и советы. Он замолкал, внимательно выслушивал, принимал к сведению. Потом начинала она:

— А вот, батюшка, со мною был случай; три года назад вдруг у меня начала неметь левая нога...

В конце июня приехал недельки на две Николай Сергеевич—попить степного молока и проведать мать. Через две недели в Киеве кончала свои гастроли малодаровитая, но очень красивая актриса Твердынская, которую Николай Сергеевич усердно выдвигал в своей газете. Из Киева они собирались ехать вместе в Италию.

Когда Николай Сергеевич был у Андрея Павловича, старик попросил его просмотреть рукопись одного перевода: прислал ему этот перевод один юноша, просит пристроить.

— А у меня сейчас болят глаза, не могу читать. Только, пожалуйста, я вас очень прошу: отнеситесь к делу самым внимательным, добросовестным образом, не поленитесь, сверьте с оригиналом. Очень важно дать ответ правильный.

Дня через четыре, вечерком, Андрей Павлович пришел на хутор за ответом. На террасе пили чай.

— Здравствуйте, господин знаменитый литератор!

— Мое почтение, господин знаменитый революционер!

— Просмотрели рукопись?

— Просмотрел. Ну, знаете, и нахальный же юноша ваш переводчик, извините за откровенность! Или уж очень оголодал, что ли. Рад взяться за перевод хотя бы с китайского.

— Да неужели?

— Ни русского языка не знает, ни немецкого. Перевод — один сплошной анекдот.— Николай Сергеевич принес из комнат пачку отпечатанных на ремингтоне листов.— Послушайте-ка, господа, это всем интересно. Прямо посылай в «Сатирикон». «Угетти рассказывает, что один больной отказался поужинать перед смертью, потому что доктор запретил ему, чтобы он употреблял мучную пищу». О слоге уж не говорю. А вдумайтесь в смысл: умирающему предлагают перед смертью поужинать; он ничего не имел бы против этого, только вот, к сожалению, доктора запретили ему мучную пищу. Но позвольте! Раз уж пришла ему такая странная охота, то ведь поужинать можно и мясом и овощами. Смотрю в подлинник. Оказывается: Abendmahl — прича-

стие. Больной отказался перед смертью причаститься, так как доктор запретил ему употреблять мучную пищу! И весь перевод — такие же анекдоты.

Все хохотали. Андрей Павлович сидел бледный, голова его тряслась, глаза смотрели неподвижно и не мигали. Лиза оборвала свой смех и тоже вдруг побледнела.

Андрей Павлович взял рукопись, внимательно проглядел размашистые отметки Николая Сергеевича на полях.

— Угу! Ну, спасибо!—И помолчал, жуя губами.—Перевод-то этот... того... мой.

Смех застыл на смятенных лицах. Андрей Павлович глядел задумчиво.

— Издательство перевод мне возвратило, пишет,—никуда не годный. Отказывается печатать. Думал, не придирки ли. Трудно самому судить. Ну, выходит,—верно. И оказывается, сам даже заметить не могу, как плохо. Смотрю отметки ваши,—самому совестно... Спасибо, мой дорогой!

Он протянул трясущуюся руку и, сильно сгорбившись, сошел с террасы.

Николай Сергеевич почесал в затылке.

— Вот так штука!

Лиза заломила руки.

— Господи, господи! Что же делать теперь! Ведь это его единственный источник существования? Чем он будет жить? Ведь он ни за что ни от кого не примет помощи!

— Да-а... И ведь не соврешь ему ничего... История!..

Лиза решительно сказала:

— Коля! Сейчас же пиши в Москву ко всем твоим знакомым, чтоб обязательно нашли ему какой-нибудь подходящий заработок! Обязательно!.. Чтоб сейчас же бросили все свои дела и искали бы!

Она заставила Николая тотчас же сесть за письма.

Лиза стала часто ходить к Андрею Павловичу. Он ни разу не упомянул о случившемся, даже как будто забыл о нем. Но лицо стало еще более прислушивающимся и светлым, потускневшие, выцветшие глаза смотрели на мир умиленно. И как будто новая какая-то мысль появилась в его голове, и это к ней он прислушивался.

По всей степи шел сенокос. Косилки трещали, как ги-

гантские кузнечики. Погода стояла благодатная, с безоблачным небом, с ветрами-суховеями. Над степью стлался прелестный запах сохнувшего сена.

Николай Сергеевич очень скоро получил из Москвы от знакомого издателя работу для Андрея Павловича,—вести корректуру научных его изданий. Лиза была в восторге и сейчас же, не дав брату даже позавтракать, потащила его к Андрею Павловичу.

Калитка не скрипнула, когда они вошли в садик Андрея Павловича. Они увидели его в саду. Он стоял за клумбою любимого своего донника, в кусте темнолистой сирени. Сквозь шевелившиеся мохры желтых цветочков неподвижно виднелось его лицо с закрытыми глазами.

Николай Сергеевич громко заговорил тем шутливо-поддразнивающим тоном, какой они всегда употребляли в разговоре друг с другом:

— Ну конечно! Так и можно было ждать, что господин знаменитый наш...

— Погоди! — быстро шепнула Лиза и схватила его за руку. — Господи, что это!..

Они замолчали и смотрели. Андрей Павлович не услышал их. Он стоял, все так же закрыв глаза, подставив лицо под ласково горячее солнце. Слабо шевелились под ветром бесчисленные желтые цветочки донника, над ними вились золотые пчелы. И ветерок, проходя сквозь душистые цветы, обвевал Андрею Павловичу лицо, шевелил седые волосы на бороде.

— Господи, да что же это!

Глаза были закрыты, беззубый рот полуоткрыт. Лицо было так строго и торжественно, как бывает только у мертвых. И, как у мертвого, грязно-восковою желтизною отливала дряхлая кожа. Но изнутри лицо освещалось ясным, необычайным светом; чувствовалось,—огромное какое-то пламя пылает в душе, и душа в молитвенном восторге горит в этом пламени, не сгорая.

Лиза крепко сжала руку Николая Сергеевича. И они смотрели, не шевелясь.

Старик глубоко и блаженно вздохнул, открыл невидящие глаза, медленно пожевал губами, и веки его опять опустились. И тихо двигались под душистым ветерком озаренные солнцем седины.

Лиза в благоговейном страхе шепнула:

— Уйдем!

Они тихонько вышли, и калитка опять не скрипнула. Лиза спросила:

— Правда, замечательное было у него лицо?

— Удивительное!

— Ты знаешь!..—Лиза поколебалась, еще крепче стиснула руку брата.—Ты знаешь, совсем такое лицо... Ну, ничего! Пойдем!—взволнованно сказала она.

— Вот, как раз кстати. Позавтракаю.

Через час они опять пришли. Андрей Павлович сидел на крытом своем крылечке с умиленным лицом и читал. По-всегдашнему от него по-мужицки крепко пахло застарелым потом. Над перилами бежали по веревочкам к крыше крутые спирали полевых вьюнков, от белых и розовых чашечек шел нежный миндальный запах. И теплым ароматом сохнущего сена несло из степи. Николай Сергеевич сказал:

— Я получил сейчас, Андрей Павлович, письмо из Москвы, от Садовникова. Спрашивает, нет ли у меня опытного корректора для его научных изданий. Не хотите ли? Платит он сносно.

Андрей Павлович, занятый своими мыслями, пристально поглядел на него, стараясь понять, что он говорит; потом улыбнулся тихо и рассеянно:

— Спасибо, мой хороший!.. Как-нибудь сговоримся. А я вот сейчас книжку перечитывал: хотите, переведу кусочек?

Он взял со стола небольшую книжку в красном переплете и раскрыл, где она была заложена зеленою былинкою.

— Вот послушайте-ка! — пробормотал он, пожевал ртом, просматривая текст, и медленно начал переводить.— «Есть миг, который наполняет все,— все, по чем мы томились, о чем мечтали, на что надеялись, чего боялись... Когда в сокровеннейших глубинах души ты вдруг ощутишь, потрясенный, все, что когда-либо изливало на тебя радости и боли, когда расширяется в буре твое сердце, когда оно хочет облегчить себя в слезах, и горение его все растет... Все растет... И все в тебе звенит, и трепещет, и дрожит...»

Его голос оборвался. Андрей Павлович свирепо нахмурился, потянул в себя носом и дрожащими руками начал сморкаться. Потом продолжал:

— Ну, так вот. Значит, этого... «Когда все, значит, начинает гореть в тебе, и все в тебе звенит и трепещет... И все внешние твои чувства затмеваются, и кажется тебе, что и сам ты гибнешь и никнешь, и все вокруг тебя погружает-

ся в ночь, и ты *во все более особенном, во все более собственном ощущении* охватываешь целый мир...» Вот оно как! Видите? «Во все более собственном ощущении»... Так вот: «Когда ты, в своем глубоко собственном ощущении, вдруг охватишь весь мир, тогда...»

Андрей Павлович закрыл книгу, положил ее на уголок стола и спросил:

— Тогда... Как вы думаете,— что тогда?

И в откровенном, светлом умилении смотрел на них, не хмурясь, по-обычному.

Николай Сергеевич взглянул на потолок и в недоумении побарабанил пальцами по столу.

— Ммм... Бог, что ли, тогда душе открывается?

Андрей Павлович сверкнул глазами.

— Что еще за бог?!

Лиза, пристально следившая за ним, что-то хотела сказать, быстро открыла рот, но опять закрыла и низко опустила голову.

Андрей Павлович произнес строго и торжественно:

— *«Тогда умирает человек,*— dann stirbt der Mensch!».

Николай Сергеевич, пораженный, спросил:

— Чье это?

Андрей Павлович молча подал книгу: Гете, «Прометей». Николай Сергеевич сконфузился, что раньше не замечал этого места.

Лиза подняла голову. Ее глаза сияли от слез. Она пристально и спрашивающе смотрела прямо в глаза Андрею Павловичу с любовью и испугом.

— Ну, вы чего? — нежно спросил Андрей Павлович и положил ладонь на белую руку Лизы. Крупная капля упала на его руку. Лиза быстро наклонилась и, коротко зарыдав, стала целовать эту морщинистую, в крупных старческих веснушках руку.

Андрей Павлович свирепо выдернул руку.

— Да вы с ума сошли?! Что такое?

Лиза стремительно поднялась, подошла к перилам и, не оборачиваясь, стала смотреть в сад. Николай Сергеевич скучливо поморщился и пожал плечами.

Андрей Павлович взволнованно подергивал головою, ерошил бороду и ворчал:

— Нелепая выходка! Весьма!.. Столь же порывистая, сколь и нелепая! По обыкновению. Был интересный разговор, а она... Что я хотел сказать? Вот и забыл... И что

значит? В чем смысл? Для каждого поступка должны существовать свои разумные основания. Тут не вижу решительно никаких... Весьма нелепо!..

Он метнул сердитый взгляд в затылок Лизы и обратился к Николаю Сергеевичу.

— Так о чем мы говорили?.. Да! Вот что я еще хотел сказать: замечательнейшая штука,— Гете написал это, когда ему было двадцать четыре года всего. Изволите видеть? Вот вы и растолкуйте мне, как этакий мальчик смог понять такую вещь? Мы куда тупее. Старый, уж смерть тебя плечом толкает, а еле-еле только начинаешь чуять. И наконец-то вдруг придет минута, что-то озарит тебя,— и поймешь... Все вдруг поймешь.

Он успокоился, и опять лицо его тихо засветилось, глаза смотрели радостно. Лиза воротилась и близко села к нему, как дочь к отцу. Он опять положил ладонь на ее руку, пожал ее, пожатием этим прося прощения за свою вспышку, и нежно стал гладить ее руку. И говорил мечтательно:

— Но если бы мы это всегда понимали. Что за чудесная была бы наша жизнь! Живешь, радуешься на солнце, на землю, на душу человеческую,— а внутри: погоди, душа, это не все. Ко всему этому будет тебе еще — смерть. Огромнейшее, яркое подытоживание жизни, молния, вдруг все назади озарившая,— «все, что когда-либо изливало на тебя радости и боли». Самое малое станет великим и милым, вдруг поймешь, как значительна и глубока была жизнь, и спросишь себя в удивлении: как же я этого раньше не замечал? И как же я раньше не знал, какая радость в том, что передо мною открывается?

Николай Сергеевич настороженно слушал: мысли были интересные, могли пригодиться. Он лениво сказал:

— Это, знаете, не лишено интереса. Оригинальное подхождение к смерти.

Андрей Павлович поколебался и вдруг решительно произнес:

— Ну, уж все равно! Сделаю вам еще один маленький переводец...— Он пошел и принес из комнаты книжку.— Слушайте. Хоть это и ваш поганец Ницше сказал, а все-таки хорошо. «Важным все считают умирание. Но смерть для нас еще не праздник. Еще не научились люди, как нужно освящать прекраснейшие праздники...» Ах ты господи!.. Несносная девчонка!

Лиза заглянула было в книгу, по которой читал Андрей Павлович; он недовольно отстранился и поспешно захлопнул книгу. Лиза встала и выпрямилась, бледная почему-то, с огромными глазами, стараясь подавить бившую ее дрожь. И уж больше она не слушала, что говорили Андрей Павлович и брат. Она молча стояла, прижавшись спиною к столбу, расширенными глазами смотрела перед собою, ничего не видя, и как будто закоченела.

Они встали уходить. Андрей Павлович проводил их до калитки. Он щурился от бившего в лицо солнца и блаженно улыбался, но глаза смотрели рассеянно и настороженно,— как будто ему вдруг послышалось, что идет к нему какой-то новый гость, важный и желанный. Он сказал:

— Хорошо солнышко печет. Пообедаю сейчас и залягу вздремнуть в сено, вон туда.

В глубине садика темнела меж кустов жимолости серозеленая копна свежего сена.

Николай Сергеевич удивился.

— Под солнцем под самым? Жарко!

— У меня кровь холодная. Все так бы и лежал на солнышке. Хорошо!.. Ну, прощайте. Милые вы мои оба и хорошие!

Он умиленно жал им руки. Лиза огромными глазами грозно и настойчиво заглянула ему в глаза. Андрей Павлович ясно смотрел в ответ. Она опустила глаза и быстро пошла прочь.

Николай Сергеевич еле за нею поспевал. Он сказал недовольно:

— Куда ты так бежишь?

Лиза замедлила шаг. Она дрожала крупною дрожью и куталась в платок.

— Чего это ты? — в недоумении спросил Николай Сергеевич.

— Устала.

— А сама бежишь!

Весь день до вечера Лиза волновалась, в тоске и в колебании металась по хутору. В саду у речки складывали стога, все были там. За Ольгой Федоровной не доглядели: в людской она поела с прислугою вареных свинухов с луком, теперь лежала в постели, грела живот горячим пузырем и охала. Горели в духоте лампадки. Возле постели сидела ста-

рушка Федосья Трифоновна, вдова псаломщика, пила чай с малиновым вареньем и рассказывала:

— ...А росы в ту пору были холодные. Нога-то у меня и отнялась. Пошла к доктору нашему, а он говорит: «Эту ногу тебе надо отрезать».— «Что ты, говорю, батюшка! Так сразу и резать! Раньше полечить следует. Я в Москве живала, знаю».— «А лекарства не дам, пошла вон!..» Что делать? Помираю от ноги! Спасибо, старушка одна пособила, с села при большой дороге. Агафья Пенчерихина,— может, знаете? Щекатурова жена. Во сне мне привиделась и говорит: «Набери ты, милая, мухомору,— поярчее который,— томи в печке десять дней и натрись,— все пройдет». Хорошо! Набрала я мухоморов ярких, в чашку положила, десять дней в печке томила. Пошли они пеной, пузырями, сами в себе распустились. Стала этим натираться — и думать позабыла об ноге. Дай ей бог доброго здоровья!

Ольга Федоровна жадно, с наслаждением слушала.

— И-ишь ты. Это из какого же она села? Из Лутошкина?

— Зачем из Лутошкина? Нет. Из Богородицкого села, при большой дороге.

— Надобно будет позвать старушку эту. Может, пользу даст,— очень уж меня живот донимает. Лиза, запиши-ка!

Лиза, слушавшая с отвращением, резко ответила:

— Что за нелепость! Мама, да сообрази же: ведь ее Федосья Трифоновна видела во сне, во сне от нее совет получила.

Ольга Федоровна рассердилась.

— Что ж такого? Значит, все-таки понимает дело, если помощь дала человеку.

Лиза вышла на террасу, метнулась туда, сюда и быстро пошла в глубь сада. Она что-то говорила себе, сосредоточенно повторяла какие-то доводы и вдруг заламывала пальцы и восклицала, задыхаясь:

— О боже мой, боже мой!

Темнело. Обессилевшая от волнения и непрерывной ходьбы, Лиза сидела над канавкою сада на пне спиленной ивы; сгорбилась, засунув ладони меж колен, и смотрела в землю неподвижными, сумасшедшими глазами.

Вдруг она очнулась от великой тишины вокруг, вздрогнула и огляделась. Ветер упал, листья ив над головою не шевелились, над степью стояла огромная, прислушиваю-

щаяся тишина, как будто сейчас случилось что-то торжественное и страшное. И беззвучно умирала душистою своею смертью подкошенная трава на широком просторе степи.

Лиза затрепетала и вскочила на ноги. По дороге от мельницы возвращался с прогулки домой Николай Сергеевич, в панаме, с тросточкой. Господи! А он ничего, ничего не понимает, что случилось! Что за дерево!

Она перескочила через канаву, побежала ему навстречу и заговорила, задыхаясь:

— Коля! Слушай!.. Исполни мою просьбу... Я знаю, ты меня не любишь. И я тебя не люблю... И все-таки исполни. Сейчас же пойдем к Андрею Павловичу! Поскорее!.. Ради бога!

Николай Сергеевич удивленно оглядел ее и с достоинством ответил:

— Во-первых, говори, пожалуйста, за себя. Что меня касается, то я тебя люблю. А к Андрею Павловичу чего же нам сейчас идти? Ведь только сегодня были у него...

— Коля, я тебя очень прошу! Ты не понимаешь, как это важно. Я бы одна пошла, но мне страшно одной.

Николай Сергеевич пожал плечами.

— Пойдем!

Лиза в детском страхе держалась за его руку, дрожала крупною дрожью и все повторяла: «О боже мой! боже мой!» Смутная тревога начала охватывать и Николая Сергеевича.

В избушке Андрея Павловича огня не было. Они открыли калитку. Из росистых лопухов пахнуло влажною прохладою. Стоял нежный, застенчивый запах от полевых цветов на клумбах.

Лиза вырвала руку, побежала к кустам жимолости. И вдруг оттуда донесся ее дикий, сумасшедший крик. Николай Сергеевич поспешил к ней.

— Коля... Коля...— Лиза задыхалась, стараясь вобрать в грудь воздух, и ничего не могла сказать, и указывала перед собою. В глубине развороченной копны, лицом в сено, неподвижно лежал ничком Андрей Павлович, откинув руку в сторону.

Лиза захватила грудью воздуха и выкрикнула:

— Он умер!.. Я знала, что он сегодня умрет! С утра знала, и могла бы помешать, и не хотела... О господи!

Николай Сергеевич взволнованно возразил:

— Да будет, Лиза, что ты! И почему ты думаешь, что умер? Может быть, просто обморок.

— Что? Что? Ты думаешь, обморок? — быстро переспросила Лиза безумным голосом.— Может быть, и правда! Побежим скорей за Иваном Петровичем!

Николай попробовал повернуть Андрея Павловича. Тело перевернулось тяжело, но без живого сопротивления. Вытянутая рука, прижатая к боку, опять медленно отошла. На бороде и холодном лице осела роса. Николай Сергеевич выпрямился.

— Умер. И, должно быть, давно уже.

Лиза растерянно смотрела на него. В ужасе она вцепилась пальцами в его руку выше локтя, близко придвинула к его лицу свое бледное лицо с огромными глазами и с вызовом заговорила:

— Коля! Я знала, что он умрет! Я тогда же знала! И нарочно не шла к нему весь день! Нарочно не помешала. Не хотела.

— Ну, что ты говоришь!..

— Ты не веришь?.. Да! Да! Как только мы тогда в первый раз вошли в калитку, когда увидали его тогда... Помнишь, с закрытыми глазами, под солнцем... Я сразу почувствовала: он умрет! У него совсем такое было лицо, как у мамы,— помнишь, когда она умирала. Я никогда не забуду ее лица тогда,— какое на нем было сияние смерти. С тех пор всегда сумею узнать, когда приходит к человеку смерть. Настоящая смерть, человеческая... Вот, мама живет теперь. Ты возмущаешься, а я верно знаю: великое все мы сделали преступление, что не дали ей тогда умереть. И никогда бы, никогда бы я себе не простила, если бы теперь во второй раз это бы случилось по моей вине. И он, мой Андрей-благоговейник,— он сидел бы с отвисшей губой, чавкал бы ртом, объедался бы грибами... Не хотела я этого, никогда бы я себе этого не простила, слышишь ты, Коля?

И сквозь темноту Николай Сергеевич видел, как ужасом горели ее глаза от того, что она сделала. Он мягко и нежно сказал:

— Лизочка! Успокойся! Пойдем отсюда, нужно людей позвать.

Лиза рванулась.

— Нет, я не пойду, я тут останусь. И ты знаешь,— ты знаешь, почему он так вдруг рассердился, когда перево-

дил нам Ницше? Я заглянула в книгу и увидела — одна фраза подчеркнута красным карандашом два раза. Он ее нам не перевел. «Stirb zur rechten Zeit». Умей умереть вовремя.

— Ну, Лиза, пойдем! — решительно сказал Николай Сергеевич.— Нужно людей позвать, может быть, ему еще можно помочь.

— Ну и иди.

— Тебе не нужно здесь оставаться.

— Нет, нужно! Иди скорей!

Николай Сергеевич поколебался и поспешил на хутор. Лиза опустилась на колени в сено. Она наклонилась и, дрожа, стала близко вглядываться в лицо Андрея Павловича. Но в темноте было плохо видно. Только шевелилась под ветерком седая борода.

— Дедушка! Де-едушка!..— испуганным, детски жалующимся голосом стала звать Лиза.

Она припала губами к окоченевшей, холодной руке, полузасыпанной душистым сеном. И зарыдала громко, не сдерживаясь. В сумеречной тишине, под загоревшимися звездами, властно и широко стоял над землею аромат повсюду сохнувшего сена.

1915

У ЧЕРНОГО КРЫЛЬЦА

Алексей Николаевич утром поссорился с женой своей, Мусей. Ссора вышла из-за пустяка, но Муся внесла в нее столько слез и нервной мути, что Алексей Николаевич не мог уже больше работать; сунул в карман поэму о Жираре Руссильонском на провансальском языке и пошел прогуляться по дачному парку. Был он молодой ученый, оставленный при университете по кафедре романской литературы.

В душе была досада на Мусю: недорого ей то, чем он живет; знает, как утром ему необходимо для работы душевное спокойствие, а портит настроение из-за таких пустяков, что вспоминать совестно.

Он возвращался домой к завтраку, проходил мимо черного крыльца и вдруг видит: под бузиною сидит на корточках кухарка Василиса, в руке у ней пук крапивы; прижала спиною к земле курицу и деловито сечет ее крапивою по облезлому брюшку с розовато-желтыми плешинками. Курица бьется и истерически кудахчет.

Алексей Иванович изумился.

— Василиса, что это вы делаете?

— Курицу, барин, секу. Чтоб не садилась.

— Куда не садилась?

— Ей, видишь, время на яйца садиться, а у нас и так уж две наседки сидят.

— Ну так и не сажайте на яйца. А зачем же крапивой?.. Отпустите ее.

Курица вскочила и, расправляя крылья, побежала прочь. Из окна выглянула Муся, увидела Алексея Николаевича и спустилась к ним.

— Что это ты?

Алексей Николаевич, не глядя, ответил угрюмо:

— Василиса зачем-то курицу крапивой сечет. Я сказал, чтоб отпустила.

— Это я велела. Сидит и сидит, никак не разгуляем. Боюсь, как бы не издохла.

Алексей Николаевич преодолел неохоту разговаривать сейчас с Мусей и спросил:

— Я не понимаю. Как это сидит? Ведь яиц же под нею нету?

Муся обрадованно стала объяснять:

— Неужели ты не слыхал? Понимаешь, без яиц. Инстинкт. Сядет где-нибудь на землю и сидит, не сходит. Весь пух слез с брюшка. И петуха не подпускает... Вот, смотри, опять уж села!

— Как это интересно! Никогда не слыхал!.. Ну-ка, посмотрим.

Они подошли к скамейке под кухонным окном, где по вечерам сиживала прислуга. Курица, с сосредоточенно-грустными глазами, сидела под скамейкой, приникнув к земле и растопорщив крылья. Была она жалкая, растрепанная, с побелевшим, бескровным гребнем. Алексей Николаевич протянул руку, чтоб погладить ее по шее. Курица не испугалась, не вскочила, но слабо клюнула его в руку и обиженно квохнула с жалобою на что-то,— как будто он мешал чему-то бесконечно важному, что было у нее внутри. И еще больше расширилась. И сидела, глядя грустными, затуманившимися глазами.

Алексей Николаевич поморщился и сказал:

— Какое, в сущности, варварство совершается над живым существом, какое поругание природы! Знаешь, Муська: давай посадим ее на яйца.

Муся встрепенулась и оживилась.

— Правда! Давай!

Но Василиса стала возражать:

— Что вы, барыня! Все цветет на дворе,— нельзя сейчас сажать.

— Какие пустяки! Приготовь-ка кошелку. В дровяном чулане посадим... Гоп!

Муся взяла курицу и понесла в чулан, там пустила ее. Но курица сейчас же опять села на землю, покрытую мелкою щепью и берестою. Солнце светило в дверь сквозь клены, в чулане стоял золотисто-зеленый сумрак. Радостно суетясь, Муся и Василиса готовили кошелку: на дно на-

сыпали известки против блох, потом напихали сена. Василиса поставила кошелку к стене и пошла в кухню за яйцами.

Курица, не поднимаясь с земли, боком пододвинулась к кошелке, вытянула шею, внимательным глазом заглянула внутрь и опять приникла к земле.

Василиса принесла яйца. Алексей Николаевич сказал:

— Муся, дай я положу.

Она радостно ответила:

— Милый! Пожалуйста, клади!

Алексей Николаевич взял из корзины пару чуть испачканных навозом яиц, положил в кошелку. Курица встрепенулась,—вдруг, разом, даже не поднявшись на ноги, быстро перебросилась в кошелку, как будто невидимая сила ее перенесла. Топорща перья и расширяя крылья, она взволнованно усаживалась в кошелке. Алексей Николаевич клал все новые яйца. Курица теперь не клевала ему рук, она только приподнимала распустившиеся крылья и жадно принимала новые яйца в мягкую и теплую подкрыльную тьму.

Муся сказала:

— Десять. Будет!

Василиса возразила:

— Что вы, барыня, нельзя десять! Нужно, чтоб нечет был... Вот вам, барин, еще яичко.

Она в раздумье почесывала локоть и смотрела на курицу.

— Эх, нехорошо сажать сейчас,— все цветет на дворе. В цвет самый. Тяжело будет курице.

Курица ловко передвигала клювом яйца в кошелке, осторожно и уверенно ступая между ними жесткими своими лапами. Потом вся она еще больше расширилась и медленно, блаженно опустилась на яйца.

Лицо Василисы стало значительным и серьезным. Она сказала:

— Ну, дай бог! Час добрый! Помогай, Кузьма-матушка-Демьян!

И перекрестилась. Алексей Николаевич и Муся тоже были серьезны и взволнованны. Муся прижимала к груди руку Алексея Николаевича.

— Пойдем, не будем ей мешать.

— Пойдем.

Они взглянули на затихшую в блаженстве курицу и тихонько вышли из чулана. Алексей Николаевич говорил:

— Поразительно! Поразительно! Что значит инстинкт! Какая силища!.. И какое блаженство в его удовлетворении!

Муся быстро взглянула на него, что-то хотела сказать, но прикусила губу и опустила голову.

Весь день она была грустна и смотрела отчужденно. Вечером, за ужином, опять случилась ссора, еще глупее утренней.

Алексей Николаевич страдальчески наморщился.

— Ох, Муся, Муся, до чего ты нервы себе растрепала! Ну можно ли из-за всяких пустяков то и дело затевать ссоры!

— Нервы? Ты думаешь,— это нервы?

Упорным, ненавидящим взглядом она впилась в него, быстро вскочила и ушла на террасу... Эх, эти дамские фокусы! Черт их поймет! Алексей Николаевич скучливо поморщился и сам стал наливать себе чай.

Когда он вышел на террасу, Муся сидела на стуле, прижавшись головою к перилам, и тихо плакала. Он подошел к ней, погладил по голове. Муся схватила его руку, прижалась к ней щекою и заплакала еще сильнее. Плакала она горько и неутешно, была похожа на маленького, несправедливо обиженного ребенка. У него сжалось сердце, он сказал нежно:

— Деточка моя, да что с тобою? У тебя что-то есть на душе. Отчего ты прямо не скажешь?

В теплой тьме дождь тихо шуршал по листьям. Сильнее пахло жасмином и шиповником. Алексей Николаевич с широко открытыми, огорченными и испуганными глазами слушал, а Муся, всхлипывая, говорила:

— Я знаю, понимаю... Ты часто с таким ужасом рассказывал: оставят человека при университете, он обзаведется семьей и пропадает для науки. Пойдут дети, наберет уроков, бегает по ним с утра до ночи и в конце концов уходит в учителя. А ты умный и талантливый, ты пишешь исследование об этих... как их?.. об сирвентах Бертрана де Борна... Я это понимаю, и никогда бы себе не простила, если бы заставила тебя свернуть с твоей дороги. Но только сегодня утром, когда ты так пожалел курицу, я подумала... Почему в курице тебе все это было понятно и так тебя потрясло, умилило?.. Я ничего не говорю. Мне одно только: пожалей же... пожалей же немножечко... и меня...

1915

СЕМЕЙНЫЙ РОМАН

В начале мая сидел я на террасе своей дачки, читал газету. Вдруг за перилами, в листве жимолости, раздался рассерженный птичий голосок; раздался очень близко, под самым ухом, так что я невольно обернулся. Всего за шаг от меня на ветке сидела стройная серенькая птичка. Острый клюв, горлышко под клювом белое, а щеки под глазами черные. Мухоловка.

Черными своими глазами она смотрела прямо на меня и сердито, нетерпеливо испускала особенные какие-то, шипящие звуки:

— Ж-жы! Ж-жы!

За что-то она ужасно сердилась на меня. И все смотрела в глаза, ерошилась и шипела:

— Ж-жы! Ж-жы!

Как будто хотела сказать:

— Да уходи же! Что ты тут расселся? Ах-х ты господи!

Чего это она? Гнездо у нее тут где-нибудь, что ли? Осмотрелся,— нет, не видно. Мне стало интересно. Я ушел в комнату и через стеклянную дверь террасы стал подглядывать. Птичка подлетела к косяку двери, повилась около него и улетела. Потом прилетела с другою такою же птичкою. Обе, трепыхая крылышками, опять стали виться около косяка, вытягивали головы и внимательно что-то разглядывали. Когда они улетели, я вышел, осмотрел косяк: ничего особенного. Около него был прикреплен к стене небольшой деревянный обрубок; к этому обрубку прибивали доски, когда на зиму заколачивали двери дачи. На обрубке тоже не

было ничего особенного. Птичек в этот день я больше не видел.

А утром вышел на террасу и вижу: на обрубке около двери — совсем готовое, аккуратно свитое, прелестное гнездышко. Аршина на два от пола и совсем на виду! Ну как они тут будут выводить птенчиков? Все время ходят люди, то и дело будут их вспугивать... Эх, глупые птицы!

Я взял две дощечки и прибил к обрубку так, что дощечки спереди совсем закрыли гнездо и краями своими поднимались пальца на два над краем гнезда. Испугаются птички этих дощечек? Сумеют найти за ними свое гнездо? Бросят его или нет? Я смотрел, подглядывал,— птички больше не появлялись.

Но вот раз утром заглянул я за дощечки и вижу: на дне гнездышка лежит маленькое зеленоватое яичко... Ага!.. Значит, не испугались птички, будут здесь жить. Вдруг сзади, из жимолости, до меня донеслось знакомое шипение:

— Ж-жы! Ж-жы!

Птичка сидела на ветке и сердито смотрела на меня. Теперь я понимал, чего она беспокоится, и сказал ей:

— Ну, ну, не сердись! Ничего не трогаю, ухожу.

И отошел в угол террасы. Птичка поглядывала то на меня, то на дощечки, за которыми было гнездышко, но подлететь к гнездышку, видно, не решалась. Вскочила на веточку повыше, вытянула голову и старалась заглянуть внутрь гнездышка, там ли яичко. Потом вдруг сердито повернулась ко мне и опять:

— Ж-жы! Ж-жы! Да уходи ты прочь!

Еще раз вытянула боком голову, попыталась издалека заглянуть в гнездышко и вдруг решилась. Преодолела страх, быстро подлетела к обрубку, подержалась в воздухе, трепыхая крылышками, заглянула, увидела, что яичко цело, — и успокоенно улетела.

Каждое утро я теперь находил в гнездышке еще по новому яичку. Два. Три. Четыре. Наконец пять. После этого самочка села на яйца.

Но сидеть ей было очень беспокойно. Только выйдет кто на террасу, стукнет дверью,— птичка выскочит из гнезда и круто вдоль стены улетает. Мы старались пореже ходить через террасу, старались не стучать дверью, но все-таки то и дело спугивали птичку. А ведь это вредно для яиц, им нужно ровное тепло.

Однажды я подошел к гнезду вечером, когда уже бы-

ли густые сумерки. За дощечками было очень тихо. Мне интересно стало — там птичка или нет? Я стал на скамейку и заглянул издалека сверху в гнездо. Ничего не было видно. Я наклонился ближе, вглядываюсь: эге! Птичка там. Прижалась всем телом к гнезду, как будто хочет слиться с ним, втянула голову и смотрит на меня испуганными глазами. Однако не улетела. Ну, думаю, знак хороший! Все-таки, значит, понемножку начинает привыкать.

Но утром опять пошло по-прежнему: чуть стукнешь дверью, чуть выйдешь на террасу — птица прочь. Почему же она не улетела вчера вечером? Когда стемнело, я нарочно вышел на террасу, нарочно громче обычного стукнул дверью — птица опять сидит, не улетает; я громко заговорил у самого гнезда — птица сидит. И я понял: днем самый для птички верный способ избежать опасности — это улететь; а ночью она видит плохо, и лететь ей опасно; и она чутьем понимает, что тут самый верный способ защиты — притаиться, стать незаметной, слиться с окружающей темнотою, а не улетать.

Самочка сидела на яйцах. А самец летал по саду и приносил своей подруге мух и червяков. Накормивши ее, садился на цветущую жимолость террасы и пел, а она в гнездышке слушала. Иногда выйдешь на террасу поздно ночью — тихо-тихо, тепло; и вдруг в цветущей жимолости самец чуть слышно запоет сквозь сон — запоет, проснется от собственного голоса и замолкнет.

Дни стояли солнечные и очень жаркие. Но потом погода вдруг резко изменилась. Стало холодно и сыро, то и дело шел дождь, над мокрыми деревьями бежали низкие, злые тучи. В гнездышке за дощечками стало тихо и неподвижно. Стукнешь дверью, заговоришь громко у самого гнезда,— птичка не вылетает; ни малейшего шороха там не слышно. Неужели птицы убедились, что выбрали для гнездышка неудобное место, и бросили его? Заглянуть в гнездышко? А если птица там? Начнешь заглядывать,— тогда уж, наверное, птицы испугаются и бросят гнездо.

Я решил не заглядывать. Сел на террасе за стол, рассаживаю по горшочкам пикированные саженцы левкоя и резеды. Над перилами вздрогнула ветка жимолости. Смотрю, — на ветке сидит самец, держит в клюве муху и подозрительно поглядывает на меня. Я тихонько отодвинулся подальше, сижу смирно, не шевелюсь.

С ветки раздался чуть слышный, звенящий, спрашивающий звук:

— Цить?

Как будто ветер чуть-чуть тронул туго натянутую струну. И сейчас же точно такой звук прозвучал в ответ из гнездышка:

— Цить!

И еще и еще,— с одной стороны и с другой. Ясно было, птички потихоньку переговариваются между собою.

Самец шепотом спрашивал:

— Ты здесь?

Самочка отвечала:

— Здесь.

Самец говорил:

— Знаешь что? Я тебе муху принес, а подлететь не могу: человек сидит. Лети ты ко мне.

— А я-то как же вылечу?

— Лети только сразу, побыстрей!

— Боюсь!

— Ничего, лети!

Самочка выпорхнула из гнезда и села на ветку рядом с самцом. Он сунул ей в рот муху и сейчас же улетел: на холоду, под дождем, охота была теперь трудная, все мухи и мошки прятались под листьями. Самочка осталась сидеть на ветке. Она сердито взглянула на меня и зашипела:

— Ж-жы! Ж-жы!

Я ушел, и она порхнула назад в гнездо.

От стука двери, от близкого разговора птичка теперь не вылетала из гнезда. Я опять решил, что она стала ко мне привыкать,— и опять ошибся. Оказалось совсем другое. Я вскоре заметил: чем холоднее было на дворе, тем труднее было вспугнуть птичку. Ясно: птичка бессознательно как будто чувствовала, что минут на пять слететь с яиц в жаркий день — не беда, но что в холод нужно сидеть до последней крайности, иначе яички остынут и погибнут.

А привыкала она ко мне очень мало. И это стесняло: совсем ничего нельзя было делать на террасе. Иногда досадно станет: «А ну ее! Не буду обращать на нее внимания,— пускай привыкает!» И делаю на террасе свое дело,— читаю, пишу, пересаживаю цветы. Оглянусь и вижу: птичка выскочила из гнезда на край дощечки, сидит,

нахохлившись, и молча смотрит на меня. И взгляд такой укоряющий, как будто хочет сказать:

«Ты тут занимаешься пустяками, а мне мешаешь делать серьезное, жизненно-важное дело. Как же тебе не стыдно?»

Мне становилось стыдно, и я уходил.

Наконец из яиц вылупилось пять птенчиков. Были они очень безобразные: полуголые, покрытые редким коричневым пушком; на плешивых головах пузырями выступали выпуклые, слепые глаза, желтели огромные клювы — ужасно огромные, особенно, когда они разевались: казалось, весь птенчик состоит из одного этого широко разинутого, жадного, ненасытного клюва. Да, в сущности, так оно и было: птенчикам пока нужен был один только рот (и желудок), чтобы есть, есть и расти. И как же они ели! Гладкий и стройный отец, широкая, взъерошенная мать то и дело подлетали к гнезду с бабочками, мухами, червячками и совали их в разинутые клювы. Я радовался, глядя на их работу: как они хорошо очищали мой сад и огород! На цветной капусте у меня развелось много прожорливых зеленых червячков, они быстро объедали у капусты все листья. Теперь в несколько дней они совершенно исчезли: таких червячков я часто видел в клювах моих птичек.

Первое время птенцы в гнезде были безмолвны. Лежат тесною кучею, головы и крылья переплелись так, что не разберешь, где чье, и не шевелятся. Подлетит отец или мать, сядет на дощечку,— они сразу почуют, и вдруг все в гнезде зашевелится и дружно, как по команде, широко разеваются безмолвные, желтые клювы. Потом понемножку птенцы стали подавать голос, и, когда мать или отец садились на дощечку, из гнезда неслось чуть слышное звенящее щебетание.

Одного я никак не мог понять. Птенчики едят много и жадно, они то и дело должны извергать остатки переваренной еды. Куда же деваются их отбросы? В гнезде и вокруг гнезда было совершенно чисто, тоже и на полу террасы, под гнездом. Куда же гадят птенцы? Наконец один раз мне удалось подсмотреть. Мать подлетела к гнезду, села на дощечку, сунула птенцу в клюв муху — и вдруг сама спрыгнула в гнездо, за дощечку; сейчас же вылетела оттуда, и в клюве у нее был как будто

тоненький бело-черный червяк; с ним она перелетела на сосну около оградки и там бросила.

Потом мне много раз приходилось наблюдать это самое. Спрыгнет мать в гнездо, птенчик поднимет хвост и сходит прямо в клюв матери, она с этим улетает далеко в сад и там бросает. Все тут было удивительно, но всего удивительнее — вот что: как эти несмысленные птенчики понимали, что нельзя гадить в гнездо, а нужно ждать прилета матери? Маленькие дети «разумного» человека этого не понимают и мараются под себя. Потом: как птенчики давали матери знать, что им нужно сходить? Да, животные умеют передавать друг другу свои мысли какими-то путями, которых мы, люди, не можем уследить.

Птенцы ели, ели и росли на глазах. Им уж тесно становилось в гнезде, они заполняли его все целиком. И с каждым днем хорошели; все гуще обрастали пухом и перышками, были пестрые, в темных крапушках, и совсем непохожие на родителей. Глаза их раскрылись; маленькие и черные, как булавочные головки, они глядели вяло, сонно и равнодушно.

Была уже середина июня. Хожу я как-то по террасе. Случайно взглянул на гнездышко и замер: на дощечке важно восседал птенчик. Выкарабкался из гнезда и уселся,— неподвижный, молчаливый. Сидит, нахохлившись, смотрит на меня — внимательно, но без страха. Коготки, тонкие, как ниточки, чернели на светлом дереве дощечки. Мимо пролетела муха. Птенчик встрепенулся, внимательно проследил ее глазами, но схватить не попробовал И неподвижно стал смотреть перед собою. Так просидел он на дощечке с утра до обеда; когда я пришел после обеда, на дощечке его уже не было.

Утром вышел на террасу,— он опять сидит на дощечке. Мать и отец встревоженно летали вокруг, грозно устремлялись на меня и только перед самым моим лицом сворачивали в сторону. Никогда еще я не видел их такими встревоженными. Я отошел от гнезда к перилам. Птицы заметались еще встревоженнее. «Ж-жы! Ж-жы!» Ерошатся, бросаются на меня... Что такое? Чего они?

И вдруг вижу,— на ветке жимолости, прямо передо мною, преспокойно сидит птенчик. Вот оно что! Ведь это и есть вчерашний птенчик. А на дощечке, оказывается, сидит уже новый. Я нагнулся над перилами и стал рассматривать птенчика. Отец и мать взволнованно летали

вокруг. Птенчик задвигался, я думал — испугался. Но он спокойно поглядел на меня, вытянул крылышко и стал перебирать на нем клювом перья... Эх ты, пичуга! Щелкнуть тебя пальцем,— вот тебе и конец! А ты поглядываешь так спокойно и доверчиво.

Оглянулся я,— на дощечке сидят уже два птенчика. Один побольше, другой поменьше. Больший все время перекликался с родителями и братцем на ветке.

— Цить!

И ему отвечали:

— Цить! Цить!

Меньший молчал и только удивленно поглядывал вокруг. Мать подлетела, сунула ему в рот мушку, потом покосилась на меня, села на дощечку и заглянула в гнездо,— все ли там благополучно. И хотя там все было благополучно, она все-таки грозно бросилась на меня, чтобы прогнать отсюда; чуть не сшибла с носа очков. Села на перила за шаг от меня и угрожающе:

— Ж-жы! Ж-жы!

Перед обедом пришел я с купанья,— на дощечке птенчиков уже нет. Заглянул в гнездышко,— там всего два птенчика. Стал смотреть кругом. Меньшего я увидел на ветке жимолости; он сидел неподвижно, сжавшись в комочек; должно быть, очень устал от огромного своего первого путешествия с дощечки на ветку. Два другие весело прыгали уже в тополе посреди моего садика. Мать и отец летали от одного птенца к другому, совали им в рот мух и червяков. Теперь у них появился новый призывной звук: «цы! цы!»

Интересно было,— воротятся они на ночь в гнездо? В сумерках я заглянул за дощечки: там тихонечко сидели только два оставшихся птенчика; из вылетевших никто не воротился. Поздно вечером, после ужина, я еще раз вышел на террасу. Было тепло, по листьям тихо шуршал дождь. Окна столовой около террасы ярко светились, на их фоне отчетливо выделялись ветки жимолости. И вдруг среди листьев я увидел трех вылетевших птенчиков. Маленькими, кругленькими комочками они сидели рядышком на ветке, тесно прижавшись друг к другу. Дождик падал на них. Но воротиться в гнездо никто из них не подумал.

Утром я нашел в гнездышке только одного птенчика. Другой вылетел, когда я еще спал. Оставшийся птенчик,— грустный, одинокий,— сидел, нахохлившись, на до-

щечке, как будто глубоко думал о чем-то. Я близко проходил мимо, ветер шуршал газетой — он не обращал ни на что внимания и смотрел перед собою, неподвижный и серьезный, как старенький старичок. Я сел читать газету и забыл о птенчике. Вдруг до меня донеслось нежное, быстрое трепыхание. Птенчик снялся с дощечки и на слабых своих крылышках полетел. Испуганными, неуверенными взмахами он сделал неверный круг по террасе, пронесся мимо самого моего уха, хотел сесть на ветку жимолости, но с разлету не удержался и кувыркнулся вниз, в кусты.

Когда я после обеда вышел на террасу, он уже сидел высоко на ветке жимолости и бойко перекликался с родителями и братцами. Я заглянул за дощечки. Края гнезда были обмяты, само оно стало плоским, растрепанным; внутри было нагажено. Вид был совсем нежилой, как в квартире, с которой только что съехали постояльцы. Зато в саду из тополей, из акаций у оградки, из кустов жимолости — отовсюду неслось звонкое, радостное:

— Цить! Цить!

Птенчики перекликались, прыгали с ветки на ветку, задевая крыльями за листья; взбирались на самые верхушки тополей; пробовали перелетать большие пространства через весь садик. Отец и мать в суетливом и радостном беспокойстве носились по саду, совали в рот птенчикам мух и все время сзывали их:

— Цы! Цы! Цы!

Но непослушный молодой народ не обращал внимания на призывы. Перед жадными его глазами раскрывался огромный мир жизни. Все дальше птенчики разлетались друг от друга. Впрочем, не затеривались, и родители умели их находить. Но я уже не мог разглядеть их в густой летней листве высоких деревьев. И только отовсюду невидимо неслось сверху мелодическое, нежное:

— Цить! Цить!

Птички милые! Прощайте!

1916

ЗА ГРАНЬЮ

Ипполит Сергеевич, полковник, ночь провел ужасную. В эту ночь он в первый раз глубоко, где-то внутри почувствовал, что умирает, что смерть близка и что обманывать себя нечего,— от нее не спасешься ничем. Под утро ему стало лучше, он задремал. Проснулся слегка освеженным. Но прочным осталось ощущение глубокого разрушения организма, которого ничем уж не исправишь. Ночью к нему кто-то приходил. Кто? Приходил важный доктор грек, с толстыми усами и бриллиантом на перстне. Но приходил еще кто-то темный и неразличимый. Пришел неслышно и объявил ему смертный приговор. Когда будет казнь, точно не сказал, но предупредил, что скоро.

В душе были ужас и отчаяние. Кончалась жизнь, кончался весь мир вокруг А в раскрытые окна несло утреннею прохладою и сухим запахом пустыни, слегка смешанным с приятным издалека запахом кизячного дыма. По-обычному верещали в вечно синем небе бесчисленные ястреба, и слабо шевелились под окнами тускнеющие листья акаций с пучками рыжих стручков. По-обычному принес кофе вежливый лакей — поляк Кароль. И даже у жены — даже у нее — лицо было только обычно утомленное от бессонной ночи; ни жалости к нему, ни ужаса. Неужели она не понимает, что он скоро умрет? Понимает, конечно, но уж давно освоилась с этою мыслью и терпеливо несет свою женину повинность ухода за обреченным мужем. Загорела под африканским солнцем, румяна, несмотря на бессонную ночь. И какой пышный бюст!

Он сидел у окна и отхлебывал из стакана кофе, часто дыша хрипящими легкими. Слышнее был запах пустыни и утренней прохлады; над крышами городка, за узень-

ким минаретом, далеко в песках виднелась одинокая пальма, скакал бедуин. Представлялось, как радостно и прекрасно должно быть в этой лиловой дали, еще не стряхнувшей с себя тайн ночи.

Ипполит Сергеевич уколол исхудалую руку о щетину подбородка и враждебно сказал:

— Аня, я тебя вчера очень просил позвать нынче утром парикмахера. Отчего не позвала?

Она ответила ровным, терпеливым голосом, каким привычные женщины говорят с капризными детьми и раздражительными больными:

— Я позвала. Он сказал, что придет в девять утра.

— Так чего ж не приходит?

— Не знаю. Я просила его быть аккуратным. Всего четверть десятого. Придет.

Ипполит Сергеевич проворчал:

— Раньше умрешь, чем дождешься даже парикмахера какого-то! Изволь с этакой щетиной в гроб ложиться. Ведь неприлично.

Он ждал, что Анна Алексеевна возразит: с какой стати в гроб? — хотел, чтоб она стала доказывать неосновательность его ожиданий, а он бы ей доказал, что нет, ожидания вполне основательны. Но она промолчала. Он с ненавистью поглядел на нее и отвернулся к окну.

Пришел парикмахер,— невысокого роста красавец, с черными, веселыми глазами и закрученными в стрелку усиками. Густо смазал щеки белоснежною пеною и начал брить.

Ипполит Сергеевич для разговора угрюмо спросил:

— Вы грек?

Парикмахер весело поднял брови.

— О нет, синьор! Я бедный. Какой же я грек? Я итальянец. Греки не бывают бедные.

Ипполит Сергеевич улыбнулся углами губ.

— Не бывают?

— Нет. Грек сидит себе и копит,— пиастр к пиастру, шиллинг к шиллингу, фунт к фунту. Сколотит хороший капиталец и уедет в Афины. И там ходит по улицам,— живот этак вот вперед, и сигарой — пуф! пуф! А наш брат, итальянец... Набрался в кармане десяток шиллингов — сейчас же парочка фиасок вина... Mandolina, serenata... Amici...[1] И фьюит! Опять ничего нет в карманах!

---

[1] Мандолина. серенада... Друзья... *(итал.)*

Он весело засмеялся. Говорил он с важным иностранцем, как с равным, без подобострастия и коробящей развязности,— с тою милою, благородною простотою, на какую способны только итальянцы. Блестящая бритва скользила по худым щекам Ипполита Сергеевича, снимая с них посеревшую пену с мелкими обрезками волос. Итальянец говорил без умолку, рассказывая местные сплетни.

Он ушел, и в воздухе от него остался запах чесноку и как будто легкий какой-то хмель веселой, улыбающейся радости. Бедняк. Живет, наверно, в конуре, рад шиллингу на чай, а как, счастливец, живет,— кипит жизнью! И все кругом умеет претворить в радость. И всякий так же бы мог, и он сам, если бы... если бы еще было время. И полковнику стало еще тяжелее.

Анна Алексеевна вынесла раскидное кресло на балкончик комнаты, он тяжело сел в него. Балкончик выходил на запад; вдали, среди пустыни, темнела зеленая долина Нила, вся в пальмах, за нею в горячем свете дремали пирамиды. Солнце на балкончик не доставало.

Внизу, в садике пансиона, уж началась обычная жизнь. В цветочных грядах копался садовник араб с красными веками. На каменной площадке, обнесенной балюстрадой, в раскидных креслах густо лежали под зонтиками больные, сосредоточенно отдавая тела целительным лучам египетского солнца. Меж кресел шныряли вертлявые мальчишки арабы, предлагали открытки с видами, апельсины; старики продавали поддельные древности. У каменных ворот стоял осел в разукрашенном седле и вопил, как пьяный балбес, которого душат. С крыльца виллы, натягивая перчатки, выходили загорелые туристы, счастливые бессознательным ощущением своего здоровья, шли к воротам, садились в экипажи и с хлопаньем бичей катили на экскурсии. По улице радостным потоком лилась своя пестрая и шумная жизнь. Нарядные продавцы воды оглушительно звенели в медные тарелочки; бежали ослики; важною поступью, с вздернутыми головами, проходили нагруженные пунцовыми яблоками верблюды,— чудовищная и прекрасная сказка пустыни.

Ипполит Сергеевич лежал на своем балкончике, вознесенный над этой жизнью и отделенный от нее, и крепко сидела в душе память о ночном посетителе... Пройдет неделя,— и он будет гнить здесь на греческом кладбище, а на

них всех будет светить горячее солнце, они будут двигаться, суетиться, жить...

Подошел под балкончик рябой араб в белом балахоне и сказал, глядя вверх:

— Baron! Du nickt Esel reiten? [1]

И показывал на оседланного осла у ворот. Ипполит Сергеевич отрицательно помотал головою.

Араб приставал:

— Very good!.. Отчень карьош!

Ипполит Сергеевич озлился и грозно крикнул:

— Рух (пошел прочь)!

И еще более отдаленным, еще более одиноким почувствовал он себя от этого приглашения принять участие в ушедшей от него жизни.

Оживленно вошла Анна Алексеевна, со следами поцелуев солнца на лице, с цветочком иланг-иланга в петлице блузки. Опять его поразило, какой у нее пышный бюст, и как далека она от того, что у него на душе.

— Аня! Ведь хозяйка же просит не рвать в саду цветов! Что за некультурность! Ей-богу, одни только русские могут так бесцеремонно пренебрегать всякими правилами.

Анна Алексеевна кротко возразила:

— Это мне пани Казимира сорвала, сестра хозяйки.

В дверь постучались. Вошла генеральша Глоба-Михайленко,— большая и мягкая, с ласковыми глазами. Она всегда относилась к Ипполиту Сергеевичу с жалостью и вниманием, и он чувствовал, что добрая душа ее болит за него. И теперь она внимательно расспрашивала его про ночной припадок, вглядываясь в его грязно-восковое лицо.

Ипполит Сергеевич, бодрясь, пренебрежительно рассказывал полковничьим басом:

— Так, знаете, маленький припадочек был вроде как бы удушья... Доктор говорит, на сердечной почве. Это, говорит, при туберкулезе легких бывает... Я-то ничего, а только вот Анку свою измучил,— сколько ночей не спит. Капризничаю, придираюсь...

Генеральша слушала, кивала головою, а в глазах ее было что-то отсутствующее, как бывает, когда вежливо говорят с человеком, а прислушиваются еще к чему-то постороннему. Сердце его упало: это она чует за его спиною ночного посетителя.

---

[1] Барон! Поедешь на осле? *(нем.)*

В два часа обедали.

Звякала посуда, дымились тарелки с ароматною ухой, слышался веселый русский и польский говор. Обедающие рассказывали о вчерашнем концерте в казино, делились впечатлениями от осмотра пирамид и каирских музеев. Улыбались красивые женские лица, благоухали цветы в вазах, мерцали бриллианты, сверкало вино в стаканчиках. И во всем Ипполит Сергеевич ощущал трепет уходившей от него радостной, светлой стихии жизни, которую он почувствовал и в прохладе далекой пустыни, и в беззаботной болтовне итальянца.

Он сидел в глубоком кресле за отдельным столиком вместе с женою, отхлебывал из стакана молоко и с темным лицом угрюмо смотрел. И у каждого на душе становилось тревожно и неприятно. Как будто мертвец уцепился за край могилы и глядел из нее потухшим своим взглядом на живых.

После обеда Ипполит Сергеевич опять лежал в кресле на своем балкончике.

Через сад прошел араб-почтальон в феске и в форменной куртке, поднялся к ним наверх, постучался и подал Анне Алексеевне заказное письмо. Письмо было из России от бабушки. Все оно было полно вестями об их мальчике. Он здоров. Растет и удивительно умнеет. Появились какие-то свои особенные слова. Умный мальчишка. Похоронные дроги называет «помирон»; сельтерскую воду — «ежиковая вода».

— Как остроумно! Колется, как ежик! — смеясь, воскликнула Анна Алексеевна.

Ипполит Сергеевич слабо улыбнулся бледными губами.

— Да. Остроумно. Футуристом выйдет.

И больно кольнула душу мысль, что никогда уж не увидит он этого прелестного мальчишку с серьезными глазенками, синими, как ночная молния.

Анна Алексеевна тихонько плакала.

— Чего ж ты плачешь?

— Я не знаю.

И слезы бежали по ее розовым щекам. И еще, и еще раз она перечитала письмо.

— «Вчера ел мятную конфетку, вдруг говорит: во рту дует!..» Правда, прелесть? И глазенки его такие внимательные... Такие приглядывающиеся...

Она прижалась лбом к письму на столе и зарыдала.

Ипполит Сергеевич потемнел. Тяжелым взглядом смотрел он на вздрагивающий затылок жены с золотыми завитками волос. Анна Алексеевна поспешно отерла слезы и виновато сказала:

— У меня почему-то нервы сегодня расходились... Этакая дура! Чего плачу? И голова болит немножко. Пойду пройдусь.

Она вышла в сад и с пылающими щеками быстро стала ходить по дорожкам. Ипполит Сергеевич низко опустил трясущуюся голову. Он подумал со злобой:

О, подожди! Близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей...

В сад вышла генеральша. Анна Алексеевна села с нею на скамейку под цветущим жасмином, стала ей читать письмо и опять плакала. Генеральша что-то ласково ей говорила, и лицо у ней было серьезное, строгое. Вот что она, должно быть, говорит: вам-то чего плакать? Три-четыре недели,— и вы опять увидите своего мальчика. А муж ваш,— он его уж не увидит никогда. И никогда не увидит милой России, не услышит вечернего звона московских колоколов, не понесется в плавно качающемся трамвае по Арбату... Не себя пожалейте, а его. Обнимите его голову руками, облейте ее слезами и скажите: «Бедный ты мой, бедный!»

На крыльце, опираясь на палку, появился генерал в белой панаме, генеральша поднялась ему навстречу. Анна Алексеевна осталась сидеть на скамейке и опять жадно начала перечитывать письмо. Генеральша с мужем пошли к воротам. Когда они проходили под его балкончиком, Ипполит Сергеевич услышал, как генеральша говорила:

— Сердце разрывается, как на нее поглядишь. Бедная Анна Алексеевна!

Они скрылись за воротами.

Огромное красное солнце опускалось за далекие пирамиды. На минарете за базаром появился муэдзин, долго выкрикивал нараспев свои призывы к молитве. Ипполит Сергеевич все сидел неподвижно, выкатив глаза. «Бедная — Анна Алексеевна!..» Она бедная... Она бедная...

Ничего он кругом не видел, ни о чем, казалось, не думал. Когда внимание вернулось, солнце уж село. На фоне сухой, красной зари чернели силуэты пирамид. Яркою

полоскою алел Нил. В пальмовых рощах стлались от деревень синие дымы. А ближе и дальше лежала широкая пустыня,— тихая, вечная,— и по пескам ее прощальною лаcкою угасавшей зари скользили нежно-лиловые и розоватые тона.

«Бедная — Анна Алексеевна!..» Сказала это такая добрая, жалеющая душа. Как же, значит, непроходима грань, отделившая его от жизни! Они все — там, за гранью, они могут жить болями друг друга, но до него уж не способна достигнуть их жалость. Тонкая грань между ним и ими, как будто целое море разделяет их. Он бьется и захлебывается среди скачущих волн, негодует, что мук его не видят люди с берега. Да они просто не могут видеть,— слишком он от них далеко, и винить их в этом невозможно. В чем винить? Умирать человек должен один. Это так ясно.

Розовато-лиловые тона песков тускнели, пустыня темнела. Великий покой разливался над нею. Огромная какая-то волна мягко подхватила его душу и понесла в этот ласково-теплый, все темневший простор. Тихое блаженство охватило его. И странным казалось,— как мог он быть так мелок и злобен, как не мог понять великой материнской тоски, переполняющей душу измученной его Анки.

Легкий ветерок подул из пустыни. Как будто воздушный посланец прилетел из густевшей тьмы,— нежно погладил его по волосам, ласково провел по лицу. «Идем, брат, пора!» И душа обреченного страстно потянулась за ним. Что ему было теперь до светлой стихии жизни, всплески которой так оскорбляли и мучили его сегодня? Перед ним тихо волновалась новая, неведомая ему стихия, полная радости и тайны.

Поспешно вошла Анна Алексеевна, испуганная и сконфуженная. Она нечаянно заснула, облокотившись о спинку скамейки, и так проспала два часа. В темноте она не видела преображенного лица мужа, не видела его мокрых щек. Она сказала робко:

— Ипа, милый! Я так виновата!.. Я нечаянно заснула...

Ипполит Сергеевич взял в обе руки ее руку, припал к ней губами и, всхлипнув, сказал:

— Бедная ты моя, бедная!..

1918

СОСТЯЗАНИЕ

I

Когда состязание было объявлено, никто в городе не сомневался, что выполнить задачу способен только Дважды-Венчанный — на весь мир прославленный художник, гордость города. И только сам он чувствовал в душе некоторый страх: он знал силу молодого Единорога, своего ученика.

Глашатаи ходили по городу и привычно зычными голосами возвещали на перекрестках состоявшееся постановление народного собрания: назначить состязание на картину, изображающую красоту женщины; картина эта, огромных размеров, будет водружена в центральной нише портика на площади Красоты, чтоб каждый проходящий издалека мог видеть картину и неустанно славить творца за данную им миру радость.

Ровно через год, в месяц винограда, картины должны быть выставлены на всенародный суд. Чья картина окажется достойною украсить собою лучшую площадь великого города, тот будет награжден щедрее, чем когда-то награждали цари: тройной лавровый венок украсит его голову, и будет победителю имя — Трижды-Венчанный.

Так выкликали глашатаи на перекрестках и рынках города, а Дважды-Венчанный, в дорожной шляпе и с котомкою за плечами, с кизилевою палкою в руке и с золотом в поясе, уже выходил из города. Седая борода его шевелилась под ветром, большие, всегда тоскующие глаза смотрели вверх, в горы, куда поднималась меж виноградников каменистая дорога.

Он шел искать по миру высшую Красоту, запечатленную в женском образе.

У хижины за плетнем чернокудрый юноша рубил секирою хворост на обрубке граба. Он увидел путника, выпрямился, откинул кудри с загорелого лица и радостно сверкнул зубами и белками глаз.

— Учитель, радуйся! — весело приветствовал он путника.

— Радуйся, сын мой! — ответствовал Дважды-Венчанный и узнал Единорога, любимого своего ученика.

— В далекий путь идешь ты, учитель. Шляпа у тебя на голове и котомка за плечами, и сандалии у тебя из тяжелой буйволовой кожи. Куда идешь ты? Зайди под мой кров, отец мой, осушим с тобою по кружке доброго вина, чтоб мне пожелать тебе счастливой дороги.

И с большою поспешностью ответил Дважды-Венчанный:

— Охотно, сын мой!

Единорог с размаху всадил блестящую секиру в обрубок и крикнул, ликуя:

— Зорька! Скорее сюда! Неси нам лучшего вина, сыру, винограду!.. Великая радость нисходит на дом наш: учитель мой идет ко мне!

Они сели перед хижиною, в тени виноградных лоз, свешивавших над их головами черные свои гроздья. С робким благоговением поглядывая на великого, Зорька поставила на стол кувшин с вином, деревянные тарелки с сыром, виноградом и хлебом.

И спросил Единорог:

— Куда собрался ты, учитель?

Дважды-Венчанный поставил кружку и удивленно поглядел на него.

— Разве ты не слышал, о чем третий день кричат глашатаи на площадях и перекрестках города?

— Слышал.

— И... думаешь выступить на состязании?

— Да, учитель. Знаю, что придется бороться с тобою, но такая борьба не может быть тебе обидна. Знаю, что трудна будет борьба, но не художник тот, кто бы испугался ее.

— Я так и думал. Знаю и я, что борьба предстоит трудная и победить тебя будет нелегко. Когда же идешь ты в путь?

— Куда?

— Как куда? Искать ту высшую Красоту, которая где-нибудь да должна же быть. Отыскивать ее, в кого бы она ни была вложена — в гордую ли царевну, в дикую ли пастушку, в смелую ли рыбачку, или в тихую дочь виноградаря.

Единорог беззаботно усмехнулся.

— Я уж нашел ее.

Сердце Дважды-Венчанного забилось медленными, сильными толчками, груди стало мало воздуху, а седая голова задрожала. Он осторожно спросил, не надеясь получить правдивого ответа:

— Где ж ты нашел ее?

— А вот она!

И Единорог указал на Зорьку, свою возлюбленную. Взгляд его был прям, и в нем не было лукавства.

Дважды-Венчанный в изумлении смотрел на него.

— Она?

— Ну да!

Голова старика перестала дрожать, и сердце забилось ровно. И заговорило в нем чувство учителя.

— Сын мой! Твоя возлюбленная мила, я не спорю. Счастлив тот, чью шею обнимают эти стройные золотистые руки, к чьей груди прижимается эта прелестная грудь. Но подумай: та ли эта красота, которая должна повергнуть перед собою мир.

— Да, именно та самая. Нет в мире и не может быть красоты выше красоты золотой моей Зорьки,— восторженно сказал Единорог.

И взяло на минуту сомнение Дважды-Венчанного: не обманул ли его опытный его глаз, не просмотрел ли он чего в этой девушке, потупленно стоявшей в горячей тени виноградных лоз? Осторожно и испытующе он оглядел ее. Обыкновеннейшая девушка, каких везде можно встретить десятки. Широкое лицо, немножко косо прорезанные глаза, немножко редко поставленные зубы. Глаза милые, большие, но и в них ничего особенного... Как слепы влюбленные!

В груди учителя забился ликующий смех, но лицо осталось серьезным. Он встал и, пряча лукавство, сказал:

— Может быть, ты и прав. Блажен ты, что так близко нашел то, что мне предстоит искать так далеко и долго... Радуйся! И ты радуйся, счастливая меж дев!

Когда Дважды-Венчанный вышел на дорогу, он вздох-

нул облегченно и успокоенно: единственный опасный соперник сам, в любовном своем ослеплении, устранил себя с его пути. Спина старика выпрямилась, и, сокращая путь, он бодро зашагал в гору по белым камням русла высохшего горного ручья.

II

Дважды-Венчанный переходил из города в город, из деревни в деревню, переплывал с острова на остров. Не зная усталости, искал он деву, в которую природа вложила лучшую свою красоту. Он искал в виноградниках и рыбачьих хижинах, в храмах и на базарах, в виллах знатных господ, в дворцах восточных царей. Славное имя его открывало перед ним все двери, делало его повсюду желанным гостем. Но нигде не находил он той, которую искал.

Однажды, в месяц ветров, за морем, он увидел у городских ворот едущую на мулах восточную царевну и остановился и с минуту жадно смотрел на ее сверкающую красоту.

И подумал в колебании:

— Может быть, она?

Но сейчас же преодолел себя, отвернулся и решительно зашагал дальше.

— *Может быть?* Значит, не она... Истинная красота как светляк,— сказал он себе.— Когда ночью ищешь в лесу светляков, часто бывает: вдруг остановишься,— «стой! Кажется, светляк!» Кажется?.. Не останавливайся, иди дальше. Это белеет в темноте камушек или цветок анемона, это клочок лунного света упал в чаще на увядший листок. Когда ясным своим светом, пронзая темноту, засветится светляк,— тогда не спрашиваешь себя, тогда прямо и уверенно говоришь: это он!

Месяц шел за месяцем. Отшумели на море равноденственные бури, осыпались листья с дубов. Все ниже стало ходить солнце, все глубже заглядывать в окна хижин. Туманные тени поползли по волнам остывающего моря. Горы надели на головы белые шапки, ледяной ветер гнал по долинам сухой, шуршащий снег. И опять солнце стало ходить выше. Перед утреннею зарею выбегал из-за гор небесный Стрелец и целился стрелою в изогнутую спину сверкающего Скорпиона. Больше пригревало теплом.

А Дважды-Венчанный странствовал.

Был месяц фиалок. Путник расположился на ночлег на

песчаном берегу бухты. Отпил из фляги вина, перекусил куском черствого ячменного хлеба с овечьим сыром, сделал себе ложе: нагреб для изголовья возвышение из морского песку, разостлал волосяной свой плащ и склонился на ложе головою.

В теле была усталость, в душе — отчаяние. Никогда, никогда, казалось ему, не найдет он того, чего ищет. Не найдет, потому что не способен найти.

С полуденной стороны, от гор, дул теплый ветер, и весь он был пропитан запахом фиалок. Там, на горных перевалах, лесные поляны покрыты сплошными коврами фиалок. Сегодня вечером он шел тропинкою по этим перевалам и любовался всем, что кругом, и вдыхал целомудренные запахи ранней весны. А теперь, когда сумерки одели горы, когда в теплом ветре издалека несся запах фиалок, ему казалось: там все прекраснее, таинственнее и глубже, чем он сумел увидеть вблизи. А пойдет туда,— и опять красота отодвинется, и опять будет хорошо, но не то... Что же это за колдовство в мировой красоте, что она вечно ускользает от человека, вечно недоступна и непостижима и не укладывается целиком ни в какие формы природы?

Оглянулся Дважды-Венчанный на все, что сотворил за свою жизнь, что сделало его славным на весь мир, и припал лицом к изголовью. Противно стало ему и стыдно за неумелые его намеки на то великое и непостигаемое, что носилось перед его тоскующими глазами и чего никогда он не смог воплотить в формы и краски.

Так он и заснул, уткнувшись лицом в жесткий свой плащ. С гор все дул теплый ветер, пропитанный запахом фиалок, и вздыхало вдоль берега вечно тоскующее, не знающее спокойствия море.

Когда Дважды-Венчанный проснулся, над морем занималась зеленовато-золотистая заря. Горы, кусты, колючая трава на берегу стояли в ровном сумеречном свете,— мягко светящиеся, объединенные; свет обнимался с тенью. Потом запылал над морем огромный, ясный костер, без дыма и чада, медленно вылетело из него солнце и ударило лучами по земле. И отшатнулся свет от тени, и разъединились они. Ярче стал свет, чернее тень.

Дважды-Венчанный взглянул на мрачные, утонувшие в тени горы. Взглянул — и вскочил на ноги быстро, как юноша. С предгорного холма, залитая лучами солнца, спускалась стройная дева в венке из фиалок. И сотряслась душа

художника до самых глубин, и сразу, без колебаний, без вопросов, с ликованием воскликнула душа:

— Это — она!

Дважды-Венчанный упал на колени и в молитвенном восторге простер руки к светозарной деве.

III

Настал месяц винограда. Площадь Красоты, как море, шумела народом. В глубине площади возвышались два огромных, одинаковой величины, прямоугольника, завешанных полотном. Возле одного стоял Дважды-Венчанный, возле другого — Единорог. Толпа с обожанием смотрела на уверенное, сурово-спокойное лицо Дважды-Венчанного и посмеивалась, глядя на бледное под загаром лицо красавца Единорога.

Граждане кричали:

— Единорог! Беги со своею мазнею, не срамись.

Единорог в ответ встряхивал курчавыми волосами и вызывающе усмехался, сверкая зубами.

Старец в пурпуровом плаще и с золотым обручем на голове ударил палочкой из слоновой кости по серебряному колоколу.

Все притихли. Старец простер палочку к картине Дважды-Венчанного. Полотно скользнуло вниз.

Высоко над толпою стояла спускающаяся с высоты, озаренная восходящим солнцем дева в венке из фиалок. За нею громоздились темно-серые выступы суровых гор, еще не тронутых солнцем. По толпе пронесся гул, и вдруг стало на площади тихо, как знойным полднем в горном лесу.

Божественно-спокойная, стояла дева и смотрела на толпу большими глазами, ясными, как утреннее небо после грозы. Никто никогда еще не видал в мире такой красоты. Она слепила взгляд, хотелось прикрыть глаза, как от солнца, только что вышедшего из моря. Но падала рука, не дошедши до глаз, потому что не могли глаза оторваться от созерцания. А когда отрывались и смотрели по сторонам, было с ними, как после взгляда на солнце, только что вышедшее из моря: все вокруг казалось темным и смутным. Тело, какого еще не обнимала ни одна мужская рука, сквозило сквозь легкую ткань. Но не было вожделения. Было только молитвенное склонение и блаженная, нездешняя печаль.

Темные горы были за девой, и темно стало кругом на площади. Девы и жены пристыженно отвращали лица в сторону, а юноши и мужи глядели на Фиалковенчанную, переносили взгляд на своих возлюбленных и спрашивали себя: что же нравилось им в этих нескладных телах и обыденных лицах, в этих глазах, тусклых, как коптящий ночник?

Старый погонщик мулов, с брюзгливым лицом и щетиною на подбородке, искоса оглядывал свою старуху: была она жирная, с отвислым подбородком и огромною грудью, с лицом, красным от кухонного чада. Взглянул он опять на Фиалковенчанную и опять на жену. Больно ущемила тоска по красоте его жесткое, как подошва, сердце, и страшно стало ему, с кем суждено проводить ему его трудную, серую жизнь.

Долго стояли люди в благоговейном молчании, и смотрели, и что-то шептали. И всеобщий вздох священной, великой тоски пронесся над толпою.

Старец в красном плаще стряхнул с себя очарование и встал. Было лицо его строго и торжественно. С усилием, как бы свершая вынужденное кощунство, протянул он палочку ко второй картине.

IV

Покров упал.

Ропот недоумения и негодования прошел по площади. На скамье, охватив колено руками, подавшись лицом вперед, сидела и смотрела на толпу — Зорька! Люди не верили глазам, и не верили, чтоб до такой наглости мог дойти Единорог. Да, Зорька! Та самая Зорька, что по утрам возвращается с рынка, неся в корзине полдесятка кефалей, пучки чесноку и петрушки; та самая Зорька, что мотыжит за городом свой виноградник и по вечерам доит на дворике коз. Сидит, охватив колено руками, и смотрит на толпу. За нею — полуоблупившаяся стена хижины и косяк двери, над головою — виноградные листья, красные по краям, меж них — тяжелые сизые гроздья, а вокруг нее — горячая, напоенная солнцем тень. И все. И была она на картине такая же большая, локтей в двадцать, как и божественная дева на соседней картине.

— Хоть с гору величиной нарисуй, лучше не станет! — крикнул озорной голос.

И все засмеялись. Раздался свист, шип. Кто-то завопил:

— Камнями его!

И другие подхватили:

— Побить камнями!

Но вот шум начал понемногу затихать. Кричащие и хохочущие рты сомкнулись, поднятые с камнями руки опустились. И вдруг стало тихо. Так иногда неожиданно налетит с гор ветер,— завоет, завьется, поднимет к небу уличную пыль — и вдруг упадет, как в землю уйдет.

Люди смотрели на Зорьку, и Зорька смотрела на них. Один юноша в недоумении пожал плечами и сказал другому:

— А знаешь, я до сих пор не замечал, что Зорька так прелестна. Ты не находишь?

И другой ответил задумчиво:

— Странно, но так. Глаз не могу оторвать.

Высоко подняв брови, как будто прислушиваясь к чему-то, Зорька смотрела перед собою. Чуть заметная счастливая улыбка замерла на губах, в глазах был стыдливый испуг и блаженное недоумение перед встающим огромным счастьем. Она противилась, упиралась и, однако, вся устремилась вперед в радостном, неодолимом порыве. И вся светилась изнутри. Как будто кто-то, втайне давно любимый, неожиданно наклонился к ней и тихо-тихо прошептал:

— Зорька! Люблю!

Люди молчали и смотрели. Они забыли, что это — та самая Зорька, которая носит в корзине тускло поблескивающую рыбу и серебряные пучки чесноку, не замечали, что лицо ее несколько широко, а глаза поставлены немного косо. Казалось, будь она безобразна, как дочь кочевника, с приплюснутым носом и глазами как щелки,— само безобразие, освещенное изнутри этим чудесным светом, претворилось бы в красоту небывалую.

Как будто солнце взошло высоко над площадью. Радостный, греющий свет лился от картины и озарял все кругом. Вспомнились каждому лучшие минуты его любви. Тем же светом, что сиял в Зорьке, светилось вдруг преобразившееся лицо его возлюбленной в часы тайных встреч, в часы первых чистых и робких ласк, когда неожиданно выходит на свет и широко распускается глубоко скрытая, вечная, покоряющая красота, заложенная природой во всякую без исключения женщину.

Прояснилось лицо старого брюзги погонщика, взглянул он на свою старуху, и улыбнулся, и толкнул ее сухим локтем в жирный бок.

— А помнишь, старуха... Гы-гы!.. У водопоя-то? Ты поила коз, а я перепрыгнул через плетень... Молодой месяц стоял над горой, цвели дикие сливы...

И, застенчиво улыбнувшись, взглянули на него с оплывшего, багрового лица знакомые, милые, давно забытые глаза, и осветилось это лицо отблеском того вечного света, который шел от Зорьки. Погонщик хихикал и грязною рукою вытирал слезы на гноящихся своих глазах. И казалось ему,— не умел он ценить того, что у него было, и по собственной вине сделал свою жизнь серою и безрадостною.

Это был он, который первым крикнул на всю площадь:

— Да будет Единорог Трижды-Венчанным!

1919

В ГЛУШИ

Тянулось это уже третьи сутки. Молодая баба-роженица лежала на спине, руки бессильно протянулись вдоль туловища, на лице выступили мелкие капельки пота. Измученно-исступленным голосом она повторяла в полузабытьи:

— Матушка царица небесная, помилуй! Матушка царица небесная, помилуй!

Стонала длинными, прерывистыми стонами и скрипела зубами.

Юная фельдшерица-акушерка Зина Кваскова почему-то радостно вздохнула, лицо вспыхнуло нежным румянцем. Из чистой избы она через сенцы вошла в черную и сказала высокому старику:

— Нужно поехать за доктором, и поскорее. Найдется у вас кому съездить? Положение очень опасное.

Старик засуетился.

— Ах-х ты господи! Уж вы, пожалуйста, гражданка, все, что можно... Егорка, запрягай чалого да скачи во весь дух!.. Боже ты мой милостивый!.. Сенца положи в телегу да покрой княжеским ковром для гражданина доктора.

Зина села к столу и карандашом написала на листке блокнота.

Д-ру Кайзеру.

Арнольд Федорович!

У роженицы пульс 120 температура 38,2 воды давно отошли по-моему нужно щипцы приезжайте немедленно.

З. К.

Муж роженицы, Егор, положил записку в шапку и поспешно вышел. Телега затарахтела мимо окон.

Зина вышла на крыльцо и присела на перила. Солнце садилось, телега исчезла в золотой пыли. Из сада бывшей княжеской усадьбы тянуло запахом цветущей сирени, робко начинали щелкать соловьи. Солнце играло на русых стриженых волосах Зины и на вьющихся вдоль щек золотых прядях. Глазницы были поставлены у Зины очень широко и делали лицо немножко странным. Но все скрашивали молодые глаза и нежный румянец щек. Зина волновалась за роженицу, боялась, как бы доктор не приехал слишком поздно. И радость, светлая радость была в душе, что он приедет. Зина тайно любила его. Сердце начинало биться скорее, когда она представляла себе: вот через час он войдет сюда,— высокий, прямой, всегда в себе уверенный, никогда не теряющийся, с сильными руками спортсмена. И все вокруг станет твердым, спокойным и уверенным.

Вышел на крыльцо старик. У него были угрюмые и недобрые губы, но сейчас он кривил их в любезную улыбку. И застенчиво сказал Зине:

— Вы уж, гражданочка, потрудитесь! Очень бы мне антиресно внучка иметь. Ежели все будет как следует — гуся вам предоставлю обязательно!

— Ну, оставьте, что вы!.. Вот только бы доктор вовремя приехал. Он замечательный доктор! Сама разродиться она не сможет, ребенок в ней может задохнуться. А он наложит щипцы,— и ребенок жив останется и Акулина.

Зина прикусила губу: уж слишком уверенно она говорила о благополучном исходе. Старик смотрел остановившимися глазами.

— Щи-п-ц-ы? То есть, это как же так? Щипцами из нее дите потянете?

Зина вспомнила,— доктор ей всегда твердил, чтобы называть акушерские щипцы ложками. Она поспешно сказала:

— Это, собственно, не щипцы, а ложки. Их накладывают на голову ребенка и осторожно тянут. Когда у самой матери нет силы родить.

Старик решительно сказал:

— Нет, на это нашего согласу нет!

— Нельзя, товарищ, необходимо это сделать, иначе помрет Акулина. Сама она родить не может.

— Что вы, гражданка, толкуете? Как это можно в живую женщину щипцы совать! Да вы ей там щипцами все кишки прищемите!

Вышла на спор старуха.

— Слышь, Марфа, зачем за доктором гражданка спосылала: щипцы, говорит, нужно запустить в Акулину, ребенка щипцами вытащить.

— Мать честная, царица небесная! Что это ты?

— Слушайте, да это же вовсе не щипцы.

— Сами сказали,— щипцы... Ясное дело,— ребенку голову оторвете!

— Да нет же, живой выйдет!

— Как это так! Щипцами ребенка за голову будете тянуть,— и живой? Что вы, гражданка, глупости говорите!.. Нет, не согласны мы.

— Как хотите. Только тогда незачем было за доктором посылать. А я вас предупреждаю: без операции сноха ваша наверно помрет.

— А ежели щипцы — не помрет?

Зина смутилась.

— Наверно, конечно, нельзя сказать,— операция трудная и опасная. Но только она одна может спасти вашу сноху, без операции-то она уж наверно умрет. Она уже без чувств.

Из сенец вышла на крыльцо старшая сноха с заплаканными глазами.

— Кончается Акулина. Видно, не разродиться ей.

Зина поспешила к роженице. Она лежала в забытьи, пульс стал еще слабее. Зина впрыснула ей камфару. Провозилась с четверть часа. Потом, волнуясь, пошла в черную избу.

Там набралось уже много народу. На лавке у окна сидел коротконогий старик, очень похожий на высокого старика,— его брат, председатель сельсовета; лицо было важное, красное и глянцевитое, во рту меж зубов темнела дырка. Сидели еще мужики и мрачно глядели.

Зина решительно сказала:

— Ну, решайте скорее! Когда приедет доктор, некогда будет разговаривать. Не знаю даже, застанет ли уж он ее в живых. Согласны вы на операцию или нет?

Высокий старик смотрел на нее тяжелым взглядом.

— Хорошо, гражданка! Согласны! А только если помрет баба от ваших щипцов, мы доктора отсюдова живым не выпустим.

Зина побледнела. Старик это заметил и повторил зловеще:

— Не уйдет тогда отсюдова!

— Да вы с ума сошли! Что ему, удовольствие, что ли, ехать сюда за семь верст, не спать ночь, возиться с вашей больной? Выгода ему какая от операции? Да делайте, что хотите, пускай помирает! Мы вам хотим оказать помощь, а вы нас убивать собираетесь! Очень надо! Мне здесь больше делать нечего! Уезжаю!

— Мокей, погоди! — Коротконогий отвел старика за рукав в угол и что-то стал ему шептать. Старик воротился к Зине.

— Хорошо! Согласны! Ладно! Пускай делает, что хочет. Что ж бабе помирать... Ладно! Согласны.

Но смотрел страшно, и в глубине слов пряталась угроза.

Зина воротилась в чистую избу. Ее била нервная дрожь. На широкой кровати из красного дерева с золотыми веночками Акулина стонала слабеющими, прерывистыми стонами. Углы были окутаны сумерками. Вдали, в саду усадьбы, теперь гулко, во весь голос, заливались соловьи.

Зина верила в Кайзера восторженной, молодой верой. Но теперь она ясно представила себе, что будет, если... Да! Что,— если?.. Предупредить его, когда приедет? Но вся душа ее возмутилась. Она так ясно представляла себе, как головка ребенка застряла в путях матери, как ослабевшие потуги не могут дальше гнать его, какую волшебную, ослепительную помощь тут могут оказать щипцы. И они вдруг ничего не станут делать? И будут бездеятельно смотреть, трусливо поджав руки? Зину охватило гордое чувство. Она и представить себе не могла, чтобы Кайзер из-за страха перед этим стариком отказался от операции. А тогда зачем его напрасно волновать?

Скоро уж должен приехать. Зина пошла в черную избу посмотреть, есть ли горячая вода. Медленно входили новые мужики, немые, мрачные; внимательно оглядывали ее и садились по лавкам.

Воротилась к роженице. Пришла старуха, засветила керосиновую лампу. Потом села у двери на лавку, подперла щеку и принялась жалостливо вздыхать, поглядывая то на стонущую Акулину, то на взволнованную Зину. И неизвестно было, кого она жалеет,—сноху или доктора, которого сейчас будут убивать мужики.

В темноте, гремевшей соловьями, раздался под окнами

шум колес. В сенцах зазвучал громкий голос доктора Кайзера:

— Где больная? Куда пройти?

Старуха, низко кланяясь, открыла дверь. Кайзер вошел с желтым чемоданчиком в руках и весело сказал:

— Здравствуйте!.. Ну, старушка, вы уйдите, не мешайте нам.

Поставил на лавку чемоданчик, подошел к роженице, взялся за пульс и покрутил головою.

— Что? — со страхом спросила Зина.

Он беспечно ответил:

— Ничего!

И тщательно стал ощупывать под грубой рубахой огромный живот роженицы. Потом скинул пиджак, Зина помогла ему надеть белый халат. Он засучил красивые, мускулистые руки.

— Где тут умыться?

Зина вывела его в сени, подняла лампу над большим рукомойником с грязною, треснувшею мраморною доскою. Кайзер нажал педаль, стал мыть и тереть щеточкою руки. Спросил весело:

— Откуда здесь такой рукомойник?

— Из усадьбы княжеской. По всем избам вещи оттуда.

Дверь в черную избу была открыта, от керосиновой коптилки поднималась в темноту медленно крутящаяся струйка копоти. По лавкам сидели молчаливые мужики и смотрели на доктора. Кайзер удивленно поднял брови, взглянул на Зину.

— Чего это там собрались? Свадьба, что ли? Непохоже,— сидят, как на похоронах.

У Зины задрожали губы, она ничего не ответила.

Доктор исследовал роженицу, встал и решительно сказал:

— Конечно, щипцы! И медлить нельзя. Прокипятите их... Чего это у вас так руки дрожат? Ай-ай, товарищ! Разве можно так волноваться!

У самого у него в глазах горел тот веселый, спокойно-уверенный огонь, какой Зина привыкла видеть у него перед ответственной операцией. И опять она твердо поверила, что все у него кончится хорошо. И все-таки засученные по локоть девически тонкие руки Зины дрожали, когда она наложила фланелевую маску на лицо бабы и стала капать на маску хлороформ.

Операция была трудная. Мышцы на засученных руках Кайзера поднимались буграми, но щипцы оставались на месте. Зина с ужасом поглядывала на доктора и старалась прощупать исчезающий пульс у роженицы. Кайзер покрутил головой.

— Nun!

Und gehst du nicht willig, so brauch ich Gewalt!
(Неволей иль волей, а будешь ты мой!)

Он перехватил руками блестящие ручки щипцов, ушел головой в плечи, стиснул зубы, и мышцы на его предплечиях стали вздуваться, как будто кто надувал их воздухом.

В черной избе тускло чадила коптилка, за окнами гремели в саду соловьи. По скамейкам у стен сидели мужики, молчали и ждали.

Высокий старик медленно встал, вышел на цыпочках в сенцы, тихонько приотворил дверь и заглянул в чистую избу. Увидел он ужасное. Кровать была выдвинута на середину избы; ярко-белые, полные, подогнутые женские ноги поперек кровати, между ними — доктор в белом халате, засученные по локоть мускулистые руки, в них —блестящие стальные ручки, от них рычаги уходили меж раздвинутых ног в живот женщины, доктор изо всей силы тянул за ручки, а от головы Акулины на его работу смотрело бледное, искаженное ужасом лицо акушерки.

— Вы что тут, разбойники...

Так хотел крикнуть старик, хотел затопать ногами и ворваться в избу. Его взял за рукав коротконогий его брат, председатель сельсовета, и решительно потянул назад.

— Уходи, Мокей! Не гляди...

Мокей вырвал рукав.

— Ты погляди, погляди, что делают!

— Иди, говорю тебе. Не гляди! Я тебе категорически объясняю: обожди! Наука, она, как говорится... она себя может оказать в самом конце. А ежели что... Пойдем, пойдем, говорю тебе! Нужно действовать, как говорится,— организованно, а не кустарным способом. Чтобы всем обществом... Ежели что...

Он увел брата назад в горницу. Высокий старик стоял с черным лицом, хрипло дышал и засучивал рукава. Все с ожиданием смотрели на него, а он дышал, как запаленная

лошадь, и все засучивал на локти сползавшие рукава рубашки.

И вдруг... вдруг через сенцы донесся в горницу захлебывающийся, шамкающий младенческий плач. Правая рука старика замерла на левом локте. У всех раскрылись рты и остановились глаза. Потом гурьбою бросились в чистую избу, впереди других — высокий старик.

Среди избы стояла Зина со светлым, восторженно-радостным лицом, на ее руках захлебывался плачем красный ребенок, скашивая губы на сторону. Родильница с бледным лицом тихо дышала, закрыв глаза.

Доктор, в окровавленном фартуке, с весело блестящими глазами, обтирал ватою страшный стальной инструмент. Высокий старик задохнулся, сделал к доктору два шага,—вдруг опустился на колени, охватил руками его сапог и припал головою к голенищу.

Удален был послед, наложены швы, родильница очнулась от хлороформа. Чистая горница была полна народу.

В сенцах доктор, гремя педалью и скрипя ржавыми рычагами, умывался над мраморным рукомойником. Зина стояла рядом и — вдруг разрыдалась. Села на кадушку с отрубями, давила руками челюсть и все-таки рыдала, и смеялась сквозь рыдания, и с восторженной любовью глядела на Кайзера. Кайзер, намыливая мускулистые свои руки, сказал с улыбкою:

— Ай, ай, товарищ! Разве можно быть такой нервной?

Зина проговорила сквозь счастливые рыдания:

— Вы не знаете, вы не знаете, что могло быть!.. Ведь эти все, что там были, в черной избе,— они пришли вас убивать. Я сказала про щипцы, они: «Ни за что не позволим!» А потом сказали: «Ну, хорошо, но только, если баба умрет, мы его живого не выпустим!» Что, что я могла сделать? Не могла же я вас не позвать!

Доктор неподвижно стоял с намыленными руками. Засмеялся:

— Д-да-а!..

Потом побледнел, как будто сейчас только сообразил, что могло случиться. Чуждыми, скрытно враждебными глазами поглядел на Зину и сказал про себя:

«А ведь она была уже без пульса...»

1927

ИСАНКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Густой, раскидистый липовый куст нависал с косогора над ключом. Вода в ключе была холодная и прозрачная, темная от тени. Юноши и девушки, смеясь, наполняли кувшины водою. Роняя сверкавшие под солнцем капли, ставили кувшины себе на голову и вереницею поднимались по тропинке вверх.

Все были босы, все были с непокрытыми головами. Золотились под солнцем загорелые руки и ноги, стройные девичьи шеи, юношеские, еще безволосые, груди.

Борька Чертов, прямой под тяжелым кувшином на голове, остановился на краю косогора. Счастливо улыбался, дышал ветром, солнцем и любовался вереницею прямо держащихся полунагих фигур, поднимавшихся снизу среди свежей июньской зелени.

Ах, хорошо!.. У каждого бывают в жизни недели, когда все кругом как будто сговорится любовно обступить человека и давать ему только радость, только радость, доверху переполнить душу радостью. Так было сейчас с Борькой. Солнце, блеск зелени, ощущение наросших мускулов под загоревшей кожей, горение внимательных девичьих глаз, милые товарищи, общее признание.

Прошли снизу, тоже с кувшинами на головах, приземистый Стенька Верхотин и Таня Комкова. В их глазах был блеск той же самопричинной радости, которая опьяняла Борьку. Стенька, не поворачивая головы, на ходу бросил ему:

— Состязаемся. Бег с полными кувшинами. Новый номер легкой атлетики.

Борька сосредоточенно стоял на месте, опустив руки, и медленно извивался туловищем, стараясь удержать на голове без помощи рук полный жестяной бидон. Из лощины поднимались все новые парни и девчата.

Донесся снизу смех Исанки. На тропинке показалась ее тонкая, сильная фигура, с нагою золотисто-загорелою рукою, поддерживавшею на голове кувшин. Прошла мимо. Борька тоже медленно пошел, балансируя под тяжелым кувшином. И смотрел сзади на Исанку.

Она шла по дороге, придерживая кувшин на голове,— чудесная античная статуя расцветающей девушки. У большинства девчат шаровары были засучены до верху бедер. У Исанки юбка была до колен. И поразительно было смотреть сзади, как узки у нее щиколки и нижние части голеней; чувствовалось в этом что-то благородное и сильное, как в узких голенях породистых беговых лошадей. Ему вспомнилось и вдруг стало понятным выражение древнеэллинских поэтов: «тонколодыжная дева»... Так вот оно что значит! И он с улыбкою повторял про себя:

— «Тонколодыжная дева»...

Дорога сворачивала от перекрестка вправо, в рожь. Кувшины на головах водоносцев закачались над матовою желтизною ржи. Борька смотрел на далеко растянувшуюся вереницу и радовался.

Это была его идея — носить на голове кувшины с водою. В прошлом году Борька ездил матросом на советском пароходе в Палестину и Египет. Его поразило, как прямо держатся там арабы, особенно женщины: каждая по стройности похожа на финиковую пальму. Он приглядывался, соображал — и нашел причину. Из колодцев и речек женщины носят в кувшинах воду на голове; и вообще все тяжести там носят больше на голове. При этом мускулы спины должны напрягаться, тело вынуждено держаться совершенно прямо; от постоянного упражнения соответственные мускулы крепнут и привыкают без усилия держать туловище в выпрямленном положении. Потом, в Ленинграде, Борька обратил внимание, как прямо держатся всегда разносчики,— не только, когда лоток у них на голове, а даже когда просто стоят у своего лотка. Разносчика и без лотка сразу можно узнать по тому, как он прямо держится,— и прямотою естественною, а не искусственною старою сол-

датскою «выправкою». Бессмысленно было в светских семьях твердить детям: «tenez vous droits!» [1]. Нужно с детства приучать детей носить на голове необременительные для черепа тяжести. Тогда прямота придет сама собою. А важна она не только для красоты. Людям умственного труда она необходима, чтоб не скомкивались легкие.

Борька эту мысль высказал. Стенька Верхотин, великолепный организатор, сейчас же воплотил ее в дело. И каждый день в четыре часа вечера, после «мертвого часа», обитатели студенческого дома отдыха сходились с кувшинами к ясеням у околицы усадьбы, а оттуда шли по дороге через рожь за версту к Грозовым Ключам. Ключи на всю округу славились чистотою и вкусностью воды. Завхоз дома отдыха с удовольствием предоставил ребятам кувшины и бидоны,— за ненадобностью, они без дела громоздились в кладовых,— дом отдыха имел великолепную питьевую воду, и не нужно было посылать за нею водовоза.

Возле Исанки шел Можаев,— щупленький, смешно низенький рядом с нею. Шли еще две дивчины в шароварах, высоко засученных до паха. Опять Борьке бросилось в глаза то, что он давно уже заметил: женские ноги изогнуты в коленях внутрь и при ходьбе почти цепляются друг за друга внутренними выступами коленок. Это было очень некрасиво, и ноги парней казались при сравнении стройными, а их шаг твердым, гармоничным.

Можаев отошел к тем двум девчатам. Борька нагнал Исанку.

— Скажи, Исанка, отчего ты не ходишь в шароварах, как другие?

— Н-не знаю... Мне так больше нравится

Борька посмеивался и ласково глядел на нее.

— В тебе есть бессознательная интуиция, она ведет тебя по верному пути. Посмотри на Зину и Веру: какие у них кривые ноги. Женщины всегда чувствовали, что ноги у них поставлены некрасиво, и везде, всегда окутывали ноги юбками, рубашки носили длиннее мужских... Когда художникам приходилось изображать голое женское тело, они постоянно наталкивались на это женское уродство. И Тинторетто, например, просто *выпрямлял* своим женским фигурам ноги.

Подошел Можаев, усмехнулся, сказал, вздохнув:

---

[1] «держитесь прямо!» *(франц.)*

— Енциклопедия!

Но с интересом стал слушать. А Борька восторженно продолжал:

— Эллины... Ах, эллины никогда не фальсифицировали природу, они всегда умели найти точку, с которой природа является красивой без всякой фальсификации. Посмотри, например: у Венеры Милосской, у Венеры Книдской нижняя часть туловища, начиная с чресел, закутана, и ноги скрыты...

В разговоре Борька продел руку за голую руку Исанки. По руке ее пробежал трепет, и Исанка отдернула руку.

— Чего это ты? — удивился он.

Исанка сконфуженно ответила:

— Я не люблю.— И с интересом сказала: — Ну, дальше!

Он помолчал, ища сбившуюся мысль, и продолжал:

— Самый распространенный тип Венеры — тип Venus pudica, Венеры Стыдливой. Такая Венера стоит, чуть наклонившись вперед, одно колено выдвинуто перед другим,— получается очень естественно, и природный недостаток становится незаметным.

Исанка, придерживая рукой кувшин на голове, с интересом слушала. Борьку всегда было интересно слушать. По разнообразию знаний он, правда, был форменная «енциклопедия». Особенно было хорошо, что знания его не лежали в нем мертвым грузом, а все время крутились, кипели, сцеплялись друг с другом, проверялись наблюдениями, складывались в новое и интересное. И всегда он весь был в том, что говорил. Весь дом отдыха он зарядил своею напряженною умственною жизнью, всех заставлял больше думать и бо́льшим интересоваться. Сейчас Борька безоглядно увлекался эллинством, изучал греческий язык, уже читал Гомера. Кругом было солнце, зной, красивые молодые тела, постоянные телесные упражнения. И все это становилось ярче, углубленнее и серьезнее, озаренное эллинским прожектором Борьки.

На откосе рощи, за канавою дороги, водоносы расположились на отдых. Кувшины и бидоны, полные сверкающей водой, рядком стояли на валу канавы, а ребята лежали под березами, сплетшись в одну огромную, живописную кучу. В зеленой тени сверкали золотистые, бронзовые и оливковые тела, яркими цветами пестрели женские косынки и блузки.

— Борька! Исанка! Отдых!

Борька опустил свой бидон на землю, отер потный лоб и весело замешался в общую кучу. Руки переплетались с ногами, у наклонявшихся девчат в вырезах блузок мелькали на миг, обжигая душу, грушевидные груди. Стенька Верхотин лежал головой на коленях Тани, а она, наклонившись, гладила его курчавую голову.

Исанка поставила свой кувшин в ряд с другими и села сбоку, не мешаясь в кучу.

Можаев враждебно спросил:

— Ты почему в сторонке села?

Исанка презрительно ответила:

— Тебя не спросила! Жарко!

— Нет, не жарко потому что. Ты всегда держишься в сторонке. Вон, Борька чуть тронул за руку,— «ах, ох, это неприлично!» Мещанка ты, интеллигентка! Нет у тебя настоящей товарищеской простоты.

Вера Горбачова поддержала Можаева:

— Как будто в старорежимные времена в великосветской гостиной... Тургеневская девушка.

Борька расхохотался.

— Товарищи, что это? Мы еще начнем вводить регламенты, как держаться и где садиться! Черт знает! Исанка, будь сама собою и плюй на всех!

Можаев проворчал:

— Черт с ней, пускай будет сама собой! Очень мне нужно!

Стенька Верхотин лениво и строго сказал:

— Можаев! Не бузи! Покультурнее нужно быть.

Поднялись, поставили кувшины на головы, пошли дальше. В такт шагу задекламировали все вместе:

Довольно жить законом,
Данным Адамом и Евой!
Клячу истории загоним...
Левой! Левой! Левой!

Можаев с виноватым видом подошел к Исанке.

— Ты не сердись, что я тебя так. Я задеваю тебя, а все-таки очень люблю.

— А мне надо?

Отодвинулась от него и дружески взглянула на подходившего Борьку.

Борька привык первенствовать и привык к жадно слу-

шающим, влюбленным девичьим глазам. Но Исанка становилась ему все желаннее и милее, потому что у нее были гордые и дерзкие глаза, потому что она не позволяла к себе прикасаться.

Он тяжко вздохнул.

— Эх, Исанка! Завтра уезжать,— как не хочется! Я так к тебе привык!

Она из-под руки, придерживавшей кувшин, взглянула, не умея сдержать радости.

Над густолистыми ясенями забелел вдали бельведер дворца. Широкая подъездная аллея. Потом веселая лужайка с цветниками перед террасой. И огромный двухэтажный дворец-красавец,— раньше графов Зуевых, теперь — студенческий дом отдыха на сто двадцать человек.

Прошли через лужайку к боковому двору и перед кухнею стали сливать свои кувшины в бочку. Потом на спортплощадку. Большая партия вузовцев, отжившая свой месяц, завтра покидала дом отдыха, на место их приезжали другие. И все спешили последний день наиграться. Спортплощадка была разбита на лужайке перед дворцом.

Футболисты с толстыми икрами и голыми коленками метались по полю, выкатив глаза и по-бычачьи наклонив головы; за проволочной сеткой мелькали ловкие фигуры теннисистов, вздымались ракетки, и пулями летали мячи. На дороге играли в городки.

К Борьке подбежала Зина Арнаутова и, глядя влюбленными глазами, сказала:

— Борька, мы сейчас в баскетбол собираемся играть. Будь у нас рефери!

Она была в красной физкультурке, с голыми руками и ногами, легкая, тоненькая. Борька молча взял ее за руки ниже запястий и попытался поставить на колени. Она изгибалась, стараясь не поддаться, и смеялась радостно. Раньше, до Исанки, Борька много ходил и говорил с нею, потом отстал, и она тайком следила за ним грустными глазами. Сейчас на душе у Борьки было хорошо и светло, всем хотелось сделать приятное. Он ласково улыбнулся, стараясь изогнуть ей руки. Потом сказал, как будто потеряв надежду:

— Нет, с тобой не справишься!.. Ну, пойдем.

Были две сыгравшиеся за месяц баскетбольные жен-

ские команды по пять человек. Завтра многие из них уезжали, и сегодня состязались в последний раз.

Борька, с свистком в губах, расхаживал вдоль площадки и зорко следил за играющими. Ах, хорошо! Мяч быстро и плавно перелетал из рук в руки, прыгал по земле, ловко ударяемый ладонью, опять взлетал; крутясь вокруг своей оси, устремлялся дугою к сетке. Плавно изгибались тела, грациозно мелькали нагие руки, как будто живое море ласково плескалось по площадке. Исанка была центровым игроком и капитаном юбочниц: одна партия была в юбках, другая в шароварах. У противной партии в центре играла Зина. И обе они стоили одна другой,— две олицетворенные волны,— легкие, подвижные, гибкие. Борька любовался обеими, когда, вводя мяч в игру, он подбрасывал его, а они, близко стоя с заложенной за спину рукой, готовились к прыжку.

Захватывала слаженность игроков, красота строго организованных движений, грация тел. Но еще больше Борьку восхищала общая дисциплинированность. Всякое слово судьи принималось играющими, как неоспоримое слово рока,— а Борька был судья очень строгий, почти придирчивый; ни одним словом не перекидывались играющие, только, когда нужно,— призывный хлопок в ладоши; не касались друг друга, не толкались, не задерживали мяча; каждая бегала, как будто одна была на площадке, и мяч летал без остановки, как будто живой. Вот где обучение культурности и дисциплине.

Через двадцать минут Борька объявил перерыв. Уселись на длинной скамейке около площадки. Солнце садилось, дворец под его светом сиял своим огромным белым фасадом, вдали зеленую полянку обступали огромные, тихие дубы парка. И кипела молодая, здоровая, радостная жизнь, набираясь сил на работу и будущее. Представилось, как было тут раньше: вяло и скучающе бродили среди этой красоты вырождающиеся, изнеженные люди, не умея вложить в жизнь ни поэзии, ни страсти. И были эти бездельные люди владельцами всех богатств вокруг за то, что предок их услаждал своим офицерским телом ночи развратной старушки-императрицы. И вот — «священная собственность»... Хе!

Борька был сын мелкого, разорившегося помещика, но революцию любил. Потерял он от нее немного, а в себя верил крепко, верил, что сам сумеет проложить себе в жизнь

дорогу. Любил он революцию за то, что она все сдвинула со своих мест, что открывала головокружительные возможности к творчеству нового.

Опять играли. Колокол зазвонил к ужину. Исанка пошла ужинать к себе. Она жила не в доме отдыха. Ее дядя был помощником завхоза дома отдыха, она жила лето у него. Занимал он флигель за прудом.

Борька сказал:

— Я тебя провожу.

— А вам ужинать.

— Ну, опоздаю. Без ужина. Неважно.

Пошли ясеневой аллеей к плотине пруда. Исанка сказала:

— А знаешь, я уже чувствую, как отзывается на спине наше ношение кувшинов. Легко и приятно идти прямо, как будто посторонняя сила поддерживает.

— Да? Вот видишь!..— Борька заговорил с воодушевлением: — Это лето для меня какое-то совсем особенное. Как будто у меня только что раскрылись глаза на человеческое тело, как оно может быть прекрасно, как важно, чтоб оно было здорово и прекрасно, и как мало мы об этом думаем. И каждый день меня на этот счет озаряют гениальнейшие идеи. Сегодня, например... Скажи, ты любишь смотреться в зеркало?

— В зеркало?.. Как сказать...

— Ну, ясно, конечно,— не знаешь, как сказать. Ты хорошенькая, конечно, смотришься в зеркало, но как это сказать!.. А нужно твердо знать вот что: человек должен постоянно смотреться в зеркало. Если он будет видеть свое тело,— ему захочется, чтоб оно стало красивее, мускулистее, здоровее. И лицо свое нужно видеть почаще, чтоб оно было светлое, с ясными глазами, чтобы не было брюзгливых складок в губах. Тело так же действует на душу, как душа на тело. Если будешь ходить прямо, то и поникшая душа выпрямится; если сгонишь угрюмость с губ, она сойдет и с души.

Свернули около плотины на тропинку, перешли через пролом в кирпичной ограде, обросшей крапивою.

— Ну, не прощаюсь. После ужина приходи во дворец, смотри. Придешь?

— Ага.

Исанка пошла по тропинке к дому, а Борька повернул назад. Он медленно шел ясеневой аллеей. Солнце уже село.

На западе столбами стояли странные облака — теплого, жемчужно-серого цвета. Как будто из-за горизонта тихо вынеслись огромные фонтаны и замерли в воздухе, и царили над всею землею. Борьку поразило, какая тишина кругом. Он остановился. За канавкою слабо дышала цветущая рожь и как будто прислушивалась к чему-то, сдерживая дыхание. Так было тихо, что когда незаметный ветерок вдруг закачал над головою ветку ясеня, показалось, что и ветка живая и шепот листвы самостоятельный.

Борька стоял, прислонившись плечом к стволу ясеня. Все больше охватывала душу эта колдовская тишина. Он произнес вполголоса:

Есть некий час всемирного молчанья...

Еще страннее и таинственнее стала тишина от этих таинственных слов... Как там дальше? Что-то еще более таинственное и вещее. Как будто не просто стихи, а дряхлая сивилла медленно шепчет мало понятные, не из этого мира идущие слова. И на остром ее подбородке — жесткие, седые волоски. Но как же там дальше?

Ах, как хорошо! Как хорошо! Вся радость, весь свет и счастье, которые Борька впитал в себя в этот сверкающий месяц, вдруг разом заполнили душу. И вся она трепетала от ощущения нарастающего, приближающегося какого-то блаженства, которому нет и не будет имени.

Есть некий час всемирного молчанья...

Ну, как же там дальше?.. Средь тихой теплыни чуть слышно звенела мошкара в ржи. За бугром, в невидимой деревне, изредка лаяла собака. Вдруг оттуда донесся закатистый детский смех,— совсем маленький ребенок радостно смеялся, заливался тонким колокольчиком. Звуки отчетливо доходили по заре. Борька светло улыбался. И еще раз ребенок залился смехом. И еще. И прекратилось. Борька ждал долго, но уж не было: видно, перестали смешить или унесли в избу. Стало опять тихо.

Есть некий час всемирного молчанья...

И вдруг в памяти медленно, уверенно выплыло дальше:

И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес...

По дороге от деревни, держась за руку, шли Стенька Верхотин и Таня. Какие славные ребята: и тут, на отдыхе, не бросают общественной работы. Он помогал в деревне организовать комсомольскую ячейку, она развернула широкую работу в женотделе. И как хорошо идут, держась за руку,— какая хорошая товарищеская пара!

Подошли. Пошли все вместе ко дворцу. Борька сказал:

— Ну, Стенька, Танька! Может, никогда больше не увидимся. Вы в Москву, а я в Ленинград... Хорошо месяц прожили, правда?

Стенька широко улыбался скуластым, бритым лицом.

— Ясно. И знаешь? Ты мне много дал за этот месяц. Сначала меня возмущали все эти твои эллинские утонченности, постоянные твои разговоры о теле, здоровье, красоте. А потом я убедился, что настоящая физкультура именно требует такого опоэтизирования и углубления и что греки в этом деле были не дураки.

— Други мои милые! Ой, не дураки они были!

Борька крепко обнял за шею Стеньку и Таню и так, обнявшись втроем, они подошли ко дворцу.

Отужинали. В огромные окна дворца глядела звездная ночь. В белом зале с ненатертым паркетом играли на рояли, танцевали, декламировали, пели. В темно-вишневой гостиной, со старинными картинами в тяжелых золотых рамах, на всех столах и столиках играли в шахматы и шашки.

Исанка вошла в гостиную и сразу нашла глазами Борьку,— по высокому его росту, по крепкому, мужественному голосу и по тому, что глаза всех окружающих загорались оживлением и мыслью. Васька Шилин, лучший шахматный игрок, с насмешкой спрашивал:

— Контрреволюционная игра?

— Да, контрреволюционная. Так же, как футбол. Футбол и шахматную игру должны бы насаждать в рабочем классе только фашисты, чтобы отучать рабочих думать над серьезными вопросами.

Можаев из-за шахматной доски враждебно возразил:

— Шахматы как раз приучают думать.

Борька с издевательской насмешкой доказывал, что из культурных способов отвлечения людей от серьезных умственных запросов два самые верные и незаметные — футбол и шахматы. Футбол — для людей со слабою умствен-

ностью: вся кровь уходит в ножные мышцы, и для мозга ничего не остается. Шахматы — для людей помозговитее. Вот, поглядите кругом, не было бы шахмат,— один бы книжку читал или газету, другой, кто умом устал,— гулял бы, занимался бы здоровым спортом.

— Э, дурак! Сам Ленин играл в шахматы.

— Возражение! Атлету играть десятифунтовыми гирями — один отдых, а нам, брат, с тобою это — работа, да еще какая!

Стенька слушал с довольной улыбкой, другие сердились и яро возражали, но Борька всех побивал. Исанка давно заметила,— он везде искал спора, чтоб упражняться в диалектике, изучать психологию спорящих и — наслаждаться своим превосходством.

Борька увидел Исанку, кончил спорить, подошел к ней.

— В духоте какой сидят. Пойдем, пройдемся.

Вышли на террасу, спустились в парк. Он хотел взять ее за руку, но она осторожно высвободила ее и с удивлением спросила:

— Неужели ты это серьезно про шахматы?

— Немножко бузил, конечно, но в общем настаиваю. Про самого себя скажу: когда голова работает, лучше почитаю в чуждой мне области или беллетристику. А не работает,— отдохну поумнее, чем тратить мозговой фосфор на передвижение куколок по квадратикам.

Они шли над Окой, на горе сиял окнами обоих этажей дворец, а вверху шевелились густые звезды.

Борька спросил:

— Ну-ка, Лебедя найдешь?

— Ну, конечно. Вот он, в Млечном Пути.

— Покажу тебе еще на прощанье Козерога,— январский знак Зодиака. Эти три звезды Орла ты знаешь. От них проведи линию вниз. Дай-ка руку... Вот так три звезды Орла. Ниже идет, как продолжение, линия мелких звезд...

Он в темноте отмечал расположение звезд, надавливая пальцем на ее ладонь и предплечие, и радовался, что она не отнимает руки.

Долго бродили по парку. Исанка сказала:

— Мне пора. Неловко,— все лягут спать, придется стучаться, будить.

Он проводил ее до их флигеля. В окнах везде уже было темно. Окно Исанкиной комнаты выходило в сад и было открыто.

— Ну, прощай!

И протянула Борьке руку. Борька обеими руками сжимал ее руку и смотрел ожидающими глазами.

— Ну... прощай!

Исанка подтянулась на руках, вскочила на подоконник и прыгнула в комнату. Зажегся огонь и осветил комнату изнутри.

Борька вполголоса позвал из чащи сирени:

—Исанка! Смотри-ка: взошел Юпитер.

Она высунулась.

— Где?

— От тебя, должно быть, еще виднее. Сейчас покажу.

Вскочил на подоконник, сел.

— Нет, тут угол сарая мешает. Вот сюда подайся, вправо. В созвездии Водолея. Видишь?

— Ага!.. Ах, красота!

Замолчали, любуясь. Борька сказал:

— Юпитер еще в полужидком состоянии, в его теплых и неглубоких морях только-только начинает зарождаться органическая жизнь.

— А ты знаешь...— Исанка мечтательно глядела на звезду.— Знаешь, в прошлом году я пережила душою это рождение живой материи из косной природы. Так было удивительно! Я была с экскурсией в Крыму. Раз я ушла одна далеко от всех, над морем между скал нашла себе местечко, разделась, лежу на солнце. Серые скалы, небо темно-синее, море бьет ровными, ритмическими ударами. И постепенно я перестала чувствовать себя как что-то отдельное, странно было подумать, что я сюда откуда-то сейчас пришла. Казалось, я давно уже, с незапамятных времен, лежу здесь, как эти серые камни, под ровные удары волн. Где море, где камни, где я? Мне казалось, я даже не могу шевельнуться по своей воле, а вот, если подхватят волны или ветер, то сладко закачаюсь и поплыву куда-то,— и совсем не мое дело, куда. И вдруг...

Голос ее задрожал взволнованно.

— Вдруг из-за скалы вылетела чайка. Белая, яркая, быстрая, с живым, своим полетом, совсем другим, чем ровные движения волн. Что-то странное случилось, я не могу передать. Теперь это? Миллионы лет назад? Но я вдруг почувствовала, что чайка эта вот сейчас только там за скалою родилась из всего мертвого, что было кругом,— из влаги моря, из прибрежного ила, из солнечного блеска. Роди-

лась живая, свободная, сбросила с себя косность — и полетела, как хочет, куда хочет, вкось, вверх, вниз, наперерез ветру и волнам. Как будто миллионы лет эволюции слились в один миг. Я вскочила, взмахнула руками,— почувствовала тоже, что и я, и я — я не камень, не волна, что я свободная, как эта чайка,— свободная, ничем не связанная, с живым, своим полетом!.. Удивительное было состояние,— как будто бы только что я совсем по-особенному родилась на свет.

Борька изумленно воскликнул:

— Исанка! Да как же это у тебя интересно!

Она поморщилась и сказала:

— Потише! Услышат... И вообще,— прощай!

— Слушай, ведь, оказывается, никому ты своим приходом не помешала, окно открыто,— пойдем, еще погуляем.

Она поспешно и резко ответила:

— Нет!

— Почему же?

— Ну... Не хочу больше...

— Ладно, тогда прощай. Я буду в Ленинграде, ты в Москве. Если напишу тебе, Исанка,— ответишь?

— Ясно,— отвечу.

— А завтра, когда автомобиль подадут, придешь нас проводить?

— Ну, приду же!

Борька пристально поглядел ей в глаза, вздохнул и медленно сказал:

— Прощай.

И спрыгнул с подоконника в кусты.

Пошел бродить по парку. В душе была обида и любовь, и пело слово: «Исанка!» В парке стояла теплынь, пахло сосною. Всюду на скамейках и под деревьями слышались мужские шепоты, сдержанный девичий смех. На скамеечке над рекою, тесно прижавшись друг к другу, сидели Стенька Верхотин и Таня.

Хотелось быть совсем одному. Борька ушел в глубину парка, где начинались обрывы над Окою, поросшие березою и дубом. На откосе, меж дубовых кустов, была полянка, вниз от нее, по склону, рос донник: высокая, кустистая трава с мелкими желтыми цветочками, с целомудренным полевым запахом. Сзади поднимался над поляной огромный дуб. Борька сел. Тишина все такая же удивительная,

Внизу, в чаще обрыва, отчетливо был слышен шелестящий по сухим прошлогодним листьям осторожный шаг крадущегося барсука. На душе было необычно чисто и светло, и тесно было в груди от радости, которая переполняла ее.

Борька лег на спину, закинул руки за затылок и смотрел вверх. Звезды тихо шарили своими лучиками в синей темноте неба, все выше поднимался уверенно сиявший Юпитер, и девически-застенчивым запахом дышал чуть шевелившийся донник. Борька заснул.

Когда проснулся,— уже светало. Теплый пар курился над поверхностью Оки, вдали темнели выбегавшие в реку мысы. Небо было зеленоватое, и все кругом ясно было видно в необычном ровном полусвете без теней. Борька вскочил на ноги. И сейчас же в душе опять запело: «Исанка!»

Он пошел к парникам. Крадучись, чтоб не увидал садовник, нарезал в розариуме огромный букет роз. Черные, пунцовые, розовые, телесные, белые. Обрызганные росой. С прохладным запахом. Окно Исанки, наверно, осталось открытым. Он бросит ей в окно прощальный букет.

Перебрался через пролом в кирпичной ограде. Вдали, в окне Исанки, что-то белело. Он удивленно вглядывался, подошел ближе. У окна сидела Исанка.

Борька осторожно шепнул из кустов:

— Исанка!

Она вздрогнула, вдруг встала во весь рост и с широко открытыми глазами протянула руки вперед.

— Борька!

Он вскочил на подоконник, уронив букет; они схватили друг друга в объятия и крепко припали к губам.

— Я ждала, что ты придешь! Ты должен был прийти! — Она оторвала от него свое бледное лицо, глубоко заглянула в глаза.— Только отчего так долго?

— Ты... ты с тех пор ждала?

— Ну, да!

Крепко обняв, он целовал ее в губы, в щеки, в глаза и со стыдом думал:

«А я-то... спал там, на полянке. Вот дерево!»

Они вылезли в окошко, ушли в парк и все утро проходили, держась за руки, и говорили, говорили. Он спросил:

— Зачем ты меня так резко прогнала?

— Я... я не знаю. Что-то такое большое было в душе, страшное. Мне необходимо было остаться одной.

— Хорошо, что я не обиделся и все-таки пришел сейчас.

Она благодарно сжала его руку.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Всю зиму они переписывались. Его письма были очень умные и интересные, ее — сероватые, когда была умною, захватывающие, когда писала о своих переживаниях. Каждое письмо связывало их все больше, и к весне через письма выросла между ними большая, крепкая любовь. Он немножко испугался этой любви, боялся, что она его свяжет. Но все-таки написал: женимся! И подал заявление о переводе из ленинградского университета в московский. А летом ему удалось с большим трудом опять попасть в тот же дом отдыха над Окою, где рядом, в доме дяди, опять проводила лето Исанка.

Они виделись очень часто. Участвовали в общих прогулках, играх, физкультурных упражнениях, но все это было второстепенное, и они считали минуты, когда останутся одни.

Вечером пили чай на небольшой деревянной террасе флигеля, где жил дядя Исанки, Николай Павлович, помощник завхоза.

Борька стоял с ним у перил. Николай Павлович говорил:

— Вот эта вся лужайка перед террасой и вся трава в этом уголке сада, за прудом, отдана в мое распоряжение. Запасаю траву для двух своих коров.

Николай Павлович — суетливый человек, постоянно потирает руки, под носом — маленький темный треугольничек волос на выбритой губе. Во всей его фигуре — как будто он сейчас хочет куда-то предупредительно броситься, что-то сделать для собеседника. Это у него от застенчивости перед мало знакомыми людьми. Наедине со своими он спокоен и даже медлителен.

— А кто вам будет косить?

— Найму. У самого сердце сейчас плохое. Когда-то косил.

— Давайте, я вам скошу.

Николай Павлович метнулся.

— Что вы, что вы! Чего ж вам беспокоиться!

— Я люблю физические упражнения, для меня это будет удовольствие. Исанка, ты умеешь косить?

— Нет.

— Хочешь, скосим лужайку эту? Я тебя научу.

— Ага! Очень рада.

Чай разливала Лидия Павловна, мать Исанки. Она была вдова врача и жила у брата, вела у него хозяйство. Сухощавая, с изящным лицом и медленными движениями. Она с грустью следила за Исанкой: коробило ее, и не могла она привыкнуть, что в молодежи так легко теперь говорят друг другу «ты», зовут друг друга уменьшительными именами. Она видела, как легко одевались девушки, как они, обнявшись, ходили с молодыми людьми. Сердце ее дрожало и болело за Исанку, поэтому в глазах у нее всегда была грусть и тревога. А это лето тревога еще усилилась. Лидия Павловна видела, как Исанка в присутствии этого высокого студента вся начинала светиться внутренним светом, как часто этот студент к ним приходит. К чему все это поведет? Исанка — всего только на третьем курсе медицинского факультета, он тоже еще юный студент... А теперь все это у них так просто!

И она боком глаза смотрела на подругу Исанки, Таню Комкову: на лице у нее были некрасивые коричневые пятна, грудь разжидилась, живот выпячивался вперед... Как она теперь будет учиться?

Таня глядела бодро и весело. Она это лето жила не в доме отдыха, а в деревне,— заведовала избой-читальней. Она оживленно рассказывала о своей избаческой работе, об организации крестьянок, о злобе на нее мужиков. Лидия Павловна слушала и думала: все это хорошо,— но зачем же тогда ребенок?

Скоро разговором незаметно овладел, как всегда, Борька. После чая Таня встала. Борька сказал:

— Ну, и я с тобой. Пора.

Они вместе вышли. Он проводил ее до самой околицы деревни, потом медленно пошел назад. В парке шла обычная ночная жизнь, слышался мужской шепот, девичий смех. Борька темными лесными тропинками пробрался к пруду, перескочил в густой крапиве через кирпичную ограду. В этой части сада никого не было слышно. В конце запущен-

ной боковой аллеи, у канавы, за которою было поле, стояла старенькая скамейка.

Борька сидел на скамейке и ударял срезанным ивовым хлыстиком по голенищу сапога. В душе волновалось жадное нетерпение. Вчера, на прощание целуя Исанку в щеку, он крепко обнял ее и, как будто нечаянно, попал ладонью на ее грудь. И весь день сегодня, задыхаясь, он вспоминал это ощущение. Тайные ожидания и замыслы шевелились в душе. Снова и снова всплывавшее воспоминание сладострастным жаром обдавало душу.

Затрещали в сумраке аллеи сучки под ногами. Легкою своею походкою быстро подошла Исанка и сказала:

— Долго я сегодня?

Борька раскрыл ей навстречу объятия. Они сели рядом и тесно прижались друг к другу.

— Очень долго сегодня мама не уходила спать. Помогала дяде сводить счеты. Заметила бы, что ухожу.— Исанка повела плечами.— Так противно, что все время прячемся, скрываемся. Отчего не прямо?

— Что «не прямо»? Не сесть у вас на террасе так, как мы сейчас сидим?

Исанка засмеялась и теснее прижалась к его боку под мышкой. Борька медленно целовал ее в мягкие волосы. Они замолчали.

Теперь наедине они вообще больше молчали. Хотелось какого-то другого общения, не словесного; хотелось быть ближе, ближе друг к другу, приникнуть щекою к плечу, губами к виску, и молчать, отдаваясь горячим токам, перебегавшим из тела в тело. Был какой-то особенный, бессловесный, непрерывный разговор взглядами,— радостными, дерзкими, стыдящимися; прикосновениями; поцелуями. Руки все время оживленно беседовали между собою неуловимо-легкими оттенками пожатий; таких тонких оттенков не смогло бы передать никакое слово.

Исанка сказала:

— Сними пенсне, мешает.

Борька снял. Исанка прильнула щекою к его щеке. Он медленно целовал ее в маленькую, мягкую ладонь. Сквозь майку он ощущал, как к его груди невинно прижималась молодая девическая грудь. Его особенно волновала эта невинность прикосновения,— Исанка, очевидно, совершенно не понимала, как это на него действует. И Борька боялся шевельнуться, чтобы она не переменила положения.

Сзади, в канаве, что-то хрустнуло. Они отшатнулись друг от друга. Послышался шорох и приближающийся треск. Борька заговорил обычным, несдерживаемым голосом, как бы продолжая разговор:

— Просто нельзя поверить, что «Вильгельма Мейстера» писал тот же человек, который создал «Фауста»: такая рыхлая, вялая канитель, главное,— такая художественно самодовольная!..

На валу зачернело, послышалось настороженное рычание. Исанка шепотом позвала:

— Цыган!

Цыган бросился ласкаться. Они засмеялись. Исанка переспрашивала:

— Так как, товарищ, говорите? «Вильгельм Мейстер»— самодовольная канитель? Запомни, Цыган, это для твоего говорилось поучения!

Борька охватил Исанку и жарко стал ее целовать, и, как будто нечаянно, попал рукою на ее грудь. Исанка затрепетала и стыдливо сдвинула его руку к поясу.

— Ну, Исанка, мне так удобнее!

— Боречка... Не надо!..

Она это сказала таким жалобным, молящим голосом, что у Борьки опустилась рука. Он нахмурился и стал играть с Цыганом. И очень этим увлекся: теребил Цыгана за уши. Цыган игриво рычал и небольно хватал его зубами за руки. Лицо Борьки было холодное, глаза смотрели враждебно.

Исанка ласково просунула руку под его локоть.

— Ты, правда, так думаешь о «Вильгельме Мейстере»? Значит, мне его не стоит читать?

Борька ответил деревянным голосом:

— Не стоит.

— Борька, ты за что-то рассердился на меня.

Он помолчал.

— Не рассердился... А что-то, правда, происходит между нами совсем непонятное. Ты так от меня отшатнулась, как будто к тебе прикоснулся какой-то гад. За что?

Исанка тоскливо повела плечами и опустила голову.

— Так не нужно делать. Мне неприятно.

— Ну, слушай, Исанка, ведь это же смешно! Тебе не двенадцать лет. Ты согласна быть моей женой. Если бы наше материальное положение было другое, мы бы уж поженились. А ведь ты медичка, уж по этому одному, я надеюсь, ты знаешь... что любовь... что это не одни только... поцелуи.

И как же ты думаешь? Ты станешь моею женою, а я все не буду иметь права ласкать тебя, где захочу... раздевать...

Исанка дрогнула и, страдальчески наморщившись, закусила губу.

Он продолжал:

— А мне именно в этом видится огромнейший смысл настоящей любви. Случилось что-то, пала какая-то непереходимая преграда,— и стало дозволенным, естественным, желанным все, о чем раньше даже подумать было бы бесстыдством. И ты знаешь?..

Голос его стал нежным, ласкающим. Он привлек к себе Исанку и крепко поцеловал в волосы. Она радостно прижалась.

— Ты знаешь? Вот, когда мы с тобою сидим, как сейчас, когда я сквозь одежду ощущаю, как ты вся прильнула ко мне,— я чувствую, ты такая близкая мне, такая *моя*. А когда ты вдруг гадливо отшатываешься, когда я чувствую, что прикосновением своим наношу тебе форменное какое-то оскорбление,— я совершенно начинаю теряться: как это может быть? Почему то, что мне дает такую радость, для нее — только грязь и стыд? Не ошибся ли я? Может быть, все это просто недоразумение: дружеское расположение ко мне, интерес к моим умственным переживаниям ты приняла за любовь. Иначе как возможно такое отвращение?

Исанка виновато молчала и не знала, что возразить. Преодолевая себя, крепче прижалась к Борьке и прошептала:

— Неужели ты можешь сомневаться, что я тебя, правда, люблю?

Он целовал ее в затылок, где вились мелкие золотые волосики, и шептал:

— Милая ты моя, хорошая девочка!

Опять замолчали. И опять пошел таинственный, бессловесный разговор легкими рукопожатиями, поглаживанием волос, долгими поцелуями, соприкосновением тел. Время проходило странно быстро. Как будто две-три минуты назад произошла размолвка, а уже заметно передвинулись звезды на небе. Борька посадил Исанку себе на колени, крепче прижал ее, и сильнее между ними пошел жаркий ток. Постепенно и незаметно, опять как будто нечаянно, он положил ладонь на ее грудь, чуть-чуть только касаясь ее. Почувствовал, как Исанка опять вся внутренно затрепетала, но не отнял руки, а крепче нажал ее и с вызовом сказал:

— Я не нечаянно руку сюда положил!

Исанка замолчала, опустив голову и закусив в темноте губу, вся внутренно сжавшись, как будто под пыткою. А он вдруг расстегнул у нее на блузке одну пуговичку, дернул другую,— она оборвалась,— быстро провел руку под блузку. Исанка скорчилась на его коленях и крепко схватила обеими руками его руку.

Сзади, в канаве, опять затрещало. Они настороженно выпрямились, хотя знали, что это все тот же Цыган, поэтому даже не обернулись. Но затрещали шаги тяжелые, и мужской голос сказал:

— Цыган!

В зеленоватых сумерках июньской ночи на валу появилась из канавы черная фигура Николая Павловича.

Исанка слабо вскрикнула и вскочила с колен Борьки, сжимая рукою расстегнутую на груди блузку. Борька растерянно остался сидеть. Николай Павлович тоже стоял растерянно и смотрел глупыми глазами.

Спокойным, самым обыкновенным голосом Борька заговорил:

— Что это, вы тоже соблазнились ночью, гуляете? Я думал, вы такими пустяками не занимаетесь.

— Нет, я с ночного шел... Наши лошади санаторные на ночном,— ходил посмотреть, не спит ли ночник. И назад пошел напрямик, через сад...

Борька ужасно заинтересовался.

— А скажите, неужели вы никогда так, без нужды, не гуляете? Ну, вот такая, например, ночь, как сейчас: я места дома не мог найти, с самого ужина шатаюсь по парку и по вашему саду. И Исанку встретил сейчас совсем пьяную от восторга... А вы, если бы не надо было идти на ночное,— так бы и не вышли из дому?

Исанка, закусив губу, неподвижно стояла и не вмешивалась в разговор. Они еще поговорили напряженными голосами. Николай Павлович сказал, что ему завтра рано вставать, и пошел к дому по нечищенной аллее, шурша прошлогодними листьями.

Исанка все стояла неподвижно. Борька беззвучно засмеялся и хотел обнять ее. Но она гадливо, не скрывая теперь этой гадливости, передернула плечами и резко сказала:

— Пора домой.

Он разочарованно спросил:

— Уже?

Исанка нервно вздрогнула.

— Гадость! Какая гадость!.. Этого не нужно делать, что мы делаем!

Борька сердито закусил было губу, но овладел собою и ответил покорно и печально:

— Как хочешь.

Она слабо поцеловала его и задумчиво пошла по аллее.

Горела на столике свеча. Исанка сидела на постели, прикусив губу, пришивала к блузке новую пуговку, и слезы медленно капали на голубую блузку.

Борька вместе с Исанкой выкосил лужайку перед домом Николая Павловича и отведенную ему часть сада за прудом. Косить Исанка легко научилась. Потом ворошили и сушили сено. Им хорошо было, потому что были вдвоем.

На Петров день Николай Павлович и Лидия Павловна уехали в Калугу, на именины к старшему их брату, фининспектору. Днем было жарко, хорошо, а к ночи вдруг на востоке потемнело и стало поблескивать.

Исанка волновалась: такое зеленое, сухое сено,— и вдруг замочит. Решили с Борькой,— сколько можно будет, стаскать на террасу; а в саду, нечего уже делать, придется только скопнить.

В темневших сумерках они доверху заполнили террасу душистым сеном,— уместилась вся лужайка. Потом скопнили по саду лежавшее в валах сено.

Потом долго гуляли по парку,— как всегда теперь, не умея определить, прошло ли полчаса, или три часа.

На востоке, за Окою, ярко-белым светом широко вспыхнул небосклон, слепя глаза. И тихо-тихо было. И томительно тепло. Душною и тягостною чувствовалась одежда; хотелось все сбросить с себя, чтобы теплый воздух ласкал свободное тело.

Исанка медленно сказала странным голосом:

— Будет гроза.

Борька ответил:

— Будет. Только не из-за Оки. Я заметил: гроза всегда приходит к нам с юга или с запада, а не с востока.

— А земля такая сухая и теплая. Хочется прижаться к ней.

Борька поднял руку Исанки и короткими поцелуями це-

ловал в мягкий сгиб локтя. Исанка вдруг быстро повела плечами и выпрямилась.

— Боря, пора!

— Еще что!

— Нет, Боря, правда. Поздно.

— Да что ты, с ума сошла? Всегда говоришь,— неприятно, что мать видит, как ты поздно приходишь, а сегодня что? Никого дома у вас нет.

Исанка настойчиво твердила:

— Нет, нет. Уж пора.

Борька неожиданно согласился и больше не возражал. Он сказал с неопределенною улыбкою:

— Ну, пойдем.

Они шли в теплой тьме лесной дорожки, под сводами нависшего сверху орешника. Сухо пахло сосновой хвоей. Борька держал Исанку за руку выше локтя, слегка пожимал пальцами упругие ее мускулы, и из пальцев его лилось в тело Исанки какое-то томное, жаркое электричество. Глаза ее блестели недоуменно и тревожно.

Перешли через пролом в кирпичной ограде, подошли к дому. Исанка протянула руку.

— Ну, прощай!

Борька беззвучно смеялся, смотрел на нее и не протягивал в ответ руки. Вдруг крепко обнял и пошел с нею вместе на террасу. Она билась в его сильных объятиях, упиралась в ступеньки, но он взвел ее наверх. Изменившимся, слегка задыхающимся голосом Борька сказал:

— Нет никого во всем доме, мы одни. Совсем одни.— Крепко обнял ее и горячо шепнул на ухо: — Представь себе: как будто никуда уже тебе не нужно от меня уходить, никто не вправе грустить, что ты со мною поздно засиживаешься. Нечего бояться, что кто-нибудь нас увидит...

— Неужели это когда-нибудь будет?

— Сядем.

Исанка села на сено, Борька растянулся рядом и прижался щекою к ее плечу.

— И ты... ты не говоришь то и дело: «нельзя!», «не надо!» Все, наконец, можно, ни на что нет запрета...

Они затихли. И долго молчали. Исанка несколько раз тревожно выпрямлялась, пыталась отвести руки Борьки, но он крепче сжимал ее. Она шептала, стыдясь:

— Боря, не надо!

— Вот видишь, опять «не надо!»

Руки ее сопротивлялись упорно, но не хватало силы удерживать сильные руки Борьки. А ласки его становились все дерзче. Изнутри у Исанки поднималось неведомое что-то, сладкое и острое. Тревога, испуг переполнили душу.

— Погоди, что это там? — Исанка встрепенулась и отвела от себя руки Борьки.— Кто-то идет.

Они стали вслушиваться. За неподвижным бором поблескивало, доносились глухие перекаты. Кругом было очень тихо. Среди этой замершей тишины что-то подозрительно шуршало в бузине у кирпичной ограды.

Исанка, застегивая на груди кнопки кофточки, слушала. Щеки ее были красны, настороженные глаза блестели. Но вглядывалась она вовсе не в бузину, откуда шел шорох, а как будто в себя куда-то. Борька рассмеялся.

— Миленькая моя! Это тебя, вправду, собака испугала в бузине? Вот ты какой стратег! Ловкий маневр. Молодчина девка!

Исанка виновато и блаженно засмеялась. Он бурно охватил ее за плечи, опрокинул в сено и стал целовать в шею, в плечи, в грудь. Она больше не противилась и затихла, и дышала все тяжелее.

Взблеснула далекая молния за бором и вздрагивающим, перемежающимся светом осветила Исанку. Борьку поразила новая, невиданная красота ее лица. Губы были решительно сжаты, огромные глаза блестели шедшим изнутри сосредоточенным светом. И Борька тоже стал для Исанки необычен,— страшный, неодолимо-властный и по-новому милый. Хотелось быть покорной и безответной, отдать ему все. Не было больше неловкости, не было стыда. С рокотом несся на души огненный вихрь, и все сейчас должно было закружиться в безумии страсти и счастья.

— Исанка... Исанка... Моя?

Ярким бело-голубым взблеском вспыхнуло небо. Еще ярче, обжигая душу, сверкнула в расстегнутых одеждах девичья нагота. Миг, и случилось бы что-то огромное, неслыханное и потрясающее, после чего в изумлении и восторге они бы спросили: что такое, что такое сейчас было?

Борька горячим шепотом спросил:

— Так ты не боишься, что мы увлечемся?

Она задорно ответила:

— Я вообще люблю, когда люди увлекаются.

— А... а вдруг ты забеременеешь?

Она нетерпеливо поморщилась и жарко прильнула к нему.

Но его руки вдруг ослабели. Огромным напряжением воли он разорвал крутившееся вокруг них огненное кольцо,— сел в сене и, скорчившись, охватил колени руками. Исанка растерянно и недоуменно взглянула на него.

Потный и горячий, с прилипшей к телу сенной трухою, Борька встал и, шатаясь, подошел к перилам. На юге часто сверкали молнии, гром ворчал глухо. По листьям порывами проносился нервный трепет. Исанка лежала в сене, не шевелясь.

Весь дрожа мелкою внутреннею дрожью, Борька смотрел вдаль мутными глазами, к которым постепенно возвращалась трезвость. Ветер освежил мокрое от пота лицо. Он долго стоял, потом потер лоб и медленно заходил по террасе мимо куч сена, в которых по-прежнему молча и не шевелясь лежала Исанка. Его удивило, что она так тиха и неподвижна.

Борька подсел к ней на сено, взял бессильно лежавшую руку, медленно и крепко поцеловал. Потом почесал за ухом и сказал улыбаясь:

— Да-а-а... Чуть бы, чуть...

Исанка молча смотрела на него огромными темными глазами. Их выражения Борька не мог разглядеть. Он продолжал целовать ее безответную руку, спросил:

— Правда, как здесь жарко на сене?

Она молчала и все смотрела неподвижными глазами. Сверкнула молния, гром ударил близко за бором. Борька сказал:

— Гроза надвигается.

Исанка быстро встала.

— Да. Пора тебе идти.

Она начала оправлять растрепавшиеся волосы и вдруг вздрогнула так, как будто сквозь нее пробежал сильный электрический ток.

— Что это ты?

Она растерянно взглянула.

— Ничего!.. Не знаю...

Борька нежно гладил ее руку выше локтя. Она не противилась и глубоко молчала. Он сказал:

— Ну, прощай.

Исанка, сосредоточенно молчащая, безучастно приняла его поцелуй в щеку и, понурив голову, пошла к стеклянной двери террасы.

Назад Борька пошел берегом Оки. Далеко внизу, под обрывом, темнела бестуманная река. Черные тучи быстро неслись над головой, молнии сверкали чаще.

Борька сел над обрывом на сухую и блестящую траву под молодыми березками. Сзади огромный дуб шумел под ветром черною вершиною. Кругом шевелились и изгибались высокие кусты донника, от его цветов носился над обрывом тихий полевой аромат. Борька узнал место: год назад он тут долго сидел ночью накануне отъезда, и тот же тогда стоял кругом невинный и чистый запах донника.

А как с тех пор все изменилось!.. Тогда,— какая тогда была ясная, утренне-чистая радость! Теперь было в душе чадно и мутно. Борька охватил руками голени, уткнулся лицом в коленки и морщился, и протяжно стонал от стыда. Гадость, гадость какая! Какое бесстыдство!

Но тотчас же он вспомнил, как неожиданная молния осветила полураздетую Исанку. И откровенная, сосущая, до тоски жадная страсть прибойною волною всплеснулась в душе и смыла все самоупреки; сладко заныла душа и вся сжалась в одно узкое, острое, державное желание — владеть этим девичьим телом. Только бы это, а остальное все пустяки. И уже далеко от души, как легкие щепки на темных волнах, бессильно трепались самоупреки, стыд, опасения за последствия.

Борька встал на ноги и громко произнес:

— Что же это за сила проклятая! Какой ужас!

Ветер с воем мчался вдоль реки. За ним, прыгая с тучи на тучу, яростно гнался гром. Сверкнула молния, осветив встревоженную речную гладь и высокие прибрежные обрывы. На одном обрыве что-то неподвижно и ярко белело над самою кручею. Борька удивился: что это может быть? Человек—не человек. Белье, что ли, развесили сушиться и забыли?

Всю ночь бушевала гроза, и всю ночь Борька не спал, лежа на своей кровати среди крепко спавших товарищей. Болела голова, и ужасно болело в спине, по позвоночному столбу. Задремлет,— вдруг ухнет гром, он болезненно вздрогнет и очнется. Угрюмый, он вставал, ходил по за-

лам и коридорам дворца, останавливался у огромных окон. Под голубыми вспышками мелькали мокрые дорожки сада с бегущими по песку ручьями, на пенистых лужах вскакивали пузыри, серые кусты, согнувшись под ветром, казались неподвижными.

Проснулся Борька очень поздно, с тяжелою головой, мрачный. В восемь утра его пытались разбудить ребята на утреннюю физкультуру, но он сказал, что нездоровится. Никого уже в спальне не было. Он долго лежал, глядел на лепные украшения потолка, и мутные, пугающие мысли проходили в голове.

Захватила душу какая-то чертова сила, окрутила его и тащит на аркане, и нет сил ей противиться. Да ведь это сумасшествие! Для чего было переводиться в Москву? Что будет? Соединятся они,— он, студент; она... Беременность, дети. Нелепость, нелепость!.. «Отец семейства». И она, эта девчурка,— «мать»... И прощай все мечты о профессуре, о блестящей научной деятельности. Ч-черт, ч-черт! А ведь не случилось вчера, случится завтра. Перевалился мячик через какой-то кряж, покатился под гору,— и теперь его не остановишь. Ах, нелепость! — Он морщился и хватался за голову.— Прочь от этого колдовства, выскочить из зачарованного круга, пока не поздно!

Но вдруг опять ему вспомнилось, какою он увидел Исанку под взблеском молнии, и опять все всколыхнулось и сладко заныло в душе. И он почувствовал: что бы в будущем его ни ждало,—теперь все равно. Пока не осуществится то, что огненным буравом сверлит тело и душу, пока Исанка не будет ему принадлежать, никаких вопросов он не сможет решить. Даже не сможет решить вопроса самого существенного: подходят ли они друг к другу, могут ли быть мужем и женою. Разве возможно подобные вопросы решать в состоянии того непрерывного опьянения, в каком их держит страсть?

Борька вышел на веранду. Небо было в мутных, неясных облаках без очертаний, тусклое солнце белесым светом отражалось на сырых крышах. Парило, было душно и тихо. У кухни напряженно кричали петухи. На футбольной площадке тренировались парни, обливаясь потом.

Борька пошел купаться. Морщась от головной боли, он шагал по мокрой траве рядом с маслянисто-черной до-

рогой, с водою в расползшихся колеях. На теплой грязи сидели маленькие оранжевые и лиловые бабочки, каких можно увидеть только на мокрых дорогах и у ручьев. За парком широко подул с реки освежающий ветер, но сейчас же стих.

Исанка, с полотенцем на плече, медленно поднималась от реки по откосу, редко поросшему полынью и колючим репейником с голубыми листьями. Борька пошел навстречу. Лицо Исанки было серое, жалкое, под глазами темнели черные полукруги. Они поздоровались за руку и заговорили о незначительном. Борька старался не смотреть в ее глаза: в них была такая тоска, такое недоумение и растерянность,— как будто она узнала что-то страшно важное, о чем до сих пор и не подозревала, но чего и теперь не в силах была понять.

Он шел рядом с нею вверх. Исанка рассеянно спросила:

— Ты купаться идешь?

— Да... А ты сейчас домой?

Она помолчала, опустив голову, и вдруг решительно сказала:

— Пройдемся немножко.

Они пошли бичевником вверх по реке, по береговой дорожке, протоптанной бурлаками и их лошадьми. Исанка шла, понурив голову, и молчала. И вдруг она показалась ему чужою, он заметил, какой у нее невысокий лоб, как она сутулится. И, пугая, через душу быстро пронесся вопрос, как паровозная искра сквозь ночную темень:

«Да кто она такая? Зачем я с ней связываюсь?»

Пронесся вопрос и исчез. Борька оглянулся. Парк наверху скрылся за выступом. Он поднес руку Исанки к губам и крепко поцеловал. Она в ответ пожала его руку, но пожатие вышло мертвое, тока между ними не получилось.

Свернули влево и стали подниматься на Змеиную Гору, острым мысом врезавшуюся в Оку. Меж низких ореховых и дубовых кустов пестрели Иван-да-Марья, алели вялые листья земляники. Было тепло, и душно, и тоскливо. И все больше болела голова. Из кустов несло влажным теплом, кожа была липкая от пота.

Исанка, волнуясь, сказала:

— Сядем где-нибудь.

Присела на гнилой дубовый пень, обросший мохом. Но все не заговаривала, и только грудь ее чуть заметно

вздрагивала. Мутное небо в полной тишине заметно темнело, стали падать мелкие теплые капли. С резким треском неожиданно через все небо прокатился удар грома, и опять кругом стало расслабленно-тихо. В мутной дали Оки показался пароход и бессильно пыхтел, как будто не двигаясь с места.

Борька ласково сказал:

— Исанка, тебе все время хочется что-то мне сказать. Скажи.

Она сидела, локти в колени и голову в ладони. Вдруг плечи ее стали вздрагивать. Она стиснула голову, стараясь сдержаться, но всхлипывания становились все сильнее.

— Что с тобой? Девочка моя!

Исанка вздрагивала, как лист под каплями дождя, и вдруг разрыдалась. Борька стал взволнованно гладить ее по пушистым, золотым волосам, с мелкими капельками дождя на них, и говорил ласковые слова.

— Боря! Голубчик!— Исанка обеими руками схватила его руку и прижала к своей груди.— Я не знаю, что со мною! Я места себе не могу найти со вчерашнего. Мне так стыдно! Я сама не знаю, чего. Но мне стыдно, стыдно. Так стыдно!

Борька изумился.

— Исанка! Да ты с ума сошла! Передо мною? Что же теперь может нас разделять?

— Я знаю, что мне тебя нечего стыдиться, что я вся твоя. Я вот держу твою руку и чувствую, что эта рука такая близкая, родная... Но скажи мне, что со мною? Как будто я со вчерашнего вечера вся вымазалась в грязи,— что такое? Милый мой, любимый!

Ее глаза сияли, тоскующее, смятенное лицо осветилось изнутри и стало вдруг прекрасным. Она с надсадом прижимала к колеблющейся груди его руку, как будто старалась убедить саму себя, что эта рука, правда, близкая-близкая, как своя.

Борька опустился возле Исанки в горячую, влажную траву, взял ее руку и стал целовать. Нежно и уверенно он говорил, что все, переживаемое ею, вполне естественно. Мы с детства воспитываемся в глубочайшем презрении к телу и к любви, поэтому подход к ней всегда болезнен и мучителен, люди уже совсем близки стали духом, а попытки к телесной близости вызывают испуг и стыд. А между

тем как же быть иначе? Этого обойти нельзя, раз есть любовь.

И он много еще говорил, держа ее руку в одной руке и нежно гладя другою.

Исанка неподвижно сидела, уставясь в землю широко раскрытыми глазами. Потом подняла на него глаза. В них замер такой вопль ужаса, что Борька внутренно вздрогнул и замолчал.

— Какой все это кошмар, Боречка! Пожалей меня, помоги. Я не знаю, что такое со мной. Вчера, когда мы с тобой разошлись... Я не знаю, как это случилось...— Она повела вокруг помешанными глазами.— Я вдруг стою над Окою, смотрю с обрыва вниз. Там, внизу, у воды, камни,— такие белые и такие большие... И тянет туда, и вдруг пришла мысль: один шаг,— и конец этой бессмыслице. Я ничего, Боря, не понимаю, только мне страшно, страшно! И так стыдно!..

Борька сидел, склонив голову. Вдруг рыдания порывом подступили к его горлу. Он молчал, стараясь с ними справиться. Потом, пряча лицо, припал губами к руке Исанки и сказал:

— Прости меня, если можешь.

Встал и, шатаясь, с вздрагивающими плечами, пошел прочь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С жильем в Москве было очень трудно устроиться. Устроились так. Исанка жила на Девичьем Поле в одной комнате с Таней Комковой,— обе они были медички. Большую их комнату разгородили дощатой перегородкой пополам, и Стенька Верхотин перебрался к Тане. А свою каморку у Арбатских ворот, в восемь квадратных аршин, бывшую комнату для прислуги за кухней, он уступил Борьке.

«Прости, если можешь...»

Прости-то, прости. Легко было сказать. Но мяч перекатился через кряж и неудержимо катился вниз. Изменений в отношениях не было.

Раз в субботу вечером Борька зашел за Исанкой, они долго бродили по Девичьему Полю. Было очень хорошо.

Стояла глубокая осень, шли дожди,— и вдруг ударил морозец, черные, мокрые улицы стали белыми и звонкими. Сквозь ветки тополей с трепавшимися остатками листьев сверкали яркие звезды.

По аллеям шевелились под ветром душистые кучи опавшей листвы. Дышалось глубоко и бодро.

Они ходили по аллеям, держа друг друга за руку, разговаривали теплыми, медленными пожатиями, а Борька в это время одушевленно, как всегда, говорил. Это были теперь для Исанки самые любимые минуты в их общении.

Борька изучал английский язык и читал сейчас в подлиннике Шелли. Он возмущался непроходимою пошлостью бальмонтовских переводов и наизусть переводил Исанке целые куски из Шелли. После фармакологии и общей хирургии это был для Исанки светлый, зачарованный мир, в котором сладко отдыхала душа.

— Вот, послушай — заключительные строфы «Мимозы»: «Все эти сладостные образы и запахи в действительности вовсе не миновали, не кончились. Это мы изменились, наши души. Для любви, для красоты и для радости нет ни смерти, ни изменения: сила их выше наших чувств, и они сами, наши чувства, слишком темны, чтобы выдержать их свет». Мистика, конечно. А знаешь,—когда у меня на душе грязно, темно, скверно, я именно это вот и ощущаю, что у Шелли тут сказано: есть эта красота и радость, это мы изменились, наши чувства слишком темны, чтобы долго выдерживать их свет...

Потом они на Плющихе зашли в кооператив, купили колбасы и белого хлеба, пошли к Исанке чай пить. Комната ее была в полуподвальном этаже, окно, в уровень с землею, выходило на двор. Стоял в комнате кисло-сырой, тяжелый запах, и избавиться от него было невозможно: мусорный ящик стоял как раз перед окном. Но в самой комнатке было девически-чисто и уютно. Это всегда умиляло Борьку. Что у него было, в его комнате!

Исанка ушла в кухню вскипятить на примусе воды, пришла с кипятком, радостная, светящаяся. Пили чай, болтали. Чувствовали себя близко-близко друг к другу; Исанка положила голову на плечо Борьки.

Глаза Борьки изменились. Он привлек к себе Исанку и стал расстегивать на ее груди блузку. Она крепко сжала обеими руками его руку и ласково сказала:

— Боря, не надо.

— Ну, ну! Вот еще! С чего это не надо?

И он крепче охватил ее. Но Исанка вывернулась, отошла к стене и извиняющимся голосом сказала:

— Больше этого не будет.

— Почему?

— Борька, гадко! У меня больше нет сил.

— Странно! Четыре месяца было ничего, и вдруг — нет больше сил.

— Мне все время было тяжело.

— Только тяжело? И больше ничего?

— Нет, то-то особенно и мучительно: ядовитый какой-то дурман, едко и сладко, и потом так от него погано!

— Угу! — Борька самолюбиво блеснул глазами и замолчал.

Исанка печально сказала:

— Ну, Боря, как хорошо сегодня все у нас было, и вдруг..

— Это дело вкуса.

Он медленно поднялся и начал надевать пальто.

— Уходишь?

— Да, пора.

С каменным лицом пожал ее руку. Она преодолела гордость и спросила:

— Когда придешь?

Он рассеянно ответил:

— Право, не знаю. Я очень занят.

И ушел.

Она, стиснув зубы, прошлась по комнате, остановилась у окна. Потом тряхнула головою и села за фармакологию Кравкова.

Мнения относительно действия атропина на спинной мозг расходятся. Можно думать, что атропин сначала увеличивает рефлекторную возбудимость, а затем ее парализует...

Читала, а слезы медленно капали на страницы. Болела голова, ничего в нее не шло. У нее теперь часто болела голова. Исанка приписывала это помойке перед окном, — нельзя было даже решить, что полезнее — проветривать комнату или нет. И нервы стали никуда не годные, она постоянно вздрагивала, ночи спала плохо. Похудела, тем-

ные полукруги были под глазами. Такими далекими казались летний блеск солнца, здоровье, бодрая радость!

Разделась, легла спать. Но мешал плач грудного ребенка за дощатой перегородкой. Таня баюкала его, ходила с ним по комнате. Успокоился наконец.

Но скоро пришел Стенька Верхотин с двумя товарищами. Они пили чай и яро спорили о троцкизме и оппозиции. Сквозь щели перегородки лез мутный запах дешевого табаку. Иногда начинал плакать ребенок, и голос Тани баюкал его. До двух часов ночи тянулись споры. Исанка представляла себе: табачный дым столбом, они, «деятели», спорят о важных вещах, измученная Таня старается заснуть средь табачного дыма и криков. И с ненавистью Исанка прислушивалась к добродушному голосу Стеньки и вспоминала сегодняшнее каменное лицо Борьки. И недоброе чувство шевелилось к вековечным господам — мужчинам.

В три часа, когда уже ушли ребята, Исанка слышала, как Таня стучала кулаком по столу и истерически кричала:

— Все, все по-прежнему! Ни на волос ничего не изменилось! «Жана»? Что на нее смотреть? «Наплявать!» Не хочу с тобою жить, ухожу, и девай своего ребенка, куда знаешь! У меня своя работа есть, ничуть не менее важная, чем твоя!

Слышался виноватый, уговаривающий голос Стеньки.

В четыре же часа Стенька раздраженно спрашивал:

— Что ж, *мне* его прикажешь грудью кормить? Так у меня в грудях нету молока!

Прошла неделя. И другая. Борька не приходил. Раз вечером Исанка шла по Никитскому бульвару и увидела: по боковой аллее идет Борька с незнакомой дивчиной; обнял ее за талию и одушевленно, как всегда, говорит, а она влюбленно слушает. Матовое лицо, большие, прекрасные черные глаза.

Постоянно болела голова. И работоспособность падала. Мутная вялость была в мозгах и неповоротливость. Исанка пошла на прием к их профессору-невропатологу. Вышла от него потрясенная. Села на скамейку в аллее Девичьего Поля.

Он ее долго и добросовестно исследовал, расспраши-

вал; осторожно подошел к вопросу об отношениях с мужчинами и спросил:

— Можете вы мне в этой области рассказать *все?*

Исанка покраснела, опустила голову, ответила:

— Да.

И рассказала.

Тогда он сказал:

— Ну-с, так вот вам. Основная, все исчерпывающая причина. Хотите быть здоровой,—либо установите нормальные отношения, либо разорвите их. И не откладывайте. И ему скажите,— он вузовец? — скажите, что это ведет к понижению умственных отправлений, к ослаблению памяти, и вообще последствия этого — сквернейшие.

Потом посмотрел на нее умными, проницательными глазами, мягко улыбнулся и прибавил:

— У вас чистые, хорошие глаза. Вот что я вам еще скажу: не поддавайтесь ничьим софизмам и верьте вашему чувству. Самое большое горе женщины в этой области, что она вообще позволяет мужчинам ломать и коверкать свое непосредственное чувство их логикою. Вот, товарищ. Идите и хорошенько подумайте обо всем этом.

С двух сторон шли железные решетки и оставляли широкий выход из сквера; направо, вдоль Большой Царицынской, тянулись красивые клинические здания, белая четырехэтажная школа уходила высоко в небо острой крышей, И солнце победительно сверкало, желтели на синеве неба кое-где еще не опавшие листья клена. Свет был и простор. Исанке казалось, что она сможет выкарабкаться к этому свету. Вспомнилось из Шелли: «Наши чувства стали слишком темны, чтоб выдерживать свет красоты и радости». Остро укололо душу воспоминание о Борьке. Как нерадостно, как запачканно проходит их любовь. И было в душе чувство твердости и чувство освобождения: уверенно было оправдано то, что жалобно кричало и протестовало внутри ее самой.

А слезы капали из глаз на спинку скамейки. Эта самая скамейка. На нее они присели, когда Борька читал Шелли. Как тогда было хорошо!

А Борька все не приходил. Ну, что ж! Ну, и хорошо! Все само собой прекратится. А душа рвалась и тосковала.

И дома было невесело. Исанка готовилась к зачетам

вместе с Таней. Было больно за нее и трудно. Исанка читала фармакологию, а Таня тупо слушала, потом расстегивала блузку, брала плачущего ребенка и прилаживала к своим большим, матерински-мягким грудям. Несколько времени говорили об алкалоидах, потом Таня страстно начинала жаловаться на свою жизнь, и глаза горели озлобленно.

— Господи! Что стало с жизнью! И общественная вся работа пошла к черту, и наука припадает на обе ноги... Пеленки, ванночки, присыпки... Но что же мне делать? Не могу же я к этому малышу относиться кое-как!

Исанка с враждебным огоньком в глазах говорила:

— Ты должна настоять, чтоб тебе побольше помогал Стенька.

— Стенька!.. Степанушка мой...—Таня с ненавистью рассмеялась.— Придет, покрутит носом: «Ну, мальчишка все кричит, мешает работать,— пойду заниматься к товарищу!» Все я, все я одна. И даже на него стирать,— все я же должна!

Исанка энергично воскликнула:

— Ну, уж этого бы я ни за что не стала делать!

— И я бы не хотела. А ничего не выходит. Он общественный парень, прекрасный работник. Но ты не можешь себе представить, до чего он грязен и некультурен. Не починишь носков,— так и будет ходить в рваных. Ох, эти носки! Грязные, вонючие. Один на комод положит, другой на окно, рядом с тарелкой с творогом. От рубашки его так воняет потом, что я не могу с ним спать. Ну, как не выстираешь?

Исанка возмущенно прошлась по комнате.

— Все-таки знаешь, Танька? Я тебе скажу: ты та-ка-я женщина!

Танька помолчала, вздохнула и виновато улыбнулась.

— Исанка! Я та-ка-я женщина!.. Что же мне делать?

Исанка добыла билеты на «Дело» Сухово-Кобылина во втором МХАТе и почти насильно потащила Таню, чтобы ее немножко рассеять. После спектакля, при выходе уже, они столкнулись в вестибюле с Борькой. Он опять был с тою же еврейкою с большими глазами, смотревшими влюбленно.

И разом они оба бросились друг к другу —Исанка и

Борька. Горячо пожали руки, заговорили. И пошли назад вместе. Исанка забыла о Тане, Борька — о своей черноглазой.

Шли по сверкавшей снегом Моховой, разговаривали, как прежде. Она не спросила, почему он все время не приходил. А он сам сказал: чувствовал, что неправ, но самолюбие не позволяло.

В сквере около храма Христа Спасителя они сели на гранитный парапет над площадью Пречистенских ворот. Внизу, за спиною, звеня и сверкая, пробегали красноглазые трамваи, вспыхивали синие трамвайные молнии, впереди же была снежная тишина и черные кусты, и тусклым золотом поблескивали от огней внизу главы собора. Говорили хорошо и долго.

Исанка рассказала про свое посещение профессора.

— Мне и раньше всегда так было погано, я чувствовала, но не могла дать себе отчета. А теперь... Борька, мы друзья с тобой? Настоящие?

Он крепко поцеловал ее в пушистые волосы над ухом, она сжала его руку.

— Борька, бросим это, будем хорошими товарищами, пока не сможем быть мужем и женой.

Он продолжал целовать ее в висок, посмеивался и говорил:

— Как добродетельно!.. Хорошо, Исанка!

Потом стал серьезен и сказал:

— Нет, это, правда, позор! Ломаем жизнь и себе, и друг другу. И настолько нет силы воли, чтобы стать выше этого. Хорошо. Давай друг другу помогать.

— И ты вперед не будешь обижаться, если я...

— Может, и буду. Ты меня тогда назови дураком и подлецом.

Они пошли, держась за руки, опять разговаривая медленными, горячими пожатиями. Прошли по тихому Сивцеву Вражку, по Плющихе. Борька проводил Исанку до дому, в Первом Воздвиженском переулке. У каменных ворот, около подстриженных тополей, тянувшихся вдоль панели, они остановились. В колебании поглядели друг на друга. Борька решительно сказал:

— Ну, поцеловаться-то можно!

Она засветилась, крепко охватила его шею и обожгла девическим поцелуем.

Борька пришел на следующий день. Был блестящ, много и одушевленно говорил. В душе горел сладкий, необычный поцелуй, который был вчера. Пили чай. А потом Борька потянулся к Исанке и обнял ее за талию. Исанка решительно уклонилась.

— Боря! Этого больше не будет никогда. Помни, мы дали слово.

— Ну, слово!..— Он подошел сзади, губами припал к ее шее и попытался положить руки на грудь. Исанка решительно встала и отошла к стене. Борька сел к столу, огорченно положил голову на руку.

— Боря, вспомни, что мы вчера говорили.

— Э! — Он нетерпеливо махнул рукою.— Ерунду мы вчера говорили. Как это возможно! Вчера, как расстались, я все время думал о тебе, вспоминал, как ты меня поцеловала... Это выше всяких клятв. Я не могу. Как лавина какая,— накатилось и несет с собою. Сходиться друзьями... Да это издевательство! Вся мысль только о том, чтоб иметь тебя всю. Какая мука!

Он схватился за голову и наклонился над столом. Исанка подошла к нему близко, положила руку на плечо и, прикусив губу, заглянула ему в глаза серьезным, пристальным взглядом.

— Боря, ну, тогда... будем жить, как муж и жена.

Он усмехнулся.

— Как Стенька Верхотин с Таней? Только предупреждаю: варить кашки и стирать пеленки у меня не будет времени. И я *должен* быть свободен. Исанка, пойми,— я не могу наваливать на себя семью, не могу связывать себя. Я чувствую в себе незаурядную умственную силу, я знаю, что буду великим человеком. И потопить себя в пеленках и кашках — ни за что!

— А я одна тонуть в пеленках и кашках не хочу.

Замолчали. Исанка продолжала пристально смотреть ему в глаза.

— Как же тогда быть?

— Ну, давай жить по-настоящему... Только, чтоб не было последствий.

— Это,— аборт, если что?

— Ну, что ж поделаешь!

Она опустила руку с его плеча и с отвращением повела плечами.

— Н-ни за что! Убить своего ребенка!.. И потом.

Вижу я кругом девчат. Как возятся с последствиями, как месяцами ходят к докторам, как синеют у них носы... Вам-то до этого нет дела.

Борька раздраженно сказал:

— Черт знает что получается! Трогательная картинка из дореволюционного быта: она — небесно чистая девушка; он, пока что, шляется по проституткам и, наконец, лет эдак через семь-восемь, с полузалеченными венерическими болезнями, срывает ее перезрелую чистоту... Ты какая-то совершенно ископаемая... Кто сейчас на все это смотрит так сложно?

Исанка вспыхнула.

— Ну, и ищи себе современных, везде кругом, сколько угодно. Да кстати, ты, кажется, уж и нашел себе.

Он просто и кротко ответил:

— Это было только от тоски. Я люблю тебя, и никого другого неспособен искать.

Это ее тронуло. Она опять прикусила губу, серьезными, любящими глазами заглянула в его глаза и тихо спросила:

— Так как же нам быть?

Они долго и бесплодно говорили. Он робко ласкал ее руку, потом незаметно шел все дальше, ей было сладко и противно...

— Нет!

Исанка вскочила и, оправляя платье, решительно отошла к стене.

Борька раздраженно кусал губы. Она заговорила о своем впечатлении от вчерашнего спектакля в МХАТе. Он слушал рассеянно. Раз не могло быть *того*,— она казалась ему серой и неинтересной.

Замолчали. Исанка стояла, прислонившись спиною к высокому подоконнику.

Вдруг раздался пискливый, пронзительный, дурацки неестественный голос:

— Уйди-уйди-уйди-уйди-уйди!

Борис вскочил. Исанка, смеясь, держала в руке зеленого вербного чертика. Сегодня утром она проходила по Смоленскому рынку: на душе было радостно от примирения с Борькой и что он придет вечером, увидела, что китаец продает этих смешных чертиков, и купила.

Борька медленно бледнел.

— Это ты нарочно припасла на этот случай?

Улыбка недоуменно застыла на губах Исанки.

— Как это нарочно?

Борька встал с злыми глазами, порывисто вздохнул, закусил губу.

— Я тебе не мальчишка, чтоб надо мною шутить такие шуточки, с такими бабьими намеками.

— С какими намеками? Борька, да что ты?

Он грубо крикнул:

— Сейчас же спрячь!

Исанка вспыхнула.

— Вот еще!

— Я требую, чтоб ты спрятала, не хочу слушать этого дурацкого писка!

— А мне нравится!

Она надула игрушку, и чертик, спадаясь и сморщиваясь, опять завопил пронзительно:

— Уйди-уйди-уйди-уйди-уйди!

Борька, смотря на нее злым взглядом, сказал раздельно:

— Фамилии своей я, все равно, не переменю, прославлю ту, какая есть.

— При чем тут фамилия?

Исанка высоко подняла брови,— она вдруг сообразила: фамилия Борьки — Чертов; в чертике он видит какой-то намек на себя.

— Какой же ты, Борька, дурак!

Исанка вдруг почувствовала, что страшно устала. Она замолчала и тесно прижалась к стене плечом и головой.

Борис прошелся по комнате и спокойно, равнодушно заговорил:

— Наши отношения с тобой окончены. Навсегда. Я вижу вообще, что мое увлечение тобою было ошибкой. И подумать: из-за тебя я бросил Ленинград, налаженные отношения с профессорами!.. Я считаю нужным тебя предупредить, не удивляйся, если я встречусь с тобою и не поздороваюсь.

Исанка, устало прислонившись к стене, слабо кивала головою и отзывалась:

— Да!.. Да!..

Он ушел и тайно ждал, что Исанка кинется за ним, станет звать. Не позвала.

Устало села к столу. Оттопыривался карман. Что это там? Вынула зеленого чертика, с удивлением поглядела. Надула,— он завопил:

— Уйди-уйди-уйди-уйди-уйди!

Исанка рассмеялась.

— Вот наша любовь...

И долго смеялась. Таня сквозь перегородку спросила:

— Чего это ты, Исанка?

— Очень весело!

Через пять дней.

Борису Васильевичу Чертову.

Я шла, это было вечером вчера, Гоголевским бульваром. На душе вообще было ничего себе. Но мне казалось, что в жизни с тобою я пью накипь с какого-то скверного супа, который варится кем-то,— не мною и не тобою.

Было очень холодно и мокрый снег. Я устала, тяжелые ноги не двигались, я села у памятника Гоголя. Вдруг ярко блеснуло солнце, засверкали леса за Окой, увидела веселые, загорелые лица с здоровым блеском глаз, все несут на головах кувшины, чтобы научиться держаться прямо... Х-ха-ха! Как это важно в жизни,— держаться прямо!

Наверное, ты знаешь, что к одиноко сидящим женщинам подходят мужчины. Он внимательно заглянул мне в лицо и сел возле. Он был осторожен, так как колебался, как и я; а может быть, думал, что мне надо много платить, не знаю.

Волнение немножко мешало мне, голос был нетвердый, но мне захотелось посмотреть, красив ли он, и хватит ли у него той капельки настойчивости, которая нужна. Взглянула. Одет очень хорошо, с брюшком, но безусловно красив, особенно глаза черные.

Мы много говорили о разном, обо всем, он грел мои руки, ласково заглядывал в глаза. Много ходили по улицам, где поменьше было народу, наконец, привел в Мерзляковский переулок. Спросил: «Может быть, вы зайдете ко мне выпить чашку чаю?» Мне было интересно, что будет дальше. И смешно было. Как люди живут богато! Он угощал меня фруктами, ликерами,— замечательно вкусные. Потом подсел ко мне, стал очень настойчив. Мне все было все равно. Он ужасно удивился. «Вы девушка?» Я рассмеялась. «Какая я девушка! Это так только кажется!» Когда я уходила, он мне что-то сунул в руку. На улице поглядела при фонаре: червонец. Ого! Пригодится. Мне деньги нужны.

Вот все. Нет в душе моей раскаяния и жалости к себе. Все благополучно. И нет к тебе никакой злости (ты говорил как-то, что лучший признак равнодушия,— когда нет злости). Главное, нет больше этой мучительной тяги к тебе, никому не нужной зависимости.

Это письмо, конечно, последнее.

Исанка.

Борис хотел в воскресенье идти к Исанке мириться. И как раз получил утром это письмо. Три раза перечитал, в изумлении вытаращил глаза, в душе больно заныло. Разорвал письмо, с омерзением выбросил клочки в форточку. И больше к Исанке не ходил.

Раз на святках Борька с тремя девчатами сидел на Никитском бульваре. Они возвращались с диспута в Политехническом музее о половой проблеме. Празднично сверкала луна, была тихая морозная ночь, густейший иней висел на деревьях, телефонных проволоках и антеннах. Борька с одушевлением говорил, девушки влюбленно слушали. Среди них была и та дивчина с черными глазами.

Борька говорил, что брак, как дружеский товарищеский союз между мужчиной и женщиной, может быть заключаем только года через два-три после физического сближения. До того есть только влюбленность, есть страсть, при которых человек совершенно слеп и должен быть готов на всякие неожиданности. Глубочайший смысл имеют «пробные браки», существующие у некоторых народов.

Простились. Девчата пошли к Кудрину, Борька по бульвару — к Арбатским воротам. Лунный воздух поблескивал иголочками инея. На скамейке, с книгою под мышкой, сидела Исанка и глядела на Борьку. Он дрогнул, хотел пройти мимо, но потом подумал: «Невеликодушно!» Подошел к ней и дружески протянул руку.

Исанка оглядела его озорными глазами и нехотя протянула руку. И спросила:

— Ну, что, удав,— сколько еще цыплят проглотил? Над многими еще женщинами показал свою власть?

Борька мягко сказал:

— Что это, Исанка? Зачем ты так?

Он сел и внимательно поглядел на нее. Месяц ярко освещал лицо Исанки. Она сильно похудела, нос заострился,

глаза впали, и от этого казались глубокими и прекрасными. Вдруг Борька почувствовал, что она ему по-прежнему дорога, и сердце сжалось от боли, что она так горько запачкала себя.

От нее пахло дешевым табаком. Раньше Исанка не курила.

— Зачем ты так говоришь, Исанка?

— Праздную свое освобождение от тебя. Как хорошо! Вот уж два месяца прошло, а все живу этим чувством освобождения. Я теперь решила совсем иначе жить. Раньше я давала целовать себя, а теперь сама целую,— это гораздо интереснее. Раньше я говорила: «Приходи ко мне»,— и плакала, когда не приходили. А теперь говорю: «я буду приходить, когда я захочу!» Раньше мучилась я, а теперь пусть мучаются они.

Борис сказал задушевно и грустно:

— Я очень мучаюсь.

— Да? Ну, это очень приятно.— Она закурила папиросу.— Жалко только, что это совсем не отразилось на твоем лице.

Борька ласково положил руку на холодную руку Исанки и сказал бережно:

— Исанка! Что ты мне тогда написала,— про то, у памятника Гоголя,— я это игнорирую. Я понимаю, все это было сделано с отчаяния, и что тут, может быть, виною — я.

— Ты... и-г-н-о-р-и-р-у-е-ш-ь?.. Ха-ха-ха! — Исанка вскочила со скамейки и с негодованием смотрела на него.— Ты игнорируешь! А как я тебя ждала после этого письма! Господи, как ждала! Я ждала,— ты прибежишь ко мне, как хороший товарищ, как друг, схватишь меня за руки, станешь спрашивать: «Исанка, Исанка, как это могло случиться?!» Какая я была дура!.. А ты, гордый своею добродетелью, наверно, с презрением бросил письмо в печку... Борька!

Она вплотную остановилась перед ним, расставив ноги и засунув руки в карманы потрепанного своего, короткого пальто.

— Борька! Неужели ты так подл и так глуп, что поверил тому, что я там написала? Я только хотела с тобою разорвать.

Он вскочил и схватил ее за руку.

— Правда?!

Исанка на мгновение не отняла затрепетавшей руки, но сейчас же ее высвободила.

— Ага,— правда! А дальше что?

— Исанка, зачем этот тон? Я тебя совсем не узнаю.

— Что же дальше?

— Ведь это совсем меняет дело,— то, что ты мне сейчас сказала.

— Ха-ха! Ну, ясно,— меняет! Раз так, то можно и помириться, правда? И опять ты меня начнешь поганить, и будешь мне твердить, что из-за меня не станешь великим человеком.

Борька смущенно молчал. Грудь Исанки вдруг судорожно задергалась.

Загремел и зазвонил вдали трамвай, меж пушисто-белых ветвей заморгала красная надпись: «Берегись трамвая!» Исанка вскочила.

— Пятнадцатый номер! Последний, наверно. Придется на Девичье Поле переть пешком... Пока!

И побежала к остановке, скрипя по морозному снегу.

1927

БОЛЕЗНЬ МАРИНЫ

Оба они, и Марина и Темка, были перегружены работой. Учеба, общественная нагрузка; да еще нужно было подрабатывать к грошовым стипендиям. Часы с раннего утра до позднего вечера были плотно заполнены. Из аудитории в лабораторию, с заседания факультетской комиссии в бюро комсомольской ячейки. Дни проносились, как сны. И иногда совсем как будто исчезало ощущение, что ты — отдельно существующий, живой человек, что у тебя могут быть какие-то свои, особенные от других людей интересы.

И вдруг перед обоими встало свое, касающееся только их обоих, ни для кого больше не интересное, а для них — очень серьезное и важное.

В субботу, как всегда, Темка пришел из общежития ночевать к Марине. У нее по-особенному блестели глаза, она вдруг среди разговора задумывалась. А когда он обнял ее стан и хотел поцеловать в шею, Марина удержала его руку и сказала, пристально глядя впавшими глазами с темными под ними полосами:

— Темка! Дело верное. Я беременна.

Он быстро опустил руку, взглянул на нее.

— Да ну?!

— Верно. Была у доктора. Он тоже сказал.

Темка — большой, плотный, с большой головой — медленными шагами ходил по узкой комнате. Марина сумрачно следила за ним. А у него глубоко изнутри взмыла горячая, совсем внеразумная радость, даже торжествование какое-то и гордость. Он так был потрясен, что ничего

не мог говорить. И так это для него было неожиданно,— эта глупая радость и торжество. Темка удивленно расхохотался, сел на постель рядом с Мариной, взял ее руку в широкие свои руки и сказал с веселым огорчением:

— Ну и ну!

Марина была рада, что он так хорошо отнесся к известию,— глубоко в душе и сама она радовалась случившемуся. Но веселее от этого не стало. Положение было очень запутанное. Она спросила:

— Что ж теперь будем делать? Ты конкретно представляешь себе, что из всего этого получается?

— Да, да...

Но он это сказал рассеянно. Темка весь был в своей неожиданной, ему самому непонятной радости. Положил руку на ее еще девически тугой живот, нажал.

— Замечательно! Подумаешь: что-то там в тебе зреет,— твое и в то же время мое... Ха-ха-ха!

Он во все горло захохотал. Марина озлилась.

— Нужно о деле подумать, а он грохочет, как дурак. Заткнись, пожалуйста!

— А ужли ж самой тебе... не весело от этого?

— Куда те к черту весело! Только тошнит все время,— ох, как тошнит, и груди очень болят, и ты так противен,— пожалуйста, не трогай меня!

Марина резко оттолкнула его руку от своего тела.

Сегодня они ни о чем не могли столковаться,— слишком разные у них были настроения. Но вопрос был грозный, и нужно было его решать поскорее. Марина, преодолевая странное какое-то отвращение к Темке, условилась, что он зайдет через три дня, и они все обсудят.

Но, в сущности, —что обсуждать? Дело было совершенно ясно. Головою и Темка понял это наутро, когда мысли трезвы: нелепость, выход один только и есть.

А в глубине души была тревога перед тем, что хотели они сделать, и недоумение — неужели Марина унизит себя до того, что пойдет на это?

Через три дня долго говорили. Да, нужно решиться. Другого выхода нет. Марина с тоской заломила руки и сказала:

— Как все время тошнит! Ни о чем подумать не могу,

что бы есть! А послезавтра зачет сдавать по органической химии!

Темка украдкой приглядывался, и была тайная боль, что она идет на это, да еще как-то так легко.

Раньше нужно было сдать два зачета,— по ним Марина уже много готовилась, и откладывать их было невозможно. Между тем рвоты были ужасны, об еде она думала с ужасом, голова не работала. А тут еще Темка. К нему она чувствовала самой ей непонятную, все возраставшую ненависть. А когда он пытался ее ласкать, Марину всю передергивало. И она сказала ему:

— Пожалуйста, приходи ко мне пореже. Ты мне определенно неприятен.

Женщина-врач исследовала Марину, расспросила об условиях ее жизни.

— Да-да... Обычная история. Как врач, я, конечно, обязана вас всячески отговаривать, но если бы была на вашем месте, то сделала бы то же самое.

И дала ей ордер в родильный приют.

Через три дня Темка привез Марину обратно в ее комнату. Марина сильно побледнела, лицо спалось, глаза двигались медленно и постоянно останавливались. Но на Темку глядели с приветливою нежностью,— он уж думал, что никогда этого больше не будет. Марина лежала и ласково гладила его широкую, все еще как будто рабочую руку бывшего молотобойца.

Он спросил:

— Здорово было больно?

— Физически не так уже. Рвать зубы гораздо больнее. Но это такой ужас...

Она вся вздрогнула, крепко сжала его руку и прижалась к ней щекой. И молчала долго.

А вечером говорила:

— Это что-то страшное по своему цинизму. Вроде проституции. Мне теперь странно, как может идти на это женщина. Так же не могу это представить, как не могу себе представить, чтоб за деньги отдавать себя. Это всю душу может изломать,— все, что там со мною делали. На губы навсегда от этого должна лечь складка разврата, а в глазах застынут страдание и цинизм. Легальная бойня будущих людей. Не могу об этом больше думать.

Весь вечер был теплый и нежный. Марина отдыхала душою в любви и виноватой ласке, которою ее окружил Темка. Но все возвращалась мыслью к случившемуся. И уже когда они потушили свет (Темка остался у нее ночевать, устроившись на полу), Марина сказала:

— Помнишь, осенью была статейка в «Красном студенчестве»? Она теперь все у меня в голове. Как это там? «Дни наши насыщены не запахом ландышей и полевых цветов, а запахом йода... Кто расскажет людям о нашей обыкновенной студенческой любви, распинаемой на голгофе гинекологического кресла?»

Ночью Темка слышал сквозь сон, как Марина тихо плакала.

Жизнь опять встала на обычные рельсы. Опять оба,— и Марина и Темка,— закрутились в кипучей работе, где исчезали дни, опять аудитории сменялись лабораториями, бюро ячейки — факультетской комиссией. Во взаимных отношениях Марина и Темка стали осторожнее и опытнее. Случившееся неожиданное осложнение больше не повторялось.

Прошло года полтора. Оба подходили к окончанию курса. Марина сдавала последние зачеты и готовилась взяться за дипломную работу. Перед Темкой тоже была дипломная работа, да еще три месяца производственной практики.

И в это-то время случилось однажды вот что.

В субботу к Марине пришел Темка, они отправились в кино. Революционер-рабочий. Утром спит, его прибегает будить четырехлетний сынишка. Будит, отец возится с ним, играет. Потом мальчишка в другой комнате будит живущего у них студента, тоже революционера, который потом окажется предателем. И опять смеющаяся мордочка мальчика, и та милая естественность, с какою выходят на экране животные и дети.

Марина прижималась в темноте к локтю Темки и в восторге спрашивала:

— Правда, какой славный мальчишка? Ах, какая прелесть!

Темка удивленно слушал. Чего она приходит в такой восторг? Мальчишка, как мальчишка. А она равнодушно смотрела на подвиги неизменно твердых революционеров.

рабочих, на предательство студента, и все ждала, не появится ли еще раз мальчишка.

И когда шли они из кино, Марина все время восхищалась мальчишкой, так что Темка усмехнулся и сказал:

— Что он тебе так по вкусу пришелся? Самый обыкновенный сопляк, и ничего особенного.

Тогда Марина поссорилась с Темкой из-за какого-то пустяка, у крыльца своего дома сказала ему: «Прощай», и он, печальный и недоумевающий, побрел ночевать к себе в общежитие.

С этой поры стало с Мариною твориться странное. Сидит у себя в комнате, готовится к зачету по геологии или читает «Спутник агитатора». За стеною шамкающим плачем заливается грудной ребенок. Соседка Алевтина Петровна недавно родила, и ребенок очень беспокойный, непрерывно плачет. Марина перестанет читать и долго слушает, задумавшись. Вот она прижала грудью руку к краю стола, почувствовала свою грудь и ощутила: не нужно ей, чтобы грудь ее ласкали мужские руки, целовали мужские губы. Одного хотелось. Страстно хотелось держать на руках маленькое тельце и чтобы крохотные губки сосали ее. И все, что раньше к себе тянуло, что было так разжигающе сладко, теперь представлялось грязным и тяжелым.

Марина разожгла в кухне примус, поставила чайник. Вошел в кухню гражданин Севрюгин, совторгслужащий, муж Алевтины Петровны. Он сказал извиняющимся голосом:

— Очень наш младенец орет, просто сладу с ним нету. А вам учиться надо. Мешает он вам?

Марина поглядела на него, помолчала и вдруг ответила:

— Мешает. Очень завидно.

И быстро ушла из кухни.

Однажды после обеда в комнату Марины постучалась Алевтина Петровна и сконфуженно сказала:

— Мне так совестно вас просить. Сейчас только вспомнила,— нынче последний срок талону на масло, нужно бежать в лавку, очередь длинная... У вас через стенку все слышно: если заплачет мой мальчишка, загляните, что с

ним. Вы уж простите. Такая забота с этими ребятами, просто беда.

Ребенок уже плакал за стеною.

Марина отложила учебник геологии и оживленно встала.

— Я сейчас пойду. Мне будет приятно. И не торопитесь.

Пришли в соседнюю комнату. Алевтина Петровна сказала:

— Уж вы меня простите. Буду нахальной до конца. В кухне на керосинке греется вода, хотела ему сегодня ванночку сделать. Приглядите уже и за водой.

— Да хорошо, хорошо, все сделаю. Идите.

— Вот спасибо вам. Если мокрый будет, вон пеленка чистая висит на спинке.

И ушла, благодарно улыбаясь.

Ребенок плакал в кроватке. Марина взяла его на руки, стала носить по комнате. Утешающе мычала:

— Ну, не плачь!

Прижималась губами к атласистой коже выпуклого лобика. Ребенок плакать перестал, но не спал. Марина хотела положить его в кроватку и взяться за учебник. Однако все глядела на ребенка, не могла оторваться, притрагивалась губами к золотистым волосикам на виске, тонким и редким. Щелкала перед ним пальцами, старалась вызвать улыбку... Безобразие! На душе — огромный курс геологии, а она в куклы, что ли, собралась играть?

Положила ребенка в кроватку, села к столу, раскрыла учебник. Но мальчик опять заплакал. Марина пощупала под пеленкой: мокрый. Обрадовалась тайно, что нужно опять им заняться. Распеленала, с излишнею от непривычки бережностью переложила его в чистую пеленку, хотела запеленать. И залюбовалась. В крохотной тонкой рубашонке, доходившей только до половины живота, он медленно сучил пухлыми ножками, сосредоточенно мычал и совал в рот крепко сжатый кулак.

Глупые слезы тоски и беспредметной обиды задрожали в груди. Марина закусила губу, плечи ее задергались. Остро, остро, почти чувственно милы ей были эти полные ручки с ямками на локтях, у запястий перетянутые глубокими складками, и все это маленькое прелестное тельце. Как будто глаза какие-то у ней раскрылись: что-то особенное было перед нею, необычное и несравненно милое.

Марина за весь час так и не притронулась к учебнику. Пришла Алевтина Петровна, опять стала извиняться и рассыпаться в благодарностях. Марина спросила:

— Вы сейчас будете купать мальчика?

— Да.

— Позвольте посмотреть?

— Пожалуйста! Конечно!

Из оцинкованного корыта шел теплый пар. Алевтина Петровна раскладывала на столике мыло, кокосовую мочалу, коробочку с присыпкой. Распеленали ребенка. Стали мерить градусником воду. Голый мальчишка лежал поперек кровати, дергал ногами и заливался старчески-шамкающим плачем. Мать, с засученными рукавами, подняла его, голенького, положила над корытом так, что все тельце лежало на ее белой мягкой ладони, и погрузила в воду.

Ребенок сразу перестал плакать, широко раскрыл глаза и испустил удивленный звук: «О!»

Свет электрической лампы под зеленым абажуром падал сверху. Мальчик медленно двигал ногами в сверкавшей зелеными отсветами воде и пристально глядел в потолок. Мать хотела начать мылить ему голову, но тоже заметила взгляд и остановилась. И улыбнулась.

— Ишь, как смотрит!

Большими, вглядывающимися глазами мальчик уставился вверх, как будто что-то было перед ним, что он только один видел, а кругом никто не видел. Стало тихо. Он глядел не мигая, серьезно и настороженно. И как будто припоминал. Припоминал что-то далекое-далекое, древнее, что было с ним тогда, когда земля была такая же молодая, как он теперь. И как будто чувствовал, как плещется над его головою и вокруг него беспредельный океан жизни, в котором он был маленькой, но родной капелькой.

И еще раз он испустил свой удивленный звук: «О!», и все продолжал смотреть вверх.

Марина взволнованно заходила по комнате.

Вечером пришел Темка. Марина в разговоре то и дело задумывалась, так что Темка, наконец, удивленно спросил:

— Чего это с тобой?

— Ничего.

И горячо прижалась к нему.

И была долгая ночь. И были долгие разговоры. Страстные и странные.

— Нет! Так не хочу!

— Ну, Маринка, да что с тобой! Ужли ж хочешь, чтобы так было, как полтора года назад? До ребят ли нам сейчас? Подожди, дай кончим, теперь недолго.

Марина вызывающе ответила:

— Нам — до ребят ли! О себе говори. Тебе не до того? Подумаешь,— самое тут важное, до того ли тебе это, или не до того... Темка! Пойми! — Она села на постели, с тоскою простерла голые руки в темноту.— Хочу белобрысого пискуна, чтоб протягивал ручонки, чтоб кричал: «Мама!» Прямо, как болезнь какая-то, ни о чем другом не хочу думать. И ты мне противен, гадок, и все это мне противно, если не для того, чтобы был ребенок!

Темка вскочил и быстро стал одеваться. Открыл электричество. Марина враждебно следила за ним из-под одеяла. Было четыре часа утра. Он сердито ушел.

В конце концов Темке пришлось уступить. И случилось то, чего желала Марина.

Опять было ей очень тяжело. Опять изводили тошноты и постоянно болела голова. Но в душе жило сладкое ожидание, и Марина с торжествованием несла все тягости. Отлеживалась и бодро бралась опять за учебники. И с одушевлением вела свой кружок текущей политики на прядильной фабрике.

Месяцы шли. Однажды возвращалась Марина из фабричного клуба с девчатами своего кружка. Горячо говорили о революционном движении в Индии, о Ганди, о налетах на соляные склады и «красных рубашках». Комсомолка-работница Галя Андреева поглядела на выпирающий живот Марины, вздохнула и сказала:

— Эх, Маринка, Маринка! Здорово ты насчет текущей политики загинаешь. Так по всему свету все и видишь, где что и что к чему. А осенью что будет? — Она вопросительно положила руку на живот Марины.— Бросишь нас. Всегда так: заведется ребенок — и бросает девчонка всякую работу.

Марина расхохоталась.

— Дура ты, Галька! Чем до такого мещанства дойти, да я лучше бы сейчас же сбросилась с этого моста в Яузу. Можно и ребенка иметь, и не уходить с общественной работы.

Другая комсомолка-работница, замужняя, грустно возразила:

— Все мы так говорим. Не знаешь ты еще, сколько ребята заботы берут.

— Ну, вот увидишь,— самоуверенно сказала Марина.

Часто Марину охватывало теперь чувство усталости и большой беспомощности. Иногда на улице, и особенно в очередях за хлебом или молоком, сильно кружилась голова. И вообще все трудней становилось жить одной.

Темка переселился из общежития к ней. Он помогал, в чем только мог, и на что хватало времени. Был к Марине нежен и внимателен. Но — что скрывать? Неловко как-то было ему, когда он теперь шел с нею по улице, и встречные, особенно женщины, быстрым и внимательным взглядом окидывали выпячивающийся живот Марины. И как у ней походка изменилась! Прежде ходила быстро и словно на пружинах, а теперь медленно переваливалась с ноги на ногу, как гусыня. Сидела, широко раздвинув ноги. Вообще Темка теперь вдруг заметил, как она некрасива. Красива, собственно, Марина никогда не была: курносая, в частых веснушках весною, с невьющимися русыми волосами, подстриженными а ля фокстрот. Но было в ней что-то крепкое, здоровое и комсомольски задорное. Теперь веснушки слились в одно темно-коричневое пятно, покрывавшее переносицу и щеки, а губы были белые. Из глаз же глядела постоянная усталость.

И однако, несмотря на все это, Темку сильно тянуло к Марине. Она была ему по-прежнему желанна. Но для нее ласки его были теперь совершенно невыносимы, она судорожно отталкивала его руки, а на лице рисовалось отвращение. Темка отлично понимал, что все это очень естественно и вполне согласно с природой, но в душе чувствовал обиду. Еще же обиднее и тяжелее было вот что. Марина была грубовата, вспыльчива, но всегда Темка чувствовал, что он для нее — самый близкий и дорогой человек. Теперь он ясно видел, что о нем Марина думает очень мало.

а что все мысли ее, как компасная стрелка к полюсу, тянутся к тому, кто медленно рос и созревал внутри ее тела. Это было как-то особенно обидно.

Иногда, сквозь туман вечной занятости и мыслей о не своем личном, вдруг в голове Темки яркой паровозной искрой проносилась мысль: «ро-ди-те-ли». И ему отчетливо представлялось, каким это песком посыплется на скользящие части быстро работавшей машины их жизни. Он встряхивал головою и говорил себе огорченно:

— Ну и ну!

Однажды они сидели вечером и прорабатывали вместе тезисы к предстоящему съезду партии. Темка читал, а Марина слушала и шила распашонки для будущего ребенка. На столе гордо разлеглась очень сегодня удачно купленная бумазейка,— ее Марина уже нарезала на пеленки.

Три коротких звонка. К ним. Темка пошел отпереть. В коридоре зазвучал его громкий сконфуженный хохот, он растерянно говорил кому-то:

— Подожди тут! Одну минуту!

Быстро вошел в комнату. И взволнованно прошептал:

— Поскорей! Убери все это!

Марина удивленно и грозно спросила:

— Что убрать?

Темка виновато шептал:

— Васька Майоров пришел, секретарь райкома.

— Ну, так что ж?

Темка откинул крышку корзины и поспешно стал бросать со стола в корзину нарезанные пеленки. Марина следила за ним, не шевелясь. Он опять метнулся к столу, схватил ее шитье, накололся на иголку, выругался, скомкал распашонки и испуганно сунул их тоже в корзину. Захлопнул крышку. Высасывая уколотый палец, пошел к двери.

Вошел Майоров,— бритый, с тонкими насмешливыми губами. Говорили о предстоящем съезде. Марина не вмешивалась в разговор, молча сидела на стуле и била карандашом о лежавшую книгу то одним концом, то другим.

Через полчаса Майоров ушел. Марина все сидела молча и глядела на Темку. Он старался не встретиться с нею глазами. И вдруг Марина тяжело сказала:

— Какая у тебя была подлая рожа!

— Когда? В чем дело?

Марина молчала и продолжала тяжело глядеть на Темку. Потом проговорила медленно и властно:

— Вот что, милый мой товарищ! Смывайся-ка отсюда!

— Маринка! Что ты? Что с тобой случилось? Ничего не понимаю.

— Не понимаешь? Тем хуже для тебя. Вы-ка-ты-вайся! Я не хочу больше с тобой жить.

1930

ВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

1
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ГЛАВА

В газетах появились огромные объявления. Иллюстрированный еженедельник «Окно в будущее» сообщал читателям сенсационную новинку: в бумагах, оставшихся после Льва Толстого, найдена рукописная, совершенно отделанная глава из «Анны Карениной»; глава только по ряду совершенно случайных причин не была включена Толстым в роман. Сообщалось, что глава эта, доселе нигде еще не напечатанная, целиком появится в ближайшем номере журнала «Окно в будущее».

И правда, появилась целая глава. Яркая, сильная, являвшая поистине вершину толстовского творчества. Описывался сенокос.

«Бабы, с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими, веселыми голосами, шли позади возов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторения, и дружно, враз, подхватили опять сначала ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов. Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигается на него. Туча надвинулась, захватила его, и копны, и воза, и весь луг с дальним полем,— все заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с вскриками, присвистами и еканьями».

Чувствовался и запах свежего сена, и напоенный солнцем воздух, и бодрая радость здорового труда. Невольно хотелось вздохнуть поглубже, весело улыбаться.

Успех был огромный. Весь полумиллионный тираж

номера разошелся целиком; припечатали еще двести тысяч, и те разошлись целиком.

Номер стоил двадцать копеек,— за двадцать копеек читатель получил высочайшее наслаждение, за которое не жалко было бы заплатить даже рубль.

Все были очень довольны.

И вдруг... вдруг в газетах появились негодующие письма знатоков литературы.

Знатоки сообщили, что якобы до сих пор неопубликованная глава эта неизменно печатается во всех изданиях «Анны Карениной», начиная с первого появления романа в журнале «Русский вестник», и в любом из изданий читатель может прочесть эту главу.

Негодование и возмущение было всеобщее. Да не может быть! Дойти до такого надувательства!

Но справились: верно. Слово в слово. Стоило платить двадцать копеек!

И тогда всем показалось, что они никакого удовольствия от прочитанного не испытали и только даром затратили двугривенный.

2

ЗЕЛЕНАЯ ЛОШАДЬ

Шел съезд коневодов.

На трибуну поднялся щуплый паренек невысокого роста, с густыми, всклокоченными волосами, с озорными глазами, и заговорил пронзительным голосом:

— Вот уж несколько дней вы болтаете о различных породах лошадей...

Председатель строго прервал:

— Здесь не болтают. Здесь серьезно дискутируют.

— Я извиняюсь. Вот уже несколько дней вы «серьезно дискутируете» о различных породах лошадей,— о свиноподобных першеронах, об английских скаковых стрекозах, гряхнули даже заплесневелою старушкой,— арабской лошадью. Все это никчемная болтовня... Извиняюсь: никчемная «серьезная дискуссия». Вы не придете ни к чему путному, пока не впустите себе в мозги простой и совершенно очевидной истины: единственная порода, которая способна вполне удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к лошади нашею современностью, это —зеленая лошадь.

— Какая?

— Зеленая.

— Зеленая?!

— Изумрудно-зеленая лошадь.

— Ха-ха-ха!

— Да! Зеленая лошадь с апельсинно-оранжевым хвостом.

Председатель еще строже сказал:

— Здесь обсуждаются серьезные вопросы, и шутки ваши совершенно неуместны.

— Я не шучу. Я именно самым серьезным образом...

Шум, гам, смех не дали ему докончить.

— Довольно!

— Долой!

Оратор несколько раз пытался продолжать, но ему не дали. Он презрительно оглядел шумевших и гордо сошел с трибуны.

В следующее заседание он опять появился на трибуне,— такой же гордый и боевой.

— Пока вы серьезно не поставите вопроса о зеленой лошади...

— Да вы видали когда-нибудь зеленую лошадь?

— Нет, не видал.

— О чем же тут говорить?

— Когда Гальвани и Вольта исследовали такое как будто пустяковое, только курьезное явление природы, как электричество, видали ли они телеграф, телефон, электрическое освещение?

Это было так глупо, что оставалось только развести руками. Седовласый член, знаменитый коневод, с тонкой иронической усмешечкой неопровержимо доказал в своей речи,— во-первых: что нет никаких оснований ждать, чтобы мы смогли каким-нибудь путем вывести породу зеленых лошадей, так как не существует никаких животных с зеленою шерстью; во-вторых: совершенно непонятно, почему лошадь, раз у нее будет зеленая шерсть, окажется в каком бы то ни было отношении выше лошадей существующих пород.

Все засмеялись и говорили:

— Правильно!

Молодой человек ринулся на кафедру.

— Не существует животных с зеленою шерстью! А скажите вы, ученая древность,— разве оперение птиц гене-

тически не то же самое, что волосяной покров животных? В запыленные свои очки вы смотрите только на лошадей. Вы не способны поглядеть вокруг глубже. Тогда бы вы увидели,— ну, например, хоть зеленого попугая. Не ученого попугая людской породы, это — попугай цвета самого неопределенного! — а настоящего ярко-изумрудного новогвинейского попугая-самца!

В следующее заседание он опять стоял на кафедре и опять говорил о зеленой лошади. Сумасшедший? Нет, глаза смотрели твердо и сознательно. Хохот катался по зале. Скрестив руки на груди, оратор стойко пережидал шум и продолжал:

— Великие художники в пророческом вдохновении высоко поднимаются над путающимися в их ногах людишками и указывают им на невозможные идеалы, которые, однако, блистательно осуществляются в будущем. И вот посмотрите: на всех знаменитых бронзовых конных статуях лошади — зеленые.

— Да ведь и люди на них зелены!

— Да и люди. Не мешало бы и людям стать хоть немножко зелеными!

Это было уже не смешно, не глупо, а просто нагло. Аудитория дружно потребовала от председателя лишить оратора слова. Председатель предложил ему покинуть трибуну. Но оратор отказался. Усовещивали, убеждали,— он заявил, что не сойдет, пока не доскажет, что хотел сказать. Ничего не оставалось, как насильно удалить его. Сторожа потащили оратора к выходу. Он громовым голосом протестовал против насилия, поминал Галилея, Джордано Бруно. Некоторые из членов недовольно морщились и говорили, что нельзя же все-таки стеснять свободу прений.

С тех пор не проходило съезда, не проходило заседания ученого общества, где бы не появлялась на трибуне маленькая фигурка пропагандиста зеленой лошади. Он был великолепен: скрестив руки на груди, стоял под бурей криков и смеха, ждал с насмешливой улыбкой три, пять, десять минут и начинал говорить о зеленой лошади. Постепенно стали появляться приверженцы его учения,— восторженные и непримиримые. Их становилось все больше. Теперь, когда их вождь появлялся на трибуне, смех, шум и возгласы негодования мешались с бурными аплодисментами.

По-прежнему спрашивали:

— Да видал ли кто когда-нибудь вашу зеленую лошадь?

Но теперь со всех концов зала раздавалось:

— Старо!

— Старо, старо!

— Придумали бы что-нибудь поновее!

Один за другим на трибуну всходили ораторы и громили заскорузлую отсталость жрецов официальной науки.

В городе стоит большое, красивое здание. На нем вывеска:

Институт зеленой лошади

Директором института состоит, конечно, он, инициатор всего дела. Под его руководством штат научных сотрудников с энтузиазмом работает над разрешением проблемы о зеленой лошади.

3

ЮБИЛЕЙ

Слонялся по залам клуба подвыпивший господин. Зашел в один зал: длинный стол, уставленный яствами и винами, цветы, сидят люди; речи какие-то, звон стаканов. Девица у дверей куда-то отлучилась, и господин прошел беспрепятственно. Одно место с прибором оказалось свободным. Сел. Сладким потоком лились речи.

— Скажите, пожалуйста, по какому случаю собрание?

Сосед удивленно поглядел:

— Банкет.

— В честь кого?

— В честь Ивана Ивановича Иванова. Сорокалетний юбилей.

— Юби... Юбилетний сорокалей?.. Он что, кажется, ранний сорт помидоров вывел?

— Что вы! Писатель он.

— Пи-са-тель?.. Как его звать-то?

— Иван Иванович.

— Господин председатель, прошу слова... Дорогой Иван Иванович! Рад приветствовать вас с сорокалетием вашего славного служения русскому слову! Мы все выросли на ваших произведениях, мы все учились на них поавде, добру и красоте...

Гром рукоплесканий, крики:

— Правильно!

— Вы всегда высоко держали знамя, вы всегда были верны завету великого нашего поэта:

Сейте разумное, доброе, вечное!
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ!

Я думаю, что выражу единодушное мнение всех здесь присутствующих, если скажу: позвольте мне от лица русского народа отвесить вам низкий поклон...

Рукоплескания долго мешали оратору продолжать. Раздавались крики:

— Правильно! Вы выразили общее наше мнение! Браво!

— ...отвесить вам, дорогой Иван Иванович, низкий поклон и сказать: спасибо вам! Разводите и впредь помидоры с таким же успехом, как разводили до сих пор, и пусть еще немало скороспелых сортов этого полезного овоща перейдет в потомство с вашим славным именем... Ур-ра!!.

4
КОНЦЕРТ

В городе Пыльске, проездом из Крыма в Москву, застряли после свадебной поездки молодые супруги Кимберовский и Черноморова. Он — хорист московского Большого театра, она — статистка Художественного театра. Оба очень милые люди. Но слишком уж они повеселились в Крыму. И вот целую неделю сидели в Пыльске, в гостиницу не платили и были в таком же положении, как Хлестаков до переезда к городничему. И так же увидели они, как в столовой гостиницы какой-то коротенький человек ел семгу и еще много кой-чего. Разговорились. Коротенький человек узнал об их безвыходном положении и удивился:

— Артист Большого театра... Артистка Художественного театра... Это же капитал! Дайте здесь концерт, в чем дело?

— Кто же пойдет? Кому мы известны? Да и кто возьмется устроить?

— Устроить возьмусь я. А пойдет весь Пыльск, если умело взяться за дело.

Он поманил официанта и предложил изумленным супругам выбрать себе по меню обед. И заказал.

Отхлебывая из стаканчика малагу, коротенький человек говорил:

— Я не благотворитель, не меценат. Я по духу человек коммерческий. И сделаем мы так, если вы на это согласитесь. Я беру на себя все расходы по устройству вечера. А чистый доход разделим пополам. И еще вот что: двоим вам будет трудно заполнить весь вечер. Моя жена — прекрасная пианистка. Она, я надеюсь, не откажется принять участие в концерте. Давайте-ка обсудим программу. Это дело серьезное.

Сытые и счастливые супруги воротились в свой номеришко.

На домовых стенах и заборах города Пыльска появились большие, яркие афиши. В них сообщалось, что такого-то числа сего года в местном городском театре состоится

Концерт московских артистов

Артист московского Большого театра Аркадий Александрович Кимберовский исполнит арию Ленского из «Евгения Онегина», песню индийского гостя из оперы «Садко», арию герцога из «Риголетто» и другие популярнейшие арии.

Артистка московского Художественного театра Зинаида Николаевна Черноморова исполнит монолог Нины Заречной из пьесы Антона Чехова «Чайка» («Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...»), монолог Сони из «Дяди Вани» («Мы отдохнем!.. Мы увидим все небо в алмазах...») и другие монологи из репертуара Художественного театра.

Кроме того, местная пианистка-любительница Раиса Борисовна Славуцкая исполнит несколько ноктюрнов Шопена, «Времена года» Чайковского и др.

Внизу афиши, как обычно, была помещена расценка мест, а под нею, не особенно бросаясь в глаза, но довольно четко, еще одна строчка:

Билеты в продажу не поступают

Вскоре после расклейки афиш у кассы городского театра стали появляться люди. Окошечко кассы было наглухо закрыто, однако за ним слышался людской говор. Подошел прилично одетый человек, робко постучался в окошечко кассы. Окошечко открылось, нетерпеливый голос спросил:

— Что надо?

— Я извиняюсь... Нельзя ли получить билетики на концерт московских артистов?

— Ах ты господи! Вот народ!.. Ведь русским же язы-

ком напечатано в афишах: «Билеты в продажу не поступают».

— Мне всего парочку.

— Да поймите же, я не имею права продавать!.. Впрочем... Погодите минутку...— Кассир долго изучал билетные тетрадки, вздыхал; наконец сказал: — Могу вам предложить пару билетиков во втором ряду, по пять рублей билет.

— Пожалуйста!

Гражданин радостно заплатил деньги, и кассир неохотно отрезал ему два билета.

Потом явился решительный гражданин мрачного вида и властно постучал в окошечко.

— Что надо?

— От профсоюза коммунального хозяйства. Десять билетов.

— Билеты в продажу не поступают.

— Меня это мало интересует. Для профсоюза билеты должны найтись.

Долго препирались, но в конце концов мрачный гражданин ушел победителем, отвоевав даже пятнадцать билетов вместо десяти, и гордо сказал своему спутнику:

— Я всегда сумею добыть! Не на таковского напали!

К кассе подходили все новые покупатели,— и от профсоюзов, и от школ, и отдельные лица. Споры и препирательства у кассы становились все жесточе, получить билеты с каждым часом становилось все труднее. Кассир плачущим голосом умолял оставить его в покое, взывал к сознательности граждан.

В один день все билеты были проданы. Концерт прошел с аншлагом. К а к прошел — это другой вопрос, до дела не относящийся. Молодые супруги получили свою часть, расплатились с гостиницей, весело и обильно поужинали с устроителем концерта и укатили в Москву.

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ

Чистый вымысел принужден всегда быть настороже, чтоб сохранить доверие читателя. А факты не несут на себе ответственности и смеются над неверящими.

Рабиндранат Тагор.

С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести; и все интереснее — живые рассказы о действительно бывшем. И в художнике не то интересует, что он рассказывает, а как он сам отразился в рассказе.

И вообще мне кажется, что беллетристы и поэты говорят ужасно много и ужасно много напихивают в свои произведения известки, единственное назначение которой — тонким слоем спаивать кирпичи. Это относится даже к такому, например, скупому на слова, сжатому поэту, как Тютчев.

Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя.

Это стихотворение к Д. Ф. Тютчевой только выиграло бы в достоинстве, если бы состояло всего из приведенного двустишия.

Я по этому поводу ни с кем не собираюсь спорить и заранее готов согласиться со всеми возражениями. Я и сам был бы очень рад, если бы Левин охотился еще на протяжении целого печатного листа и если бы чеховский Егорушка тоже еще в течение целого печатного листа ехал по степи. Я только хочу сказать, что таково мое теперешнее настроение. Многое из того, что тут помещается, я долгие годы собирался «развить», обставить психологией, описаниями природы, бытовыми подробностями, разогнать листа на три, на четыре, а то и на целый роман. А теперь

вижу, что все это было совершенно ненужно, что нужно, напротив, сжимать, стискивать, уважать и внимание и время читателя.

Здесь, между прочим, помещено много совсем коротких заметок, иногда всего в две-три строчки. По поводу таких заметок мне приходилось слышать возражения: «Это — просто из записной книжки». Нет, вовсе не «просто» из записной книжки. Записные книжки представляют из себя материал, собираемый писателем для своей работы. Когда мы читаем опубликованные записные книжки Льва Толстого или Чехова, они нам всего более интересны не сами по себе, а именно как материал, как кирпичи и цемент, из которого огромные эти художники строили свои чудесные здания. Но в книжках этих очень немало и такого, что представляет самостоятельный художественный интерес, что ценно помимо имени авторов. И можно ли обесценивать подобные записи указанием на то, что это — «просто из записной книжки»?

Если я нахожу в своих записных книжках ценную мысль, интересное на мой взгляд наблюдение, яркий штрих человеческой психологии, остроумное или смешное замечание,— неужели нужно отказаться от их воспроизведения только потому, что они выражены в десяти — пятнадцати, а то и в двух-трех строках, только потому, что на посторонний взгляд это — «просто из записной книжки»? Мне кажется, тут говорит только консерватизм.

I

1

СЛУЧАЙ НА ХИТРОВОМ РЫНКЕ

В Москве, между Солянкой и Яузским бульваром, находился до революции широко известный Хитров рынок. Днем там толокся народ, продавал и покупал всякое барахло, в толпе мелькали босяки с жуликоватыми глазами. Вечером тускло светились окна ночлежных домов, трактиров и низкопробных притонов. Распахивалась дверь кабака, вместе с клубами пара кубарем вылетал на мороз избитый, рычащий пьянчуга в разодранной ситцевой рубашке. Ночью повсюду звучали пьяные песни и крики «караул».

В чулане одного из хитровских домов был найден под

кроватью труп задушенного старика. Дали знать в полицию. Приехали товарищ прокурора и судебный следователь. Под темной лестницей, пахнущей отхожим местом,— чулан при шапочном заведении. Поверху проходит железная труба из кухни заведения,— единственное отопление чулана. Чулан тесно заставлен мебелью. Под железной кроватью труп задушенного старика с багровым лицом. Ему хозяин шапочного заведения сдавал под жилье чулан. Все вещи целы. В комоде найдена жестянка, в ней семнадцать рублей с копейками. Не грабеж. Кто убил?

Много помог следствию городовой, давно служивший в той местности; все взаимоотношения, романы и истории рынка были ему хорошо известны. Найти виновника преступления оказалось очень нетрудно.

Убитый старик был когда-то начальником крупной железнодорожной станции, спился, попал на Хитров рынок. Под старость стал пить меньше. Скупал по тридцать, по сорок копеек старые шерстяные платья и из лоскутьев шил шикарные одеяла для хитровских красавиц, зарабатывал по шестнадцать — восемнадцать рублей в месяц. Считался богачом, имел постоянный заработок, свой угол.

Допрос свидетелей. Как будто раскрылся пол, и из подполья полезли жуткие, совершенно невероятные фигуры в человеческом обличье. Хозяин шапочного заведения, у которого убитый нанимал чулан, старик лет пятидесяти. Был очень пьян, пришлось отправить в участок для вытрезвления, и допросить его можно было только на следующий день вечером. С опухшим лицом, сидит, сгорбившись, в лисьей шубе. И вдруг начал икать. Это было что-то ужасное. Как будто все внутренности его выворачивались. Умоляет дать водки, чтобы опохмелиться.

Спрашивают об убитом. Он очень уклончиво. Ничего путного нельзя добиться. Наконец сознался.

— Я его ни разу не видал.

— Как не видали? Он у вас уже пять месяцев живет!

— Извините! Я шесть месяцев без просыпу пьян. Как сукин сын, извините за выражение.

Оказалось, действительно все время пьет. Днем в трактире, вечером возвращается,— спать. Ночью проснется, хрипит: «Водки!» Жена ему вставляет в рот горлышко бутылки. Утром проснется, опять: «Водки!» Встанет и идет в трактир. Дома только спит, пьет водку и бьет жену.

Пришлось для допроса призвать жену. Она кажется много старше своих лет, управляет мастерской, нянчит ребят, покупает мужу водку. На лице глубокое горе, но совершенно замороженное. Рассказывает обо всем равнодушно.

Прежняя любовница убитого: бабища лет пятидесяти, толщины неимоверной, красная, вся словно налита водкой. Спрашивают у нее имя ее, звание. Она вдруг:

— Je vous prie, ne demandez moi devant ces gens-là! [1]

Оказывается: дочь генерала, окончила Павловский институт. Вышла несчастно замуж, разъехалась, сошлась с уланским ротмистром, много кутила; потом он ее передал другому, постепенно все ниже,— стала проституткой. Последние два-три года жила с убитым, потом разругались и разошлись. Он взял себе другую.

Вот эта другая его и убила.

Исхудалая, с большими глазами, лет тридцати. Звали Татьяной. История ее такая.

Молодой девушкой служила горничной у богатых купцов в Ярославле. Забеременела от хозяйского сына. Ей подарили шубу, платьев, дали немножко денег и сплавили в Москву. Родила ребенка, отдала в воспитательный дом. Сама поступила работать в прачечную. Получала пятьдесят копеек в день. Жила тихо, скромно. За три года прикопила рублей семьдесят пять.

Тут она познакомилась с известным хитровским «котом» Игнатом и горячо его полюбила. Коренастый, но прекрасно сложенный, лицо цвета серой бронзы, огненные глаза, черные усики в стрелку. В одну неделю он спустил все ее деньги, шубу, платья. После этого она из своего пятидесятикопеечного жалованья пять копеек оставляла себе на харчи, гривенник в ночлежку за него и за себя. Остальные тридцать пять копеек отдавала ему. Так прожила с ним полгода и была хорошо для себя счастлива.

Вдруг он исчез. На рынке ей сказали: арестован за кражу. Она кинулась в участок, рыдая, умоляла допустить ее к нему, прорвалась к самому приставу. Городовые наклали ей в шею и вытолкали вон.

После этого у нее — усталость, глубокое желание по-

---

[1] Я прошу вас не допрашивать меня в присутствии этих людей! *(франц.)*

коя, тихой жизни, своего угла. И пошла на содержание к упомянутому старику.

Паспорту Татьяны вышел срок. Старик отобрал его и от себя послал на обмен. Она осталась без паспорта и не могла уйти от старика. Вдруг воротился Игнат. Оказалось, он был арестован не за кражу, а только за бесписьменность: выслали этапом на родину, он выправил паспорт и воротился. Рыночные бабенки сейчас же сообщили Татьяне. Она отыскала его, радостно кинулась навстречу. Он засунул руки в карманы:

— Чего тебе надо?

Она остолбенела.

— Отыска-ала!.. На что ты мне такая? Худая, как холера. Я и тогда-то с тобой так только жил, от скуки. Скажите пожалуйста: за такого мальчика — тридцать пять копеек! Я себе богатую найду.

Еле наконец до нее снизошел. Но она и тому была рада. Он ее бил, измывался, отбирал все деньги. И все попрекал стариком.

— Старика своего любишь,— ну и иди к своему старику.

А она уйти от старика не могла: паспорт у него. А беспаспортную вышлют. А Игнат все измывался и утверждал, что она больше любит старика, чем его.

Татьяна вскочила:

— Ну, я ж тебе докажу, что больше люблю тебя!

Побежала домой и задушила спавшего старика.

И вот стали ее допрашивать. Худая, некрасивая, в отрепанной юбке, глаза волчонка, смотрит исподлобья. От всего отпирается. Вдруг какой-то произошел перелом — и во всем созналась. Рассказывает о своей любви к Игнату, и вся преобразилась. Глаза стали большие, яркие, целые снопы лучей посыпались из них, на губах застенчивая, мягкая улыбка. Как красива становится женщина, когда любит!

Старик следователь, раздражительный и сухой формалист, вначале грубо покрикивал на нее, но, как подвигался допрос, становился все мягче. А когда ее увели, развел руками и сказал:

— Вот не думал, чтоб на Хитровом рынке могла быть такая жемчужина!

Товарищ прокурора, уравновешенный, не старый человек, в золотых очках, задумчиво улыбнулся:

— Да-а... «Вечно женственное» в помойной яме!

Стали допрашивать Игната. Держится в высшей степени благородно, приводит всяческие улики против Татьяны, полон негодования.

— Дозвольте вам доложить: шкура и больше ничего-с! Какое безобразие, ну скажите, пожалуйста! За что она старичка?

В один из допросов, когда товарищ прокурора допрашивал Игната, из соседней комнаты, от следователя, вышла Татьяна. Вдруг увидала Игната, вспыхнула радостью, подошла к нему, положила руки на плечи:

— Ну, Игнат, прощай! Больше не увидимся: я на каторгу иду.

Он дернул плечом, отвернулся и презрительно отрезал:

— Пошла прочь... Стерва!

Товарищ прокурора вспыхнул и возмущенно крикнул:

— Сукин ты сын!.. Негодяй!..

Городовые и те негодующе замычали. Стоявший в дверях следователь злобно плюнул.

Она низко опустила голову и вышла.

2

«НЕ ТАКОЙ ПОДЛЕЦ»

Богатая семья. Большое имение под Москвой. Особняк в Москве. Братья служили военными, дипломатами, все поженились. Сестра их Соня осталась в девушках. Ей уж значительно перевалило за сорок, была она некрасивая, высохшая, но очень тонная, туго затягивалась в корсет, пудрилась. Лето вся семья проводила в деревне. И вдруг весть: Соня выходит замуж! Все хохотали. Она спешно поехала в Москву вставить себе челюсть и вообще омолодиться.

Жениху было лет сорок пять. Он занимал довольно видный пост в государственном контроле. Пришла от него телеграмма, что едет в командировку и по дороге завернет на день к ним. Все ждали с большим интересом. Приехал поздно вечером. Был очень безобразный, с толстыми губами. Но оказался большим умницей, интересным рассказчиком: в разговоре безобразие исчезло, и за ужином он всех очаровал.

Утром — пить кофе.

— Что жених?

— Спит.

Сели завтракать.

— Что он?

— Спит.

Пошли в рощу собирать грибы, воротились...

— Спит!

Вышел к обеду, к шести часам. Разговаривал со всеми, на невесту не обращал никакого внимания,— так, перекинется, как со всеми, словом, ответит на ее вопрос. Сейчас же после обеда уехал. Общее изумление. Скрытно-растерянные глаза Сони.

Через три недели приехал на свадьбу. Опять спал до четырех часов дня. Потом вышел в залу, сел за рояль и все время играл похоронный марш Шопена. Вечером отправился в церковь, обвенчались и уехали.

Осенью Соня приехала к родителям в Москву, сказала,— на два дня, но прожила три недели. Уехала к мужу, через неделю опять вернулась и осталась у родителей.

Через несколько месяцев брат Сони, полковник, встретился на улице с бывшим ее мужем, отвернулся. Но тот перешел к нему с другой стороны улицы и сам заговорил:

— Я не такой подлец, как вы можете подумать. Я вам все напишу.

И написал, что давно любил другую, долго жил с нею, потом она его бросила. Чтоб ее задеть, он нарочно женился и постарался сделать это как можно нелепее.

Почему-то думал, что в этом он оказался не таким подлецом, как можно было подумать.

3

ПИСАТЕЛЬ

Вся редакция журнала любовно носилась с ним. Он напечатал уже три рассказа в журнале, и один был лучше другого. Даже у секретарши Анны Михайловны, суровой женщины, недавно воротившейся из ссылки, глаза становились теплее и мягче, когда она разговаривала с ним.

А сам он все не верил своему счастью и жадно ловил всякий одобрительный отзыв. Особенно он дорожил почему-то мнением Анны Михайловны и все спрашивал ее:

— Ну как вы думаете, выйдет из меня настоящий писатель?

Был он красивый парень, с мужественным голосом, а в глазах и в интонациях то и дело прорывалось что-то совсем детское и ужасно милое.

Однажды, когда Анна Михайловна была одна, он, краснея и смущаясь, обратился к ней с очень странной просьбой: дать ему на одни сутки полный комплект женской одежды до самых интимных ее частей.

— Надевать никто не будет, даю честное слово. Это нужно только для бутафории.

— Что вы собираетесь делать?

Он лукаво поглядел и ответил:

— Секрет. Только очень нужно. Для рассказа.

Анна Михайловна рассмеялась и обещала. На следующий день принесла чемоданчик с просимыми вещами. Он ушел очень довольный и обещал завтра же возвратить.

Пришел он не завтра, а послезавтра. Лицо смотрело неподвижно, и в глазах было недоумевающе-смущенное выражение ребенка, которого высекли,— он не знает за что, но, по-видимому, за дело.

— Вот чемоданчик, возвращаю. Спасибо.

Сел. Дрожащими руками закурил папиросу.

— Я к вам, Анна Михайловна, с просьбой. Такая штука получилась,— без вашей помощи не расхлебаю.

— Что случилось?

— Видите ли... Я уж вам все откровенно... Для нового моего рассказа нужна мне сцена ревности женщины. А я никогда в натуре не видал, как в таких случаях проявляется женщина. Вот я и надумал... Любит меня одна девушка. Ну и я, конечно, ее люблю. Обычно приходит она ко мне по утрам, два раза в неделю. Я и решил понаблюдать, как она ревнует. Третьего дня вечером соответственно убрал свою комнату: на столе как будто остатки ужина — тарелки с закуской, бутылки, стаканчики наполовину с вином. По креслам раскидал то, что вы мне дали, на самых видных местах — рубашку, чулки и тому подобное. А утром, к ее приходу, сделал на кровати из своей шубы как будто человеческую фигуру, закутал в одеяло,— очень хорошо вышло, лежит как живая. Собрался сам одеваться, вдруг — стук в дверь, и она вошла. Минут на десять почему-то раньше, чем обычно. В удивлении остановилась на пороге. Я, чтоб не расхохотаться, подошел к окну и смотрю наружу, кусаю губы. Сзади молчание, я оглянул-

ся. Она вдруг охнула, пошатнулась и выбежала вон. А я в одном нижнем белье!.. Оделся, побежал следом... Нет ее. К ней,— нет дома. Вечером только застал. Рассказал все, как было. Она слушает и молчит.

Он почесал за ухом.

— Хоть бы ругала, хоть бы плакала! Сидит и молчит, и глаза сухие, только очень большие. Видно, не верит... Я вот вас и хочу просить, Анна Михайловна. Пойдемте к ней вместе, расскажите, что это вы мне дали одежду.

Анна Михайловна брезгливо ответила:

— Нет уж, избавьте, пожалуйста! Очень жалею, что вы не сочли нужным предупредить, на что вам это было нужно. Бедная девочка,— с кем связалась!.. А вас могу поздравить: рано это немножко, но стали вы — самым, самым, «настоящим» писателем!

4

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ

На одной из больших улиц Замоскворечья стоит вычурно-красивый, угрюмо-пестрый дом. Вот что рассказывают про этот дом. Его выстроил для себя один богатый сибирский золотопромышленник. Заказал архитектору проект, одобрил, заключили договор. В договор промышленник ввел огромную неустойку, если работа не будет закончена к условленному сроку. Все время при стройке придирался, тормозил, заставлял снова и снова переделывать. Архитектор увидел, что попал в когти дьявола, что к сроку заказа не кончит; уплатить же неустойки он не имел возможности. И повесился в этом самом доме, который построил.

Хозяин поселился в доме с девушкой-дочерью. Она влюбилась в певца итальянской оперы. Отец, конечно, и думать ей запретил о подобном замужестве. Она убежала с итальянцем за границу. Отец остался жить один в огромном доме. Сильно злобился на дочь и сильно по ней тосковал. Тоска победила. Поехал за границу отыскивать дочь. Отыскал ее, брошенную итальянцем, в нужде, беременную.

Привез обратно. И тут победила злоба. Он замуровал дочь в светелке над вторым этажом. Дверь наглухо заделал кирпичами, оставил только маленькое окошечко; в

него ей подавали еду и питье. Подкупленная прислуга молчала.

Пришло время ей родить. Ее крики и стоны разносились по всему дому. Отец запретил оказывать ей какую-либо помощь, сидел у себя в кабинете и три дня слушал, как по гулким комнатам обоих этажей носились ее стоны и вопли. В ночь на четвертый день все стихло. В светелке нашли мертвую мать и мертвого младенца.

А для отца дом продолжал оставаться полным стонами и криками. Он не спал по ночам и все время расхаживал в халате по ярко освещенным комнатам особняка. Наконец не выдержал и уехал куда-то за границу. Дом до самой революции стоял пустым.

5

ОШИБКА

Мы с ним уж два года были до этого знакомы, и все ничего.

А этот вечер вдруг стал совсем необычным. Случилось это в августе, были яблоки, были ночи с туманами. Он смотрел мне в глаза, и я вдруг почувствовала, что он восхищается мною, и я не могла не быть от этого доброй и прекрасной. Восхищение действует на меня, как масло на скрипучую дверь. Мы говорили глазами и улыбками так хорошо, как люди не говорят словами. Ночь была совсем особенная. Месяц, блестящие от росы крыши и заборы, тяжелые черные тени на дорожках. Я чувствовала, как у меня блестят глаза.

Мы бродили под яблонями, довольно близко друг от друга. Иногда на землю тяжело шлепалось яблоко. У меня ноги были совсем мокрые от росы, я видела, что он тоже промок, но что это ничего, потому что ему хорошо со мною. Он гладил мои руки. Это было так просто и понятно в ту ночь!.. Казалось, в ней все друг друга любят, и ничего не было удивительного или нехорошего в его ласке. И не удивительно было, когда он поцеловал меня нежно, нежно... И я отвечала ему, и это было так и нужно тогда, чтобы после нам не было жалко и стыдно. Да, и стыдно! Потому что стыдно должно было бы быть обоим, если бы мы эту ночь проморгали.

А потом мы продолжали встречаться. И месяц такой же был, и росы, и яблоки падали. А уж этого не повто-

рилось. Почему? Я не понимала. Плакала по ночам. И мне ясно стало, что чувство, которое меня к нему влечет,— не любовь. Я боялась обмануться и обмануть его. Старалась заминать возникавшие между нами разговоры на эту тему.

Мы расстались. Он уехал на службу в Донецкий край. Он — горный инженер, только что кончил курс. И как только он уехал, я поняла, что люблю его. Хотя нет, вовсе не так. Не сразу было. Я тосковала, но говорила себе, что это пустяки, пройдет. Мы переписывались года два. И вот тогда я поняла окончательно, что люблю его. А он вдруг прекратил переписку. Стороной я узнала, что он женился. Подействовала разлука, отвык от меня и женился. И осталась я одна на свете. Овладела черная меланхолия, мне казалось, что я никому не нужна. Потом выправилась, опять появилась жажда жить.

Осенью девятьсот пятого года я познакомилась с одним человеком. Он был старше меня на одиннадцать лет. Сначала я чувствовала себя с ним очень хорошо и легко. К тому же он был окружен ореолом героя,— только что вышел из тюрьмы, где просидел два года. Но очень скоро я стала замечать, что он относится ко мне исключительно как к женщине. Это меня обижало, сердило, я решила объясниться с ним. Но он так повернул дело, что я невольно стала думать: отчего меня так волнует его отношение? Да, меня тянуло к нему. Он меня уверял, что мы любим друг друга, что, хотя я отрицаю, я люблю его. Я думала, что у нас установится прочная привязанность и мы станем друг для друга мужем и женой. Но он совсем не желал этого. Он говорил:

— Я хочу, чтоб наша встреча пронеслась сверкающим метеором по серенькому небу обывательщины.

Я не любила его, но не могла уйти. Так ему и говорила, что не люблю, хотя и тянет к нему. А он становился настойчив до дерзости. Скажи мне в это время тот, первый, хоть слово, напиши самое обыкновенное письмо (он был очень чистый и серьезный человек),— ничего бы не было... И я отдалась нелюбимому,— отчасти по разбуженному им чувственному влечению, отчасти из желания все это узнать, но главное: я решила, что не умею любить и никогда никого не полюблю по-настоящему. А тогда не все ли равно? Притом он обещал, что последствий не будет. И правда,— не было.

Радости во всем этом было очень мало. Тяжело было и как-то гадостно. Утром я давала себе слово разорвать с ним, но наступал вечер, приходил он, ласковый и веселый, и с первым поцелуем я теряла силу. Наконец разлад во мне стал сильнее чувственного влечения, и мы расстались.

То, первое, чувство заглохло пока, но я чувствовала: все хорошее, цельное, чистое, что есть во мне, связано с тем, первым. Не смейтесь, если кто случайно прочтет эти строки; я действительно не считала, что я нравственно стала хуже, чем была прежде. Я никого не обманула. Этот, второй, знал, что я его не люблю.

Через год осенью я получила письмо от первого, любимого, на адрес Женского медицинского института (я тогда кончала в нем курс). У меня потемнело в глазах, когда я узнала его руку. Письмо было отчаянное. Жизнь исковеркана. Он спрашивал, хочу ли я выслушать исповедь своего бывшего друга. Что я пережила после этого письма! До других мне было все равно, но его суд (о той истории) мог бы меня окончательно срезать. А скрывать я ничего не хотела. Я ответила на письмо, не говоря пока ничего. Ответа не было. Прошел еще год. Однажды в театре мне так вспомнилось старое, так всколыхнулось, что отогнать я уж не могла. Я написала ему простое, дружеское письмо. Он моментально ответил и на рождество приехал повидаться. Оказалось, тогда с него взяла слово жена не отвечать мне, так как мое письмо попало ей в руки. Теперь он мой. Жена, еще до моего последнего письма, ушла от него... с гусарским офицером! Как в пошлейших романах сотню лет назад: «На тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий корнет»...

Мне хочется все это рассказать самой себе вот почему. Я отдалась другому без любви, это была, конечно, ошибка, и была грязь. И вот, несмотря на это, я сохранила в глубине души всю чистоту и поэзию чувства. Да, именно поэзию, так как после той современной истории, «санинской», я особенно сильно почувствовала поэзию и силу настоящей любви. Конечно, я рассказала ему про ту историю. Он все понял. Я теперь могу любить только его. И то, что я отдалась без любви, сделало меня только чище и целомудреннее, и никогда ничего такого не сможет повториться со мною.

6

ДОКУМЕНТ

Сегодня вечером Федор Иванович сидел у меня. Рассказывал, что в их квартире кончила самоубийством молодая девушка.

— Интереснейший документ, знаете ли!

Я так и обомлела. Спросила растерянно:

— Документ... Это что же? Дневники ее?

Он с недоумением ответил:

— Ну да!

Документ! Какое определение! «Документ»! О подлецы! Нужно же было слово откопать! Я вся дрожала от бешенства. Еще бы одно слово, и я, кажется, потеряла бы власть над собою, встала бы, сказала бы ему ужаснейшую грубость, выгнала бы вон. Но он вдруг замолчал. Понял ли он, что делается со мною, или это была случайность, но он замолчал. А я понемножку успокоилась.

Однако и сейчас все время мучает вопрос: «Зачем она писала?» Ведь это же обыск, обыск сердца! Ах, охота же ей была пускать в свою жизнь каких-то трубочистов, чтобы все чистое было замазано их черными вениками! Неужели она этого хотела? И чтоб какой-нибудь болван Федор Иванович читал ее «документ»,— откусывал от сахара, попивал бы с блюдечка чаек и важно говорил бы:

— Какой интересный документ!

Неужели она хотела! Мне страшно было, и не только за нее. Ведь и сама я способна попасть в такие документы, я тоже пишу дневник... Боже мой, как же мне сделать, чтобы он не мог стать «документом»?

7

Студент, получив от проститутки то, что ему было нужно, закурил папиросу и сочувственно спросил:

— Как ты дошла до этого?

Она вскочила на постели и сказала:

— А ты как до этого дошел?

Он с недоумением:

— До чего?

— Что покупаешь человека!

8
СЛУЧАЙ

Вышло это, правда, ужасно грубо и нехорошо. Дело было так.

Смольяниновы прислали свои абонементные билеты на «Хованщину» с Шаляпиным. Под холодным и слякотным ветром билеты привезла смольяниновская горничная.

Анна Александровна спросила:

— Сколько ей дать на чай?

Он ответил:

— Ну, по крайней мере — четвертак.

— Вот пустяки какие! За что? Довольно гривенника.

— Да что ты, Аня! Ну кто дает на чай гривенник! Только мелочные лавочники.

— Господи, что за барские замашки!.. И гривенник очень хорошо... Нате, Дуняша, отдайте ей.

— Да погоди же, Аня...

Анна Александровна властно и раздельно повторила:

— Подите, Дуняша, и отдайте!

Он вспыхнул, но овладел собою и молча закусил губу. Дуняша невинно подняла брови, как будто ничего не заметила, и ушла с гривенником в кухню. Няня сидела с Боречкой тут же за чайным столом, варила на спиртовке мелинсфуд. И она тоже все слышала. Гадость, гадость какая! Хоть бы людей постеснялась!

Бледный, он ходил большими шагами из залы через прихожую в кабинет и обратно. Анна Александровна ласково спросила:

— Чаю тебе налить еще?

Он резко ответил:

— Нет!

Она с ложечки кормила мелинсфудом Боречку и нараспев говорила:

— А папа на нас с тобою сердится! Он у нас злючка, нервулька. А мы на него не будем обращать никакого внимания! Позлится и перестанет!

И даже это все при няне! А ведь знает, как ему противны ссоры на людях. Он круто повернулся, ушел к себе в кабинет и заперся.

Раскрыл дело, по которому предстояло выступать завтра в суде.

«...а полагаю, что обязательство, выданное доверите-

лем моим веневскому мещанину Афиногену Шерстобитову...»

Ах, гадость, гадость! Словно мальчишку какого обрезала! Даже и разговаривать не удостоила. И так грубо, при людях... Смешно: завтра во фраке он будет выступать в суде,— серьезный, важный, а здесь дома: «Ничего,— позлится и перестанет!» И ведь сама же спросила, сколько дать!.. А главное — как мелко все! Из каких пустяков умудряется устроить ссору! Словно у ребят малых дошкольного возраста. В такой плоскости ссоры только и бывают у ребят дошкольного возраста да у женатых людей. В школьном возрасте дети уже стыдятся подобных ссор.

В дверь послышался тихий стук. Анна Александровна виновато спросила:

— Алеша! Можно?

Он хрипло сказал:

— Нет, нельзя.

И опять взялся за дело. Старая история: станет теперь нежна, предупредительна, как будто этим можно уничтожить тот позор и стыд, который ему пришлось пережить. Он вдруг сообразил и усмехнулся: почему она сейчас постучалась? Потому что он ушел и не выпил обычного второго стакана чаю... О женщина! С ясной улыбкой пройдет ногами по душе человека, да еще нарочно покрепче прижмет каблучками. А даст на куски себя разрезать, чтобы этот же человек не остался без второго стакана чаю!

Перо спотыкалось и трещало по бумаге. Он открыл боковой ящик письменного стола, чтобы достать свежее перо. Сбоку лежал в потертой кобуре браунинг, который он брал с собою в разъезды. Вынул он его из кобуры,— плоский, блестящий,— и стал рассматривать. Застрелить бы себя!.. И оставить записку: «Заела ты мне жизнь, подлая баба. Проклятье тебе!»

Ему представилось, как она вбежит на выстрел и увидит его бьющееся в конвульсиях тело с раздробленным черепом и залитым кровью лицом, какой это будет безмерный ужас. И уж ничем, ничем нельзя будет ничего поправить. Представлялось, как она в диком отчаянии бьется о гроб и зовет: «Алеша! Алеша! Встань!» И вдруг замолкает. Но ночью, когда никого нет возле гроба, приходит и стоит одна в сумрачной тишине — в той особенной тишине, какая бывает ночью в комнате, где лежит покойник. Глаза у нее черные и огромные, как ночь. Она жадно вгля-

дывается в восковое лицо с повязанным лбом. И жалобно, настойчиво, как ребенок, потерявший мать, зовет: «Алеша! Милый мой, Алешечка! Зачем ты так? Встань же! Слышишь?»

Слезы навернулись на глаза. И стал он себе гадок. Можно ли даже не всерьез тешить себя такими картинами? Милая Анка!.. Только вдалеке где-то прошла серьезная смерть,— и сразу серьезною стала жизнь, и такими ничтожными сделались ее пустяки. Разве можно ими оценивать жизнь! И сзади мелочных ссор — сколько в их взаимной жизни светлого, незабвенно-милого! Вот даже тогда, когда она сидела в широкой блузе у стола с Боречкой и трунила над его гневом,— какое прелестное сиянье материнства шло от нее!

Ну, а все-таки,— обрезала его, как мальчишку! Даже возражений не стала слушать. И все из-за какого-то гривенника! А потом: «Папа наш злючка, а мы на него не станем обращать внимания!» Это при няне! Как женщины мелочны и неуживчивы, какою некрасивою делают жизнь!.. И ведь ни за что прощения не попросит.

Нет, пускай, пускай! Как бы это вышло?

Он достал лист почтовой бумаги и крупным, твердым почерком написал:

«Загубила ты мою жизнь, проклятая баба!»

Потом вынул из револьвера обойму с патронами и приставил пустой револьвер к виску. Дуло холодом тронуло кожу. Он перечитал написанное и нажал спуск. Но он забыл...

Он забыл, что первый патрон, который лежит в самом стволе револьвера, не вынимается вместе с обоймою. На всю квартиру ахнул выстрел.

9

ПОД ОГНЕМ ПАРОВОЗА

Было это в десятых годах. В апреле месяце, в двенадцатом часу ночи, под поезд Московско-Нижегородской железной дороги бросился неизвестный молодой человек. Ему раздробило голову и отрезало левую руку по плечо. В кармане платья покойного нашли писанную дрожащею рукою записку, смоченную слезами: «Прощайте, товарищи, друзья и подруги! Кончилась жизнь моя под огнем паровоза. Хотел стереть с лица земли своего соперника,

но стало жаль его. Бог с ним! Пусть пользуется жизнью. Посылаю привет любимой девице. Не вскрывайте больной груди моей, я, любя и страдая, погибаю. Григорий Прохоров Матвеев».

10
С ОПОЗДАНИЕМ

Петербург. Окраина. Узкие ломовые сани, на них высоко громоздились деревянные ящики с гвоздями. Поклажа кренилась на сторону. Возчик — парень в полушубке — шагал рядом с санями и растерянно подпирал плечом накренившийся воз. Приказчик у дверей лабаза с любопытством смотрел. Легковые извозчики у трактира тоже с любопытством смотрели и переговаривались:

— Завалится!

— Бесперечь завалится!

— Как бы парня не придавило.

— И очень просто! Сколько народу погребали тяжести. А он, дурень, сбоку улицы едет, еще больше набок накреняется воз...

Поклажа качнулась, и ящики тяжело посыпались на возчика.

Приказчик лабаза со всех ног кинулся на помощь. Извозчики, подобрав полы синих армяков, побежали туда же. И отовсюду сбегался народ. Мигом разобрали ящики. Парень-возчик лежал с восковым лицом, с закрытыми глазами, из угла губ стекала вниз струйка крови.

II

1
АННА ВЛАДИМИРОВНА
(Пунктирный портрет)

Ей двадцать пять, двадцать шесть лет. Худощавая,— больна чахоткой, но этого не знает. Красивое лицо, но главная красота — огромные, лучистые глаза, наивные и невинно-наглые. Дочь жандармского генерала, давно умершего. У нее хорошенькая дочка Муся, лет семи, неизвестно от кого. Сейчас при ней состоит сосед по комнате, студент Макс с маслеными глазами. Как дочь жандармского гене-

рала, получает пенсию — тридцать два рубля в месяц. Но главный источник дохода — всяческие пособия, которые она умеет выхлопатывать как первейшая артистка в подобных делах.

Пушки Петропавловской крепости гремят над Петербургом: царица разрешилась от бремени. Оказалось — опять дочерью, но сначала слух прошел, что — долгожданным сыном.

Анна Владимировна сидит у стола и, торопясь, пишет прошение.

— Что это вы пишете?

— Прошение министру императорского двора. О пособии. Вы слышали? У царя родился сын.

— Так вы-то тут при чем?

— Должен же он быть рад, что у него наконец сын родился. Отчего ему на радостях не отпустить мне триста рублей,— что ему стоит?

— Надела я свою министерскую кофточку...

— Министерскую?

— Да. У меня такая кофточка есть, чтоб ходить по министрам: скромная, в три складки. Выглядит бедно, но благородно. Чтоб их разжалобить... И я министру Витте прямо сказала: «Вы черствый человек, вы сухой человек, наверно, вас никогда ни одна женщина не любила! И, наверно, вы всю жизнь пили только молоко и кипяченую воду!» Через неделю опять пошла к нему на прием. А он не велел меня больше записывать. Я все-таки в залу проскользнула. Прием большой. Вызывают степного генерал-губернатора Духовского. Маленький и толстый, как лампа. Живот — вот такой. Я бросилась к двери, а дверь узенькая. Я с его животом и столкнулась. Он, конечно, воспитанный человек, уступил мне дорогу. Витте меня увидал: «Опять вы?!» — «Опять я!» Плюнул и подписал на моем прошении резолюцию: «Выдать просимое пособие».

— Ужасно не люблю непроизводительных расходов.

— Каких, например?

— Калоши покупать, зубы пломбировать, платить за квартиру.

— Какие же расходы производительные?

— Ну... в оперетку поехать, коробка конфет хороших. Бутылка шампанского.

— Люблю много на чай давать.

— Ну да... все-таки,— рабочие люди...

— На это мне наплевать. А чтоб была любовь и готовность. Ужасно люблю, чтоб меня кругом все любили.

— Терпеть не могу работать. Когда уж ничего добывать не смогу, пойду туда, где пенсию получают старушки. Всякая, как получит деньги, с удовольствием даст.

Свою дочку Мусю отдала на казенный счет в балетную школу.

— По крайней мере будет нравиться старичкам. Пускай балериной будет. Можно хорошую партию себе устроить.

— Это лето мы жили в Уфимской губернии у Мефодия Егорыча. Ничего нет, только семь тощих собак на дворе. Скука; есть нечего, только одни яйца. Муся ходит по комнатам и твердит: «Не бойтесь, Мефодий Егорыч, я вас не боюсь!» Такой дурак этот Мефодий Егорыч! Я разденусь, лягу спать,— он придет ко мне в спальню и сидит. Целует руки и не хочет уходить. Говорит: «Ведь жарко, зачем вы в одеяло кутаетесь?» А денег нет у меня, выехать не на что. Приехал становой описывать имение, я у него двадцать пять рублей заняла...

Общий хохот. Она недоумевающе оглядывает всех своими ясными глазами.

— Чего вы смеетесь?

— Несимпатичный он!

— Нет, он красивый!

— Макс! Кто председателем суда в Полтаве?
— Я почем знаю!
— Вот дурак, ничего не знаешь!

— Он мой друг и очень большой негодяй.

— Я, когда градусником меряю,— вижу, что к тридцати девяти подходит,— поскорей выдергиваю. Боюсь, вдруг сорок градусов окажется. Страсть боюсь, когда сорок градусов температура.

— Жена доктора очень меня ревнует. А сама красная и глупая, как пион. Сцену мне устроила, дурища такая... Я нарочно ухожу и говорю: «Миленький доктор, прощайте!» — и чмок его в щеку!

— Нет, к другому доктору не хочу. Вдруг он мне скажет: у вас чахотка. Ведь есть такие жестокие доктора.

Я как-то захандрила, говорю Максу: «Наверно, у меня чахотка!» А он, дурак такой: «Что ты! У чахоточных бывает необыкновенный блеск в глазах и по ночам поты». Ушел он, я подошла к зеркалу,— у меня в глазах фосфорический свет, клянусь вам богом! И всю ночь так трясло,— от постели поднимало. Чуть у меня от страха не сделалась белая горячка!

— Нет, я не хочу умирать. Гробы всегда такие узкие!

2

ФЕЛЬДШЕР КИЧУНОВ

(Пунктирный портрет)

Звали его Иван Михайлович. Фельдшер приемного покоя больницы, где я тогда работал ординатором. Редкие усы и бородка, держится солидно, с большим достоинством. Вид глубокомысленный, на жизнь и людей смотрит свы-

сока, с затаенною в глазах сожалеющею усмешкою. Истина жизни вся целиком, до последней буквочки, находится у него в жилетном кармане.

На дежурстве вечером, когда поток привозимых больных почти иссякает и гулко звучат в пустых коридорах шаги проходящей сиделки, иногда засидишься в приемном покое и беседуешь с Иваном Михайловичем.

— Как, Иван Михайлович, дела?

— Какие ж у меня дела! В гости я не хожу, картами и водочкой не занимаюсь, за девочками не бегаю... В церковь сходить, свечечку поставить в гривенник, просвирку подать,— вот и все мои дела. Дома библию почитаю. Дела у меня обыкновенные. Вчера библию купил себе новую. Хорошая книга, давно к ней приглядывался. Книга фундаментальная, пятнадцать фунтов весом! Приятно иметь такую книгу. Переплет красивый,— не барский, этого нельзя сказать,— скромный, смирный, но обращает на себя строгое внимание. Книга, можно сказать, вполне официальная.

— Вы всегда, Иван Михайлович, были такой благочестивый?

— Нет-с, не всегда. Раньше я был не такой. Раньше я все ро́маны читал. Ну и, конечно, от этого у меня развивались нена́висть, разврат, любовь к мышлению и тому подобные пошлые наклонности. Раз, однако, задумался я о своей жизни. Ехал я тогда по Волге на пароходе, под Самарой дело было. Пароход «Святослав» общества «Самолет». Ем виноград. Виноград там дешевый, три копейки фунт, так что я мякоть высасываю, а кожицу и косточки, значит, выплевываю. Солнце садилось, испытал этакое приятное состояние души. Вот и задумался я о своей жизни. Что, думаю, такое? Человек я не завалящий, имею кой-какой умишко, кой-какие познания. Как же так? Нет, думаю, жизнь жить — не в бабки играть, пустяки надо оставить, о боге вспомнить, о собственной душе. Тут вот я и стал на стезю добродетели.

В газетах описали нашу больницу. Отзыв был очень хороший. Кичунов возмущен.

— Голодные псы! Буквой питаются!

— За что вы их ругаете? Ведь они же нас хвалят.

— Когда дурак хвалит, так это обиднее, чем когда умный ругает...

— Проповедь у нас в церкви читал отец Варсонофий. Господь, говорит,— «благ»! Ну, это мне въелось в плоть и кровь, все равно как хронический ревматизм. Скучно. Знай свое болтают всё: «Благ, благ!» Господь благ только к своим! Вовсе он не весь мир пришел спасти. В евангелии от Иоанна, глава семнадцатая, он прямо говорит: «Отче, я о них молю,— не о всем мире молю,— но о тех, которых ты дал мне». А когда язычница к нему пришла, он сказал: «Нельзя отнимать у детей и бросать псам». Значит, неверующие для него псы. И правильно,— так и должно быть. Евангелие нужно понимать без изменения одной черты, одной ноты. Что я вам говорю, это — простой логический взгляд... «Благ»,— скажите пожалуйста! Бог должен быть строг! жесток! Христос ясно сказал: «Я пришел принести на землю не мир, но меч!» На соборах это место разбирали: говорят, что тут нужно понимать меч *духовный* Х-хе! Разбирали! Шишки еловой не разобрали! Ну, скажите пожалуйста, как *меч* может быть духовным? Холодное-то оружие!.. Христос понимал, что без меча с нашим братом дела никакого не сделаешь. И так мы его не боимся, а если бы он был благ, мы бы совсем избаловались. Мы его даже не боимся, как черт боится. Тот знает, что ему пощады нет, а мы все надеемся на «искупление», на отпущение грехов. Помер человек, ему поп перед смертью грехи отпустил,— он этаким козырем на тот свет идет, ждет, что ему Христос скажет: «Пожалуйте, милостивый государь, вот сюда, в рай!» А как полетит там кувырком к черту на рога, тогда узнает! Хе-хе-хе!

Привезли в больницу мужчину с крупозным воспалением легких. Лицо синюшное, пульс плох. Приняли.

Привезшая его жена сказала Кичунову:

— Можно будет распорядиться, чтобы причастили его? Он уж пятнадцать лет не говел.

Кичунов грозно нахмурил брови:

— Как же это его без сознания причащать? Священник не станет.

— Пожалуйста, уж будьте добры! Нельзя ли?

— Гм! Пятнадцать лет не говел,— христиане называются! А смертный час пришел,— спохватились!.. Этого нельзя устроить! — отрезал он.

Женщина вздохнула и пошла к выходу. Я ее остановил, и, конечно, оказалось возможным устроить.

Больной возвратным тифом, ночлежник, с опухшим лицом. Оборванный, дрожит. Лет семнадцати. Кичунов его записывает в книгу, кричит:

— Мещанин? Крестьянин?

— Я — незаконнорожденный.

— Та-ак! — иронически процедил Кичунов.— Вот этак гуляет девица,— боа у нее, турнюр, а детей в ночлежные кидает; такие кавалеры и выходят!.. В Петербурге родился?

— В Петербурге,— стиснув зубы, ответил больной.

— Ну конечно! Самый для таких дел подходящий город... Ступай.

— Незаконнорожденные, они не имеют прав ни на земле, ни на небе! Ну, как же незаконнорожденный может войти в царствие небесное, скажите, пожалуйста! У бога прелюбодеяния нету. Во «Второзаконии», глава двадцать третья, ясно сказано: «Сын блудницы не может войти в общество господне, и десятое поколение его не может войти в общество господне». Для таких людей... Я бы не стал и жить на их месте... Вы себе как представляете антихриста? С рогами, с когтями? Он уже народился.

— Где же он?

— Он есть то, что рождено в прелюбодеянии. Он родится от девы, как и Христос, только прелюбодейно, как незаконнорожденный. Христос ведь не был незаконнорожденным, заметьте себе!.. Каждый незаконнорожденный есть предшественник антихриста. Апостол Иаков в послании, глава первая, говорит: «Похоть, зачавши, рождает грех». Пройдитесь по Невскому, посмотрите на фотографии балерин: стоит девка, груди распустила, ногу подняла. Мальчишка украдет у отца целковый и побежит,— знаете куда? Вот-от что похоть значит!

— Я бы, будь моя власть,— я бы женщинам запретил выходить на улицу.

— Почему?

— Как почему? Вид неприличный!

— Что вы такое говорите!

— Ну, а как же! (Очерчивает на себе руками выпуклости груди, бедер.) Что вы, господа! Ведь по улицам дети ходят! Конечно, привыкнуть ко всему можно, а только... Неудобно, знаете, неудобно!

Я хохотал.

— Как вы скажете, предки наши глупее нас были? Я полагаю, что они умнее были не только меня, но даже — извините за дерзкое выражение — умнее были, чем вы. А они женщин запирали — в терем! Почему? Возьму хоть себя. Человек я пожилой, солидный, занимаюсь богомыслием. А встретишь на улице этакую бабеночку полногрудую — и ввергаешься в соблазн. Ничего не поделаешь: человек бо есмь! Ecce homo!..[1].

Позвали меня к больной. Вхожу в приемную врача. Кичунов стоит, осматривает больную. Это совершенно не его дело. Его дело — в соседней комнате, когда больного примут, записать в книгу и составить на него скорбный лист. Стоит Кичунов, а перед ним, рядом со старухой матерью,— изумительно красивая девушка лет пятнадцати, голая по пояс. И Кичунов глубокомысленно тыкает ее указательным пальцем в груди. Увидел меня, сконфузился.

— Вот, Викентий Викентьевич... Какая сыпь странная!.. Я заинтересовался.

Я мельком взглянул на сыпь и холодно ответил:

— Что же странного! Самая обыкновенная скарлатинозная сыпь.

— А я смотрю: что это, странная какая сыпь? Не признал сразу, что скарлатинозная...

3

СТЕПАН СЕРГЕИЧ

(Пунктирный портрет)

Сутулый человек с большою головою. Серая кожа на лице висит крупными морщинистыми складками. Но ему нет еще сорока лет. Он был профессор и даже неглупый человек. Имел ряд научных работ по истории Византии.

[1] Это человек!.. *(лат.)*

Его монография о византийском историке Никите Хониате была подробно реферирована в немецком историческом журнале. Но изумительно было в нем полное молчание голосов тела, глубокое отмирание инстинктов. В обычной городской жизни это не так замечалось, но, когда приходилось видеть его среди природы, жутко становилось за человека, и возникал вопрос: если не спохватиться вовремя, не обратится ли и вообще человек будущего в подобную уродину? Само тело ничего ему не говорило. Все он должен был узнавать от других людей, от термометра, барометра и прочих инструментов.

Проснется ночью и не знает — выспался или нет. Как будто выспался, пора вставать. Посмотрел на часы,— всего шесть часов утра. Заснул опять. А часы, оказывается, остановились. Спал до одиннадцати часов.

Карманные часы остановились, стенные сломались. А дело было на даче. Трагедия: не знает, когда лечь спать, когда вставать, когда есть.

За обедом на третье подали сырники. Степан Сергеич ел. Дочка Таня сказала:

— Из манной крупы.

Степан Сергеич нахмурился и отодвинул тарелку. Пришла жена Елизавета Алексеевна, на минуту уходившая в кухню. Он сказал хмуро:

— Лиза! Ведь ты знаешь, что я терпеть не могу манной каши. Зачем же ты заказываешь сырники из нее?

Елизавета Алексеевна изумилась:

— Как из нее? Из творога сырники.

Степан Сергеич прикусил губу. Верно. Из творога. И с аппетитом стал есть.

— Что я — пил кофе или только хотел пить?

— Не пил.

Выпил два стакана с бутербродами. Жена и свояченица расхохотались. Свояченица воскликнула:

— Ведь вы пили уже!

Степан Сергеич потемнел и враждебно взглянул на жену.

— Какие глупые шутки!

Весь день ходил хмурый, с тяжестью в желудке.

Двенадцать лет назад, во время свадебной поездки по Германии и Швейцарии. Выйдет из отеля купить папирос,— а через пять часов шуцман приводит его из загородного леса, куда забрел, сам не знает как: заблудился. Совершенно лишен способности к ориентировке.

До 15 мая ходит в зимней одежде, после пятнадцатого — в летней, и ее уж не снимает, как бы ни было холодно.

В жилетных карманах — часы, шагомер, на террасе дачи — термометр и гигрометр, в столовой — барометр. Вышел на террасу, смотрит на термометр.

— Стоит надевать пальто?

— Да разве ты так не чувствуешь?

— Четырнадцать с половиной — не стоит.

Посмотрел на термометр. Было 12 градусов. Тогда он почувствовал, что ему холодно.

— Степа, ты с нами пойдешь гулять?

— (Сердито.) Куда же идти, если барометр упал до семисот сорока. Удивляюсь, что ты идешь, да еще детей берешь с собой.

Стояла ласковая, томящая теплынь. Получилась чудесная прогулка. Он, конечно, остался дома. Дождь пошел только утром.

Не замечает, что молоко прокисло, что мясо несвежее Простудился, лихорадит, колет в боку.

Свояченица:

— Ведь сквозняк, что вы тут сидите!

Он с жалкой, беспомощной улыбкой:

— Я этого ничего не чувствую.

Начало июля. На даче. В столовую вошел Степан Сергеич с лицом темным, как чугун. Стоял нахмуренный, сердитый и тяжелым взглядом следил за женой. Она штопала чулки Танюшки и не видела его взгляда.

В открытое окно подул ветерок и принес запах цветущей липы. Елизавета Алексеевна сказала:

— А, уж липы зацвели!

Степан Сергеич раздраженно отозвался:

— Что липы зацвели, это, конечно, хорошо. А вот что у нас опять кошки по всем комнатам нагадили,— это черт знает что такое! Не продохнешь от вони!

Елизавета Алексеевна удивилась.

— Где тут кошками пахнет? Я ничего не чувствую.

— Ну конечно! А я, во всяком случае, чувствую совершенно ясно. И требую категорически,— Лиза, слышишь? Я требую, чтобы никаких своих Пушков и Снежков ребята в комнаты не таскали! В воскресенье Димка весь день возился в столовой с кошками... Скажи Матрене, пусть сейчас же придет с тряпкою и подотрет.

Степан Сергеич ходил с Матреною по комнатам и искал, где нагадила кошка. Матрена заглядывала под диваны, отодвигала шкафы и посмеивалась под нос.

— Господь с вами, барин, какие тут кошки! Дух — лучше и быть нельзя!

— Вы тут все так принюхались ко всякой вони, что даже уже не слышите ничего!.. Танюшка, Димка, пойдите сюда! Если еще раз в комнатах я увижу кошку, то всех ваших Пушков и Снежков велю забросить в реку!.. Слышите? Запомните это!

Елизавета Алексеевна, с упрямыми и грустными глазами, сидела в столовой у стола и не помогала искать. Это особенно сердило Степана Сергеича, и он неутомимо двигал сундуки, комоды и шкафы. Однако ничего не нашли. Матрена, скрывая улыбку, ушла с тряпкою в кухню. Степан Сергеич позвал детей и еще раз строго подтвердил, чтобы не пускали кошек в комнаты.

После обеда Елизавета Алексеевна лежала в спальне; у нее болела голова. В дверь заглянул Степан Сергеич.

— Ты не спишь?

— Нет.

Он вошел, сел к ней на край постели. На лице была сконфуженная, детская улыбка, и от нее светилось все его серое лицо.

— Вот, Лизанька, грязная история!.. С кошками-то! Оказывается, это вовсе не кошки нагадили, а знаешь что?.. Я сейчас только сообразил: это... липы зацвели!

— Что?! — Елизавета Алексеевна, хоть была сердита, вскочила на постели и расхохоталась.— Ты шутишь?

Пристыженное лицо Степана Сергеича дрожало смеющимися морщинками.

— В том-то и дело, что нет! Понимаешь, какая штука. Был я еще мальчиком, жили мы на даче под Калугой. Мама меня посылала набирать липовый цвет, и потом мы его сушили на газетных листах на чердаке нашей дачи. А кошек там была гибель, постоянно так ими пахло, что не продохнешь. Вот оба эти запаха у меня и смешались, и я их уж не могу разъединить. После обеда сегодня вышел на террасу,— что такое? Опять кошками несет! Откуда? Из саду-то! Принюхиваюсь,— смотрю, молодая липка у террасы вся в цвету. И тут я вдруг сообразил. Вот, Лизанька, какая история уродливая!

— Д-да-а...

— Рассказать,— никто не поверит! Ты уж прости меня.

Елизавета Алексеевна безнадежно смеялась.

4

ИВАН ИВАНОВИЧ

(Пунктирный портрет)

Железнодорожный подрядчик. Ловкий и умный, вполне интеллигентный. Хорошо наживался. Заболел прогрессивным параличом, сошел с ума. И тут так из него и поперла дикая, плутовская, мордобойная Русь.

Читают ему газеты. Московский педагогический съезд посетили два английских педагога.

— Погодите, я все это знаю, сейчас вам расскажу. Как приехали, их первым делом в полицию позвали и — выпороли. Чтоб не зазнавались. Потом на съезд привезли. «Садитесь, пожалуйста!» — «Нет, знаете... Мы постоим!» — «Да вы не стесняйтесь!» — «Нам вот к телефончику,— разрешите!» — «Пожалуйста!» — «Дайте генерал-губернатора!» — «Что?! Выпороли?» Сейчас позвонил в участок: «Прибавить от меня еще сорок розог!»

На вокзале сидит, пьет пиво. Подходит, любезно улыбаясь, господин.

— Мы с вами, кажется, встречались?

— Как же! Вместе из Челябинска шли по этапу! Я вас сразу узнал. (Господин отшатнулся, тот ему вдогонку). За кражу часов сидели, вместе крали. Хорошо помню: стенные часы были... с боем...

Читал он «Новое время», имена запоминал, а события перерабатывал самым фантастическим образом. В конце девяностых годов Россия заняла китайскую гавань Порт-Артур.

Иван Иванович рассказывал:

— Салисб-Юри того не знал и послал из Англии Камбона, чтобы занял. Приехал. Ему навстречу адмирал Скрыдлов. «Что вам угодно?» — «Видите ли, вот... Порт-Артур... Мы приехали...» — «Ах, вы приехали?..» Тр-рах! «Ой, больно».— «Больно? Затем и бьют, чтоб было больно...» Тр-рах!!. «Ваш — вон он, видите, на той стороне: Вей-хай-вей! А это наше!» — «Тогда извините, пожалуйста, мы не знали. Прощайте!» — «До свидания!» Поплыли. Скрыдлов поглядел. «Ну-ка, малый, заряди-ка пушечку...» Бах!! Корабли кувырк!.. Салисб-Юри в Лондоне ждет, беспокоится. Телеграмму в Порт-Артур: «Приехали? *Салисб-Юри*».— «Были тут... какие-то! *Скрыдлов*».— «Где ж они? *Салисб-Юри*».— «Потопли. *Скрыдлов*».

И хохочет торжествующе.

Его племянник окончил курс врачом в Московском университете. Сестра Ивана Ивановича с торжеством принесла ему показать диплом, полученный ее сыном. Иван Иванович посмотрел и вдруг объявил:

— Этот диплом подложный. Борис его сам написал.

— Ну что ты говоришь! Как же подложный? Видишь подпись: «Декан медицинского факультета Д. Зернов».

— Я его знаю: это почтальон со Смоленского рынка.

— Видишь и другие подписи: профессор Остроумов, профессор Шервинский...

— Довольно! Пойди на Большую Царицынскую, справься в казенном винном складе: это все—сторожа склада. Борьку за этот самый диплом в Хамовнической полицейской части выпороли.

— Как это выпороли? Прежде всего, не имеют права выпороть. Он дворянин, закон запрещает.

— Ничего закон не запрещает. Нет такого закона.

— Я тебе отыщу, покажу. Есть специальная статья...

— Довольно! Вот по этой самой специальной статье и выпороли.

5

ФИРМА

В 1899 году в иллюстрированном еженедельнике «Нива» печатался новый роман Льва Толстого «Воскресение». Везде только о нем и говорили. Возвращался я в Петербург в спальном вагоне третьего класса. Среди трех спутников — старик купец в высоких сапогах, в пиджаке. Заговорили о романе. Купец:

— Плохо, плохо! Я «Ниву» получаю, читаю,— очень плохо! Как раньше-то писал! «Казаки»! «Анна Каренина»! «Война и мир»! Вот это было дело! А теперь!.. Нет, устарел! На чердак пора ему. Куда старую мебель убирают... Что же это, скажите, пожалуйста: князь, человек живет в почете, имеет звание, человек, можно сказать, вращается,— и вдруг на этакой швали жениться! Какая же она ему пара, позвольте спросить? И у кого таких девчонок не было? Кто не грешен? И у вас, наверное, десять таких было, и у меня, может, двадцать. И на каждой жениться!.. Нет, на чердак, на чердак пора! Плохо! Потому только все и читают, что подписано: «граф». Фирма!

6

СУПРУГИ

(Пунктирный портрет)

Муж

— Писатель?! Очень, очень рад! Благословляю грозу, загнавшую вас под мой убогий кров! Люблю писателей, ученых! Я сам кавалерист!

— «Зе воркс оф Шакеспеаре»... Шекспир! Гулять идете и то книжку с собой берете, да еще на английском языке! По-английски могут понимать только очень умные лю-

ди... Но вот что: барометр еще с утра сильно упал. Как же вы, несмотря на это, пошли в такую далекую прогулку?

— У меня нет барометра.

— Нет барометра?.. Гм! Английский язык знаете, а барометра нету?

— Пианино — не так чтобы из Художественного театра, но все-таки ничего, играть можно.

— (О Шаляпине.) Прилично поет.

Жена

— С нами из Минеральных Вод ехал в вагоне один... Как его? Персидский, кажется, консул... Вообще, из Турции.

— Никогда не следует спрашивать женщину о годах. Важно, какою она сама себя чувствует. Если чувствует себя тридцатилетней, то и может сказать, что ей тридцать лет.

— Ну да, это еще один король французский сказал: «Лета — с'э муа» [1].

— Страданья необходимы человеку. Они воспитывают его, облагораживают его душу.

— Да, да! И французы то же самое говорят: pour être belle, il faut souffrir [2].

— Мы с мужем объяснились в любви, совсем как Кити и Левин в «Анне Карениной». Только те много разных букв писали, пока столковались, а мы сразу друг друга поняли. Он всего три буквы написал: «я В. л.». А я ему в ответ четыре: «и я В. л.».

— Никогда я не могла понять, как это люди верят во всякие предрассудки. Ну, я понимаю: тринадцать чело-

[1] Государство — это я (от *франц.* L'état c'est moi). Здесь героиня путает *франц.* L'état (государство) с *русск.*— лета (в смысле годы).

[2] Чтобы быть красивой, надо страдать *(франц.)*.

век за столом, три свечи, заяц перебежал дорогу... А всякие там предрассудки... Не понимаю.

7
ПАРИКМАХЕР ПО СОБАЧЬЕЙ ЧАСТИ

— Я, как вам сказать? Извините меня за это выражение,— парикмахер по собачьей части. В деревне так если скажешь,— засмеют, а в Петербурге можно на этом хорошие дела делать. Вот я, например. Как видите, милостыни не прошу, не ворую, не граблю, а живу — благодарение богу! Кабы еще водочкой не займался, у меня бы теперь вот этакий дом был. Рублей полтораста в месяц смело вырабатываю... Бывает ли, что кусают? Нет, меня не кусают, я понимаю их характер. Недавно приходит ко мне господин.

«Это вы, голубчик, в газетах публикуетесь? Нужно остричь моего пуделя, только заранее предупреждаю: он никого к себе не подпускает. Если искусает, я не отвечаю».— «Ничего, не извольте беспокоиться».

Пришел. Злющая собака. Даже горничная, которая ее кормит,— и та боится.

«Дайте мне, говорю, мокрое полотенце. Да не найдется ли у вас комната отдельная, чтоб никто мне не мешал?» Заперли пуделя в комнату. Взял я полотенце, разом открыл дверь, вошел, да строго так: «Что тут за шум?» Да как ахну полотенцем мокрым по стене! Пудель очень даже этому удивился. Подошел я к нему и начал машинкой стричь. А он все сидит и удивляется. Горничной интересно было, стала в замочную скважину глядеть. Пудель оскалил зубы, зарычал. «Кто это там? — говорю кротким голосом.— Не мешайте, пожалуйста».

И остриг. Пять целковых получил за это дело... Никогда не нужно бить собаку, чтобы, например, отучить гадить,— особенно плеткой. Всего больше собака боится — шуму. Скольких я отучил! Нужно бить по полу мокрым полотенцем или клеенкой, а собаку носом тыкать, куда следует. В один раз отвыкнет.

Да! Много случается видеть!.. Графиня одна уезжала на лето за границу и мне свою болонку оставила на содержание. И нужно же: сегодня графиня приехала, а собачонка за день до того сдохла. Старая собачонка, паршивая,— вы бы ее за три сажени обошли кругом. Принес я ее,

дохлую. И что же вы думаете? Графиня этому дохлому псу начала лапки целовать. Сама плачет, заливается. Вижу, тут можно делов наделать. Послюнявил потихоньку палец себе, намочил глаза. Стою, всхлипываю: «Уж как жалко! Какая аккуратная была собачка, до чего чувствительная! Как будто у самого меня дите померло!» Она заливается, а я стою, нос себе утираю да рожи строю. «Ваше сиятельство! Уж не говорите! До чего мне даже тяжело,— что же вам-то!» Она говорит: «Можете вы с нее лапочку снять, чучельнику отдать, чтоб хоть лапочка мне осталась на память?» — «Это,— я говорю,— можно».— «И потом, я хочу ее похоронить. Можете вы это взять на себя? Только чтоб я сама не видела, а то у меня сердце, говорит, разорвется на части».— «Это тоже можно. Не мое это, собственно, дело, но для вас... Опять же и для собачки,— потому уж очень я ее полюбил... Можно будет, не извольте беспокоиться!» — «Гробик чтобы обить голубым атласом... Сколько все это будет стоить?» — «Десять рублей чучельнику, три рубля чухонцу, чтоб отвез гробик,— здесь, в Петербурге, нельзя. Ну, гробик, чтобы был вполне приличный, все прочее — рублей пятнадцать...» А сам думаю: «Дай ты мне, дура, в морду за мое замечательное нахальство!» — «Ну, говорит, вот вам тридцать пять рублей».

Я собачонку в мешок и, конечно, на пустыре забросил, а деньги в карман. Вот какие бывают графини! Прислуга умирай у нее, ей дела не будет — убирайся в больницу! А для паршивой собачонки что готова делать!.. Вот я вам теперь объяснил всю дурость Петербурга.

III

1

НОЧЬЮ

Начало июля. Полная луна. Черные тени от деревьев и строений на травке двора. Сухо серебрится даль.

Близ запертого на ночь крыльца барского дома сидел черный пес Цыган и надрывно выл. Перестанет на минутку, прислушается, начнет лаять и кончает жалующимся воем.

В окне дома зажегся огонек. Раскрылось окно, высунулась седая голова Федора Федоровича. Он крикнул сердито:

— Пошел ты! Цыган!

Молчание.

— Цы-ыган!

Было тихо. Окно медленно закрылось.

Цыган вдруг завыл громко, во весь голос, как будто вспомнил что-то очень горькое. И выл, выл, звал и искал кого-то тоскующим воем.

Дверь крыльца раскрылась. На двор вышел Федор Федорович в халате, с палочкой; за ним гимназист Боря. Федор Федорович жалким, заискивающим тоном говорил сыну:

— Знаешь... что это? Посмотри-ка... Собака тут воет. Так странно!

Боря ответил хриплым от сна голосом:

— Не пожар ли где-нибудь?.. Нет, зарева не видно. Чего это он? Цыган!

Цыган, виляя хвостом, подошел.

— Болен, должно быть,— сказал Федор Федорович.— Нет, нос холодный, изо рту не пахнет...— И, помолчав, прибавил со стыдящеюся улыбкою: — А ведь это, говорят, дурная примета, когда собака воет. К покойнику.

— Другие собаки ушли с работниками на ночное, к стогам, а Цыган тут остался. Вот он и воет.

— А другие собаки с работниками ушли?

— Они всегда с работниками на ночь уходят. А Цыган тут случайно остался.— Боря зевнул, поежился от холода.— Ну, я спать пойду.

И ушел. Федор Федорович тоскливо огляделся. Цыган снова завыл. Маленькое окошечко около крыльца открылось, выглянула старуха няня Матрена Михайловна.

— Барин, вы это?

Федор Федорович обрадовался.

— Это ты, Матрена Михайловна! Вот тут всё... Так странно! Собака воет.

— Я вот тоже все лежу, слушаю. Думаю: с чего это так собака развылась? Не к добру это.

— А это что значит, когда собака воет?

— Разное значит. Если носом кверху воет,— к пожару, если книзу носом,— к покойнику. Если ямы собака роет,— тоже к покойнику.

— А скажи... вот, ты говоришь: к покойнику. Мало ли у нас тут народу. Кому же это она воет, собака?

Матрена Михайловна насторожилась.

— Да уж, понятно,— не гостям станет выть собака или там прислуге. Из хозяев кому-нибудь.

— Ну, матушка, это вздор! Так уж собака все разбирает!

Собака опять завыла. Федор Федорович тоскливо огляделся, Матрена Михайловна, помолчав, заговорила:

— Я у Елагиных крепостная была, девушкой. Так за неделю до его смерти всё собаки ямы рыли. Тоже самовары на разные голоса шумели. Барский дом большой был. На одной половине господа жили, а на другой прислуга: лакеи, казачки, мы — девушки. Вот раз вечером барин вышел в коридор, а там лестница была на чердак. Вдруг кто-то белый ему с лестницы навстречу и обнял. Пришел барин к нам, спрашивает: «Кто сейчас на чердак ходил?»—«Никто». Взял лакея с фонарем, смотрит—и дверь-то на чердак заперта на замок. А через три дня барин помер.

— Кто же это был?

— Ну, значит... За душой его приходил.

Федор Федорович спросил с глупой улыбкой:

— Ангел, что ли?

— Да уж кто там ни на есть... Зачем ангел? Смерть.

Помолчали.

— А все-таки, матушка, ты это вздор говоришь. Не может собака того разбирать, хозяин ли помрет, или там, например, прислуга.

Матрена Михайловна враждебно поглядела на барина.

— Как это так,— не может? Очень, батюшка, хорошо может!

— Нет, не может! Вот, может, ты как раз и помрешь!

— На все божья воля, на все божья воля! А только не станет барская собака для прислуги выть.

Федор Федорович сердито смеялся.

— Какой вздор! Какой вздор! Почему не станет? Что за предрассудок! Очень просто, может выть и на тебя.

— Не-ет, не-ет... Боже сохрани! Этого не бывает. А ну вас, и слушать вас не хочу, господь с вами!..

Она поспешно закрыла оконце. Федор Федорович поднимался на крыльцо, стукал палкой по каменным ступенькам и говорил, фыркая:

— Ишь что придумала! Хэ-хэ! Собака может знать на кого воет,— на барина или на прислугу! Вздор какой! Может, на меня, а может быть,— и на тебя!

2
ПОХОРОНЫ

Помещик, отставной корнет, прокутил два имения. От дальней тетки получил в наследство еще одно. Приехал из Москвы с восемью прихлебателями. Под Николин день (зимний) пригласил причт отслужить молебен. Отслужили. А потом всех их напоил мертвецки. Дьякон ползком добрался до дому. Ударили утром к заутрене. Дьякон пришел с трещащей головой. Сходится народ. Священника нет. Ждали, ждали,— нету. Дьякон сообщил, что вчера пили у помещика. Церковный староста и несколько крестьян пошли к помещику.

Сидит в халате, курит трубку. Отрывисто:

— Чего вам, братцы?

— Батюшка не у вас?

— Нет.

— Где же он?

— Помер.

— Как помер?

— Ну, как!.. Как помирают? Так и помер, как помирают.

Помолчали, мнутся.

— Где же он?

— На кладбище похоронен.

— Шутить изволите?

— Зачем шутить! Пойдите сами, посмотрите. От ворот направо, в самом углу.

Пошли. И правда: в правом углу свеженасыпанная куча снега. Отрыли,— в деревянном ящике храпит мертвецки пьяный поп.

Накануне вечером упаковали его в ящик, помещик надел его ризу, пошел вперед с кадилом, за ним прихлебатели несли ящик с телом. Отпели, сколько знали, панихиду, и зарыли в снег.

3

Приехал в Петербург помещик посоветоваться с доктором: случился у него легкий ударчик. Пришел от докторов к приятелю, швырнул фуражку в угол и мрачно зашагал по комнате.

— Не стоит жить!

— Что так?

Остановился, закурил трубку, раздвинул ноги и стал отсчитывать по пальцам:

— Не курить, особенно трубку! Много не есть! После обеда не спать! И — ничего не пить спиртного! Вместо этого пейте, говорит, молоко. Я молока, говорю, не переношу, меня с него пучит.— Прибавляйте в него коньяку.— Сколько?! — Двадцать... к-капель!..

4

В КАБИНЕТЕ ПОМЕЩИКА СРЕДНЕЙ РУКИ

— Продана рожь, говорите? Эх, жалко! Владимир Аркадьич, а вы мне продайте.

— Я же вам говорю: продано.

— Продано? Ладно. Ну и кончено. Больше никаких!.. А вы возьмите две копейки лишних.

— У меня нет ржи, Иван Васильевич.

— Хэ, хэ! Как такое нет! Это вопрос. Вы купчую сделали?

— Условие подписал.

— Сколько задатку взяли?

— Шестьдесят рублей.

— Возьмите с меня сто двадцать,

— Я свое слово выше ценю.

— Ну продайте мне что-нибудь. Овес есть?

— Овес есть, двадцать четвертей.

— Ну что же это: двадцать четвертей!.. Продайте рож... Почем хочешь, на твоих условиях.

— Я же вам сказал: у меня нет ржи.

— Что же это? Пятьдесят верст ехал, чтоб ничего не купить! Это вопрос! Это вопрос! Владимир Аркадьич, итак: вы мне ничего не продадите? Продайте рожь. Говорите цену, какую желаете.

— Сто рублей четверть.

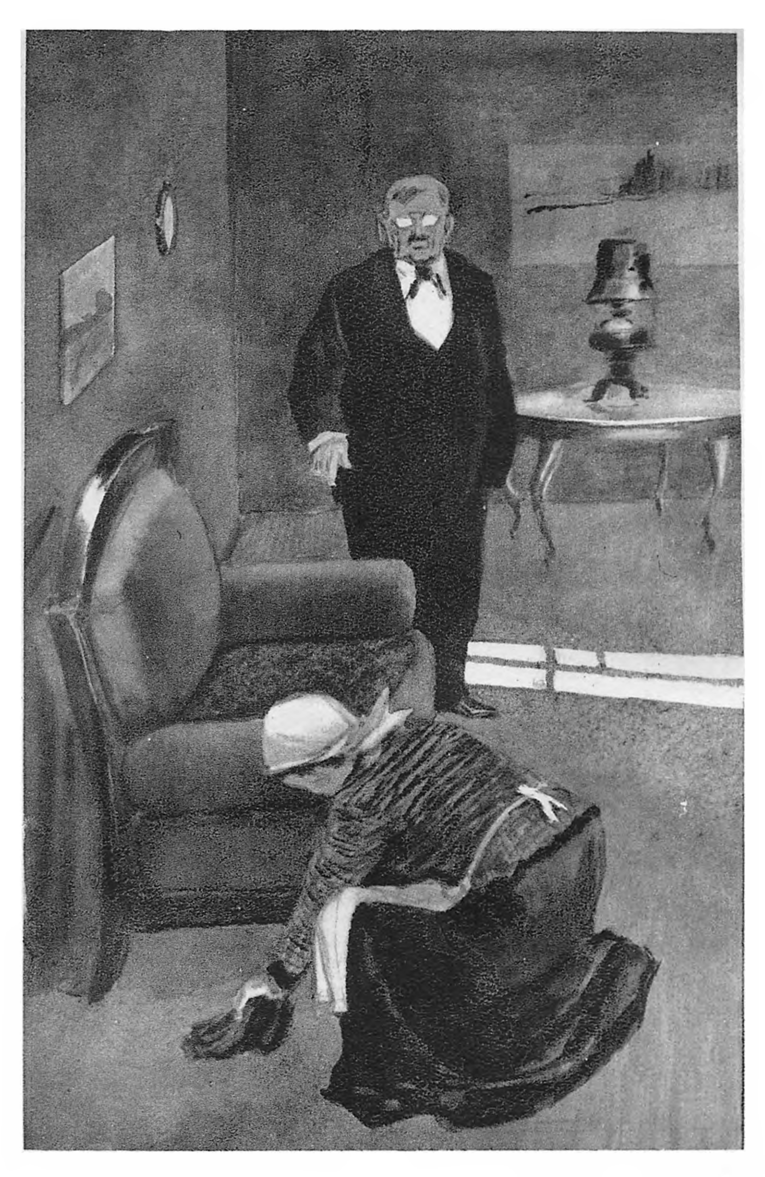
— Хэ-хэ! У вас, стало быть, продано?

— Продано.

— Ху, чудно!

— Чудно то, что вы торгуетесь, когда я говорю, что продано.

— Ну, извините... А, это овес! Дурной. Сколько же отпустите?



«СТЕПАН СЕРГЕИЧ».



«ПАРИКМАХЕР ПО СОБАЧЬЕЙ ЧАСТИ».

— Сто пудов.

— Почем?

— Сорок копеек.

— Владимир Аркадьич, да вы поглядите, какой овес! Вы только поглядите, пожалуйста!.. Мелкий, сорный! Что вы? Послушайте, тридцать копеек. Получайте деньги!.. Владимир Аркадьич, продайте рожь!

— Я же вам говорю, Иван Васильич,— я уже продал.

— Сам хозяин и вдруг — продал! Это еще вопрос! Вы меня спросите. Я что угодно могу продать.

— Будет нам разговаривать! Я вам в последний раз говорю: ржи у меня нет.

— А, нет! Ну, извините, что обеспокоил! Премного вам благодарен. До свидания!

5

ЗА ВИНТОМ

У помещика играли в винт. Партнер его, земский врач, заказал большой шлем без козырей. И сели без пяти под хохот контрпартнеров. Помещик, разъяренный, врачу:

— Да-с, батенька мой! В винт играть — это не медициной заниматься! Чтобы в винт играть, надо дело — п-о-н-и-м-а-т-ь-с!

IV

1

ГРЕХ

Дядя Семен в солдатах служил, а батя мой дома хозяйствовал. Был он много постарше Семена, и были они неподеленные. Жена Семена Агафья жила в Тулице, в прислугах у сидельца казенной винной лавки.

Вот раз поехали мы с батей в Тулицу бычка продавать. Тридцать верст от нас. Заехали к Агафье. Закраснелась вся. Стала нас чаем поить. Села, а сама все словно хоронится, животом к столу привалиается.

— Дайте, говорит, мне пачпорт. В Москву поеду, тут мне больше нельзя

А у самой слезы, слезы...

Отец подумал и говорит:

— Вот с нашими посоветуюсь, может, что и удумаем.

Вернулся домой, всех созвал и про бабу рассказал:

— Уж плачет, плачет как!

Бабка говорит:

— Что ж теперь плакать. Надо как-нибудь бабу выручать. Мы все молотить пойдем, а ты поезжай.

— Нет, отец говорит, лучше поеду, как темнеть станет.

— Как темнеть станет, тебе уж назад обернуться надо. Нет, вот мы пойдем молотить, а ты собирайся, словно за дровами; а как стемнеет, тут ты с нею и вернешься, никто ее и не увидит. А потом пачпорт справим, пущай в Москве родит.

Так и сделали. Только соседка, бабка Александра, увидала. Стала под окнами нашими похаживать.

— Что это Агафья приехала? Чего же она с вами молотить не ходит?

А наша бабка ей:

— Только приехала, сейчас и в молотьбу! Пущай отдохнет.

Агафья сидит и руки повесила и голову.

— Все одно, говорит, уж не схоронишься!

— Ну, когда не схоронишься, тогда и молоти, а пока не знают, нечего показываться.

Поехала баба с батей, справили ей пачпорт, отправили в Москву. Через две недели она родила. Пишет: «Больно девочка хорошенькая, приезжайте посмотреть». Бабка и поехала.

Воротилась.

— Уж то-то хороша-то девочка! Баба убивается: ни за что в вошпиталь[1] не хочет отдавать. Совета просит.

Отец говорит:

— Ну-ка я поеду, посмотрю.

Поехал. И вправду, девочка хорошая. Крепенькая такая, здоровенькая. Тут он Агафье присоветовал:

— Напиши мужу, что он тебе скажет.

Она и написала. А дядя Семен сперва у нас справился,— правда ли девочка хорошая? Как ему ответили, то он жене и пишет: «Если ты эту девочку в вошпиталь отдашь, то не жена ты мне больше. Если же ее при себе будешь растить, то я тебе все прощу».

---

[1] Воспитательный дом. *(Прим. В. Вересаева.)*

Вот прошло сколько-то времени, два ли, три ли года. Отслужил дядя в солдатах, сколько надобно, под рождество воротился домой. А жену его перед праздниками с места не отпустили: «Справь праздники, тогда и домой поедешь».

Все веселый был дядя Семен, а потом стали мы примечать, что как придет, сейчас на печь, ни с кем слова не скажет. Все вечера у Серегиных сидит. Тут Аленка нам сказала:

— Что вы его к нам пущаете? Бабка Александра его только расстраивает. Оттого, говорит, твоя жена не едет, что опять брюхата.

Стала ему бабка наша говорить, мать его. А он на нее:

— Потатчица ты, потаскух разводишь!

Прошли праздники. Жена его едет. Подъезжает. Он ни с места. Мать говорит:

— Ступай, ступай, твоя жена едет.

А он:

— Невестки встренут!

Вошла Агафья. Глядим: одна. Семен молчит, ничего не спрашивает. Нам неловко. Вышел он. Батя говорит:

— Девочка-то где ж?

— Померла. Как ему прийти, тут и померла.

Стали на ночь все разбираться. Агафья мне и говорит:

— Боюсь я с ним остаться: ну-ка бить начнет! Девонька, ты под дверьми послушай!

— Он те послушает!

— Ничего! Двоим-то словно не так страшно.

Ушли они вдвоем в холодную избу. Стала я под дверьми и слушаю. Он говорит:

— Ну, сказывай, сколько без меня ребят родила?

— Двоих: девочку да мальчика.

— Где ж они?

— Померли.

— Врешь!

— Вот те владычица небесная, не вру.

— Показывай запись, где похоронены.

Она пошла в сундук, достала, показала. Все рассмотрел.

— Ну, хорошо, что у тебя все в порядке, а то я думал: коли без ребят приедешь, коли в вошпиталь их отдала, поворотил бы я тебя от двора назад за ребятами...

Так все по-хорошему у них и кончилось. И бить ее не стал.

2
КЕНТАВРЫ

В святки у нас на посиделках в карты играют, в монахи. Поздно расходятся. Нам страшно возвращаться. Мы, бывало, все отца просим:

— Папашенька, приди за нами. Барских собак боимся.

— Я и так устал, а еще за вами ходи.

Однако заходил, только рано, часов в двенадцать.

Под Новый год гадают. Ходят с чашкой к проруби, оттуда воду черпают и в чашку кольца бросают. С каждой песней вынимают по кольцу. Чье кольцо, тому то будет, что в песне поется.

— Папашка! Ты не знаешь, когда гадать станут. Лучше ты сегодня за нами не приходи. Мы сами придем.

Пели, играли. Стало поздно. Видим, ребята меж собой шушукаются. А ребята у нас — не дай бог, озорные. Ночью девка им не попадайся на улице.

Я говорю Дашке, сестре:

— Дашка, как бы чего не вышло! Уйдем потихоньку, нас и не заметят.

Вышли да прямо огородами, целиной, побежали к дому. Добежали до нашего одонья, спрятались туда, откуда батя старновку таскал, как крышу перекрывали.

— Давай, говорим, тут сидеть, поглядим, что на улице будет.

Вдруг толпа парней в проулок завернула, остановилась у Степановой избы. Василий Михайлин говорит:

— Вот что, ребята! Не мешать! Либо кузнецовскую Ульяшку, либо Параньку барскую, либо Наташку Федосьину поймаю и поймаю. Одна из них моя будет. Не хотят за меня замуж идти, а тогда сами проситься станут.

Дашка меня локтем в бок:

— Слышишь, Ульяна?

— Поймает! Вот она, я-то!

— А я — Дашку Кузнецову,— Федька Федосьин говорит.

А Дашка мне в ухо смеется.

— Как же! Так я тебе и далась! Как шибану, так с ног и слетишь!

А Федька Федосьин на ноги слаб. Прошка Серегин сказал:

— А я себе Катьку Коломенскую ловить буду.

Алешка Баландин Ваське Михайлину говорит:

— Ты девку Кузнецову (это меня, значит) не трожь. Она за тебя не хочет идти, а за меня, может, пойдет.

— Вот чертюк! Да ты с нею не справишься, она тебя заколотит, ты себе Феньку лови, она тебе пара.

— Все одно! Хошь ты ее и поймаешь, она за тебя не пойдет. Я ее возьму.

— Врешь, тогда не возьмешь: людей стыдно будет.

— Чего стыдно? И ей я скажу: знаю, мол, что тебя силом взяли, и твоей вины тут нет. Все, как было, ей и расскажу.

А Сашка Чапельник говорит:

— Ребята, ведь за такие дела и в Сибирь засылают!

— Хо-хо! — Все засмеялись.

— Дура была бы девка на саму себя показывать!

Тут они пошли на улицу и стали с девками заигрывать. Какие девки посмекалистее, сейчас же стали по избам расходиться. Василий Михайлин видит, что девок уж немного осталось,— давай Параньку ловить. А Паранька — резвая на ноги: как пустится к барскому дому! Он за ней, да никак схватить не может А нам все из нашего одонья видно,— хоть за тучками месяц, а тучки-то светят. У ворот стал он ее настигать: девка в снегу вязнуть стала. Вдруг из ворот батя мой; он тогда у барина в рабочих старостах служил и отчет ему сдавал. Васька и повернул назад. Паранька стоит, никак отдыхаться не может. Батя потом рассказывал,— говорит ему:

— Дядя Илья, уж стыдно мне до чего, что ты видел, как ребята за мной гнались!

А он ей:

— Ты благодари бога, что повстречалась со мной.

А на улицу поглядеть,— вихрь! Девки мчатся кто куда, парни за ними. Васька от барских ворот вернулся да за Наташкой припустился Та — шасть в первые сени.

— Тетка Прасковья, дай попить! Что это пить захотелось.— А сама дрожит вся.— Как холодно! Озябла! — Бледная.

Прасковья домекнулась.

— Ты разденься, говорит, погрейся, я тебя потом провожу до двора.

Наташка потом сказывала:

— Уж я рада как была, что Прасковья меня приголубила!

Вдруг видим, Катька мимо бежит, а за нею следом Прошка,— большой такой, плечистый. Поймал. Она завизжала, а он ей:

— Кричи, кричи,— себя же срамишь! Все знать будут. А мне не стыдно, я мальчик.

Она на ласку перекинулась:

— Прошенька, миленький, не губи ты меня!

— Говори у меня!

И потащил ее в проулок, к Степановым ометам. Что делать? Выскочить, на помощь кликать — самих же нас парни поймают. Лежим в соломе, дрожим и потихоньку плачем. На улице тихо стало, собрались мы вылезать. Вдруг слышим в проулке говор. Прошка с Катькой идут от ометов. Уж она-то плачет, заливается. А он ей:

— Чего плачешь? Как приду из солдат, сватать тебя стану.

Вот пришла весна. Пошли мы к мельнику на работу, плотину прудить. Мы с Катькой копаем землю. Понемножку из ямы, где землю копали, на луг выбрались, отошли от людей. Я Катьке и говорю:

— А вышла ты, Катька, всех девок розеватей!

— Чем я розеватая?

— Уж говори там. Небось мы все видели, знаем.

— Что вы знаете?

— А то! Говорили все: Катька Коломенская всех провористее, а вышла она всех девок розеватее.

— Да что вы видели? Спрятались где?

— Тогда, святками еще, на улице.

— У-у!.. Девушки! Неужели видели? Где же вы были?

— В одонье нашем спрятались.

— Девушки, не сказывайте никому!

— Кабы сказывали, все бы уж знали. Ты видела, все девки расходиться стали. И тебе бы тогда идти нужно.

— Я нешто хотела. Уж как я плакала, как плакала тогда! А он божится, что, как из солдат придет, женится на мне.

— То ли женится, то ли нет.

— Верно, девушки, верно! А только что же я теперь могу!

У самой слезы на глазах.

— А может, говорим, и вправду сватать станет. Что ж плакать, слезами не поможешь.

А Прошке осенью жребий в солдаты не выпал, он домой и воротился.

— Что ж, говорит, дом мой бедный, а у Катьки всего много напасено: и одежи и обужи. Буду ее сватать.

Сосватал и женился. Счастье ее, что много себе приданого припасла. А то бы нипочем он на ней не женился.

3

ВЕЛИКОДУШНЫЙ

Когда уходил я на действительную службу в солдаты, то оставил за себя дома работника. И наказал ему, чтобы приглядывал за моей женой, и если что, то отписал бы мне. Вот прошло два месяца, он мне и пишет: «Кланяюсь вам и докладываю, что супруга ваша Степанида Зиновеевна связалась со мною и очень в меня влюбилась». Сильно я стал горевать после этого письма, начал водочкой заниматься. Жене перестал писать, только матери моей пишу, а жене даже поклониться не наказываю. Прошел год, отпросился я на побывку. Как подъезжал к селу, попросил ямщика — пусть лошади отдохнут, поезжай шагом, а к крыльцу подкати лихо. Дело было под рождество. Подкатил с шумом, со звоном, братья выбежали встречать, сняли шапки. Думали — урядник: я был закутамшись в тулуп. Узнали, стали здороваться. Работник побежал бабам сказать. Работник уж другой был, того прогнали. Бабы вышли, только жены нет. Я не спрашиваю. А уж был я сильно выпивши, для смелости. Наконец вошла она в избу, бледная, на меня не смотрит. Поцеловался с нею, жду, что будет. Сватья пришли, знакомые. Сели. А она все кругом ходит. Мать ей говорит:

— Что ж ты, Степанида, не сядешь рядом с мужем?

Сват подвинулся, дал ей место, она села. А я отвернулся, как будто ее и нету,— и ни слова. Ушли все. Я хожу и посвистываю, молчу. Она:

— Где постель тебе стлать, Петрович?

Я как будто не слышу, хожу мимо и посвистываю. Она опять спрашивает. Крикнул на нее:

— Не знаешь, где стлать? Где всегда спали?

Постелила. Легли. Я к ней спиной повернулся, так и заснул.

Три дня разузнавал, правду ли работник написал. Ну, не подтверждается. Позвали меня мужики в трактир. Я ей велел, чтоб ждала меня у трактира. Сидим, выпиваем. Гляну в окошко: стоит у крыльца; мерзнет, ногами топает.

Сват мне говорит:

— Неправильно ты, Иван Петрович, на Степаниду думаешь. Ну, размысли сам: если бы связался с нею тогда работник,— зачем бы он тебе об этом стал писать? И удовольствие бы от нее получал, и всячески бы она его ублаготворяла. Не иначе, я думаю, что отшила она его от себя, а он по злобе тебе и отписал.

Я себя по лбу ладонью хватил.

— А ведь верно! Как же это я сам не догадался!

И так-то легко у меня стало на сердце, весело!

Стало темнеть. Мы пошли из трактира. Она к нам спиною стоит,— повернулась от ветра. Мы потихоньку за ее спиною и прошли. Я обежал трактир и из-за угла подсматриваю, смеюсь: стоит, переминается с ноги на ногу. Я ушел домой, от веселости еще с час ее так продержал, потом подошел:

— Где ты была? Я тебя час целый по всей деревне хожу ищу.

— Я тебя тут ждала.

— Как же тут ждала, когда я тебя не видал, а?

После этого стал ее к себе допускать. Теперь хорошо живем, нечего бога гневить.

4

«БОГ СОЕДИНИЛ»

Были замедленные встречи у колодца весною, когда из темневшего барского сада несло душистым тополем и цветущей черемухой. Были потом возвращения с посиделок зимою, когда шли они вдвоем под одним тулупом и она сладко отдавалась его поцелуям и горячим ласкам. Потом поженились, и два года прошло, как счастливый сон.

Но земельный надел был малый, для обработки его хватало сил одного старика свекра. Брат его, живший в Петербурге, устроил ее мужа артельщиком. Стал он порядочно зарабатывать, подавал домой. А потом, как часто

бывает, когда долго живут врозь, стал он подавать все меньше, сошелся там с другою женщиною, написал жене: «Я тебя больше не знаю»,— и совсем перестал подавать. Тогда старики не захотели больше ее держать.

Поступила она в городе Веневе в прислуги. Тосковала о муже, о былом счастье. Подвернулся ласковый парень, нежно слушал ее, сочувствовал. Она — больше из благодарности — уступила его настояниям, хотя сама мало от этого испытала радости: совсем не то это было, что раньше с мужем,— даже странно, до чего было иначе. Забеременела. Тогда парень перестал быть ласковым и исчез. Деваться было некуда, все отшатнулись. Барыня брезгливо дулась и качала головою. Пересиливая себя, она работала до последнего часа. Уже с родовыми схватками ставила вечером самовар для господ. До крови раскусала губы, чтобы не кричать. Ночью ушла на двор и рано утром родила ребенка в отхожее место. Конечно, сейчас же нашли. Ее арестовали. Судили. Присяжные оправдали: она утверждала, что ничего не помнила. Подруге потом рассказывала: «Присяжные поверили; а я и вовсе все помнила». После того долго еще чудился по ночам плач и писк захлебывающегося в яме ребенка.

Переехала в Москву. Опять поступила в прислуги. Радостно и гордо рассказывала, что у нее в Петербурге есть муж. Обзавелась новым любовником. Теперь это для нее стало просто, как воды напиться, когда захотелось пить. Только один еще шаг до проституции. После ужаса родов в отхожем месте все в жизни стало для нее грубым, темным и простым.

Неожиданно приехал из Петербурга муж, отыскал ее, стал просить дать ему развод.

— Ни за что!

Он с месяц жил в Москве, подстерегал, чтоб уличить ее в «прелюбодеянии». Но она стала очень осторожна и не позволила любовнику приходить. Муж просил, на коленки становился, сулил денег.

— Нет, ни за что! Нас бог соединил.

Что это было? Мстительность, злоба? Не мне, так не доставайся никому? Нет. Для нее их действительно соединил бог,— бог света и жизни. И ей казалось: если они опять сойдутся, то темная, грубо-простая жизнь опять станет для нее значительной и светлой.

И, может быть, она была права.

5

В земскую больницу поступила родившая молодая женщина с задержавшимся в матке последом. Послед уж разлагался. Врач сказал, что послед необходимо сейчас же вынуть. Женщина решительно отказалась. Привез ее муж, вызванный из Москвы,— кудрявый, усы закручены, цепочка по жилетке, сапоги с гармонией. Фабричный. Он спросил:

— А если так оставить, без операции?

— Умрет непременно.

— Ну и пускай умру! А не дамся!

Муж взглянул на доктора, перемигнулся с ним и сказал:

— Ну что ж! Желает — пускай помирает!.. Я ли не красивый? Я ли не кудрявый? За меня всякая девка пойдет!

И вдруг та:

— Делайте со мною, что хотите!

И, стиснув зубы, вытерпела всю операцию, не издав ни стона.

6

— Как здоровье?

— Плохо. Помирать собираюсь.

— Ну, бог даст, поправишься.

— На бога ноне надежда плохая. Лукав больно. Другой молит, молит,— и так и этак. Нет! Упрется на своем, и все тут!

7

У нестарой еще бабы с шестью ребятами умер от сыпного тифа муж. Она исступленно плачет, проклинает бога:

— Больно уж выстарился, ничего не понимает! Сидит себе и смотрит сверху. Что он может видеть, что понимать? Как я его молила, как просила! Нет, не умолила,— взял! А для чего взял? Сам не знает. Выстарился, творит незнамо что. Взял бы суседа,— восемьдесят лет прожил. Так не! Давай ему молодого! А это ничего, что вдова с шестью ребятами остается? Нет, довольно терпеть! Так бы вцепилась в бороду его седую!

8

— У нас в деревне в церкви — матушка явленная царица. Три года назад, как засуха была, пронесли ее по селу — и сейчас же загорелось. В этом году пронесли — и опять.

— Значит, прогневили ее?

— Старцы через деревню проходили, сказали: есть три души грешные.

9

— У нас в деревне человек один помирал. Священник над ним читал отходную. В это время вдруг младший брат его приехал из Москвы. Упал перед ним на колени, головою к груди его прижался, плачет. «Вася, говорит, братец мой дорогой!» Так тот после этого восемь дней криком кричал, — уши себе рвал руками, ноздри. Пальцы в рот запустит и щеки себе рвет, никак помереть не мог. Пришел один старичок знакомый, посмотрел, — помешали, говорит, помереть.

10

Киево-Печерский монастырь. Внизу зеленого откоса с бесконечными лесенками, под огромными вязами, — Почаевский колодезь с навесом. Всюду цветут вишни, в бойницах монастырской стены синеет Днепр. Около колодца несколько иссутруганных дубовых колод. Близ каждой по нескольку женщин состругивают с них перочинными ножами стружки.

На одной из колод сидела баба средних лет с костылями. Тамбовская. Зипун, синяя понёва. Лицо плакало, рот некрасиво расширялся, слезы текли по носу и подбородку. Рассказывала:

— Первые сто верст шла от своих мест, как играла. А потом, — продуло, что ли, — ноги и отнялись! Доехала кое-как на машине, а от вокзала сюда три версты на карачках приползла. Две недели в печерской больнице пролежала. Вот только сегодня как будто чуть-чуть полегчало, приползла сюда. Говорят, от стружечек этих святых большая бывает помощь.

Стоял и смотрел молодой купец с красным затылком, в лаковых сапогах и длиннополом сюртуке. Спросил:

— Это вы для чего колоду стругаете?

Одна из стругавших ответила:

— Знаете, по деревенскому обычаю: зубы заболеют или что, стружечку святую приложишь — и пройдет. Лекарства покупать достатку у нас нету. Вот мы больше святостью и лечимся.

— Ну да! — подтвердила другая. — Скажем, дитя заболеет. Обкурить его этой щепочкой вместе с ладаном — и все пройдет.

Молодица с лукавыми глазами засмеялась.

— Вот! Одна начнет скрести, за нею другие следом... Не знают сами, что делают!

Купчик авторитетно стал объяснять:

— Тут вера помогает, а не стружки. В Твери у нас было: купчиха одна сильно очень животом маялась. Доктора никак пособить не могли. Вот послала она кучера своего к святому Нилу Столбецкому настругать стружек с его столба святого, на котором подвизался. А кучер себе и говорит: «Лучше же я это время в трактире на большой дороге просижу, а стружек можно где хочешь достать». Настругал стружечек мелких у старого колеса, привез. Женщина съела — и выздоровела. Отчего же она выздоровела? От колеса? От ве-еры!

Баба, сидевшая на колоде, жадно слушала и качала головой.

— Вот видишь, помог, значит, святитель!.. — И с глубоким, истерическим вздохом произнесла: — Все святые преподобные, молите бога за меня, грешную!

Перекрестилась, наклонилась к колоде и стала ее стругать.

11

Эта же женщина рассказывала:

— Дочь у меня тридцать недель была горбатая и без ног: раз отец послал ее в сундук за табаком, она поскользнулась и спиной ударилась о стенку сундука. С тех пор взялась хиреть, взялась хиреть. Возили по докторам. Никакой пользы. Вот раз летом пошла я в поле жать и забыла ей, грешница, водички оставить... Лежит она в сенцах. Вдруг входит странник,— с гумна, значит, прошел через трое ворот. Входит. «Дай, говорит, испить водички! Испить, говорит, дай нищему брату!» — «Я бы и рада, да видишь, сама убогая, а мама в поле ушла, водички забыла поставить». — «Обрекись к тамбовской божьей матери сходить.

молебен отслужить,— и встанешь». — «Боюсь обречься-то! А ну как не смогу сходить. С оброком умирать будет трудно».— «Обрекись!» — «Ой, боюсь, батюшка! Оброк-то ведь на второй пришест придется нести,— тяжело будет».— «Обрекись!» Взял свою палочку, сунул ей в руки. «Встань!» Встала и пошла. Сходила к тамбовской божьей матери. И посейчас здорова.

12

За Байкалом объявился у нас разбойник один, казак Гришка Фомин. Богачей грабил, а простому народу помогал. Ловили,— никак не изловят, лошадей под ним убили без счета, а самого пуля не берет.

Я спросил:

— Почему?

Один из слушателей, как на глупый вопрос:

— Слово знал.

— Да. Раз едет мужик, везет бочку дегтю — на ярмарку, продавать. Вдруг из кустов Гришка. «Знаешь, кто я?» Мужик поглядел, обомлел. «Знаю»,— говорит. «Ну, вот что: вынь затычку и поезжай, а я за тобой следить буду». Нечего делать. Выдернул мужик затычку и поехал. Деготь льется на дорогу. Весь вытек. Чего же дальше ехать? Завернул мужик лошадь и поехал назад. Вдруг опять из кустов Гришка. «На много ли товару сгубил?»— «На четвертную».— «На, получай пятьдесят». И уехал... Все его боялись. Иной раскуражится, скажет: «Эх, попадись он мне,— я бы ему показал!» Гришка это сейчас узнает...

— Ну, да, переводчики, значит, у него всегда есть.

— Да. Чуть стемнеет,— подъезжает к избе, стучится. «Эй, выходи!» — «Кто там?»—«Ты, говорит, Гришку Фомина хотел видеть, так вон он я». Тот в ноги: «Помилуй!» Донесли в Петербург, что пуля его не берет, от царя приказ пришел: поймать живьем, в Петербург привезти. Но ничего не вышло. Народ ему помогал, не поймали.

13

НА ПОЖАРИЩЕ

Уже в начале августа иногда бывает: солнце печет, а в тени холодно, ночи же — совсем студеные. Под вечер я был в Занине. Неделю назад оно сгорело. Перед тем долго была сушь и жара, народ весь был в поле, загорелось днем

при сильнейшем ветре. В полчаса всю деревню как слизнуло языком.

Стояла деревня на обоих отлогих склонах лощины. Теперь это было широкое пространство, ровное, как ток, усеянное мелким пеплом, и только закопченные печи стояли горбатыми уродами. Сзади — ивы и березы с рыжею, сморщившеюся листвою. В гору — конопляники, тоже вначале рыжие, обгорелые. На маху несколько уцелевших риг. Из ручья торчат обгорелые столбы моста. Плотина тоже сгорела, пруд убежал.

У сложенной из кирпичей печурки — сухая старуха в рваной ситцевой юбке и кацавейке, со слезящимися глазами, молодая девка и двое мальчиков. В котелке что-то кипит.

— Хлеб вы уже убрали?

Старуха ответила громким, равнодушным голосом:

— Убрали, свезли — и пожгли!

Я с недоумением огляделся.

— Где же вы теперь живете?

— В риге дрожим. Ночи-то холодные, одежа вся погорела, подостлать нечего, покрыться нечем. Лежим друг возле дружки и дрожим!

Говорила она все так же громко и равнодушно, поучающим голосом, как будто читала лекцию. Подошел мужик с русой бородой, в серой поддевке.

— Отчего загорелось?

Мужик ответил:

— Кто ж его знает!

А старуха сказала:

— Шпитонок, говорят, — значит, из воспитательного дома, — стал ребятам показывать, как пчел выкуривают.

— Ну, бабы болтают, — тоже, верить им! Одна мелет, другая подлыгает.

Говорил он тоже спокойно, с легкой усмешечкой.

— Страховку вы получите?

— Ну как же! Получим! Богато получим, — от сорока до восьмидесяти рублей! А у Семибратова купить, — один сруб семьдесят два рубля стоит. А погорело-то все, — колеса, хомуты, одежа, телеги, сани, — лошадь обротать нечем! Прольешь, — не подгребешь. Все ведь новое надо заводить.

Подошло еще несколько мужиков.

— Ну, а бочки, багры, — это все у вас было?

Первый мужик ответил:

— Самое это, я вам скажу, пустое дело — багры! Ведра,— больше ничего не надо.

— Почему?

— А потому. Моя вон изба: всю ее баграми растащили. Заплатить мне за нее ничего не заплатят,— не сгорела, а чем мне лучше, нежели другим? Все побили, поломали, порвали...

— Так ведь из леса опять можно избу сложить.

— Как ее сложишь? — заметил другой.

А первый продолжал:

— Изба-то ведь жилая была, гнилая,—тронули — и рассыпалась! Эх, бра-ат!.. Вот теперь и иди по миру, ни копейки ведь мне штраховки не дадут.

Постепенно он начинал говорить все взволнованнее, губы запрыгали, на глазах выступили слезы.

— Я на багор ругаюсь,—зачем инструмент этот такой вредный! Пускай уж, гори все подряд! Пропадай пропадом! Зачем же они мне жизнь мою изломали?..

И из груди его вырвалось короткое, глухое рыдание.

Подошедшие мужики стали рассказывать про пожар:

— Горело так, что в Марьине было жарко стоять. Из губернии запрос: «Что там такое жарко так горит?» И телеграммы об нас: «Занино! Занино!» Так со всех сторон и забирало. Прибежали с поля, бросились спасать,— куда тебе! Вихорь так и рвет, так и крутит,— со всех трех сторон охватило. Только и выходу, что к пруду. Так было жарко,— вода в пруде закипала. Сундук в воду бросили,— он плавает, а верх горит. Одна баба сгорела, другую, в огне всю, бросили в пруд, чуть не утопла. На другой день в Ненашеве в больнице умерла от ожогов.

Третий сказал:

— Ну, да! Ведь свое добро,— жалко! Лезет баба в избу, кругом все горит, волосы на ней трещат, а она вот так рукой заслонится и тащит сундук.

— Много все-таки спасли?

— Куда там! Дай бог самим было живу уйти!

Первый мужик — опять совсем уже спокойный — сказал, смеясь:

— Вбежал я в пруд, кричу: «Дядя Матвей, ведь ты горишь!» А он мне: «Да ведь и ты горишь!» Хвать — ан вправду картуз на голове горит! И оба мы с ним в картузах — нырк в воду!

В холодавшем воздухе стоял дружный смех.

14

НА ДЕРЕВЕНСКОМ БАЗАРЕ

Становой. Это что у тебя?

— Поросята, ваше высокородие!

— Дурак! Я сам вижу, что поросята! А вопрос — жирные ли?

— Очень жирные, ваше высокородие!

— Дурак! Я и сам вижу, что жирные. А вот — вкусны ли?.. Понял?

— П-понял...

15

Букинисты у Китайской стены в Москве. На картонках надписи:

10 копеек на выбор!
5 копеек на выбор!

Солдат взял огромную диссертацию: «О лечении молочной кислотой женских болезней». Перелистал. Положил, взял другую книгу: «Н. Загоскин. Столы разрядного приказа».

— Полезные книги! Купи,— не пожалеешь! По два фунта весом каждая, а цена за обе — всего двугривенный.

Солдат в колебании смотрел на книги, взвесил на руке. Потом раскрыл кошелек, в колебании заглянул в него.

— Чего думаешь? Покупай!.. В деревню едешь? Вот на зиму тебе. Лучше не надо! Целый год читать будешь!

Купил.

16

Сапожник. Из промыслового кооператива. Любил выпить, жена все деньги отбирала. Однажды сдал он товар, получил под его залог девяносто рублей. Переправил в квитанции на восемьдесят, отдал ее жене, а десять рублей пропил. Подлог раскрылся, его судили на общем собрании кооператива. Он сказал пламенную защитительную речь:

— Вы все, братцы, знаете, какая моя жинка стерва. Хуже никогда не бывало на свете. Да еще к тому грамотная,— никак ее не обманешь! Господи, уже в гроб скоро,

а даже не помню, когда и выпил в полное свое удовольствие! Все отбирает, только пятиалтынный выдает на табак. Для нее, братцы, только и сфальшивил. Все-таки теперь — хоть разок кутнул, как душа требовала. А вы меня судите по совести.

Хохотало все собрание. Простили.

17

ВЕЖЛИВОСТЬ

Мы сидели с ним на веранде моей дачки за самоваром. После каждого стакана он решительно отказывался от следующего, но пил уже шестой стакан, конфузился, потел и вытирал лысину палевым ситцевым платочком с зелено-красною каемкой.

Я рассказывал:

— Представьте себе, в Давыдове крестьяне в этом году просят за комнату, за которую в прошлом году брали сто рублей,— триста рублей!

— Да неужели?! — изумлялся он.

— Да.

— Двиствительно! Что же это такое?

— Триста рублей!

— Какое нахальство! Скажите, пожалуйста, а!

— Кто это мне рассказывал?.. — Вдруг я взглянул на него.— Да позвольте... Ведь это же... вы мне рассказывали!

— Я-с!

— Вы?!

— Так точно!

18

НА ПЧЕЛЬНИКЕ

— Она, пчелка,— ее господь любит. Недаром ей название — божья мушка. День целый работает, старается. Не для себя трудится,— ей самой много ли надо? Для человека трудится. Божия коровка, святая тварь.

— А что, дедушка, она тебя не кусает?

— Не-е! Она того жалит, кто бабами займается, а я это дело давно уже бросил. (Отмахивается.) Я этими делами... Шш, ты, окаянная!.. Этих делов я... А сетки я не люб-

лю,— ни к чему она. Первое только дело — не дразни ее. Шш, вы! А-а, погибели на вас нету!.. Ой, батюшки! Чтоб вас разорвало!.. Ой, ой!!. В шалаш, подлые, следом летят! Анафемы, будь вы прокляты! А-а, подлые! Словно прорвало их!..

— Что, дедко, видно, погрешил с бабой какой!

— Э, паралик их расшиби! Им это все одно! Они того не разбирают!

V

1

В восьмидесятых—девяностых годах в Петербурге на сцене русской оперы в Большом театре пел тенор Мих. Ив. Михайлов. Голос прекрасный. Но держался он на сцене, как манекен, лицо было плоское и широкое, был очень недалек и невежествен. В «Русалке» пел, ударяя себя ладонью по лбу:

А вот и дуб заветный..

По поводу стихов: «Судите же, какие розы нам заготовил Гименей» — он спрашивал:

— Кто такой этот Гименей? Он в опере не поет.

Ему объясняли:

— Это садовник Лариных.

И Михайлов верил. Теперь, кажется, это стало уже ходячим анекдотом.

Он говорил:

— Вы предо мною промелькнули, как термометр (вместо «метеор»).

Слова текста жестоко перевирал и уверял, что это совсем неважно. Каватина Фауста начинается так:

Привет тебе, приют невинный,
Привет тебе, приют святой!

Михайлов пел:

Привет тебе, всегда невинный,
Привет тебе, всегда святой!

Певица Сионицкая пела в «Русалке» Наташу, Михайлов — князя. Она вокруг него мечется на сцене, а он на нее — ни малейшего внимания. Она ему за кулисами:

— Вы же должны меня обнять!

— Дорогая моя! Никак невозможно! Как я вас могу обнимать? Я — князь, а вы — простая крестьянская девушка.

2

В те же годы, на той же сцене, в тех же ролях, что и Михайлов, выступал Николай Николаевич Фигнер. Это был один из прекраснейших певцов-теноров, каких только знала русская оперная сцена. Голос был слабее, чем у Михайлова, тембр его, может быть, не так нежен. Но сравнивать их было просто смешно. Когда Фигнер пел Фауста или Ромео, Рауля или Фра-Диаволо, Ленского или Германа,— такою охватывало поэзией, такие светлые грезы роились в душе, так жизнь становилась хороша, что просто не хотелось разбирать, какой силы его голос и какого тембра. Был он к тому же прекраснейший актер и изящный красавец, манерам которого завидовали великосветские денди. Весь Петербург носил его на руках, билеты на него перекупались у барышников за чудовищные цены.

Он был раньше морским офицером. Рассказывали, что когда его корабль был в заграничном плавании, он в Италии дезертировал с корабля и остался в Италии. Там учился пению. Его полюбила итальянская певица Медея Мей, взяла под свое покровительство. Он быстро выдвинулся и стал приобретать европейскую славу. Услышал его великий князь Владимир Александрович и выхлопотал ему прощение. Фигнер явился в Петербурге в 1887 году.

Выступления его были сплошным триумфом. Он выступал непрерывно,— на оперной сцене, в концертах, в частных домах у вельмож и миллионеров-промышленников и купцов. А голос у него был непрочный. Ему говорили, что так он скоро погубит его. Фигнер беззаботно отвечал:

— Э! Накоплю двести тысяч рублей, обеспечу себя и тогда поступлю профессором в консерваторию.

И как часто бывает в подобных случаях,— беззаботный вызов будущему, а когда придет будущее,— неспособность с ним примириться, горькое сожаление о прошедшем. Через пятнадцать — двадцать лет Фигнер голос потерял, но со сцены не ушел. Он стал директором Народного дома на Выборгской стороне, где ставились оперы. Завистливо оттирал сколько-нибудь даровитых других теноров, сам выступал в самых ответственных ролях. И публика, морщась, говорила:

— Опять этот Фигнер!

И смеялась, слушая его безголосое пение. И нам, слышавшим его в расцвете, больно и страшно было за него.

Человек он был нехороший. Заслуженная артистка М. А. Дейша-Сионицкая рассказывала. В восьмидесятых годах она пела на петербургской сцене. Фигнер стал за нею приударять. Она отвергла его домогательства. Он стал ее всячески преследовать. А влиянием он пользовался огромным. Вот мелочь, показывающая, сколько разрешалось Фигнеру. Он носил очень шедшие к нему усы и бородку и в таком виде, в нарушение всякой бытовой правды, пел, например, Ленского. Фигнер стал систематически отказываться петь с Сионицкой. Заявил, что у нее гнилые зубы и всегда пахнет изо рту. В конце концов Сионицкой пришлось перевестись в Москву.

Однажды ездил в Петербург по служебным делам баритон московской оперы Б. Б. Корсов. Воротившись, говорит Сионицкой:

— Ну-ка покажите зубы!

— Что я, лошадь, что ли!

— Покажите, покажите. Мне нужно... Гм! Настоящие зубы?

— Господи, что это! Конечно!

— Прекрасные зубы!.. А ну-ка дохните на меня!

И рассказал ей, что в Петербурге у него произошел такой разговор с директором императорских театров И. А. Всеволожским. Тот его спросил:

— Как у вас там с Сионицкой?

— Ничего.

— Можете с нею петь?

— Отчего же нет? Пою.

— А изо рту у нее не пахнет?

— Не замечал.

— Да ведь у нее зубы гнилые.

— Приеду в Москву, посмотрю.

Когда Сионицкая была в Петербурге, она поехала к Всеволожскому объясняться и в заключение сказала:

— Я очень хотела бы поцеловать вас и укусить, чтобы вы убедились, что изо рту у меня не пахнет и что зубы у меня не гнилые, а очень крепкие.

Всеволожский галантно ответил:

— На первое я с удовольствием бы согласился, но на второе — нет.

3

Было это в конце 1898 года. Я служил ассистентом в Барачной больнице в память Боткина. Жена моя несколько уже лет была больна тяжелым нервным расстройством: неожиданный звонок в квартире вызывал у нее судороги, у нее постоянные были мигрени, пройти по улице два квартала для нее было уже большим путешествием. Мы обращались за помощью ко многим врачам и профессорам,— пользы не было. (Через двадцать пять лет оказалось, что все эти явления вызывались скрытой малярией). Один из товарищей моих по больнице рекомендовал мне обратиться к профессору нервных болезней В. М. Бехтереву,— европейски известный ученый, прекрасный диагност.

Мы отправились к нему. Прием был очень большой,— наш номер, помнится, был двадцать второй. Наконец вошли в кабинет. Приземистый, сутулый человек, со втянутою в плечи головою, с длинными лохматыми волосами, падающими на лицо. Глаза смотрят недобро и с нетерпением.

— Что болит?

Жена стала рассказывать о своей болезни. Он прервал, провел рукою по ее спине, нажимая пальцем на позвоночный столб, и спрашивал: «Больно?» Потом, не расстегивая шелковой кофточки, приложил стетоскоп к груди жены, бегло выслушал и сел писать рецепт.

— Будете принимать три раза в день по столовой ложке и берите каждый день теплые ванны... Когда кончите лекарство, придите снова, только не забудьте взять с собою рецепт.

Я взглянул на рецепт: Infus. Valerianae, Natrii bromati...

— Господин профессор! Жена всех этих валерианок и бромистых натров приняла уже чуть не пуды!

Профессор раздраженно ответил:

— Медицина для вас новых средств выдумать не может.

Я вручил ему пятирублевый золотой и пошел с женою вон. Он вдогонку еще раз напомнил, чтобы в следующий раз мы не забыли взять с собою рецепт.

Жена, выйдя на крыльцо, горько разрыдалась. Я был поражен: вот так исследование! Профессор ни о чем жену не спросил, не спросил даже, замужем ли она, есть ли

дети, какими раньше страдала болезнями. Даже фамилии не спросил и не записал. Стало понятно, почему он так настойчиво напоминал, чтобы в следующий раз принести рецепт,— иначе бы он не знал, что прописал и что прописать.

Я так был возмущен, что, придя домой, немедленно написал профессору письмо приблизительно такого содержания:

Милостивый государь,

г. профессор!

Жена моя уже несколько лет страдает тяжелым нервным расстройством, не поддающимся никакому лечению. Как к последнему средству, я решил обратиться к Вашей помощи. На опыте испытав все неудобства, с какими связано лечение у врача врача и его близких, я не сообщил Вам, что я — врач.

Откровенно сознаюсь Вам — я не мог даже представить себе, чтобы врач мог относиться к больному с такою небрежностью, с какою Вы отнеслись к моей жене. Смею утверждать, например, что так, как Вы выслушивали ее сердце, Вы решительно ничего не могли услышать. Результатом Вашего исследования, разумеется, только и могли быть те валерианки и бромистые натры, которые Вы прописали. При этом Вы, видимо, так спешили, так заняты были одной мыслью — поскорее отделаться от нас, что не обратили внимания на мое заявление, что всех этих валерианок и бромистых натров жена приняла чуть не пуды. Конечно, Вы были вполне правы — медицина специально для нас новых средств выдумать не может. Но извините, г. профессор,— не мне учить Вас, что верный диагноз и прогноз, что правильное лечение возможны только при тщательном исследовании больного. Обратился я к Вам, как к авторитетному профессору-специалисту, а получил то, что с гораздо меньшими хлопотами мог бы получить от любого студента-медика третьего курса.

Ассистент Барачной в память Боткина больницы

В. Смидович.

Дня через два неожиданно получаю от профессора ответ. В конверт была вложена пятирублевка. Профессор писал:

Многоуважаемый товарищ,

Начиная со среды вечера и до сегодня я лежу в постели вследствие инфлуэнцы. Уже в среду я чувствовал себя так плохо, что едва мог закончить прием, после которого я тотчас же и слег в постель. Этим обстоятельством я прошу извинить меня в том, что не был в состоянии посвятить Вам более времени, чем это случилось на самом деле. Вместе с тем я глубоко сожалею о том, что Вы намеренно скрыли свое звание врача, предполагая почему-то, что к врачам и их женам их сотоварищи по профессии, в том числе я (хотя до сих пор, мне кажется, мы с Вами еще не были знакомы), должны непременно относиться невнимательно. Это совершенно неосновательное огульное осуждение Вами своих собратьев по профессии (не знаю, на каком опять основании) привело в данном случае к тому, что лишило меня

возможности проконсультировать с Вами, *как с врачом*, о состоянии здоровья Вашей жены.

Если Вам угодно будет впредь не скрывать своего звания (тем более, что к такому обману я не подал Вам никакого повода) и если моя помощь Вам будет еще нужна, то по выздоровлении я всегда готов Вам служить в пределах моих сил и возможности, в часы ли приема, или в какое-либо другое время, как Вам удобнее. При этом прошу Вас принять обратно оставленный Вами у меня гонорар.

Примите уверение в совершенном к Вам почтении (приписано, очевидно, потом, несколько более мелким почерком) и поздравление с Новым годом.

В. Бехтерев.

1 января, 1899 г.

Пусть так. И это действительно было так: один из ординаторов нашей больницы работал в клинике профессора и сказал мне, что на следующий день профессор слег в инфлуэнце. Но спрашивается: для чего в таком случае было принимать больных и обирать с них пятирублевки? Ведь для многих эти пятирублевки, быть может, были плодом отказа от необходимого.

Идти вторично или не идти? Мы решили — лучше идти. Узнали, когда профессор выздоровел и возобновил прием. Поехали. Я старательно обдумал все, что следует сообщить профессору касательно болезни моей жены.

Вошли к нему.

— Мы, господин профессор, были у вас...

Он насупился и коротко сказал:

— Я помню.— И обратился к жене: — Рецепт принесли? Жена подала. Он посмотрел.

— Как себя чувствуете? Ванны принимаете?

— Чувствую себя по-прежнему. Ванны принимаю.

— Так... Спите плохо?

— Очень плохо.

— Угу!..— Профессор написал рецепт и протянул его жене.— Будете принимать по столовой ложке три раза в день, ванны продолжайте.

Я взглянул на рецепт: Inf. Adon. vernal... Ammonii bromati... Ничего не понимаю! Опять то же? И где же консультация со мною, каковой возможности я лишил профессора в прошлый раз?

Мы встали, он нас проводил до двери. Может быть, он хочет посоветоваться со мной в отсутствие жены? Но он протягивает руку. Я торопливо стал излагать профессору свои соображения о болезни жены,— он нетерпели-

во слушал, повторяя: «Да! да!» При первом перерыве сунул нам руку и сказал:

— Не забудьте в следующий раз захватить рецепт.

4

В конце, кажется, девяностых годов в Петербург приезжал знаменитый итальянский трагик Томазо Сальвини. В то время ему было уже семьдесят лет. Я видел его в «Отелло». Спектакли шли в Александринском театре; остальные роли исполняли артисты этого театра (Дездемону — В. Ф. Комиссаржевская). Я видел Росси, видел Барная — столь же, как Сальвини, прославленных европейских трагиков. Какими они показались крохотными в сравнении с Сальвини! Здесь душа сразу, без минуты колебания, сказала: «Вот это — гений!»

Сальвини играл по-итальянски, остальные актеры — по-русски. Я взял с собою дешевое суворинское издание «Оттело» и, когда говорили партнеры Отелло, читал по книжке вперед то, что должен был сказать Отелло; когда же начинал говорить он,— слушал и смотрел в бинокль; хотелось понимать каждое его слово. И сколько же я из-за этого потерял!

Шло третье действие. Отелло требует от Яго доказательств неверности Дездемоны. Яго рассказывает, как однажды ночью он спал на одной постели с Кассио:

Вот слышу я — он говорит сквозь сон:
«О ангел Дездемона, скроем нашу
Любовь от всех и будем осторожны!»
Тут сильно сжал он руку мне, воскликнув:
«О чудное созданье!» — и потом
Стал целовать меня так пылко, будто
С корнями он хотел лобзанья вырвать,
Что на губах моих росли; потом
Он горячо прильнул ко мне всем телом,
И целовал, и плакал, и кричал:
«Будь проклят рок, тебя отдавший мавру!»

Случайно я задержался и в продолжение всей речи Яго смотрел в бинокль на Сальвини. И увидел ужасное. Передо мною была напряженно улыбающаяся маска с слегка оскаленными зубами; чудовищным напряжением воли человек заставил свои мускулы раздвинуть лицо в улыбку,— о, никто не должен знать, что происходит у него на душе! — и из улыбающейся маски этой глядели безум-

но-страдающие, остановившиеся глаза,— припоминающе остановившиеся: так, значит, в те незабываемые ночи... Все те ласки, все те слова...

И он шептал, с трудом переводя дыхание:

— Mostruoso! Mostruoso!.. (Чудовищно! Чудовищно!..)

Тут уж не было искусства, это была голая, страшная жизнь. Стыдно, неловко было присутствовать при интимной драме великолепного этого человека: нужно же уважать чужое страдание и не лезть со своим любопытством!

Когда кончился спектакль, все остальные актеры, и Комиссаржевская в том числе, разгримировались, переоделись,— и не стало уже ни Дездемоны, ни Яго, ни остальных. Но Отелло не исчез. Синьор Томазо Сальвини,— он, может быть, поехал сейчас со своими поклонниками ужинать к Кюба,— приятного ему аппетита. Но Отелло отдельно живет со своею великою тоскою, с развороченною своею душевною раною. Странно: как он может быть здесь, в Петербурге,— этот венецианец из средневековья? Однако он где-то здесь, и его можно случайно встретить.

5

Говорят, «ревнив, как Отелло». У нас много писали об Отелло несколько лет назад, когда драма была поставлена в Малом театре с исполнителем заглавной роли Остужевым. Возражали против обычной трактовки трагедии как «трагедии ревности»; говорили, что здесь — «трагедия героя, у которого разум подчинился крови»; хвалили игру Остужева, показывающего, как у Отелло постепенно зарождается прежде неведомое ему чувство ревности, как оно нарастает и доводит ранее спокойного и рассудительного воина до безумия. «Кровь одолевает разум» — в этом источник всей трагедии. Но в таком случае остается та же «трагедия ревности», только несколько усложненная. Мне кажется, наоборот. Мне кажется, основная трагедия Отелло как раз в том, что у него «разум» одолел его «кровь», то есть нутро.

Почему Отелло так привлекателен, почему заставляет так горько страдать за себя? Нет более гнусной, мелкособственнической страсти, как ревность. «Ты принадлежишь мне,— как смеешь ты принадлежать другому?» Казалось

бы, так ясно: «изменила» тебе Дездемона,— устранись. Насильно мил не будешь, какую цену имеет принужденная любовь? Но мещанство всех времен признавало ревность, как и другие собственнические чувства, явлением вполне законным и даже почтенным. Но мы-то,— что, кроме омерзения, можем мы чувствовать к человеку, задушившему любимую женщину за то, что она, пускай даже и вправду, нарушила право его собственности на нее? А Отелло мы жалеем и горько болеем за него душою. И самый даровитый артист, если бы попробовал играть Отелло так, чтобы он в нас вызывал отвращение, безнадежно разбил бы себе голову о подобную попытку.

В чем тут дело?

Пушкин тонко заметил: «Отелло от природы не ревнив». Да, он не ревнив от природы. И он — честный, хороший, глубоко благородный от природы человек. Путем дьявольской интриги Яго приводит его к убеждению, что Дездемона ему изменяет. Что в таком случае должен испытывать ревнивый человек, да к тому еще с такою горячею, «мавританскою» кровью, как у Отелло? Любовь превращается в неистовую ненависть; нет такой утонченной казни, которая в достаточной мере могла бы утолить жажду мести. В мировой литературе мы встречаем немало образов настоящих ревнивцев, в бешенстве убивающих изменниц жен, навеки заключающих их в домашние темницы, предающих их всенародному поруганию. А что мы видим у Отелло?

Яго всякими намеками старается заронить в душу Отелло подозрение в верности жены. Отелло:

Постой!
К чему ведут, что значат эти речи?
Не мнишь ли ты, что ревностию жить
Я захочу и каждый день встречать,
Одно другим сменяя подозренье?..
Нет, Яго, нет! Чтоб усомниться, должен
Я увидать. А усомнился — надо
Мне доказать. А после доказательств —
Вон из души и ревность и любовь! [1]

Яго одно за другим приводит как будто совершенно неопровержимые доказательства. Отелло:

Ну, что же! Нет жены!
Обманут я. И утешеньем только
Презрение должно остаться мне.

---

[1] Цитирую по старому переводу П. Вейнберга. Он много точнее и художественнее нового перевода. *(Прим. В. Вересаева.)*

Но Яго приводит все новые и новые доказательства будто бы совершенно исключительного бесстыдства и лживости Дездемоны. Отелло в бешенстве:

— О, пусть же она пропадет,
пусть сгниет, пусть станет добычею ада!

И вдруг,— это место обычно либо пропускается, либо проходит у исполнителя совершенно незамеченным,— вдруг Отелло говорит Яго:

— Но как она мила!
— О да! Слишком мила!
— Так, ты прав. Но все-таки... Жаль, Яго! О Яго! Жаль, страшно жаль, Яго!

Мы ясно чувствуем этот смущенно умоляющий тон, с каким Отелло пытается отстоять перед Яго свое право на жалость к любимой женщине. Яго чувствует эту жестокую борьбу в душе человека, якобы «до безумия ослепленного ревностью»,— и спешит подогреть опадающую злобу:

— Ну, если вам так нравятся ее пороки,— дайте им полный простор: уж если они не трогают вас, то, конечно, никому другому нет дела до них.

И Отелло, вскипая прежнею яростью, восклицает:

— Я изрублю ее на куски! Украсить меня рогами!

Постоянно разжигаемая усилиями Яго, злоба Отелло достигает крайних пределов. Кровавое решение созревает. Отелло входит ночью в спальню, чтобы задушить Дездемону на оскверненном ею ложе. И этот «бешеный ревнивец», «отуманенный кровавою жаждою мщенья»,— что говорит он входя?

Вот, вот причина,— вот причина, сердце!
Не назову я вам ее, о звезды,
Безгрешные светила,— вот причина!

Ему оказывается нужным настойчиво твердить себе, что есть, есть причина к замышленному убийству и причина самая основательная. И дальше, с любовью целуя спящую Дездемону, он говорит:

О сладкое дыханье! Правосудье
Само бы меч сломало пред тобой!

Еще, еще... О, будь такой по смерти!
А я тебя убью и после снова
Начну любить...

И еще дальше, в последнем объяснении с Дездемоной, когда она продолжает отпираться от улик, как будто совершенно очевидных, Отелло в бешенстве восклицает:

О женщина коварная, ты в камень
Мне превращаешь сердце, заставляешь
То называть убийством, что намерен
Я совершить и что *считал я жертвой!*

Совершенно ясно, что перед нами не бешеный ревнивец, в нарушение всех божеских и человеческих законов готовый «раздавить гадину», а человек, с великою скорбью и с горестным преодолением себя приносящий в *жертву* какому-то беспощадно требовательному богу. Какому?

Дездемона задушена. Интрига Яго разоблачена. Лудовико с грустью спрашивает:

О Отелло!
Как мне назвать тебя, который прежде
Героем был, а нынче жертвой стал
Проклятого мерзавца?

И Отелло отвечает:

Как-нибудь:
Желаете, так назовите честным
Убийцею, затем что *ничего*
Я не свершил из ненависти, все же
Из чести лишь.

«For naught I did in hate, but all in honour».

Можно ли выразиться яснее? Вот он, этот беспощадный бог,— честь! Честь, как она в то время понималась, требовавшая жесточайшей расправы с изменившею мужу женщиною. Благородная натура Отелло всеми силами протестует против такого отношения к любимой, в сердце его действительно нет к ней никакой ненависти. Но честь — эта высшая, неоспоримая правда того времени — безоговорочно требует определенных действий. Говорят, в Италии и в настоящее время оправдательный приговор суда мужу, убившему изменницу жену, встречается дружными рукоплесканиями публики. И Отелло как смертнотяжкий долг берет на себя исполнение требований общепризнанного нравственного закона. И, естественно, чтобы по-

двигнуть себя на это, всячески разжигает в себе ненависть и злобу.

Если бы пришел к Отелло какой-нибудь мудрый старик, им глубоко почитаемый, то не к чему было бы ему убеждать Отелло, чтоб он не поддавался дурману ревности, чтоб не позволил «крови» одолеть «разум». Он мог бы только сказать Отелло:

— Слушайся своего сердца, своей «крови», и не слушайся разума, который уверяет, будто бы «честь» требует убийства разлюбившей тебя женщины. Честь требует от тебя только одного: разлюбила тебя,—

Вон из души и ревность и любовь!

И Отелло с радостью, с чувством великого освобождения послушался бы старика.

6

В девяностых годах в Петербурге существовал драматический театр «Литературно-артистического кружка», во главе которого стоял издатель «Нового времени» А. С. Суворин. В публике этот театр называли Суворинским, а официальное его название было, кажется, «Малый театр». Режиссура была хорошая, много было талантливых актеров. Ставились плохие пьесы самого Суворина, поставлена была юдофобская пьеса «Контрабандисты», вызвавшая большой скандал и уход из театра ряда актеров. В общем, однако, репертуар, сравнительно с репертуаром казенного Александринского театра, был свежий. Ставился Ибсен, «Потонувший колокол» Гауптмана, Ростан.

Крупным событием была постановка драмы А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Пьеса с самого времени своего написания находилась под цензурным запретом, и, кажется, было заслугою Суворина, что он, благодаря своим связям, добился снятия запрета. Разрешение пьесы было со стороны правительства такою же непонятною глупостью, как последовавшее вскоре отлучение Льва Толстого от православной церкви. Хотя, впрочем, и то сказать: чем можно было мотивировать запрещение? Не тем же, что пьеса слишком напоминает теперешнее положение. Очень был тогда популярен такой анекдот: услышал городовой,

как на улице кто-то сказал слово «дурак»,— и потащил его в участок.

— За что ты меня?

— Ты «дурак» слово сказал.

— Ну да, сказал! Так что же из того?

— Знаем мы, кто у нас дурак!

Умственное убожество царя Федора невольно наводило мысль на такое же умственное убожество императора Николая II. И когда со сцены звучали слова царя Федора:

Видно, богу
Угодно было, чтоб немудрый царь
Сел на Руси,—

по губам всех зрителей проносилась улыбка. Рассказывали, что Вл. Ив. Ковалевский, директор департамента торговли и мануфактур, сказал:

— Да, все совсем так! Только где же у нас теперь хоть Борис Годунов!

Пьеса выдвинула в суворинском театре великолепного молодого актера — П. Н. Орленева, игравшего царя Федора. В это же время пьеса была поставлена и в Москве, в молодом Художественном театре, и выдвинула в той же роли не менее великолепного актера — И. М. Москвина. Особенность игры очень талантливого актера,— что он заставляет зрителя принять образ именно в его трактовке и враждебно относиться к трактовке другой. Так было и с ролью царя Федора. Петербуржцы, видевшие в этой роли Орленева, совершенно не принимали Москвина, москвичи не принимали Орленева. Может быть, потому же, что и я тогда был петербуржцем, мне Орленев казался в этой роли несравненно выше Москвина. У Москвина на первый план выдвигалось мяклое благодушие и глупость Федора, у Орленева — его тонкое душевное благородство, освещавшее изнутри все существо Федора. От этого еще ужаснее и трагичнее представлялось его полное бессилие перед творящимся.

В это же время выдвинулся в суворинском театре и другой великолепный актер — Казимир Викентьевич Бравич. В «Царе Федоре» он исполнял роль благородного боярина Ивана Петровича Шуйского. После него уже ни один исполнитель этой роли меня не удовлетворял. Великолепен он был в инсценировке «Преступления и наказания». Он — Свидригайлов, Орленев — Раскольников. Но больше все-

го покорил он меня в трагедии того же Ал. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» в маленькой роли польского посла Гарабурды.

В Престольной палате назначен прием Грозным польского посла. Иоанн упоен победами русских войск над королем польским Стефаном Баторием и не знает еще, что Баторий явился к границе с новым войском, разбил русских, что Нарову взяли шведы. А польский посол рано утром уже получил эти сведения от Баториева гонца.

Грозный входит, садится на престол и приказывает:

Впустить посла! Но почестей ему
Не надо никаких. Я баловать
Уже Батура боле не намерен.

Вдали быстрый звон шпор, в палату легкой походкой стремительно входит Гарабурда в изящном польском костюме и с низким поклоном останавливается перед Иоанном.

К изумлению Грозного, Гарабурда предъявляет царю ряд требований, уместных в устах только полного победителя:

Коли же милости твоей, пан-царь,
Условия такие не смакуют,
Король Степан велит тебе сказать:
«Чем даром лить нам кровь народов наших,
Воссядем на коней и друг со другом
Смертельный бой на саблях учиним,
Как рыцарям прилично благородным!»
И с тем король тебе перчатку шлет.

И посол бросает к ногам Грозного железную перчатку. Грозный от удивления и негодования на минуту немеет. Наконец:

Из вас обоих кто сошел с ума?
Ты иль король? К чему перчатка эта?
Помазанника божья смеешь ты
На поле звать? Я поле дам тебе!
Зашитого тебя в медвежью шкуру
Велю я в поле псами затравить!

Гарабурда в изумлении смотрит на Грозного, медленно поводит головою и уверенно произносит:

Ни! Этого, пан-царь, не можно!

Царь в ярости восклицает:

Что?
Да он не шутит ли со мной? Бояре,
Ужель забавным я кажусь?

И с тою же несокрушимою уверенностью в полной неприкосновенности посланца, высоко подняв голову, Гарабурда повторяет:

Ни, ни,
Посла никак зашить не можно в шкуру!

Бравич был тут поистине великолепен.

Потом он играл в театре Комиссаржевской и Мейерхольда. Там я его не видал. В десятых годах поступил в Московский Малый театр. В Москве я с ним познакомился. Репертуар Малого театра его глубоко не удовлетворял. Я его как-то спросил, какие у них в театре намечаются новые пьесы. Он махнул рукою и с тоскою ответил:

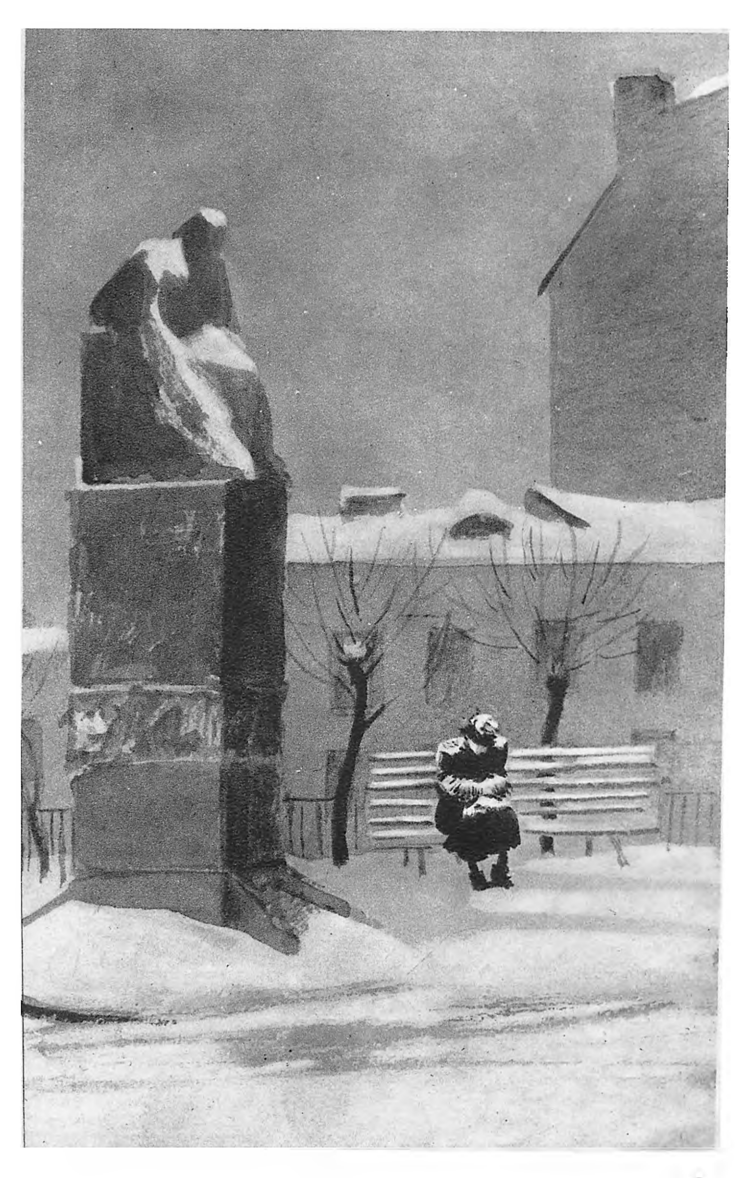
— Опять какая-нибудь пьеса Тимковского или Рышкова!

Потом Бравич был приглашен в Художественный театр. Но тут он умер.

7

Весною 1901 года молодой Художественный театр в первый раз приехал в Петербург показать себя. Слава предшествовала ему. И он сразу завоевал петербуржцев.

Первый спектакль, который я видел, был «Доктор Штокман» с Станиславским в заглавной роли. Это была одна из тех радостей, за которые на все дни остаешься благодарен жизни. И до сих пор я никак не могу соединить в своем представлении образ Станиславского с созданным им образом доктора Штокмана. Станиславский — гигант, с медленными движениями, с медлительной речью. А на сцене был маленький (да, да, маленький, я это ясно видел!), маленький, суетливый, сгорбленный старичок с быстрой походкой, с странной манерой держать опущенною вниз правую руку с вытянутыми двумя пальцами. Это был человек, существовавший совершенно отдельно от Станиславского. Юродивая улыбка про себя, очки на очень близоруких глазах,— о, он ничего не видит кругом, видит только реющую перед его глазами правду! Умница и в то же время ребенок, наивный чудак, постоянно вызывающий улыбку. На народном собрании он говорит боевую свою речь,— и вдруг такая вставка:



«ВСЮ ЖИЗНЬ ОТДАЛА».



«ГОЛУБАЯ КОМНАТА».

— В домах, где не подметают ежедневно полов,— Катерина, моя жена, уверяет даже, что их нужно ежедневно мыть, но это уже вещь спорная,— в таких домах люди в два-три года теряют способность нравственно мыслить и действовать!

Доктор Штокман сделал открытие, что минеральные воды, которые составляют богатство города, загрязнены бактериями и что все предприятие нуждается в коренной перестройке. Но это грозит совершенно подорвать интересы акционеров и всего города вообще. Доктор Штокман собирается опубликовать свое открытие. Этим решением он объявляет прямую войну «сплоченному большинству» городских собственников и акционеров. Жена его в ужасе, она указывает ему на мальчиков-сыновей:

— Что будет с ними? Что ты хочешь сделать?

И он коротко, решительно отрубает:

— Я хочу сохранить за собой право смотреть моим мальчикам прямо в глаза!..

Время в Петербурге было горячее. 4 марта 1901 года произошла знаменитая демонстрация на площади Казанского собора. Когда демонстрирующие студенты собрались, то спрятанная в соседних домах конная полиция выскочила на площадь, окружила толпу и стала топтать ее лошадьми и избивать нагайками. Отвратительная бойня эта вызвала всеобщее возмущение. Воздух был насыщен революционным электричеством, все кипело и бурлило. Даже газета «Новое время», выступившая, как всегда, на защиту властей и наговорившая кучу гнусностей по адресу избитых во время демонстрации,— даже «Новое время», в первый, кажется, раз за все многолетнее свое существование, почувствовало силу общественного осуждения и несколько растерялось.

Ничего, казалось бы, злободневного нельзя было найти в «Докторе Штокмане». Однако то и дело в пьесе неожиданно выплывали словечки и положения, как будто прямо намекавшие на современность. И публика бешеными рукоплесканиями и смехом подчеркивала эти места. Спектакль превратился в сплошную демонстрацию.

В пятом действии доктор Штокман, помятый «сплоченным большинством» за его речь на народном собрании, сокрушенно рассматривает дыру на своих новых брюках и сентенциозно замечает:

— Когда идешь защищать дело справедливости и свободы, никогда не следует надевать нового платья!

Хохот и рукоплескания: яркий намек на полицейские нагайки, от которых пострадало далеко не одно только платье бывших на Казанской площади.

В том же пятом действии к доктору Штокману являются редактор местной газеты Гауштад и издатель ее Аслаксен — продажные души, всегда готовые держать нос по ветру. Они предлагают доктору Штокману вступить с ними в гнуснейшую сделку. Он в негодовании бросается на них с зонтиком и выгоняет вон.

Рукоплескания, смех и неожиданные крики:

— Суворин! Суворин!

Суворин, издатель «Нового времени», был в театре, и публика это знала. Сначала он не понял, удивленно в своей ложе поднял голову — и вдруг страшно побледнел. Публика продолжала иронически рукоплескать и кричать:

— Суворин! Суворин!

Он поспешил исчезнуть из театра.

8

4 марта 1901 года произошла знаменитая демонстрация на Казанской площади в Петербурге,— я об ней только что упоминал. Когда демонстрирующие студенты собрались, спрятанная в соседних дворах конная полиция выскочила на площадь, окружила демонстрантов и, не предлагая им разойтись,— что по закону обязана была сделать,— бросилась на толпу, начала топтать ее лошадьми и избивать нагайками. Отвратительная бойня эта вызвала всеобщее возмущение. Мы, петербургские писатели, подали министру юстиции как генеральному прокурору заявление; в нем мы как очевидцы доводили до его сведения о разбойном нападении полиции на безоружную толпу, об избиении ее без предупреждения и без предложения разойтись и выражали твердую уверенность, что министр юстиции как блюститель законности, конечно, не преминет привлечь к строжайшей судебной ответственности виновника описанного преступления, петербургского градоначальника Клейгельса. Не нужно, вероятно, прибавлять, что сделали мы это в агитационных целях, а никак не в надежде убедить министра юстиции вмешаться в дело.

Недели через две я, в числе других, получил приглашение явиться такого-то числа в таком-то часу к директору департамента полиции. Приглашение было составлено весьма вежливо,— чуть ли, помнится, не было написано: «Директор департамента полиции имеет честь просить вас...»

Пришел. Вице-директор департамента Зволянский принял меня в своем кабинете чрезвычайно вежливо и сказал с некоторым как бы недоумением в голосе:

— На имя господина министра юстиции подана одна весьма странная бумага, и под нею, между прочим, находится и ваша подпись. Подписывали вы действительно эту бумагу?

— Позвольте посмотреть бумагу... Да, подписывал, это моя подпись.

— В таком случае, пожалуйста, будьте добры написать вот здесь, что подпись действительно принадлежит вам... Очень вам благодарен! До свидания!

Я в то время служил ассистентом в Барачной больнице в память Боткина и жил в самой больнице. Однажды утром, когда я шел в свои бараки на обход, меня догоняет наш швейцар и просит немедленно зайти к главному врачу. Главный врач С. В. Посадский встретил меня весьма смущенно.

— Викентий Викентьевич, насчет вас получена из больничной комиссии бумага... Прочтите ее.

В бумаге сообщалось, что с.-петербургский градоначальник, ссылаясь на предложение министерства внутренних дел, предлагает Городской управе ныне же сделать распоряжение об удалении исполняющего должность младшего врача Барачной больницы лекаря В. В. Смидовича от занимаемой им должности, во исполнение чего... и т. д.

— В чем дело? Чем это вызвано? — спрашивал главный врач.

Я рассказал.

— Жаль, что вы мне заблаговременно всего не сообщили,— может быть, можно бы было предотвратить... Во всяком случае, очень мне жаль, но приходится вас просить в бараки сегодня уж не ходить: ваших больных посмотрит дежурный врач.

Врачи нашей больницы были типичные столичные врачи. Читали «Новое время», всякой политики чуждались, очень

интересовались частной практикой и в сборной рассказывали пикантные анекдоты, поглядывая на дверь, не идет ли женщина-врач. Однако увольнение мое вызвало всеобщее сочувствие ко мне. Врачи возмущались, расспрашивали, чем вызвана кара. Однажды один из товарищей радостно подходит ко мне и сообщает:

— Ну, Викентий Викентьевич, я ваше дело устроил! У меня есть один пациент генерал-адъютант. Он согласился, когда будет дежурным при государе, передать ему ваше письмо,— напишите, что вы подписали бумагу не читавши, что если бы знали ее содержание...

— Извините, Борис Александрович,— подписал прочитавши...

Через несколько дней женщина-врач, заведовавшая женской амбулаторией нашей больницы, предложила мне устроить свидание с одним из товарищей министра внутренних дел, тоже ее пациентом. Я только должен был сказать ему, что весьма раскаиваюсь и сожалею...

Так все это было наивно, и так велика была у них охота помочь мне, что даже невозможно было оскорбляться, а было только смешно.

16 апреля, под 1 мая нового стиля, у меня был обыск, но ничего не нашли. Обыск произвел в больнице большую сенсацию,— ничего еще подобного в ней никогда не бывало. Вскоре я собрался уезжать из Петербурга. Мне передали просьбу врачей зайти к 12 часам в сборную.

Зашел. Все врачи были в сборе. Старший ординатор сказал речь, где все было как полагается,— что я был прекрасным товарищем, что все они глубоко скорбят, что... В заключение он от лица всех товарищей просил меня принять от них на память вот эту вещичку...

И передал мне раскрытый футляр, в котором сверкал на золоте яркий рубин. Я ответил в соответствующем тоне.

Дома рассмотрел подарок. Изящный брелок — золотая дощечка в виде визитной карточки с загнутым краем, и в углу ее — рубин. На оборотной стороне вырезано:

«Дорогому товарищу от врачей Барачной в память Боткина больницы».

Какому товарищу, кто он такой,— об этом брелок с благоразумною осторожностью умалчивал...

Я никогда его не надевал.

9

Смидович, Петр Гермогенович. Умер он в 1935 году членом президиума ВЦИКа.

В начале девяностых годов он был студентом Московского университета. Сильно нуждался. Писал для заработка компиляции в одном охотничьем журнале, редактором-издателем которого был князь Урусов. Предстояло получить несколько десятков рублей гонорара. Несчетное количество раз приходил Петр к Урусову. Тот в первый раз сказал, чтоб пришел через три дня, тогда он ему заплатит. После этого каждый раз, когда Петр приходил, ему отвечали, что князя нет дома. Однажды Петру неожиданно удалось застать князя. Князь нетерпеливо отмахнулся и опять предложил ему прийти через несколько дней. Петр ответил, что не уйдет, пока ему не заплатят. Поговорили крупно. Князь велел лакеям взять Петра и вывести вон.

На следующий день Петр отправился к инспектору студентов спросить совета, что ему делать. Ждет в приемной. Вдруг видит, от инспектора выходит князь Урусов,— очевидно, приезжал на него же жаловаться! Петр тут же в приемной дал князю пощечину.

За участие в революционном движении Петр был исключен из университета.

Он уехал за границу. В Париже окончил курс Высшей электротехнической школы, стал инженером. Перебрался в Бельгию и в Льеже поступил на завод простым рабочим. Здесь он связался с бельгийской социалистической партией.

В конце девяностых годов он приехал в Петербург с паспортом бельгийского рабочего, вступил в петербургскую социал-демократическую организацию и энергично взялся за революционную работу.

Положение его было исключительно выгодное: как электромонтера его охотно принимали на любой завод или фабрику. Легко и просто удавалось налаживать связи с рабочими. Беда была только вот в чем: естественно, что высококвалифицированный инженер в роли простого монтера очень быстро обращал на себя внимание администрации, ему увеличивали жалование, предлагали место «шеф-монтера». Отказаться от повышения значило навлечь на себя подозрение, принять — значило перейти с положения рабочего на положение инженера, что вовсе не входи-

ло в его планы. Петр бросал место, посмеиваясь, прятал в карман восторженный «сертификат»[1] об его знаниях и добросовестности и снова поступал простым монтером на другой завод, подальше от прежнего.

В конце концов Петр был арестован. На допросах он держался такой тактики:

— Да, занимался социалистической пропагандой! Что же из того? У нас в Бельгии это совершенно легальная деятельность. Я не понимаю, за что вы меня держите в тюрьме!

И твердо стоял на этой позиции.

Нервы с детства у него были не в порядке. В тюрьме он нарочно не спал ночей, много курил. И вот из камеры, где он сидел, стали раздаваться безумные крики, удары кулаками в дверь, грохот падающей мебели. Это, конечно, очень нервировало его товарищей по заключению. Сосед по камере перестукивался с Петром на французском языке. Спросил его, что с ним. Петр простучал в ответ:

— Когда актриса играет Офелию, это вовсе не значит, что она сумасшедшая.

В камеру к Петру явился прокурор. Петр с воплем накинулся на него, кричал, что они держат в тюрьме ни в чем не повинного человека, схватил прокурора за шиворот и выбросил из камеры. Начальство смутилось: все-таки —иностранец. Дойдет до Европы... Посадили Петра в вагон, довезли с жандармами до границы и отпустили на волю.

Через полгода Петр опять был в Петербурге и снова взялся за работу. Но теперь это был не бельгийский подданный Дюваль, а бельгийский подданный Желье.

10

ДВА ПОБЕГА

Звали ее Димка. Она не раз уже сиживала в тюрьме, была в ссылке. Из ссылки бежала за границу. В 1902 году нелегально приехала в Россию по делам «Искры» с поручением объехать юг и наладить связи.

В Кременчуге ее арестовали и отправили в Киев.

Приехали поздно вечером. Тотчас же, прямо с вокзала, ее повезли на допрос в жандармское управление. Начальником управления был генерал Новицкий, очень в свое

[1] Письменное свидетельство (*от франц.* certificat).

время известный охранник. Он сам стал допрашивать Димку. Паспорт у нее был подложный, на имя восемнадцатилетней немки, а Димке было уже тридцать два года. Отпираться было нелепо, она прямо заявила, что паспорт подложный, что настоящая фамилия ее такая-то.

Новицкий очень обрадовался, думал,— она и дальше станет на все отвечать. Но Димка заявила:

— А больше ни на какие вопросы отвечать не буду!

И замолчала, как утонула. Новицкий подходил и так и сяк, но ничего не смог добиться и велел отвезти ее в тюрьму.

Тюрьма называлась Лукьяновская, стояла за городом. Порядки, к изумлению Димки, оказались в ней самые свободные,— нигде она еще не видела такой тюрьмы. Двери камер не запирались, политические заключенные ходили друг к другу в гости. Прогулки были общие.

Из разговоров товарищей по заключению Димка узнала, что группа заключенных подготовляет для себя побег из тюрьмы. Димка заявила, что хочет к ним присоединиться. Но те ей отказали: корпус, в котором сидела Димка, был на другом конце тюрьмы, и участие Димки сильно бы затруднило побег.

Бежали без нее. Побег удался блестяще. Перед этим заключенные усиленно занимались на прогулках будто бы гимнастикой: упражнялись в лазании, взбирались друг другу на плечи, устраивали живые пирамиды. С воли удалось получить якорь с длинной веревкой и веревочную лестницу. Подпоили одного часового, связали другого, среди бела дня перебрались через высоченнейшую стену и убежали. Было их тринадцать—четырнадцать человек.

Легко себе представить, какие после этого пошли в тюрьме строгости. Все вольности были отменены, надзор стал самый жестокий и придирчивый. И все-таки Димка решила бежать, хоть одна. Инициатива у нее была огромная, энергией она вечно так и кипела. Самое для нее трудное и самое невыполнимое было сидеть сложа руки. Это ее свойство было известно всем товарищам. Лет пять назад, когда она сидела в петербургской предварилке, она просто изводила всех нас непрерывными проектами и поручениями, совершенно нелепыми и неисполнимыми, но в них она изливала закупоренную заключением неистощимую свою предприимчивость. Так было и теперь. Вырваться на волю во что бы то ни стало! Желание овладело

ею неудержимое, болезненно-страстное. Как сокол или ласточка, она просто органически не выносила неволи. Каждую ночь ей снился все один и тот же сон: солнце, шумящие улицы, быстро снующие кругом люди, она свободно идет, куда хочет. Проснется — и со страхом медленно приоткроет глаза: сон это был или нет? Перед глазами — грязный сводчатый потолок, решетка на пыльном окне...

Один за другим она измышляла самые хитроумные планы бегства и с большими трудностями передавала их на волю товарищам. Предложила, например, так. С нижней площадки лестницы в жандармском управлении одна лестница ведет на двор, — так выводили заключенных, а другая — к парадному ходу, на улицу. Пусть на улице ее поджидает товарищ, переодетый извозчиком. Она с нижней площадки быстро выбежит на улицу, вскочит на извозчика, и он ее умчит. Товарищи на воле отвергли проект.

Димка тотчас же предложила другой проект, третий. При данных обстоятельствах само намерение ее по существу было чистейшим безумием: какой был возможен побег при начавшейся слежке и самых придирчивых строгостях? Во главе киевской организации в то время стоял Степан Иванович, хорошо знавший Димку еще по Петербургу. Он велел ей сказать: «Умела гулять на воле, умей и в тюрьме посидеть». И решительно попросил не пересылать больше никаких проектов.

Тогда Димка решила бежать сама, собственными силами, без посторонней помощи.

И начала систематически готовиться. Прежде всего нужно было сделать разведку местности, — бежать она собиралась из жандармского управления. До тех пор на допросах она молчала. Теперь вдруг заявила, что хочет дать показания. Ее повезли в карете в жандармское управление. Оно находилось на дворе Старокиевского полицейского участка. Дала кой-какие незначительные показания, а для себя выяснила обстановку и окончательно наметила план действий.

Самое важное и существенное в ее плане было научиться моментально менять свой внешний вид. Нескольких товарок по заключению она посвятила в свой план. Достали с воли нужные материалы. Больше месяца Димка усердно упражнялась в своей камере все время, когда не видела надзирательница. Наконец достигла значительной ловкости. Решила приступить к выполнению плана.

В этих целях было важно, чтобы тюремная карета, когда привезет ее в жандармское управление, не осталась стоять на дворе полицейского участка. Это могло быть в том случае, если к допросу назначалось несколько человек: в карете возили обязательно по одному только человеку; значит, если нужно было доставить нескольких, карета доставляла одного и сейчас же уезжала за другим. Если же всего был один, карета оставалась ждать его на дворе

Вот раз Димку вдруг вызывают к допросу. Это было в понедельник, тринадцатого числа,— какого месяца, она точно не помнит. Димка спросила надзирателя:

— Одна я назначена на допрос или еще и другие?

— Вы одни.

Она решительно заявила:

— Не поеду. У меня голова болит. Да и башмаков нету, отдала в починку, не в чем ехать.

Надзиратель пошел доложить начальству об ее отказе.

Одна из товарищей по заключению, знавшая о намерениях Димки, опасливо сказала:

— И правда, лучше не ездите сегодня: понедельник, тринадцатое число... Отложите на другой раз.

Димка так и взвилась.

— Почему непременно для меня это будет неблагоприятно? А может быть, как раз для них? И будут говорить: вот, недаром тогда был понедельник и тринадцатое число... Еду!

И стала готовиться. Надела темно-синюю юбку. К волосам приколола изящную фетровую шляпку.

Надзиратель воротился и передал Димке решительный приказ начальства ехать, не то... Димка насмешливо ответила:

— Хорошо, поеду. У меня голова прошла.

Ее охватило лихо-задорное настроение, ничего впереди не пугало, пусть хоть весь мир пойдет на нее, пусть никто ей не помогает! А в душе в то же время было ледяное спокойствие.

Когда садилась в карету, сказала надзирателю:

— Прощайте! Больше к вам не ворочусь.

Он с сомнением покачал головой.

— Навряд ли отпустят.

— Отпустят, не отпустят, а к вам не вернусь, вот увидите!

На допросе она глумилась и издевалась над жандар-

мами. Генерал Новицкий пил воду стаканами, несколько раз в бешенстве выбегал из комнаты. Наконец приказал:

— Уберите ее!

Два жандарма вывели Димку. Она быстро стала спускаться по лестнице. Жандармы еле за нею поспевали. Направо от лестничной площадки была комната, где держали привезенных из тюрьмы до и после допроса. Димка мимо дверей побежала вниз. Жандарм ей крикнул:

— Эй, барышня! Направо, в комнату!

Она властно ответила:

— Незачем! Вон она, карета, стоит. Можно прямо ехать.

На дворе у подъезда ждала тюремная карета. О радость! Возле никого не было,— ни кучера, ни третьего жандарма: мела метель, морозный ветер гонял по двору колючий снег,— видимо, ушли куда-нибудь греться.

Один из жандармов пошел их искать, другой остался стеречь Димку.

Она сказала, что ей нужно в уборную, и пошла к деревянной будочке женской уборной в глубине двора. Жандарм пошел за нею следом и остановился у двери. Она вошла в уборную.

И как только дверь за Димкой захлопнулась, она сейчас же опять раскрылась, и из уборной выбежала кокетливая девушка в голубом платочке, в серой юбке. Семеня ногами, она неспешной походкой направилась к воротам. Жандарм потом рассказывал: «Я думал, это горничная полицмейстера».

Стоял он, стоял, ждал, ждал. Димка все не выходит. Он забеспокоился, приоткрыл дверь, заглянул — никого. Вошел в уборную. На полу синяя юбка, фетровая дамская шляпка. И никого нет. Остолбенел, потом бросился к дыре, туда заглянул. Нет нигде. Поднял с полу юбку и шляпу, вышел наружу. Растерянно ходит по двору, на руках юбка с шляпкой, и твердит:

— Куда же это наша барышня подевалась?

Когда Новицкому доложили о побеге, он в ярости выбежал на двор в одном мундире, велел всех жандармов, всю полицию сию же минуту двинуть на розыски Димки.

Димка выбежала в новом своем виде из уборной, семенящей походкой направилась к воротам. Там была еще одна очень большая опасность. У ворот — Димка знала,— стоит часовой, и выйти можно только с пропуском. Но оче-

видное дело: понедельник и тринадцатое число были сегодня для *них*. Часовой от метели и ветра спрятался в будку и не заметил Димки.

Димка взяла извозчика и поехала на Крещатик. В душе было холодное, дерзкое, владеющее собою спокойствие. Ветер мел по мерзлым улицам сухой снег. Женщины шли, кутаясь в платки, торчали только носы. Вот хорошо! Нужно сейчас же купить такой платок. Закутаться, и тогда иди спокойно. И вдруг ее охватило глубокое волнение. На Крещатике она отпустила извозчика, вбежала в магазин.

— Дайте мне платок.

Приказчик взглянул с изумлением.

— Какой платок?

— Байковый, побольше размером.

Оглянулась,— кругом окорока, колбасы, консервы.

Вышла, села в первую попавшуюся конку. По улице скакали городовые и жандармы, внимательно вглядывались в проходящих.

Конка привезла ее на Подол. Димка зашла в еврейскую лавочку, купила байковый платок. Закуталась, вышла. Кругом люди разговаривают, смеются, бранятся, торгуются. Каждый идет, куда хочет. И она может идти, куда хочет. И вдруг все вокруг стало какое-то странное, невсегдашнее. А вслед за этим душу ошеломила неожиданная мысль: «Может быть, как все это время, опять — сон? Откроет глаза, и будет опять перед нею запыленное окно с решеткой, каменный сводчатый потолок?» Ужас шевелился в душе и ликующий смех.

Однако куда же теперь? У нее был только один-единственный адрес — Афанасьевых. Милая семья из матери и двух дочерей. Одна дочь сидела в тюрьме, а мать и другая дочь делали передачи в тюрьму, переправляли с воли и на волю письма. Кого выпускали из тюрьмы, если ему некуда было деться, направлялся к ним. Место было очень опасное: конечно, полиция прежде всего должна была броситься к Афанасьевым. Но выбора не было.

Пошла. Понедельник и тринадцатое число продолжали работать на Димку: полиция к Афанасьевым не заглянула. Димка попросила поскорее поехать, сообщить товарищам об ее побеге. Сказала, что будет ждать в Софийском соборе.

Пришла в собор. Софийский собор открыт для посетителей целый день. Димка ходила, смотрела, садилась от-

дохнуть, опять ходила. Никто не являлся. Она с утра не ела. От голода и пережитого волнения начала кружиться голова. Упадет в обморок, обратит на себя внимание... Всю силу воли направила на то, чтоб не упасть.

Стемнело. Началась всенощная. Димка стояла перед образом, крестилась. Видит, молодая худолицая женщина ходит от образа к образу, поставит свечку, перекрестится, идет дальше. Лицо как будто знакомое. Подошла к образу, где стояла Димка. Тонкое чернобровое лицо, румянец на смуглых щеках,— Вера Саломон. Переглянулись. Вера поставила перед образом свечку, стала рядом с Димкой, начала усердно креститься и отвешивать поклоны. И шепнула:

— Когда пойду, идите за мной следом.

Вышли из собора. Их ждал извозчик. Поехали на квартиру к профессору Тихвинскому. Туда уже раньше пришел Степан Иванович. Он жарко расцеловал Димку и изумленно сказал:

— Ну и чертова же кукла!

В тюрьме бегство Димки вызвало всеобщий восторг. Не меньше заключенных торжествовало и тюремное начальство: ему сильно нагорело за недавний побег политических из тюрьмы. А теперь сами там упустили политическую, да еще как позорно!

Димку недели через две-три переправили за границу. Упустивший ее жандарм был отдан под суд и присужден к нескольким годам дисциплинарного батальона. Там его распропагандировали, и он сделался революционером. Через выпущенного товарища он переслал Димке письмо и благодарил, что через нее стал человеком. Для Димки это была большая радость: ее очень мучило, что солдат пострадал из-за нее.

И еще был у нее один побег, тоже в Киеве. Это случилось уже в 1904 или 1905 году.

Шла конференция районных организаций,— конечно, подпольная. Собирались у одного сочувствующего. Он имел отдельную квартиру. Большая комната в нижнем этаже, натискалось человек пятьдесят. Доклады, споры, табачный дым. Интеллигенты, рабочие.

Вдруг двери настежь, жандармский офицер, за ним го-

родовые; под окнами тоже полиция. Потребовали паспорта, стали всех переписывать. Записанные должны были переходить в соседнюю комнату той же квартиры. Народу было много, запись тянулась медленно.

Записали Димку (паспорт ее опять был подложный). Вошла она в соседнюю комнату. Была поздняя ночь. На середину комнаты вышел один из товарищей, потягивается:

— А-а-ах-ха! Пока что,— великолепно выспался!

Димка изумилась:

— Зачем же вы встали?

В темном углу комнаты стояли рядом две кровати. На одной спал закутанный в одеяло мальчик лет семи, на другой дремала одна из арестованных. Полежала, встала, отошла. Димка поспешно легла на постель, укрылась одеялом, лицом кверху. Решила не двигаться и не отзываться на зов жандармов. Даже и риска-то не было никакого: «Заснула, не слыхала».

Вошел в комнату полицейский пристав, громко скомандовал:

— Собирайся!

Одна из арестованных увидела Димку на кровати, подошла, стала будить:

— Вставайте, нужно идти!

Димка свирепо заморгала ей глазами. Отошла. Но подошла другая,— ведь вот дуры! Опять:

— Вставайте, все уж в сборе!

Димка прошипела:

— Ступайте к черту!

Комната опустела. Вошел жандарм, осмотрел все углы. Димка лежала, закутавшись в одеяло, лицом кверху, с закрытыми глазами, и тихонько похрапывала. Жандарм заглянул под ее кровать, для верности пошарил даже шашкой и ушел. Арестованных увели. Утихло. Но все ли ушли жандармы и полицейские? Вошел в комнату хозяин. Его почему-то арестовали только на следующий день. Увидел Димку, удивился. Она вопросительно указала на дверь. Он подошел, шепнул:

— Остался один. Сидит, приводит в порядок бумаги.

Очень долго сидел. Димка начинала волноваться: в тюрьме должно выясниться ее отсутствие, хватятся, станут искать, воротятся. Уже хотела лезть в окно. Но вошел хозяин, объявил:

— Убрался!

И черным ходом вывел ее через задний двор на волю.

Потом Димка узнала: когда все вышли из квартиры, им сделали на дворе перекличку. За Димку откликнулась другая. За воротами тюрьмы вторую сделали перекличку. За Димку опять откликнулась товарищ. Выяснилось ее отсутствие только тогда, когда арестованных стали разводить по камерам.

Их всех освободила только революция осенью 1905 года. А Димка в это время сама делала революцию в Севастополе.

11

Берлин, 31 марта 1902 г.

Вчера был с двумя знакомыми у доктора Генриха Брауна, издателя немецкого «Архива социального законодательства и статистики». Доктор Браун — с темной бородой и умными, насмешливыми глазами. Его жена Лилли Браун, известная деятельница по женскому вопросу,— стройная, изящная красавица. Показывали гравюры их приятельницы, художницы Кэте Кольвиц. «Крестьянская война»,— исступленная толпа с косами, топорами, вилами мчится вихрем, сзади горят здания, над толпою парит нагая женщина с факелом. Танец пьяных от крови женщин вокруг гильотины...

Брауны рассказывали о художнице. Интересная двойственность. Родом из Кенигсберга, «города чистого разума и категорического императива», по натуре и образу жизни — человек самый трезвый и смирный. В искусстве же — страстная поклонница хмеля всякого рода, до алкогольного хмеля включительно. Возмущается трезвенниками, хотящими лишить человечество такой радости, как алкогольное опьянение. Будучи в Париже, больше всего интересовалась балом художников, где они и натурщицы должны были танцевать голые. Попасть не удалось. Мечтает специально поехать в Париж, чтоб увидеть такой бал. Завтра пойдем к ней.

1 апреля.

Сегодня были у Кэте Кольвиц. Она — жена врача больничной кассы. Уютная, большая квартира, просторная мастерская. Сама художница — просто одетая, с седыми во-

лосами и внимательными, хорошими глазами, с удивительно молодым цветом лица,— сразу видно, что никаким «хмелем» не потрепана.

Думал об этой удивительной «двупланности» художника, так мало кем-нибудь отмеченной.

12

Прасковья Семеновна Ивановская. Член исполнительного комитета Народной Воли в самый героический период его работы. Принимала деятельное участие в подготовке первомартовского покушения, была близка с «техниками» взрыва — Кибальчичем и Грачевским. В 1882 году судилась в «процессе семнадцати» вместе с Юрием Богдановичем, Яковом Стефановичем, Грачевским и др. Была присуждена к смертной казни, которую заменили каторжными работами. Отбывала наказание в Забайкалье, на Каре, где при ней в 1888 году разыгралась знаменитая карийская трагедия с массовым самоотравлением заключенных.

Была человеком несгибающейся воли, беспощадно требовательной к другим, а особенно к себе. По отбытии каторги жила на поселении. Там вышла замуж за ссыльнопоселенца Волошенко. Была у них прелестная дочка Надюша, ей уж минуло семь лет. В России у Прасковьи Семеновны была сестра Авдотья Семеновна Короленко, жена знаменитого писателя Владимира Галактионовича. Вдруг Авдотья Семеновна получила из Сибири от близких ее сестры телеграмму, что случилось большое несчастье и чтобы она немедленно приехала. Моментально собралась, поехала. Оказалось: были у Прасковьи Семеновны гости, она с мужем пошла их провожать. Дочка их Надя облокотилась на стол, на котором стоял кипящий самовар, самовар опрокинулся на нее. Через несколько дней умерла в страшных мучениях.

Прасковья Семеновна дни и ночи сидела неподвижно, с окаменевшим лицом, не спала, не ела. И невозможно было ее разговорить. Не удалось это и Авдотье Семеновне. Раз Прасковья Семеновна вдруг сказала ей:

— Дуня, я больше не могу. Я покончу с собой.

Авдотья Семеновна подумала и сказала:

— Пашенька, потерпи еще, может быть, отойдешь. А не осилишь себя,— ну, что ж! Бог с тобой, кончай!

Там же, на поселении, жил старый народоволец доктор Фейт. Авдотья Семеновна пошла к нему и все рассказала. Он ей сказал:

— Пришлите вашу сестру ко мне.

Прасковья Семеновна пришла. Доктор встретил ее сурово.

— Вы сейчас ничем не заняты. А мы в нашей больнице погибаем от недостатка обслуживающего персонала. Больных масса, уход отвратительный... Придите, пожалуйста, помогите нам!

И запряг ее в рàботу. Она дежурила при тяжелых больных, делала уколы, ставила клизмы. Заставлял он ее делать и самую тяжелую работу — носить дрова и воду, мыть полы. Навалил столько работы, что домой она приходила, валилась в постель и засыпала как убитая.

Когда через несколько месяцев доктор Фейт отпустил Прасковью Семеновну, душевная рана ее зарубцевалась, и она ожила.

В начале девятисотых годов, воротившись в Россию, она принимала деятельное участие в организации убийства Плеве.

13

Баронесса Доротея Эртман превосходно исполняла фортепианные вещи Бетховена. Бетховен сердечно любил ее. У нее умер единственный сын. Она без слез сидела неподвижно и безмолвно, устремив глаза в одну точку, ничего не слыша. Напрасно окружающие старались вывести ее из этого состояния. Боялись, что она сойдет с ума.

Бетховен сначала никак не мог решиться пойти к ней. Однако через несколько дней, по ее приглашению, пошел. Попытался высказать ей свое сочувствие в ее горе. Но не мог ничего сказать, все слова казались банальными и замирали на губах. Тогда он тихо подошел к фортепиано, сел и стал импровизировать тихое adagio. Игра его продолжалась около часа. Когда он кончил, все лицо его было смочено слезами. Он встал, молча поцеловал Доротею и ушел. Из ее глаз лились потоки слез. Холодное отчаяние сменилось тихою печалью.

— Он высказал мне все,— говорила она,— и в конце концов дал мне утешенье.

VI

1

Тот сильно оскорбляет человека, кто говорит, что он руководится легкостью. Трудность, самоотвержение, мученичество, смерть — вот приманки, действующие на человеческое сердце.

Т. Карлейль.
«Герои и героическое в истории».

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы...
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья..,

Это какая-то изначальная, первобытная стихия в душе человеческой. Во время японской войны в команде нашего полевого подвижного госпиталя был один старший унтер-офицер, по фамилии Хитров,— длинноносый, с узким лицом. Очень неприятный человек и нечистый на руку. Во время ночевок наших в китайских деревнях он тащил все, что мог разыскать. Встретится на улице с китайцем; радушно улыбаясь, протягивает руку,— китаец с вежливой улыбкой протягивает свою, а Хитров вильнет рукою и схватит китайца за нос. И хохочет хулиганским смехом.

Перед мукденским боем мы долго стояли в одной китайской деревне. Целый ряд фанз оборудовали под госпитальные палаты. Отдельная фанза была отведена под операционную; стены ее и потолок были обиты новенькими золотистыми циновками, сложена из кирпичей хорошо греющая печь. И вот однажды вечером от слишком сильно натопленной печки операционная загорелась. Когда мы сбежались, вся ее внутренность пылала и была освещена, как бальный зал. К нашему офицеру-смотрителю подошел Хитров и, держа руку у козырька, сказал:

— Ваше благородие! Там, в операционной, ящик остался с инструментами, вон он, у печки. Дозвольте, я его вытащу.

Мы все ахнули. Это было почти то же самое, что бро-

ситься в пылающую печку. Смотритель грозно ответил:

— Только посмей у меня! Прямо под суд отдам!

Хитров отошел. Но когда смотритель отвернулся, Хитров подбежал к пылавшей фанзе, перекрестился и бросился внутрь. Все замерли. В трепетавшем ярком свете черная фигура подбежала к ящику, схватила его и, шатаясь, побежала назад. Хитров выбежал с обгоревшими волосами, с затлевшейся шинелью и бросил ящик на землю. В это же время тяжелый кулак смотрителя обрушился на шею Хитрова, и он кубарем покатился под колеса водовозной бочки. Вот единственная награда, какую он получил и какую только и мог ждать.

2

Нашему госпиталю пришлось стоять однажды вдалеке от проезжих дорог, кругом пошаливали хунхузы, подвоз был затруднен. С неделю мы оставались без съестных припасов.

Под рукою было сколько угодно крупы китайских растений — чумизы и каоляна. Это — обычная, основная еда местных китайцев. Чумиза по виду несколько напоминает наше пшено, каолян — гречневую крупу. Мы стали варить суп и кашу из чумизы и каоляна.

И вот — странное дело! Мы, офицерский состав, ели чумизную и каоляновую кашу вполне охотно и даже не без удовольствия. Солдаты же побросали ложки после первой пробы и отказались есть. Сидели на одних сухарях, голодали, а есть отказывались. Уверяли, что от каоляна болит голова, а чумиза вызывает ломоту в ногах. Командир полка возмущался привередливостью и избалованностью солдат:

— Скажите, пожалуйста, какие гастрономы! Мы едим — и ничего, а они морды воротят! Пусть поголодают. Захочется есть, сами запросят!

А может быть, именно потому они и не могли есть чумизы и каоляна, что... не были гастрономами. Чем более однообразную пищу употребляет человек, тем труднее ему переходить на новую пищу и приноравливать к ней свой вкус. Нам, едавшим и устрицы, и сыр рокфор, и рябчиков, и артишоки, и бананы, легче было приспособиться к новой пище, чем людям, привыкшим изо дня в день есть капустные щи и гречневую кашу.

3

Из нашей части был послан в двуколке на почту за письмами и посылками старший унтер-офицер Бастрыкин в город Маймакай. Возвращается. Навстречу офицер верхом; проехал мимо, потом вдруг крикнул назад:

— Эй, ты! Пойди сюда!

Бастрыкин слез с двуколки, подошел.

— Ты как честь отдаешь?

— Я честь вам отдал.

— Как отдал? Отдаешь, а морду в сторону ворочаешь!

И три раза накрест ударил Бастрыкина нагайкой по лицу.

— Теперь будешь знать, как честь отдавать!.. Пошел!

Бастрыкин приехал домой, рассказал, как его избил офицер.

Работал в кузне солдат-кузнец Финкель. Шел с работы и спросил Бастрыкина:

— Как это вас, господин взводный, офицер избил?

Бастрыкин крикнул:

— Не знаешь, как перед взводным стоять? Руки по швам! Коленки вместе!

Финкель вытянулся.

— Как избил? Вот как!

И дал Финкелю накрест три крепких оплеухи.

Финкель пожаловался. Бастрыкина ротный поставил на два часа под ружье.

Бастрыкин стоял, вытянувшись, с вещевым мешком на боку, с винтовкой на плече. Дождь моросил. На бледном, изуродованном от злобы лице краснели полосы от нагайки.

4

ВРАГИ

Дмитрий Сучков был паренек горячий и наивный, но очень талантливый. Из деревни. Работал токарем по металлу на заводе. Много читал. Попал в нелегальный социал-демократический кружок, но пробыл там всего месяц: призвали в солдаты.

Время было жаркое. Отгремело декабрьское восстание в Москве. По просторам страны пылали помещичьи усадьбы. Разливались демонстрации. Лютовали погромы и ка-

рательные экспедиции. С Дальнего Востока после войны возвращались озлобленные полки. Начинались выборы в Первую Государственную думу.

Дмитрий Сучков попросился в Ромодановский полк, где служил его старший брат Афанасий. Полк только еще должен был прийти с Дальнего Востока. Триста новобранцев под командою двух офицеров, посланных вперед, ждали полка в уездном городке под Москвой.

Три дня всего пробыл Сучков в части, и случилось вот что. Солдаты обедали. В супе оказалась обглоданная селедка,— хребет с головой и хвостом. Сучков взял селедку за хвост, пошел на кухню, показал кашевару:

— Это что у вас, для навару кладется?

Кашевар с изумлением оглядел его.

— Ты... этого... агитатор?..

Назавтра вышел дежурный капитан Тиунов, прямо направился к Сучкову. Капитан — сухощавый, с бледным, строгим лицом и тонкими бровями.

— Ты тут собираешься агитацией заниматься...— И спросил взводного: — Ему устав внутренней службы читан?

— Никак нет, еще не читан.

Капитан крикнул на Сучкова:

— Стой как следует!

— Я не знаю стоять, как следует, я стою, как умею.

— Как его фамилия?

— Что вы взводного спрашиваете, я и сам скажу, врать не стану. Сучков фамилия.

— Это ты вчера на суп жаловался?

— Да.

Капитан топнул ногой и грозно крикнул:

— Как ты смеешь так отвечать начальству?! Спроси у взводного, как нужно отвечать?

— Господин Гаврилов, как ему нужно отвечать?

Капитан совсем вскипел:

— Не «господин Гаврилов», а «господин взводный» или по имени-отчеству и не «ему», а «его высокоблагородию»!

— Господин взводный, как этому высокоблагородию нужно отвечать?

— «Так точно» нужно говорить, «никак нет», «слушаю-с».

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Капитан внимательно поглядел ему в лицо и отошел.

Вечером он пришел с фельдфебелем в казарму и сделал в вещах у Сучкова обыск. Однако Сучков ожидал этого и все подозрительное припрятал.

— Это что? Граф Салиас, «Пугачевцы». Ого! Какими ты книгами интересуешься!

— Вполне легальная книга!

— «Легальная»... Вот ты какие слова знаешь! Умеешь легальные книги отличать от нелегальных... А это что?

— Дневник мой.

Капитан Тиунов передал тетрадки фельдфебелю.

— Вы что же, читать его будете?

— Обязательно.

— А как это вам, господин капитан, не претит? Среди порядочных людей читать чужие письма не принято, а ведь дневники — те же письма.

Сучков за грубость был посажен на три дня под арест. Вскоре он заболел тяжелым приступом малярии и был отправлен в московский военный госпиталь. Там повел пропаганду среди больных солдат. По его почину они пропели «вечную память» казненному лейтенанту Шмидту. По приказу главного врача Сучков был выписан обратно в полк с отметкой о крайней его политической неблагонадежности.

Полк уж воротился с Дальнего Востока. Он стоял в губернском городе недалеко от Москвы. В полку было яро черносотенное настроение. Начальство втолковывало солдатам, что в задержке демобилизации виноваты «забастовщики», что, по указке «жидов», они всячески препятствовали отправке войск с Дальнего Востока в Россию. Дмитрий Сучков пошел проведать брата Афанасия. Афанасий был ротным каптенармусом, имел в казарме вместе с фельдфебелем отдельную комнатку

Встретились братья, расцеловались. Конечно, чаек, водочка. Тут же фельдфебель — большой, плотный мужчина с угрюмым и красным лицом.

Дмитрий спросил:

— Ну, что у вас там было на войне, рассказывай.

— Что рассказывать! Ты газеты небось читал... Расскажи лучше, что у вас тут.

Дмитрий стал рассказывать про 9 января, как рабочие

Петербурга с иконами и хоругвями пошли к царю заявить о своих нуждах, а он встретил их ружейными залпами и весь город залил русскою кровью; рассказывал о карательных экспедициях в деревнях, как расстреливают и запарывают насмерть крестьян, о баррикадных боях на Красной Пресне в Москве. Рассказывал ярко, со страстью.

Когда он на минутку вышел из комнаты, брат его Афанасий покрутил головою и сказал:

— Мне это очень не нравится, что он говорит.

Фельдфебель же неожиданно сказал:

— А мне очень нравится!

Этого фельдфебеля солдаты в роте сильно боялись. Был он строг и беспощаден, следил за солдатами, не одного упек, служил царю не за страх, а за совесть. Но последние месяцы стал что-то задумываться, сделался молчалив, много читал библию и евангелие, по ночам вздыхал и молился.

Воротился в комнату Дмитрий Сучков. Взялись опять за чаек да за водочку. Фельдфебель спросил:

— Ну-ка, а как ты домекаешься — в чем тут самый корень зла, откуда вся беда?

— В царе, ясное дело! Безусловный факт!

В дверях толпились солдаты, дивились, что рядовой солдат так смело говорит с их грозным фельдфебелем, да еще какие слова!

Фельдфебель сказал:

— А ты этого, парень, не знаешь, что против царя грех идти, что это бог запрещает?

— Что-о? *За* царя грех идти! Вот что в библии говорится!

— Ну что... Ну что глупости говоришь! Я библию хорошо знаю.

— Есть она у тебя?

— Вот она.

— Ну гляди. Первая книга царств, глава двенадцатая, стих девятнадцатый. Я это место вот как знаю, взажмурки найду. Читай: «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед господом богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя».

Фельдфебель молчал и внимательно перечитывал указанное место. Долго думал, наконец сказал:

— Теперь все понятно!

Облегченно вздохнул, перекрестился и закрыл книгу.

Долго еще беседовал фельдфебель с Дмитрием Сучковым. И стал с ним видеться каждый день. И ему не было стыдно учиться у мальчишки-рядового. Он говорил ему:

— Все у меня внутри было как будто запечатано, а ты пришел и распечатал,— вот как бутылку пива откупоривают.

Сам воздух в то время дышал возмущением и ненавистью. Агитация падала в солдатские массы, как искры в кучи сухой соломы. Агитацию вели Дмитрий Сучков, фельдфебель и еще один солдат, рабочий-еврей из Одессы. Дмитрий Сучков рос в деле с каждым днем. Солдаты смотрели на него как на вожака. И все большим уважением проникались и к фельдфебелю, которого раньше ненавидели.

Весною случилось вот что. В железнодорожных мастерских арестовали четырех рабочих. Мастерские заволновались, бросили работу, потребовали освобождения арестованных. К мастерским двинули три роты Ромодановского полка. Перед тем, как им выступить, перед солдатами в отсутствие офицеров пламенную речь сказал Сучков, научил, как держаться, а фельдфебель Скуратов добавил:

— Если кто из вас по офицерской команде стрельнет, я его на месте уложу пулей. Когда дойдет до дела, не слушать офицеров, слушай моей команды.

Пошли. По дороге солдаты завернули на двор воинского присутствия. Выступил один из ротных командиров, тот капитан Тиунов, о котором уже говорилось. Бледное, строгое лицо с тонкими бровями. В упор глядя на солдат, спросил:

— Скажите мне, братцы, вы знаете, что такое присяга?

— Так точно.

— Может быть, не совсем хорошо знаете. Так я вам объясню. Не ваше дело рассуждать. Вы давали присягу царю и отечеству. Ты не отвечаешь за то, что твоя винтовка сделает,— за это отвечает начальство...

Увидел среди солдат Сучкова. Сучков часто замечал на себе и раньше пристальный подозрительный взгляд капитана.

— Пойди-ка сюда! А ты знаешь, что такое присяга?

— Так точно! Только всякий ее по-своему понимает.

Капитан понял, что он соглашается с ним, и обрадовался. И повел солдат к железнодорожному вокзалу.

Перед мастерскими чернела и волновалась тысячная толпа рабочих. Солдат выстроили спиною к вокзалу. Комендант кричал на рабочих, в ответ слышались крики:

— Выпустить арестованных!.. Все мастерские разнесем, поезда остановим!

Комендант крикнул:

— Теперь я с вами иначе заговорю!

И шатающимся шагом пошел к ротам. Стал сзади солдат и стал командовать.

— По толпе... залпом... роты...

И вдруг оборвал команду. Ряды стояли неподвижно, ни один солдат не взял ружья на изготовку. Комендант растерянно обратился к Тиунову:

— Капитан, почему ваши солдаты не берут на изготовку?

Тиунов, страшно бледный, молчал. Комендант вышел перед ряды и стал спрашивать отдельных солдат:

— Отчего ты не берешь на изготовку?

Солдаты стояли, неподвижно вытянувшись, и молчали как окаменевшие. Скуратов, волнуясь, шепнул Сучкову:

— Ну, как кто поддастся!

Но никто не поддался. Комендант крикнул Тиунову:

— Тогда распоряжайтесь сами!

И исчез.

Рабочие замерли на месте, услышав команду коменданта. Теперь они в бешеном восторге кинулись к солдатам.

— Ура, ромодановцы!

Окружили солдат, целовали, обнимали, совали в руки баранки, колбасу. Солдаты по-прежнему стояли неподвижно, соблюдая строй,— совсем истуканы!

От вокзала показался комендант, с ним человек пятнадцать жандармов с винтовками. Рабочие к солдатам:

— Братцы, дайте нам винтовки, мы их встретим!

Фельдфебель Скуратов скосил глаза на сторону и быстро ответил:

— Небось! Пусть хоть раз стрельнут,— мы им сами покажем!

— Ура! — закричали рабочие.

Комендант опять стал уговаривать рабочих, но теперь он говорил очень мягко. Рабочие толпились вокруг и посте-

пенно оттирали жандармов. Жандармы очутились поодиночке в густой рабочей толпе. Ничего не добившись, комендант исчез.

Солдат повели к мастерским, выстроили перед воротами с приказом никого не выпускать. И опять молча и неподвижно, как окаменевшие, солдаты стояли, держа строй, а мимо них выбегали рабочие. Соединились в колонну и с пением марсельезы двинулись к городу, раньше прокричав ромодановцам «ура».

Командир полка, узнав о случившемся, пришел в бешенство, рвал на себе волосы.

— Батальон был самый боевой, а теперь как опоганился!

Командовавший отрядом капитан Тиунов все не являлся к полковому командиру с рапортом, так что пришлось послать за ним вестового. Вестовой побежал и, воротившись, смущенно доложил:

— Капитан Тиунов — застрелимшись.

Он выстрелил себе в грудь, пуля прошла навылет, но не задела ни сердца, ни крупных сосудов. Его снесли в лазарет.

Роты, участвовавшие в описанном деле, ходили как победители. Время было такое, что начальство боялось их покарать. Вскоре полк ушел в лагеря. Ходили на стрельбу за пять верст от лагеря. После поверки солдаты уходили в лес, в условленное место, на митинг. По дороге — свои патрули: спрашивали пароль. Выступали присланные ораторы. Говорили о Государственной думе, о способах борьбы, о необходимости организации, о светлом будущем. Это был для солдат какой-то светлый праздник. Все ходили, как будто вновь родились. Постановили больше не ругаться матерными словами. Красное, угрюмое лицо фельдфебеля Скуратова теперь непрерывно светилось, как раньше у него бывало только в светлое воскресенье. Установились у него близкие, товарищеские отношения с солдатами. Однажды стирал он в прачечной свое белье. Увидел дежурный офицер.

— Вот молодец! Фельдфебель, а сам стирает! Каждый рядовой норовит теперь это на другого свалить, а он — сам. Молодец! Вот это хороший пример.

Фельдфебель молча продолжал стирать.

— Слышишь, я говорю тебе: «Молодец!»

Скуратов молчал. Офицер грозно крикнул:

— Ты что, скотина, не слышишь? Я тебе говорю: «Молодец!»

Нужно было ответить: «Рад стараться!» Но Скуратову противно было это сказать. И он неохотно ответил:

— Не молодец, а нужда. Нет денег прачку нанять.

В начале августа, когда полк стоял еще в лагерях, случилось вот что. В праздник преображения, 6 августа, два солдата гуляли за полковой канцелярией. И вдруг нашли в овраге большую кучу распечатанных писем и отрезов денежных переводов, адресованных солдатам. Стали читать письма. В них солдатам писали из деревни, чтоб не стреляли в мужиков, чтоб стояли за Государственную думу. А по сверке денежных переводов оказалось, что адресаты денег этих не получили.

Заволновался полк. Сходились кучками, передавали друг другу о находке, ругались и грозно сжимали кулаки. К вечеру весь лагерь шумел, как развороченный улей. Офицеры попрятались. Солдаты искали Сучкова, чтоб он им «сказал». Но Сучков в тот день поехал в город за мясом,— его солдаты выбрали батальонным артельщиком. Кинулись к фельдфебелю Скуратову. Но он был только хорошим «младшим командиром», исполнителем, а теперь лишь недоуменно пожимал плечами. Да и правда, нелегко было направить общее негодование в нужное русло. Стали слушать каждого, кто громче кричал. Решили идти к помещению первого батальона, где находился денежный ящик и полковое знамя, деньги поделить меж собой и со знаменем, с музыкой, двинуться в город. Пошли вдоль палаток, выгоняя спрятавшихся солдат. Открыли карцер, выпустили восьмерых арестованных,— «пускай нынче всем будет радость». Пришли. Вдруг перед ними появился командир полка. Упал перед солдатами на колени:

— Братцы! Товарищи! Господа! Что хотите, со мной делайте, а знамени и денежного ящика не трогайте!

— Э, слушай его! Валяй, ребята! Часовой, отойди!

Но тут фельдфебель Скуратов начальственно крикнул:

— Смирно, товарищи! Полковой командир дело говорит. Не трогать знамени и денежного ящика. Дайте полковому командиру сказать, что хочет.

Полковой командир приободрился и сказал:

— Ребята! Вы заявите свои требования, я их все добросовестно разберу, а дело сегодняшнее мы замнем.

Солдаты наперебой стали говорить о найденных в овраге письмах и денежных переводах, о незаконных работах для офицерского состава, которые заставляют делать солдат.

— Ребята, вы все сразу говорите и очень далеко стоите. Подойдите ближе!

— А, сукин сын, заметить хочет тех, кто говорит! К черту его!

Раздались пьяные голоса:

— Идем офицерское собрание разнесем!

В это время — были уже сумерки — воротился из города Сучков. Солдаты кинулись к нему. Он развел руками и покачал головой.

— Ай-ай-ай! Что же делать теперь?

Сказали ему, что часть солдат пошла громить офицерское собрание. Он побежал к ним, остановил. Повел всех в рощу за лагерем «вырабатывать требования». Поздно ночью солдаты мирно разошлись по палаткам. Сучков задумчиво шел со Скуратовым домой.

— Да... Как теперь эту кашу расхлебывать!

Около палаток к Сучкову в темноте подошел вестовой.

— Сучков, иди скорей, тебя к себе капитан Тиунов зовет. Велит, чтоб сейчас же пришел.

— Что я ему? Почему я должен к нему являться?

Однако пошел.

Капитан Тиунов, на днях только вышедший из госпиталя, исхудавший, сидел на табуретке перед бараком и курил.

— Это ты, Сучков? Здравствуй!

— Здравия желаю!

— Пойдем в барак.

Вошли.

— Садись.

— Я, ваше высокоблагородие, постою.

— Садись, говорят тебе.

Сучков сел. С минуту молчали. Наконец Тиунов заговорил:

— Вот. Еще раз встретились с тобой. Теперь, может, уж в последний раз.— Помолчал. Потом нагнулся к Сучкову и шепотом спросил: — Что ты такое сделал, сукин сын?

— Что я такое сделал?

— Что сегодня было, это твоих рук дело.

— Меня тут даже не было, я в город ездил.

— Все равно, это все ты... Ты жид?

— Никак нет.

— Может, поляк?

— Никак нет.

— Ну, может, в роду у тебя поляки были?

— Этого знать не могу, — с усмешкой ответил Сучков. — Тогда не жил.

— Та-ак, та-ак...— задыхаясь, произнес Тиунов. Вдруг взял со стола замок, подошел, привесил к двери и запер на ключ.

Сучков подумал:

«Бить, что ли, будет? Ну, это еще посмотрим, кто кого! Как бы ему самому не было большого полому!»

Тиунов из-под шитой подушки на диване достал револьвер и нацелился на Сучкова.

— Сознавайся!

Указательный его палец лежал на спуске, в дырах барабана видны были пули. Заряженный. У Сучкова же шинель была внакидку, застегнута у шеи на два крючка, руки спутаны: пока станешь отстегивать крючки,— застрелит.

— Да в чем сознаваться?

— Ты им брошюры давал, прокламации писал... Сознавайся! Убью тебя, как пса. Что ты им давал?

— Что давал! Газету сейчас дать,— почище будет всякой прокламации! Правда теперь пошла в газетах, тоже вот в них отчеты Государственной думы печатаются...

Тиунов схватился за голову.

— Эх, вот эта Дума еще!.. Нет, ты им все-таки еще прокламации давал... Ну, слушай! Ведь вот твоя смерть здесь, в дуле... Сознавайся!

— Да ну, стреляйте! Что там разговаривать! Жизнь мне не дорога, а смерть не опасна!

Тиунов вдруг положил револьвер, снял с двери замок и опять сел рядом с Сучковым.

— Ну, смотри, видишь? Я револьвер положил, дверь отпер. Но все-таки знай: если ты меня не убьешь — я тебя убью!

Замолчали.

— Давал ли им прокламации, нет ли,— а все это це-

ло — твое. Ну-с, что же, доволен? Денежки из казенного ящика поделить, офицерский буфет разграбить... Чего ж вы этим достигнете? Ты хочешь анархии.

— Я не хочу анархии.

Капитан удивился.

— Не хочешь?

— Не хочу. У вас анархией называется свобода, вы сами рабы и хотите, чтоб все рабами были. Нам друг друга не понять. У вас одна душа, у нас другая.

— Свобода... Свобода? Ты хочешь свободы, а вызовешь анархию, проклятый ты человек! Ты ее вызовешь, в ней и я погибну, и сам ты, и Россия!.. Радуешься ты на то, что сегодня было?

— Нет, не радуюсь.

— Ну и никакой тебе никогда радости не будет. Может, когда-нибудь, как увидишь, что вы с Россией сделали, сам ужаснешься!

— Как говорится,— бог не выдаст, свинья не съест.

Тиунов встал.

— Ну, теперь прощай! — Он протянул Сучкову руку и с ненавистью пожал ее.— Прощай. А мы — мы будем драться с вами до последнего.

Сучков с вызовом поглядел на него.

— Не испугаемся: кто кого!

Тиунов скрипнул зубами и бросился к столу за револьвером. Остановился, повернулся.

— Уходи скорей, говорю тебе!

— Здравия желаю!

Сучков откозырнул и вышел из барака.

VII

1

МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК

С начала девяностых годов до Октябрьской революции в Москве существовал Литературно-художественный кружок-клуб, объединявший в себе все сливки литературно-художественной Москвы. Членами клуба были Станиславский, Ермолова, Шаляпин, Собинов, Южин, Ленский, Серов, Коровин, Васнецов, все выдающиеся писатели и

ученые, журналисты и политические деятели (преимущественно кадетского направления). Это были действительные члены. Кроме того, были члены-соревнователи,— без литературно-художественного стажа: банкиры, фабриканты, адвокаты и почему-то очень много зубных врачей. Эти члены права голоса на общих собраниях не имели. В чем они могли в кружке «соревноваться» — неизвестно. А чем они были полезны кружку, будет видно из последующего.

Ежегодный членский взнос действительных членов был — пятнадцать рублей, членов-соревнователей — двадцать пять. Формально говоря, эти членские взносы были единственным доходом кружка; в год это составляло не больше десяти тысяч рублей. Между тем кружок занимал огромное роскошное помещение на Большой Дмитровке в доме Востряковых, № 15 (где впоследствии помещался Московский Комитет ВКП(б), а теперь — Верховная Прокуратура СССР). За одно это помещение кружок платил сорок тысяч в год, ежегодно ассигновывал по 5—6 тысяч на пополнение библиотеки и столько же — на приобретение художественных произведений, оказывал материальную помощь нуждающимся писателям и художникам. Библиотека была великолепная, стены кружка были увешаны картинами первоклассных художников; особенно много было портретов: знаменитый серовский портрет Ермоловой, Лев Толстой — Репина, Южин и Ленский — Серова, Шаляпин — Головина, Чехов — Ульянова, Брюсов — Малютина и др. Думаю, не ошибусь, если скажу, что действительный ежегодный бюджет кружка был 150—200 тысяч рублей. Откуда же получались эти деньги?

В верхнем этаже кружка был большой с невысоким потолком зал, уставленный круглыми столами с зеленым сукном. Настоящею жизнью этот зал начинал жить с одиннадцати — двенадцати часов ночи. Тут играли в «железку». Были столы «золотые», где наименьшею ставкою был золотой. Выигрывались и проигрывались тысячи и десятки тысяч. Втягивались в игру и развращались все новые и новые люди. Ходит вокруг столов какой-нибудь почтенный профессор или молодой писатель, с ироническою усмешкой наблюдает играющих; балуясь, «примажется» к чьей-нибудь ставке, поставит золотой десятирублевик, выиграет (к начинающим судьба обыкновенно бывает очень милостивой), возвращается к ужинающим в столовой приятелям и говорит, посмеиваясь:

— Вот, заработал себе на ужин!

Глядишь,— через год-другой он уже не выходит из верхнего зала, уже не примазывается, а занимает место за столом и играет все ночи напролет. Вот тут-то «соревновались» и члены-соревнователи, вот для этой-то цели они и выбирались.

Приходилось тут наблюдать очень странные типы. Аккуратно после театра являлся сюда артист Малого театра К. Н. Рыбаков — великолепный актер, сын знаменитого Н. X. Рыбакова. Высокий, плотный, очень молчаливый, пристраивался около стола, где шла самая крупная игра, и — смотрел. В игре никогда не участвовал. Но смотрел очень внимательно, не отрываясь. Сюда же спрашивал себе ужинать и ел за приставленным маленьким столиком, продолжая следить за игрой. Молчит. По тонким бритым губам пробегает чуть заметная усмешка. Просиживал аккуратно до шести часов утра,— крайний срок, до которого разрешалась игра, и уходил последним. И — никогда не играл. Меня очень он интересовал. В чем дело? Знающие люди мне объяснили. Так бывает с ярыми игроками, бросившими играть. Когда-то Рыбаков жестоко проигрался, дал себе слово не играть. И вот мысленно переживал все перипетии чужой игры, находя в этом своеобразное наслаждение.

Много видов видал этот верхний зал кружка, о многих острых событиях могли бы рассказать его стены. Вот одно из таких событий, о котором долго говорили в кружке.

Поздняя ночь. В накуренном верхнем зале ярко горит электричество. Вокруг одного из «золотых» столов — густое кольцо зрителей. Все взволнованно следят за игрой. Мечет банк знаменитый артист Малого театра князь А. И. Сумбатов-Южин. Лицо его спокойно и бесстрастно. Вокруг стола в волнении расхаживает уже мною упомянутый артист К. Н. Рыбаков (он тогда еще играл). Поглядывает на стол, хватается за голову и говорит про себя:

— Нет, он положительно сумасшедший! Он — с-у-м-а-с-ш-е-д-ш-и-й!

Рыбаков половинною долею вошел в банк, заложенный Южиным. Девять раз Южин выиграл, в банке двадцать пять тысяч. Но Южин продолжает метать.

— Даю карту!

Выигрывает в десятый раз. В банке пятьдесят тысяч.

Рыбаков требует кончить. Но Южин как будто не слышит и опять:

— Даю карту!

Проигрыш почти уже верный. Присутствующие ставят последние деньги в расчете на выигрыш, глаза горят, лица бледны, руки дрожат. Только руки Южина спокойны и лицо по-прежнему бесстрастно.

Выигрыш — в одиннадцатый раз! В банке сто тысяч. И — опять спокойный голос:

— Даю карту!

Общее молчание. И денег таких ни у кого уже нет, да если бы и были, так не пойдут,— всех охватил тот мистический ужас перед удачей, который знаком только игрокам.

Южин повторяет:

— Даю карту!

По губам его пробегает чуть заметная озорная улыбка. Рыбаков оживает: желающих нет. Вдруг тихий старческий голос:

— Позвольте карточку! По банку!

Табачный фабрикант-миллионер Бостанжогло. Золотым пером пишет чек на сто тысяч рублей и кладет на стол.

Южин мечет. Открывает карты. У Южина пять очков, у Бостанжогло — победоносная девятка. Банк сорван.

Рыбаков схватился за голову и тяжело упал в кресло. А князь Сумбатов-Южин барственным жестом провел рукою по лбу и спокойно-небрежным голосом сказал:

— Ну, а теперь пойдем пить красное вино!

Этот-то верхний зал и служил главным источником дохода кружка. Официально игра должна была кончаться в двенадцать часов ночи. За каждые лишние полчаса играющий платил штраф, увеличивавшийся в очень значительной прогрессии. Окончательно игра прекращалась в шесть часов утра. Досидевший до этого часа платил штраф тридцать два рубля. Вполне понятно: человеку, выигравшему за ночь сотни и тысячи, ничего не стоило заплатить эти тридцать два рубля; человек, проигравший сотни и тысячи, легко шел на штраф в надежде отыграться.

Отсюда и шли в кассу кружка основные его доходы. Так было везде, на такие доходы жили все сколько-нибудь крупные клубы. Часто против такого положения дел

в кружке раздавались протестующие голоса, говорили, что стыдно клуб сливок московской интеллигенции превращать в игорный притон и жить доходами с него. На это с улыбкой возражали: в таком случае нужно будет либо членские взносы повысить в двадцать — тридцать раз, либо нанять квартирку по сто рублей в месяц, обходиться двумя-тремя служащими, держать буфет только с водкой, пивом и бутербродами, выписывать в читальню пять-шесть газет и журналов. В такой клуб никто не пойдет.

И вот: анфилада больших залов с блестящим паркетом, с уютною мягкою мебелью и дорогими картинами по стенам, многочисленные вежливые официанты в зеленых фраках с золотыми пуговицами, огромный тихий читальный зал с мягкими креслами и турецкими диванами, с электрическими лампами под зелеными абажурами, держащими в тени потолок; на столах — всевозможные русские и заграничные газеты и журналы; чудесная библиотека с редчайшими дорогими изданиями. Прекрасный буфет, недорогой и изысканный стол, тончайшие вина. Очень удобно было наблюдать до того мне совсем незнакомую жизнь старорежимного клуба и широкие круги сливок московской интеллигенции.

В помещении кружка заседали многочисленные литературные и художественные общества: Общество деятелей периодической печати и литературы, литературный кружок «Среда», общество свободной эстетики и др. Устраивались банкеты и юбилейные торжества. В большом зрительном зале по пятницам происходили исполнительные собрания — выступали лучшие артисты и певцы, члены кружка и приезжие знаменитости. По вторникам читались доклады на литературные, художественные, философские и политические темы Диспуты часто принимали очень интересный и острый характер.

Ярко стоит в памяти один из таких диспутов. Приехавший из Петербурга модернист Д. В. Философов читал доклад о книге Льва Шестова «Апофеоз беспочвенности». Зашел ко мне Ив. Ив Скворцов-Степанов — большевик, будущий редактор «Известий». Я ему предложил пойти на доклад. Он в кружке никогда еще не бывал. Заинтересовался. Пошли вместе.

На эстраде,— за столом, покрытым зеленым сукном,— докладчик, приехавшие с ним из Петербурга Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, Андрей Белый. Председатель-

ствовал поэт-модернист С. А. Соколов-Кречетов. Докладчик по поводу книги Шестова говорил о нашей всеобщей беспочвенности, о глубоком моральном падении современной литературы, о мрачных общественных перспективах. Потом начались прения. Выступил Андрей Белый с длинною истерическою речью. Он протягивал руки к публике и взволнованно говорил об ужасающей всеобщей беспочвенности и беспринципности, о безнадежности будущего, о неслыханном моральном разложении литературы. Писатели занимаются тем, что травят собаками кошек. (В это время петербургские газеты шумели по поводу забавы, которую выдумали себе один небезызвестный беллетрист и два журналиста: они привязывали к ножке рояля кошку и затравливали ее фокстерьерами.)

— Литература сплошь продалась! — восклицал Белый.— Осталась небольшая группа писателей, которая еще честно держит свое знамя. Но мы изнемогаем в непосильной борьбе, наши силы слабеют, нас захлестывает волна всеобщей продажности... Помогите нам, поддержите нас!..

Андрей Белый был замечательный оратор. Речь его своею страстностью чисто гипнотически действовала на слушателей, заражала своею интимностью и неожиданностью. Публика горячо аплодировала.

Иван Иванович слушал, пожимал плечами и давился от смеха.

— Нет, не могу вытерпеть! Разрешается у вас выступать посторонним?

— Конечно.

Вышел — огромный, громовоголосый. Вначале слегка задыхался от волнения, но вскоре овладел собою, говорил едко и насмешливо. Недоумевал, почему так безнадежно смотрят выступавшие ораторы на будущее, говорил о могучих «общественных силах», временно побежденных, но неудержимо вновь поднимающихся и растущих. Потом о литературе.

— Господин Андрей Белый в пример развращенности нашей литературы приводит бездарного писателя, получившего известность за откровенную порнографию, да двух газетных репортеров, занимавшихся совместной травлею кошек. И это — наша литература? Они — литература, а Лев Толстой, живущий и творящий в Ясной Поляне, он — не литература? (Гром рукоплесканий.) Жив и рабо-

тает Короленко,— это не литература? Максим Горький живет «вне пределов досягаемости»,— как вы думаете, неужели потому, что он продался? Или и он, по-вашему, не литература? Господин Андрей Белый докладывает вам, что осталась в литературе только ихняя кучка, что она еще не продалась, но ужасно боится, что ее кто-нибудь купит. И умоляет публику поддержать ее. Мне припоминается старое изречение: «Добродетель, которую нужно стеречь, не стоит того, чтобы ее стеречь!» Так и с вами: боитесь соблазниться, боитесь не устоять,— и не надо! Продавайтесь! Не заплачем! Но русскую литературу оставьте в покое: она тут ни при чем.

Как будто в душную залу, полную тонко-ядовитых расслабляющих испарений, ворвался бурный сквозняк и вольно носился над головами притихшей публики. Когда Скворцов кончил, загремели рукоплескания, какие редко слышал этот зал.

Вскочил Мережковский с бледным от злобы лицом. С вызовом глядя черными гвоздиками колючих глаз, он заявил, что публика совершенно лишена собственных мыслей, что она с одинаковым энтузиазмом рукоплещет совершенно противоположным мнениям, что всем ее одобрениям и неодобрениям цена грош.

— И я вам докажу это. Вот я вас ругаю,— а заранее предсказываю с полной уверенностью: вы и мне будете рукоплескать!

И правда,— зарукоплескали. Но рядом раздались свистки, шиканье. Многие из слушателей порывались на эстраду, но председательствовавший Соколов-Кречетов не давал им слова. Все-таки одна курсистка взбежала на эстраду и взволнованно заявила:

— Я должна объяснить господину Мережковскому то, что он должен бы понимать и сам: «публика» — это не организм с одним мозгом и двумя руками. Одни рукоплещут Скворцову, другие — ему.

Пришлось закрыть собрание. Иван Иванович смеялся и потирал руки.

— Очень интересный провел вечерок! Никогда ничего такого не видел. Спасибо вам!

2

Жил в Москве знаменитейший адвокат Плевако Федор Никифорович. По всем рассказам, это был человек

исключительного красноречия. Главная его сила заключалась в интонациях, в неодолимой, прямо колдовской заразительности чувства, которым он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы. Один адвокат, в молодости бывший помощником Плеваки, с восторгом рассказал мне такой случай.

Судили священника. Как у Ал. Толстого:

Несомненны и тяжки улики,
Преступленья ж довольно велики:
Он отца отравил, пару теток убил,
Взял подлогом чужое именье...

И ко всему — сознался во всех преступлениях. Товарищи-адвокаты в шутку сказали Плеваке:

— Ну-ка, Федор Никифорович, выступи его защитником. Тут, брат, уже и ты ничего не сможешь сделать.

— Ладно! Посмотрим.

И выступил.

Все бесспорно, уцепиться совершенно не за что. Громовая речь прокурора. Очередь Плеваки.

Он медленно поднялся,— бледный, взволнованный. Речь его состояла всего из нескольких фраз. И присяжные оправдали священника.

Вот что сказал Плевако:

— Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и сам в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который *тридцать лет* отпускал вам на исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?

И сел. Так это было сказано, что я сам, сообщал рассказчик, был глубоко взволнован.

Я с недоумением спросил:

— Плевако, что же, толстовец, что ли, был? Отрицал всякое наказание?

Адвокат пренебрежительно оглядел меня.

— Дело совсем не в этом. Но как ловко сумел подойти к благочестивым москвичам, а?

Прокуроры знали силу Плевако. Старушка украла жестяной чайник, стоимостью дешевле пятидесяти копеек. Она была потомственная почетная гражданка и, как лицо привилегированного сословия, подлежала суду присяж-

ных. По наряду ли, или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевако. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плеваки и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но — собственность священна, все наше гражданское благоустройство держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет.

Поднялся Плевако:

— Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесят языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно.

Оправдали.

3

Последние годы совместной жизни своей со Львом Николаевичем Софья Андреевна Толстая томилась от бездействия и не знала, к чему приложить силы. Т. Л. Сухотина-Толстая рассказывала, что Толстой говаривал:

— Нужно бы для Сони сделать резинового ребеночка, чтобы он никогда не вырастал и чтобы у него всегда был понос.

4

Я сказал А. И. Куприну:

— Из современных русских писателей больше всех Лев Толстой любит вас.

Куприн юмористически вздохнул:

— Да,— три самых любимых современных писателя его — Семенов, Захарьин-Якунин и — я.

5

Скульптор Волнухин, автор памятника первопечатнику Федорову в Москве. Ученики звали его «тятя». Был он очень добр,— специальною старо-российскою добро-

тою: слишком был ленив, чтобы быть злым. Но если с кем случалась беда, невозможно было заставить его хоть пальцем двинуть в помощь ему, пойти похлопотать и т. п.: лень. В мастерской его было грязно ужасно. Пришла раз жена одного из его учеников, смущенно оглядывается, где бы сесть. Волнухин сел на запыленную табуретку, повертелся на ней. Встал:

— Садитесь. Теперь чисто.

Жил и ел в своей мастерской, сам себе варил борщ. Была семья, но там он обедать не любил. Жена скажет: «Умой руки». Посуду не мыл неделями. Раз старуха няня ему сказала:

— Ужотка пойду в баню, давай посуду твою захвачу, там помою.

Только в бане можно было ее отмыть. Вздумает угостить чаем,— ужас: и стакан неделями не мыт. Если гость предварительно вымоет стакан, Волнухин обидится.

6

П. Ф. ЛЕСГАФТ

Было это в 1909 году,— помнится, в декабре. В гробу лежал сухонький старичок с седою бородою, с очень высоким и крутым лбом. Гроб стоял в мрачной лютеранской часовне. Стрельчатые дуги арок, стрельчатые узкие окна. Сумрак вокруг. А в раскрытые двери знойно сверкала под солнцем песчаная пустыня, в далекой утренней дымке узорчато чернели финиковые пальмы и караван верблюдов, звеня бубенцами, тянулся к городу.

Над гробом стоял черноусый немецкий пастор с наружностью доцента фармакогнозии и произносил надгробную проповедь. Он говорил:

— Возлюбленный брат! Ты наконец достиг того успокоения и отдыха, которого тщетно жаждал всю свою жизнь! Покинутые тобою, мы горько скорбим о себе,— но за тебя мы должны только радоваться: пришел срок,— ты сложил с усталых плеч бремя жизни и идешь успокоиться навеки на родительском лоне господа нашего бога!

И еще больше, чем готическая часовня на фоне африканской пустыни, резали душу эти слова пастора, обращенные к тому, кто лежал в гробу. Мне казалось: старичок сейчас быстро поднимется, выскочит из гроба, стремительной своей походкой налетит на пастора и отчита-

ет его так, как только он умел отчитывать. Докажет ему ясно, что никакого он никогда в жизни не искал покоя, что жизнь жива и прекрасна энергичною работою, что жизнь — не бремя, а крылья, творчество и радость, а если кто превращает ее в бремя, то в этом он сам виноват! И наклонился бы к лицу опешившего пастора и спрашивал бы:

— Ясно?.. Ясно?.. Ну, что? Ясно теперь?..

И пастор смущенно пятился бы от старичка, как пятился от него я двадцать пять лет назад. Да, верно: назад ровно двадцать пять лет, в декабре 1884 года. Я тогда был юным студентом-филологом Петербургского университета. Случайно я забрел на лекцию анатомии, которую этот самый чудесный старичок читал юристам (для судебной медицины). Читал совсем по-особенному: он волчком носился по аудитории с разрезом височной кости, совал ее под глаза каждому студенту и старался растолковать взаимное расположение полукружных каналов. Стремительно налетел и на меня, и указывал пинцетом ход каналов, и спрашивал:

— Ясно? Ясно теперь?.. Ну, что? Ясно?..

А я краснел и старался ретироваться. И вот теперь, через двадцать пять лет, в Гелуане, под Каиром, я стоял на панихиде по этом самом старичке: месяц назад врачи для чего-то послали его из Петербурга умирать в далекий Египет. Профессор Петр Францевич Лесгафт.

Лесгафт!.. Кто знал его, тот поймет: Лесгафт — и искание покоя! Лесгафт — и бремя жизни! Да, отчитал бы он этого пастора с его «бременем жизни»!

7

Рудометов. Сибиряк. Высокого роста, крепкий, с большой головой. Напоминал Петра Первого. Был сектантом и очень был фанатичен: не только не ел убоины, но даже не убивал паразитов. Летом работал грузчиком, зарабатывал хорошо, зимою читал и учился. Потом поступил в почтальоны.

Однажды другой почтальон принес воинскому начальнику заказное письмо и не снял перед ним шапки. Воинский начальник его избил. Плачущий, окровавленный почтальон рассказал об этом Рудометову. Три дня Рудометов ходил мрачный, задумчивый, по ночам сидел на

кровати и угрюмо думал. А на четвертый день попросил избитого товарища передать ему не в очередь доставку почты воинскому начальнику. Доставил и не снял шапки. Воинский начальник его в зубы. Тогда Рудометов сказал:

— Отец помирал, не велел мне никогда долга на себе держать!

Развернулся и ударил начальника так, что тот отлетел в угол. И зверски потом избил. Судили. Несколько лет отсидел в тюрьме. Сектанты, его единоверцы, отнеслись к нему с решительным осуждением. Тогда он ушел от них.

Был мобилизован на войну. Во время керенщины, на австрийском фронте, сказал пламенную речь против войны до победного конца. Оказался прекрасным оратором, имел огромный успех, солдаты носили его на руках. Говорил от нутра, ни к какой революционной партии не принадлежал. Раз в Одессе, когда выступил против кадетов с требованием прекращения войны и отдачи всей земли крестьянам без выкупа, ему закричали:

— Большевик!

Тут он понял, к какой принадлежит партии, и вскоре стал большевиком.

Теперь он ответственный работник. Но прежний сектантский аскетизм крепко сидит в нем. Живет с женою и семьею брата в одной комнате, никогда не пользуется машиной, ходит всегда пешком.

8

По Новому шоссе близ Тимирязевской сельскохозяйственной академии неслась под гору легковая машина. Шофер с испуганным лицом давал непрерывные гудки и старался затормозить машину. Внизу, посреди неширокого моста, озорной мальчишка, лет девяти, балуясь, удерживал на месте пятилетнего братишку и не давал ему убежать. Всем было ясно со стороны, что мальчишка с братом не успеют увернуться. Мать с воплем бежала к мосту.

Гибель ребят была неминуема. Вдруг в последний момент шофер повернул руль — и машина вместе с шофером рухнула в овраг.

Сбежался народ. Окровавленный шофер без чувств лежал в поломанной машине. Вызвали скорую помощь. Люди в белых халатах вынесли раненого в носилках из ов-

рага. У него были перебиты обе ноги. Затуманенные глаза раскрылись. Морщась и крепко закусив губы, чтобы не стонать, он смотрел на облака.

Белая карета с красным крестом уехала. Народ взволнованно обсуждал случившееся. Пожилой человек в кепке авторитетно говорил:

— Ничего бы ему не было, если бы раздавил ребят. Дело вполне ясное. Я сам шофер, знаю порядки. Вон сколько свидетелей кругом, все видели. Ничего бы не было! А он — и сам погиб, и машину поломал. Наверно, не знал законов.

9

МИМОХОДОМ

Было это последним летом в Крыму.

Секретарь местного сельсовета — молодой партиец — и приезжая журналистка разговорились. Вот ведь какая нелепость: в дачный поселок съезжается летом самая отборная интеллигенция; отдыхают, жарятся под солнцем на пляже, купаются, гуляют, флиртуют; а тут же рядом — темная деревня, безграмотная, дикая, живущая только хулиганством, пьянкой и абортами. Как бы было хорошо учредить общество шефства дачного поселка над деревней. Пусть бы профессора читали крестьянам доступные лекции по своей специальности, в клубе выступали бы певцы, музыканты, артисты, писатели.

Секретарь сельсовета добавил:

— А для начала — хоть бы библиотеку нашу привели в порядок. Книг много, тысячи полторы, но все кучами навалено в шкапах, каталога нету, всякий берет из шкапов что хочет и не возвращает. Расхода на избача нам не утвердили, но пусть бы только привели библиотеку в порядок; я уж сам, если никто не пожелает, буду выдавать книги два раза в неделю.— И прибавил с улыбкой: — Работы так много, что и не заметишь, больше ли ее на два лишних часа в неделю.

И журналистка сказала:

— Да, конечно! Здесь отдыхает масса молодежи, вузовцев; найдутся и библиотекарши. Всякий с охотою пойдет, поработает часа два-три в день. С миру по нитке, а глядишь,— к осени библиотека будет приведена в порядок.

Стали они вдвоем обходить дачников и предлагать основать общество. Первым делом пришли к известному одному профессору, автору книги «Кант и диалектика». Он со смеющимися глазами выслушал их.

— Сомневаюсь, чтоб многие откликнулись на ваш призыв. Публика инертна, приехала сюда отдыхать... Впрочем, все дело в активном ядре. Удастся вам подобрать человека три-четыре энергичных,— ну, что-нибудь сделаете. Что меня касается, то, конечно, много времени я на это отдавать не могу, но лекцию-другую прочту с удовольствием.

И все другие дачники выразили свое принципиальное согласие. Образовали инициативную группу. Инициативная группа собрала общее собрание. На собрание пришло восемь человек, но причины были совершенно случайные: как раз в этот день в сельской школе шел вечер самодеятельности, и многим интересно было его поглядеть, многие уехали в экскурсию. Решено было созвать новое собрание через неделю.

Утром журналистка лежала на пляже. Рядом с нею одевалась девушка с загорелым телом. Оделась, приладила к спине заплечный мешок, взяла рогатую палку. Спросила журналистку:

— Скажите, товарищ, есть тут в деревне библиотека-читальня?

— Есть. Только в большом беспорядке, поэтому книг теперь не выдают. Как раз собираемся привести ее в порядок.

И журналистка с одушевлением рассказала об обществе шефства над деревней.

Дивчина сказала:

— День-другой я могла бы у вас поработать. Куда мне обратиться?

— Спросите в сельсовете секретаря сельсовета, он вам покажет. А вы здесь живете?

— Нет, иду из Феодосии.

У ней были короткие, невьющиеся русые волосы, светлее загорелого лица, нос немножко загнут кверху. Белая физкультурка, обшитая красным, шаровары, засученные до паха, крепко загоревшие руки и ноги. Сотни таких дивчат можно видеть летом в южных домах отдыха. На вид ей было лет семнадцать,— такое у нее было молодое лицо. Но оказалось, она уже кончает вуз в Ленинграде и пишет

дипломную работу по математике. Летом была на практике, консультантом-математиком на одном южном заводе. Накопила там деньжат и решила обойти пешком Крым, от Феодосии до Севастополя.

Пришла дивчина в сельсовет, спросила секретаря. Был он молодой парень с узким лицом и высоким лбом, в голубой майке, с низким вырезом на груди.

— Мне там на пляже сказали, что у вас есть работа в библиотеке.

Секретарь замялся.

— Есть-то есть. Только работа большая. Тысячи полторы книг в полном хаосе. Нужно привести в порядок. И потом... платить мы за работу не можем.

— Я вас про это не спрашиваю. Покажите, я посмотрю.

Секретарь ввел ее в боковую комнатушку с запертым пыльным оконцем. Раскрыл шкапы. Дивчина сейчас же достала пачку книг и, разговаривая с секретарем, стала ее разбирать.

— Да, работа не маленькая. Ну, хорошо. Поработаю.

И тут же взялась за работу. Это было утром. Часа в три сбегала на базар, купила помидоров и огурцов, съела с хлебом, это был ее обед. Проработала до ночи.

Секретарь с удивлением приглядывался к ее несуетливо-быстрой работе. Она коротко сказала:

— Спать я тут останусь.

— Ну где тут, что вы! Мы вам отведем комнату. Вы для нас работаете, вправе же вы хоть отдохнуть. А тут душно и пыльно; да и устроиться негде.

— На столе устроюсь. Не надо комнаты. А вот это я у вас попрошу. По карточке я получаю триста граммов хлеба.— И вдруг она виновато улыбнулась.— Никак на это нельзя быть сытой целый день. Дайте мне разрешение на шестьсот граммов. Это будет очень хорошо.

Секретарь понял: с монетами было у дивчины туговато; питается она, видимо, одним хлебом с помидорами; конечно, этак на триста граммов хлеба сытым не будешь.

Обещал вопрос насчет хлеба уладить. Она разостлала на столе плащ, вместо подушки положила заплечный свой мешок. Он пожелал ей доброй ночи.

С утра она уже опять работала. В соседней комнате секретарь производил регистрацию вновь прибывших

дачников. Между прочим, две библиотекарши из Москвы. Дивчина наша услыхала, вышла, попросила библиотекарш зайти к ней. Объяснила, в чем дело, и предложила помочь. Говорила, а сама в это время резала бумагу для библиотечных карточек. После обеда библиотекарши пришли, и стали они работать втроем.

На следующее утро пришел секретарь в сельсовет. В библиотечной комнате шум, галдеж, смех. Заглянул. Сидят за столом восемь ребят-школьников и наклеивают ярлычки на корешки книг. Работают, как играют. Дивчина с серьезным лицом рассказывает им что-то смешное, и они хохочут. Приспособила к работе также двух местных ребят-комсомольцев. Так было весело, что у секретаря грустно и сиротливо стало на душе: хотелось замешаться в эту веселую, кипящую работой толпу и с нею вместе работать изо всех сил и смеяться.

На третий день к вечеру все было кончено. Дивчина сказала, что завтра рано утром пойдет дальше, а сейчас отправится с комсомольцами кататься по морю на лодке.

Рано утром секретарь встал, чтоб проводить ее, подошел к сельсовету и видит: дивчина спустилась с крылечка с тазом грязной воды, выплеснула таз под куст дикой маслины и стала развешивать на перилах мокрые тряпки. Секретарь изумился. Что это? На прощание она еще вымыла в библиотеке пол!

Секретарь взволнованно глядел на нее и сказал сконфуженно:

— К сожалению, товарищ, мы не можем заплатить вам за вашу работу, у нас на это не отпущено средств.

— Я же вам сказала,— я и не прошу. До Алушты хватит денег дойти. А там устроюсь работать на виноградниках. Два рубля за день. Проработаю с неделю,— четырнадцать рублей. Работу на виноградниках я знаю.

Секретарь подумал и сказал:

— Ну, хоть вот что: мы вам выдадим справку от совета, что вы здесь три дня занимались самой интенсивной общественной работой. Вы ведь знаете,— такая справка очень сейчас важна, особенно для учащихся.

Она поглядела ему в глаза, засмеялась, махнула рукой и, с заплечным мешком на спине, зашагала по шоссе к Судаку.

Через две недели состоялось общее собрание членов общества шефства дачного поселка над деревней. Избра-

но было исполбюро в составе семи человек из наиболее активных дачников и крестьян. Через неделю собралось исполбюро, выбрало председателя, секретаря и постановило выработать план работ. Через две недели собрались снова, обсудили план и постановили: ввиду окончания лета и начинающегося разъезда дачников отложить работу до начала будущего сезона, а тогда взяться за дело с максимальной энергией.

VIII

1

БУКЕТЫ

В учительской комнате женской гимназии сидело несколько учителей. Старый учитель математики сказал:

— Андрей Владиславович меня зовут. Никогда не встречал другого человека с таким именем-отчеством.

Недавно переведшаяся в школу учительница истории, тоже сильно пожилая, возразила:

— Ну, это не удивительно. Отчество ваше — у нас, русских, довольно редкое. Но вот странность: и имя и отчество у меня самые обыкновенные,— Наталья Александровна,— а я тоже до сих пор никого не знала с таким именем-отчеством.

Старый математик мечтательно сказал:

— Нет, я знал одну Наталью Александровну. Это была моя первая любовь. Наташа Козаченко.

Учительница с удивлением сказала:

— Простите, я вас никогда не встречала, а моя девическая фамилия — Козаченко.

Математик пренебрежительно оглядел ее.

— Нет, это были не вы. Может быть, родственница ваша. Гимназистка, чудесная девушка с русой косой и синими глазами.

— Это в Киеве было?

— Да.

— Она жила на Трехсвятительской улице?

— Да, да!

— Так это была я.

Он пристально смотрел на нее, и, как сквозь сильно запотевшее стекло, сквозь темное морщинистое лицо

с потухающими глазами проступило лицо прежней синеглазой Наташи Козаченко.

— Да, да... Ведь верно... Это, значит, вы и есть!..

— Но все-таки... Я вас не знала.

— Ну, фамилию-то должны знать. Я вам каждый день присылал по букету роз, у меня в саду чудесные розы росли. Самые срезал лучшие.

— Букеты мне приносил гимназист Владимир Канчер.

— Ну, да! От меня.

— Он этого не говорил.

— Как?! — Старик ударил себе по лбу.— От своего лица, значит?

— Да.

— Вот подлец!

2
ИСПЫТАНИЕ

Евгения Николаевна и Валя — большие друзья. Живут в соседних комнатах. Евгения Николаевна — пожилая, солидная, очень положительная. Служит счетоводом. У нее — девочка Танюшка, десяти лет, хроменькая и мало одаренная. Валя — студентка математического факультета. Однако фантазерка отчаянная.

Вечер. Сидят вместе и пьют чай. Вдалеке за дворами большой дом, в крайнем окошке верхнего этажа светится огонек. Валя мечтательно смотрит и говорит:

— Там сидит студент, проходит анатомию. Перед ним лежат кости черепа...

— Вздор! Ничего ты отсюда не можешь видеть, чем он занимается!

— Занимается анатомией. Открылась дверь, вошла девушка с тремя веточками мимозы. Подошла тихонько сзади, одной рукой закрыла ему глаза, а другою поднесла к носу цветы...

— Да будет тебе! Как будто отсюда что-нибудь можно видеть!

— А он вдруг сердито вскочил, вырвал цветы и — вот мерзавец! — швырнул в сторону.

Евгения Николаевна с любопытством:

— А она что?

— Села в угол, закрыла ладонями лицо и плачет.

— Э, вздор! Выдумки одни!..

Танюшка пошла в школу на экзамен по арифметике. Она особенно слаба по арифметике. Мать и Валя взволнованно ждут ее возвращения. Евгения Николаевна вздыхает:

— Только бы ей не попались именованные числа!

Валя торжественно говорит:

— Женя! Согласилась бы ты влезть в ванну с тараканами, чтоб Танюшка выдержала экзамен?

— Э, вздор какой!

Евгения Николаевна панически боится больших черных тараканов.

— За это по всем предметам Танюшка блестяще выдержит экзамены.

— Ну, Валя, что за ребячество! Что может измениться от того, что я сяду в ванну с тараканами?

— Нет, не с тараканами, а на тараканов.

— Как это на тараканов?

— Тараканы в ванне будут большим слоем, и ты прямо должна сесть на них.

— А... какой высоты слой?

— Ну, как всегда воду наливают в ванну. Ты сядешь, они под тобою затрещат, задергают лапками, из них поползет белая кашица...

— Какая дикая фантазия! Будет тебе! Что за вздор!

— Танюша зато станет очень способной, будет первой ученицей в классе.

— А как в ванну нужно сесть — одетой или раздетой?

— Совершенно раздетой! Тараканы испугаются, заметутся, побегут по рукам, по плечам, по голове...

— А сколько времени сидеть?

— Четверть часа. Танюшка зато станет совершенно здоровая, красивая. Хромота исчезнет.

Евгения Николаевна быстро поднялась, взволнованная, красная, с блестящими глазами, и решительно сказала:

— Хорошо! Согласна!..

3

На южном берегу Крыма.

Он. Ах, да! Я тебе, кажется, не говорил. Мы завтра идем на Ай-Петри.

Она. И я тоже пойду.

— Твое дело.

— И Танюшку возьмем.

— Ну, вот еще! Отстанет,— возиться с нею!
— Отстанет,— домой воротится.
Молчание.
— А кто же идет?
— Да все та же компания.
— Какая та же?
— Ну, все эти... Неприятно, что Платонов будет: больно болтлив. Зато другие двое молчаливые.
Молчание.
— И Надежда Осиповна будет?
— Ну конечно. Она же все и затеяла. Разве я тебе с самого начала не сказал?
— (Кротко.) Нет, этого именно ты не сказал.

4

Была няня. Вырастила она двух сестер. Обе вышли замуж. И обе приглашали старуху нянею к своим детям. Она никак не могла решить, к которой из двух пойти. Отправилась к гадалке. Пришла от нее вполне удовлетворенная.
— Что же она тебе сказала?
— А сказала она мне вот что: «Иди, милая, к той, к которой тебе хочется!»
— К которой же тебе хочется?
Няня уперла правый локоть в левую ладонь, подбородок в правую ладонь и скорбно задумалась.
— Да... А вот к какой же мне хочется?..

5

— Сейчас я одну индийскую сказку прочел. Царь осудил своего министра на смерть, посадил в высокую башню. Ночью пришла к нему жена. «Могу тебе как-нибудь помочь?» — «Хочу бежать. Завтра рано утром принеси сюда длинную веревку, моток ниток, моток тончайшего шелку, таракана и немножко меду...»
— Таня, не ешь руками ветчину.
— Да, так вот, таракана и немножко меду. Принесла. «Крепко привяжи к таракану шелковинку и помажь ему медом усы...»
— Ты ветчину еще будешь есть?
— Нет.
— А то возьми, вот кусочек очень хороший.

— Да не хочу я!
— Чего ты злишься?
— Ничего не злюсь.
— Ну и что же? Помазала таракану усы?..
— Да. Помазала усы таракану. «Теперь, говорит, посади его на стену башни, усиками кверху...»
— Ах ты господи! Всегда ты окурки в блюдечко суешь! Возьми, вон пепельница. Потом всегда блюдечки табаком пахнут, какая гадость!
— Да я не окурок, я только пепел сбросил.
— Все равно табаком будет пахнуть.
— В пепле табак перегорел, он не пахнет.
— Ну что же дальше? Посадила таракана на стену...
— А ну вас к черту. Тьфу! (Ушел.)

6

Жена. Если тебе ночью захочется воды, то вон на столе стакан молока.

Муж. Гм!.. А если тебе ночью захочется вина, то вон под столом жестянка с керосином.

7

— Я вас давно заприметил, сразу вижу: умный человек. А меня, знаете, вопросы всякие мучают, хочется ответ услышать от умного человека. Можно вас спросить?
— Пожалуйста!
— Позвольте узнать: «включительно» — когда можно сказать? Можно сказать: «Дверь запирается включительно»?
— Нет, нельзя.
— (С грустью.) Нельзя-с?.. Ну, благодарю вас.

8
СРОЧНЫЙ РАЗГОВОР

В сельском почтовом отделении. Солнце печет, в окна облаками несется пыль. По полу бродит курица. Почтальон, скуластый парень с огромным золотистым чубом, уж полчаса отчаянно вертит ручку телефона и кричит на всю площадь. Вошла баба, спросила конверт с маркой. Он отпустил — и с новой энергией завертел ручку. И завопил:

— Касимов?! Что?! Соедините с Давыдовом, строчный служебный разговор!.. В Вышгород? В Вышгород не дозвонишься!.. Что? Служебный, говорю, разговор, строчный! Не терпит промедления!

Наконец дозвонился. Лежит на столе, дрыгая ногою, и ведет разговор:

— Ждите третьего числа, еду в отпуск!.. Либо письмо напишу, либо дам телеграм, когда приеду... Йисть-то, йисть-то есть у вас чего? Шамать? Что?.. А? Та-ак!.. Полботинки? Ага, хорошо! Сороковой? Черные или желтые? Черные или желтые? Черные? Ладно! Передай там привет Мокею Васильичу... Ну?! Здесь?! Давай его сюда!.. Мокей Васильич? Здорово! Ну как живешь? Ничего? Как торговлишка идет? Хорошо? Угощенья готовь побольше! Четверть красного!.. Ну, пока! А то перерывают,— строчный, говорят, разговор!.. Жениться еду, готовьте кой-чего!

9

Поступила к нам однажды кухарка,— богомольная старушка с лисьим лицом. Весь наш домашний уклад вызывал в ней негодование и отвращение. Она смотрела злыми глазами, отвечала неохотно и ушла, не дожив и месяца.

Горничной у нас в то время служила девушка лет шестнадцати, Оля. Она, плача, прибежала к жене и в ужасе сообщила:

— Что будет! Что будет!.. Анисья в соседней квартире сидит у кухарки и пишет на всех нас — фельетон в газету!.. Я-то за что туда попала! Ой, батюшки, что будет?!

— Что же она там пишет?

— А пишет так: жена нашего хозяина — дура! Энергична!! Симпатична!!! Только утром встанет, сейчас же скок, все форточки настежь, белье постельное разбросает по стульям. И ходит сквозняк по всей квартире, тепло выдувает... Ни в одной комнате ни одной иконки. Войдешь вечером в комнату, пустишь свет, чертенята так по углам и кинутся, только хвостики мелькают... А барин наш, тот уж совсем дурачок. На службу не ходит, сидит у себя в комнате и только знай на картах гадает. (Отдыхая от работы, я раскладывал пасьянс.) Надоест гадать — начнет что-это писать. Письма, что ли! Пишет, пишет! И о чем только пишет, неизвестно!.. Вечером придут гости. С полчаса просидят без скандала, а потом вдруг ругаться начнут.

Спорят, кричат, руками махают! Чуть до драки не доходит... И так каждый раз, как ни сойдутся... Ой, беда, что же это будет! Об вас-то она все правильно пишет, а я-то за что в газету попаду?

К нашему, а особенно к Олиному счастью, фельетон в газетах почему-то не появился.

10

Зимой 1906/07 года, в Москве. В актовом зале университета происходило заседание Общества любителей российской словесности. Читали И. А. Бунин, я и еще поэты, не помню какие.

Я читал свой рассказ из русско-японской войны. «В мышеловке». В нем описывалась жизнь передового нашего люнета, тщеславием корпусного командира выдвинутого без всякой надобности далеко вперед к вражеским позициям. Солдаты этот люнет прозвали «Мышеловкой».

Читал я в то время очень плохо, голос у меня не был поставлен, я не умел его приноравливать к акустическим условиям помещения, дикция была плохая. А акустика актового зала была очень неважная.

Начал я читать. Как я потом узнал, ничего в моем чтении нельзя было разобрать, слышно было только:

— Бу-бу-бу-бу...

Когда я поднимал глаза, я видел мучительно вслушивающиеся лица, ладони, приставленные к ушам. Потеряв надежду что-нибудь услышать, слушатели стали потихоньку разговаривать.

Ночью происходит смена охранения люнета. Все идут, затаив дыхание. Когда спускались в окоп, один солдат зацепил прикладом за котелок. Ротный грозно зашипел:

— *Тише вы, черти!*

Эти слова раздельно пронеслись по всему залу. Разговаривавшие испуганно взглянули на меня и сконфуженно замолчали.

И опять потекло ровное, томительное: «бу-бу-бу-бу», гулко отражаемое гладкими стенами зала. Минут двадцать тянулось чтение. Слушатели окончательно потеряли терпение. Потихонечку, один за другим, стали они подниматься и на цыпочках, балансируя руками, выходили из зала.

В люнете командир роты убит японскою пулею. Солдаты взволнованно затеснились к трупу, напирали друг на

друга и вытягивали головы. Младший офицер, к которому перешло командование, властным голосом крикнул:

— *Куда поперли? По местам!*

Выходившие так и замерли.

11

На одном кладбище Тульской губернии я списал такую эпитафию:

Природный нрав свой укрощая,
Была ты мужу верная жена,
А детям — мать родная.

12

— Мне доктора не хотели сказать, какая у меня болезнь. А когда они ушли, я сам прочел в больничном листе. Оказывается: диагнòз.

13

У публициста Г. А. Джаншиева, автора в свое время очень известной книги «Эпоха великих реформ», на часовой цепочке висела в виде брелока серебряная итальянская монета лира.

— Это я получил за пение,— объяснил Джаншиев.

— Вы поете?

— Нет. Ни слуха, ни голоса...

— Так как же?

— Вот как. Был я в Италии. Раз во Флоренции поехал на извозчике осматривать Фьезоле. Извозчик на козлах все время поет-заливается. Потом вдруг оборачивается ко мне и протягивает шляпу: «Я вам пел».— «Да я вас вовсе не просил». Начинает скандалить, кипятиться. Дал ему две лиры. Едем дальше. Я начал во все горло петь. Попел, потом толкаю извозчика в спину и протягиваю ему шляпу: «Я вам пел!» Он изумленно взглянул, усмехнулся, достал кошелек и положил мне в шляпу лиру. Вот с тех пор я ее и ношу.

14

Дачный поселок Коктебель лет тридцать назад состоял всего из двадцати пяти, тридцати дач. Там имели дачи поэт Волошин, артистка московского Большого театра Дей-

ша-Сионицкая, поэтесса Соловьева-Аллегро, детская писательница Манасеина, артист петербургского Мариинского театра бас Касторский, искусствовед Новицкий, известный публицист, бывший священник Григорий Петров и др.

Среди дачников представительницею порядка, благовоспитанности и строжайшей нравственности была М. А. Дейша-Сионицкая. Представителем озорства, попрания всех законов божеских и человеческих, упоенного «эпатирования буржуа» (ошарашивания мещанина) был Максимилиан Александрович Волошин, или, как его все называли, Макс Волошин. Он был грузный мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни; ходил в длинном древнегреческом хитоне, с голыми икрами и с сандалиями на ногах. Вокруг него группировалась талантливая местная и приезжая молодежь. Сами они называли себя «обормотами» и яро враждовали с благонравною частью населения, возглавлявшеюся Дейша-Сионицкою.

Энергией и хлопотами Дейша-Сионицкой в Коктебеле было основано общество благоустройства поселка. До этого времени мужчины и женщины купались в море где кто хотел, и это, конечно, было для многих женщин очень стеснительно. Теперь пляж был поделен на отдельные участки и на границах их поставлены столбы с надписями: «для мужчин», «для женщин». Один из таких столбов пришелся как раз против дачи Волошина. Волошин выкопал столб, распилил на дрова и сжег. Дейша-Сионицкая как председательница общества благоустройства написала на Волошина жалобу феодосийскому исправнику Михаилу Ивановичу Солодилову.

Исправник прислал на имя «Макса Волошина» грозный вапрос, на каком основании он позволил себе такое неприличное действие, как уничтожение столба на пляже. Волошин ответил: во-первых, его зовут не Макс, а Максимилиан Александрович. Правда, друзья называют его «Макс», но с исправником Солодиловым он никогда брудершафта не пил. Во-вторых, он, Волошин, считает неприличным не свой поступок, а водружение перед его дачею столба с надписями, которые люди привыкли видеть в совершенно определенных местах.

Суд присудил Волошина к штрафу в несколько рублей.

Волошин обладал изумительною способностью сходить-

ся с людьми самых различных взглядов и общественных положений. Он был в дружеских отношениях с тогдашним таврическим губернатором Татищевым. Однажды, вскоре после вышеописанного происшествия со столбом, жена губернатора, проездом из Феодосии в Судак, заехала к Волошину и обедала у него. Исправник же Солодилов, как тогда полагалось, дежурил у ворот дачи при губернаторской коляске. Губернаторша вышла, радушно простилась с Волошиным и уехала. Солодилов подошел к Волошину, дружески взял его под руку, отвел в сторону и сказал:

— Максимилиан Александрович! Вам тогда не понравилось, что я назвал вас Максом. В таком случае, пожалуйста, называйте меня — Мишей.

15

СУД СОЛОМОНА

В Западном крае до недавнего времени еще существовали у нас патриархальные еврейские местечки, где раввин был для местного населения не только посредником между людьми и богом, но был и судьею и всеобщим советчиком. Во всех спорах и ссорах благочестивый еврей прибегал к его суду.

Поссорились две еврейки, жившие в одном доме: сушили на чердаке белье, у одной пропало несколько штук, она обвиняла в пропаже соседку, та в ответ стала обвинять ее. Крик, гвалт, никто ничего не мог разобрать. Женщины отправились к раввину.

Старик раввин внимательно выслушал обеих и сказал:

— Пойдите и принесите сюда каждая свое белье.

Женщины принесли. Раввин объявил:

— Пусть это полежит у меня до утра, а утром придите, и мы попробуем разобраться, в чем тут дело.

Утром пришли женщины, пришло и много других евреев,— всем интересно было поглядеть, как рассудит раввин это мудреное дело. Раввин сказал:

— Роза Соломоновна! Ревекка Моисеевна! Я знаю вас обеих как почтенных женщин и благочестивых евреек. Не может быть, чтобы которая-нибудь из вас пошла на воровство. Но, может быть, одна из вас по рассеянности сняла с веревки пару штук белья соседки. Переберите каждая еще

раз, здесь, у нас на глазах, свою кучу и посмотрите, не попало ли в нее случайно чужое белье.

Роза Соломоновна гордо и уверенно стала разбирать свою кучу. Вынула простыню,— вдруг побледнела, потом покраснела и низко опустила голову.

— Это... это не моя,— сказала она со стыдом.

— Вот ка-ак! «Не ваша»? — торжествующе воскликнула Ревекка Моисеевна.— А какой вы делали скандал, как позорили честных людей!

Судья приказал:

— Смотрите дальше.

Краснея от волнения и стыда, Роза Соломоновна еще отложила в сторону полотенце, мужскую сорочку и произнесла упавшим голосом:

— Это тоже не мое.

— Тоже не ваше? Господин раввин, вы сами теперь видите...

Раввин бесстрастно прервал вторую женщину:

— Переберите теперь вы свою кучу и посмотрите, нет ли и у вас чужого белья.

— Извольте. Только я заранее ручаюсь: чужого белья у меня не найдете. Я не из таких, мне чужого не нужно, оно бы мне жгло руки... Ну и конечно же! Вот. Ничего нет чужого. Все мое.

— Все только ваше?

— Только мое.

Судья обратился к первой женщине, горестно ждавшей позорного осуждения, и приказал:

— Переберите кучу вашей соседки и выберите из нее ваше белье.

Все были в изумлении. Первая женщина отобрала из кучи несколько штук и радостно сказала:

— Вот это мое. И это мое.

— Возьмите. Это вправду ваше.

Вторая женщина в негодовании завопила:

— Как — ее?! Позвольте...

Но судья строго сказал:

— В каждую кучу я ночью подложил по нескольку штук моего собственного белья. Роза Соломоновна даже не побоялась осуждения и честно созналась, что белье не ее. А вы, Ревекка Моисеевна,— если вы и мое белье объявили своим, то, значит, еще легче могли объявить своим и белье Розы Соломоновны.

16

В Дагестане существует около тридцати пяти совершённо различных языков. Есть аулы, говорящие на своем отдельном языке, которого даже соседние аулы не понимают. Языки эти еще очень мало изучены. Один профессор-лингвист изучал их, пользуясь в разговорах русским, арабским и аварским языками. Желая выяснить, как в одном из этих языков образуется прошедшее время, он попросил собеседника написать такую фразу:

Я дал тебе вчера сто рублей.

— Написал?

— Написал.

Но профессор никак не мог разобраться в написанной фразе. Обратился за разъяснением к другому. Оказалось, первый написал:

Никаких ста рублей ты мне не давал.

17

— Сколько яблоко стоит?

— Рубль.

— Штука?!

— Ну да!

— И находятся такие дураки, что покупают?

— Нет дураки спросят и дальше идут

18

В Крыму. Едем на извозчике в «Новый свет» под Судаком. Спрашиваем извозчика о тропинке к гроту,—есть ли там опасные места.

Татарин-извозчик: Не-е! Одна место страшно, так нестрашно!

19

Председатель ревкома в маленьком городке южной России в годы гражданской войны.

— Заведовал у нас санитарною частью парнишка один, тоже, как я, из рабочих. Приходит ко мне. «Знаешь, говорит, что я надумал? Сады чтоб все в городе разводили, для хорошего воздуху».— «Нет, говорю, это не экономно». А я уже тогда слыхал, что наука такая есть, политическая экономия,— как раз на такие дела. Говорю ему: «Война, везде деревья рубят, а ты сажать. Затопчут. Ты лучше мостовые чини».— «Ладно!» Стал я думать: нужно полити-

ческую экономию читать. Достал Богданова «Краткий курс экономической науки». Ничего не понимаю. Созвал ребят: давайте вместе читать, авось поймем; узнаем, что экономно и что не экономно, например, насчет садов и мостовых. Там сразу узнаем, что тут самое первое. Вместе стали читать,— все равно ничего не понимаем. Посмотрели,— написано: 1906 год. Ну, потому не понимаем, что устарела. Решили: давайте сами напишем книгу, что экономно и что не экономно. Только так и не собрались: много было дела.

20

Я спросил пожилую работницу:

— Вы в бога верите?

— Как вам сказать? Отчего бы ему, думается, и не быть. А только уж очень он какой-то... бессильный. Как его большевики обижают! Из церквей повыгнали, а он,— ничего! Разве только сезонника стенкой придавит, когда церковь разбирают. Я на той неделе видела — к больнице парня привезли, из-под стенки вынули. До чего ужасно смотреть! А разве он тому виновен? Не пошел бы, его бы с учета сняли.

IX

1

Ты любишь жить вкусно, но поваром своей жизни быть не умеешь.

2

Он не переваривал лжи, но от правды приходил в бешенство.

3

Этот человек горд и самолюбив, милостыни никогда не попросит. Предпочитает брать взаймы без отдачи.

4

Подошла к трамвайной остановке женщина. Лицо совсем раздетое: как ругалась в кухне с соседками из-за коптящего примуса, таким лицо и осталось. Нужно же одевать лицо, когда выходишь на люди!

5

Вдали, на горизонте, грозовые тучи кажутся гораздо чернее и страшнее, чем над головою.

6

Сколько термометра ни нагревай, в комнате теплее не станет.

7

Если ты не умеешь вывести у себя клопов, то по крайней мере не дави их на обоях.

8

В тридцатых годах прошлого века один кавказский генерал так отозвался о неудачном укреплении, построенном его предшественником: «Я узнаю моего умного предместника. Если человек большого ума задумает сделать глупость, то сделает такую, какой все дураки не выдумают». (Воспоминания Г. И. Филипсона, Русский архив, 1880, № 6, стр. 243.)

9

Он за нею не ухаживал, а так — появлялась в ее присутствии легкость движений.

10

Постепенно возникла между ними любовь. Она при встречах неудержимо хорошела, он неудержимо потел.

X

РАССКАЗЫ О ДЕТЯХ

(Очень коротенькие)

1

— Отчего ветер?

— Вот глупая! Не видала? Деревья качаются,— оттого и ветер.

— Какое большое дерево! Когда закачается,— вот будет ветер! (Подумав.) А кто деревья качает?

— И этого не понимаешь? Бог!

Тогда все стало ясно.

2

Образ в церкви: голова Иоанна Крестителя на блюде. Маленький мальчик, благоговейно:

— Весь умер, только голова осталась.

3

— Соня, у тебя есть папа?
— Есть.
— А зачем у тебя еще крестный папа?
Она подумала и быстро ответила:
— Запасной.

4

— Ну, Сергунька, не гляди по сторонам, повторяй за мной: «Спаси, боже, папу, маму, братьев, сестер и всех людей. Подай, боже...»

— Что, мама, все «подай» да «подай». Ему, наверно, уж надоело. Дай я ему лучше песенку спою.

И запел, глядя на образ и благоговейно крестясь:

Матчиш — хороший танец,
Кэк-уок — вроде,
Его привез голландец
В своем комоде.

Мать, давясь от смеха:
— Сергунька! Где ты такой песне научился?
— Агаша меня научила.

5

С ним же. Утром проснулся, стал рассказывать матери сон. Путает, плетет,— сразу чувствуется, что выдумывает. Старшая сестренка Наташа крикнула из соседней комнаты:
— Сергунька, ты все врешь!
— Ты почем знаешь?
— А я тоже этот самый сон видела.
— А-а...
Он сконфуженно прикусил язык.

6

— Почему в молитве «Отче наш» все слова русские, а одно слово французское?

— Что за вздор ты говоришь! Где французское слово?

— А как же! «Отче наш, иже *иси* и на небеси».

7

— Как тебя звать?
— Юра, а по батюшке — Георгий!

Отец с отчаянием:

— Юрка, ну что ты за дурак такой! Как твоего отца звать? Ведь Сергей!

Юра, покраснев:

— А как же, когда меня батюшка в церкви приобщает, он меня называет Георгий?

8

Идет по улице чиновник с портфелем, синий вицмундир с золотыми пуговицами, голова начисто обрита, круглая, синевато-серая. Мальчик, пораженный:

— Это сам государь идет?

— Нет, просто дядя.

— А я думал — сам государь-император.

9

Я тогда жил в Туле. У нас жил маленький племяш Воля,— мать его, революционерка, была за границей, в Швейцарии. С ребенком ей было трудно, и она прислала его нам. Привезли его в августе. Он чудесно говорил по-немецки, с характерным швейцарским выговором, и почти не понимал по-русски. В середине зимы он говорил только по-русски.

Однажды утром ко мне входит в кабинет жена, ведет за руку упирающегося Волю и взволнованно говорит:

— Вот, дядя Витя, послушай-ка! У Воли есть хорошая новая синенькая шубка, старая ему теперь совсем не нужна. Пришла к нам бедная, больная прачка Марья Ивановна, с мальчиком Васей. У Васи совсем нет никакой шубки. Одет в какую-то рваную кофту, руки синие, весь дрожит. Я ему хотела отдать старую Волину шубку, а Воля разревелся, топает ногами, кричит: «Нельзя отдавать шубку, она моя!»

Я нахмурился.

— Как же это ты, брат, а? Неужели тебе не жалко Васю? На дворе мороз, ветер, а он раздетый. Ведь ему холодно. А у тебя лишняя шубка висит, и совсем тебе не нужна.

Воля стоял насупившись, на пушке розовой щеки висела блестящая слезинка. Он молчал и смотрел упрямыми глазами.

Я с упреком покачал головой.

— Ну, скажи,— а если бы мы с тетей Марусей так поступили с тобой? Выгнали бы на мороз в одной курточке,

заперли бы дверь. Воля ходит, ему холодно, руки стали синие. Пришел, позвонился. Дядя Витя ему открыл: «Чего тебе надо?» Воля говорит: «Мне холодно!» — «А нам какое дело? Холодно так холодно. Пошел вон!» И запер дверь.

Воля, подняв брови, обдумывал создавшееся положение. Вдруг он с вызовом сказал:

— А Воля опять позвонился!

— Ну, дядя Витя опять открыл, спрашивает: «Опять ты? Чего тебе надо?»

Воля топнул ногою и крикнул:

— Отдай мне новенькую синенькую шубку! Это моя шубка!

Пряча улыбку, я ответил сурово:

— Нет, это не твоя шубка, ее тебе сшила тетя Маруся,— думала, что ты хороший мальчик. А злому, жадному мальчику она не стала бы шить. Уходи!

Мы долго усовещивали Волю. Наконец он смирился, печально вздохнул и сказал:

— Ну, хорошо! Ну, отдайте.

После обеда Воля пришел ко мне в кабинет. Он всегда после обеда приходил ко мне в кабинет,— я лежал на диване с газетой,— садился мне на живот и говорил:

— Ну, расскажи сказку.

Я спрашивал:

— Про что же тебе рассказать?

— Ну... Ну... Расскажи... про корову.

И я начинал фантазировать про корову: был маленький мальчик Воля, к нему пришла в гости соседняя девочка Таня. Они играли на дворе. Тетя Маруся им сказала: «Только, детки, не ходите на улицу». А они не послушались и вышли. Вдруг видят, идет корова. С большими острыми рогами. Мычит,— му-у! му-у! — и мотает головой. Дети побежали, корова за ними. Бегут, бегут. Устали. А корова все ближе. Танечка споткнулась и упала. Корова налетела на нее и стала бодать рогами. Девочка кричит: «Ай! ай!» — льется кровь, а корова рогами еще, еще! Потом бросила Танечку, побежала дальше за Волей. А у Воли уж нет больше сил, он не может бежать. Оглянулся,— корова все ближе, все ближе...

Воля с ужасом слушал, вдруг быстро зажимал мне рот рукою и спешил вывести мораль, пока корова еще не добралась до него:

— И тогда дядя Витя сказал: «Вот видишь, всегда нуж-

но слушаться тетю Марусю. Никогда больше не ходи со двора на улицу».

Он больше любил сказки без морали,— вроде, например, про стулья, как они ночью, когда Воля спит, выбегают в сад, играют там в снежки, катаются на салазках, или про башмаки, как они ночью поссорились, как один убежал в столовую и заснул под диваном,— там его утром и нашли. Для Воли это были не выдумки, он все принимал всерьез и смотрел днем на стулья и башмаки, как на существа, живущие таинственною, недоступною его глазам ночною жизнью.

Теперь, как всегда, Воля тоже уселся мне на живот и сказал:

— Ну, расскажи сказку!

Я стал рассказывать:

— Жил на свете маленький мальчик Воля. Тетя Маруся сшила ему хорошую новую синюю шубку. Прежняя, старенькая, ему была уже не нужна. Пришла бедная прачка Марья Ивановна с мальчиком Васей. У него совсем не было шубки. Тетя Маруся хотела ему отдать Волину старую шубку, но Воля не дал. Вася пошел домой и заплакал. Было холодно, дул ветер, мальчик весь дрожал. Воля смотрел в окошко, и ему не было стыдно. После завтрака он пошел с Акулей гулять. Воля, как он часто делает, побежал вперед. Акуля ему кричала: «Воля! Не убегай так далеко!» Но Воля не слушался. Забежал за угол, побежал дальше, еще повернул за угол. Оглянулся,— Акули нет. Улицы незнакомые. Как домой пройти? Он не знает. Стало темнеть...

Воля часто задышал и встревоженно слушал.

— Все темнее становится. Людей на улицах нету. Улицы какие-то темные, без фонарей. Только снег кругом белеет. Над заборами гудят голые деревья. Вдруг навстречу идет большой черный мужчина. Увидел Волю (зловещим басом): «А-а, какая у этого мальчика хорошая синяя шубка! Она и мне пригодится!» Поймал Волю, снял с него шубку и ушел. Воля остался в одной курточке. Холодно ему, руки озябли, мороз кусает уши и нос. А кругом все темнее и темнее...

— Вольфы кричат! — с плачем подсказал Воля: вдруг у него из памяти вынырнуло немецкое слово.

— Волки воют: уу-у! уу-у! Все ближе, ближе. Воля бросился бежать. Бежал, бежал... Вдруг видит — огонек. Он

подошел,— домик. Воля позвонился. Вышла девочка. «Чего тебе, мальчик?» — «У меня нету шубки, мне очень холодно. Посмотри, какие у меня красные руки; как уши распухли... Мне холодно! Холодно!»

Глаза Воли налились слезами. Он дышал, всхлипывая, робко смотрел и ждал.

— Девочка говорит: «Ну, что ж, тогда зайди к нам, обогрейся. И знаешь, что? У меня всего только одна шубка, но как же быть? Ведь тебе холодно. Надень мою шубку. И я тебе объясню, как пройти домой. Ты где живешь?»

Воля поспешно ответил:

— Гоголевская улица, дом Смидовичев.

— «Ну вот. Обогрейся, отдохни, и пойдем».

Воля просиял и, улыбаясь, поправил на себе штанишки.

— Вдруг входит мальчик Вася. Увидел Волю и спрашивает девочку: «Ты ему шубку даешь? А ты знаешь, какой это мальчик? Это мальчик Воля. У него было целых две шубки, а у меня не было никакой. Мне было очень холодно, а он мне не дал». Девочка посмотрела на Волю...

Я грозно взглянул на него. Воля втянул голову в плечи, прикусил губу и исподлобья уставился на меня.

— «А-а! Ты тот самый жадный и злой мальчик Воля? Когда самому холодно,— просишь шубку, а когда другим холодно,— тебе все равно? Ничего тебе не будет. Пошел вон!» И пошел Воля опять на улицу. Еще стало темнее, еще холоднее...

Воля разрыдался.

— Долго еще ходил Воля по улицам. Наконец увидел человека, думал,— опять черный жулик, хотел бежать. Смотрит, это дядя Витя. Дядя Витя привел его домой и сказал: «Видишь, Воля! Когда мы помогаем другим, то и другие нам помогают. А когда мы жалеем отдать что-нибудь другим, то и другие нам ничего не дадут».

Назавтра после обеда Воля опять, как всегда, пришел ко мне, сел мне на живот и сказал:

— Ну, расскажи сказку! — И поспешно прибавил: — Про стулья!

Но я сказал:

— Нет, про шубку.

И стал рассказывать:

— Был маленький мальчик Воля. Тетя Маруся сшила ему новую синюю шубку, а у бедного мальчика Васи шубки не было...

В глазах Воли мелькнуло страдание. Он насупился и скорбно стал слушать.

— Тетя Маруся сказала Воле: «Отдай ему старую шубку, она тебе теперь не нужна». Воля сказал: «Ну, конечно! Зачем же мне старая, если у меня есть новенькая? Отдадим старую шубку Васе, у него ничего нет, ему холодно»...

Воля облегченно вздохнул, поплотнее уселся на моем животе и с интересом стал слушать.

Я опять рассказал, как Воля пошел с Акулею гулять, как заблудился, как черный мужчина снял с него шубку, как Воля увидел огонек и пришел к девочке.

— Девочка сказала: «Ты озяб? Зайди к нам, обогрейся». Вдруг входит мальчик Вася...

Глаза Воли блеснули хищно и торжествующе. Он обеими руками зажал мне рот и докончил сказку:

— И тогда Воля ему сказал: «Сейчас же давай назад шубку, какую я тебе дал! Ишь какой! Мне теперь самому нужно!»

10

В комнате было темно. В соседней комнате накрывали ужинать. Я сидел с ребятами на диване и рассказывал сказку. Эту сказку я им уж много раз рассказывал, но они ее очень любят и все просят еще: ребята с дядей Витей пошли в лес, заблудились, остались в лесу ночевать, развели костер; заснули; вдруг вдали завыли волки. Все ближе. Ребята разбудили дядю Витю, и он прогнал волков.

На этот раз я конец изменил:

— Темно, тихо. Вдруг слышат вдалеке: уу-у, уу-у! Волки. Все ближе. Ребята стали будить дядю Витю: «Дядя Витя, вставай! Волки!» — «А-а?» — «Волки! Поскорей вставай!» — «Ка-кие вол-ки?» Зевнул, повернулся на другой бок и опять заснул. А волки все ближе, сучки трещат под их лапами, глаза меж кустов горят... «Дядя Витя, дядя Витя! Да проснись же! Смотри, волки совсем близко!» — «А? Не мешайте мне, пожалуйста, спать!»

Маленькая Женя встала с дивана и сказала шепотом:

— А волки-то все ближе. А дядя Витя все спит. Я уж лучше пойду

И на цыпочках ушла.

11

Таня начала раз такую сказку:

— Были воры. Они ели листья. И еще они ели сливы с косточками...

При чем листья и косточки? Вор — воплощение всего злого и недозволенного. А Тане строго запрещалось жевать листья и есть сливы с косточками.

12

— Я не люблю спать.
— Почему?
— Очень скучно.
— Как скучно?
— Если б я сны видел.

13

— Это кто?
— Мама.
— Кому?
— Моя.
— А это кто?
— Муся.
— Кому?
— Муся.
— Кому-у?
— Вот дурак! Сама себе. Никому.
— Никому...
Задумался.

14

— Это кто, сын Акулины?
— Нет, он ей больше уж не сын.
— Почему так?
— С бородой, с усами,— какой же сын.

15

— Маня, тебя как по батюшке звать,— Яковлевна?
— Нет, теперь уж нет.
— Почему?
— Умер он.

16

Трехлетний мальчик был болен, мать положила его спать с собой. Доктор стал строго выговаривать матери, что так она портит ребенка. Мальчик внимательно слушал и вдруг враждебно спросил:

— А почему же мама каждый день спит с папой и его не испортила?

17

Мать гуляла с Борей. С лаем бросилась на них собака. Боря испуганно заплакал.

— Не бойся, Борик, не плачь! Она не укусит... Не бойся!

— Да, говоришь: «Не бойся!» — а сама боишься! Я ведь вижу... Ай, мамочка!

18

Девочка — с прогулки на Гоголевском бульваре.

Отец:

— Памятник Гоголя видела?

— Видела.

— Что там Гоголь делает?

— Сидит... (Подумала.) Дожидается.

19

Я спросил Марину (пяти лет)

— Марина, как ты думаешь, сколько мне лет?

Она внимательно поглядела на меня:

— Двадцать восемь, двадцать девять, может быть, тридцать. А вернее всего — восемьдесят.

20

Ира (пяти лет). Ей очень интересно увидеть те части тела, которые тщательно скрывают под одеждой. С бесстыдством невинности поджидает подходящего случая. Несколько семей купалось вместе,— в купальных костюмах. Галя (взрослая) пошла в кусты, чтобы снять мокрые трусики и одеться. Ира последовала за нею. И вдруг закричала купавшемуся отцу:

— Папа, иди скорей! Галя голая! Иди скорей, а то опоздаешь!

Все хохотали. Отец, смеясь, отвечал из реки:

— Сейчас бегу!

— Да скорей же! Ну вот... Опоздал! Ведь кричала я тебе! Эх, ты!

21

Она же:

— Как хорошо, кто это придумал: летом цветут цветы, а осенью листья.

.22

— Как Мишку вчера лупили!

— Ну что ж! А я небось не плакал.

23

В Коктебеле, на своей даче, крашу перила лестницы, ведущей наверх. Вокруг вьется Зинка. Все время в движении,— прыгает, вертится, все ощупывает. Худенькая, голые ноги и руки — тонкие, как ниточки, круглая голова и оттопыренные уши,— совсем как дети рисуют девочек. На кончике вздернутого носа большая, смешная веснушка.

И все время одушевленно говорит:

— У нас, знаешь, где? — В Москве есть слон и звери все. Как называется? Зологи... Зологичешний сад! Ты был там? Курочки там, зайчики, хрюшки; еще там гуси. И еще там слон есть,— видишь дом этот? Еще большее.

— Ну, Зинка, врешь!

— О! Правда!.. И у него есть,— знаешь чево! Это не нос, а знаешь чево? — рука! Он отворяет свою, где он живет-то, спит? И яблоко может взять — и в рот себе. У него вот этот такой — вот так, а рот вот здесь.

Я отхаркнулся и плюнул за перила. Она замолчала, внимательно посмотрела — подошла к перилам, отхаркнулась и плюнула тоже. Потом заглянула в ведерко с краскою, озабоченно спросила:

— Не хватит краски?

— Хватит! Даже вот в этом соседнем доме можно бы все лестницы покрасить

— Знаешь чево? Мы туда пойдем, попросим их: «У нас много краски осталось, можно у вас лестницу покрасить?»

— Вот еще! Нам самим краска понадобится! Если они даже сами придут, попросят, скажут: «Покрасьте нам

лестницы!» — мы им ответим: «Нет-с, уж простите! Пойдите наймите себе маляров, красьте сами. А у нас нет времени этим заниматься. Что придумали, а?»

Зинка враждебно поглядела на дом и сказала:

— Ишь вы какие там!

На террасу соседней дачи вышел старик. Зинка не смогла сдержать негодования. Подбежала к оградке против террасы и крикнула старику:

— Делай сам! А мы тебе не станем! Ишь какой!

А мне стало очень стыдно.

24

Мы с нею знакомы с месяц. Сначала глядела зверьком, но потом сильно мы с нею подружились, и она от меня не отходила. Худенькая. Легонькая, как кукла. Я перекинул ее себе на плечо, потом спустил себе за спину головой вниз, держу за ноги. Она смеется быстрым, прерывистым смехом. Приседаю на корточки, говорю ей:

— Упирайся руками в землю, я тебя сейчас спущу...

Она не сообразила, как упереться, и ударилась локтем о землю. Вскочила, глаза блеснули испуганно и злобно, как у хищного звеpенка, которого было приласкали и вдруг ударили. Я спокойно и уверенно сказал:

— Это ерунда! Подумаешь! Чтоб мы из-за этого стали плакать! Вот еще! Это ерунда!

Со слезами на глазах она повторила:

— Это йеренда!

— Конечно, ерунда! Они думают, мы заплачем! Из-за такого-то пустяка! Как же!

— Это йеренда!

— Ерунда, и больше ничего!

Взглянула на локоть: кожа содрана, на содранном месте, как росинки, выступили капельки крови. Опять глаза блеснули враждебно и чуждо. Я продолжал:

— Что крови-то немножко выступило? Эка! Мы этого не боимся! Подумаешь!

Она засмеялась.

— Это йеренда!

Слово было для нее новое, но оно сразу стало на свое место. Вечером, за ужином, она оглядела струп на локте и еще раз сказала сама себе:

— Это йеренда!

25

— Все комар мне на лицо садится. Я так разозлился. Нацелился — бац его по морде!

— Кого?

— Комара.

— Может быть, себя?

Подумал.

— Ну, верно. Себя.

26

ИЗ ДНЕВНИКА

«Папа купил десяток яблоков. Сегодня вечером мы будем их есть в какой-нибудь комнате».

27

ИЗ ДРАМЫ, СОЧИНЕННОЙ МАЛЕНЬКИМ МАЛЬЧИКОМ

Марья Ивановна. Иван!

Лакей. Чего изволите?

Марья Ивановна. Скажите, чтобы запрягали коляску. Я поеду на дачу.

Лакей. Сударыня! Вы не можете ехать на дачу.

Марья Ивановна. Почему?

Лакей. Потому что у вас сегодня ночью родился сын.

28

Маленький, смешной карапуз, по прозванию Грач. На даче он нам подавал мячи на теннисе. И в мокрую и в холодную погоду — всегда босой. Одна гимназистка подарила ему свои старые башмаки. Он все ходит босой.

— Что ж ты, Грач, башмаков не надеваешь?

— Их только по праздникам носить: очень жмут.

29

Я снимал дачу на берегу Оки, верст за десять от Алексина. В этом же дачном поселке жил писатель Н. И. Тимковский. Однажды вечером сидели у нас Тимковские, пили чай. Вдруг маленькая Катя Тимковская говорит:

— Вчера в прошлом году мы жгли за рекой костер.

Почему — «вчера»? Не могла же она точно запомнить число. Да и было вовсе не вчера. В прошлом году они жгли костер в ночь на Ивана Купала, значит, 23 июня,— установить это оказалось нетрудным. А теперь было начало августа. Почему же вчера?

Наконец разобрались. В прошлом году, на следующий день, 24-го, Тимковские были у нас и рассказывали, как они *вчера* жгли костер. Кстати, оба раза было у нас за чаем дынное варенье.

30

— Леля, ты давно в Киеве живешь?

— Девять лет.

— А раньше где жила?

— А раньше я совсем не жила.

Хохот. Девочка удивлена и сконфужена.

31

Профессор писал у себя в кабинете. К жене его приехала из Сибири ее племянница с малышом сыном. Сидели в столовой и пили кофе. А мальчик пошел бродить по квартире. Вошел к профессору. Профессор изумился:

— Откуда ты, мальчик?

— А я недавно только родился.

32

— Мама, ты меня любишь?

— Когда ты хороший мальчик,— люблю, а когда нехороший,— не люблю.

Вздохнул.

— А я тебя всегда люблю.

33

Перед окном кондитерской. Маленький мальчик пристально глядит на пряник. Я спросил:

— Что, брат, хорош пряник? Давай-ка купим!

Он ответил басом:

— Денег нет.

— А мы давай вот что: поделим работу. Я пойду куплю, а ты съешь.

Он помолчал, подумал и сказал:

— Ну, ладно.

Так и сделали. И оба получили большое удовольствие.

34

На пляже. Отец, очень близорукий,— дочери:

— Дорочка! Видишь, вон там, на пляже, человек лежит. Пойди посмотри, кто это,— мужчина или женщина?

— Ах, папа, какие ты глупости спрашиваешь! Если бы одетый был. Он же раздетый. Как я могу узнать.

35

Мальчик Игорь. Всех изводил вечными надоедливыми вопросами «почему?». Один знакомый профессор психологии посоветовал:

— Когда надоест, отвечайте ему: «Потому что перпендикуляр!» Увидите, очень быстро отвыкнет.

Вскоре:

— Игорь, не лезь на стол!

— Почему?

— Потому что нельзя на стол лазить.

— Почему нельзя на стол лазить?

— Потому что ты ногами его пачкаешь.

— Почему ногами пачкаешь?

Строго и веско:

— Потому что перпендикуляр!

Игорь замолчал. Широко раскрыл глаза.

— Пек... пер... куляр?

— П-е-р-п-е-н-д-и-к-у-л-я-р! Понял? Ступай!

Так несколько раз было.

Дня через четыре. Утром входит Игорь.

— Игорь, почему ты не здороваешься?

— Не хочется.

— Почему ж тебе не хочется?

— Потому что я сердит.

— Почему сердит? Ах боже мой! Почему же ты сердит?

— Потому что перпендикуляр!

С большим трудом удалось отучить: во всех затруднительных случаях прикрывался перпендикуляром.

36

Утром ко мне в комнату врывается Глеб.

— Дядя Витя, вставай! Я уж гулял, гулял, а ты все спишь!

И расталкивает меня.

Спрашиваю:

— Солнышко есть?

— Нету. Только небо.

Весь кипит жизнью. Носится по комнате, упругий, как горячий уголек. Остановится то перед одной, то перед другой вещью.

— Это... это... это — щетка! А это — подушка! А это — одеяло! А это... это... Как это?

Он уже раньше спрашивал меня, а теперь себя экзаменует.

— Карандаш.

— Карандаш... А это?

— Табуретка.

Чувствуешь, какая колоссальная умственная работа совершается в этом маленьком мозгу, какое все время огромное происходит напряжение памяти: он непрерывно, усиленно учится,— жадно и так незаметно, играючи, с детски гениальною легкостью усвоения.

И весь день наблюдаешь эту напряженную работу восприятия и усвоения явлений жизни. Ни один взрослый мозг не выдержал бы такой работы и такой массы впечатлений.

Ходим с ним по садику дачи. В реденькой траве под березой — розовая сыроежка.

— Смотри-ка, это называется — гриб.

— Бып...

Новое слово сначала ложится только поверху. Потом глаза становятся пристальными, и он еще раз повторяет:

— Бып!

И как будто вдумывается в преодоленное слово. И еще раз, уже победителем, удовлетворенно:

— Бып!

Ходит по саду, садится на корточки перед каждым свинухом и каждою поганкою, внимательно вглядывается, как будто колдует, и говорит про себя:

— Бып!

Сижу с ним на скамейке в конце садика. Вдруг он медленно поднимает голову и пристально начинает вглядываться в ветки тополя над головой. Смотрит не отрываясь. Чего это он? Ничего особенного. Потом соображаю: для меня ничего особенного, а для него: вдруг неподвижные листья зашевелились сами собой, затрепетали, тревожно заговорили и зашумели.

А вечером на горизонте стоит огромное круглое яркокрасное солнце. И Глеб не может оторвать от него удивленных глаз.

Уложили спать, укутали одеяльцем. И вдруг он громко, раздельно:

— Бып!

Помолчал, подумал и еще раз повторил удовлетворенно:

— Бып!

37

В прекрасной книге Альбрехта Дитериха «Мать-земля» (A. Dieterich. Mutter-Erde. Ein Versuch über Volksreligion) читаем:

> У многих народов, исторически совершенно не связанных между собой, земля считается матерью всех людей: из нее они происходят и в нее возвращаются, чтобы из ее материнского лона снова быть рожденными для дальнейшей жизни. Но не только это. Первобытное мышление не в состоянии представить себе возникновения чего-нибудь, прежде не существовавшего: это было бы возникновением из ничего. Все вообще события вокруг первобытного человека представляются ему только бессвязным нагромождением чудес, я бы сказал,— магических актов. В частности, зачатие и рождение являются для первобытного человека именно таким чудом, таким магическим актом, как бы колдовски выводящим на свет нечто такое, что дотоле было где-то в другом месте. То, что возникает вновь, является откуда-нибудь, существовало раньше в каком-нибудь другом месте. Всякое новое возникновение понимается только как перемещение, как метатеза или метаморфоза. Сообразно этому характеру мышления, жизнь, «душа» является предсуществующею и вера в «переселение души» вполне соответствует всему строю первобытных религиозных воззрений. Душа приходит из земли; возвращается в землю, чтобы оттуда снова прийти для нового рождения,— и так все опять и опять.

У наших детей можно наблюдать процесс мысли, поразительно схожий с кругом воззрений, отмечаемых Дитерихом. Как будто маленький человек в умственных исканиях своих вкратце повторяет те этапы, которые были пройдены его далекими предками,— как зародыш человеческий повторяет в своем развитии те дочеловеческие стадии, ко-

торые человек прошел миллионы лет назад (биогенетический закон Геккеля).

Я жил у Леонида Андреева на Капри. Однажды сынишка его, Димка, вдруг сказал задумчиво своей бабушке Настасье Николаевне:

— Когда я был старичком...

— Димка, что ты такое выдумал? Когда ты был старичком?

— Ну, бабка! Был старичком, был!

— Когда ты был?

— Еще давно. Я умер, меня закопали, и я лежал долго, долго. Потом напитался землей, понемножку стал подниматься. Поднимался, поднимался, влез к маме в животик и потом родился.

Другой мальчик, мой племянник, говорил матери:

— Знаешь, мама, я думаю,— люди всегда одни и те же: живут, живут, потом умрут. Их закопают в землю. А потом они опять родятся.

— Какие ты, Глебочка, говоришь глупости! Подумай, как это может быть? Закопают человека большого, а родится маленький.

— Ну что ж! Все равно как горох. Вон какой большой, даже выше меня. А потом посадят в землю,— и начинает расти, и опять станет большой.

38

Галя, двенадцати лет, и Наташа, девяти, с упоением нянчат грудного ребенка.

Н а т а ш а. Ты хотела бы, чтобы у тебя были дети?

Г а л я. Хоть сто!

Н а т а ш а (задумчиво). Нет, сто много. Трудно будет воспитать. А двадцать я бы хотела.

39

— Лиза вырастет, разведет деток. А у этих деток — опять детки будут?

— Да.

— А у этих опять?

— Ну, да.

— А до каких пор? Все опять и опять?

Говорили уже о другом. Мальчик все молчал и думал. Вдруг говорит:

— А, знаю! Потом девочки разведут одних мальчиков, и тогда конец!

Убоялся бесконечности.

40

Гимназистка двенадцати лет:

— Почитать, что ли, газету. Не пропала ли какая-нибудь собачка.

41

Чтоб девочка не узнала тайну происхождения человека из грязных уст, мать решила сама посвятить Валю в эту тайну. Вале тогда шел тринадцатый год. Мать рассказала ей о пестиках и тычинках, о мужских и женских цветках, об опылении. И решила: все остальное ясно само собою.

А Валя пришла домой и говорит:

— Приехала на трамвае. Такая давка! Ужасно боюсь: вдруг у меня произойдет опыление!

42

(РАССКАЗЫВАЛ ОДИН ХУДОЖНИК)

Когда в гимназии я учился, был у меня друг, очень крепкий. Вася его звали. Гимназист-одноклассник. Он влюбился в гимназистку Маню. Жила недалеко от нас. А мы жили на Домниковской улице, в номерах. Занимали плохонький номеришко, спали на одной кровати. Очень славная там была прислуга Лукерья, очень толстая и очень добрая. Нас жалела. У Васи от любви была бессонница. Вставал очень рано, ходил по номеру и пел:

Приди, приди
Ко мне скорее,
Прижмись к груди
Моей сильней!

Лукерья входила с горячим чайником.

— Пришла, пришла. Чего не емши орешь?

Вася долго страдал и наконец послал Мане объяснение в любви. Она ничего не ответила. Тогда он решил покончить с собою и написал ей письмо. «Если, когда пойду на смерть, встречу вас, то не убью себя. Замечательно: до сих пор было неизвестно, что будет с моею душою, а

теперь я узнаю». Вышел на улицу — и встретил Маню. Перебежал на другую сторону. Пошел к путям Николаевской железной дороги и бросился под поезд. Его буфером ударило в лоб и отбросило. Труп совсем был не изуродован, только лиловое пятно на лбу. Маня на похоронах рыдала и очень убивалась.

После похорон, на следующий день, я написал Мане письмо, что люблю ее. Она была напугана смертью Васи, ответила, что мне «симпатизирует». Я ей: «Что такое значит? Это слово мне незнакомо. Напишите попонятнее». Написала, что любит. Вот те раз! Что же теперь делать? Если б отказом ответила, дело было бы ясно: тоже пойти на пути и броситься под поезд. А теперь как же?

Увиделись. Оба не знали, о чем говорить. Два месяца тянулась канитель и сама собою кончилась.

43

Боря, тринадцати лет:

— Мама, когда Татьяна в «Евгении Онегине» вышла за генерала, это был ее второй муж?

— Что за вздор ты говоришь! Первый, конечно!

— Нет, второй. Вот послушай:

Мартын Задека стал потом
Любимец Тани. Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

44

ШКОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ

(Подлинный документ, из Донбасса)

Рассказ «Моцарт и Сальере» драма «Пушкина».

«Моцарт и Сальер» это одно из сочинений «Пушкина». Здесь описывается, как жили два музыканта и они же писатели. Моцарт писал хорошо стихотворения без всякого препятствия, а Сальер писал немного хуже, и он как ни старался, чтобы написать хорошо, но все никак не выходило. Взяла злость Сальера, что Моцарт так хорошо пишет и ему все удается, а он сколько ни трудится, все у него не выходит. И решил он напоить Моцарта ядом. И вот он пригласил Моцарта на чашку водки и здесь его отравить. Когда пришел Моцарт, Сальер и говорит: «Здравствуй, ге-

ний!» Так приветствовал Сальер Моцарта. «Здравствуй, целый час тебя я жду» (сказал Сальер). В это время Моцарт зевнул. Моцарт разулся, сел на стул за столом, а Сальер сел на другой стул. Стали выпивать. Моцарт и говорит: «Знаешь что, брат, я хочу до свидание, у меня живот болить». Сальер говорить: «До свидание». Моцарт лег и заснул, и начал так играть на своем инструменте, что Сальер заплакал и умер в конце восемнадцатого века.

45

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ПОЭМЕ «ПОЛТАВА»

(Тоже подлинное школьное сочинение)

Историческими личностями называются две главные личности, которые составляют следы в истории и двигают ее вперед и назад. Вот во времена Полтавы в России было две исторических личности: личность Петра и личность Мазепы. Третья историческая личность была личность Карла — шведского короля. Она жила в Швеции. Петр был очень хорошим, грозным и замечательным царем. По его мнению, над народом стояло государство, и поэтому он решил устроить полтавскую войну. Он был очень храбрый и самостоятельный, и Мазепа, хотя тоже был храбрый, но думал, что всегда лучше самому быть царем. Он поднял страшное восстание и послал обманного гонца к личности Петра. Петр доверчиво отнесся к доносу Мазепы и казнил Кочубея. Но Мазепа все-таки стал угрызаться совестью и однажды в темноте ночи вдруг попал в тюрьму. Пушкин очень красиво описывает этот случай: «и летней душной ночью тьма душна, как черная тюрьма». Но храбрый Мазепа из тюрьмы убежал и открыл полтавское сражение. Петр был в сражении ужасным и походил на грозу. За Петром летели птенцы из его гнезда. Поэтому он победил Карла, и того унесли в качалке на ужин к врагам. Поэтому Карл тоже историческая личность. Но у Мазепы есть хорошие черты: любовь к Марии. Хотя это не особенно хорошая черта, так как Мария была молодая, а Мазепа убеленный сединами. Тоже хорошая черта — ум. У Петра не было плохих черт. Но если и были, так он их скрывал и выставлял хорошие. После сражения Петр поднимал заздравный кубок за своих учителей. Это тоже является хорошей чертой. В то время как он пировал, взор его был горд

и ясный, и он обводил им всех участников. Мазепа отличался своим неучастием в битве. Он после битвы бежал в степь и оказался трусом. Это его плохая характерность, и думал, что, несмотря на это, ему удастся сделаться самозванцем. Но его расчеты оказались ни к чему. Так кончилась полтавская война, в которой участвовали две великих русских исторических личности, которые по своему настоящему понятию сделались известными для тоже исторической личности Пушкина. Сопоставление Петра и Мазепы очень хорошее. Петр сам воздал себе огромный памятник, а Мазепу похоронили. Из Москвы велели привезти анафему в Полтаву, и она там вместо Мазепы каждый год гремела. В поэме есть нравственная цель, она учит, как Мазепа своею личностью поплатился за такое отношение, и как Петр за свою роль и подвиги был выбран в исторические личности.

46

— Откуда люди появились?

— Я знаю. Рыбы вылезли из воды, сделались обезьянами и народили людей.

47

ВОИНСТВУЮЩИЙ БЕЗБОЖНИК

Бабушка. Что же, бога, скажешь, нету?
— Нету!
— О господи! И души нету?
— И души нету.
— Ну, ты подумай: дух-то есть? Дышишь ты?
— Не дышу!!

48

Примусы отшумели и теперь рядком стояли на черной плите. Жильцы разошлись по комнатам, в кухне никого не было. Только Сима сидела, напевая, за кухонным столом и рисовала. Мать ее Арина, работница Москвошвея, выгнала ее из комнаты за то, что она кидалась за обедом хлебом и обозвала мать дурой. Сима болтала ногами, сосала огрызок карандаша и рисовала на оберточной бумаге трамвайный вагон.

В мягких туфлях неслышно прошла в ванную Мурка, студентка Первого МГУ. Не зажигая света, умылась. Поглядела, как Сима сидит к ней спиною за столом, и потихоньку брызнула в нее водою.

Сима с удивлением потрогала голову, взглянула на потолок. Мурка притаилась в темной ванной. Сима побежала к матери. Арина гладила на столе Симину блузку.

— Мама, вода откуда-то на меня капает! Капает сверху, а на потолке сухо!

Арина озлобленно крикнула:

— Это бог тебя обкапал, так тебе и нужно! Он тебя и по-настоящему водой обольет! А и тогда не станешь слушаться,— огнем тебя начнет жечь! Ты понимаешь, это самый большой грех на свете — матери не слушаться! Нет больше греха. Если какая девочка не слушается матери, у нее руки и ноги отнимутся.

Сима с жадным любопытством спросила:

— А почему его не видать?

— Разве бога можно видеть? Он невидимый, ну... как ветерок. Старичок такой. С седенькой бородкой.

— Невидимый? С седенькой бородкой?

Сима воротилась в кухню и в раздумье остановилась перед столом. Мурка смотрела из ванной. Не одолела искушения: душа смех, выплеснула на Симу четверть стакана воды.

Сима, как зверенок, с воплем помчалась по коридору, вбежала к матери.

— Мама! Он на меня плеснул! Смотри, вся голова мокрая!

Арина не взглянула, она все еще была в своей злобе.

— Ага! Вот видишь! Я тебе говорила! Он тебя еще огнем будет жечь! Сейчас же проси прощения! Это он тебя за то, что матери не слушаешься!

— Мамочка, прости! Никогда больше не буду! Ой, как страшно-ужасно!

Помирились. Сели пить чай. Сима взволнованно расспрашивала, кто такой этот бог.

— Он и теперь здесь?

И опасливо оглядывалась.

— Нет, ты стала послушная, он теперь к другим непослушным детям полетел. А не будешь слушаться, опять воротится.

Утром на следующий день Сима встретилась в коридоре с Муркой и с глубочайшим волнением рассказала ей о вчерашнем событии.

— Ой, как страшно-ужасно! Я за столом сижу, вдруг как хлистинуло (хлестнуло)!

— Кто же это был?

— Как его? (Стала вспоминать). Дедушка-Мороз? Нет. Знаешь кто? Сама не знаю. (Вспомнила). Вот кто: бог.

— Видала ты его?

— Нет, его нельзя видеть. Он, как ветерок, дует. Он ветерок сам. Невидимый. С седенькой бородкой.

— Что ж, он и сейчас здесь?

— Нет, он сейчас к другим непослушным детям поплыл.

Мурка не могла сдержать смеха. Сима с удивлением взглянула на нее. И потом на все расспросы о происшествии отвечала неохотно:

— Мне скучно.

И ясно было из ее тона, что «скучно» для нее значит: «страшно, жутко». В глазах были тревога и вопрос.

И стала она тихая, послушная. Мурка раз увидела в кухне ее задумчивую мордочку с большими глазами, стало ей стыдно за свою шутку. Она сказала Симе, что это она брызгала в нее из темной ванной.

Сима ахнула, засмеялась:

— Взаправду?!

Мурка показала Симе, где она стояла в ванной, как брызнула в нее. Сима хохотала.

Но все-таки тревога и вопрос остались в ее глазах. И через три дня она вдруг сказала Мурке:

— Есть такие, что в бога не верют. А я же сама видела, как он из воздуха брызжется.

49

Иду в Крыму по саду нашего дома отдыха. С горы навстречу, выпучив глаза, мчится со всех ног мальчугашка лет пяти.

— Дяденька, беги!

— Чего мне бежать?

— Беги скорей! Сторожа пришли!

— Чего мне бежать от сторожей?

Он остановился на бегу, с недоумением оглядел меня.

— За уши оттреплют!

И помчался дальше.

Вот подите: такая ужасная опасность, каждая минута на счету, а он все-таки остановился, чтобы предупредить меня. Спасибо, товарищ!

50

ВАНЬКА

Большой мой приятель. Ему лет семь, не так давно из деревни. Крепкий, приземистый мужичок с большой головой, на щеке шрам; года два назад, в деревне, подошел сзади к жеребенку и хлестнул по ноге прутиком, а жеребенок его лягнул в лицо.

Идем по улице.

— Это солнце и в деревне светит?

— Да.

— Как же она одна хватает?

Смешно? А когда древний человек впервые задал себе такой вопрос,— родилась астрономия.

— Игде солнышко живет? Она под землей схоранивается? Она что же, живая?

Очень любит маленьких ребят.

— Когда буду большой, у меня тоже дети будут. (Вздохнул.) Только вот не знаю,— как их сродить?

Спрашивает мать:

— А когда ты меня сродила, яйцо, чай, вот какое было,— с собаку?

Спрашивает меня:

— Ты что больше любишь — мармалад или меня?

— Тебя.

Изумился.

— Шутишь!.. Почему?

— Мармелад съешь, и его не будет. А ты вырастешь,— может быть, хорошим человеком станешь: ребенка от собак отобьешь, человека вытащишь из воды.

Высоко поднял брови, обдумывает. Спрашиваю:

— Ну, а ты кого больше любишь — меня или мармелад?

— Тебя. Мармалад съешь, ничего не останется, а ты... э... э... ты — вона какой!

Изводит вопросами:

— Ты что больше любишь — яблоко или гулять?

Я ему в ответ:

— Ты что больше любишь — яблоко или клопа?

— Яблоко. А ты?

Сердито:

— Клопа.

— Клопа? (Подумал). Ну и ешь его!

— Как тебе, Ванька, не стыдно? Какие ты дурацкие вопросы задаешь!

Это было за обедом. И он вдруг:

— Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется!

— Завтра мамушка из деревни приедет.

— Ты рад?

— Да. Она мне яблок привезет.

— А если яблок не привезет, будешь рад?

— Ну... Тогда чего другого привезет.

— А если совсем ничего не привезет? Самой ей будешь рад?

Неуверенно:

— Б-буду... (Подумав.) Нет, все-таки чего-нибудь привезет.

Мать водила его на могилу умершего отца. Ванька заявил, что больше не будет ходить.

— Почему?

— Чего ходить? Он мне коньков не покупает, конфет не приносит.

Мать и тетки:

— До чего умный мальчонка!

— Я бы шофером хотел быть. Да не на что будет жить: платить не станут.

— Почему не станут платить?

Ванька удивился:

— За что же платить?

— Ты, Ванька, хочешь помереть?
— Не! Я бы все жил ба!

51

ЮРА

Одного года

Только что научился ходить. Идет неуверенно-пьяной походкой, вскидывая ножонки и крепко припечатывая их к полу. Если куда нужно поскорее, предпочитает привычный способ,— ползет, быстро подбирая зад.

Ударился головою о спинку кровати. Заплакал. Мать притворилась спящей и не отзывалась на плач. Перестал плакать, с любопытством поглядел на угол спинки, слегка ударился головой. Потом сильнее. И заревел.

Тугой, с блестящими глазенками. Трясет перед ухом папиросную коробку с двумя камушками в ней, упоенно слушает. Потом откроет коробку, с любопытством разглядывает камушки. С трудом закроет,— и опять трясет перед ухом, и слушает, широко раскрыв глаза.

Плетеный стульчик лежит на полу, спинкой кверху. Юрка чувствует, что из него можно сделать хорошую забаву, но не знает, как подступиться. Взялся за передние ножки. Вдруг торжествующий крик: «Га!» — и поехал со стулом по комнате. Доехал до конца комнаты, ударился стулом о стену, стал поворачивать. Стул задел его ножкой и свалил. Юра заплакал. С трудом повернул и поехал обратно. На лице торжествующее наслаждение.

Но чего-то никак не мог сообразить: возьмется за обе ножки — и под руками твердо; возьмется за одну — стул подвертывается, и Юра летит с ним на пол. Наконец что-то уловил. Когда стул начинает под рукой уходить вниз, быстро отдергивает руку, шатающейся походкой идет к матери, берет ее за палец и подводит к стулу. Она даст ему хорошо взяться за ножки,— и Юрка с тем же торжествующим криком «га!» едет к противоположной стене.

Двух лет

Кругом — огромный мир, полный непонятнейших загадок и самых неожиданных решений.

На палке лошадиная головка. Юра вечером скакал на ней по комнате, остановился у стены. Вытащил палку, держит в руках. Вдруг испуганно заплакал.

— Кто это?

На белой стене — черная тень лошадиной головки. Бросил палку и с ревом убежал за шкаф. Отец и мать стали объяснять, что такое тень, показывали ему отражение своих профилей, его собственные ручонки. Но когда потом показали тень лошадки, Юра затопал ногами, опять заплакал и зажмурился. И вдруг сказал:

— Больше не буду смотреть. Я забоялся.

С зажмуренными глазами поужинал, дал себя раздеть и уложить в постель. С зажмуренными глазами и заснул.

На следующий день идет с матерью по улице. От солнца перед ними четкие тени. Увидел их уже как старых знакомых. Показывает пальцем.

— Как их звать?

— Тень.

Радостно засмеялся.

— Мама, моя маленькая тень, твоя большая!

Долго следил за движениями своей тени. Наконец с недоумением спросил:

— А куда этот мальчик идет? Домой, с нами?

И вопросы, вопросы без конца. Такие, на которые и взрослому трудно ответить, и такие, которые на взгляд взрослого совсем глупы.

— Почему листья падают?

— Кто сделал солнце?

— Кто приклеил лампочку на дом?

— А чей это дом, кто здесь живет?

— А зачем у тети завязан пальчик?

— Как я сделался?

Долго смотрел на крышу соседнего дома. Вдруг говорит:

— Люди упали.

— Откуда упали?

— С крыши.

В чем дело? Никакие люди не падали с крыши. Выяснилось: вчера с этой крыши счищали снег, а сегодня людей на ней нет.

Набросил себе на голову большой черный платок. Долго сидел, с любопытством ворочая головой. Потом сбросил платок.

— Мама, ты видела, как сейчас было темно?

В комнате платяной шкаф с большим зеркалом на дверце. Мать боялась, чтобы Юра не стал стучать по зеркалу и не разбил его. Сказала, чтоб он не подходил к шкафу: шкаф сердитый и не любит Юрика. Вошла в комнату. Юра ходит вокруг шкафа, заложив руки за спину, и кричит на шкаф:

— У! У!..

— Что ты делаешь?

— Это я шкаф пугаю. Чтоб думал, что я сердитый. Чтоб шкаф меня боялся.

Мать уехала в служебную командировку. Юра беззаботно играет, матери совсем не вспоминает. Но раз был в Лосиноостровске у тети, играл с ребятами. И не захотел идти домой.

— У всех папа и мама, а у меня только папа!

А другой раз увидел фотографию матери и вдруг горько заплакал. С надеждой заглядывал на изнанку фотографии, разочарованно морщился и плакал еще горше.

На сквере. Неутомимые работнички бесполезных дел, все ребята заняты. Истинные ударники! Юра копает лопаточкой снег, двухлетняя девочка уже полчаса терпеливо укладывает на скамейке рядышком мелкие осколки стекла, другая пеленает куклу. «Играют». Но наукою доказано, что игра маленьких детей и животных —вовсе не «так себе», не баловство. В игре они серьезно и сосредоточенно подготовляются к действиям, наиболее впослед-

ствии нужным: котенок гоняется за бумажкой, привязанной к веревочке,— подготовка к умению поймать мышь; щенята грызутся и т. д.

— Папа, пойди сюда.
— Чего тебе?
На ухо:
— Спроси меня: хочет Юра еще конфетку?

В руках у него плюшевый мишка. Я взял мишку и зарычал. Юра испугался. Объясняю ему.
— Он не страшный?
— Нет. Только как будто страшный.
— Как будто страшный? Не сердитый?

Это уже выработавшийся тип: домработница из деревни. Румяная, неудержимо полнеющая от нетяжелой работы; с огромною крепкою грудью; тело так из нее и прет. В домработницы поступила, чтоб пройти в профсоюз. Некультурная, вороватая, глубоко равнодушная к своему делу, жадная до вкусной еды. Утром пойдет за провизией, пропадает по своим делам часа три, воротится: «Ничего не могла достать». Продала все хлебные карточки: «Потеряла». Надевает для прогулки с кавалерами хозяйкины туфли, чулки.

Такая вот няня у Юры — Дуся. Родители специально для Юры покупают сливочное масло,— фунт исчезает в два дня. Мальчик худеет, по вечерам, при родителях, жадно набрасывается на еду, потому что весь день голодает. Мать заказала для него на обед суп, котлету и молочную рисовую кашу; неожиданно пришла с работы днем: Дуся кормит Юру супом; а котлету и кашу съела сама.

Родители оба заняты и служебною работою и общественною. Весь день ребенок на руках у Дуси. У Юры появились новые слова — грубые, циничные. И не только слова. Однажды он с невероятною игривою улыбкою вдруг потянулся к матери и стал расстегивать у нее на груди кофточку.

— У тебя там два голубка. Дай я поиграю!

Мать в отчаянии, мечется, отыскивая другую домработницу.

Но как раз началась паспортизация, приток из деревни прекратился, домработниц с паспортами рвали из рук. Дуся это учитывала и наглела еще больше.

— Дуся, вчера сестра принесла Юре восемь конфеток, я их положила на стол. Где они?

— Я съела.

— Как же ты могла?! Не знаешь, что это для ребенка принесли, а не для тебя? Ведь сахару даю тебе сколько хочешь.

— Мне сахар больше не ндравится.

— А нравятся конфеты, покупай сама.

— Мне ндравится хозяйские есть.

Юра очень замкнут, все тяжелое переживает сам с собою. Но в глазах появился испуг. Соседки по квартире сообщили матери, что часто слышат в ее комнате взрывы плача Юрки, что Дуся жестоко бьет его, не стесняясь, при всех. Ей говорят:

— Как не стыдно тебе?

А она:

— Своего бы я еще не так, своего бы я просто убила.

Мать кинулась к Юре.

— Била тебя Дуся?

— Била нынче.— Помолчал и прибавил:— Сначала била, а потом позалела.

А Дуся на все:

— Не ндравится вам,— рассчитайте.

Терзает душу это молчание маленького, беззащитного человека. Бьют его,— и он рад, что хоть под конец его «позалели».

Рассчитали Дусю, с огромными усилиями нашли наконец новую домработницу-няню.

Как-то вечером я подошел к кроватке Юры, думал — он уже спит. Но Юра лежал с открытыми глазами. И вдруг благодарно сказал мне:

— Ты хороший.

Так и живет он в двух стихиях: грубой, равнодушной, презрительной, идущей от домработницы, и любовной, нежной, которую дают родители. В первой страдальчески сжимается, во второй чувствует себя центром жизни, ба-

ловнем, вызывающим всеобщее восхищение, и нет с ним сладу.

На лето отдали его в детскую коммуну, километров за тридцать от Москвы. За лето вырос, поправился, загорел и как-то загрубел. Не тот темп речи, выговор, не то построение фраз. Нет прежней суетливости, беготни, спешки — и доверчивости. Загрубел и физически и душевно. Но что-то твердое появилось, подтянутое и мужественное. Однако по ласке, видимо, томится и страдает не по-детски. Серьезно, без улыбки, допрашивает мать:

— А почему ты раньше не приехала? А ты меня не забываешь? А когда ложишься,— помнишь?

При прощании сам несколько раз крепко поцеловал мать и отчетливо сказал:

— До свидание! Приезжай в выходной.

«Дорогой мой мальчик! Тебе сегодня исполнилось три года. Три года назад, в такое же солнечное утро, как сегодня, ты родился. Своим появлением ты много принес мне незабываемой радости. Сегодня я не могла тебя видеть: ты живешь на даче с детками,— я здесь в городе занята, работаю. Через две недели ты приедешь к нам, и мы начнем жить вместе. Я бы хотела, Юрик, чтобы ты не капризничал, не мешал бы мне работать, вел бы себя хорошо... Ты вырастешь у нас новым, и сильным, и славным человеком. Но пока ты растешь, крошка, твоя мама также не хочет отставать от жизни, также хочет расти в работе. Я не хочу, чтобы после ты стеснялся меня, как стеснялась я своей матери, не одобряя общую ее установку жизни. Будь же здоровенький, мой малышка, целую тебя крепко. Твоя мама». (Из дневника.)

Трех лет

Новая няня — старушка, очень религиозная. Раз пришли с прогулки. Мать спрашивает:

— Где ты гулял, сынок?

— Мы гуляли в большом, большом доме. Там Петровна голенького дядю нюхала.

Няня ахнула.

— Что ты, Юра, врешь? Какого я дядю нюхала?

— Да, да! На стенке был дядя голенький нарисован;

в простынке. Петровна подошла, рукой возле лица машет и дядю нюхает... А старушки все баловались: станут на колени и лбом об пол. И Петровна тоже. А я не баловался!

— Что же там еще было?

— Еще два дяди, только совсем как тети, и волосы длинные. В очень красивых платьицах. На платьях много цветов, настоящий сад. Ходили, руками махали и все кричали: оо-оо-ооо!

Шел раз с матерью по лесу. На полянке табун лошадей. Стоят и отмахиваются головами от мух. Юра остановился, долго смотрел.

— Мама, я думал, одни только старушки молятся, а оказывается, и лошадки тоже.

В речи его — постоянная смесь простонародных слов от няни и самых интеллигентских, как «оказывается»,— от родителей.

Родителям весьма не нравится, что няня говорит ребенку о боженьке. Строго запретили.

Юре очень понравился «Крокодил» Чуковского. Запомнил из него много звонких стихов, всё снова и снова пересматривает картинки, где подвизается гражданин с противной крокодильей мордой, в английском клетчатом пальто. Любовно называет его «крокодильчик».

Укладывали Юру спать. Он засунул в рот угол простыни. Отец строго сказал:

— Нельзя в рот совать простыню.

— А что можно совать?

— Хлеб, котлету, печенье.

— И конфетку.

— Да, и конфетку.

Все-таки держит простыню во рту. И никакие уговоры отца и матери не помогают. Тогда отец сказал:

— Ну, я скажу крокодильчику.— Снял трубку телефона.— Алло! Тутушка, ты? Позови крокодильчика.

Юра потихоньку вытащил простыню изо рта и сконфуженно стал прислушиваться. Отец спрашивал в телефон:

— Крокодильчик, ты? Юра сует в рот простыню... Нельзя? Я ему говорю, что нельзя, а он не слушается...

Юра, крокодильчик сказал, что нельзя простыню совать в рот.

Юра смиренно ответил:

— Я не буду.

Мне было смешно: не доглядели родители! Выгнали боженьку в дверь, а он перекинулся гражданином с крокодильей мордой, облекся в клетчатое пальто и по телефону стал передавать мальчику свои приказы.

Спрашивает отца:

— Кто дождь капает?

— Видал, как губка намокает? Вот так и тучка: намокнет, и тогда из нее начинает капать дождь.

Объяснение Юрку не удовлетворило. Спросил бабушку. Она долго говорила об испарении, об охлаждении. Юра слушал внимательно, почтительно и ничего не понял. Однако сказал:

— А папа какой глупый! Говорит: оттого, что тучка намокла.

Мать принесла абрикосов. Жадно стал расспрашивать, на чем вырос, кто деревцо посадил.

— Кто лазил на деревцо его поливать?

Мать смеется:

— Он убежден, что нужно влезть на дерево и поливать его сверху.

А я возражаю:

— Юра прав. Вы, ученые люди, вы знаете, что вода нужна именно корням дерева. А нам с Юрой откуда это знать? Цветы поливают *сверху*, дождик мочит деревья *сверху*. Почему же и абрикос нужно поливать не сверху?

У Юры была белая, оструганная палка, это была его лошадка; все прогулки он делал на ней верхом. Раз он этой палкой ударил мальчика с соседней дачи. Мать отобрала палку, поставила ее в угол террасы и неделю не давала Юре. Потом с наставлением возвратила.

Через три дня Юра с ревом несет матери на террасу свою палку.

— Ты что?

— На, поставь ее в угол, а то я мальчика побить хочу!

Попадают ему иногда и шлепки. Взгляд на наказание не как на возмездие, а как на неотвратимое последствие дурного поступка.

Плача, кричит матери из садика в окно:

— Мама, возьми меня за ручку, дай шлепка: я мальчику плохое слово сказал.

— Юра, отчего ты так тихо идешь? Устал?

— Нет, я не устал, а просто у меня сегодня ноги тихие.

— Мама, каша горячая, прямо мне в сердце попала.

Виктор Гюго писал: «Имейте жалость к русым головкам». Взрослые мало имеют этой жалости. На серьезные вопросы ребенка, потешаясь, дают дурацкие ответы; лгут для временных целей.

— Мама, поедем в зоопарк.

— Нельзя, детка, дождь идет.

— А почему в дождь нельзя?

— В дождь птички и звери бывают сердитые.

— Кусаются?

— Да.

Прояснилось. Поехали в зоопарк. Юра бегал по дорожкам, пытался ловить перелетавших с пруда уток. Вдруг остановился, робко прижался к матери.

— Ты что?

— Дождик пошел.

— Маленький дождик, это ничего.

— Птичка стала кусачая.

— Что ты глупости говоришь!

— А дождик пошел.

Мать прикусила губу.

Крепыш, здоровяк, с звонким голосом и озорными глазами. Мать его — научный работник, умная и талантли-

вая, но у нее циклотимия, и губы, когда молчит,— страдающие. У Юры тоже в губах страдание. И бессознательно, но настойчиво он охраняет маленькую свою душу от ранящих впечатлений.

Рассказываю ему сказку: мама поехала с Юрой за город на автомобиле. Вдруг (страшным голосом) — на дороге большой слон!

Юра поспешно:

— Он хороший!

— Стоит, машет хоботом. Машина дальше не может ехать, остановилась...

Юра настойчиво:

— Он не сердитый!

Мне непонятно: для меня в детстве,— чем страшнее, тем интереснее. Но невольно подчиняюсь.

— Слон говорит: «Не бойтесь меня, а вот я вижу, у вас в машине свободное место. Покатайте моего слоненка».

Юра радостно кричит:

— Покатаем! Садись!

— Поехали дальше со слоненком. Вдруг — трррррр!!. Машина свалилась в яму...

— И никого не ушибла!

— Ну, да... Не ушибла. А только яма глубокая. Никак не могут вылезти. Вдруг видят, сверху заяц смотрит...

Юра торжествует.

— И зайчик нас вытащил!

— Юра, подумай: зайчик маленький. Как он может вытащить?

— Ну что жа?

Приходится устроить так, что зайчик сообщает о беде слону, папа-слон и мама-слониха прибегают и всех вытаскивают из ямы.

И теперь у нас с Юрой выработалась точная, хотя и не формулированная в словах договоренность: в сказке все гармонично, светло, участники — хорошие и несердитые и конец совершенно благополучный.

Плакатный рисунок в газете: по черному откосу поднимается вверх большой грузовик, а под откосом лежит разбившийся автомобиль; колеса валяются отдельно. Около стоит человек и протягивает руку к грузовику.

— Что это такое?

— О! Это очень интересная история!.. Ехал в гору автомобиль. Вдруг слетел в овраг. Колеса сломались. Мимо едет грузовик. Человек кричит: «Дядя! дядя! Возьми меня с собой!» Шофер остановился, взял его. Приехали в город. Человек купил новые колеса, поехал назад, починил свою машину и — ууу! Покатил.

Юра слушал с горящими глазами.

— Куда покатил?

— Ну, домой.

— А потом?

— И все.

Рассказ произвел на Юру потрясающее впечатление. Глядя на картинку, он стал пересказывать его сам, потом еще раз заставил меня рассказать, опять пересказывает.

Подошла мать.

— Юра, иди творог есть.

Он нетерпеливо отстранил ее, с одушевлением продолжает рассказывать:

— А тогда он кричит: «Дядя, дядя! Возьми меня с собой!» А колеса на земле, сломанные.

Целую неделю только об этом говорил, показывал всем картинку и рассказывал. Приду я,— заставляет рассказывать меня, а когда кончу, каждый раз спрашивает:

— А потом?

Непонятно было, что ему еще нужно «потом»? Один раз я кончил так:

— Приехал домой и сел чай пить.

Юра с огромным удовлетворением повторил:

— И сел чай пить.

И несколько раз повторил:

— И сел чай пить.

В прежней редакции для него не хватало концовки.

Четырех лет

— Мама, отчего, когда большие ушибутся или упадут, им не больно?

И вопросы, вопросы без конца — для взрослых смешные и дурацкие, а на деле — говорящие об огромном стремлении осмыслить непонятные явления жизни. Не раз уже,

кажется, отмечавшийся, удивительно умный вопрос над ночным горшком:

— Мама, почему из меня всегда льется в горшок только чай, а молоко никогда не льется?

— Бывает гусеница, а зайка? Червячок, а верблюд?

— Юра, ну что ты какие спрашиваешь глупости!

Сейчас же — «глупости». И сейчас же предположение, что ребенок болтает зря, только чтобы болтать. Юра краснеет.

— А как же бывает жук-олень, жук-носорог?

Винкельман замечает: «В детстве мы смотрим на все происходящее вокруг нас, как на нечто необычайное». Верно. В детстве мы видим жизнь собственными, не предвзятыми глазами и улавливаем то, что взрослыми совершенно не замечаем.

Юра спросил:

— Почему очень скоро пососать называется поцеловать?

Я был поражен: как верно подмечено! Ведь правда: поцеловать — это коротко пососать. Как мы этого не замечали?

Логика, действующая по своим, совсем отличным от нашей законам. То так умно, что поражаешься, то так глупо, что недоумеваешь. Мать сидела с Юрой на дворе; на дворе — гараж. Машина собралась ехать. Мальчишки бросились цепляться сзади. Бросился и Юрка. Мать отозвала его. Юра охотно отошел и спросил мать:

— Отчего, как машина поедет, мальчикам обязательно цепляться сзади?

Он порядочный трусишка. Но, исполняя гражданский долг, считал нужным исполнять обязанности, наложенные судьбою на мальчиков.

С очень серьезными глазами Юра меня спросил:

— Когда какой-нибудь мальчик умрет, ему потом года засчитываются?

Трудно проникнуть в тайны детской логики. Только после долгих, осторожных расспросов мне удалось выяснить, что́ тут Юру интересовало. Два года назад он много играл с мальчиком из соседней комнаты Васей. Вася его поколачивал. Тогда же он вскоре умер от скарлатины. Недавно Юра о нем вспомнил. Как же ему в настоящее время представить себе Васю? Если в тех годах, когда он умер, то теперь Юра легко мог бы от него защититься. И вот — вопрос очень существенный: засчитываются Васе последние два года?

И еще изумляет словотворчество ребенка, — не само по себе, а то, как он умеет усвоить дух языка, как сочиняет слова в строгом соответствии с законами именно этого языка.

Юра принимал хинин.

— Горько тебе было?

— Сперва было горько, а потом *отгорьчилось*.

Гуляет весною по скверу.

— Смотри, мама: клен не только цветет, но и *листет*.

Корней Чуковский, так много сделавший в исследовании детской речи, пишет: «Начиная с двух лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным филологом, а потом, к пяти-шести годам, эту гениальность утрачивает. Тончайший оттенок каждой грамматической формы угадывается ребенком с налету, и когда ему понадобится создать то или иное слово, он употребляет именно тот суффикс, именно то окончание, которые по сокровеннейшим законам языка необходимы для данного оттенка мысли и образа. Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм сыплется на его бедную голову, а он, как ни в чем не бывало, ориентируется во всем этом хаосе, ежеминутно сортируя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных слов — и при этом даже не замечая своей колоссальной работы! У взрослого лопнул бы череп, если бы ему пришлось в такое малое время усвоить те мириады синтаксических и морфологических форм, которые, играючи, усваивает двухлетний лингвист».

Утром Юра долго с большим любопытством смотрел на пиявок в пруде. А вечером спросил:

— Откуда ко мне язык в рот попал? Из *воде*, наверно.

Долго и сосредоточенно смотрел, как черный жеребенок сосет черную кобылу.

— А молоко тоже черное?

Мать разбирает фотографии.

— Мама, почему тут и папа и ты, а меня нету?

— Ты тогда еще не родился, детка.

Увидел фотографию, на которой одна мать. Побежал с нею в кухню и стал объяснять няне:

— Тут одна мама, а я и папа еще не народились.

Спросил отца, что такое крематорий. Отец объяснил. Юра слушал с большим интересом. Потом сказал с наслаждением:

— Когда вы с мамой умрете, вас тоже будут *пекти* в крематории.

Родители огорчены.

Родители часто огорчаются понапрасну. Я иногда приношу Юре конфет. Сидит и с аппетитом ест. Мать спрашивает:

— Ты любишь дядю Витю?

— Да. Он мне конфет принес.

Мать ахнула.

— Вот видите! Сколько раз я вам говорила: не носите ему конфет... Ну, а когда дядя Витя без конфет придет, тогда ты его не будешь любить?

— Тогда не стоит.

— Значит, ты его только за конфеты любишь?

Юра подумал:

— Нет, еще за щегла. У него очень щегол хороший, сам в клетку летит, когда платком махнут.

— А дядя Витя за что тебя любит?

Еще подумал.

— Мы ему тоже конфет даем. И еще чаю, печеньиц.

Мать в отчаянии. Странные люди! Требуют от ребенка ответа — за что? Как же он может ответить: «Так, ни за что»? Ну, и подыскивает своим умишком реальные причины. По тому, как он со мною держится, как встречает, я знаю, чувствую, что это не за конфеты,— да и приношу я ему конфеты не так часто. И мать хорошо знает, что не

за конфеты. Раз было так. Меня ждали. Вхожу в подъезд. Между двумя дверями подъезда — маленькая фигурка, стоит смирно-смирно.

— Юра, это ты?

Говорю с ним. Он равнодушно и как будто неохотно отвечает, глядит мимо. Я решил: должно быть, поджидает товарища и ему не до меня. Он взял меня за руку, вместе пошли наверх, в квартиру. И вдруг узнаю от матери: это он меня вышел встречать. Не давал матери покоя, все просился и за полчаса уже вышел. И полчаса смирно стоял между дверями, поджидая меня. А что значит для ребенка в одиночестве и без дела простоять полчаса! А к этому я уже привык: Юра совершенно не проявляет наружно своих чувств.

Через неделю после происшествия с конфетами принес я мышеловку,— мать просила дать на подержание. Юра с любопытством ее рассматривал. Мать спросила:

— Ну, дядя Витя конфет тебе сегодня не принес. Любишь ты его?

— Да. Он нам принес мышеловку.

— Юрка! Ну, а если бы не принес?

Юра нетерпеливо:

— Все равно бы любил.

Мать кормит грудью братишку Юры. Юра подошел, но ему запрещено подходить,— у него подозревается ангина. Мать толкнула его ладонью в лоб.

— Ведь сказано тебе, чтобы не подходил к Боре!

Юра вскипел.

— Ты не смеешь меня бить!.. Папа, объясни маме, что она не смеет меня бить.

— Она тебя не била, а толкнула.

— Нет, побила, побила!

Иногда он испускает дикие крики, которые очень пугают спящего Борю. Мать потеряла терпение и, в первый раз, поставила Юру в угол.

Юра постоял, подумал и сказал:

— В угол ты меня ставить можешь. А только... Пожалуйста, запри дверь; и папе ничего не говори.

Был со своею матерью у тетки в Лосиноостровке. Там сильно озорничал, стал душить ребят тетки. Они сказали, чтобы он больше в Лосиноостровку к ним не приезжал. Мать при мне рассказывает про его подвиги, чтобы его пристыдить. Я Юру спрашиваю:

— Тебя, значит, теперь в Лосиноостровку не пускают?

Вполне спокойно:

— Не пускают.

— Почему?

— Потому что я их душил.

— Зачем же ты их душил?

С эпическим спокойствием:

— Чтоб они были мертвые.

Ужинает. Оживленно болтает с матерью. Вошла няня.

— Юра, а ты рассказал маме, что ты сегодня на сквере делал?

Юра сжался, спросил:

— Что?

— «Что»! Забыл?.. Набросился на маленькую девочку в колясочке, стал бить, таскать за волосы. Мы его хотели отправить в милицию.

Мать негодующе смотрит на Юру.

— Я не бил, только за волосы потаскал.

Юра терпеть не может девочек и постоянно их обижает.

— Ну, завтра не будет тебе твоих игрушек,— ни магнита, ни картинок.

Он заревел, вскочил, обнимает мать за шею.

— Нет! Не надо! Ничего не делай плохого! Слышишь, мама? Не делай мне плохого!.. Я просто забыл.

— Забыл, что не надо девочку бить?

— Да.

— А думал, что надо?.. За что ты ее бил?

— Ни за что. Просто забыл.

Пришел к ним, спрашиваю:

— Ну, Юра, как живешь?

— Плохо.

— Что так?

Вздохнул.

— Очень много балуюсь.— Помолчал.— А ты как живешь?

— Хорошо.

— Не балуешься?!

XI

ДРУЗЬЯ В МАСКАХ

Есть ученые биологи-педанты, типичные гетевские Вагнеры. Они называют себя дарвинистами, но, когда речь заходит о душевной и умственной деятельности животных, строго сдвигают брови и предостерегающе напоминают, что нельзя приписывать животным наших чувств и мыслей, что у них это только инстинкты, условные рефлексы. Вот, например, немецкий биолог А. Беете. Он решительно утверждает, что животные — простые «рефлексные машины»: они ничего не переживают, ничем не огорчаются, ничему не радуются, не способны ни к каким умозаключениям.

Дарвин ввел человека в огромную родственную семью животных, показал, что нет извечной, качественной разницы между человеком и животным, что все человеческие свойства путем длительной эволюции развились из свойств, присущих животным. Для нас возможна только точка зрения, какую, например, высказывает Гексли: «Великое учение о непрерывности не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного перехода. Неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, тою частью мозга, которую мы имеем все основания у себя самих считать органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные переживают в более или менее определенной форме те же чувства, которые переживаем и мы».

Ни один живой человек, сколько-нибудь имевший дело с животными, не согласится, конечно, с педантическою безглазностью ученых, подобных Беете. Слишком такой человек чувствует живую «душу» животного. Тем менее сможет согласиться художник. Почитайте Льва Толстого, как он постоянно в восторге повторяет про лошадь или собаку: «Только не говорит!» Почитайте Пришвина.

В этой главе «Невыдуманных рассказов» у меня только пригоршня рассказов самой строгой, проверенной невыдуманности из огромных залежей наблюдений, которыми могли бы поделиться сотни тысяч людей, любящих природу и животных.

1

Если внимательно глядеть кругом,— приходится изумляться на каждом шагу. Вошел в подъезд нашего дома, поднимаюсь к себе по лестнице. Мне навстречу серый кот из соседней квартиры. Я его иногда прикармливаю. Мяукает, поглядывает на меня и бежит вниз. Остановится, поглядит и бежит вниз дальше. Я пошел следом. Он подбежал к двери, ведущей на двор, глядит на меня, мяукает. Я открыл дверь, и он выбежал.

Кот совершенно определенно *просил* меня выпустить его на двор. Какой дикий зверь знает *просьбу?* Может взять — берет. Не может — смиряется. Но чтобы обратиться к живому существу и ждать, что оно, без всякой для себя пользы, сделает что-то зверю нужное,— это ему не может прийти в голову.

Вообще человек среди зверей — существо совершенно особенное. Общение с ним зверей (так называемых домашних животных) создает в них навыки существенно особенные, которые невозможны при общении ни с какими другими животными. На домашних животных можно ясно наблюдать пробуждение и растущее развитие такой умственной и душевной деятельности, которая роднит их с человеком и совершенно чужда диким зверям.

2

У нас в Туле была кошка. Дымчато-серая. С острою мордою — вернейший знак, что хорошо ловит мышей; с круглой мордочкой,— такие кошки больше для того, чтоб ласкаться к людям и мурлыкать. Кошка эта ловила мышей с удивительным искусством. И — никогда их не ела. И совершенно по-человечески знала, что, поймав мышь, сделала нечто заслуживающее похвалы. Она появлялась с мышью в зубах и, как-то особенно, призывно мурлыкая, терлась о ноги мамы. Уж по этому торжествующему, громкому мурлыканью все мы узнавали, что она поймала мышь. Мама одобрительно гладила кошку по голове; кошка еще

и еще пихала голову под ее руку, чтоб еще раз погладили. Потом обходила всех нас; и каждый должен был ее погладить и похвалить. Потом она душила мышь, бросала и равнодушно уходила.

3

На окраине Боржома по откосу горы густо лепятся дома грузинского типа, с крытой галереей вдоль фасада, на которую выходят двери каждой из комнат. Был третий год Отечественной войны, голодали и люди, не только животные. Лежал на узеньком дворике перед домом неистово голодный, длинноногий черный пес. Он непрерывно чесался от одолевавших его блох и ласково вилял хвостом каждому входящему человеку, надеясь получить что-нибудь поесть. Ел он и человеческий кал, и помидорную кожицу, и огрызки яблок. Звали его Тузик.

На галерее нижнего этажа жила кошка с тремя котятами. Когда хозяева давали ей что-нибудь поесть, Тузик выходил из себя, лаял и прыгал к перилам. Кошка, кончив есть, садилась на перила. Тузик озлобленно бросался вверх на нее. Кошка щурилась и притворялась, что его не замечает, а когда морда пса оказывалась уже слишком близко, давала ему лапами несколько пощечин. Если хозяев на террасе не было, а дверца на двор не была закрыта, Тузик врывался на террасу и жадно поедал все, что было в кошачьей миске. Кошка сидела возле самой его морды и огорченно смотрела. Выходил кто-нибудь из хозяев.

— Тузик, это что?! Вон!

Пес поспешно удалялся, а кошка бросалась следом и била его лапами по заду.

Однажды утром пес уверенно, не боясь хозяев, взошел на галерейку и положил на пол дохлого котенка. Котенок был чужой. Положил и деловито удалился. Хозяин, смеясь, вышвырнул котенка на двор. Тузик внимательно поглядел на хозяина, подошел к котенку и с аппетитом съел.

Вот. Не съел сразу, как нашел. Увидел — и сделал умозаключение: подобные неприятные звери живут вон на той галерейке; наверное, и этот оттуда; надо отнести туда. С удовольствием сразу съел бы, но долгом своим почел отнести.

4

В Тбилиси, зимою 1943 года. Перед «хлебной точкой» стояли возле грузовой машины открытые ящики с привезенным хлебом. Возчики вносили их в магазин. А у стены стоял ужасающе худой, шершавый пес,— все кости можно было видеть целиком, как будто на них ничего уже не было, кроме кожи. Казалось, он издохнет от голода не дольше, как через час-два. Пес грустно стоял и пристально смотрел на хлеб в открытых ящиках. Но в глазах его было написано:

Нельзя!

Возчики уходили с хлебом в магазин, можно было без большого риска схватить хлеб и скрыться. Но тут был не страх перед наказанием, перед побоями. Что все побои перед голодом! В голодный год я видел в Феодосии, как били на базаре человека, укравшего булку. Его били каблуками и палками, а он лежал ничком, втянув голову в плечи, не защищался и спешил съесть булку. Тут у пса был не страх перед наказанием, было что-то, более сильное и властное, чем даже голод, что-то совершенно непонятное дикому зверю и воспитанное в собаке человеком,— чувство долга:

Нельзя!

5

Мы катили на автомобиле по Сокольническому просеку. Впереди нас во весь опор мчался молодой доберман-пинчер. Было такое впечатление, что он отстал от хозяина и догоняет его.

Но вдруг пес остановился, подождал нашу машину, выравнялся с нею, взглянул на нас молодыми, ожидающими глазами, коротко лаянул и стрелою понесся вперед. И на бегу оглядывался: кто кого? Но шофер был солидный, перегоняться с собакою не захотел, и она далеко нас обогнала. Так три раза она делала, до самого Яузского моста: подбегала к машине, выравнивалась и потом неслась вперед. Была всего удивительнее та добросовестность, с которою пес устраивал старт: бежал некоторое время точно вровень с машиною, потом давал лаем сигнал — и устремлялся вперед.

Через три часа мы ехали назад. Навстречу нам несся грузовик, а рядом с ним, высунув язык, мчался вперегонки неутомимый наш доберман.

6

Потешнейшая собачонка из породы малорослых косматых пинчеров. Безобразна она была до крайности. Длинная, косматая шерсть, спутанная, как войлок, от глаз волосы расходятся лучеобразно, глаза как будто совиные. Смешной какой-то черт. Великолепно ловила крыс.

Мне даже неловко писать, до чего она была умна. Никто не поверит. Сама безобразная, очень любила все красивое. Когда молодая девушка в семье надевала белое платье с красным поясом, собачонка садилась на задние лапы и часами любовалась ею. Сидит и смотрит. Любила и сама покрасоваться. И это было самое потешное. На косматую шерсть ее лба привязывали ярко-красный бантик. Она опрометью мчалась к трюмо,— да, да! бросалась к зеркалу! — оглядывала себя, потом садилась на подоконник открытого окна (жили они в нижнем этаже) и гордо сидела, выставляя себя на поглядение прохожим. Прохожие оглядывались на эту рожу, многие останавливались и хохотали. А она величественно сидела, гордая всеобщим вниманием.

7

У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. Рядом — куст бузины. На бузине сидели бок о бок два молодых воробья, совсем еще молодых, с пушком, сквозящим из-за перьев, с ярко-желтыми пазухами по краям клювов. Один бойко и уверенно перепорхнул на край кадушки и стал пить. Пил — и все поглядывал на другого, и перекликался с ним на звенящем своем языке. Другой, чуть поменьше, с серьезным видом сидел на ветке и опасливо косился на кадушку. А пить-то, видимо, хотелось,— клюв был разинут от жары.

И вдруг я ясно увидел: тот, первый,— он уж давно напился и просто примером своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет страшного. Он непрерывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, захватывал воду и тотчас ронял ее из клюва и поглядывал на брата — звал его. Братишка на ветке решился, слетел к кадушке. Но только коснулся лапками сырого, позеленевшего края,—

и сейчас же испуганно порхнул назад на бузину. А тот опять стал его звать.

И добился наконец. Братишка перелетел кадушку, неуверенно сел, все время трепыхая крылышками, и напился. Оба улетели.

8

В марте месяце 1911-го года я ехал на пароходе из Египта в Грецию. И необычная картина была на пароходе: на корме, заваленной товарами, сидела масса самых разнообразных перелетных птичек. Они кружились в воздухе, порхали над волнами и опять садились на корму, клевали сквозь камышовые решетки упаковочных ящиков пунцовые египетские помидоры. На ночь птички расположились спать на мачтах, реях и бушприте нашего парохода. Матросы очень любят этих птичек и не позволяют пассажирам их обижать. Я расспрашивал матросов про птичек. Весною их можно видеть только на судах, идущих на север, осенью— на судах, идущих на юг. Вы догадываетесь? Какой тут мог быть инстинкт? Птицы как-то почуяли, каким-то путем поняли: зачем им тратить силы на трудный перелет через море, когда можно с великолепнейшим комфортом переплыть море на пароходе? Когда-нибудь, может быть, выработается и инстинкт.

9

Часто я стою на улице и с интересом наблюдаю бегущую мимо собаку. Она все время обнюхивает на ходу камни, тумбы, стены. Вдруг остановится у заинтересовавшей ее тумбы, обнюхивает ее долго и тщательно, потом бежит дальше. И все время нос в камни мостовой, и все время нюхает. Конечно, это так: для собаки обоняние — то же самое, что для нас зрение. Я гуляю —и смотрю. Она гуляет— и нюхает.

А зрение у собак плохое и неприметливое. У меня на даче в Коктебеле щенок наш — Бобка — однажды притащил в сад вонючее крыло дохлой галки, с большим наслаждением грыз его и перетаскивал с места на место. Я сказал племяннице Але, чтоб она отвлекла внимание Бобки, и тут же, в пяти шагах от него, почти на его глазах, закопал крыло в землю. Бобка воротился,— крыла нет. Он ничего не заметил. Не заметил, как я взял на лопату

крыло, как закапывал в землю, не обратил внимания на свежую кучу земли. Крыло для него исчезло. Он бегал и напрасно нюхал. Однако через два часа крыло опять было в зубах Бобки: он таки вынюхал его сквозь землю и отрыл.

Во время оно был у нас в Зытне пойнтер Гетман. Обоняние его было изумительное: дадут понюхать коробку спичек, выведут из комнаты, коробку спрячут в ящик комода под белье и ящик задвинут. Впустят — он тщательно все обнюхает и остановится перед тем ящиком комода, где запрятаны спички. И вот раз идем мы на лыжах по саду. Впереди — грозно-испуганный лай Гетмана. Стоит в пяти шагах от небольшого пенька и лает; обросший черным мохом лохматый осиновый пенек в обтаявшей от февральского солнца снеговой воронке.

— Гетман! Чего ты? Вот дурак!

Я ударил палкой по пеньку. Гетман подбежал, взволнованно обнюхал пенек; равнодушно отвернулся и побежал дальше.

10

С этим самым Бобкой в Коктебеле был еще такой случай. У него вздулся большой нарыв на лапе. Племянница моя Аля попросила своего отца, доктора, вскрыть нарыв. Она держала на коленях Бобку, положив руку ему на голову. Отец с бесстрастным лицом резал, а Аля сидела с страдающим лицом. Когда Бобке уж очень было больно, он начинал скулить, пытался выдернуть лапу и вопросительно взглядывал на Алю. Аля гладила его по голове и успокаивающе говорила:

— Ну, Бобочка, потерпи! Сейчас не будет больно!

И Бобка покорно терпел и уж не пытался вырвать лапу. И вытерпел всю операцию

11

Шел вечером по Денежному переулку. Пронесся автомобиль. Из-под колес бешеный визг, и по мостовой быстро закрутился белый комок. Небольшой фокс надсадно визжал и кружился, кружился спотыкающимся, неуклюжим волчком. Отовсюду настороженным лаем откликнулись собаки.

Фокс, странно изогнувшись и громко визжа, побежал по улице. С грозным рычанием на него налетела чер-

ная собака и хотела укусить в спину. Фоксы бешено храбры. Он обернулся, угрожающе ляскнул на черную собаку. Она отстала. А он дальше побежал молча... Да, брат, если плохо тебе,—молчи!

Это подлая собачья привычка: когда визжит собака, когда ее грызут другие собаки, стараться и самой ее укусить, поспешить на помощь сильным против слабой.

Но иногда приходится наблюдать и удивительнейшее собачье благородство по отношению к слабым. У нашей моськи Бэлы, о которой я дальше расскажу, был в молодости брат, Нарзан, задорный и самоуверенный, из породы крыловских мосек. На дворе же в тульском нашем доме был цепной пес — лохматый, белый, чудовищной величины. Звали его Дворняк. На ночь его спускали с цепи, он на свободе бегал по двору и по саду и густым своим лаем должен был отпугивать воров.

Вот раз как-то вечером дворник спустил Дворняка с цепи раньше обычного. Он вбежал в сад. Виляя хвостом, подбежал к нам. Вдруг на него с грозным лаем бросился дурак Нарзан, прямо бросился на него, чуть не чтобы драться. Дворняк рявкнул и мгновенно подмял под себя Нарзана. Мы замерли: конец Нарзану! Замер от ужаса и сам Нарзан, прижатый спиною к земле могучими лапами Дворняка. А Дворняк, оскалив над Нарзаном ужасную пасть, подержал его с минуту под своими лапами и, не тронув зубом, отпустил. Знай, мол, вперед, на кого бросаться, а я об тебя пачкаться не хочу.

12

Была у нас в семье моська, сестра этого Нарзана. Маленькая, жирная, с одышкою, с глазами навыкате, как у лягушки. Но по-человечески добрая и удивительно умная. Звали ее Бэла. Иногда прямо казалось, что у нее человеческая душа. Однажды заговорили мы о том, что Бэла очень стара, что следовало бы ее отравить. Сестра Лиза, подросток-гимназистка, серьезнейшим образом испуганно заметила нам:

— Господа, говорите по-немецки, а то Бэла все поймет!

Сестренку Аню кто-то обидел, она не пошла обедать, лежала у себя на постели и плакала. Бэла вертелась вокруг обедающих, повизгивала, махала хвостом и глядела просящими глазами. Всех это очень удивило: Бэла никогда не просила за столом: она знала, что ей еда полагает-

ся после обеда. Решили, что очень проголодалась, дали куриную косточку. Бэла побежала к плачущей Ане и бережно положила ей косточку на подушку.

13

В таком же роде. В Ялту на осень приехала девушка, больная туберкулезом. Дули сильные ветры. Она подпростудилась. Появилось кровохарканье. Полторы недели лежала, не вставая, совсем одинокая.

Вошла к ней проведать ее хозяйка. Когда она уходила, в дверь проскользнула хозяйская собака,— больная часто ее кормила. Перепрыгнула через табуретку, кинулась к больной, положила ей морду на грудь. Девушка прижала ее голову, ласкала и горько плакала. Собака внимательно поглядела на нее и убежала. Через минуту появилась с плюшкой в зубах и положила девушке на грудь,— стащила у хозяев.

Собака была самка, но детей у нее не было. Она отыскивала беспризорных щенят и котят и носила им еду.

14

РАБИНДРАНАТ ТАГОР. «Жертвенные песни».

«Я часто думаю: где пролегает скрытая граница понимания между человеком и животным, лишенным дара внятной речи?

Через какой первоначальный рай, на утре древних дней, пролегала тропинка, по которой их сердца ходили навещать друг друга?

Их следы на тропинке еще не стерлись, хотя давно уже забыты родственные связи.

Иногда, в какой-то музыке без слов, проснется темное воспоминанье, и животное глядит тогда человеку в лицо с нежной верой, и человек глядит в глаза животному с растроганною любовью.

Как будто сошлись два друга в масках и смутно узнают друг друга под личиной».

КНЯГИНЯ

Город Пожарск. На тихой Старо-Дворянской улице — старинный барский особняк. Через забор сада над щербатым тротуаром черным сводом нависли ясени. В особняке — большие и высокие, с блестящим паркетом, зала и гостиная, низкие спальни и еще более низкие антресоли. Владелец особняка — член окружного суда Андрей Николаевич Суровцев,— молчаливый старик с головою Тургенева. У него болезненная жена и две дочери. Живет у них еще сестра жены, тетя Зина, старая девушка-институтка, энергичная, заправляющая всем домом. Живут дружно, тихо и патриархально. Но трудно: жалованье не такое уже большое. Однако гостей бывает много, и несколько раз в год задаются балы. Нельзя: обе дочери уж на выданьи. Красавицы, но бесприданницы.

Старшая дочь Ксения окончила гимназию с медалью, прекрасно играет на рояле. Молчаливая в отца и красавица в бабушку-грузинку. Прямая, стройная, с медленными движениями, две блестящие черные косы, изумительно правильные черты лица и на лбу — ореол девственной чистоты, который один только Рафаэль смог передать в своей Сикстинской мадонне и мадонне дель Грандука. Сестра ее Вера — в восьмом классе гимназии, хорошенькая и веселая.

На рождестве был бал. Дирижировал изящный студент-юрист Аргамаков, в этом году кончивший курс. Прекрасный французский выговор. Изысканно вежливый. Черные волосы вились мелкими кудрями. Когда он танцевал мазурку с Ксенией, все любовались ими.

Старики играли в гостиной в винт, но во время мазурки столпились в дверях залы поглядеть на веселье молодежи. Вышел из-за карт отец студента, крупный помещик Аргамаков, с такими же мелко-кудрявыми черными волосами, но уже начинающими седеть. Была тут и его жена, худая дама с набеленным лицом, подведенными глазами и ярко накрашенными губами. В то время это совсем еще не было принято, и лицо казалось страшным, как мертвая маска. В карты не играл, а все время любовался танцующими член губернской земской управы князь Андожский, блестящий оратор и умница. Кадетская партия прочила его в члены государственной думы от города Пожарска. Был он уже старик, с нависшим над лицом огромным лбом и выдающеюся нижнею челюстью. Как будто природа, слепив его голову, хлопнула ладонью по темени, и лоб съехал на нос, а нижняя челюсть выбежала вперед.

За ужином князь сидел рядом с Ксенией, много и умно говорил, смешил ее. Она улыбалась медленною улыбкою и молчала.

Дня через два к Суровцевым приехала мадам Аргамакова. Посидела со стариками, была очень любезна с Ксенией, пожелала поглядеть ее комнату. Восхитилась комнаткой и сообщила, что князь Андожский в совершенном восторге от Ксении, от ее ума и воспитания. Ксения краснела и недоумевала, как имел князь возможность судить об ее уме.

Мадам Аргамакова стала рассказывать Ксении, какой хороший и умный человек князь, как он одинок и несчастен. Жена его умерла пять лет назад, нет никого, кто был бы ему товарищем и помощником в его трудной и ответственной работе. Уезжая, она пригласила назавтра к себе Ксению и ее сестру Веру.

Там оказался и князь. Ксения играла ему на рояле. Он много и с большим пониманием говорил о Бетховене, Григе и Скрябине. Сестры почтительно слушали, и обеим было очень скучно.

После этого мадам Аргамакова зачастила к Суровцевым. Объявила родителям, что ужасно подружилась с Ксенией, что чувствует в ней родственную душу. Сидела наедине с Ксенией в ее комнатке и все говорила о князе, об его одиночестве, о том, как несчастен этот человек, столь нужный России, будущая звезда государственной думы.

Через три месяца князь приехал к Суровцевым, побыл сначала у Ксении, потом прошел к старикам и попросил руки старшей дочери. Ему было заявлено, что ответ дадут завтра. Вечером приехала мадам Аргамакова и долго говорила с родителями, потом с Ксенией. Ксении она говорила, что молодость отзывчива и способна на самопожертвование, что она совершит большой подвиг, если примет предложение князя и станет ему товарищем и помощницей.

В июле месяце весь Пожарск говорил только об одном: старый и безобразный князь Андожский женится на восемнадцатилетней красавице Ксении Суровцевой. Возмущались, говорили, что князь — сладострастник и в семье крутой деспот, повторяли слух, что его первая жена кончила самоубийством. Удивлялись, что такая чистая девушка, как Ксения, согласилась на этот брак. Видно, очень уже захотелось девочке стать княгиней.

25 июля была свадьба. Вечером молодые в вагоне первого класса уехали в имение князя.

В конце сентября они перебрались в город. Родители ахнули, когда увидели дочь. Она страшно исхудала, в ввалившихся глазах горело дикое страдание. Вечером, наедине с тетей Зиной, в своей бывшей комнатке на антресолях, где родители не могли снизу ее слышать, Ксения прорвалась отчаянными рыданиями.

Тетя Зина в испуге спрашивала:

— Деточка, что с тобою?

Ксения била кулаком по подушке и повторяла:

— Тетя, тетя, зачем ты мне не объяснила, что значит выйти замуж?!

Старая институтка недоумевающе раскрыла глаза.

— Не понимаю, что ты говоришь.

Ксения грозно смотрела в теткины глаза.

—Так ты... Так ты... ты сама не знаешь, что значит выйти замуж?

Долго тетя Зина сидела над Ксенией и говорила ей:

— Как возможно, чтоб тут было что-нибудь нехорошее? Ведь и мать твоя вышла замуж за Андрея Николаевича, вот и Аргамаковы женаты, и сколько вообще почтенных людей... Что ты такое говоришь!

Ксения лежала и горько кивала головою.

Назавтра родители решительно насели на Ксению, допытываясь, что с нею случилось. Того, что она сказала тете Зине, Ксения родителям не сообщила. Но рассказала, что в имении у князя живет молодая, очень красивая и румяная экономка с двухлетнею дочерью. Через неделю после приезда князь свел Ксению с экономкой и сказал, что он желал бы, чтоб они жили друг с другом, как сестры.

Андрей Николаевич, отец Ксении, очень сурово поговорил с князем.

Князь сконфузился и дал слово, что экономку удалит.

Потекла жизнь в городе. Ксения больше сидела дома и жестоко скучала. Князь обычно возвращался домой в три-четыре часа ночи. Ксения рассказывала знакомым:

— Serge так занят! Каждый день заседания, комиссии. Возвращается домой только поздно ночью.

Но все, кроме Ксении, прекрасно знали, что князь засиживается в клубе за картами.

У Ксении родилась дочь, потом другая. Она вся ушла в детей, понемножку оправилась, пополнела и похорошела. Князь охотно появлялся с нею в обществе и гордился женою-красавицей. Было удивительно, что на лбу у нее, матери двух детей, все держался ореол девственности, придававший ее красоте особую чистоту и трогательность. А глаза были очень страдающие.

Одевалась она богато, ездила в деревню только в первом классе. Все насмешливо отмечали, как скоро девочка почувствовала себя «настоящей» княгиней. Но не знали, что от скромной Ксении этого требовал князь. Он не допускал мысли, чтобы его жена хотя бы два часа ехала во втором классе, где рядом с нею вдруг могла бы очутиться горничная.

Прошло шесть лет. Князь Андожский умер. О семье своей он совсем не позаботился. Оказался весь в долгах, имение было заложено-перезаложено и пошло с торгов. Ксения с двумя дочерьми осталась без всяких средств, только с маленькой пенсией от земства. Она стала жить и одеваться очень скромно, давала уроки музыки и бедность свою несла с большим достоинством. С нею вместе жила тетя Зина, заведовала хозяйством и помогала в уходе за детьми.

В одну сентябрьскую субботу, возвращаясь с урока через городской сад, Ксения зашла на уединенную дорожку

под кремлевской стеной. Листья тополей ярко желтели на глубоко-синем небе, солнце грело. На соборной колокольне медленно звонили к вечерне. На дорожке у Ксении была любимая скамейка, с трех сторон обсаженная сиренью. Тусклая черная листва кустов совершенно закрывала скамейку с боков. Ксения подошла. На скамейке, освещенные золотым светом заходящего солнца, сидели студент в серой тужурке с голубым воротником и девушка в красном берете. Они слились в крепком поцелуе, голова студента закрывала лицо девушки. Она отстранилась, Ксения увидела лицо, сверкавшее счастьем. Девушка вскрикнула. Оба вскочили и смущенно вышли мимо Ксении на дорожку.

Ксения медленно опустилась на скамейку. Даже смущенье не могло согнать с лиц ушедших сияния любви и счастья,— такого счастья, какого Ксения во всю свою жизнь не знала ни одну минуту. И она задумалась о прожитой жизни.

Ксения знала: все объясняли ее замужество желанием стать княгиней. Нет, это было не так! Может быть, чуть-чуть было приятно об этом подумать, но решало не это. Мадам Аргамакова столько говорила ей о князе, о спасении его, о подвиге, что Ксения — податливая, мягкая,— наконец, согласилась на замужество, согласилась... не подозревая, в чем оно заключается.

И стали развертываться перед памятью Ксении угрюмые картины ее брачной жизни, заполненные величайшим поруганием женского ее достоинства. Уж сейчас же после свадьбы, в отдельном купе вагона, князь начал так ее ласкать, что она в ужасе забилась от него в угол. В усадьбе, после ужина с шампанским, Ксения легла в своей комнате. В дверь постучались. Ксения думала, что это горничная, приветливо сказала:

— Войдите!

Вошел князь в халате и туфлях, не обращая внимания на то, что она раздетая. Ксения в негодовании воскликнула:

— Вы с ума сошли?! Уходите сейчас же!

Князь с недоумением поглядел на нее, усмехнулся и вышел.

Наутро, после кофе, князь увел Ксению к себе в кабинет и ласково, серьезно стал объяснять ей суть супружеских отношений. Ксения была ошеломлена. Умный

князь не настаивал, он благоразумно дал Ксении время освоиться с тем, что она узнала. Ну, а наконец все-таки, конечно, случилось то, что должно было случиться. И это была такая гадость, такой стыд и ужас!

Теперь, вспоминая студента с девушкой, Ксения с болью подумала, что, может быть, это не всегда гадость и ужас.

И еще вспоминалось. Это было под самый конец их «медового» пребывания в деревне, во второй половине сентября. Был ветер, холод. Князь велел протопить Ксенину спальню. Спали они отдельно. Горничная принесла две охапки дров. Ксения ахнула.

— Зачем так много? Положите десять поленьев, будет довольно.

К ночи к Ксении пришел князь и сердито спросил:

— Почему так холодно?

— Serge, посмотри на градусник, и так двадцать градусов. Я сказала, что довольно десяти поленьев.

Разразилась дикая сцена. Князь яростно топал ногами, кричал, что тут хозяин он, что он не привык, чтоб кто-нибудь отменял его приказания. Огромный его лоб как будто еще больше навис над лицом, и выдающаяся нижняя челюсть разевалась, как пасть вырвавшегося хищного зверя. Князь при Ксении распушил горничную и ушел к себе, оставив Ксению горько плачущей.

После этого, когда к Ксении должен был прийти князь, спальня Ксении натапливалась, как баня, выше тридцати градусов. После ужасающе бесстыдных ласк мужа Ксения оставалась в постели вся разбитая, полная отвращения, обливаясь потом, задыхаясь в невероятной духоте комнаты.

И потом еще вспоминалось. Лето Ксения обычно проводила с детьми в деревне, а князь по делам службы жил в городе. Однажды Ксении экстренно пришлось приехать в город за лекарством для заболевшей девочки. В первом часу ночи она позвонилась в квартиру. За дверью раздался кокетливый голос:

— Князь, вы?

Дверь распахнулась, и Ксения увидела хорошенькую горничную Настю в одной рубашке, с голыми плечами и полуобнаженною грудью. Настя ахнула, поставила свечку на пол и убежала.

Было объяснение с князем. Он сразу перешел в наступление и сказал:

— Я не могу целыми месяцами быть без женщины. Настю я прогоню, но тогда живи здесь лето ты со мною.

Ксения переехала с детьми в город. Целый день она была одна, князь часто даже не обедал дома. Разговаривая с нею, смотрел угрюмо и скучающе. Встречались они почти только в ее постели. Ласки его стали еще бесстыднее и мучительнее, и теперь в них был оттенок злорадства.

Так прошла вся их шестилетняя совместная жизнь.

Ксения пришла домой задумчивая и тоскующая. За чаем она спросила тетю Зину:

— Тетя, как ты думаешь, зачем мадам Аргамакова так старалась, чтоб я вышла за Сергея Львовича?

Тетя Зина пожала плечами.

— Они были большие друзья, она видела, как он увлекается тобою.

— Нет, тут что-то не то... Знаешь, что? Давай поедем в деревню к Аргамакову, мне хочется спросить его, для чего она все это сделала.

Мадам Аргамакова уже умерла. Аргамаков жил один в деревне. Он стал очень религиозен, построил у себя в усадьбе церковь. Обер-прокурор синода В. К. Саблер был его близкий родственник, через него он был рукоположен в священники и сам отправлял в своей церкви все церковные службы.

Богатое его имение было всего верстах в двенадцати от города. Ксения наняла извозчика и вместе с тетей Зиной отправилась.

Въехали в широкий двор. На крыльцо вышел благообразный лакей. Он со скрытою усмешкою ответил:

— Иван Николаевич сейчас служат обедню. Чем их дожидаться, вы пройдите в церковь.

Церковь была пуста. Только у входа две оборванных старухи, громко вздыхая, крестились и кланялись. Аргамаков, в золотой ризе, с длинными, мелко-кудрявыми, но теперь совсем уже седыми волосами, читал великую ектенью. На клиросе старый псаломщик отзывался:

— Господи помилуй!

Аргамаков служил медленно, с чувством, четко выговаривая все слова молитв. Он с любопытством оглядел вошедших и продолжал службу.

Обедня кончилась. Псаломщик с поклоном поднес Ксении и тете Зине по просфоре. Из алтаря вышел разоблачившийся Аргамаков и с приветливой улыбкою пошел навстречу гостям.

Пили чай на террасе, перед осенним простором бывшего сада. Сквозь поредевшую ало-пурпурную листву дикого винограда сквозило синее небо, теплый ветерок сеял на каменные плиты желтые листья лип. Аргамаков неторопливо расспрашивал гостей об общих знакомых. Шла незначительная беседа, его глаза смотрели все с большим недоумением.

Тетя Зина спустилась с террасы в цветник, как будто чтобы ближе рассмотреть на грядке астры «Страусово перо». Ксения, сильно волнуясь, заговорила:

— Иван Николаевич! Я приехала, чтобы попросить вас ответить мне на один вопрос, и ответить вполне откровенно. Для меня это очень важно.

— Пожалуйста, княгиня. Если будет хоть какая-нибудь возможность, то отвечу.

— Скажите, Иван Николаевич. Зачем вашей жене, покойной Ларисе Игнатьевне, так было нужно, чтобы я вышла замуж за Сергея Львовича? Зачем она так домогалась этого?

Аргамаков слегка отодвинул широкий рукав рясы и задумчиво гладил бороду.

— Ну, что ж, княгиня. Дело прошлое, можно об этом говорить вполне откровенно... Видите ли. Наш сын Виталий заметно увлекался вами. Лариса Игнатьевна боялась, что, окончив курс в университете, он захочет жениться на вас... А такую партию она считала для нашего сына неподходящею.

Ксения сидела, понурив голову. Аргамаков помолчал.

— Сын наш вскоре женился на богатой вдове, крупной помещице Нижегородской губернии... Но брак оказался неудачным. Сын очень в нем несчастен.

ТУЧА И ЗОРЬКА

Коротконогий, с прекрасно сформированным, высоким и широким лбом, с землистым лицом, покрытым крупными неврастеническими складками. Звали его Николай Иванович. Ему предстояло остаться при университете по кафед-

ре философии, но несколько удачных рассказов дали ему некоторое имя, и он повернул на литературную дорогу. Большой успех имела его драма «Сильные и слабые». Она прославила его и,— как всякая у нас пьеса, имеющая успех,— давала порядочный доход.

Я с ним познакомился осенью 1903 года, когда поселился в Москве. Незадолго до того в Москве основался литературный кружок «Среда». В него входили Леонид Андреев, братья Ив. и Ю. А. Бунины, И. А. Белоусов, Сергей Глаголь, Серафимович, Телешов, Тимковский и др. Там я с Николаем Ивановичем и познакомился.

Он пригласил меня к себе. Был я у него в Замоскворечьи, на Большой Якиманке. Смотрел он угрюмо, говорил очень серьезно, все время покашливая. Но иногда неожиданно улыбался, и тогда лицо освещалось мягким, теплым светом. Разговаривая, я взял с письменного стола перочинный ножик и поворачивал его, касаясь стола то одним концом, то другим. Когда я положил ножик, Николай Иванович кашлянул и водворил его на то самое место перед чернильницей, где он лежал раньше.

Вошла его жена, Екатерина Николаевна, невысокая, как и он, золотистая блондинка с очень нежным цветом лица. Она была миловидна, но странно бросался в глаза необычный для женщины, по-мужски несколько отлогий лоб. Разговаривали. Сразу в ней почувствовался человек интеллигентный и хорошо умный. Она позвала нас в столовую пить чай. Налила нам чай, вышла, воротилась с годовалым ребенком на руках и стала поить его молоком. Я с изумлением поднял брови. Сидело у нее на руках обезьяноподобное существо, почти совершенно без лба, с раскосыми маленькими глазками и бегающею по губам странною улыбкою. Екатерина Николаевна украдкой следила за впечатлением, которое на меня произведет ребенок. Николай Иванович смотрел угрюмо.

Екатерина Николаевна преподавала историю на Пречистенских вечерних курсах для рабочих,— в учреждении, игравшем в то время очень большую культурную роль. Не бросила работы и когда стала беременною. Работала много, приходила домой такая усталая, что ложилась спать не евши. Оттого ли, что мать неразумно потребляла на себя весь мозговой фосфор, отнимая его у зревшего плода, от более ли глубоких причин, но девочка родилась с крохотной, безлобой головкой. Врач сомни-

тельно покачивал головой. Однако родители старались уверить себя, что все еще, быть может, «выровняется». И жадно приглядывались, какое впечатление производит девочка на постороннего.

В 1907 году я нанял дачу на Оке недалеко от Алексина, близ станции Средняя, в сосновом бору, где жил и Николай Иванович. Восемь лет мы там проводили лето в дачах шагах в трехстах одна от другой.

Николай Иванович был человек размереннейшей и аккуратнейшей жизни. Еда была в точные часы, ложился спать и вставал всегда в определенное время, до 15 мая, как бы ни было жарко, ходил в теплой одежде, после пятнадцатого — в легкой, как бы ни было холодно. Гулять шел, руководствуясь барометром.

Обедаем у него. Из большой рюмки водки он делает глоток и ест. Потом опять глоток. Так у него эта рюмка растягивается на весь обед. И говорит, покашливая:

— Иногда я люблю... гм! гм!.. возноситься помыслами в небо...

И хочется спросить его:

— По каким дням недели и в котором часу вы имеете обыкновение это делать?

Леонид Андреев, когда еще был холостым, прожил одно лето на даче с Николаем Ивановичем на товарищеских началах. Он с юмористическим ужасом вспоминал это лето и рассказывал, как трепетал, опаздывая к обеду, и как Николай Иванович, покашливая, говорил ему:

— Мы с вами, Леонид Николаевич... гм! гм!.. определенно условились обедать в три часа, а теперь уж двадцать минут четвертого.

Горький не выносил Николая Ивановича и в письме к Чехову изумлялся, за что их друг, д-р Средин, любит Николая Ивановича. «Вот задача!»

Много в Николае Ивановиче было странного и курьезного. Но много было и очень привлекательного. Этот серьезный и мрачный человек изумительно умел, например, сходиться с детьми. Никого я другого не встречал, к кому бы дети с первого же знакомства относились так просто и доверчиво. Все мы более или менее разговариваем с детьми присюсюкивая и почти всегда с некоторым тоном превосходства. Николай Иванович говорил с ребенком об

его куклах или о предстоящей прогулке таким же серьезным, интересующимся тоном, как с товарищем-писателем об его рассказе или с мужиком о видах на урожай. Это сразу располагало к нему ребенка. В его аккуратности было много хороших сторон. Он никогда не заставлял себя ждать, всегда приходил к сроку. Всякую общественную работу исполнял с величайшею добросовестностью.

В кружке «Среда» Николай Иванович был одним из немногих толкавших кружок на политические выступления. Но фальши не выносил и иногда как будто впадал с самим собою в противоречие. Был юбилей Короленко. «Среда», вообще по-московски падкая на всякого рода юбилеи и торжества, конечно, долгом своим почла откликнуться на юбилей адресом. Николай Иванович решительно восстал против. Было непонятно. Все изумились. А он, покашливая, говорил сурово:

— Что «Среде» до того главного, чем горит Короленко? Искренно она может восхвалять только его художественные заслуги, а Короленко нужно чествовать не только за это.

Мы написали хороший, задушевный адрес. Он кончался двустишием, которое Короленко приводит в одном из своих рассказов:

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.

Николай Иванович отказался подписать адрес.

— Какое «Среде» дело до того, поют ли на Руси петухи и скоро ли будет на ней день?

Это уже было несправедливо по отношению к товарищам: конечно, им это не было совсем уж безразлично. Все, посмеиваясь, переглядывались и пожимали плечами. Николай Иванович сидел, нахохлившись, и поглядывал с угрюмым вызовом.

Когда, проездом через Москву, «Среду» посещали Чехов, Короленко или Горький, они, естественно, становились центром общего внимания, к ним льнули, почтительно замолкали, как только они открывали рот, за ужином поднимали за них тосты. Хозяйка металась с глазами, ошалевшими от подобострастного восторга. Николай Иванович держался в стороне и поглядывал с насмешкой. Становилось в душе немножко совестно за то идолопоклон-

ство, которое проявляла «Среда» в отношении к своим знатным гостям.

Критик он был требовательный и читаемые в кружке произведения разбирал строго. Особенно доставалось от него Леониду Андрееву. Он нападал на него за отсутствие простоты и подогретую искусственность тона.

— Я не верю тому, что вы это переживаете так, как пишете.

Сам, однако, своих произведений в кружке никогда не читал.

У них было теперь двое детей. Старшая, Таня, то обезьяноподобное существо, о котором я рассказывал. Другая, Катя, на два года моложе, была нормальная девочка, умненькая и одаренная, но очень нервная. Таня подрастала, ей уже было лет семь-восемь. Та же безлобая головка на пышном длинноруком теле, в разные стороны глядящие глаза и блаженно-бессмысленная улыбка, порхающая по губам. Гуляя, нужно было держать ее за руку, иначе побежит и будет бежать все прямо, пока не свалится в канаву. Возьмет стакан, выбросит за окно и смеется довольным смехом. Дождь проливной, лужи на дворе,— она в только что надетом чистом платьице выскочит на двор и пляшет по лужам. Николай Иванович всегда ходил гулять с детьми и вел Танечку за руку, с гордым и суровым лицом проходя сквозь строй внимательных взглядов и сострадательных шепотов гуляющей публики:

— Несчастный ребенок!.. Несчастные родители!..

Года два-три пьеса «Сильные и слабые» давала Николаю Ивановичу хорошие деньги. Как большинство русских людей, он по соответственной сумме и построил свой бюджет. Но — оказался он автором одного произведения. Это —тяжелейшая трагедия в жизни не одного писателя. Грибоедов, Ершов, Сухово-Кобылин, Найденов, Гославский. В одном-двух произведениях они высказались целиком. И мало у кого находится ума и мужества, чтобы сказать себе: «довольно!» — и взяться за другое дело. Кровь уже отравлена, начинается мучительное насилование себя. И пишет человек, пишет... К той же трагедии пришел и Николай Иванович.

Он писал драму за драмой. Из уважения к автору «Сильных и слабых» драму ставили. Она выдерживала три-четыре представления и снималась с репертуара. Иные

пьесы и прямо отвергались. Имя Николая Ивановича становилось нарицательным для серой драматургической бездарности.

Продолжал он писать и рассказы. Безнадежно тусклые, угнетающе гуманные, с идейными сельскими учительницами и самоотверженными земскими врачами,— как писали только лет тридцать до того. Может быть, если бы он бросил перо лет на пять, у него накопилось бы в душе что-нибудь важное и нужное, что властно потянуло бы к перу. Но писательство стало ремеслом. Он писал, потому что нужно было платить за квартиру, потому что Тане нужно было сшить шубку. Писал через силу и против желания. И ему все мешало работать. Когда он сидел за письменным столом, вся квартира ходила на цыпочках, детей уводили в самую дальнюю комнату, и все-таки он то и дело в ярости выскакивал из кабинета и кричал, чтобы уняли детей, чтобы прогнали полотеров. Ярость окончательно рассеивала охоту работать, и он весь день ходил обиженный и на всех сердитый.

А расходов по жизни требовалось все больше. Главным, тяжелейшим расходом лежала на бюджете Таня. Прислуга соглашалась ухаживать за нею только за большую плату. Таня постоянно пачкалась, рвала платья,— нужно было на нее стирать, чинить. Била посуду, рвала рукописи и книги отца,— нельзя было ни на минуту спускать с нее глаз. Ко всему, в одиннадцать лет этот звереныш сформировался в взрослую... не поворачивается перо написать «девушку»,— в взрослую самку. И это было уж совсем ужасно. Для Кати приходилось держать отдельную няню, так как общение с Таней совершенно ее дезорганизовало.

Истинным стержнем в доме, костяком, невидимо поддерживавшим и оформлявшим всю семейную жизнь, была Екатерина Николаевна. Это был чудеснейший человек. Всегда с ясным лицом, всегда ровная и спокойная, всегда владеющая собою, как бы ни ворчал и ни капризничал муж, какие бы выводящие из терпения выходки не обрушивала на нее Таня. Когда она шла рядом с Николаем Ивановичем, все говорили:

— Как ясная зорька рядом с черной тучей.

Так они оба и стоят рядом в моей памяти,— как угрюмая туча и ясно светящаяся зорька.

Для Тани Екатерина Николаевна основательно изучила литературу о дефективных детях, много общалась с врачами и педагогами, специалистами по этой отрасли, и стала сама специалисткой. И начала заниматься с дефективными детьми. Почему-то особенно много их было в богатом московском купечестве. Уроки оплачивались хорошо. Но Николай Иванович выходил из себя, потому что при постоянном отсутствии Екатерины Николаевны некому было с должным вниманием следить за едою в точно определенное время, за тем, чтобы дети не шумели; да и просто ее присутствие в доме было ему необходимо для некоторого душевного равновесия.

И он раздраженно доказывал ей: гораздо целесообразнее, чтоб ее заботы были направлены на создание благоприятных условий для *его работы*. На этом они получат гораздо больше, чем от всех ее уроков. Но Екатерина Николаевна, с отчаянием в душе за мужа, все больше начинала сознавать, что он исписался и что на литературу ему рассчитывать нечего. Николаю же Ивановичу и в голову не приходило, что может же он, человек образованный и неглупый, найти себе работу и помимо писательства.

Мучительно было видеть, как из жизни двух этих людей, подобно ненасытной пиявке, высасывала все соки, все силы безлобая, совершенно не нужная для жизни Таня. Было очевидно, что она всегда будет лежать только бременем на окружающих и беззащитно погибнет, если забота о ней окажется недостаточной. Мы с женою моею Марусею говорили друг с другом: какое бы это было избавление и счастие для них, если бы существо это умерло! И вставал вопрос, встающий в подобных случаях почти перед каждым, вопрос, шевелящий душу невольным ужасом: почему нельзя...

Однажды к вечеру, после купанья, Маруся с Екатериной Николаевной сидели на обрыве над просторами Оки, среди голубых репейников. Маруся сказала:

— По-моему, такие существа, как Танечка, не должны жить. Они все силы берут у других людей, а сами для жизни совершенно не нужны. И что ее может ждать, когда вы умрете?

Екатерина Николаевна отшатнулась, пристально взглянула Марусе в глаза и вдруг разрыдалась. И плакала долго. И сказала:

— Меня непрекращающимся кошмаром давит мысль об ее будущем. Но я и думать не могу об ее смерти. Мы оба с Николаем Ивановичем бесконечно любим ее...— И, грозно-предупреждающе глядя, прибавила: — Я бы возненавидела и никогда не простила бы тому, кто посмел бы это сделать.

Маруся гладила ее по золотым, слегка вьющимся волосам, целовала, а она, уткнувшись лицом в колени, плакала долго и горько.

Но странное дело! То страшное, что Маруся сказала, не отшатнуло от нее Екатерину Николаевну. Напротив, после этой беседы на откосе они быстро сошлись и стали близкими, неразлучными друзьями.

Когда я теперь вспоминаю Екатерину Николаевну, меня охватывает горькое чувство сожаления и позднего раскаяния. Она ко мне относилась очень хорошо, горячо интересовалась моими литературными работами. Я в то время писал самую мне дорогую книгу «Живая жизнь» и по главам читал ее Марусе и Екатерине Николаевне. Но все больше у меня развивалась тяжелая нервная болезнь, которую врачи определили как астению мозга на почве умственного переутомления. Малейшее умственное напряжение вызывало сильнейшие головные боли. Сначала я был принужден прекратить творческую работу, потом серьезное чтение, потом вообще чтение, мог читать только «Рокамболя» и «Графа Монтекристо». Между тем в уме целиком уже оформилась «Живая жизнь», и я носил ее в себе, как беременная женщина умерший и мацерирующийся плод, которого она не в силах родить. Не стало силы и на физическую работу, которая раньше всегда спасала меня. Настроение было ужасное. Никого не тянуло видеть, хотелось замкнуться и уйти от всех.

Однажды на огородных грядках моего садика я выламывал у помидоров жировые ветви. Маруся ушла на Оку купаться. Вошла в садик Екатерина Николаевна и решительным шагом подошла ко мне.

Я сказал:

— Маруся ушла купаться.

Она, волнуясь, возразила:

— Я не к Марусе пришла, а к вам.

Ей-богу, по-моему, я был с нею очень любезен и раз-

говорчив. Она поговорила минут пять и ушла. Маруся, возвращаясь с купанья, встретилась с нею на дорожке парка. Екатерина Николаевна быстро шла, прижав ладони к пылающим щекам, с неподвижно устремленными вперед блестящими глазами. Маруся окликнула ее, Екатерина Николаевна остановилась.

Маруся спросила:

— Что это ты такая?

— Дура я, дура!.. Вот дура!

— Да что такое?

— Дура, дура!.. У меня так болит сердце за Викентия Викентьевича! Сегодня я прочла у Толстого в «Круге чтения» цитату из корана: «Улыбнуться, глядя в лицо ближнего,— милосердие». Мне захотелось пойти к Викентию Викентьевичу и улыбнуться, глядя ему в лицо... Дура, дура!.. У-л-ы-б-н-у-л-а-с-ь!..

— Что же он?

— Все время на лице его я читала: «Чего вам, собственно, нужно?» Ох, дура, дура какая!..

Да! Мало мы дорожим хорошим отношением к себе! Подумаешь, так уж много на свете людей, которым вправду больны твои беды, дороги твои удачи. Мы равнодушно проходим мимо таких людей и только тогда, когда ничего уже нельзя воротить, недоумеваем, как могли мы так легко отвергнуть участие и расположение к нам!

Однажды ночью, зимою, у Екатерины Николаевны появились сильнейшие боли в правой стороне живота. В карете скорой помощи ее увезли в больницу. Оказался жестокий аппендицит. Сделали операцию. Но гной уже оказался в полости брюшины. Положение было очень серьезное. Екатерина Николаевна не хотела, чтобы до нее допускали мужа, Марусю. Но передала, чтобы я посетил ее. Я увидел перед собою крохотную исхудалую женщину с желтым, сморщенным, старушечьим лицом. Только глаза горели сосредоточенным, решительным блеском. Она мне говорила:

— Викентий Викентьевич, вы понимаете, *я не могу, я не должна умереть!* Что будет тогда с моими тремя младенцами — Танечкой, Катей и Николаем Ивановичем! Ведь он совсем как Танечка, он даже яйца себе не умеет сварить, не умеет постелить себе постели. Я потому не хочу видеть

Николая Ивановича и Марусю, что они мне слишком близки, встреча с ними взволновала бы меня, а мне все силы нужно сосредоточить на том, чтобы выкарабкаться из могилы, в которую валюсь. Как-нибудь объясните им, почему я их не хочу видеть.

Врачи предложили ей вторичную операцию, но предупредили, что она будет очень болезненна и за благополучный исход поручиться нельзя. Она без колебаний ответила:

— Делайте со мною, что хотите. Я на все согласна.

В глазах ее, полных нечеловеческой решимости, читалось одно: «Мне совершенно невозможно умереть. *Этого не будет!*»

На всякий случай Екатерина Николаевна через меня передала Николаю Ивановичу свои последние распоряжения. На следующий день, вскоре после вторичной операции, она умерла.

Николай Иванович пришел к нам с застывшим, темным, как чугун, лицом. Покашливая, глядя бесстрастно-угрюмыми, внимательными глазами, он еще раз обстоятельно расспросил меня о моих посещениях Екатерины Николаевны, о самых мелких деталях. Потом долго сидел молча и непрерывно курил. Мы старались рассеять его разговорами, предложили остаться у нас ночевать. Но он вдруг встал и сказал, что ему нужно быть еще в одном месте. И ушел. Через полчаса прибежала его сестра справиться, у нас ли он. Сказала, что они боятся, как бы он с собою не покончил. И побежала его отыскивать.

На похоронах Николай Иванович не присутствовал, совершенно равнодушный к тому, «что скажут». Никого из знакомых не принимал и целыми днями безвыходно сидел в комнате Екатерины Николаевны. Все в комнате осталось в том виде, в каком ее покинула Екатерина Николаевна. Раскрытый роман Гамсуна на письменном столе, туфли под кроватью. Все стены он увешал увеличенными ее портретами.

Жизнь дома, конечно, стала быстро разваливаться, хотя сестры Николая Ивановича и другие близкие люди старались сделать все, что могли. Но все оживляющий дух отлетел от семьи вместе со смертью Екатерины Николаевны.

Прошло два-три года. Писал Николай Иванович все хуже. Тяжело вспоминать. У нас в то время существовало товарищеское «Книгоиздательство писателей в Москве». Оно, между прочим, издавало беллетристические сборники «Слово». Я был их редактором. Николай Иванович предложил для них повесть. Она была безнадежно плоха. Я отклонил. Николая Ивановича хватил удар. Удар был легкий, Николай Иванович вскоре поправился, но это было грозным предостережением. Он стал еще угрюмее. Потом редактором «Слова» был Н. Д. Телешов. Николай Иванович представил ему новую свою большую повесть, еще хуже. Мягкий Телешов не решился прямо отклонить, а возвратил под предлогом, что сборник уже заполнен и для большой повести в нем не найдется места. Но ведь в таком случае повесть можно было отложить до следующего сборника. Совершенно ясно было, что это только вежливый предлог. Но Николай Иванович не захотел понять.

— Ах, длинна повесть? Прекрасно! Тогда вот! Пожалуйста! Рассказ в три четверти листа.

Телешов был приперт к стенке и — напечатал рассказ. Почти во всех рецензиях на вышедший сборник отмечался рассказ Николая Ивановича как непозволительно плохой, и выражалось недоумение, как могут подобные рассказы попадать в печать: видно, «товарищи» готовы по знакомству печатать какую угодно халтуру «родного человечка».

В октябре 1918 года, через год после Октябрьской революции, я уехал в Крым, и там мне пришлось прожить три года. Когда я воротился, Николай Иванович уже умер. От удара. Таня раньше его умерла в приюте для дефективных детей, по-видимому, от плохого ухода.

ТРУСИХА

И наконец — вдруг по улице дачного поселка пронесся на велосипеде мальчик, трубя воздушную тревогу. Уже две недели все со страхом ждали этого. Вдали загрохотали зенитки, над лесом засверкали их взрывы, по темному небу стали шарить голубые лучи прожекторов, и зловещие гулы потянулись в облаках к Москве. Это в первый раз германские самолеты появились над поселком.

В даче была суета. Люди метались, торопливо одевали детей, хватали чамоданы.

— Скорее, в щель!

— Ой, господи, что же это! Сейчас бомбы на нас посыпятся!

— Что брать с собой?

— Да ведь все уже приготовлено. Вот чемоданы с самым необходимым. Нельзя, господа хорошие, так теряться!

Центром суеты и панического испуга была Ольга Сергеевна. Она металась по комнатам, рыдала, бессмысленно хватала первые попавшиеся вещи. Домработница и маленькие дети, глядя на нее, начинали испуганно плакать.

— О, господи! Сейчас на нас бомба упадет, что делать? Костенька, что делать, что с нами будет?

Она уцепилась за плечо мужа, припала к нему, дрожала и рыдала.

Муж, Константин Александрович, сказал нетерпеливо:

— Да ну, Оля, перестань! Как не стыдно!.. Идем в бомбоубежище.

Он взял под руку Ольгу Сергеевну, другою поднял чемодан и повел жену на огород. Там за ореховым кустом была вырыта «щель»,— крытое бревнами и сверху засыпанное землею коридорообразное убежище со скамейками вдоль стен.

Набралось человек двенадцать. Подростки выскакивали наружу, высматривали аэропланы, взрослые кричали на них, чтоб воротились. Ольга Сергеевна с безумными глазами продолжала рыдать, ухватившись за плечо мужа.

— А вдруг бомба упадет прямо на крышу убежища!

— Ну, так уж прямо на крышу и упадет!.. Да и не пробьет потолка, бревна толстые.

— Неправда, ты меня только утешаешь! Бомба пробивает насквозь даже пятиэтажные дома, я знаю.

Люба, сестра Ольги Сергеевны, с негодованием сказала:

— Это просто позор! Ты бы хоть детей постыдилась!

Ольга Сергеевна лежала без сознания. Вдруг вздрогнула и подняла голову.

— Что это там?!

— Ну, что? Опять зенитки застреляли.

— Нет, это бомбы рвутся! Боже мой, боже мой! Все мы погибли!

Глядя на эту откровенную трусость, все остальные стали успокаиваться. Все новые самолеты с гулом неслись к Москве. Зенитки стреляли. Но теперь это было уже не так страшно. Ясно было, что не станут самолеты тратить бомбы на какой-то поселок. Только Ольга Сергеевна непрерывно всхлипывала и с блуждающими глазами прислушивалась к тому, что делалось снаружи.

Прошел час. Зенитки замолчали. Гулы вверху прекратились. Но тревогу еще не отменяли, и голубые лучи продолжали испытующе обшаривать облака, скользя по ним светящимися пятнами.

После пережитых волнений все были нервно оживленны. Болтали, смеялись. Понемногу успокоилась и Ольга Сергеевна. Люба сказала:

— Ну, как, Оля, не стыдно быть такою трусихою!

— Ну, да, я трусиха. Что же мне делать? Очень большая трусиха, прямо говорю.

Константин Александрович сидел, обняв ее за талию. Ему было стыдно за жену и больно. Любовно гладя Ольгу Сергеевну по волосам, он сказал:

— Да, трусиха невозможная! Просто позор и срам! Но вы знаете? Эта самая трусиха в восемнадцатом году одна обезоружила пьяного махновца, который хотел меня застрелить. И только ей я обязан жизнью.

— Как это?! Вот чудеса!

— А вот как... Я был тогда прапорщиком. Армия уж совершенно развалилась. Я вместе с Олей возвращался с турецкой границы через Украину домой. Вагон был битком набит. Сидел пьяный махновец и ворочал озорными, свирепыми глазами. Жутко было смотреть на него, жутко было видеть, как он себя здесь чувствует полным властелином, перед которым все трепещут. Ехала молодая девушка-гимназистка. Он стал к ней приставать,— цинично, нагло. Обнял за талию, потянулся поцеловать. Никто в вагоне не двигался, никто ему ничего не смел сказать. Я решительно обратился к нему: «Послушайте, как вам не стыдно приставать к беззащитной девушке? Оставьте ее в покое!» Он онемел от изумления, с минуту молча оглядывал меня мутными, тупо-грозными глазами. Потом сказал: — «Ах, ты, офицерская харя! Не всех вас еще, видно, перестреляли!» И, не спеша, вынул из кобуры наган

Все замерли и не шевелились. Эта подлая трусость, когда несколько десятков человек бездейственно дрожат перед одним наглецом. Ясно было,— конец мне. Вдруг я услышал пронзительный вопль. Оля, как взбесившаяся кошка, ринулась на махновца, прямо под наведенный на меня револьвер, охватила его вокруг плеч. «Отдай, отдай револьвер! С ума ты сошел! Сейчас же отдай! Не смей!» — Вырвала револьвер и выбросила в окно. Махновец ошалело глядел на Олю, пробормотал: «Ишь, какая!» А она теребила его и кричала: «Вставай, иди в другой вагон! Нечего тебе тут делать! Ну, пошевеливайся! Живо!» Он, удивленно полусмеясь, поднялся. Оля подталкивала его сзади в плечо, он немножко упирался, однако шел. И вышел из вагона. Она крепко захлопнула за ним дверь. Тогда весь вагон захохотал. А Оля забилась в истерике.

СУББОТА

Во время первой империалистической войны. В госпитальной палате для тяжелораненых умирал солдат еврей с газовой гангреной. Метался и в тоске молил пригласить раввина для напутственной молитвы.

Сестра милосердия позвонила знакомой еврейке,— где найти раввина? Та дала ей телефон. Подошла жена раввина.

— Сегодня суббота, он не может приехать. Приедет завтра утром.

— Что вы такое говорите! Да больной не доживет до завтра!

Долго препирались, сестра настаивала. Жена пошла к раввину вторично.

— Он сейчас молится и приехать никак не может. Завтра приедет рано утром.

В госпитале служили всенощную. Священник с крестом и кропилом обходил палату тяжелобольных, кропил лежащих святою водою и давал прикладываться ко кресту. Солдат еврей в смертной тоске протянул руки к священнику и коснеющим языком произнес:

— Дайте!.. Дайте и мне!

Солдаты испуганно зашептали священнику:

— Он еврей!

А тот протягивал руки и повторял:

— Дайте и мне!

Священник поколебался — и протянул крест. Солдат жадно схватил руку с крестом, припал губами ко кресту — и умер.

Назавтра рано утром приехал раввин. Сестра злорадно сказала:

— Больной вчера умер. А перед смертью приложился ко кресту.

Раввин побледнел: что правоверный еврей по его вине приложился ко кресту,— это был огромный грех на его совести.

Я старался выяснить у знакомых евреев: неужели суббота запрещает даже такую «работу», как напутствие умирающего, спасение утопающего и т. п.? Мне ответили: может найтись такой фанатик буквы, но всего вероятнее,— раввину просто не хотелось нарушить свой субботний покой.

СОФРОНИЙ МАТВЕЕВИЧ

В Алексине у Воскобойникова оказался его товарищ по университету Пересыпкин, и всю нашу компанию в пять человек он привел переночевать к нему. Воскобойников сейчас был студентом-медиком, а Пересыпкин уж третий год служил учителем математики и физики в тульской женской гимназии и имел в Алексине собственную дачку.

Мы были студенты, мы были молоды, радовались на свою молодость и гордились ею. И все кругом, мы чувствовали, радовались на нас — и сам Пересыпкин, рыжеватый и плотный, с растерянным смехом, и его миловидная, худенькая жена, и ее румяная сестра-гимназистка, и ее старик-отец Софроний Матвеевич, с крючковатым носом и маленьким подбородком, бритым с неделю назад. Что было еще важнее молодости, у нас было будущее,— неизвестно, какое, но наверное очень яркое и славное, не то, что, например, у Пересыпкина: все уже определилось, учитель гимназии, дачка, жена...

Давно стояла засуха. Сухое, красное солнце спускалось за колокольнями в пыльную даль. Мы пили в сиреневой беседке чай, смеялись, шутили. Пели хором:

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради сладкого труда,
Ради вольности веселой
Собралися мы сюда!..

За решетчатой оградой девушки на улице внимательно слушали.

Старик-тесть Пересыпкина, Софроний Матвеевич, сообщил нам, что он человек шестидесятых годов, что у него в Туле полный комплект «Современника» времен сотрудничества в нем Чернышевского и Добролюбова.

— Там и «Что делать?» Николая Гавриловича полностью... Вот был журнал! И заметьте,— все столпы — Николаи: Н. Некрасов, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Н. Щедрин, Н. Костомаров, Н. Помяловский... Хе-хе!

Он слегка перед нами лебезил, заглядывал в глаза, высматривал сочувствие и уважение к себе, видимо, хотел нам показать себя достойным вести беседу со студентами.

Воскобойникову почему-то нравилось заставлять людей проявляться с самой гнусной стороны и в душе потешаться над ними. Он радикальничал и безбожничал перед стариком, тот с готовностью поддакивал и смеялся.

Софроний Матвеевич рассказывал:

— Засуха жестокая. Мужички здешние все молебны служат о дожде. Крепка еще в них эта темная религиозность! Сидит для них на небе капризный старикашка: покланяйся хорошенько,— пошлет дождичка, не покланишься,— уморит голодом... Попы здесь сейчас вот как наживаются. Каждый день молебны служат о дожде. И все никаких результатов!

Он захохотал. Жена Пересыпкина с удивлением слушала отца. Воскобойников спросил:

— Поповские речи, оказывается, не вода?

— Да. Они хоть и водянисты, но не вода. Хе-хе!

Спать нас положили на сеновале сарая. Сейчас же все заснули. На заре я проснулся. Так было хорошо кругом, что не хотелось тратить времени на сон. Восток светлел, ярко горела утренняя звезда, стояла сухая прохлада, на горке белела церковь, в ней медленно и протяжно звонили к ранней обедне.

Вдруг дверь в доме скрипнула, на крылечко двора вышел Софроний Матвеевич в картузе с четыреугольным ко-

зырьком. Подозрительно огляделся, внимательно покосился на сеновал и пошел к уличной калитке. Сверху мне было видно, как он поднимался по пустынной площади к церкви.

Да! В церковь шел, к обедне! Потихоньку, чтобы кто из нас не увидел. Бога, бога своего он стыдился и вел с ним дела тайком, чтобы не компрометировать себя знакомством с ним!

Фрейлина императорского двора, графиня, после Октябрьской революции говорила знакомому моему врачу:

— Мы теперь недостаточно богаты для того, чтобы быть честными.

ЧОХОВ

Наш пароход подходил к острову Цейлону. Цейлон! Местоположение земного рая люди полагали на Цейлоне. Повидать его было давнишнею моею мечтою. Для Цейлона и еще для Японии я главным образом и поступил судовым врачом на пароход Добровольного флота, делавший рейсы между Одессой и Владивостоком.

Уже со вчерашнего ужина все в кают-компании только и говорили — не о Цейлоне (остальному нашему экипажу он был давно известен), а о каком-то Чохове. «Чохов встретит», «Чохов примет», «Надо приготовить для Чохова»... Что за Чохов?

За утренним кофе старший механик Бакшеев, полный блондин со смеющимися про себя глазами, мне рассказал:

— В известную московскую чайную фирму братьев К. и С. Поповых поступил мальчиком в услужение сын ночного сторожа Чохов. Он обратил на себя внимание умом и энергией, быстро выдвинулся. Братьям Поповым первым пришла в голову мысль начать торговать цейлонским чаем. Он был крепче и должен был обходиться много дешевле китайского. Знатоки, конечно, не променяли бы китайского чая ни на какой другой, но в широкой публике цейлонский чай должен был пойти, что и оказалось на са-

мом деле. Поповы послали на Цейлон своего агента, а с ним — шестнадцатилетнего Чохова. В течение года Чохов прекрасно освоился с делом, великолепно выучился английскому языку, китайскому и сингалезскому. Фирма отозвала агента и все дело поручила Чохову. Через несколько лет его переманила к себе чайная фирма братьев Высоцких. А еще через несколько лет Чохов рассудил: чем ему работать на других, лучше открыть собственное дело. Теперь он колоссальный богач, русский генеральный консул, владелец огромных чайных и кофейных плантаций.

Бакшеев рассказывал:

— На вид совсем англичанин: высокомерный взгляд, цедит сквозь зубы, а в душе русак. Держит тесную связь со всеми русскими пароходами. Мы ему возим из России зернистую и паюсную икру, смирновскую водку, гречневую крупу. Наверно, выедет нас встречать. На вас набросится. Всякий новый русский человек так его к себе и тянет. Нас всех он уже знает.

В сиреневой дымке завиделись вдали белые здания Коломбо, главного города Цейлона. В жарком блеске утреннего солнца, игравшем на тихих волнах, нам навстречу мчался белый катерок с развевающимся русским флагом. Он причалил к замедлившему ход нашему пароходу. На трап вскочил на ходу загорелый мужчина с темной бородой, лет сорока пяти, и поднялся на палубу. Его с радушием и почетом встретил весь высший командный наш состав, во главе с капитаном Целинским, изящным поляком с густыми русыми усами, отставным контр-адмиралом. Мне не понравилось: Чохов, с замороженным лицом, поздоровался со всеми нестерпимо покровительственно, а перед ним все явно лебезили.

Сели за роскошный завтрак. Чохова капитан, конечно, посадил рядом с собою. Я оказался как раз против Чохова. Он с вниманием и любопытством приглядывался ко мне, а я все больше закипал к нему враждою. Держался он очень величественно, даже самого капитана называл «милейший» и «мой дорогой». Изобразив на лице английски-замороженную любезную улыбку, Чохов обратился ко мне:

— Вы-с, молодой человек, как,— в первый раз тут, в наших краях?

Я с вызовом оглядел его и резко сказал:

— Позвольте довести до вашего сведения, что у вос-

питанных людей не принято называть кого-нибудь «молодой человек», «милейший», «мой дорогой». Это хамство. Осведомятся об имени-отчестве, так и называют, и уж не забывают и не путают.

Присутствующие замерли и, довольные, опустили взгляды в тарелки. Чохов усмехнулся, оглядел меня. Я с удивлением заметил: как будто мой ответ ему прямо понравился. Он согнал с лица замороженную улыбку и смиренно спросил:

— А как вас по имени-отчеству величать?

— Владимир Александрович.

— Буду помнить-с.

В конце завтрака Чохов послал к себе на катер за десертом. Принесли шампанского, ананасов и других фруктов. Чохов очистил какой-то мною никогда не виданный фрукт, положил на тарелочку и подал мне.

— Вот, Владимир Александрович, попробуйте. Этого, наверное, вы никогда не едали. Называется «мангустана». Перевозки никакой не выносит. А стоит даже специально сюда приехать, чтобы попробовать.

Я холодно ответил:

— Благодарю вас, мне не хочется.

Чохов встал, обошел стол, сел рядом со мною, положил руку мне на локоть. Что-то детское появилось на его загорелом, темнобородом лице.

— Что хамом вы меня называли, так это, может быть, и верно. Какое я воспитание получил? Вы на меня не сердитесь.

Я сконфузился и крепко пожал ему руку.

В знак «примирения» Чохов заставил меня съесть фрукт на тарелочке.

В жизнь свою я не ел ничего подобного. Он воротился на свое место.

После завтрака Чохов подошел ко мне вместе с капитаном.

— Владимир Александрович, не пожалуете ли вы ко мне сегодня пообедать чем бог послал? Вот Люциан Адамович будет, еще двое с вашего парохода. Я был бы очень рад, если бы и вы мне сделали честь откушать у меня. Не побрезгуйте!

Я поблагодарил. Он спросил:

— Вы в винт играете?

— Играю.

— Вот! Повинтим.

Чохов уехал на своем катерке.

К вечеру облачились мы в белые кителя и на нашем катере поехали в Коломбо,— капитан, первый его помощник, старший механик и я. Старший механик Бакшеев продолжал осведомлять меня:

— Курьезнейший тип! Вы заметили,— настоящий англичанин. А бороду не хочет снять. Во всем же прочем рабски им подражает. Обедает, как они, обязательно в смокинге и крахмальном воротничке, а воротничок от здешней жары моментально превращается в мокрую тряпочку. Живет, как все деловые англичане, в подгородной вилле, а в городе занимает помещение в гостинице и там ведет все дела. Из кожи лезет, чтобы выглядеть англичанином, а англичане знакомства с ним не водят... Вот, подъезжаем. Ну, готовьтесь. Сейчас перед вами развернется Шехерезада.

Подошли к пристани, пришвартовались. Коридором в два ряда стояли во фронт команды всех чоховских кораблей в фантастической форме, сверкавшей золотом. В конце этого коридора появились два высоких индуса с длинными бородами, в желтых шелковых тюрбанах Подошли. Прижав руки крестом на груди, в пояс поклонились нам и через живой коридор вывели на небольшую площадь к английской гостинице «Виктория». Один индус остался в вестибюле, другой повел нас во второй этаж, в апартаменты Чохова.

Чохов радушно встретил нас в богато обставленном салоне. Нудно поговорили о жаре, о погоде. Чохов предложил сыграть пару роберков в винт. Сели с одним выходящим, сыграли четыре робера. Чохов играл скверно и всем проиграл. Как-никак время убили, и не нужно было придумывать разговоров.

— Ну-с, господа, теперь прошу откушать, чем бог послал.

Чохов вышел и воротился в белом пикейном смокинге с шелковыми отворотами. Мы спустились в ресторан.

Уже стояли два сдвинутых вместе столика. Почтительный толстый метрдотель. Шеренга лакеев. Столик у стены с обильной закуской: икра, смирновская водка во льду. Чохов все оглядел хозяйским оком и предложил садиться.

В первый раз в жизни я ел подлинно роскошный обед с невиданными мною кушаньями, начиная с черепахового

супа. Вина подавались каждому, какого кто желал. Кофе, ликеры.

Встали из-за стола с шумящими головами, вышли из ресторана. Я разочарованно шепнул Бакшееву:

— И все?

Хотелось еще чего-то, веселого и яркого, что-нибудь предпринять, шуметь, смеяться, куда-нибудь ехать.

Бакшеев улыбнулся.

— Шехеразада только начинается.

Мы вышли на площадь. Солнце уже село, и, как всегда на тропиках, быстро наступила ночь. На востоке стоял огромный месяц. Чохов сказал:

— У меня тут под городом есть небольшая дачка. Так, паршивенькая. От скуки не желаете ли,— прокатимся, поглядим.

— С удовольствием.

С самых тех пор, как мы вошли в ресторан, у Чохова опять был английский надменный вид, и говорил он, цедя сквозь зубы. Медленно и громко он ударил два раза в ладони. Из-за угла вылетела великолепная, просторная карета, запряженная четверкой белых красавцев коней. На козлах сидел с длинным бичом индус в тюрбане, с бородою по пояс. На запятках кареты другой индус. Он соскочил и распахнул дверцы кареты.

Мы сели. Лошади понеслись. Карета мягко покачивалась. Резина шуршала по гравию. Темно-синее небо, узорно вырезные листья пальм, ярко-белый месяц, поблескивающая под ним гладь озера. Было красиво неестественной, оперной красотою. Вот сейчас в красном мундире английского офицера из-за угла буддийской пагоды выступит Собинов и запоет арию из «Лакмэ».

Ехали с полчаса. Свернули с шоссе в сторону. Роскошная арка-ворота, освещенная бегающими отблесками. По обе стороны въезда стояло по семь индусов с факелами в руках. Карета обогнула огромный, пряно благоухающий цветник и подкатила к крыльцу трехэтажного деревянного дома в русском стиле, с петушками и резными карнизами. У входа тоже стояли индусы с факелами.

По широкой лестнице мы поднялись во второй этаж. Чохов исчез. Бакшеев заговорил вполголоса:

— Вы замечаете: он занят только вами. Мы ему неинтересны— всё давно уже знаем. А перед вами он сейчас пойдет развертывать свою Шехеразаду... Здесь, во втором

этаже, он живет сам, внизу — служащие, а в третьем — любовница его. Только ее он нам не покажет. У него на острове еще две виллы,— на чайной и на кофейной плантациях, и в каждой вилле еще по любовнице.

Мы сидели в комнате, убранной в мавританском стиле. Оживленный, вошел Чохов. Он по-детски сиял, как будто сейчас перед ребенком должна была распахнуться дверь на залитую огнями елку.

— Ну-с! Вот-с! — обратился ко мне Чохов.— Не угодно ли поглядеть. Комната в чистейшем мавританском стиле! Много я на нее потратил времени и средств. Вот, например, табуреточка...

Я уже раньше обратил внимание на круглые табуретки, чудесно вырезанные из черного дерева.

— Вот! Табуреточка-с!.. Возьмите в руки!

— Да я и так вижу, прекрасная табуретка.

— Ну, возьмите же в руки! — просящим голосом обижаемого ребенка сказал Чохов.

Капитан Целинский мне шепнул:

— Возьмите! Доставьте хозяину удовольствие.

Я взял табуретку за ножку, табуретка как приросла к полу, тяжесть неимоверная. Я в недоумении пробормотал:

— Что такое?

Чохов в восторге хохотал. Остальные улыбались. Бакшеев стал мне объяснять:

— Это, вы думаете, черное дерево? Не черное, а железное. Ему цены нет. Ни топор, ни рубанок его не берут, только пила и рашпиль. Клей не клеит, все собрано на шурупах. Штучка, я вам доложу, замечательная, достойная музея.

Чохов сказал:

— Проведите-ка ногтем по полировке. Ну, проведите же, я вас очень прошу. Покрепче нажимайте, не бойтесь. Видите, никакого следа, ха-ха-ха!.. Я вам одну такую табуреточку на пароход пришлю в подарок.

Пошли дальше. Комната в индусском стиле. Над огромным камином арка лестничными ступенями, и на каждой ступени по статуе Будды различных размеров. Чохов указал на статую средних размеров и лукаво попросил:

— Возьмите-ка в руки.

Я засмеялся:

— Опять в руки?

Сзади шептали:

— Возьмите! Возьмите!

Неужели тот же фокус? Взял в руки — опять «как приросла». Из чистого золота статуя, около трех пудов весом. Чохов сиял.

Повел дальше. Мало разнообразной оказалась чоховская Шехеразада. Ничего, что бы затронуло и взволновало душу. Все должно было изумлять лишь своею дороговизною, тяжестью, редкостностью. Мы откровенно зевали.

Кончив осмотр, пили чай с чоховских плантаций, с индусскими печеньями и мартелевским коньяком. Разговоры совершенно истощились.

Мы сказали, что нам пора. Чохов оживился, позвонил. С почетом проводил до кареты. Опять стояли длиннобородые индусы с факелами. Карета весело ринулась прочь.

Ночью я лежал у себя в каюте. Было томяще жарко, хотя я перед сном принял холодный душ. Я тогда не знал, что в подобных случаях нужно брать душ горячий, сколько можно вытерпеть. Иллюминаторы каюты были открыты. Электрические огни города, отражаясь в воде, серебряными зайчиками прыгали по потолку каюты. На пароходе грузили уголь, гремели лебедки, кричали и ругались матросы. Тело противно липло.

Конечно, все-таки честь ему, что он не пьянствует с утра до утра, что не поливает шампанским дорожек сада. Медленно наваливалась тяжелая дремота. Вот сидит он сейчас у себя на даче с русскими петушками под тропическими пальмами. Черная табуретка давит тяжестью пол, золотой Будда двусмысленно улыбается над камином. Самодовольно улыбается хозяин, вспоминая изумление юного врача. Потом лениво встает, отправляется наверх к любовнице и без подъема, без порыва получает от нее полагающуюся ему дань притворной страсти. Как скучно быть богатым!.. Как скучно!

Через десять лет Чохов покончил с собой: увлекся биржевой игрой и совершенно разорился. Был он так богат — зачем ему нужна была игра? Должно быть, искал в ней того же, чего тщетно искал в черных табуретках и золотых буддах.

EUTHYMIA

Насмешка судьбы соединила друг с другом самого счастливого человека с самым несчастным.

Леонид Александрович Ахмаров был талантливейший инженер-строитель, один из лучших советских архитекторов. Каждая его постройка вызывала шум и разговоры. Она была оригинальна, ни на что прежнее не похожа и покоряла красотою, жадною любовью к жизни и мужественностью духа. Начинала светиться душа, когда глядел человек на благородные линии его зданий, на серьезную, чисто эллинскую радостность их, осложненную современною тонкостью и сложностью. Леонид Александрович много зарабатывал. Был красив, молод, здоров. Прекрасный теннисист и конькобежец. Во всем ему сопутствовала удача.

Жена его Люся была собранием множества болезней и множества несчастий. Восход ее жизни был ярок и многообещающ. Студенткой университета она была принята в студию Станиславского, там все носили ее на руках. Станиславский повсюду говорил торжествующе, что появилась в Советском Союзе первоклассная трагическая актриса с огромным темпераментом. И вдруг все оборвалось. У Люси открылся туберкулез кишечника. Рухнули надежды на артистическую дорогу. У ней много было и еще болезней. Прирожденное сужение аорты. Рвущие мозг мигрени, доводившие почти до помешательства. Сколько она проглотила пирамидона, фенацетина, кофеина! И только незадолго до смерти выяснилось, что мигрени вызывались скрытою малярией, не разгаданною врачами. Все почти время Люся проводила в постели. А была при этом полна огромной энергии, не имевшей приложения. Изнывала от страстной жажды материнства, но врачи запретили иметь детей.

Оба они сильно и прочно любили друг друга.

Машина мягко неслась по гудронированному шоссе дачного поселка. Леонид Александрович возвращался из Москвы с дневного диспута в Политехническом музее об его последней постройке — Всесоюзном Дворце физкультуры. Нападали, защищали, но в том сходились все,— что это будет одно из замечательнейших зданий Москвы, что оно, пожалуй, даже знаменует нарождение в архитектуре ново-

го, советского стиля. Потом был банкет. Голова кружилась от шампанского и восхвалений. Дубы и сосны просеки чернели высокою стеною, закрывая заходящее солнце. Как всегда после временного отсутствия, все вокруг было по-новому мило, неожиданно значительно.

Машина въехала в ворота дачи. В саду, около куста цветущей жимолости, лежала в гамаке Люся и смотрела на заходящее солнце. Лицо у нее было бледное и страдающее. Она медленно перевела глаза на входившего в сад мужа и встрепенулась.

— Ну, иди скорей, рассказывай!

Расспрашивала о всех подробностях диспута, жадно глядя огромными черными глазами, расспрашивала серьезно и требовательно. Леонид Александрович сидел возле гамака на березовом пне, рассказывал, а в душе было горько: в какой он живет яркой, интересной жизни, а она тут вяло прозябает в одиночестве и непрерывных страданиях.

Кончил рассказывать, припал головою к ее плечу.

— У тебя очень страдающее лицо. Плохо тебе?

Она нетерпеливо повела плечами.

— Это совсем неважно! — И оживилась.— Знаешь, я сейчас лежала и смотрела вон туда. Березы стоят огромные, тихие-тихие. Зелень под солнцем такая яркая, зеленая до невероятности! И как будто все замерло в благоговении. Как хорошо! Какая красота! — повторяла она в упоении.— И воздух какой, вдохни всею грудью. Ой, Леня, как у нас тут хорошо! И... ой-ой! Смотри-ка, Анна Павловна идет гнать меня домой!

По дорожке шла, подергивая головою, худенькая старушка и лукаво улыбалась.

— Людмила Александровна, солнце садится, нужно домой.

— Да уж вижу, идете отравлять мне жизнь!.. Ох, Леня, какая это отравительница жизни, если бы ты только знал!.. Ну, что же делать! Нужно идти.

Анна Павловна сконфуженно улыбалась, и кожа темени светилась сквозь седоватые, очень редкие волосы.

Пошли к дому. В цветнике к вечеру сильнее пахло левкоями и резедой. На застекленной террасе кипел самовар, Анна Павловна села к нему.

Леонид Александрович сказал нерешительно:

— В филармонии объявлен концерт. Пятая симфония Шостаковича. Взять и для тебя билет?

— Что за вопрос? Конечно!

— Люся, ведь после этого опять на несколько дней придут твои ужасные мигрени.

— И из-за этого отказываться! Какая нелепость! Очень прошу тебя не опекать меня. Обязательно возьми.

Он пожал плечами и сказал покорно:

— Хорошо.

С говором и смехом взошла на террасу молодежь: комсомолец-вузовец Борис, брат Леонида Александровича, и две племянницы Люси,— сероглазая хохотунья Ира и чернобровая Валя с насмешливыми глазами. Все были в теннисных костюмах, с ракетками.

Перебивая друг друга, стали рассказывать: приезжал в гости к Куприянову чемпион по теннису, знаменитый Кидалов. Борька играл с ним сингль, конечно проиграл, однако взял два гэма. Вот так Борька наш! Все-таки два на шесть!

Борис сказал брату:

— Кидалов много слышал про тебя и очень жалел, что не застал сегодня. В следующее воскресенье опять будет здесь и был бы рад сразиться с тобой.

— С удовольствием. Таким игроком интересно быть и побитым.

Леонид Александрович был очень рад. Он самозабвенно любил теннис,— вольность и разнообразие движений в нем, красоту и удобство теннисных костюмов, упоение от удачно посланного или принятого мяча. А тут еще встреча с таким мастером, как Кидалов.

Всегда, когда у него была радость, Леониду Александровичу было стыдно перед Люсей, больно, что она в ней не может участвовать, и поднималась к ней особенная нежность.

Молодежь ушла гулять. У Люси глаза были очень бледны, она с трудом поднялась со стула: начинался скрытый припадок малярии. Леонид Александрович подал ей руку, чтоб отвести в ее комнату. Но Люся сурово сказала:

— Не надо. Я с Анной Павловной. Иди к себе работать.

В просторной спальне от открытых окон стояла сыроватая ночная свежесть. Анна Павловна грела постель, Люся причесывалась на ночь. Разделась, подошла к постели, сказала устало:

— Какая я счастливая! Уж не нужно раздеваться, не нужно причесываться, все позади. А постель какая мягкая, какая нагретая! — С наслаждением завернулась в одеяло.— Ой, как хорошо!.. Как тепло! — Притянула за руку Анну Павловну и шепнула: — Анна Павловна, милая! Я вам так благодарна за вашу всегдашнюю заботу обо мне! И не представляю, что бы я без вас делала. Мне только перед вами не стыдно страдать.

Анна Павловна изумилась.

— Вы — благодарны мне! Я никогда не смогу отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали.

Люся засмеялась, махнула рукой и сказала:

— Ну, покойной ночи!

Знакомство их началось так.

Года два назад, в слякотный осенний день, Люся шла через Патриаршие пруды и увидела на скамеечке маленькую женщину с трясущеюся головою. Лицо женщины, мокрое от мелкого дождя, застыло в таком страдании и отчаянии, что Люся невольно повернула к ней, села рядом и заговорила. Старушка отшатнулась. Но Люся была мягко настойчива, и постепенно старушка все рассказала. История была простая. У нее умерла от тифа единственная дочь восемнадцати лет, вузовка, в которой была вся ее жизнь. Люся с жадным участием расспрашивала, и старушка с радостью рассказывала, какая ее девочка была талантливая, красивая, добрая, как ее все любили. Люся просидела со старушкой под зонтиком два часа Старушка плакала, а Люся ей говорила, говорила горячо и долго. Ни Анна Павловна, ни сама Люся не смогли бы передать, что именно говорила Люся. Дело было не в словах, не в мыслях, не в логике. Действовала спокойная мягкость голоса, несокрушимая вера в жизнь, ясно ощутимое, жаркое сочувствие. Как будто музыка звучала, серьезная и торжественная. Анна Павловна слушала и облегченно плакала.

После этого Анна Павловна несколько раз была у Люси. Эта больная, уже негодная для жизни женщина непонятным образом давала ей силу нести горе и опять привязала ее к жизни. Вышло как-то так, что Анна Павловна поселилась у Люси и стала в доме совершенно незаменимой: заведовала хозяйством, ухаживала за Люсей, чинила белье и платье. И решительно отказывалась от вознаграждения. Жила же тем, что шила на заказ. Люсю она любила сильною, благодарною любовью, окружала материнскою за-

ботою, в нее вкладывала весь огромный запас любви, который оставался в ее душе неистраченным после смерти дочери.

И обеим было хорошо друг от друга.

Утром Леонид Александрович проснулся по-обычному в мрачном настроении. Еще отуманенный сном, он только ощущал владевшую душою мутную тоску, но не мог бы даже ответить, с чего она. Вечные дома болезни. Вообще всегда что-нибудь мешает полной радости. Ах да, вот что сейчас главное: Борис. Скоро из-за неуспешной учебы ему придется покинуть вуз. Куда, к чему его приспособить? Перед необходимостью всякого решительного действия Леонид Александрович терялся и становился беспомощным. С Люсей надо посоветоваться.

Комната ее была уже прибрана. Люся, одетая, лежала на кушетке и читала. В раскрытые окна сквозь листья ясеней рвались в комнату запахи сада, зеленый солнечный свет, стрекот и птичий гам. Люся рассеянно протянула мужу руку и, полная большой внутренней сосредоточенности, медленно стала читать из книжки:

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!
Все во мне — и я во всем...

Леонид Александрович нежно поцеловал ее и спросил:

— Чье это?

— Тютчева.

В глазах Люси он прочел ту бурно кипящую радость, которая ею овладевала при художественных или умственных переживаниях.

Он нерешительно сказал:

— Мне хочется поговорить с тобою об одном деле, но, может быть, потом? Это не к спеху.

— Нет, отчего? Говори сейчас!

— О Борисе. Беда мне с ним. Мальчик он добрый, но какая-то умственная пустота и какое легкомыслие! Наукой не занимается, курса, наверно, не кончит. И думает только о теннисе. Говорить с ним совершенно безнадежно: он

всею душою рад пойти мне навстречу, но что способен вместить этот низкий и отлогий лоб спортсмена, кроме дум о теннисе и футболе?

Он угрюмо зашагал по комнате. Люся спокойно ответила:

— Страшного тут ничего нет. Лобика ему не переделаешь. Нужно мириться с тем, что есть.

— Это довольно печально.

— В нынешнее время ничего не печально. Отчего ему не стать, например, инструктором по теннису? Чем это плохо? Пусть переведется в физкультурный институт. Что у тебя за склонность все видеть в мрачном свете и сейчас же падать духом? А по-моему, как бы было хорошо, если бы взамен постылой термодинамики и дифференциального исчисления у него явилась работа, в которой бы он горел душою. Ведь это же красота! Как я буду рада за него!

Леонид Александрович все больше светлел. Он подсел к Люсе, прижал ее ладонь к своей щеке.

— Поговоришь с тобою,— и сразу как-то становится на душе крепко. Думаю — это выход.—Встал и весело сказал: — Ну, пойду купаться.

Странный встречается народ среди художников. Публика читает юмориста и покатывается со смеху, а сам он угрюм и в жизни никогда не смеется. С самой искреннею ненавистью писатель громит мещанство, а сам не живет как мещанин только потому, что живет как владетельный принц. Смеясь, умиляясь, любя, ненавидя, художник в творчестве своем искренно и сильно переживает соответственные чувства. А в жизни проявляет их очень мало. И в творчестве его нет никакой фальши. Этим он в корне отличается от художников неискренних, приноравливающихся, чувствующих про себя одно, а выражающих другое. Таких художников читатель раскусывает скоро и не стоит перед их биографией в недоумении, как перед биографией, например, Некрасова, Достоевского или Гейне.

Творчество Леонида Александровича дышало мужеством и благоговейною, чисто религиозной любовью к жизни. Но сам он был к жизни мрачно равнодушен, она не зажигала его, и в будущем он опасливо ждал от нее самого плохого. Был косен и неактивен. В углах губ его

красивого лица всегда лежала угрюмая складка И часто Люся говорила ему:

— Леня, Леня, почему у тебя такое нерадостное лицо? Да оглянись вокруг, погляди, как жизнь хороша!.. Вот погоди! Вдруг какому-нибудь там верховному существу взбредет в голову мысль устроить суд над людьми. Тогда оно тебе скажет: «Тебе было дано в жизни так много, а как ты к этому относился? Ничего не замечал». И даст оно тебе подзатыльник, и ты кувырком полетишь в бездну скуки, ничтожества и равнодушия. И поделом тебе будет!

Сама несчастная, кругом обделенная жизнью, Люся была подлинною музою Леонида Александровича, вдохновляющею его на бодрость и радость.

У Люси стали сильно разбаливаться зубы. В начале августа она поехала в Москву к зубному врачу. На обратном пути полил дождь с холодным ветром. Она вышла из машины продрогшая, бледная. Леонид Александрович заботливо спросил:

— Ну, что?

— Еще беда! И без того своих зубов почти уже нет, а тут: три зуба зырвать, две коронки, протез... Совсем хочет опустошить мой рот. И сам говорит: «Уж не знаю, на чем мне прикрепить протез». Господи, что же это!.. Ну, да ничего!

Но в потускневших глазах Леонид Александрович прочел отчаяние. Она прошла к себе, попросив прийти Анну Павловну. Начиналась жестокая мигрень.

Весь день она мучилась несказанно. Анна Павловна клала ей на голову горячие компрессы, поддерживала лоб при мучительных позывах на рвоту. К вечеру Люся заснула. К ночи позвала Леонида Александровича.

Лежала успокоенная, с ласковым, измученным лицом. Он тихо целовал ее худые руки.

— Трудно тебе, бедная моя!

— Ну, бедная! Сейчас ничего. Вот утром — да! Пала духом. Тогда стала бедная. А это самое страшное преступление, какое только можно себе представить,— пасть духом. Тогда убивается все, и право жить на свете остается только за счастливчиками.

Он продолжал целовать ее пальцы, а сам думал: «Как может она жить в этих непрерывных бедах! Я бы уже давно покончил с собой».

Большие, черные глаза Люси засветились. Она говорила мечтательно:

— Ты сказал: трудно. Мне недавно пришло в голову: трудно, когда человек думает о будущем или прошедшем. А без этого жить всегда можно. Как все живое, кроме человека,— не заглядывать в будущее, не вздыхать о прошедшем. Как это у Тютчева? Погоди.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет,
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет;
И страх кончины неизбежной
Не свеет с ветки ни листка.
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Леонид Александрович думал: «Она настойчиво вырабатывает для себя особую, свою философию преодоления страдания».

Люся говорила:

— Вот я спрашиваю себя: ну, если не думать о прошедшем и будущем, чем мне сейчас плохо? Зубы не болят, голова прошла, на душе тихо, в спальне моей так уютно, в окно смотрит Юпитер... И ты возле меня... О, моя дорогая рука!

Она гладила его руку, сиявшими любовью глазами смотрела на него и вдруг сказала:

— Ничего, что ты в жизни такой нытик. Ты все-таки будешь творцом советского архитектурного стиля, от которого радостно улыбнется весь мир... да, да!

Веселым солнечным утром Люся рыхлила в цветнике землю вокруг тубероз и подвязывала к палочкам их вытянувшиеся, пышно зацветавшие головки. Вышел из дома Леонид Александрович.

— Я сейчас еду в Москву. Нужно тебе там что-нибудь?

— Ой, как хорошо! Нужно очень. Сейчас, когда я вот здесь с обрыва смотрела на заречные дали, мне вдруг вспомнилась одна наша факультетская лекция о Демокрите, греческом философе. Особенно одно его изумительное слово — euthymia. И захотелось хорошо познакомиться с ним. Пожалуйста, поищи его у вас в библиотеке или еще где-нибудь и привези сегодня же.

Леонид Александрович неохотно возразил:

— Как же его искать?

— Только не говори себе с самого начала, что это невозможно. Если не на русском, то, наверно, на немецком найдется перевод дошедших до нас его отрывков. Только чтобы в подлиннике, а не в пересказе ученого тупицы. В университетской фундаментальной библиотеке, наверно, найдется.

Необходимость всякого энергичного действия вызывала у Леонида Александровича тоску. Люся внимательно посмотрела на него и настойчиво сказала:

— Леня, преодолей себя. Мне очень нужно. Ну, как при желании не найти,— где? В Москве!

Он ответил с сомнением в голосе:

— Постараюсь.

Оказалось, найти было совсем нетрудно. Как раз только что вышло в русском переводе издание всех отрывков Демокрита, и Леонид Александрович с торжеством привез купленную книжку.

Люся с жадностью сейчас же принялась читать. Читала до вечера и сердилась, когда ее отрывали. К ужину она вышла с прочитанною уже книжкою. Люся обладала редкою способностью очень быстро читать и усваивать прочитанное.

Ужинали на застекленной террасе. Была половина сентября, но стояла такая теплынь, что все рамы были отодвинуты и теплые волны аромата тубероз плыли от цветника на террасу. Небо непрерывно дрожало тусклыми взблесками. Голубоватые зарницы перебегали с тучки на тучку, на миг выделяя их темные силуэты. Вся природа как будто была полна смутной нервной тревоги.

Огромные черные глаза Люси блестели, лицо было необычно оживленно. Как будто большим праздником была охвачена душа.

Она сказала:

— Ну, молодежь, слушайте и вы. Может быть, и вам будет интересно.

Дрожащими от волнения пальцами она перебирала по закладкам листы.

— Вот! Во-первых: огромный, всеобъемлющий гений. Путем почти одной интуиции он строит миропонимание, которое только через десятки веков было подтверждено наукой. Вы только послушайте! Все вещество состоит из атомов. Миров бесчисленное множество. Ничего не возникает

из ничего. Люди явились на свет подобно червякам, без всякого творца и без всякого разумного основания. Борьба за существование научила людей всему. Ощущения и мысли — только изменения тела... Это все он говорил больше двух тысяч лет назад! — в восторге воскликнула Люся.

Леонид Александрович мягко положил руку на ее локоть.

— Люся, не так страстно! Разволнуешься, не будешь спать ночь.

Она сердито сверкнула глазами.

— Господи! Знаешь ли ты хоть какую-нибудь радость, из-за которой не побоялся бы бессонной ночи!

И продолжала говорить. Она горела, глаза светились жарким, как будто собственным светом. Вся она была в полном упоении от встречи с великим умом эллинской древности.

Леонид Александрович думал: да, радости такого размаха, какую сейчас переживает Люся, сам он, может быть, никогда в своей жизни не знавал. Даже самый яркий подъем вдохновения мутнел у него от мысли: «Не одолею, ничего не выйдет!» И удивительно, как из всего вокруг она умеет извлекать радость,— из большого и малого. Симфония Бетховена и писк зверюшки в ночном болоте, великий человеческий подвиг и земляника со сливками,— ото всего она в восторге, обо всем: «Ой, как хорошо». Люся продолжала:

— В этой же книжке приведено: Сенека называл Демокрита «самым тонким из древних». А кто его у нас сейчас знает? Никто. Теперь вот! Самое главное. Слушайте. В чем высшее благо? Важно только одно: «euthymia». «Eu» по гречески значит «хорошо», «thymos» — «дух». Переводчик в этой книжке переводит: «хорошее расположение духа». Хорошее расположение духа!.. Человек вкусно пообедал, закурил сигару, прихлебывает кофе,— вот хорошее расположение духа. Но как перевести? «Прекраснодушие», «благодушие»... Это все у нас уже с совершенно определившимся значением. Нужно какое-то особенное слово. По-моему, вот какое: «радостнодушие». Слушайте же!

Леонид Александрович обеспокоенно переглядывался с Анной Павловной. Подъем даже для Люси был совершенно необычный, внутреннее пламя как бы сжигало ее. Но останавливать ее было бесполезно,— только сердить.

Люся читала по книге:

— «Цель — радостнодушие. Оно не тождественно с удовольствием, как некоторые по непонятливости своей истолковали, но такое состояние, при котором душа живет бодро и без забот, не возмущаемая никакими страхами, ни боязнью демонов, ни каким-либо другим страданием. Демокрит называет такое состояние также бесстрашием и счастьем...» Вот! Правда, замечательно!

— Замечательно! — отозвался Леонид Александрович. Анна Павловна сочувственно кивнула головой. Молодежь неопределенно промычала Она осталась глубоко равнодушной. Миропонимание Демокрита было для них банальнейшими аксиомами, а «радостнодушия» у них самих было столько, что проповедание его казалось странным. Они с недоумением смотрели на восторженное оживление Люси. Поговорили, сколько требовала вежливость. Ира переглянулась с Борисом и Валей.

— Какая ночь замечательная! Пойдемте, ребята, пройдемся к реке!

— Пошли!

Шумно разговаривая, они скрылись в тревожно сверкавшей зарницами тьме.

Люся с любовною улыбкою перелистывала книгу. Она сказала усталым голосом:

— Ясность духа, бесстрашие перед жизнью и перед страданиями — вот счастье! Леня, дорогой мой, как бы я хотела, чтобы ты почувствовал, сколько в этом счастья! А ты все измысливаешь себе каких-то «демонов»! Ой, как я боюсь: вдруг эти демоны прокрадутся и в твое творчество!..

Вдруг она замолчала. Глаза взглянули растерянно. Еще более побледневшее лицо склонилось на плечо. Книга упала. И Люся всем телом заскользила с кресла на пол.

Борис мчался в машине Леонида Александровича в Москву за профессором Багадуровым, всегда лечившим Люсю.

Догоравший костер вспыхнул последним ярким светом и теперь чуть тлел, угасая.

Люся быстро приближалась к смерти. Она стала малоразговорчива. Все силы ее были устремлены на преодоление темных волн, набегавших на душу, на смотрение поверх этих волн, в широкую даль, где она хотела видеть блеск и свет. Однажды она сказала мужу:

— А знаешь, Леня, в смерти определенно есть какая-то скрытая радостность. И умирать, оказывается, очень интересно. Вдруг настолько становишься выше жизни! Я никак ничего этого не ожидала. Ой, как хорошо!

Леонид Александрович хотел переехать с нею в Москву. Но она упорно отказывалась.

— Довольно лечений и курортов. Ничего мне уж не поможет, а я хочу видеть желтеющие березы, сверкающие в воздухе паутинки, трепеты воробьиной ночи.

С каждым днем она все больше худела и слабела. Малокровие быстро усиливалось. В ушах стоял непрерывный, очень тягостный звон.

Леонид Александрович, низко опустив голову, сидел возле ее постели. Дождь хлестал в окна, небо было серое, ветки ясеня бились под ветром, бросая желтые листья в воздух, полный брызг. Люся лежала вытянувшись, с закрытыми глазами, и тихим голосом говорила, как будто сама с собой:

— Какой странный звон в ушах! Как будто тысяча кузнечиков стрекочет кругом. Вспоминается детство, наше Опасово, залитый июльским солнцем большой наш сад.

А там вдали сверкает воздух жгучий,
Колеблется, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон!..

А потом вечер. От нагретого за день каменного крыльца дышит теплом. Падает роса. И задумчиво трещат сверчки... Как хорошо!

ОКОЛО ЛИТЕРАТУРЫ

Звали его Федор Алексеевич Холщевников. Маленького роста, с ровным горбом сзади, как с аккуратно прикрепленною к спине квадратною подушкою, с тою особенною взрослою солидностью, которая наблюдается у карликов. Отец его был очень крупный специалист, московский профессор. Он оставил детям порядочное состояние. Федор Алексеевич жил безбедно, в заработке не нуждался. И все его помыслы, стремления, надежды вращались около литературы.

У него были некоторые литературные способности, даже, пожалуй, талантливость, но не было в произведениях

самого важного — собственного лица. Прогремит молодой писатель. Его читают нарасхват, везде о нем говорят, критика приветствует новый талант. И Федор Алексеевич с чисто сальериевской настойчивостью изучает его произведения, вчитывается, мучительно старается поймать, в чем секрет силы и обаяния этого писателя. И вот появляется рассказ Федора Холщевникова, полный то озорства и насмешки над читателем-мещанином, как у Горького, то мистического ужаса перед жизнью, как у Леонида Андреева, то задумчиво-мягкого лиризма, как у Бориса Зайцева. Не очень тонкий читатель мог бы даже сказать, что это рассказ Горького, Андреева или Зайцева.

Существовал в Москве литературный кружок «Среда». О нем уже много писалось. Был он довольно замкнут, требования к вновь поступавшим членам предъявлялись строгие, и попасть в него было нелегко. Однако Федор Алексеевич каким-то образом попал, хотя двух мнений об его творчестве быть не могло. «Талантливый читатель» — убийственно назвал его Андрей Белый и этим вполне его исчерпал.

На собраниях «Среды» Федор Алексеевич должен был испытывать великие муки. Кругом были люди, имена которых повторялись всеми, за которыми бегали редакторы журналов и издатели альманахов, на которых заглядывались восторженные девушки, чьи портреты на открытках продавались всюду.

Однажды на «Среде» моя жена спросила Холщевникова, сколько ему лет. Он страдальчески вспыхнул и ответил со стыдом:

— Мне уже двадцать восемь лет, а я еще не знаменит.

Он бегал за всякой популярной формой, бегал за темами, которыми бы можно было пленить читателя.

Как-то за ужином на «Среде» я рассказывал Леониду Андрееву о своих впечатлениях от поездки в «Бережки» — санаторий для нервнобольных под Подольском. Там второй месяц лечилась моя жена. Просторный барский дом с террасой. Большой парк, февральски мягкая снежная тишина. Сидят в лонгшезах на террасе с заколоченною в дом дверью или медленно бродят по аллеям люди с темными лицами. Разговоры. Всех интересуют только болезни, свои и чужие.

— У меня сегодня желудок подействовал без клизмы.

— Как вы спали?

— У Зины Машуриной ночью опять был истерический припадок.

— Очень она уж распускается. Выдрать бы ее розгой, все бы прошло!

— Сосновые ванны положительно оказывают на меня благотворное действие.

Крохотные, вершковые интересы. А вдали с глухим грохотом проносятся поезда, люди куда-то спешат, действуют, где-то кипит и клокочет огромная жизнь. Но для здешних действительны не позорные поражения, которые мы терпим в Манчжурии от японцев, не нарастающее у нас революционное движение, не еврейские погромы, устраиваемые министром Плеве,— а дерзости, которые наговорил врачу больной студент Дудин, и притворная попытка к самоубийству баронессы Муффель. Призрачные радости, призрачные горести, рождаемые болезнью. Жутко фантастическая жизнь, совершенно заслоняющая большую, подлинную жизнь.

Вижу — из-за плеча Андреева, наклонившись над своей тарелкой, слушает Федор Алексеевич. Остренькое лицо полно жадного, вороватого любопытства. Выражение его лица меня удивило.

Когда через неделю я приехал к жене в санаторий, она мне сказала:

— Ты знаешь, сюда приезжал Федор Алексеевич, этот горбатый, из «Среды» вашей. Прожил пять дней, вчера только уехал.

А через четыре месяца в журнале появился рассказ Федора Холщевникова на ту тему, которую я рассказывал Андрееву, с фотографическим описанием санатория «Бережки».

Огорчить меня не огорчило, что Холщевников похитил у меня тему: тема была для меня чуждая, и навряд ли бы я за нее взялся. Но это послужило мне уроком — не делиться с братьями-писателями своими замыслами. Где гарантия, что не воспользуются? В данном случае это было бесспорным литературным воровством. Но часто бывает, что нельзя особенно и винить писателя. Темы и образы он берет из жизни. Если ему что сообщил писатель, то этим воспользоваться нельзя, если же другой кто — то бери с чистою совестью. А где все упомнишь? Je prends le mien...[1]

---

[1] Я беру то, что мне ближе... *(франц.)*

Позднее, уже в Манчжурии, я прочел рассказ Леонида Андреева «Призраки» на ту же приблизительно тему, которую я ему тогда рассказывал. Навряд ли он даже помнил, кто первый натолкнул его на эту тему. А я, конечно, так не мог бы написать.

Дальше я ничего не могу вспомнить о Федоре Алексеевиче. Он все тускнел, все делался незаметнее и постепенно совершенно исчез с неба литературы —

как месяц,
Утративший способность освещать.
Но так, как он, не мог он возродиться,—
Не мог затем, что солнца не нашел,
Откуда свет занять...

(Шекспир)

ОКОЛО ШАМПАНСКОГО

Фамилия его была Паныч. Считался он писателем. Где-нибудь, вероятно, печатался. Мало кто читал его, но знали все петербургские писатели. Он был завсегдатаем петербургского писательского ресторана «Вена» и постоянным участником кутежей, которые устраивались после получки крупных денег видными писателями богемистого типа вроде Куприна или Арцыбашева. Поговаривали, что он имеет близкое касательство к охранке. Самому мне с ним не приходилось встречаться. Я — москвич и редко бывал в Петербурге.

Однажды критик Михаил Петрович Неведомский зашел в редакцию журнала «Современный мир», в котором сотрудничал. Издательница журнала, Мария Карловна Иорданская, познакомила его с сидевшим тут господином и назвала его, как послышалось Неведомскому, Муйжелем. Сероватый писатель этот почему-то интересовал Неведомского, он подсел к нему и завел литературный разговор. Его поразило, как шаблонны были все мысли, которые высказывал его собеседник.

Зашла речь о Куприне. Неведомский горячо говорил:

— Такой большой талант и совсем погибает! Пьет беспросыпу, окружил себя литературною сволочью, всякие Panычи пьют на его счет шампанское, обирают его якобы в долг...

— Михаил Петрович,— послышался из соседней комнаты голос Марии Карловны.

Неведомский пошел к ней Она спросила:

— Вы знаете, с кем вы разговариваете?

— Знаю. С Муйжелем

— С Панычем.

Неведомский воротился, подошел к Панычу и с негодованием спросил:

— Так вы и есть этот самый Паныч?

— Да, я Паныч.— И с большим достоинством прибавил: — А что касается шампанского, то не все имеют возможность пить его на собственный счет.

КАК ОН МЕНЯ УДИВИЛ

Я много прожил на свете. Мне довелось видеть немало людей. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь: как много существует на свете никем не замечаемых интересных людей! Один — одною стороною, другой — другою; в третьем, может быть, маленькая только черточка, но совсем своя. Мы замечаем и вспоминаем это больше тогда, когда человек умрет. Удивительно, как смерть научает нас переоценивать человека! Вспоминаешь, как относился к нему при жизни,— отчего я тогда так мало ценил то, чем был он хорош?

Вот вспоминаю сейчас одного инженера. Он умер. Работал в Москве на заводе Полный, с небольшим брюшком. Треугольничек рыжеватых волос под носом. Был добродушен, но мало развит и мало даровит. На службе им не дорожили. Больше всего любил анекдоты и тщательно записывал их детским почерком в толстую переплетенную тетрадь. Любил и рассказывать их, но рассказывал плохо, и случалось, что забывал такую подробность, в которой была вся соль анекдота. Тогда он конфузился и, улыбаясь исподлобья, сознавался под общий хохот: «У мишки фокус пропал!»

Для меня он был олицетворением безнадежной банальности и неинтересности. Звали его Фома Иванович.

И вдруг он меня удивил. Один раз, потом другой.

Был он холостой. Жил в одной квартире с женатым старшим братом, врачом невропатологом, и замужнею сестрою, геологом. Жили очень дружной семьей. Столовались вместе. Хозяйство вела жена старшего брата, общая мама. Все ее так и звали «мама-Лиза». Я любил бывать у них.

Одно время стал я замечать, что иногда Фома Иваныч после веселого анекдота вдруг перестанет смеяться, поднимет брови и неподвижно смотрит перед собой; потом тряхнет головою и опять оживится.

Был вечер субботы — самое уютное время: завтра спи сколько хочешь, целый день свободный,— на душе легко. У них в семье было принято на субботу и воскресенье ввинчивать над обеденным столом лампочку в двести ватт; было светло, как в солнечный день, и на душе становилось еще веселее.

Вот в такой уютный субботний вечер, когда все уже сидели за ужином, вошел Фома Иваныч и торжественно поставил на стол две бутылки токайского, виноград и большую плетенку с кондитерскими печеньями.

— Что это значит?

— Получил место.

— А ты его терял?

Фома Иваныч улыбнулся.

— Семь месяцев был без работы. Сократили.

Все ахнули.

— Как же мы ничего не знали?!

— А для чего вам было знать? Помочь вы мне ничем не могли. К чему было вас расстраивать?

Мама-Лиза в негодовании всплеснула руками.

— «Расстраивать»! Просто возмутительно! Как можно было такую вещь скрывать. Ведь тебе было очень тяжело!

— Конечно. Поэтому и молчал.

— Легче было бы, если бы с нами поделился!

Старший брат, доктор, сказал, сурово покашливая:

— Да, наконец, просто с материальной стороны. Мы могли бы тебе помочь. Как ты эти семь месяцев прожил?

— У меня были небольшие сбережения. Потом... продал новые брюки.

Прямо уже вихрем взвилось возмущение. Сестра-геолог вскричала:

— То-то я заметила, что он эту зиму перестал ходить в театр! Санкюлот несчастный! Уродина мой очаровательный!

Доктор сердито возразил:

— Что очаровательного! Глупо, больше ничего!

Фома Иваныч посмеивался и повторял:

— Остаюсь при своем мнении. Нечего отягощать людей своим горем, если помочь они не могут.

Другой раз Фома Иваныч удивил меня большою естественностью, совершенною логичностью и в то же время полнейшей психологическою невероятностью одного своего поступка.

Получил Фома Иваныч отпуск и решил полететь на самолете в Киев, к другому их брату. Это происходило в середине двадцатых годов, летание было внове, мало кто на него решался, и на каждого, кому довелось полетать, смотрели вроде как бы на героя.

На аэродроме нужно было быть к пяти часам утра. Мама-Лиза в половине четвертого подняла Фому Иваныча, напоила кофе и, сильно за него волнуясь, отправила в дорогу.

Он воротился домой в этот же день к обеду. В чем дело? Фома Иваныч неохотно ответил:

— Полет отложен на завтра.

На следующий день он улетел. Из Киева от него получили открытку с извещением, что прилетел он благополучно. Месяц прогостил у брата, потом воротился.

В уютное вечернее время субботы, когда ярко горела над столом лампочка в двести ватт, Фома Иваныч за ужином вдруг объявил торжественно:

— Ну, товарищи мои дорогие, скажу вам теперь правду. Ведь в первый-то день я тоже летал, пролетел полпути, и самолет наш потерпел в дороге жесточайшее крушение.

Опять все ахнули. Фома Иваныч довольно посмеивался. Любил он удивлять.

Оказалось так: самолет вылетел вовремя, но под Брянском потерял управление, врезался в болото и перекувыркнулся. Пилот и один пассажир были убиты, другому переломало ноги, а Фома Иваныч остался невредим,— благодаря тому, что он один выполнил правило, вывешенное в кабине самолета: пристегнулся ремнем к сидению. Когда самолет перекувыркнулся, Фома Иваныч повис на ремне вниз головой и не расшибся. Администрация оплатила ему железнодорожный билет обратно в Москву и предложила на выбор: либо лететь завтра, либо получить обратно уплаченные деньги.

Фома Иваныч рассказывал:

— Я выбрал первое...

Все еще пуще ахнули. Сестра-геолог кричала, смеясь:

— Люди добрые, поглядите на этого человека! Да ведь это же определенно сумасшедший! Сумасшедший со-

вершенно определенно! Этакое вытерпеть крушение — и завтра преспокойнейшим образом лететь опять!

— Ну да!.. Я так рассудил: крушения — не такое уж частое явление. Невероятно поэтому, чтобы они могли произойти два дня подряд. Значит, самое безопасное лететь именно на следующий день. Персонал подтянется, внимательнее осмотрит машину...

— Так-то так... Но все-таки... Как же это?

Да, вот именно: как же это? Вполне естественно и логично: всего труднее ждать двух крушений подряд. Однако после только что избегнутой смерти, под впечатлением окровавленных трупов и стонущих людей с перебитыми ногами, опять довериться незнакомому способу передвижения,— для этого нужна была достаточная доза душевной своеобразности.

МИЛЛИОНЕРША И ДОЧЬ

Когда Валя была гимназисткой, а я гимназистом, я был влюблен в нее романтической юношеской любовью. Полногрудая, с русой косой до пояса, с круглым, румяным лицом и синими глазами навыкате. Тип русской красавицы.

Я поступил в Московский университет. Валя осталась в Пожарске, начала выезжать. Ничего общего между нами не оказалось. Любовь погасла серо и незаметно, как дождливый осенний вечер в мутных тучках.

За Валей усердно ухаживал молодой, но преуспевающий чиновник казенной палаты. Она благосклонно принимала его ухаживания. Но он был женат. Жена его отравилась. Валя вышла за него замуж.

Через три года он умер. Валя переселилась обратно к родителям. Отец ее был артиллерийский подполковник. Дал дочерям светское воспитание, но был очень небогат. Пришлось Вале поступить кассиршей на товарную станцию железной дороги. Своим красиво-медлительным, задушевно звучащим голосом она говорила знакомым:

— Вы только подумайте: труд — и я! Что может быть общего?

Прошло еще два года. Вдруг ошеломляющая весть: Валя вышла замуж за вдовца-купца Талдыкина. Старик под шестьдесят лет, миллионер, вел крупную хлебную торговлю на станции Аксиньино, держал ряд трактиров на

больших дорогах. Седые усы, ястребиный нос над маленьким подбородком, долгополый сюртук. Представляю себе, как должна была его пленить такая красавица в русском стиле, как Валя, притом со светским воспитанием и прекрасным французским языком.

Валя иногда приезжала из Аксиньина в Пожарск. Голос у нее стал уверенный и властный. Она веско утверждала, что купечество — это фундамент культуры, что оно оплодотворяет своей работой и сельское хозяйство и промышленность. А однажды разоткровенничалась с моей тетей и стала ей рассказывать о кутежах, которые устраивают у Яра купцы-миллионеры и в которых ей приходится участвовать.

— Вы знаете, Юлия Сергеевна, за эти два года, как я второй раз замужем, я столько узнала грязи, сколько даже не думала, что есть на свете!

Тетя слушала ее рассказы, широко раскрыв глаза от омерзения и негодования.

Говорили, что муж Валю поколачивает. У нее родилась от него девочка Кира. Вскоре Талдыкин умер. Дело его перешло к сыновьям от первого брака, а жене он оставил дом в Пожарске и полтора миллиона чистоганом. Валя стала свободной вдовой-миллионершей. Поселилась в Пожарске, дом свой укрепила, как крепость. Выходные двери были на трех замках и на прочных крюках, окна в решетках. Ночной сторож должен постоянно стучать колотушкой под окнами.

Валя смертно скучала. Разыгрывала роль неутешной вдовы. Стены комнат увешала увеличенными копиями с портретов, где была снята вместе с мужем, в безвкусных золотых рамах. Девочке ее Кире было пять лет. Остренькая мышиная мордочка и надменные губы. Все ее прихоти мать исполняла беспрекословно, строго следила, чтобы девочка не получала темных впечатлений. Раз Кира, объевшись шоколадом до отвала, бросила большую плитку «Гала-Петер» в ночной горшок (няню, однако, не угостила). Потом для забавы начала спускать в щель пола серебряные рубли. Няня стала ей говорить о бедных детях, которым было бы можно отдать шоколад и помочь рублями. Услышала это Валя и пришла в бешенство. Распушила няню и предупредила, что рассчитает ее, если еще раз услышит, что она рассказывает Кирочке о бедных, о несчастиях и болезнях.

Друзей и близких людей у Вали не было. Отношения с родителями и сестрами были холодные: Валя боялась, чтоб они не стали просить у нее денег. От скуки она иногда посещала мою тетю Юлию Сергеевну, свою гимназическую учительницу истории. Тетя однажды высказала ей удивление, как она скучно живет, как страшно одинока, как вокруг нее нет решительно никого. Валя ответила пренебрежительно:

— Мне люди неважны, мне важны рубли. С рублями всегда буду иметь сколько угодно друзей.

Старушка слушала и грустно покачивала головой.

Другой раз Валя зашла к ней и, заливаясь смехом, рассказала:

— Представьте себе, стирала у нас вчера Настасья. С нею была ее девчонка Аксютка. Кирочка вцепилась ей в волосы и стала таскать. Мы так смеялись!

Юлия Сергеевна изумленно глядела.

— Чему же вы смеялись?

— Аксютка старше и много сильнее Кирочки, но я была тут, и она не смела защищаться. Только морщилась и пищала. Ужасно была смешная.

Юлия Сергеевна, задыхаясь, попросила Валю больше к ней не приходить.

Странное дело! Валя была из интеллигентной семьи, но насквозь пропитана как будто прирожденным купечески благоговейным отношением к рублю. Рубль был для нее действительно все. Младшая ее сестра, Шура, курсистка, вышла замуж за студента-электротехника. Ждала ребенка. Жили, конечно, очень бедно. И Валя п-р-о-д-а-в-а-л-а сестре детские вещи, оставшиеся от Киры пеленки и т. п.

Я отбыл ссылку. Въезд в столицы был мне воспрещен. Я поселился в родном Пожарске. После рассказов тети мне было интересно в натуре увидеть, чем стала Валя. Я посетил ее в ее крепости.

Она вспыхнула, когда неожиданно увидела меня, и заметно взволновалась. Вспоминала о наших гимназических годах, о том, сколько тогда в жизни было поэзии, как чисты и целомудренны были увлечения и как странно: почему-то с отъездом моим в университет отношения наши прекратились. И прибавила, понизив голос:

— Может быть, тогда бы вся жизнь сложилась иначе.

Она непритворно светилась. И в ответ у меня слабо заколыхались светлые тени минувшего. Валя просила бывать. Я подумал: может быть, и приду?

Пожарское студенческое землячество устраивало вечеринку. Врачи, адвокаты, либеральные чиновники платили за билет по десять — двадцать рублей. Я принес билет Вале, ждал, что она даст по крайней мере рублей сто.

У Вали стало скучающе-холодное лицо. Она спросила:

— Это что за вечеринка? Куда пойдут деньги?

— Пойдут на помощь нуждающимся студентам, на плату за ученье, на студенческую столовую.

В глазах ее я ясно прочел:

«Как вы мне все надоели с вашим клянчаньем денег,— боже, как надоели!»

Ушла и брезгливо вынесла мне три рубля.

Отказаться я не счел себя вправе: каждый дает сколько хочет. Взял и сейчас же ушел. И больше у Вали не был.

Шла война. Был 1915 год. Я получил в Москве письмо от Вали. Она извещала, что переселилась из Пожарска в Москву и была бы очень рада, если бы я посетил ее. Выражала недоумение, почему у нас оборвалось знакомство в Пожарске... Что ж! Понаблюдаем еще! Меня в ней продолжало интересовать: чем она живет, что от своего богатства получает? Ведь чего же нибудь она ждала, если свою красоту, молодость, непотрепанную свежесть целиком отдала во владение крючконосому старику, некультурному и развратному.

Валя жила в первоклассной гостинице, занимала с дочерью два больших номера. Почему уехала из Пожарска?

— Вы себе не представляете, Дмитрий Евгеньевич, что за мука быть богатым человеком, когда все кругом об этом знают. Единственное спасение — бежать туда, где тебя никто не знает.

— Почему живете в гостинице?

— Спокойнее. Хозяйство не вести, об обеде не думать, от прислуги не зависеть.

— Вы что же, очень заняты?

— Н-нет...

— Делаете что-нибудь?

— Зачем мне делать? Я вполне обеспечена.

— А не скучно вам?

Она промолчала и повела меня показать соседний номер, где жила ее дочь. Стены комнаты были увешаны большими фотографиями лошадей. Валя рассказала, что Кирочка страстно увлекается бегами и скачками, знает наперечет имена всех знаменитых лошадей и наездников, без ума от наездника Кейтона. Вот и сейчас она на бегах.

В комнату вбежала Кира — худощаво-угловатый подросток лет четырнадцати, с острой мышиною мордочкою. Глаза блестели, она была в упоении. Не обращая на меня внимания, она стала рассказывать матери:

— Мама, мама, что сейчас было!.. Ехала я на трамвае. И вдруг встречный трамвай переехал на остановке собачонку. Отрезал ей задние ноги. Кровь фонтаном, собачонка крутится, визжит, все кругом ахают!.. Только я одна весело смеялась! Наверное, Кейтон сказал бы, что у меня стальное сердце!

Валя, конфузясь, перебила ее и познакомила со мною. Кира наскоро поздоровалась и повторила с гордостью:

— Наверно, наверно, Кейтон сказал бы, что у меня стальное сердце!

Февральская революция. Октябрьская. Кончилась гражданская война. В 1924 году я получил из Ялты от Вали длинное доплатное письмо, без марки. Она писала, что революция застала ее в Ялте. Капиталы погибли, ценные вещи в Москве и Пожарске реквизированы. Жили они продажей тех немногих вещей, которые были при них. Теперь они пришли к концу.

Она и Кира просят милостыню у хлебных лавок и выбирают съедобные остатки из мусорных ям. Родственники теперь, когда она стала нищей, не хотят ее знать. Во имя милосердия и в память о прошлом умоляла помочь ей.

Главное, что я испытал, было чувство большого удовлетворения. Достойный конец! Хоть теперь узнай, что рубли в жизни не все, что в жалости нуждается и сама она с дочерью. Я послал ей денег при холодном письме, что жалею ее, но систематически помогать не могу. Она ответила восторженно-благодарным письмом.

Месяца через два Валя прислала мне написанное ею стихотворение «Гимн пионеров» и просила пристроить куданибудь в журнал. В жизнь мою не читал я такой гнусной гадости. Я с омерзением разорвал стихи, а Вале ответил,

что пересылаю стихи в журнал «Пионер». Если будут приняты, ей ответят по ее адресу. Получил ответное письмо по авиапочте, полное спешки и безмерного ужаса. Валя умоляла как можно, как можно скорее вытребовать из редакции стихи обратно. Я им сообщил ее фамилию и адрес,— вдруг они напечатают стихи с ее фамилией, вдруг как-нибудь иначе стихи дойдут до ее сестры Шуры. Шура — жена инженера-электротехника и ежемесячно высылает ей по семьдесят пять рублей. Если узнает про стихи, перестанет высылать. «А я написала их только в надежде, что мне, может быть, заплатят за них хоть три рубля». Ко всему Шура, значит, высылает ей деньги,— та Шура, которой Валя, когда была миллионеркой, за деньги продавала ненужные ей пеленки и свивальники дочери!

Время от времени я получал от Вали просительные письма, все более отчаянные. Одну осень проводил я в доме отдыха под Ялтой. Случилось быть в Ялте. На улице встретил Валю. Она сейчас же стала рассказывать, как нуждается, трагическим голосом сказала:

— Вот продала наши с мужем покойным венчальные кольца!

И показала сумку, в которой были разные пакеты, румянились сдобные булки. Я с любопытством приглядывался к Вале: такие отчаянные письма писала, а золотые кольца держала в запасе!

Мы с нею сидели на Пушкинском бульваре. Она рассказывала про дочь:

— На дворе ребята и подростки не дают ей прохода, задирают, дразнят «буржуйкой», «кружевницей».

Валя стала утирать глаза рваною, засморканною тряпочкой. Потом опять заговорила:

— Что она будет делать, когда я умру? Спать не могу я от этой мысли! Она и сама понимает, что тогда погибнет. Недавно я сильно заболела, температура поднялась выше сорока. Кирочка испугалась, стала меня расталкивать: «Мама, мама, ты умрешь, что я тогда буду делать? Сейчас же пойдем и вместе утопимся в море! Слышишь? Вставай сейчас же!» Но я была так слаба! А море мне представлялось таким холодным! Я не пошла.

— Ну и дочка! Трогательно! Мать тяжело больна, а дочь, вместо того чтобы за ней ухаживать,— «Иди, топись со мной!»

Валя страдальчески наморщилась:

— Нет, она это так сказала, но все время за мною ухаживала...

Помолчали. Я сказал:

— Объясните мне, пожалуйста. Вы с дочерью вашей сильно нуждаетесь. Почему она не работает? Да и вы не такая уж старая и больная, чтобы не работать.

Валя неохотно ответила:

— Кирочка совсем не привыкла к работе. А меня кто же возьмет? Ведь я «буржуазный элемент».

— Ну, научились бы что-нибудь делать. И вы и дочь ваша.

—Что делать? Я ничего не умею. Вот меня недавно звала одна знакомая помогать ей на кухне,— она в Кореизе сдает комнаты со столом. Ну и что же я могу? Сделаю котлеты — они у меня разваливаются.

Говорила она красиво-медлительным, мило-беспомощным голосом. Положительно, она гордилась своей неумелостью и никчемностью.

Я сурово сказал:

— Я вам сделаю котлеты так, что они не развалятся. Спеку вам и белый и черный хлеб. Поглядите кругом: все нашли себе какую-нибудь работу и помимо службы: плетут сумки для провизии, вяжут чулки и джемперы. Да мало ли что можно придумать!

Валя вяло ответила:

— Когда я была богата, я не думала, что это может пригодиться, а теперь кто же захочет обучать конкурентов?

«Да,— я подумал,— единственное, что ты в жизни сумела сделать, это выгодно продать свое тело! И сделкою этой надеялась навсегда застраховать себя и дочь от необходимости трудиться. Ошиблась, голубушка!»

Мне ясно стало: труд был ей органически противен, она скорее была готова нищенствовать, лгать, унижаться, только бы не трудиться. Прирожденный паразит. Как может вошь не быть паразитом?

Мы поднимались от бульвара по переулку.

— Только я очень спешу.

Она умоляюще сказала:

— На пять минут!.. А я надеялась, что вы у нас хоть кофе попьете. Сегодня я имею возможность угостить...

Вошли в небольшой садик с кипарисами. На широкую террасу выходило несколько дверей. Валя нажала на ручку боковой двери. Дверь была заперта изнутри.

— Кирочка! Можно войти?

Властный голос спокойно ответил:

— Нельзя.

Ждали минут двадцать. За дверью слышался стук рукомойника, плеск воды. Валя волновалась, но поторопить не смела. Наконец щелкнул ключ. Голос сказал:

— Можно.

Комната была неубрана. Почему-то на самой середине высился мраморный рукомойник с разбитой доской. На полу стояла лужа мыльной воды. В кресле сидела девушка с гордым, надменным лицом, в роскошном платье из кружев. Не знаю, были ли эти кружева полноценные или «чиненные-перечиненные», но в то время на всякого такой наряд должен был производить впечатление вызывающей роскоши.

Валя отодвинула рукомойник в угол и стала подтирать тряпкой пол. Кира сидела неподвижной статуей и молчала. Потом пренебрежительно взглянула на меня и заговорила:

— Вас, может быть, удивляет, что мама подтирает за мною пол, а я сижу и ничего не делаю? Всю жизнь, когда я что-нибудь хотела сделать для себя, мама меня останавливала и говорила: «Для этого есть горничная». Ну а теперь у меня горничной нет, а меня мама к ней приучила. Пусть же сама делает то, что должна была бы делать горничная.

Валя выжимала грязную тряпку над ведром и смиренно молчала. Кира очень похорошела, выровнялась. Но в голосе звучала ненависть и непрощающая обида. За что? За то, что мать ее не научила? Я сказал, сдерживая улыбку:

— Уверяю вас, научиться тому, что делает горничная, вовсе не трудно. Вы напрасно такого плохого мнения о ваших способностях.

Кира вспыхнула и презрительно закусила губу. Валя с умоляющим испугом взглянула на меня... Да, кажется, единственное живое чувство, которое когда-либо жило в ней, была материнская любовь. Но и это живое чувство она положила на создание какой мертвой жизненной ненужности!

Больше я их не встречал. Валя, кажется, умерла. Судьбой Киры я не интересовался.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Была в Туле знаменитая самоварная фабрика братьев Баташовых. На каждом их самоваре, спереди над краном, стоял штамп:

Василий,
Александр,
Иван
Баташовы.

И изображены были полученные фирмой на выставках медали с неправдоподобными профилями царей, королев и символических женщин-республик.

Младший из братьев, Иван Степанович, окончил медицинский факультет, выделился из предприятия и жил трудовой жизнью интеллигента-врача. Второй брат, Александр Степанович, выделился много позже, когда дела фирмы были уже в полном расцвете. Владельцем предприятия остался один старший брат, Василий Степанович. При нем дело продолжало расти, и он богател все больше.

Но и Александр Степанович, выделившись, оказался владельцем очень крупного капитала. Капитал этот и к смерти его не совсем оскудел, несмотря на постоянные большие траты. Когда Александр Степанович выделился, был он здоров, в средних еще годах, свободен от каких-либо дел и забот. И встала перед ним такая, как будто легкая, а вправду трудная-трудная штука, как жизнь без труда. Чтобы не задохнуться от скуки, чтобы жить сколько-нибудь счастливо, богатому человеку нужно быть и духовно богатым. Если же этого нет...

Александр Степанович был в Москве и возвращался в Тулу. Осенний дождь лил ливнем, холодный ветер дул бешено. Пообедав и выпив у Яра, Александр Степанович на лихаче приехал на Театральную площадь. Длинной вереницей стояли извозчики в ожидании театрального разъезда. Александр Степанович подрядил их всех ехать с ним на Курский вокзал. Площадь опустела. Для театральной публики не осталось ни одного извозчика. По Маросейке и Покровке двигалась длиннейшая процессия порожних извозчиков. Впереди ехал на лихаче Александр Степанович и хохотал, представляя себе, как нарядные дамы, подобрав юбки, будут шлепать в туфельках по огромным лужам. Время от времени он объезжал процессию, желая убедиться, что все в порядке. На Курском

вокзале городовые с беспокойством и удивлением наблюдали необычную сцену: стоял в богатой бобровой шубе господин, к нему длинной вереницей один за другим подъезжали порожние извозчики, и он давал каждому по пяти рублей

На окраине Тулы, за церковью Александра Невского, был большой сад, не знаю почему, называвшийся Баташовским. В нем по вечерам играла музыка, гуляла публика, выступали эстрадные артисты Середину сада занимал большой пруд, весь зацветший ряской. Однажды в воскресенье, основательно исследовав с толпою прихлебателей садовый буфет, Александр Степанович вышел к пруду, подошел к хорошенькой мещанской девице, показал сторублевую бумажку и сказал:

— Барышня! Если вы сейчас в полном вашем наряде прыгнете в пруд и окунетесь с головой, то эта сторублевочка будет ваша.

Девушка обомлела от счастья. Быстро собралась толпа. Девушка прыгнула в пруд, окунулась и вылезла,— смешная, вся в зеленой тине, с обмокшей и распустившейся прической, с юбками, прилипшими к ногам. Александр Степанович и вся публика покатывались с хохота. Девушка получила сторублевку и убежала домой.

Много рассказов ходило по Туле об Александре Степановиче, и все это были разные чудачества, в конце концов довольно однообразные. Отберет у нищего мальчика суму и просит для него милостыни, а мальчик ходит следом и ноет:

— Дяденька, отдай сумку!

Едет по улице верхом на осле и что-то проповедует собравшейся публике. Подойдет городовой:

— Ваше степенство! Прекратите! Нет на это дозволения начальства!

— Ступай... знаешь куда?

Сунет ему пятирублевку, и городовой скрывается за углом.

Страсть, которой Александр Степанович жил, которая владела им целиком, была страсть к славе. Он жертвовал крупные деньги на разные благотворительные учреждения. На улицах Тулы бросались в глаза вывески, золотом по голубому: «Убежище для слепых имени А. С. Баташова» и т. п. Во всех учреждениях этих висели большие портреты Александра Степановича с грудью, увешанною

орденами и медалями. Был, конечно, и неизбежный персидский орден Льва и Солнца за пожертвования в Персии.

Александр Степанович выпустил целую книгу под заглавием:

Жизнь и труды
Александра Степановича
Баташова

В восторженно-хвалебном стиле в книге описывалась самоотверженная жизнь Александра Степановича, его сердечные заботы о страждущих и болящих, перепечатаны были все полученные им аттестаты, свидетельства и благодарственные письма губернаторов, архиереев и других высоких особ.

Еще он увлекался куроводством, получал награды на куриных выставках. Случайно я в одном доме в Петербурге познакомился с барышней, служившей в конторе распространеннейшего иллюстрированного журнала «Нива». Она мне сказала:

— Ах, вы из Тулы. Мы недавно получили оттуда письмо от какого-то Баташова. Он пишет: «Прошу ответить, сколько это будет стоить, чтобы напечатать в вашем журнале мой портрет и написать, что я первый благодетель России, потому что у меня самый лучший в России куриный завод, а также много жертвовал на слепых и разных бедных?»

Под старость у Александра Степановича случилось что-то с ногой, и ее пришлось ампутировать. Озорство в нем не умирало. Он заказал гроб для своей ноги. На кладбище похоронить ее не позволили. Он похоронил за кладбищенской оградой. Нашелся священник, который за хорошие деньги тайно отслужил над баташовской ногой панихиду. Над могилой своей ноги Баташов водрузил камень с надписью:

Здесь покоится нога
Александра Степановича Баташова,
потомственного почетного гражданина
и кавалера многих орденов и медалей.

Однако полиция заставила этот камень снять.

Вскоре умер и сам Александр Степанович. Никто не помнил об его пожертвованиях, никто не ценил их, никто не благословлял его имени. Только держалось несколько лет воспоминание о его смешных причудах и озорных выходках, ни в ком не будивших уважения.

В ПРИЕМНОЙ

В приемной секретаря Боржомского райкома сидела молодая красивая грузинка. У нее было покорное, страдающее лицо. Такие лица встречаются у женщин, привыкших принимать несчастья как обязательный постоянный груз, совершенно неизбежный. Ребенок, месяцев девяти, страшно худой, с большой головой и огромными черными глазами, нетерпеливо и требовательно сосал ее тощую грудь. Около женщины сидело на стульях еще четверо ребят мал мала меньше. Женщина была так молода — я спросил с изумлением:

— Это все ваши дети?

Красивое лицо озарилось чудесной, застенчивой улыбкой, и, вся засветившись, она с тайной гордостью ответила:

— Мои.

— Сколько же вам лет?

— Двадцать три.

На плохом русском языке, все время подыскивая слова, женщина рассказала: она вдова, потеряла все шесть хлебных карточек, а до нового месяца еще девять дней. Пришла просить секретаря райкома помочь ей,— распорядиться выдать новые карточки. Видимо, для убедительности просьбы привела с собой всю свою ребячью команду.

— А что с вашим ребенком? Болен он?

— Шесть недель уже понос.

Младенец отвалился от груди, ничего из нее не получая. Мать отдала его старшей девочке. Та стала ходить с ним по приемной и коридору. Двухлетний мальчик все время стоял возле матери и ревниво поглядывал на сосущего братишку. Как только мать отдала его, мальчик, пыхтя, поспешно взобрался к ней на колени. Опять лицо женщины мгновенно засветилось теплым внутренним светом. Она прижала к себе мальчика. Скоро ясный свет в лице погас, как осенняя заря, и оно застыло в покорном безразличии.

Удивительно было видеть, какие все четверо ребят, кроме младшего, здоровые и крепкие, какие у всех блестящие, веселые глаза. Тут, конечно, целиком была заслуга этой женщины, понуро сидевшей на стуле.

В коридоре раздался заливистый смех трехлетней девочки, нестесняющийся, звонкий. Ее чем-то смешила стар-

шая сестра, и она закатывалась смехом, тем смехом, от которого всем хочется улыбаться и радоваться на красоту жизни. Новое материнское сияние вспыхнуло на лице женщины. Она слушала и улыбалась.

...Я с глубоким почтением смотрел на нее. В тяжело сложившихся для нее условиях жизни, с трудом невообразимым, сумела же она победоносно вырастить эту здоровую, жизнерадостную стайку. Сумеет, может быть, спасти и больного младшего ребенка, потому что неодолимо сильна она самым главным — силою и радостью материнской любви.

ВСЮ ЖИЗНЬ ОТДАЛА

Трамвайный вагон подходил к остановке. Хорошо одетая, полная дама сказала упитанному мальчику лет пяти:

— Левочка, нам тут сходить.

Мальчик вскочил и, толкая всех локтями, бросился пробираться к выходу. Старушка отвела его рукою и сердито сказала:

— Куда ты, мальчик, лезешь?

Мать в негодовании вскричала:

— Как вы смеете ребенка толкать?!

Вмешался высокий мужчина. Он заговорил громким, на весь вагон, голосом:

— Вы бы лучше мальчишке вашему сказали, как он смеет всех толкать! *Он* идет,— скажите пожалуйста! Все должны давать ему дорогу! Он самая важная особа!.. Растите эгоистов!..

Мать возмущенно отругивалась. Мальчик с открытым ртом испуганно глядел на мужчину.

Вагон остановился, публика сошла. Сошла и дама с мальчиком. Вдруг он разразился отчаянным ревом. Мать присела перед ним на корточки, обнимала, целовала.

— Ну не плачь, мальчик мой милый! Не плачь! Не обращай на него внимания! Он, наверное, пьяный, не плачь!

Она взяла сына на руки. Мальчик, рыдая, крепко охватил ее шею. Она шла, шатаясь и задыхаясь от тяжести, и повторяла:

— Ну не плачь, не плачь, бесценный мой!

Пришли домой. Ужинали. Мать возмущенно рассказы-

вала мужу, как обидел в трамвае Левочку какой-то, должно быть, пьяный хулиган. Отец с сожалением вздохнул.

— Эх, меня не было! Я бы ему ответил!

Она с гордостью возразила:

— Я ему тоже отвечала хорошо... Ну что, милый мой мальчик? Успокоился ты?.. Не бери сливу, она кислая.

Мать положила сливу обратно в вазу. Мальчик с упрямыми глазами взял ее и снова положил перед собою.

— Ну, детка моя, не ешь, она не спелая, расстроишь себе животик... А вот, погоди, я тебе сегодня купила шоколад «Золотой ярлык»... Кушай шоколад.

Она взяла сливу и положила перед мальчиком плитку шоколада. Мальчик концами пальцев отодвинул шоколад и обиженно нахмурился.

— Кушай, мальчик мой, кушай! Дай я тебе разверну.

Отец сказал просительным голосом:

— Левочка, дай мне кусочек шоколада!

— Не-ет, это для Левочки! Специально для Левочки сегодня купила. Тебе, папа, нельзя, это не для тебя... Ну, что же ты, детка, не кушаешь?

Мальчик молчал, капризно нахмурившись.

— Ты, наверно, еще не успокоился?

Мальчик подумал и ответил:

— Я еще не успокоился.

— Ну, успокоишься, тогда скушаешь, да?

Мальчик молчал и не смотрел на шоколад.

Через двадцать лет. Эта самая дама, очень похудевшая, сидела на скамеечке Гоголевского бульвара. Много стало серебра в волосах, много стало золота в зубах. Она с отчаянием смотрела в одну точку и горько что-то шептала.

Трудную жизнь она прожила. Муж ее умер. Она собственным трудом воспитала своего мальчика, во всем себе отказывала, после службы давала уроки, переписывала на машинке. Сын кончил втуз инженером-электротехником, занимал место с хорошим жалованьем. И вот — она сидела, одинокая, на скамеечке бульвара под медленно падавшим снегом и горько шептала:

— А я ему всю жизнь отдала!

Они с сыном занимали просторную комнату в Нащокинском переулке. Сын задумал жениться. Сегодня она по-

лучила повестку с приглашением явиться в качестве ответчицы в суд: сын подал заявление о выселении ее из комнаты. Еще четыре года назад, когда они получили эту комнату, Левочка предусмотрительно вписал мать проживающей «временно». Это больше всего ее потрясло: значит, тогда уже он на всякий случай развязывал себе руки...

— А я ему всю жизнь отдала!..

Снег пушистым слоем все гуще покрывал ей голову, плечи и колени. Она сидела неподвижно, горько шевеля губами. Кляла судьбу, в которую не верила, винила бога, в которого полуверила. Не винила одну себя, что всю жизнь отдала на выращивание холодного эгоиста, приученного ею думать только о себе.

МЕСТЬ

Виталий Болховитинов, красавец-офицер. Огненные черные глаза и тонкие, злые губы. Совсем лермонтовский демон. Ему в городе и было прозвание «Демон». Городские дамы нарасхват покупали у фотографа его карточки. Романов у него было множество. Он всегда дирижировал на балах, умел выдумывать в котильоне самые замысловатые и смешные номера.

Приехал в город вновь назначенный управляющий акцизным округом. Его дочь Лара с первого же появления на балу стала бессменною царицею балов. Красавица с большими, невинными глазами и золотистыми волосами. Виталий постоянно танцевал с нею. Когда они с Ларой неслись в первой паре по блестящему паркету в урагане мазурки, то казалось, что лермонтовский демон и ангел помирились и в упоенном единении несутся в пространствах мира. И, как всегда при большой красоте, у всех появлялась легкая грусть, какая может быть в жизни красота, и как мало в ней красоты!

Через полгода Виталий и Лара поженились, как будто для семейной жизни самое главное — уметь хорошо танцевать.

Медовый месяц кончился. Насытившийся Виталий с изумлением спрашивал себя: на какого черта он пожертвовал своей свободой? Лара часто втихомолку плакала.

Началась японская война. Виталий со своею частью ушел на фронт. Он оказался очень храбрым офицером.

При штурме укрепленной деревни, идя впереди своей роты, Виталий был тяжело ранен: японская шимоза оторвала ему ногу и сильно контузила. Он воротился домой хромой, с искусственной ногой, сильно подурневший, с болезненно-желтым цветом лица, очень нервный и раздражительный, украшенный орденом Владимира с мечами и бантом.

Во внимание к боевым его заслугам, он легко получил в родном городе место в интендантстве. Оказался толковым работником и успешно продвигался на службе.

Под городом у него вместе с младшим братом Сергеем было неразделенное, довольно крупное имение. Сергей был студент, кончал Петровско-Разумовскую академию. Он вел в деревне хозяйство и постепенно выплачивал Виталию его часть. Семейство Виталия проводило лето в деревне. У Лары уже было двое детей. В отпуск и в праздники в деревню приезжал и Виталий.

Жизнь Лары была очень тяжелая. Виталий был омерзительно циничен. Самому невинному слову он умел придать что-то непристойное, и это тешило его. При гостях громогласно обращался к жене:

— Лара, убери со стола свои штаны!

Он говорил это о штанах их мальчика, которые чинила Лара.

С детьми своими охотно возился, но когда ему говорили, что он любит детей, Виталий, не стесняясь, возражал столь же громогласно:

— Вовсе я не люблю детей, а люблю то, отчего появляются дети. Это — да, это я очень люблю.

И ему нравилось, что дамы смущаются, а Лара густо краснеет. У нее в присутствии Виталия всегда было теперь ощущение какой-то нечистоты вокруг нее.

Был он очень эгоистичен, но умен и находчив, и в объяснениях с Ларой всегда умел убедительно доказать, что эгоистична она. Лара ничего ему не могла возразить и только плакала и считала себя виноватой. К хозяйству она была мало привычна и не расторопна. Опаздывала с обедом, пирог в праздник подавался невыпеченный, вдруг оказывалось, что нет вина. Виталий приходил в бешенство, кричал, стучал кулаком, осыпал Лару самыми обидными словами.

— Если вы, Лариса Александровна, полагаете, что обо всем этом должна заботиться экономка, а вы можете с утра до вечера бить баклуши, то вам следовало бы дога-

даться принести мне в приданое тысчонок двести. А вы вошли в мой дом нищею, хотя папаша ваш и был управляющим акцизным округом. Помните это!

Когда Лара, всхлипывая и утирая слезы, одиноко ходила в сумерках по липовой аллее, к ней подходил брат Виталия, Сергей, и мягко заговаривал. Постепенно у них вошло в привычку гулять вместе. Когда Сергей возвращался с полевых работ, они после ужина прохаживались по аллее сада, в лунные ночи уходили за версту в березовую рощу около мельницы.

Очень скоро прогулки их привлекли к себе насмешливое внимание прислуги и крестьян. Для них, если мужчина гуляет с женщиной, это значит, он за нею ухаживает с определенною целью. Не допускалось и мысли, что могут быть просто дружеские отношения. Сергей презрительно усмехался и считал ниже своего достоинства опускаться до всей этой грязи.

Между тем в усадьбе и на деревне уже определенно заговорили об их связи. Когда Сергей и Лара отправлялись гулять, скотница Мавра торопливо шептала Мише, старшему сыну Лары:

— Миша, Миша! Чего глядишь? Видишь, опять мамка твоя пошла с дядей гулять! Беги следом!

Миша с недоумением смотрел, страдальчески морщился и ничего не понимал.

Старая бонна немка сочла своим долгом обратить внимание мужа на поведение Лары. Виталий спокойно выслушал ее и с достоинством ответил:

— Минна Карловна, это вас совершенно не касается. Я верю своей жене и не могу оскорблять ее подобными подозрениями. Прошу вас вперед с подобными докладами ко мне не являться. Это все гадкая неправда.

И это, действительно, была неправда.

Однако через полтора месяца, в темный августовский вечер, вдруг это стало правдой,— неожиданно и для Лары и для Сергея. Была ослепительная радость. И мука. И стыд.

У Лары родился третий ребенок, девочка, с ярко-синими глазами и каштановыми волосами, совершенный портрет Сергея. Все смеялись и дивились: какая курьезная игра природы,— уродилась не в отца, а в дядю.

А впрочем, что тут невозможного? Изумительного ничего нет. Однако каждый новый человек изумлялся:

— Ну, вылитый Сергей Павлович!

Лара краснела. Сергей спешил перевести разговор на другое.

Любовь их была для них сплошною мукой. Липкой паутиной опутывали ее постоянная ложь, притворство, всеобщая жадная слежка. Удивительно, до чего всех окружающих интересуют подобные отношения, до чего старательно засовывают они в них нос сколько возможно глубже. А выхода не намечалось. Материнский инстинкт у Лары был огромный, детей своих она любила самозабвенно. И она и Сергей хорошо знали, что Виталий очень зол, мстителен и самолюбив: если Лара от него уйдет, он отберет у нее детей, и она их никогда уже не увидит.

Да и без этого. Легко сказать: разойтись с мужем, сойтись и открыто жить с его братом. Это был бы для нее непрерывный позор, и сносить всеобщее презрение она чувствовала себя совершенно не в силах.

Они с мукой влачили нерадостную свою любовь.

Виталий продолжал разыгрывать из себя глубоко корректного человека, не позволяющего себе даже тени подозрения к жене. Трудно допустить, чтоб он не знал правды. Но был он очень консервативен в образе жизни и привык к установившемуся семейному укладу Какая другая, сколько-нибудь стоющая, пойдет за него, калеку с тремя детьми? А не отдавать же детей Ларе! И он делил жену с братом, и в том, что она, все еще блестящая красавица, обязана была отдаваться ему, не любя, была для него особенная пикантность. А за создавшееся положение он мстил жене и брату, как не мог бы мстить, если бы отношения были откровенно выяснены и приведены к тому или другому концу. Он имел возможность все время играть ими, непрерывно держа в тревоге и идя по самому краю обрыва, так что у них у обоих захватывало дух: «знает!» И тогда Виталий, смеясь глазами, поворачивал от обрыва прочь, и они опять начинали сомневаться: «знает ли?» Чистейшая достоевщина. Со стороны было вполне ясно, что он знает. Но когда люди рассматривают что-нибудь очень изблизи, то трудно дать себе правильный отчет в происходящем. Однако уже злобно-мстительное торжество, с которым Виталий вел разговоры с братом и женою, свидетельствовало, что ему все известно.

— Почему я все-таки каждое лето посылаю мою семью к вам в деревню? Потому, Сергей Павлович, что

это имение — наше общее, и вы мне моей доли еще не выплатили. А вот почему вы, когда приезжаете в город, останавливаетесь у меня, этого я никак не могу понять. Я вас никогда к себе не приглашал и совершенно не думаю, чтобы вы посещали наш дом из-за меня...

Виталий умел мстить еще больнее, и тут он испытывал особенное наслаждение.

— Ну-ка, Машура, скажи мне, за кого ты выйдешь замуж, когда вырастешь?

Пятилетняя Машура, с темно-синими глазами и каштановыми кудрями, уверенно отвечала, довольная, что хорошо знает ответ:

— За богатого старичка.

Лара ахала. Сергей изумленно отшатывался, а Виталий покатывался со смеху.

— Почему за богатого старичка?

— Потому что он скоро умрет, и тогда у меня будет много денег, будут свои лошадки, и я могу кушать шоколада, сколько захочется.

— Правильно! Так и делай! Никогда не пожалеешь!

Лара негодующе вмешивалась:

— Машурочка, никогда так не делай. Это очень нехорошо.

— Почему нехорошо? — хохотал Виталий.— Мама с тобой шутит, Машурочка. Собственных живых лошадок иметь нехорошо? Шоколаду, сколько хочешь,— тоже нехорошо? Хорошо или нехорошо?

— Хорошо.

— Ну, вот видишь. Всегда верь твоему папе, если я твой папа. Будешь его слушать, станешь богатая, счастливая, все тебе будут завидовать... Только никогда не делись с другими, а то тебе самой мало останется. Станешь бедная, и ничего у тебя не будет.

Сергей молчал с страдающим лицом. Мстительный блеск в глазах Виталия обещал брату еще много подобных переживаний.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Таня — девушка с двумя косами и с решительным шагом — заведовала театральной студией при районном доме художественной самодеятельности детей. У нее не было цели выявлять среди ребят актерские таланты; назна-

чение студии она видела в том, чтобы воспитывать их в духе товарищества, строгого отношения к исполняемому делу и культурности во всем. При распределении ролей, например, она руководствовалась не тем, что такую-то роль лучше всего исполнит такой-то, а тем, что такая-то роль окажет наиболее благотворное влияние на такого-то. И распущенному, расхлябанному мальчику она давала роль корректного, держащего себя на узде человека. Некрасивая, замкнутая девушка, плачущая по ночам, играла у нее роль счастливо любящей девушки, радостно переживающей всю поэзию и счастье любви. При общественных показах начальству другие студийные коллективы побивали Танин коллектив талантливостью и слаженностью исполнения, но ни один другой студийный кружок не мог даже в отдаленной степени сравняться с Таниным кружком по дружеской спаянности коллектива и благородству общественно-моральной атмосферы в нем.

Танины ребята, студийцы, гордились тем, что не курят, не пьют, не флиртуют и не ругаются, выдавались своим культурным отношением ко всем, в общественной работе шли впереди всех других. Парни и девчата, окончившие школу и давно бывшие в вузах, помогали Тане в постановках и поддерживали преемственность студийной атмосферы. Была крепкая и дружная товарищеская семья, и она делала чудеса с вновь поступавшими в нее ребятами.

Однажды к Тане зашла ее соседка по комнате и попросила принять в ее кружок одного мальчика. Лет ему двенадцать, изумительно талантливый музыкант, учится в музыкальном техникуме, живет в общежитии техникума. Импровизирует на рояле целыми часами, все не наслушаются. И мальчик этот погибает от тоски. Мать, родивши, подбросила его в детский дом. И всю свою коротенькую жизнь он перекочевывал из одного детдома в другой. Вырос без родителей, без материнской ласки. Когда других ребят вызывают в приемную для свидания с родителями, мальчик с отчаянием говорит:

— У всех есть отец и мать, а у меня хоть бы дядька какой-нибудь!

Таня приняла его в свой кружок. Был он рыжий, весь в веснушках, очень худой, маленький и некрасивый, с водянисто-голубыми глазами. Звали Петька. Походил он в Танин кружок, но через три-четыре раза вдруг перестал.

Таня послала двух девчат-студиек узнать, что с ним. Оказалось вот что. Ребята из общежития прибежали к Петьке и сообщили, что пришла его мать. дожидается в приемной. Петька вихрем помчался туда. Никого не было. Раздался дружный хохот. Это ребята — жестокий народ! — подшутили над Петькой. Он тут же в приемной разрыдался и плакал долго. После этого резко изменился. Был вял, мало ел и спал, уроки готовил плохо. И совсем перестал играть на рояле для себя.

Посланные девчата уговорили Петьку опять начать ходить в кружок. А в его отсутствие Таня собрала кружок, рассказала, что случилось с Петькой, и стали они думать, как прийти ему на помощь. Таня предложила для начала отпраздновать день рождения Петьки. Он и сам не знал не только дня, но даже года своего рождения. Назначили условно 10 апреля. И стали готовиться. Все ребята загорелись,— как взрослые, так и малыши,— и с пылом взялись за подготовку праздника.

Пришло 10 апреля. Маленький зал студии был изукрашен яркими бумажными лентами, на лампочках красные абажуры. В глубине зала, у стены, стояло специально для Петьки большое кресло, оплетенное алыми и белыми лентами. Недоумевающий Петька уже час сидел запертый в маленькой комнате около раздевальни.

Два старших мальчика, вузовцы, вошли к нему и объявили, что студия празднует сегодня день его рождения. Посадили на переплетенные руки и понесли в залу. Забили барабаны, затрубили рожки. Все члены студии, парни и девушки, мальчики и девочки, стояли двумя шеренгами от входа к Петькину креслу, между этими шеренгами парни и понесли Петьку. Он сидел, растерянный, недоумевающий и счастливый, одна штанина задралась и открывала рыжий ботинок.

Усадили Петьку в кресло. Ребята выстроились перед ним и хором, в один голос, прокричали:

— Дорогой наш товарищ Петя, поздравляем тебя со днем твоего рождения!

Петька поглядывал исподлобья по сторонам, смущенно смеялся и не знал, что сказать.

Ему стали подносить подарки. Стопку нотной бумаги. Петька захлебнулся от восторга.

— Ух! Хорошо как!

Потом — второй том сонат Бетховена в отрепанном переплете.

— Ах! А это — еще того лучше! Батюшки, что ж это! Портрет Баха.

Петька в восторге завопил:

— Он!!. Он самый! Во как!

Бах был его любимый композитор.

Все подарки сложили на столик. Петьку посадили за стол, где было приготовлено угощение (складчина ребят).

Таня сказала:

— Ну, Петя, мы у тебя тут гости, а ты — хозяин. Угощай нас, пригласи к столу.

Петька встал, задышал быстро и громко сказал:

— *Господа,* прошу вас в *столовую* откушать!

Это он вспомнил, что у Диккенса кто-то так приглашает своих гостей к столу. Дружный хохот.

Пили чай, ели конфеты, яблоки и мандарины. Встала девочка-подросток и прочла Петьке стихи. В них говорилось, что раньше Петька жил одиноким и никого у него не было, а теперь у него есть семья, которая его любит и которую он должен полюбить. Стали поднимать тосты из ситро и грушевой воды за Петьку, за дружную товарищескую жизнь. Петька жадно слушал и во весь рот улыбался.

Встала Таня, подняла стакан и сказала:

— Милый мой! Ты теперь вошел в нашу семью. Но знай, что мы тебя будем не только приветствовать и ласкать. Мы будем строго спрашивать с тебя, чтобы ты хорошо работал, не лодырничал, чтобы был хорошим товарищем, чтоб не вздумал курить. Во всем ты будешь держать перед нами ответ.

Слова Тани особенно поразили и обрадовали Петьку. До сих пор у него хватало сил сдерживаться, но тут он вдруг прорвался рыданиями. Слезы бежали по его лицу, он смотрел Тане в глаза и повторял, радостно всхлипывая:

— Да... Да... Все будет в порядке!.. Да-да!

С завтрашнего дня Петька опять стал целыми часами играть и импровизировать на рояле.

В ЗАПАДНЕ

Мы тогда освободили Омск от Колчака и гнали его дальше. Впрочем, я в этом уже не участвовал. В Омск меня привезли больного сыпным тифом. Несколько дней я пролежал в казармах, а потом меня свезли в больницу. Что мне дальше пришлось испытать в течение нескольких дней,— до этого и Данте не додумался в своем «Аде».

Из приемного покоя притащили меня в «палату»; должно быть, это была раньше баня: пол цементный, и в нем воронки с дырками. Нары, и на них вповалку, тесно друг к другу, лежали мы, больные. Больные ходили и мочились под себя. Ухода никакого не было. Только ставили возле каждого больного по бутылке воды. Ночью света не зажигали. Бредили, бились, кричали, умирали. Доктора никогда не появлялись.

Возле меня лежал огромный сибирский казак. Он метался, наваливался на меня, хрипел. Мне казалось, что он умирает. А у самого меня в это время наступил кризис: я лежал, обливаясь потом, в смертельной слабости, с полузатемненным сознанием, и одно только было желание: чтобы ласковая женская рука ободряюще сжимала мне руку. Долгая зимняя ночь и тьма кончались, светало. Я открыл глаза — и вдруг странная картина: наш санитар, пленный мадьяр с большими черными усами и очень отлогим лбом, наклонившись над казаком, старался снять с его пальца золотое кольцо. Казак машинально все время выдергивал палец. Тогда мадьяр воровато огляделся и вдруг — что это? Что это? — с размаху ударил казака кулаком в сердце. Казак опрокинулся мне на плечо, подергался и умер.

Мадьяр снял кольцо и ушел. А у меня не было даже силы вылезти из-под казака.

На следующий день стали нас одного за другим выносить. Густо наложили в пятитонный грузовик и повезли за город, к станции Сортировочная. Там выгрузили около рельсов в снег, и... Опять: что это? Грузовик запыхтел и укатил. Темнело. Мороз. Больные лежат, плачут, проклинают. Я собрал все силы и пополз через рельсы, меж колес вагонов. Поезда маневрировали, каждую минуту колеса могли двинуться, но было все равно. Идти я не мог, пополз по направлению к городу. Пять верст. Как я полз, это пусть бы уж Данте рассказал. Дополз. Извозчик. Стал его нанимать. Он оглядел меня. А вид у меня ужасный: оброс, исхудал. Лицо как на черепе, рваная вшивая шинель.

— А деньги есть заплатить?

— Есть, не беспокойся.

Велел везти в штаб нашего корпуса. Подъехали — вывески нет, в комнатах пусто. Старуха объяснила: корпус ушел в Красноярск. Полное отчаяние. Объясняю извозчику:

— Оказывается, уехали все, а у меня денег нет.

— Ну, снимай что-нибудь, хоть шинель.

— Ведь замерзну без шинели.

— Что там у тебя? Френч еще? Ну, давай френч.

Отдал френч, пополз по улице. Куда? Сам не знаю. Вдруг вижу: идет старик в золотых очках, с седою бородою клинышком. Доктор Задорожный. Он меня лечил в казармах, пока я не попал в больницу. Я прохрипел:

— Доктор Задорожный!

Он наклонился. Я ему в двух словах рассказал о моем положении. Он меня поднял, привел под руку к себе. Усадил в глубокое кресло, напоил чаем. Я, задыхаясь от волнения, стал ему рассказывать все, что пережил в эти дни. Доктор внимательно смотрел на меня.

— А это не пригрезилось вам? — спрашивает меня.

— Нет, все это правда!

Рассказал, как нас отвезли на Сортировочную и там бросили на морозе.

— Ну, бред! Ясное дело!

— Доктор, не бред, я вас уверяю! Пошлите сейчас же телеграмму, ведь товарищи там замерзают, может быть, успеем их еще спасти!

— Пошлем, пошлем телеграмму. Сегодня же распоряжусь.

Горячий чай с коньяком, мягкая чистая постель. О, какое это блаженство! Раз уж тут в дело Данте замешался, то — прямо из третьей части «Божественной комедии» — «Il paradiso» (рай)!

Спал всю ночь, весь день и всю следующую ночь. Спасибо старику доктору! Сообщил, что устроил меня, дал записку к доктору больничному, повезли меня — ужас безмерный: та самая больница!

Пролежал я там еще с неделю. Организм у меня могучий, поправлялся быстро. Странное что-то творилось в больнице. Трое было здесь врачей, но они почти к нам не являлись. Изредка пройдет, с скучливым видом выслушает, что-то неохотно пробурчит санитару — и дальше. Больница была расположена в нескольких зданиях. В одном из них в окнах огонь горел до поздней ночи, слышались веселые голоса, споры, иногда даже приглушенное пение. А в остальных, у нас — темнота кромешная, стоны.

Меня выписали. Пришел в ревком, рассказал о своих недоумениях. Меня назначили комиссаром больницы. На следующий день вхожу в канцелярию больницы. Вдруг казначей поспешно бросил в денежный ящик пачку денег и запер ящик на ключ. Он был очень бледен.

— Откройте ящик.

— Не имею права, я отвечаю за его содержимое.

— Откройте ящик.

— Да кто вы такой? Я не знаю. (Приказом я еще не был проведен.)

Быстро встал и хотел уйти. Я вынул наган и навел на него. Прочел в моих глазах, что выстрелю. Дрожащею рукою открыл ящик. Он весь был полон маузеровскими патронами.

Казначей наклонился ко мне и шепотом проговорил:

— Я поделюсь с вами половиной барышей!

Хотел показать, что просто ими спекулировал. Сделали мы повальный обыск во всем госпитале. В сараях под дровами, в амбарах и складах под мукою и припасами — везде оказались запрятанными пулеметы, винтовки, маузеры. Под видом больных в одном из больничных зданий — в том, в котором по ночам горели огни, оказалась масса скрывающихся здоровых офицеров. Это для них очищали помещения, когда нас вывезли на грузовике в поле.

Телеграммы об этом доктор с седенькой бородкой никуда, конечно, не послал. Мы откопали в сугробе трупы

семнадцати замерзших товарищей. И никуда он не сообщил о том, что, как я ему рассказал, творилось в больнице.

— За приют вам, доктор, спасибо. И я вас не расстреливаю. Но запомните на будущее, что такие шляпы, как вы, нам совершенно не нужны, и мы с ними расправляться умеем.

ТУЗ

В годы гражданской войны среди индивидуалистически-анархически настроенного украинского крестьянства то и дело возникали боевые группировки, то примыкавшие к красным, то вдруг выступавшие против них. Полубандиты, полуреволюционеры. Типичен Махно. Много было и еще,— Григорьев, Тютюнник, другие. Про одного из таких я и хочу рассказать.

Прозвище его было — Туз. А может быть, это была его фамилия. Лет сорока пяти, огромный, рыжий. Красный нос картошкой. Странные у него были глаза: ресницы бледно-желтые, а из-под них загадочно глядели черные, таинственно-умные, как у свиньи, глаза. Бывший батрак-пастух. Человек неугасимой храбрости и стратег замечательный.

Однажды надоело ему,— и вдруг, никого не предупредивши, он со всем своим отрядом оставил позиции, оголив фронт. Решено было обезоружить его со всем отрядом.

Была в советских войсках девушка, смелая и предприимчивая. Звали — Маруська-Кацапка. Ее послали вперед в разведку, а в помощь дали бойца, ушедшего от Туза в советские войска. Отправились они в Звенигородку, уездный город Киевской губернии. Узнали, что отряд Туза — в лесах, а сам он с командной верхушкой — в деревне под Звенигородкой. Маруська и ее спутник разошлись в разные стороны, а к ночи сговорились сойтись у лесной сторожки. Туда же должен был подойти к ночи советский отряд, и они бы его повели арестовать Туза.

Под вечер идет Маруська-Кацапка по шоссе, слышит вдали конский топот. Спряталась под мост. Едут пьяные всадники, ругаются по-матерному. Слышит:

— А-а! Они нас хотели накрыть! Ну, посмотрим, кто кого! Всем отрядом на них ударим!

Пришла Маруська к лесной сторожке. Спутник ее уже там. На расспросы отвечает неопределенно, в глаза не смотрит. Очевидно, это он их предупредил.

Маруська, как будто гуляя, зашла в кусты, а оттуда бегом кинулась навстречу советскому отряду и предупредила о засаде. Туз всю ночь прождал в засаде советский отряд, а утром со всею своею бандою бесследно скрылся. За измену он был объявлен вне закона.

Нагрянул Деникин. Советские войска отступили. В тылу белых заработали партизанские отряды, советские и крестьянские. Нападали на карательные отряды белых, на мобилизационные пункты, захватывали воинские поезда; офицеров расстреливали, солдат обезоруживали и отпускали. Явился опять Туз со своим отрядом. Смелый, неуловимый, он был везде и нигде, совершенно расстроил тылы добровольческой армии. На большой подпольный съезд большевики пригласили Туза, помирились с ним, решили действовать сообща.

Маруська-Кацапка осталась в Звенигородке с подложным паспортом офицерской жены. Была она хорошенькая, легко завела знакомство со многими офицерами, два раза принимала участие в их пирушках. Из расспросов узнала, что орудия у белых есть, но к ним ни одного снаряда. Увидела, что среди всего офицерства крайний упадок духа и полнейшее разложение. Все сообщила своим.

Ударили с фронта советские войска, с тылу партизаны. Совершенно разгромили белых. Туз показал чудеса храбрости и распорядительности. Пленных солдат — желавших — приняли в армию, нежелавших отпустили. С генералами и офицерами Туз расправился зверски. Всех их запрягли в тачанки и стали на них кататься, нещадно хлеща кнутами, пока те не попадали. Тогда пристрелили.

И стал Туз большим другом Советской власти. На выступлениях он бил себя кулаком в грудь и кричал:

— Я за Советскую власть! Я тоже в тюрьме сидел, тоже в ссылке был... За телушку! Что телку украл! Помещик, сукин сын, меня голодом морил. Я у него, как пастухом был, и украл телушку. Я тоже страдал!..

При таких настроениях Туза удалось его немножко обработать. Уговорили принять к себе в отряд Маруську и одного сельского учителя, Семена. Евреев направлять было опасно,— эти бандиты их громили и избивали. Однако одного учителя рискнули послать по собственному его на-

стоянию, Абрама Гулькина, прекрасного агитатора и горящего революционера. Работа Маруськи-Кацапки, Семена и особенно Гулькина оказалась очень успешной. Многие в тузовском отряде начинали проникаться советскими настроениями. Сам Туз очень благоволил к Маруське. Когда в одной стычке под нею убили лошадь, подарил ей прекрасного коня, подарил маузер. Просто за нею приударял. Был он вообще большой бабник. В деревне у него находилась жена и семь человек детей, здесь жил с молодой больничной сиделкой и усиленно ухаживал за Маруськой. Однажды, когда он спал пьяный, обе они обшарили портфель Туза. Выяснилось, что он ведет переговоры с Петлюрой, собирается заключить с ним союз. Они сняли копии с протоколов и переслали в дивизию.

Семена Туз не любил, а Гулькина Абрама ненавидел. Был бой. В конце боя Гулькин оказался убитым при очень загадочных обстоятельствах. Между тем в городе был образован ревком, председателем его назначен Семен. Хотели использовать стратегические способности Туза, его оставили начальником отряда, но военным комиссаром назначили к нему большевика. Туз пришел в ярость, заявил, что не хочет подчиняться приказу, и комиссара к себе не пустит. Тузовцы демонстративно срывали расклеенные приказы ревкома. Ревком постановил отстранить Туза от командования. Маруська в это время была секретарем партячейки. Семен вместе с нею пошел на почту и по прямому проводу послал в дивизию телеграмму, что Туз — бандит, Советской власти не подчиняется и что они постановили его отстранить. Туз перехватил телеграмму. Окружил ревком пулеметами, арестовал Семена и других членов ревкома и отправил их в тюрьму. Маруська успела скрыться. Туз заявил:

— Поймаю,— отдам в отряд! Пусть там с нею делают, что хотят!

А в отряде был некий Грызло, в нее влюбленный,— отвратительный сифилитик со скользкой улыбкой. Холодный ужас охватил ее при мысли, что с нею тогда будет.

Через три дня приехал уполномоченный от дивизии разобрать дело. Маруська узнала: сидит с Тузом в ревкоме и пьет с ним. Маруська пошла в ревком. Телохранитель Верещага, стоявший на часах у входа, в ужасе попятился.

— Маруська! С ума сошла? Что с тобою Туз сделает!

— Пусти, дай пройти!

Он попятился к дверям, загораживая вход. Вдруг дверь распахнулась, вышел Туз. Пьяный, взлохмаченный, глаза налиты кровью. Увидал Маруську, ахнул.

— А-а, Маруська!..— Шатаясь, сделал к ней два шага, заложил руки за спину.— Ну-ка, говори! Я тебе лошадку подарил?

— Подарил.

— А револьвер подарил?

— Подарил.

— А охранял в отряде так, что никто тебя и пальцем не тронул?

— Охранял.

— А ты что, сука, сделала? Против меня телеграмму послала? С Семеном на меня пошла! Спала с ним, что ли?

И поток циничнейших ругательств. Маруська холодно ответила:

— Я тоже много ругательств знаю, да ими никого не убедишь.

И мимо него прошла в ревком. На столе кувшины с самогоном, ветчина, жареный гусь. Сидит уполномоченный дивизии. Он как будто не был пьян. Сурово оглядел Маруську. Воротился Туз, сел. К нему уполномоченный предупредительно и ласково. Встал

— Ну, значит, поехали в дивизию! Там все разберем.

Пришел Семен, которого вчера освободили из тюрьмы. Три дня продержали там в нетопленной камере (февраль), не кормленным, не принимая передач. Подали пролетку, в нее посадили Маруську, Семена. Сел к ним еще учитель-анархист Середа: его попросил ехать Туз в качестве свидетеля. Вокруг пролетки гарцевало двенадцать вооруженных телохранителей Туза. Получалось прямо впечатление, что их везут, как арестованных. Вдруг подошел Туз.

— Нате вам назад ваши револьверы

И отдал Маруське и Семену их револьверы. А умные свинячьи глазки тайно смеются про себя.

Поехали. Туз и уполномоченный впереди верхом. Ехали с час Туз со своим спутником ускакали далеко вперед. Вдруг сзади пролетки раздался винтовочный выстрел, за ним сейчас же второй. Пуля просвистела над самой головой Семена. Он и Маруська обернулись, выхватили револьверы. Сухой треск спусков: патроны были из револьверов вынуты. Телохранители, ехавшие рысью сзади, посмеивались. Маруся спросила Середу:

— Ваш револьвер заряжен?

— Да.

— Дайте сюда.

И выстрелила назад два раза на воздух. Скачет назад Туз с уполномоченным.

— Кто стрелял?

— Нечаянно винтовка выстрелила.

Маруська:

— Неправда! Два раза стреляли. Пуля пролетела над самой нашей головой... Товарищ уполномоченный, заявляю вам на всякий случай: похоже, что Туз дал своим молодцам приказ нас убить; если заявят, что мы убиты при попытке к бегству, то не верьте.

Туз посмеивался, любовался Маруською и крутил головой.

Приехали. В дивизии с почетом приняли Туза. Потом, отпустив его, позвали Семена с Маруськой. Комдив принял их очень сурово и задал головомойку:

— Что вы там натворили? Восстановили против нас такого ценного работника! Совершенно неправильный подход! Вздумали бороться администратированием и приказами! Да если умело к нему подойти, из него может выйти второй Буденный!

Маруська горячо возражала:

— Не выйдет из него никакого Буденного! Продаст он нас в самый опасный момент. Я его насквозь вижу.

Комдив ее прервал:

— Вы, товарищ, в регулярной армии, видно, мало работали. Я вас сюда вызвал не для дискуссии, а для выслушания приказа. Вы сейчас же должны помириться с Тузом. Если нужно, попросить извинения. Понятно?

Маруська поникла кудрявою головою и устало ответила:

— Понятно.

Вошел Туз. И опять набросился на Маруську с упреками:

— Я тебе лошадку подарил?

— А Гулькина ты убил?

— Ей-богу же, Маруська, не я! Как по-прежнему говорится,— вот тебе святая икона: от белой пули погиб!

Помирились. Выработано было в штабе примирительное решение: Туз назначается начальником и комиссаром своего отряда, но все его действия утверждаются ревкомом. Семен на обратном пути был бледен и задумчив:

— Убьют нас!

Ночевали в встречном местечке. Меблированные комнаты; две кровати; рваные тюфяки, облитые желчью и кровью. По стенам живою сеткою движутся клопы. Семен с Марусею легли на столе; одно пальто подстелили под себя, другим вместе покрылись. За стеною до поздней ночи тузовцы кутили и пели песни.

Семен все вздыхал:

— Убьют нас!

Маруська его пристыдила.

Утром Туз пригласил их позавтракать. И глаза его непроницаемо-загадочно посмеивались.

В коляску к Семену и Маруське сели два тузовца. В одном из них Маруська узнала того, кто стрелял им в спину.

— Ну, говори: застрелить нас хотели?

— Да ей же богу нет! Сама винтовка нечаянно выстрелила!

— А второй выстрел?

— Разве бы мы тебя, Маруся, застрелили? — С усмешкой поглядел на Семена.— Вот разве что, может, его...

В Звенигородке Туз кутил, бил себя кулаком в грудь, опять:

— Я за Советскую власть! Я сам в тюрьме сидел за телушку!

Приехали в город дивизионные квартирмейстеры. Дивизия направлялась на польский фронт. Узнав об этом, Туз всю свою артиллерию, кавалерию, пулеметы и часть пехоты отправил в уезд,— «на борьбу с бандитизмом».

— Почему без разрешения ревкома?

— Я ему доложу.

Пришла дивизия. Туз выстроил остатки своей пехоты и с рапортом к комдиву,— дескать, все обстоит благополучно, артиллерия с кавалерией посланы в уезд для борьбы с бандитизмом, в наличии столько-то пехоты.

Маруська в бешенстве комдиву:

— Упустили!

— Еще посмотрим!

— Объясните же наконец, какая у вас установка?

— Товарищ, слишком много хотите знать!

Четыре дня дивизия стояла в Звенигородке. Дивизионные пили с Тузом, пели ему дифирамбы:

— Великий полководец!

— Второй Буденный!

— Тобою держится Советская власть!

А Туз бил себя в грудь и кричал:

— Я всегда был за Советскую власть! Я сам страдал, я сам в тюрьме сидел!

А за час до выступления на фронт неожиданно исчез с остатками своего отряда.

— Удрал!

Комдив схватился за голову. Маруська, забыв о всякой дисциплине, яростно накинулась на него:

— Тупица! «Слишком много его спрашивала»! Эх вы, вороны! Ловите орла!

Комдив не обижался. Он только раскачивался на месте, стиснув голову.

— Ведь я его обязательно должен был представить живого!.. Что же теперь делать?

Разослал по уезду отряды, чтобы захватить Туза живого или мертвого. К одному из них прикомандировал, по собственному ее желанию, Маруську-Кацапку. Для нее делом жизни и чести сделалось — поймать Туза. В поисках его встретилась с Верещагой, телохранителем Туза, не хотевшим тогда пустить ее в ревком. Он ей сообщил, что Туз, тяжело больной сыпным тифом, лежит в одной лесной деревушке. Она сообщила, куда надо. Его захватили, привезли и расстреляли.

Комдив вскоре был арестован.

ГОЛУБАЯ КОМНАТА

Родители его были очень богаты, отец — банкир. Звали его Мстислав. Студент. Красавец с задумчивыми глазами, поэтическая натура, знал наизусть Тютчева и Блока. Экстатически упивался природой. Был способен часами слушать, как журчит в лесу ручеек, и ловить в этом журчании чудеснейшую музыку; или, глядя на облака, наблюдать в них прихотливую игру изумительно оригинальных лиц, фигур и пейзажей; физического труда не любил, но на даче охотно пилил со сторожем дрова для кухни: пила, вгрызаясь в дерево, выговаривала самые неожиданные и странные слова. В комнате его стоял рояль, и Мстислав целыми вечерами импровизировал на нем.

Нужно было ему позвонить по телефону товарищу. (У него в комнате был собственный телефон.) Отозвалась

телефонистка, назвала свой номер: сорок два. Мстислав замер с трубкою перед ухом. Голос был совершенно небывалой красоты.

— Сорок два! — нетерпеливо повторил голос.

Мстислав назвал нужный телефон.

— Готово! — ответил голос и исчез. Мстислав положил трубку обратно и, стиснув голову, облокотился о стол.

— Дурак!

Несколько дней он почти не выходил из комнаты и звонил в телефон. Но отзывались все другие номера. Особенно надоедливо — одиннадцатый и тридцать третий. Но вот наконец Мстислав услышал желанный голос:

— Сорок два!

Он прерывающимся голосом заговорил:

— Пожалуйста, подождите!.. Я знаю, у вас строго, разговаривать с абонентами не разрешается... Но у вас голос такой изумительной красоты... Умоляю вас, позвоните мне после работы по номеру пять, пятнадцать, двенадцать. Меня зовут Мстислав... Страшно нужно!..

Голос бесстрастно ответил:

— Хорошо.

И исчез.

Весь вечер Мстислав просидел у себя в комнате, даже чай и ужин велел подать себе туда. Телефон молчал.

Только на следующий вечер раздался телефонный звонок, и желанный голос холодно произнес:

— Можно позвать к телефону Мстислава?

— Это я... Это я... Послушайте, что я вам скажу... Ваш голос потряс меня своею красотою. Никогда ничего подобного я не слыхал. В первый раз я услышал вас четыре дня назад и потом все время ловил ваш номер, чтоб с вами поговорить.

Раздался легкий смех, и голос медленно сказал:

— Ваш голос мне тоже нравится.

— Да?!.. Что вы говорите?.. Тогда — будем знакомы! Я себе не представляю, как вдруг будет, если я не буду иметь возможности слышать вас.

Завязалось знакомство. В ее свободные от службы часы они разговаривали, забывая все на свете. Звали ее Зоя. Прелестный ее голос журчал, как лесной ручеек; как неожиданным всплеском, журчание прерывалось мелодическим смехом. Он ее так и называл «ручеек».

Зародилась любовь. Прошло три месяца. Со страхом и смущением они сказали друг другу:

— Давайте встретимся!

И оба испугались: вдруг — разочарование!

Встретились в Петровском парке. И — ни один не разочаровался. Она была красавица — светлая блондинка с ярко-синими глазами и темными бровями. Сразу заговорили друг с другом легко и просто.

Стали встречаться.

Любовь крепла. Он говорил ей о красоте мира и о еще большей красоте того, символом чего служат явления этого мира. Она журчащим, как ручеек, голосом рассказывала о своих нехитрых радостях и горестях. Он умиленно слушал и любовался ее красотою гетевской Гретхен.

Весною Мстислав сдавал выпускные экзамены. Однажды, в том же Петровском парке, когда на зеленоватом западе блестел золотой серп месяца и пахло кругом сиренью, он вдруг предложил ей быть его женою.

Она растерялась и молчала. Потом сказала:

— А как же ваши родители?

— Я вас познакомлю. Они меня любят без ума и ни в чем перечить не будут.

Мстислав сообщил родителям. Зоя пришла. Она понравилась своею воспитанностью и хорошими манерами. Умерший отец ее был разорившийся помещик, гвардейский полковник в отставке. Мать Мстислава пригласила Зою провести лето у них на даче и на прощание горячо расцеловала.

Когда Зоя ушла, отец поморщился и сказал жене:

— С его состоянием он мог бы рассчитывать на невесту побогаче.

Мать махнула рукою.

— А, господи! Мало ему будет нашего состояния! Сердце материнское говорит мне, что эта девушка будет ему подходящею женою. Пора ему жениться. А то я, право, боюсь, что стихи начнет писать.

Отец вздохнул.

— Наверное, давно уже пишет!

У них была богатая собственная дача верстах в сорока от Москвы, к Звенигороду. Мстислав сдал экзамены. Уехали на дачу. Приехала Зоя. Мстислав и она были неразлучны, вместе ходили гулять, вместе наслаждались

природой. Он читал ей много стихов, говорил о символизме, о Метерлинке и Оскаре Уайльде. Она молчала и очень внимательно слушала.

У матери с Зоей возникла большая дружба. Она была очень довольна будущею женою Мстислава. Иногда обе они таинственно уезжали в Москву даже дня на два, на три, возвращались оживленные и довольные.

Свадьба была назначена в конце августа.

В начале августа мать повезла Мстислава в Москву. У них был в Леонтьевском переулке собственный особняк. Повела его через гостиную к комнате Мстислава и внезапно распахнула дверь.

Большая комната была отделана совершенно заново. Получилось очаровательное, уютное гнездышко для будущей молодой парочки. Зоя была блондинка, поэтому вся комната была голубая. Дорогие голубые обои, голубой фонарь под потолком, голубая обивка мебели, голубой ковер на всю комнату. Огромная двуспальная кровать была покрыта атласным одеялом цвета августовского неба. Письменный стол Мстислава пришлось задвинуть в угол. Мать, довольная зрелищем, говорила:

— А рояль, голубчик, я велела выкатить в гостиную. Ведь она почти всегда у нас пустая, ты можешь играть и там.

Мстислав широко открытыми глазами оглядывал комнату. И опять, и опять останавливался взглядом на пышной двуспальной кровати, возвышавшейся, как торжественный жертвенник.

Он спросил:

— Зоя это видела?

— Ну конечно. Мы вместе с нею все это и устраивали.

Мстислав потемнел.

— Я никогда не буду жить в этой комнате.

Повернулся и ушел.

После возвращения на дачу он странно изменил свое поведение. Зоя часто ловила на себе его пристальный, испытующий взгляд, чего раньше никогда не бывало. Вставал он теперь с зарей, уходил с ружьем, будто на охоту, и возвращался вечером... Зоя все дни была одна и плакала. Через две недели она, по настоянию матери Мстислава, объяснилась с ним. Мстислав с страдающим лицом, глядя в сторону, сказал, что он ее не любит.

И они расстались.

ЕЛКА

Когда-то она была богата. Кутила-муж растранжирил ее имение и умер. Она с мальчиком осталась нищей. Поселилась в уездном городе, ходила по стиркам. Жила в бывшем свином хлеве,— обмазала его глиной. Чугунная печка.

Был канун рождества. Она побелила внутри хатку, зажгла перед образом лампадку. Вокруг образа приколола несколько еловых веток, к ним прикрепила пять копеечных восковых свечек, повесила два крымских яблока, три-четыре конфетки в ярких бумажках. Сейчас должен был прийти сын. Она зажгла свечи.

Сидела, смотрела, пригорюнясь, на убогую елку, вспомнила богатые елки собственного детства. А она вот что только может дать своему мальчику. И из глаз тихо капали слезы

Мальчик воротился. Он катался сейчас на лыжах... Какие, впрочем, лыжи! Две дощечки от развалившейся бочки с веревочками для ног, прибитыми гвоздями.

Остановился мальчик на пороге и ахнул.

— Мамочка, ой! До чего же хорошо!

Скинул лыжи, заходил по комнате, оглядывал яркобелые стены, ветки с лакомствами, огоньки лампадки и свечек. И глаза блестели ярче, чем свечки. И все повторял:

— Ой, мама! До чего же хорошо!

Наглядевшись, сел возле матери, облокотился о ее колено. Жевал яблоко. Вздохнул глубоко и сказал:

— Какие мы с тобой, мамочка, счастливые!

Первый.— Нет, брат, ничего из тебя не выйдет, я вижу. Не от тех ты родителей родился.

Второй (в ярости).— Ты не можешь знать, от каких я родителей родился,— от своих или от чужих!

— Вы должны за этим смотреть, это безобразие! Не имеет собака юридического права лаять на проходящих!

— Зато моральное право имеет, довольно и этого.

— Как так довольно? Что вы, гражданин, глупости говорите!

Пьяного высадили из трамвая. Он стоит в недоумении.

— За что меня высадили?

Молодой человек, ждущий трамвая:

— Если вы трезвый, то вы сразу поймете, за что.

— Много ли верст до солнца?

— Сто тридцать миллионов.

— Только-то? А говорили: далеко.

— Ну, как живете? Радуетесь ли жизни?

— Что? Жизни радуюсь ли? Я этими пустяками давно уже перестал заниматься.

— Мама, дай карандаш.

— На что тебе?

— Буду богу письмо писать.

— Что ж ты писать будешь?

— Чтоб солнце сделал, да скорей чтобы: гулять очень хочется, на балконе чайпить, купаться.

М. О. Гершензону врачи в последние годы жизни запретили курить. Он не курил и томился по табаку. На заседаниях, напр., академии художественных наук, иногда не выдерживал, просил у знакомого папироску и закуривал. Я тоже старался отвыкать от курения, не держал папирос и тоже томился по куреву. Подойдет в перерыве Гершензон:

— Викентий Викентьевич, хотите курить?

— Х-хочу...

— Погодите, я сейчас раздобуду!

С лукаво-торжествующим видом приносит две папироски, и мы закуриваем.

В феврале 1925 года он тяжело заболел. С каждым днем положение ухудшалось. Надежды уже не было. Вдруг Михаил Осипович с радостным лицом обратился к жене:

— Ну, Маруся, я умираю! Теперь можно покурить.

Жадно выкурил папиросу и вскоре умер.

Учитель греческого языка в нашей тульской гимназии:

— Некоторые писатели древности утверждали, что Гомер родился в двадцати городах. Но это неверно: он родился только в семи городах.

— С выступлением Ивана Петровича я совершенно не могу согласиться. Вы уж извините меня, Иван Петрович: amicus Plato, sedmagis amica veritas,— друг мне Платон, но еще больший друг — истина.

— Прежде всего вы мне вовсе не друг!

— Совершенно правильно. И кроме того — вы далеко не Платон...

В середине двадцатых годов существовало в Москве литературное общество «Звено». Один молодой пушкинист прочитал там доклад о Пушкине. Пушкин такой писатель, что, надергав из него цитат, можно пытаться доказать, что угодно. Докладчик серьезнейшим образом доказывал, что Пушкин был большевиком чистейшей воды, без всякого даже уклона. Разнесли мы его жестоко. Поднимается беллетрист А. Ф. Насимович и говорит:

— Товарищи! Я очень удивлен нападками, которым тут подвергся докладчик. Все, что он говорит о коммунизме Пушкина, настолько бесспорно, что об этом не может быть никакого разговора. Конечно, Пушкин был чистейший большевик! Я только удивляюсь, что докладчик не привел еще одной, главнейшей цитаты из Пушкина, которая сразу заставит умолкнуть всех возражателей. Вспомните, что сказал Пушкин:

Октябрь уж наступил..

ЛЕГЕНДА

Эту легенду мне когда-то рассказал путешественник англичанин.

Однажды пароход заночевал из-за туманов близ острова Самоа. Толпа веселых, подвыпивших моряков съехала на берег. Вошли в лес, стали разводить костер. Нарезали сучьев, срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать орехи. Вдруг они услышали в темноте

кругом тихие стоны и оханья. Жуть их взяла. Всю ночь моряки не спали и жались к костру. И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой-то шорох, вздохи и стоны

А когда рассвело, они увидели вот что. Из ствола и из пня срубленной пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. Оборванные лианы корчились на земле, как перерезанные змеи. Из обрубленных сучьев капали алые капли Это был священный лес. В Самоа есть священные леса, деревья в них живые, у них есть душа, в волокнах бежит кровь. В таком лесу туземцы не позволяют себе сорвать ни листочка.

Веселые моряки не погибли. Они воротились на пароход. Но всю остальную жизнь они никогда уже больше не улыбались.

Мне представляется: наша жизнь — это такой же священный лес. Мы входим в него так себе, чтобы развлечься, позабавиться. А кругом все живет, все чувствует глубоко и сильно. Мы ударим топором, ждем — побежит бесцветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, горячая кровь... Как все это сложно, глубоко и таинственно! Да, в жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны.

ПРИМЕЧАНИЯ

К ЖИЗНИ. Впервые напечатано в журнале «Современный мир», 1909, №№ 1—3. Написано в 1908 году.

Как только были опубликованы первые главы повести, в газетах и журналах появились многочисленные рецензии на нее. Критика в массе своей называла новую повесть В. Вересаева одним из лучших произведений последнего времени. «Повесть задумана широко,— писал Л. С. в «Журнальном обозрении» томской газеты «Сибирская жизнь» (1909, № 58, 14 марта),— и, судя по началу, автору удалось передать в живом, талантливом пересказе тогдашние события, менявшиеся с калейдоскопической быстротой».

Когда же повесть стала известна целиком и выяснилась общая идейно-художественная концепция автора, доброжелательный тон критических высказываний сменился сдержанными, а порой прямо уничтожающими отзывами о новой вещи В. Вересаева. Положительные оценки были единичны. Правда, критикой отмечалось, что новая повесть дает материал для изучения настроений эпохи. «Вересаев очень чутко улавливает разного рода общественные настроения, различные в творящейся вокруг нас жизни. Уловил он и эту апатию, и эту скуку, и это омертвение еще недавно столь живого организма... Вересаев как бы видит, что эта усталость, эта общественная апатия — только внешняя кора. Что под нею, в одних местах глубоко, но все же притихли живые ключи... которые еще недавно так бурлили на глазах у всех»,— справедливо замечал В. Боцяновский в «Литературных листках» («Новая Русь», 1909, № 83, 26 марта). Однако рецензенты самых разных направлений писали, что по своей идейной значимости и художественным достоинствам «К жизни» уступает повести «Без дороги» и «Поветрию». Но если критика была едина в общей оценке произведения, отмеченного стремлением автора встать «над схваткой», подняться над ожесточенной классовой борьбой, не утихавшей после революции 1905 года, то сами мотивы неприятия повести оказывались различными.

Элементы мистики, биологизм, выразившиеся в рассуждениях В. Вересаева о «Хозяине» и «Властителе», культ внесоциально толкуемой «живой жизни», естественно, вызывали возражения у тех, кто твердо верил в конечный успех борьбы народа за свободу. Н. На—ов в статье о сборниках «Знания» сожалел, что изображение революционных настроений рабочих оттеснено в повести на задний план «размышлениями на тему, что думает добрый интеллигент в этапе, когда ему не спится...» («Голос Приуралья», 1910, № 169. 11 августа).

При всем общем либерально-угодническом тоне статьи Вл. Кранихфельда в «Современном мире» (1909, № 5) критик высказал много справедливых суждений о повести. Он рассматривал ее как «правдивую и вдумчиво написанную летопись интеллигентских настроений» тех дней. Вл. Кранихфельд убедительно вскрывал индивидуалистическую сущность таких мнимых революционеров, как Чердынцев, который на поверку оказывался ближе к Иринарху, чем к Дяде-Белому «Когда революционные волны пошли на убыль», Чердынцев «не поставил себе вопросов: *почему* не удалась эта работа, *почему* результаты ее не оправдали его ожиданий и надежд?.. Вопрос: *зачем жить?* — вытеснил все остальные и завладел всем его существом», «возрождение Чердынцева произошло в плоскости чисто индивидуальных переживаний», и поэтому вересаевский лозунг «живой жизни» не может увлечь массы. Объективно повесть рисовала характерный для тех лет процесс «разобщения личности со средой» — в этом ее познавательное значение.

Подобные суждения о новой вещи В. Вересаева в те годы были редки. В условиях торжества реакции пресса почти исключительно предоставляла слово рецензентам черносотенных и охранительных убеждений. Идеи гуманизма, бодрый тон повести, очевидное желание автора противостоять упадническим настроениям, господствующим в литературе, известная близость в этом смысле В. Вересаева М. Горькому вызывали раздражение в либерально-реакционных кругах. Повесть называли «длиннейшей и скучнейшей», а самого автора — «идейно-жизнерадостным товарищем из первокурсных медиков», «совершенно безнадежным», «конченым писателем». С другой стороны, критиков правого лагеря радовал определенный отход автора «К жизни» от социальных тем к постижению «темных влечений души». Они склонны были рассматривать повесть «протоколиста» марксизма В. Вересаева как симптом резкого изменения умонастроений в среде молодых революционеров и как свидетельство того, что революция якобы зашла в тупик

Это была разнузданная клевета на В. Вересаева, попытка использовать «К жизни» как материал для контрреволюционной пропаганды.

Писатель тяжело перенес нападки критики и позднее попытался вообще отказаться от своей повести, считая, что она «самая плохая

из всех» его «вещей», «неуклюжая, надуманная, неубедительная» («Записи для себя», т. 5). Явно ошибаясь в общей оценке произведения, он высказал ряд верных конкретных замечаний: «Не могу... принять упрека за то, что повесть написана взъерошенным, претенциозным языком, что я в ней поддался тогдашней «моде». Решительно все другое мое, относящееся и к тому времени, написано обычным моим языком. Здесь же «поддался моде» не я, а герой моей повести, которая ведется от первого лица, в виде дневника. Мне пришлось даже ломать себя, чтобы заставить говорить моего героя языком, для того времени характерным.

...Я захотел все свои нахождения вложить в повесть, дать в ней ответы на все мучившие меня вопросы. Но... ответы эти для того времени и для выведенного мною лица были совершенно нехарактерны. Это были именно только *мои* ответы, для *себя*». В то же время В. Вересаев подчеркивал, что «повесть... в известной степени отражает настроения тогдашней молодежи и составляет неотделимое звено в цепи моих повестей, отражающих душевную жизнь «хорошей» русской интеллигенции» (там же)

Готовя повесть «К жизни» для Полного собрания своих сочинений в изд. т-ва А. Ф. Маркс (т. 4, СПб. 1913), В. Вересаев провел небольшую стилистическую правку, в трех местах сократил рассуждения о «Хозяине» и «Властителе», снял тринадцать заключительных эпизодов повести. В них изображался бунт крестьян, требовавших у Федора Федоровича раздела помещичьей земли, рассказывалось об увольнении с завода Дяди-Белого и нищенском положении его семьи. Но основной идейный смысл финала повести сводился к пропаганде писателем теории «живой жизни». В. Вересаев показывал, насколько изменились представления Чердынцева об окружающих людях после того, как он утвердился на позициях этой теории. Откровенный схематизм и нарочитость такого финала, вероятно, и заставили писателя отказаться от него.

В варианте 1913 года (с незначительной стилистической правкой) повесть вошла и в Полное собрание сочинений В. Вересаева, т. 6, изд. т-во «Недра». М 1930, по тексту которого печатается.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА. Впервые опубликовано в «Слове», сборник четвертый, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1915. Написано в 1915 году.

Цензура стремилась смягчить антивоенную направленность «Марьи Петровны», изъяла заключительную фразу рассказа: «Было ощущение одного общего, огромного несчастья, которое на всех обрушилось и всех уравняло» (стр. 124 настоящего тома); а также сняла слова: «...господи, сколько народу перепорчено — молодого, здорового!» (стр. 123 настоящего тома).

Впоследствии В. Вересаев восстановил эти цензурные купюры. Печатается по изданию: В. Вересаев. Рассказы. М. 1936.

ДЕДУШКА. Впервые напечатано в «Слове», сборник шестой, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1916. Написано в 1915 году.

Рассказ подвергался незначительной стилистической правке.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев, Избранное, М. 1944.

У ЧЕРНОГО КРЫЛЬЦА. Написано в 1915 году.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев, Избранное, М. 1944.

СЕМЕЙНЫЙ РОМАН. Впервые опубликовано в журнале «Красная нива», 1927, № 49, 4 декабря. Написано в 1916 году.

«Семейный роман», который В. Вересаев называл «невыдуманным рассказом», явился, видимо, одной из первых попыток в овладении жанром, занявшим впоследствии столь значительное место в творчестве писателя. Однако в цикл «Невыдуманных рассказов о прошлом» «Семейный роман» не вошел. В. Вересаев включил его в книгу «Записей для себя».

Переиздавая рассказ, автор подвергал его незначительной стилистической правке.

Полемизируя с письмом одного читателя, усмотревшего в «Семейном романе» проповедь ненаучных взглядов, В. Вересаев писал:

«Письмо, хотя и довольно малограмотное, видимо, принадлежит человеку, считающему себя ориентированным в вопросах биологии,— может быть, даже преподавателю биологии. Оно характерно, как образчик вульгарного понимания учения об условных рефлексах. «Инстинкт», «условный рефлекс»,— этим исчерпывается вся душевная жизнь животных. Всякое упоминание о «разуме» животного повергает в форменную панику не только людей, подобных автору приведенного письма, но и многих ученейших профессоров-биологов».

В. Вересаев спорил с теми, кто считал ненаучным приписывать птицам «радостные» крики и другие проявления сознания. «...Многие современные ученые по поводу всякого «разумного» действия животного спешат прибавить, что это только кажется разумным, а в действительности это инстинкт или рефлекс,— продолжал писатель.— Но ни один живой человек, сколько-нибудь имевший дело с животными, конечно, не согласится с подобною педантическою безглазностью. Слишком он чувствует живую «душу» животного. Тем менее сможет с этим согласиться художник» («Записи для себя», хранятся у В. М. Нольде). Эти мысли в дальнейшем были развиты В. Вересаевым в одиннадцатой главе «Невыдуманных рассказов о прошлом» («Рассказы о животных»).

Размышления об элементах сознания у животных, о единстве всего живого на земле опирались на многие тонкие наблюдения писателя над окружающей жизнью, но в то же время размышления эти связаны были и с его увлечением теорией «живой жизни», пагубно сказавшейся на ряде произведений В. Вересаева.

Печатается по изданию: В. Вересаев, Избранное. Повести и рассказы, М. 1935.

ЗА ГРАНЬЮ. Впервые напечатано в «Московском альманахе», «Книгоиздательство писателей в Москве», 1923, № 1. Написано в 1918 году.

Рассказ подвергался незначительной стилистической правке.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев, Избранное, М. 1944. В этом тексте отсутствуют два абзаца об объявлениях на улицах Сингапура, печатавшиеся в предшествующих изданиях после слов: «...сестра хозяйки» (стр. 171 настоящего тома).

СОСТЯЗАНИЕ. Впервые опубликовано в журнале «Творчество», 1921, № 4—6, где рассказ датирован: «Коктебель. Сентябрь 1919 г.».

Печатается по изданию: В. В. Вересаев, Избранное, М. 1944.

В ГЛУШИ. Впервые опубликовано в сборнике «Недра», книга пятнадцатая, М. 1929. В рукописи рассказ датирован автором: «Коктебель. 1—6 июля 1927 г.» — и имеет два варианта названия: «Роды», «Роды в деревне».

Печатается по изданию. В. Вересаев, Рассказы, М. 1936.

ИСАНКА. Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1928, № 3. Черновая рукопись «Исанки» датирована 15 августа 1927 года, к концу этого же года писатель завершил работу над рассказом.

«Исанка» — первая серьезная попытка В. Вересаева изобразить советскую действительность; писатель рассматривал ее как ответственный творческий экзамен для себя. 8 декабря 1927 года, посылая рассказ в «Новый мир», он с волнением писал, что никак не может определить собственного отношения к «Исанке», просил редактора журнала В. П. Полонского возможно скорее сообщить свое мнение о рассказе.

Появление «Исанки» в печати вызвало страстные дискуссии среди молодежи. О том, как проходили диспуты в Харькове, рассказывал В. Вересаев в письме к Н. С. Ангарскому от 16 февраля 1929 года: «Прошлый понедельник, 11-го, был открытый диспут об «Исанке», с саженными афишами и пр. Огромный театр не мог вместить желающих... вызывали милицию для разгона. С тех пор каждый день читаю по клубам, разбирают меня нарасхват, требуют повторных выступлений. Устроитель говорит, что мог бы мне в течение месяца устраивать ежедневные выступления в клубах... уже за два дня до диспута — «Исанки» в продаже не было...» (ЦГАЛИ).

В рассказе действительно был поставлен ряд острых вопросов жизни молодежи, но, к сожалению, некоторые из них решались автором односторонне, другие и вовсе не получали никакого разрешения Это сознавал и сам В. Вересаев. В статье «Разрушение идолов», опубликованной газетой «Известия» 24 февраля 1940 года, он, между прочим, писал:

«Лет одиннадцать-двенадцать назад я напечатал рассказ «Исанка». В нем обрисовывалось совершенно безвыходное положение нашей учащейся девушки в области любви. Условия вузовской экономики и быта не допускали возможности семьи и ребенка; аборт неприемлем; оставались для большинства уродливые, неполные взаимоотношения, растлевающие дух, несущие с собою тяжелые нервные заболевания. Рассказ вызвал длинный ряд диспутов и целый поток читательских писем ко мне. Упорно, настойчиво мне предъявляли все один и тот же вопрос:

— Где же выход? Укажите выход!

Как будто это входит в компетенцию художника. И я, конечно, отвечал: «Не знаю!»

Но вот прошел десяток лет, и мы имеем возможность наблюдать совершенно конкретное разрешение вопроса, казалось бы, неразрешимого. У нас существует целый ряд «студенческих городков» — крупных общежитий на несколько тысяч студентов и студенток. При «городке» — своя библиотека, читальня, комнаты для занятий, столовая, буфет, всегда кипяток, прачечная, баня, почта, амбулатория, родильное отделение, ясли, детский сад» («Записи для себя», т. 5).

После публикации «Исанки» в журнале «Новый мир» автор незначительно стилистически правил рассказ.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев, Избранное, М. 1944.

БОЛЕЗНЬ МАРИНЫ. Впервые опубликовано в сборнике «Недра», книга двадцатая, М. 1931. Написано в 1930 году.

В письме Е. Ф. Вихреву от 15 июля 1930 года В. Вересаев сообщал, что весной написал рассказ «Болезнь Марины», который в сентябре собирается отшлифовать и передать редакции сборника «Недра» для его двадцатой книги (ЦГАЛИ).

Переиздавая рассказ, писатель подвергал текст незначительной стилистической правке, а начиная со сборника своих рассказов (М. 1936) стал печатать «Болезнь Марины» с небольшим сокращением. После слов «Марина перестанет читать и долго слушает задумавшись» (стр. 237 настоящего тома) ранее шло: «Была она чувственна, без мужских ласк скучала. Когда летом Темка был на производственной практике, она сошлась с другим парнем, а осенью воротилась к Темке. Но теперь...» Эта правка примечательна: писатель с годами освобождался от представления, что советская молодежь якобы культивирует свободную любовь.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев, Избранное, М. 1944.

ВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ. Впервые напечатано: *Неопубликованная глава*.— В. Вересаев, Рассказы, М. 1936; *Зеленая лошадь*, *Юбилей*, *Концерт*.— «Огонек», 1941, № 13, под общим названием «Три маленьких рассказа».

В. Вересаев намеревался включить эти рассказы в качестве особой главы в книгу «Невыдуманных рассказов о прошлом».

Печатаются по авторизованному машинописному и печатному тексту, хранящемуся в ЦГАЛИ.

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ. Творческая история этого цикла сложна и пока до конца не ясна. Некоторые рассказы фактически написаны В. Вересаевым еще в последние годы XIX — начале XX века. Рукопись «Парикмахера по собачьей части», например, находится в записной книжке 1890-х — первых лет 1900-х годов, рукописи рассказов «— Вот я сейчас одну индийскую сказку прочел...», «Случай на Хитровом рынке» — в записной книжке 1906—1907 годов.

Правда, тогда В. Вересаев не собирался печатать эти миниатюры как самостоятельные рассказы, видел в них лишь материал для будущих крупных произведений. Да и о цикле коротких рассказов он в те годы не помышлял.

«Невыдуманным рассказом» В. Вересаев впервые назвал «Семейный роман», написанный в 1916 году.

Замысел серии подобных произведений, начало систематической работы над ней относится, видимо, к середине 1920-х годов, когда писатель приступает к книге «Без плана». Задумана она была очень широко, В. Вересаев так определил в подзаголовке ее жанр: «Мысли, заметки, сценки, выписки, воспоминания, из дневника и т. п.». «Невыдуманные рассказы» должны были стать лишь одной из составных частей этой обширной книги.

В 1928 году В. Вересаев впервые публикует из нее часть материалов: в тринадцатом номере сборника «Недра» печатается 29 «детских рассказов», которые положили начало циклу «Невыдуманных рассказов о прошлом».

Особенно интенсивно пошла работа над книгой «Без плана» в первой половине 1930-х годов. Она все больше разрастается, да и материал в ней собирается очень пестрый. И Вересаев делит ее на три самостоятельных цикла: «Литературные воспоминания», «Записи для себя (Мысли, факты, выписки, дневниковые записи)» и «Невыдуманные рассказы о прошлом». Название последнего цикла впервые появляется в печати в феврале 1940 года, пока еще в качестве подзаголовка к «Западне», опубликованной в № 4 «Огонька».

Вскоре был обнародован и весь цикл. В №№ 6, 8, 10 журнала «Новый мир» за 1940 год публикуются 83 миниатюры с авторским предисловием и уже под общим заглавием «Невыдуманные рассказы о прошлом».

Писательская общественность встретила цикл В. Вересаева как яркое и своеобразное явление советской литературы. 3 января 1940 года Союз советских писателей устроил чтение и широкое обсуждение «Невыдуманных рассказов о прошлом». Выступав-

шие отмечали рождение нового жанра в литературе, подчеркивали, что В. Вересаев в коротеньких новеллах сумел воссоздать правдивую и многокрасочную картину жизни дореволюционной России.

Столь же единодушна была и оценка критики. Анализируя идейный замысел писателя, Ал. Дымшиц, например, писал: «Самое существенное, самое главное... в рассказах Вересаева — в их единой, внутренней, сквозной теме, в том идейном стержне, который пронизывает лучшие из невыдуманных, живых рассказов о действительно бывшем... Рисуя нам жизнь страшную и пошлую, он не остается на поверхности этой жизни, а отыскивает в ней то важнейшее разумное начало, которое становится его главной темой и предметом его авторски-лирического отношения. Человек — вот главная тема вересаевских рассказов. И эта тема о Человеке (с большой буквы!), противостоящем грязному миру капитализма, о Человеке, побеждающем враждебную ему жизнь,— это такая типично вересаевская тема» («Ленинград», 1941, № 3). Критика высоко оценила и мастерство В. Вересаева-художника. Писатель «подчеркивает невыдуманность своих рассказов,— замечал М. Чарный в № 12 журнала «Октябрь» за 1940 год.— Но существенно то, что — это искусство. Не свидетельская запись о факте, а художественное изображение факта. Искусство — в самом отборе событий, в характере изложения, в языке... В этих маленьких новеллах очевидны и мастерство языка писателя, и тонкость портретного рисунка, и даже высокое искусство сюжета».

Ободренный успехом, В. Вересаев задумывает новый цикл — «Невыдуманные рассказы о настоящем». «В приемной», «Euthymia», «Всю жизнь отдала» и др. были, вероятно, написаны именно для него, и лишь в силу того, что таких миниатюр оказалось немного, В. Вересаев ввел их в «Невыдуманные рассказы о прошлом».

В 1941 году в Москве и в 1942 в Тбилиси небольшая часть «Невыдуманных рассказов о прошлом» издается отдельными книгами, причем в последнюю автором включаются три рассказа, ранее не печатавшихся. Ряд новых миниатюр публикуется в периодической печати. Последний рассказ, написанный для цикла,— «Euthymia» — закончен в 1945 году, незадолго до смерти В. Вересаева, является вообще последним произведением писателя.

К середине 1940-х годов накопилось около двухсот «невыдуманных рассказов». В. Вересаев решает свести их в единую книгу. В нее он включает и некоторые свои старые рассказы, написанные в свое время отнюдь не для этого цикла («Случай», 1915, «Два побега», 1929, «Мимоходом», 1929, и др.). Смерть писателя оборвала работу над книгой. Он подготовил первые десять глав цикла и частично одиннадцатую.

В архиве В. Вересаева, кроме того, находится беловая рукопись нескольких новелл, тоже имеющих общий заголовок «Невыдуманные рассказы». Видимо, это еще одна глава, которой автор не успел

найти место в цикле: глава не имеет номера. Она
вслед за одинадцатой главой.

В последнем разделе помещены те «невыдуманные рассказы», которые не вошли в книгу, вероятно, лишь потому, что писатель не успел завершить работу над ней.

В настоящем издании впервые дается столь полный свод «Невыдуманных рассказов о прошлом».

Некоторые миниатюры В. Вересаев включал не только в цикл «Невыдуманных рассказов о прошлом», но и в «Литературные воспоминания» или в «Записи для себя», определением окончательного состава которых он занимался в те же 1940-е годы. Эти миниатюры в данном собрании сочинений печатаются только в составе «Невыдуманных рассказов о прошлом». Все они оговорены в библиографической справке, помещенной ниже. В ней также приводятся сведения о первых публикациях рассказов и те даты написания, которые указаны самим В. Вересаевым.

Предисловие.— «Новый мир», 1940, № 6 (не полностью). Полностью опубликовано в издании: В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

I

Случай на Хитровом рынке.— «Огонек», 1940, № 5, с подзаголовком: «Из серии «Невыдуманные рассказы о прошлом».

«Не такой подлец», Писатель, Проклятый дом, Ошибка, Документ, Под огнем паровоза, С опозданием.— «Новый мир», 1940, № 6.

«Студент, получив...»— «Новый мир», 1940, № 10.

Случай — В. Вересаев, Соч., т. VII, «Книгоиздательство
телей в Москве», 1919. Написано в 1915 году.

II

Анна Владимировна, Фельдшер Кичунов, Степан Сергеич, Иван Иванович, Фирма, Парикмахер по собачьей части.— «Новый мир», 1940, № 6.

Супруги.— «Новый мир», 1940, № 10

III

Ночью, Похороны, «Приехал в Петербург помещик...».— «Новый мир», 1940, № 6.

В кабинете помещика средней руки.— В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

За винтом.— В. Вересаев, Избранное в двух томах, т. 2, М. 1959.

IV

Грех.— «Новый мир», 1940, № 6.

Кентавры, Великодушный, «Бог соединил», «В земскую боль-

ницу...», «— Как здоровье?.», «У нестарой еще бабы...», «— У нас в деревне в церкви...», «— У нас в деревне человек один...», «Киево-Печерский монастырь...», «За Байкалом...», На пожарище, «Сапожник...», Вежливость, На пчельнике.— «Новый мир», 1940, № 8.

«На деревенском базаре...».— В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

«Эта же женщина рассказывала...», «Букинисты...».— В. Вересаев, Избранное в двух томах, т. 2, М., 1959.

V

Два побега.— «Красная нива», 1929, № 49. Включая «Два побега» в цикл, В. Вересаев снял первую фразу рассказа: «Это не беллетристический рассказ, это все правда, без всякой выдумки».

Написан в 1929 г.

Димка — партийная кличка Инны Смидович, троюродной сестры В. Вересаева.

«Весною 1901 года...».— «Вечерняя Москва», 1938, № 234, 11 октября, под названием «Из прошлого Художественного театра».

«В восьмидесятых — девяностых годах в Петербурге...», «В те же годы...», «Было это в конце 1898 года...».— «Новый мир», 1940, № 8 (эти рассказы вместе с напечатанными в № 10 «Нового мира» за 1940 г.— *«В конце, кажется, девяностых годов...», «Говорят, «ревнив, как Отелло»...», «Весною 1901 года...», «4 марта 1901 года...», «Вчера был с двумя знакомыми...», «У публициста Г. А. Джаншиева..», «Прасковья Семеновна Ивановская...», «Баронесса Доротея Эртман...», Московский литературно-художественный кружок, «Жил в Москве знаменитейший адвокат Плевако...»* — имели общий заголовок «Клочки воспоминаний своих и чужих»).

«В конце, кажется, девяностых годов..», «Говорят, «ревнив, как Отелло»...», «4 марта 1901 года...», «Вчера был с двумя знакомыми...», «Прасковья Семеновна Ивановская...», «Баронесса Доротея Эртман...».— «Новый мир», 1940, № 10.

«В девяностых годах в Петербурге...», «Смидович, Петр Гермогенович...».— В. Вересаев. Воспоминания, М.-Л. 1946.

П. Г. Смидович — троюродный брат В. Вересаева.

«Прасковья Семеновна Ивановская...», «Баронесса Доротея Эртман...», Два побега, «Смидович, Петр Гермогенович...», «В конце, кажется, девяностых годов ..», «Говорят, «ревнив, как Отелло»...», «Весною 1901 года...», «В девяностых годах в Петербурге...», «В восьмидесятых—девяностых годах в Петербурге...», «В те же годы...» — включены автором в «Литературные воспоминания».

«Вчера был с двумя знакомыми...» — рассказ входит в «Записи для себя».

VI

«Это какая-то изначальная первобытная стихия...», «Нашему госпиталю...», «Из нашей части...», Враги.— «Новый мир», 1940, № 8.

VII

П. Ф. Лесгафт.—Впервые напечатано в докладе В. Вересаева «К художественному оформлению быта (об обрядах старых и новых)», прочитанном 30 ноября 1925 года на пленуме Государственной академии художественных наук, «Красная новь», 1926, № 1. Как самостоятельный рассказ «П. Ф. Лесгафт» опубликован в издании: В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

Мимоходом.— «Журнал для всех». 1929, № 12. Написано в 1929 году.

Московский литературно-художественный кружок.— «Литературная газета», 1937, № 3, 15 января, под названием «Из воспоминаний» (рассказ напечатан не полностью). Полностью — в «Новом мире», 1940, № 10. Включен автором в «Литературные воспоминания».

«Жил в Москве знаменитейший адвокат Плевако...», «По Новому шоссе...».— «Новый мир», 1940, № 10. Первый рассказ включен в «Литературные воспоминания».

«Последние годы совместной жизни...», «Я сказал А. И. Куприну...», «Скульптор Волнухин...».— В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л. 1946. Включены автором в «Литературные воспоминания».

«Рудометов...» — В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

VIII

Суд Соломона.— В. Вересаев, Рассказы, М. 1936.

Букеты, Испытание, «На южном берегу Крыма...», «Была няня...», «— Сейчас я одну индийскую сказку прочел...», «Жена...», «— Я вас давно заприметил...», Срочный разговор, «Зимой 1906/07 года...», «На одном кладбище...», «— Мне доктора не хотели сказать...», «У публициста Г А. Джаншиева ..».— «Новый мир», 1940, № 10.

«Поступила к нам однажды кухарка...», «Дачный поселок Коктебель...».— В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

«В Дагестане...», «— Сколько яблоко стоит?..», «В Крыму...», «Председатель ревкома...», «Я спросил пожилую работницу...».— В. Вересаев, Избранное в двух томах, т. 2. М. 1959.

IX

«Ты любишь жить вкусно...», «Он не переваривал лжи...», «Этот человек горд...».— «Новый мир», 1940, № 10.

«Подошла к трамвайной остановке женщина...», «Вдали, на горизонте...», «Сколько термометра ни нагревай...», «Если ты не умеешь...», «В тридцатых годах прошлого века...», «Он за нею не ухаживал...», «Постепенно возникла между ними любовь...».—В. Вересаев. Избранное в двух томах, т. 2, М. 1959.

Рассказы этой главы включены автором в «Записи для себя».

X

Рассказы о детях

«— Отчего ветер?..», «Образ в церкви...», «— Соня, у тебя есть папа?..», «— Ну, Сергунька...», «С ним же...», «Я тогда жил в Туле...», «Таня начала раз такую сказку...», «— Я не люблю спать...», «— Это кто?..», «В Коктебеле...», «Мы с нею знакомы с месяц...», «— Все комар...», Из дневника, Из драмы, сочиненной маленьким мальчиком, «Маленький, смешной карапуз...», «Я снимал дачу...», «— Леля...», «— Мама...», «Перед окном кондитерской...», «На пляже ..», «Мальчик Игорь...», «Утром...», «В прекрасной книге...», «Галя...», «— Лиза...» (Рассказывал один художник), Школьное сочинение.— Сб. «Недра», книга тринадцатая, М. 1928, под общим названием «Детские рассказы» и с подзаголовком «Очень коротенькие».

Юра.— «Огонек», 1936, № 14 (не полностью). Полностью опубликовано в издании: В. Вересаев, Избранное в двух томах, т. 2, М. 1959.

«— Это кто, сын Акулины?..», Исторические личности в поэме «Полтава», «— Откуда люди появились?..», Воинствующий безбожник, «Примусы отшумели...», Ванька (не полностью).— В. Вересаев, Рассказы, М. 1936, напечатаны здесь вместе с большинством ранее опубликованных рассказов этой серии под общим названием «Рассказы о детях» и с подзаголовками: «Очень коротенькие», «Первые — из прежних времен».

«— Как тебя звать?..», «Идет по улице чиновник...», «В комнате было темно...», «— Маня...», «Трехлетний мальчик...», «Мать гуляла с Борей...», «Девочка...», «Я спросил Марину...», «Ира...», «Она же...», «— Как Мишку вчера лупили!..», «Гимназистка...», «Чтоб девочка не узнала...», «Иду в Крыму по саду...», Ванька (не полностью).— «Новый мир», 1940, № 8.

«Профессор...», Ванька (полностью).— В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

«— Почему в молитве...», «Боря...».— В. Вересаев, Избранное в двух томах, т. 2, М. 1959.

XI

Друзья в масках

«Мы катили на автомобиле...», «У угла моей дачи...», «Часто я стою на улице...».— «Пионерская правда», 1945, № 22, 22 мая, под заголовком «Рассказы о друзьях-животных».

«Потешнейшая собачонка...», «Шел вечером...», «Была у нас в семье моська...», «В таком же роде...».— «Пионерская правда», 1945, № 24, 5 июня, под заголовком «Рассказы о друзьях-животных».

«Есть ученые биологи-педанты...», «Если внимательно глядеть кругом...», «У нас в Туле...», «На окраине Боржома...», «В Тбили-

си...», *«В марте месяце 1911-го года...»*, *«С этим самым Бобкой...»* — В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

«Р а б и н д р а н а т Т а г о р...».— В. Вересаев, Избранное в двух томах, т. 2, М. 1959.

Эта глава включена автором в «Записи для себя».

Рассказы первых одиннадцати глав печатаются по тексту, подготовленному В. Вересаевым для отдельной книги «Невыдуманных рассказов о прошлом» (хранится в ЦГАЛИ).

Княгиня.— Публикуется впервые. Беловая рукопись датирована автором: «Боржоми 18—24 авг. 1942 г.».

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся у В. М. Нольде.

Туча и зорька.— В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946. Беловая рукопись датирована автором: «27/XI 1942 г. Тбилиси».

В «Туче и зорьке» речь идет о прозаике и драматурге Н. И. Тимковском (1863—1922).

Рассказ включен В. Вересаевым «Литературные нания».

Печатается по тексту первой публикации.

Трусиха.— «Неделя» (воскресное приложение к газете «Известия»), 1960, № 20, 10—16 июля. Беловая рукопись датирована автором: «Тбилиси. 29 ноября 1942 г.».

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся у В. М. Нольде.

Суббота.— В. Вересаев, Невыдуманные рассказы прошлом, изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1942.

Печатается по тексту первой публикации.

Софроний Матвеевич.— «Неделя» (воскресное приложение к газете «Известия»), 1960, № 20, 10—16 июля. Беловая рукопись датирована автором: «Боржом. 8/VIII 43 г.».

Печатается по тексту беловой рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ.

«Фрейлина...».— Публикуется впервые по тексту беловой рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ.

Чохов.— «Смена», 1945, № 16. Беловая рукопись датирована автором: «Боржом. 14/VIII 1943 г.».

Печатается по тексту первой публикации.

Euthymia.— В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3. М. 1948. Рукопись датирована автором: «Боржом. 15—24/VIII 43 г.».

Рассказ долго не давался писателю. В рукописи 1943 года он пометил: «До отчаяния плохо Переписываю в шестой раз. Без стержня, учительно. Беда!» (ЦГАЛИ). Несколько раз менялось название: «Муж и жена», «Леонид Александрович и Люся» и, наконец,— «Euthymia». В начале 1945 года В. Вересаев вновь вернулся к рассказу и еще раз переписал его.

Печатается авторизованной машинописи, хранящейся у В. М. Нольде.

Около литературы.— В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л. 1946. Беловая рукопись датирована автором: «31/VIII 43 г. Боржом».

В рукописи рассказ имел другой заголовок — «Вокруг литературы»,— и герой был первоначально назван Петром Алексеевичем Кожевниковым.

Рассказ включен В. Вересаевым в «Литературные воспоминания».

Печатается по тексту первой публикации.

Около шампанского.— В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л. 1946. Беловая рукопись датирована автором: «31/VIII 43 г. Боржом».

В рукописи герой рассказа первоначально имел другую фамилию — Маныч.

Рассказ включен В. Вересаевым в «Литературные воспоминания».

Печатается по тексту первой публикации.

Как он меня удивил.— «Смена», 1945, № 14. Беловая рукопись датирована автором: «Боржом. 5/IX 1943 г.».

Печатается по тексту первой публикации.

Миллионерша и дочь.— «Смена», 1945, № 16. Беловая рукопись датирована автором: «Цхалтубо. 25/IX 1943 г.».

Печатается по тексту первой публикации.

Александр Степанович.— «Красноармеец», 1944, № 20. Беловая рукопись датирована автором: «Цхалтубо. 30/IX 43 г.».

Печатается по тексту первой публикации.

В приемной.— «Смена», 1945, № 14. Беловая рукопись датирована автором: «Цхалтубо. 2/X 1943».

Печатается по тексту первой публикации.

Всю жизнь отдала.— «Смена», 1945, № 14. Беловая рукопись датирована автором: «Цхалтубо. 9/X 1943 г.».

Печатается по тексту первой публикации.

Месть.— Публикуется впервые по авторизованной машинописи, хранящейся у В. М. Нольде. Беловая рукопись датирована автором: «Цхалтубо. 26/X 43 г.».

День рождения.— В. Вересаев. Невыдуманные рассказы о прошлом, изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1942.

Печатается по тексту первой публикации.

В западне.— «Огонек», 1940, № 4, с подзаголовком «Из серии «Невыдуманные рассказы о прошлом».

Печатается по тексту первой публикации.

Туз.— «Тридцать дней», 1941, № 2, с подзаголовком «Из серии «Невыдуманные рассказы о прошлом».

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ.

Голубая комната.— В. Вересаев, Невыдуманные рассказы о прошлом, изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1942.

Печатается по тексту первой публикации.

Елка.— В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

Рассказ включен автором в «Записи для себя».

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся ЦГАЛИ.

«Первый..», «— Вы должны за этим смотреть...», «Пьяного высадили из трамвая...», «— Много ли верст до солнца?..», «— Ну, как живете?..», «М. О. Гершензону...», «Учитель греческого языка...», «— С выступлением Ивана Петровича...», «В середине двадцатых годов...».— Публикуются впервые по рукописи и авторизованной машинописи, хранящимся в ЦГАЛИ.

«— Мама, дай карандаш...».— Сб. «Недра», книга тринадцатая, М. 1928.

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ.

Легенда — В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 3, М. 1948.

Рассказ представляет собой авторскую переработку отрывка из неопубликованной драмы В. Вересаева «В священном лесу» (1918).

Печатается по тексту авторизованной машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ.

Ю. Бабушкин

СОДЕРЖАНИЕ

VI

VII

VIII

IX

X

РАССКАЗЫ О ДЕТЯХ

XI

ДРУЗЬЯ В МАСКАХ

В. ВЕРЕСАЕВ
Собрание сочинений
в 5 томах. Том IV.

Иллюстрации художника
П. Я. Караченцова.

Оформление художника
В. Левинсона

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 8/II 1961 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 362. Заказ 3430. Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. л. 8,38. Печ. л. 27,47+4 вклейки (0,41 печ. л.). Уч.-изд. л. 29,57. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В Сталина, Москва, улица «Правды», 24.

